П. В. АННЕНКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ





П. В. Анненков.
Фотография. 1856 г.



СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

П. В.
АННЕНКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

8Р1
А68

Вступительная статья
В. И. КУЛЕШОВА

Комментарии
А. М. ДОЛОТОВОЙ, Г. Г. ЕЛИЗАВЕТИНОЙ,
Ю. В. МАННА, И. Б. ПАВЛОВОЙ

Оформление художника
В. МАКСИНА

Л $\frac{4702010100-190}{028(01)-83}$ 23-83

П. В. АННЕНКОВ — МЕМУАРИСТ

Павел Васильевич Анненков — русский литератор, критик, мемуарист — родился в 1813 году в Москве (отец его — богатый помещик Симбирской губернии). Он не сразу сумел найти себе поприще в жизни. Первоначально обучался в Горном корпусе, а затем был вольнослушателем историко-филологического факультета Петербургского университета; служил в канцелярии министерства финансов, но вскоре оставил службу.

Решающее значение для выбора занятий и духовного становления Анненкова имело сближение его в 30-х годах с Н. В. Гоголем, а затем с Белинским. Анненков делается литератором, начинает сотрудничать в «Отечественных записках». Он совершает поездки за границу — с конца 1840 по начало 1843 года, а затем с начала 1846 по сентябрь 1848 года. Он присылает в русские журналы свои интересные «Письма из-за границы», «Парижские письма». Чрезвычайно ценными были его устные рассказы в кругу петербургских друзей в 1843—1845 годах о шумно обсуждавшихся тогда в Европе книгах Фейербаха, Штрауса, Леру, Мишле, Луи Блана, об общественном возбуждении в предреволюционной Европе. Все это жадно ловилось и впитывалось передовыми русскими людьми.

Как литературный критик, Анненков активно выступал в 50—60-х годах со статьями о творчестве Тургенева, Толстого. В литературной борьбе того времени Анненков примыкал к так называемому «эстетическому триумвирату» (вместе с А. В. Дружининым и В. П. Боткиным), который вел полемику с «Современником» Чернышевского и Добролюбова.

В 70—80-х годах Анненков жил с семьей за границей и умер и 1887 году в Дрездене. Не обладая ярким талантом беллетриста (повести его были решительно плохи) и утратив со временем значение видного литературного критика, Анненков за границей в значительной мерс развернулся как мемуарист и создал главный свой труд в жанре воспоминаний «Замечательное десяти-

летие. 1838—1848», в котором воссоздал по личным впечатлениям интереснейшую эпоху в русских идейных исканиях, связанную с именами Белинского и Герцена. Располагая богатейшим материалом, Анненков сумел впечатляюще изобразить лица и события, свидетелем которых был.

1

Следует подчеркнуть, что Анненков до сих пор остается в некоторых отношениях еще спорной фигурой, недостаточно проясненной наукой.

Анненков имеет немалые заслуги перед пушкиноведением: в 1855—1857 годах он выпустил первое научное издание сочинений Пушкина, начав сверять тексты по автографам, располагать произведения по хронологии; ему принадлежит драгоценнейший труд «Материалы для биографии А. С. Пушкина». Он боролся с цензурой за каждую строку поэта. Теперь у нас появились доказательства, что к своим занятиям над Пушкиным Анненков обратился еще в 1847 году при ближайшем участии Белинского [1].

Память о Пушкине важно было поддержать в тогдашнем обществе, ибо уже начинались нападки на Пушкина как на явление устаревшее, мешающее новому движению литературы. Нигилистическая «проработка» Пушкина, как известно, захватит многих, даже весьма почтенных русских критиков на протяжении последующих десятилетий. И нельзя не склониться перед благородным предсказанием Анненкова о том, что «Пушкинская школа» еще «возродится с новым содержанием и с новою силой в более или менее близкой будущности <...>. Мы убеждены, что много еще будет Пушкиных на Руси, которые с уважением станут произносить имя своего родоначальника, открывшего впервые у нас многостороннюю, неисчерпаемую область искусства, и в этом нам ручается, сверх поэтического инстинкта, свойственного народу, и здравый смысл его, и способность понимать духовную пользу свою» [2].

Анненковская пропаганда Пушкина нисколько не носила полемического характера по отношению к «гоголевскому» направлению, которому он сполна воздавал должное. С Гоголем связывал он успехи лучших современных деятелей на литературном поприще, ибо Гоголь «открыл им дорогу в пространную область действительности» («Старая и новая критика», 1856).

---

[1] См.: «Литературное наследство», т. 56. М., 1950, с. 191.

[2] П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки, т. 2. СПб., 1879, с. 16.

А это обстоятельство возвращает нас к общей оценке литературной позиции Анненкова.

В своих суждениях о русской литературе Анненков проповедник в равной степени как «пушкинского», так и «гоголевского» направлений. А ведь известно, что оба эти направления в критике 50-х годов XIX века искусственно сталкивались как антагонистические в пользу первого из них, якобы являющегося образцом «чистого искусства» (А. В. Дружинин, В. П. Боткин). Вопрос о принадлежности Анненкова к «эстетическому триумвирату» нуждается еще в дополнительных исследованиях. Многие его рассуждения в критических статьях 50-х годов должны быть рассмотрены не только в рамках тогдашней литературной ситуации, но и в рамках всего русского историко-литературного процесса. Развивавшиеся им положения о «художественности» литературы истолковывались иногда как нежелание Анненкова согласиться с теми установками, которые выдвигались критиками-демократами. Анненков действительно хотел устраниться от голого утилитаризма, вредного для искусства. Но утверждавшаяся им «художественность» вовсе не исключала дидактических, общественных целей искусства. О «художественности» он писал, во многом опираясь на Белинского.

Через шесть месяцев после кончины Белинского, продолжая традицию его годичных обозрений литературы, Анненков в своих «Заметках о русской литературе прошлого года», появившихся в «Современнике» (1849, № 1), впервые вводит в русскую критику термин «реализм» и ссылается при этом на «петербургские журналы», которые уже разработали понятие о реализме, о поэзии истинной, правдивой, «натуральной». Анненков, конечно, имел в виду Белинского, его выступления в журналах «Отечественные записки» и «Современник».

2

Обратимся теперь к Анненкову-мемуаристу.

Анненков достоверно передает духовную жизнь своих современников, людей 30—60-х годов XIX века, мастерски рисует портреты Гоголя, Белинского, Герцена, Огарева, Грановского, Станкевича, Бакунина, Боткина, Кольцова, Писемского, Тургенева и многих других. Он был очевидцем и участником идейных исканий, которые волновали выдающиеся умы его времени.

Свои мемуарные очерки Анненков писал в разное время, не имея мысли о создании целостной книги. Но собранные издателями

воедино, они обнаруживают заложенные в них общую мысль и общий тон.

Печатью особой уникальности отмечены знакомства Анненкова с людьми, о которых он рассказывает. Подумать только, участником каких встреч и сцен он был!

Он дружит с Гоголем в Петербурге с самого начала 30-х годов, когда о Гоголе еще мало кто знал. Присутствует на премьере «Ревизора». Собственноручно, под диктовку Гоголя, в Риме переписывает первый том «Мертвых душ», вполне сознавая, какое великое творение русской литературы готовится в свет. Анненков — единственный свидетель того, как Белинский создавал свое знаменитое «Письмо к П. В. Гоголю» в Зальцбрунне в 1847 году, и всецело разделяет резкий тон осуждений религиозно-мистических заблуждений писателя. Анненков и дальше сопровождает Белинского в заграничной поездке того же года, участвует в парижских встречах его с Герценом, в спорах и дискуссиях с эмигрантами М. А. Бакуниным, Н. И. Сазоновым о судьбах буржуазной цивилизации, о необходимости ликвидации крепостничества в России.

Анненкова все время привлекают сильные духом натуры, их убеждения, противоречия, психический склад. Он знаком с Гейне, Жорж Санд, Гервегом, Прудоном. В 1846 году в Брюсселе он знакомится с К. Марксом, Ф. Энгельсом, вступает в переписку с Марксом, и тот сообщает ему свои критические замечания о книге Прудона «Философия нищеты», о которой русский корреспондент сам запросил его мнение.

В мемуарах он пристально следит за идейным развитием самых сложных своих соотечественников: Белинского, Герцена. Но скрывая противоречивости этого процесса, он восхищается подвижнической работой их духа, единством слова и дела. Его интересуют столкновения идей, группировок, направлений, западников, славянофилов.

Нужно в должной мере оценить немалую долю гражданского мужества, опасной ответственности, с которыми были связаны попытки Анненкова говорить в печати о запретных в России именах.

Ведь о Белинском открыто в печати, с полным упоминанием его имени, нельзя было сказать в России, пока жив был Николай I, то есть до 1855 года. И в своих «Материалах для биографии А. С. Пушкина», рассказывая о том, как незадолго до своей смерти Пушкин собирался пригласить Белинского сотрудничать в «Современнике», Анненков обозначает фамилию критика одной первой буквой Б. К таким же обходным способам обозначения имени Белинского должен был прибегать и Чернышевский в

«Очерках гоголевского периода». В обществе постепенно привыкали вовсе обходиться без Белинского. А между тем иногда ученые сетуют, что Анненков, рассказывая, как создавалось Зальцбруннское «Письмо к Н. В. Гоголю», мало касается содержания этого «Письма». Не следует забывать, что «Письмо» было под запретом до 1905 года. И о Герцене в России нельзя было сколь-либо внятно писать до 1905 года, пока сыну писателя не удалось «пробить» в России первое Собрание сочинений Герцена. А между тем Анненков писал о Герцене за четверть века до этого. Все это надо было взять на себя, обо всем этом надо было хотеть писать человеку, давно слывшему «либералом-постепеновцем», западником, «симбирским помещиком», который обеспечен куском хлеба и проживает с семьей в комфортабельной загранице.

Анненкову не везло в критике. Отзывы о нем большей частью были несправедливо уничижительными, как о «туристе-эстетике» (П. Л. Лавров), которого якобы не задевали за живое идеи и он одержим был к ним лишь «платонической любознательностью». Отголоски таких оценок встречаются и поныне в литературе об Анненкове, все они нуждаются в критическом пересмотре. Мы еще будем ниже иметь поводы со всей определенностью сказать, в каких случаях «либерализм» и «постепенство» действительно мешали Анненкову охватить то или иное сложное явление, притупляли его проницательность, где он не вполне постигал Белинского, Герцена. Но вспомним, какой длительный процесс должны были пройти общественное сознание и наука, пережить целые полосы самых извращенных толкований эволюции тех же Белинского и Герцена, чтобы прийти к сегодняшнему правильному их пониманию. Не слишком ли сурово судят у нас о возможностях, которыми располагал Анненков? Не лучше ли взять за основу мнения об Анненкове людей, хорошо знавших его лично, многим ему обязанных? Сейчас трудно себе представить, как можно обойтись без воспоминаний Анненкова при характеристике русской литературы и критики, русской общественной мысли и культуры. Не должен ли измениться даже самый тон разговоров о нем? Ведь он оставил столько ярких страниц о великих людях, их духовных исканиях, «он в их совет допущен был» (как сказал бы Тютчев).

Белинский в пору первого знакомства с Анненковым к 1840 году писал о нем В. П. Боткину: «Бесценный человек», «Я очень люблю этого милого человека»[1]. В конце жизни, возвращаясь из-за границы, Белинский благодарил Анненкова «за все»,

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 530, 554.

что он делал для него [1]. К этому же времени относятся и чрезвычайно доверительные письма Белинского к Анненкову из Петербурга в Париж (одно было послано даже не по почте, а с нарочным), в которых критик высказывался о крестьянском вопросе в России, занявшем тогда умы правительственных верхов, о возбуждении слухов в обществе и в народе по этому поводу, о возможности решения вопроса освобождения крестьян силами самих крестьян, способом, в «1000 <раз> более неприятным для русского дворянства» [2]. Это было явным продолжением парижских разговоров с Анненковым, Герценом, Бакуниным на острые политические темы. И Анненков всегда чтил память о критике. Он писал одному из своих братьев из Парижа при вести о смерти Белинского: «Он много унес у меня...» [3]

Многозначительны суждения об Анненкове другого революционного демократа — Н. Г. Чернышевского. Известно, что Чернышевский встречался с Анненковым, пользовался его воспоминаниями о Белинском, когда работал над своими «Очерками гоголевского периода русской литературы» (1855—1856). Анненков вносил свой вклад в знаменитый труд Чернышевского и, следовательно, поступал вопреки установкам «эстетического триумвирата», в частности Дружинина, который не ценил Белинского и не замедлил напасть на «Очерки гоголевского периода», как только они появились в печати. О заслугах Анненкова лучше всего свидетельствует сам Чернышевский на страницах «Очерков...»: «...в настоящей статье мы пользовались воспоминаниями, которые сообщил нам один из ближайших друзей Белинского, г. Анненков, и потому ручаемся за совершенную точность фактов, о которых упоминаем. Мы надеемся, что интересные воспоминания г. Анненкова со временем сделаются известны нашей публике, и спешим предупредить читателей, что тогда наши слова окажутся не более, как развитием его мыслей. За ту помощь, какую оказали нам его воспоминания при составлении настоящей статьи, мы обязаны принести здесь искреннейшую благодарность глубокоуважаемому нами г. Анненкову» [4]. Конечно, «развитие мыслей» у Чернышевского было свое, но оно нисколько не противоречило оценке Анненковым Белинского.

А вот и мнение близко стоявшего к демократам просветителя А. Н. Пыпина, автора первой научной биографии Белинского (1874), которому, по его просьбе, Анненков всячески содействовал.

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 403.
[2] Там же, с. 438—439.
[3] «Литературное наследство», т. 56. М., 1950, с. 198.
[4] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III. М., Гослитиздат, 1947, с. 210.

И. Пыпин также советовал Анненкову написать свои воспоминания о Белинском, ибо у Анненкова будет драгоценное преимущество: «...я не был «очевидцем» сороковых годов, а Вы были...», «Вы можете именно придать... рассказу свежесть живого воспоминания», «...изложить ту внутреннюю связь мнений и настроении Белинского, которая в особенности и составляет цель моих исканий»[1].

И то, что Анненков как человек 40-х годов, общаясь с Белинским и Герценом, прошел хорошие философские «штудии», позволило ему «изнутри», глубже, чем Пыпину, раскрыть сущность философских споров той эпохи, рациональность исканий и находок Белинского и Герцена и ошибочность путей М. А. Бакунина, Кудрявцева и Каткова. Общефилософская подготовка Анненкова делала его достойным собеседником К. Маркса, в частности, в разговоре о книге Прудона. Анненков сам подметил в ней ложные спекуляции на Гегеле, что Маркс поставил ему в особую заслугу в своем ответном письме. И в мемуарах мы все время убеждаемся, что Анненков говорит о философских проблемах со знанием дела, свободно оперируя сложными категориями и понятиями.

3

Мемуарный очерк «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» появился в печати в 1857 году в дружининской «Библиотеке для чтения». Можно даже сказать, что эти воспоминания и заказал А. В. Дружинин. Он полагал, что Анненков, как почитатель и издатель Пушкина, своими воспоминаниями о Гоголе непременно послужит на пользу затеянной тогда Дружининым журнальной полемике с «Очерками гоголевского периода» Чернышевского. Известно было, что Анненков не целиком разделял восторги от творчества Гоголя и осуждал его отход от реализма в конце жизни.

Анненков написал воспоминания, но результат получился совсем не тот, какого ожидал Дружинин. Если тут и обнаружилось критическое отношение Анненкова к Гоголю, то только в том смысле, что Анненков предупреждал: Гоголь противоречив, есть Гоголь-«здоровый», великий реалист, создатель «Ревизора» и «Мертвых душ», и Гоголь-«больной», автор реакционной книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

---

[1] «Материалы о Белинском из архива А. Н. Пыпина». — «Литературное наследство», т. 57. М., 1951, с. 308, 306.

Воспоминания начинаются с живописных изображений поездки Анненкова из Вены в Рим, видов Анконы, Лоретто, Венеции, Апениннских гор, а также нравов спутников-калабрийцев, хитрых повадок ветурино, обычаев жителей «вечного города». Все это отчасти случайные для воспоминаний картины — чистая живопись или дань жанру путешествий, из рамок которого этот мемуарный очерк еще не выделился. Но неожиданно такая экзотическая экспозиция оказывается уместной, невольно начинаешь думать: далеко же занесло на чужбину русского из перерусских писателя, и даже страшно делается за Гоголя, не забыл ли он своей родины, разглядывая ее «из прекрасного далека»...

И вот приятели встретились. Регулярно, один час в день, в прохладе затененной квартиры на улице Страда Феличе, Гоголь диктует по тетрадкам Анненкову величайшее свое творение. Нередко переписчик останавливается и выражает свои восторги. Все старается подметить Анненков в поведении Гоголя. И убеждается, что перед ним — прежний, петербургский Гоголь: он и его произведение — единое целое. Никакого душевного надлома у Гоголя еще нет.

Воспоминания Анненкова оказались направленными против вышедшей в то время двухтомной работы П. А. Кулиша «Записки о жизни Н. В. Гоголя» (1850), в которых были собраны воспоминания друзей и знакомых писателя, письма Гоголя. Это издание вызвало положительные отклики современников, в том числе и Чернышевского. Для своего времени и долго спустя оно имело большое значение как материалы для биографии Гоголя. Но у Анненкова в это время уже были свои представления о том, что такое «материалы» для биографии классика: его труд о Пушкине уже вышел. П. А. Кулиш нарушал одну из важнейших заповедей ученого-исследователя — соблюдение историзма. Анненков отмечает; Кулиш «вообще смотрит на Гоголя с конца поприща», то есть через призму «Выбранных мест из переписки с друзьями». У Кулиша много обывательского морализирования по поводу характера Гоголя и зигзагов его развития. Анненков предупреждает: «Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворот в его существовании». Он настаивает на том, что этот переворот произошел с конца 1843 года.

Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» и других статьях специально углублялся в исследование проблемы противоречий Гоголя и, по сравнению с Белинским, внес много нового

в понимание вопроса. Используя материалы П. А. Кулиша, Чернышевский стремился показать, что какие-то задатки амбициозности были уже у раннего Гоголя. Как и Анненков, он считал, что и самих своих заблуждениях Гоголь был искренен. Но именно воспоминания Анненкова служили важным подспорьем для Чернышевского в решении существенного вопроса: «Факты, сообщаемые г. Анненковым, значительно объясняют нам Гоголя как человека... вообще взгляд г. Анненкова на его характер кажется едва ли не справедливейшим из всех, какие только высказывались до сих пор» [1].

У Анненкова, как уже было сказано, «пушкинское» и «гоголевское» — понятия не антагонистические. Он свидетельствует, что сюжеты двух самых великих творений Гоголя — «Ревизора» и «Мертвых душ» — были подарены ему Пушкиным, и в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя». О благоговении же Гоголя перед Пушкиным и говорить нечего: он зачитывался им и в Риме.

Достоверно Анненков рассказывает и о другом, довольно сложном литературном контакте Гоголя, когда он втайне от своих московских друзей, М. П. Погодина и С. П. Шевырева, попросил Белинского, оказавшегося в ту пору в Москве, отвезти рукопись «Мертвых душ» в Петербург и исхлопотать там разрешение цензуры на их печатание. Московская цензура чинила препятствия этому. Белинскому удалось через знакомых, А. А. Краевского и В. Ф. Одоевского, добиться разрешения петербургской цензуры. Историю с поручением Гоголя мы теперь знаем из писем Белинского. Анненков же рассказывает о ней со слов самих Гоголя и Белинского и еще раз оказывается достовернейшим мемуаристом. Сурово правдив он и в констатации факта, что Гоголь, столь много обязанный Белинскому в жизни, не совсем благожелательно был настроен к критику. С еще большим сожалением Анненков отмечает в конце очерка нарастание болезненного самомнения Гоголя, затруднявшего общение с ним: Гоголь начинал «смотреть поверх голов», утрачивать чувство современности, жить миражами. Эти констатации у Анненкова возникают не задним числом, когда писался очерк о Гоголе: из переписки Анненкова с Боткиным в 40-х годах видно, как оба эти приятеля Белинского верно чувствовали причину надвигающегося падения Гоголя.

Самоочевидны достоинства очерка Анненкова о римских встречах с Гоголем в 1841 году в исторической перспективе. Очерк направлен против искусственно раздувавшейся Дружининым аль-

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т.. IV, с. 719,

тернативы: или «пушкинское», или «гоголевское» направление. У Анненкова же истолкование «гоголевского» направления совпадает с тем, как понимали его Белинский и Чернышевский. Верное же понимание Анненкова рождалось в живых общениях как с Гоголем, так и с Белинским и с Чернышевским, тут лежит тройная мемуарная достоверность. Очерк Анненкова направлен и против концепции Кулиша, извращавшего облик писателя-реалиста, выдвигавшего на первый план слабые и ошибочные моменты в духовных исканиях Гоголя.

Нетрудно заметить, что воспоминания Анненкова о Гоголе имеют прямое отношение к сегодняшним спорам среди литературоведов, вспыхнувшим недавно с новой силой по поводу противоречивости Гоголя. Анненков нисколько не скрывает этой противоречивости и предупреждает, что не следует заглаживать реакционной сущности книги «Выбранные места из переписки с друзьями» и нельзя рассматривать все творчество Гоголя через призму этой его ошибочной книги.

4

Главным трудом Анненкова-мемуариста является большой очерк под названием «Замечательное десятилетие. 1838—1848», в котором прочерчивается магистраль истории русской общественной мысли, философских, эстетических исканий, того «выстрадывания» передовой теории, которое со временем сделало Россию достойной восприемницей марксизма. Конечно, такой прямой задачи Анненков перед собой не ставит. Но, сосредотачиваясь на Белинском и Герцене, на своих встречах с Марксом, Анненков выходит именно на эту магистраль и сообщает множество ценнейших наблюдений, погружающих нас в лабораторию неустанной умственной работы самых передовых людей России и Европы.

Название очерка, возможно, восходит к книге Луи Блана «История десяти лет, 1830—40», живо обсуждавшейся в русских кругах, подкупавшей своим критическим пафосом, направленным против Июльской монархии, и широкой характеристикой различных течений французской общественной мысли. В своем очерке Анненков реализовал давние наблюдения над широким кругом лиц, над идеологическими битвами как у себя дома, так и за границей.

Многие драгоценные наблюдения над Белинским, его характером, взглядами Анненков долго хранил в своей памяти, устно делясь воспоминаниями, но не решаясь предать их бумаге. Ви-

димо, он дожидался, пока будут завершены Герценом его «Былое и думы», полагая, что Герцен имеет большие права на рассказ о своей духовной молодости и о Белинском. Только после смерти Герцена начал работать Анненков над «Замечательным десятилетием». Перед этим он вел корректуру воспоминаний И. С. Тургенева о Белинском, напечатанных в 1869 году в «Вестнике Европы»; они пробуждали его собственные воспоминания; и впоследствии Анненков в основу своего «Замечательного десятилетия» положит важный тезис Тургенева о Белинском как «центральной натуре» эпохи, всем своим существом стоявшим близко «к сердцевине своего народа». Непосредственным же толчком к созданию воспоминаний Анненкова послужила его переписка в 1874 году с А. Н. Пыпиным, работавшим над биографией Белинского. Знакомясь с ней по первой публикации в «Вестнике Европы» того же, 1874 года, Анненков писал М. М. Стасюлевичу: «Все эти откровения приводят в порядок собственную нашу мысль» [1]. Анненков проверял свою память, давал читать рукопись И. С. Тургеневу, Н. Н. Тютчеву, А. Н. Пыпину, М. М. Стасюлевичу. Получались картины и типы исключительной ценности. Если Анненков уступает Герцену в понимании сущности философских споров 40-х годов, в выявлении их практической значимости, в яркости характеристик, то он более подробно передает разноголосицу споров, групповых интересов, у него больше бытовых деталей, обстоятельств, в которых протекают все эти события. Есть у него и важные уточнения и откровения, которых нет у Герцена. Например, Анненков указывает, что горячие споры на даче у Герцена в Соколове состоялись уже в 1845, а не в 1846 году, как говорит Герцен; лето 1845 года Герцен рисует еще как безмятежное. Главное же достоинство воспоминаний Анненкова в том, что он смотрит на многие события как сторонник Белинского.

Анненков кладет в основу своих воспоминаний фазисы духовного развития Белинского. У многих мемуаристов Белинский оказывался каким-то парадоксалом, постоянно меняющим мнения, общая логика его развития не постигалась. Анненков придает значение именно этой логике и подчеркивает поступательность движения мысли Белинского, ее огромный литературный и общественный резонанс. Глубоко разбирает он взаимоотношения Белинского с М. А. Бакуниным, втянувшим Белинского путем релятивистского истолкования формулы Гегеля «все разумное действительно, все действительное разумно» в «примирение» с

---

[1] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III. СПб., 1912, с. 311.

российской действительностью. Мемуарист свидетельствует, что натура Белинского сопротивлялась такому насильственному примирению, и оно вскоре было преодолено. Анненков показывает, как потом, за границей, Бакунин ударился в крайности анархизма, а Белинский пришел к более четкому, правильному пониманию закономерностей общественного развития. При этом Анненков верно усматривает примиренческие моменты в самой системе Гегеля. Проницательно подмечает он, что «примирение» Белинского было особого свойства и во многом ставило его выше бездумных фрондеров, жонглировавших левой фразой, критический жар которых прогорал быстро, и они оказывались самыми банальными примиренцами с окружающей действительностью.

Только Г. В. Плеханов позднее более верно осветил сущность «примирения» Белинского, переход его от «системы» к «диалектике» Гегеля. Но и у Плеханова этот вопрос освещен несколько умозрительно-отвлеченно, без учета общественно-социальных условий деятельности Белинского, приведших к такому зигзагу в его философском развитии. Не все схватывает здесь и Анненков, преувеличивающий влияние Бакунина на Белинского и слабо связывающий философскую идею «отрицания» с социальным отрицанием, к которому пришел Белинский. Недостраивает он и вершин развития Белинского: не чувствует в Белинском революционера, вскользь касается его материализма, упоминая лишь об интересе к книге Фейербаха «Сущность христианства», захватившей тогда многие русские умы. Где-то «либерал» Анненков оберегает Белинского от крайностей его суждений и приспосабливает к тому кругу московских либералов — Грановский, Боткин, Корш, — который остается наиболее близким самому Анненкову.

Следует, правда, учитывать и цензурные обстоятельства: не мог же Анненков в те годы открыто сказать о революционности Белинского.

То, что у Герцена называется «гладиаторской натурой» Белинского, присутствует и в анненковских характеристиках нравственного облика критика: «...под этой оболочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу», это был «благородный, цельный, независимый характер», он обладал «величайшей оригинальностью», «неодолимой притягивающей силой». Все это в устах Анненкова не простая риторика: он органически воспроизводит строй мыслей Белинского. Начиная с «Литературных мечтаний», Белинский, по уверениям Анненкова, много способствовал борьбе с рутиной и «благонамеренной прикрасой» в понимании русской литературы и повел за собой молодое поколение. А борьбу с реакционной петербургской критикой — Булгариным, Гречем, Сенковским — расценивает как поли-

тическую, как дело чести всей русской литературы, как победу критики над тем, что поощряла «гарантия правительства». Мысль Белинского шла путем широчайшего синтеза современных философских и эстетических систем, и ему, а не славянофилам, говорит Анненков, принадлежит приоритет в постановке вопроса о национальной самобытности русской литературы и национальной жизни русских. И хотя позволяет он себе в конце «Замечательного десятилетия» фразу, что у Белинского не было «элементарных качеств революционера и агитатора», это опровергается раскрытием динамической личности Белинского. Одно упоминание о крамольном зальцбруннском письме к Гоголю показывало, каким борцом и агитатором был Белинский. Понимание динамики Белинского хорошо передает также и письмо Анненкова к Стасюлевичу от 12/24 сентября 1874 года: «Вы пишете, что Белинский в письмах неизмеримо выше Белинского в печати, но Белинский в разговорах — оратор и трибун — еще выше был и писем своих. Боже! Вспоминаю его молниеносные порывы, освещавшие далекие горизонты, его чувство всех болезней своего времени и всех его нелепых проявлений, его энергическое, меткое, лапидарное слово. Ничего подобного я уже не встречал потом, а жил много и видел многих» [1].

Никто до Анненкова в таком диалектическом единстве не показывал взаимодействия критики Белинского с литературным процессом, с выдающимися русскими писателями, которых он первый оценил. А ведь идея этого взаимодействия и была выдвинута Белинским. Анненков стремится показать, что значил Белинский для корифеев русской литературы и что значили для него самого Пушкин, Гоголь, Лермонтов.

Поэзия Пушкина приводила Белинского в изумление, как волшебство, на Пушкине сложились его понятия и критерии прекрасного, через Пушкина раскрывались ему широкие дали развития русской литературы, от Пушкина шел он в определении своеобразия талантов Лермонтова и Гоголя. Пушкин, в свою очередь, разглядел критический дар Белинского. Сотрудничество их не состоялось, но в некотором высшем смысле поэт и критик всегда шли рука об руку, и в цикле «пушкинских статей» Белинского сводились воедино его историко-литературная концепция и эстетический кодекс.

Огромные услуги Белинский оказал Гоголю, с 1835 года поставив его в первые ряды русской литературы. Анненков-мемуарист свидетельствует, каким «озадаченным и сконфуженным» вы-

---

[1] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, с. 307.

ходками реакционной критики одиноко стоял тогда Гоголь: «Руку помощи в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему тогда никем не прошенный, никем не ожиданный и совершенно ему не известный Белинский» (имеется в виду статья «О русской повести и повестях Гоголя»): «Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя». И когда Гоголь потерпел неудачу при первом представлении «Ревизора» в Петербурге и «Библиотека для чтения», «как говорили тогда, получила внушение извне преследовать комедию эту как политическую, не свойственную русскому миру», Белинский возвратил эту комедию на сцену «уже с эпитетом «гениального произведения». Анненков все время дает чувствовать взаимообразность общений критика и писателя: «Белинский особенно и страстно занимался выводами, какие могут быть сделаны из них (из гоголевских сочинений. — *В. К.*) и вообще из деятельности Гоголя». Самый переворот во взглядах критика, все больше осознававшего роль обличения и сатиры, происходил не только вследствие логического развития его сознания, правильного истолкования Гегеля, диалектической «идеи отрицания», но и под воздействием творчества Гоголя. Уроки жизни, внушения друзей воздействовали сами собой. Но Гоголь и затем Лермонтов, подчеркивает Анненков, «были не последними агентами» в процессе становления критики Белинского: «Таким-то образом расплачивался Николай Васильевич с критиком за все, что получил от него для уяснения своего призвания».

Лермонтов был тем человеком, которого Белинский не только оценил и поставил на высокий пьедестал, но с которым он «и боролся». Протестующий пафос поэзии Лермонтова наводил Белинского на «идею отрицания», на преодоление «псевдогегелевского оптимизма». Очень хорошо сказано у Анненкова: Лермонтов «не переставал волновать... и дразнить критика», «втягивал Белинского в борьбу с собою, которая и происходила на наших глазах».

Такое взаимодействие критики и беллетристики как фактора литературного развития Анненков последовательно проводит и дальше в своих мемуарах. И когда он затем касается событий, развернувшихся через десять лет, в конце 40-х годов, то мы снова встречаемся с его двуединым подходом: «К этому же времени относится и появление в русской изящной литературе так называемой «натуральной школы», которая созрела под влиянием Гоголя, объясняемого тем способом, каким объяснял его Белинский». Анненков даже считает нужным особенно подчеркнуть роль того «сознательного» элемента в идейном и эстетическом оформлении «натуральной школы», который при-

вивался главным образом критикой Белинского. И нисколько не преувеличивал он, заканчивая предыдущую мысль следующим образом: «Можно сказать, что настоящим отцом ее («натуральной школы». — *В. К.*) был — последний», то есть Белинский.

Воспоминания Анненкова впервые полно собрали и достоверно точно истолковали материал, связанный с историей перехода Белинского из «Отечественных записок» А. А. Краевского в «Современник» Н. А. Некрасова и И. И. Панаева. В них разъяснялась позиция Белинского и его недовольство тем, что его московские друзья по-прежнему продолжали поддерживать Краевского, не оценивая должным образом попытки Белинского создать свой, более последовательный орган реалистического направления русской литературы. Анненков всецело на стороне Белинского. Сильная натура Белинского все время его восхищает.

Анненков выходит в широчайшие сопоставления различных типов деятелей как в России, так и в Европе. Блекнут во многом симпатичные, но не выдержавшие высокой критики фигуры Бакунина, Грановского, Боткина, Кудрявцева. Отвратительно претенциозным, скатывающимся к консерватизму и реакции выглядит Катков.

В различных модификациях сходные типы людей он встречает повсюду вокруг себя и угадывает их в Берлине и Париже, в Риме и Брюсселе.

Поводы к сопоставлениям подает русская эмиграция, которая с 40-х годов начинает приобретать характер политической. В центре ее оказывается, конечно, Герцен, хотя Анненков обходит важное дело Герцена — создание за границей вольной русской печати, его революционную деятельность. И тут уже не все объясняется запретностью темы, невозможностью сказать о заслугах издателя «Колокола» — Анненков не принимает Герцена-революционера именно как русский либерал. Герцен выглядит у него каким-то гражданином вселенной, быстро забывающим Россию, вкось и вкривь судящим о буржуазных порядках во Франции.

Тем не менее вокруг Герцена, вокруг споров на его парижской квартире, а потом в связи с проблематикой переписки с Марксом и встречами с людьми из окружения Маркса, в воспоминаниях Анненкова затрагиваются столь важные темы и сопоставления, что их следует прокомментировать несколько шире, выходя за рамки чисто анненковских трактовок...

Важным моментом идейной борьбы был спор вокруг герценовских «Писем из Avenue Marigny», создававшихся в Париже и опубликованных в «Современнике» в 1847 году. В спорах выяви-

лись различные подходы к оценке буржуазной цивилизации со стороны Герцена, весьма саркастически нападавшего на эксплуататорскую и антидемократическую сущность буржуазии, и со стороны московских либералов, преклонявшихся перед благами европейской жизни. Симпатии самого Анненкова в большей мере склонялись к московским западникам. Он приводит в воспоминаниях пространное письмо к нему Боткина от 12 октября 1847 года, в котором тот возражает против презрительного отношения Герцена к буржуазии. Разумеется, и Боткин сочувствует пролетарию, и его возмущает грубость и сильный прозаизм буржуазных нравов, и все же Боткин восклицает: «Дай бог, чтоб у нас была буржуазия!» Либералы-западники считали герценовскую критику несвоевременной: А. Д. Галахов нападал на Герцена в «Отечественных записках»: «Буржуазия создала силу Франции: неужели русский путешественник XIX столетия не видит в ней ничего, кроме злоупотребления власти? Вопрос о богатом сословии тесно связан с вопросом о капитале: для чего браните вы первое, ничего не говоря о последнем...» [1] А капитал-де, мол, создал промышленность, индустрию, мировую торговлю, комфорт, расцвет науки. Анненков верно передает опасения некоторых друзей Белинского и отчасти, видимо, свои, как бы критик не впал в герценовский нигилизм, побывав за границей. На этом Анненков, собственно, и ставит точку в воспоминаниях. Но знал он о позиции Белинского неизмеримо больше.

В Париже, на квартире у Герцена, «Письма из Avenue Marigny» горячо обсуждались. Анненков при этом присутствовал, сам спорил. Белинский высказывал свою точку зрения на этот вопрос и по приезде в Россию — в письмах к Анненкову от 1—10 декабря 1847 года, к Боткину от 2—6 декабря 1847 года он продолжал ее обосновывать. Его позиция резко отличалась от позиции либералов, но существенно отличалась и от герценовской. Белинский видел, что и России не миновать капиталистического развития, что буржуазный строй будет выше крепостнического. Но это не предлог, чтобы восхищаться буржуазным строем. Герцену не хватало исторического взгляда на буржуазию. Белинский предлагал диалектический подход. Нужно различать буржуазию борющуюся и буржуазию торжествующую. В борьбе с феодализмом она была во всем права, но, придя к власти, вполне обнаружила свою эксплуататорскую сущность, И капитал имеет двойственную природу: он создал промышленность, и она сама по себе — источник великих зол, но и источ-

[1] «Отечественные записки», 1848, т. LVI, № 1, отд. V, с. 22.

ник великих благ для общества, и, «собственно, она только последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом» [1]. Слова «последнее зло» означают, что не на машины надо нападать, которые в руках буржуазии — орудие эксплуатации, а на буржуазию, ибо при свободном от тирании социальном строе промышленность будет только благом. Вместе с тем Белинскому совершенно ясно, «что владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором» [2], несмотря на «оргии промышленности», буржуазия бездуховна, у нее нет чувства национальной чести, национальной гордости: «...горе государству, которое в руках капиталистов» [3]. Белинский обнаружил предельную для тогдашнего русского мыслителя зоркость в разборе столь важного вопроса, живо затрагивавшего и будущие русские порядки. Но был исторический предел и для понимания Белинским этих проблем. В только что цитировавшемся письме его к Боткину есть фраза: «Я даже согласился с Анненковым, что слово «bourgeoisie» не совсем определенно по его многовместительности и эластической растяжимости» [4]. Неопределенность слова заключалась в том, что Белинский еще верит в «третье» сословие. Он не пережил горького опыта июньских дней 1848 года, когда вся буржуазия выступила как контрреволюционная сила против пролетариата, впервые заявившего о себе как о самостоятельной политической силе, готовой разрушить все формы эксплуатации. Белинский еще мог рассуждать в том же письме следующим образом: «Итак, не на буржуази [5] вообще, а на больших капиталистов надо нападать, как на чуму и холеру современной Франции. Она в их руках, а этому-то и не следовало быть. Средний класс всегда является великим в борьбе, в преследовании и достижении своих целей. Тут он и великодушен и хитер, и герой и эгоист, ибо действуют, жертвуют и гибнут из него избранные, а плодами подвига или победы пользуются все» [6]. Да, так было в революцию 1789—1794 годов, так было в революцию 1830 года. Так поначалу было и в революции 1848 года, с февраля по июнь, пока мелкая и средняя буржуазия старалась упрочить свое место под солнцем, наряду с крупной буржуазией, уже пробравшейся к власти в 1830 году. Но самостоятельное выступление пролетариата в июне того же года раскололо «третье» сословие, и вся буржуазия объединилась вместе с реакцией на защиту своих

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 452.
[2] Там же, с. 447.
[3] Там же, с. 449.
[4] Там же, с. 448.
[5] Белинский на французский манер транскрибирует слово,
[6] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 449.

интересов. Осознание этого факта привело Герцена к известной его «духовной драме», крушению надежд на возможность объединения людей труда и капитала в некоем социалистическом братстве. Оттолкнувшись от этого берега утопических иллюзий, Герцен не мог пристать к другому, обозначившемуся тогда берегу, к научному социализму Маркса и Энгельса. Как поступил бы Белинский, доживи до этих дней, сказать трудно; всего вероятнее, он разделил бы участь Герцена, хотя и трезвее смотрел на социалистические утопии.

Обратимся к тем страницам воспоминаний Анненкова, где он рассказывает о своих встречах и переписке с К. Марксом. Знакомство состоялось, вероятно, в конце марта 1846 года в Брюсселе. Посредником был Г. М. Толстой — либерально настроенный казанский помещик, уже прежде знакомый с К. Марксом, тот самый, который помог деньгами И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову в конце 1846 года приобрести журнал «Современник» [1]. Много позднее в одном из писем Л. Кугельману Маркс иронически отзывался о некоторых русских доброхотах из аристократии, крутившихся вокруг него в молодости. Но Толстой выглядит серьезнее этого среднего типа, хотя Анненков несколько шаржирует его портрет. Во всяком случае, сам Анненков не подпадает под категорию таких лиц. Для него крайние левые теории не были только тонким лакомством, на государственную службу он не поступал и в «негодяя» не превращался. С Анненковым у Маркса были серьезные отношения. Нам можно сегодня гордиться тем, что издание «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями» (М., Госполитиздат, 1951) открывается письмом П. В. Анненкова к Марксу от 1 ноября 1846 года и вообще с «Анненкова»... Просматривая переписку К. Маркса е А. А. Серно-Соловьевичем, Н. И. Утиным, Н. Ф. Даниельсоном, Г. А. Лопатиным (первым переводчиком «Капитала» на русский язык), с В. И. Засулич и воздавая должное важности затрагиваемых в ней вопросов, можно сказать: в основном это «организационно-деловая» переписка. А письмо Маркса к Анненкову по поводу книги Прудона «Философия нищеты» от 28 декабря 1846 года из Брюсселя в Париж представляет собой обстоятельнейшее изложение Марксом своего «учения», каким оно выглядело к 1846 году, когда не было еще ни «Немецкой идеологии», ни «Манифеста коммунистической партии». Анненков цитирует это письмо Маркса. Есть несколько мелочей, которые свидетельствуют об особо хорошем, доверительном отношении Маркса

---

[1] См. очерк К. Чуковского «Григорий Толстой и Некрасов», — «Литературное наследство», т. 49-50, с. 365—396.

к Анненкову: извинения за «плохой французский язык», на котором пишется письмо вместо хорошего немецкого — предпочтение оказано в связи с тем, что обсуждалась книга французского автора, — но Маркс имел дело с русским корреспондентом, который равно на обоих языках мог бы прочесть довольно сложное содержание письма. Позднее — просьба об одолжении ста — двести франков, так как находится с семьей в «тяжелом... безнадежном положении»: «Вы поистине спасли бы меня от величайших неприятностей».

Теперь вопрос: достоверно ли воспроизводится у Анненкова сцена, которая произошла между Марксом и Вейтлингом на заседании Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета? Маркс гневно разносил Вейтлинга за его «уравнительный коммунизм». В литературе об Анненкове считается, что эта сцена передана глазами перепуганного русского «либерала» и является чуть ли не карикатурой на Маркса. Но ничего странного, необычного в этой сцене нет. Анненков говорит, что Вейтлинг «хотел удержать совещание на общих местах либерального разглагольствования», много распространялся о своих заслугах перед страдающим от бедствий народом в пику тем критикам, которые якобы способны только на кабинетный анализ доктрин. Тут-то как раз Маркс и прервал его: «Никогда еще невежество никому не помогло!» — и стал доказывать гибельность «вредных вспышек», провоцирование народа на выступление, когда он еще совсем не подготовлен и движение не имеет четкой программы. Разумеется, не ставя Белинского наравне с Марксом, мы разве не можем заметить, что нечто похожее Анненков рассказывает много раз и о «неистовом Виссарионе», точно так же решительно ополчавшемся на всякое ложное мнение. Не так ли точно Анненков был поражен силою доводов и негодования, когда Белинский прочел ему перед отправкой свое зальцбруннское «Письмо к Н. В. Гоголю»? Разве не в том же духе выступал Белинский в присутствии Анненкова и в переписке с ним против «поблажек праздным фантазиям» «верующего друга», то есть анархиста Бакунина, который полагал, что народ готов восстать в любой момент.

В поведении Маркса не было ничего необычного. Точно под тем же девизом борьбы с политическим невежеством учинил Маркс разгром Прудона, без обиняков с первых строк объявив, что находит его книгу «очень плохой», преисполненной «смехотворной философии». Маркс раскрывал, как при помощи схоластических спекуляций выступление Прудона за «всеобщее равенство» оборачивается у него проповедью неравенства, а нападки его на буржуазный строй немного стоят, ибо он сам,

мелкий буржуа и в абстракциях обожествляет буржуазные экономические категории, они для него — «вечные сущности». Если посмотреть хронику жизни Маркса, его письма, его выступления в 40-е годы, то все они определяются «критическим пересмотром» или философии права Гегеля, или «догматического социализма» Фурье, Прудона, «догматического коммунизма» Кабе, Дезами. Из решительных приговоров, произнесенных с искрометным остроумием, состоит и совместно написанная Марксом и Энгельсом книга «Святое семейство», содержащая разгром немецких догматиков.

Думается, приемы Марксовой борьбы против отвлеченных философских спекуляций, приводящих к обожествлению «наличного бытия», не прошли даром для Анненкова. Определенная штудия чувствуется в воспоминаниях, где Анненков разъясняет период философского «примирения» Белинского с действительностью, уроки «фальшивого псевдогегелевского оптимизма». Отложились в сознании Анненкова весьма привлекательные черты характера Маркса как типа человека, «сложенного из энергии, воли и несокрушимого убеждения», сознающего полностью свое «призвание управлять умами, законодательствовать над ними и вести их за собой». Напрасно Анненков при этом бросает фразу: «Контраст с недавно покинутыми мною типами на Руси был наирешительный». Но при чем тут Русь? Разве не столь же решительными были контрасты и с Вейтлингом, и с Прудоном? Все характеристики Белинского у Анненкова носят контрастный характер по сравнению с прочими типами деятелей на Руси. О Белинском он отзывается, как помним, следующими словами: это был «благородный, цельный, независимый характер», Белинский был «действительно человеком власти и могущества» [1].

Вопрос об отношении Белинского к французской революции

---

[1] Анненкову неизвестны были еще два любопытных пункта сближения Белинского с молодым Марксом. Теперь доказано, что давно замеченное некоторое сходство в разборе романа Э. Сю «Парижские тайны», сделанном Марксом в «Святом семействе», а за год до этого Белинским в специальной статье об этом романе, может быть объяснено тем обстоятельством, что Маркс читал статью Белинского в выдержках, появившихся в немецких газетах (см.: А. Дубовиков. Новое о статье Белинского «Парижские тайны». — «Литературное наследство», т. 56, с. 471—496). С другой стороны, есть указание, что Белинский вместе с Н. Х. Кетчером читал статью Маркса «К критике гегелевской философии права». В библиотеке Белинского сохранился экземпляр «Немецко-французского ежегодника» (Париж, 1844), в котором эта статья была опубликована. В письме к Герцену от 26 января 1845 г. Белинский сообщал, что он с Кетчером читал париж-

Анненков искажает в своих воспоминаниях, уверяя, что, уже находясь в Петербурге, Белинский принял известие о революции 1848 года в Париже «почти с ужасом». Она показалась ему «неожиданностью», «оскорбительной» для репутации тех умов, которые занимались изучением общественного положения Франции и не видели ее приближения. Но это решительно не так не только относительно Белинского, но и относительно самого Анненкова. Белинский в письмах накануне революции по живым впечатлениям говорил и о «паршивой парламентской оппозиции», и борьбе партий во Франции, знал он и по прежним революциям, как буржуазия умеет по горам трупов «увриеров» пробираться к власти. Анненков цитирует в воспоминаниях письмо Боткина к Белинскому от 19 июля 1847 года, когда Белинский был в Париже: «Зачем тебе видеть там одних только *конституционных подлецов*? <...> Политические очки не всегда показывают вещи в настоящем свете». Значит, смотрел Белинский на события через «политические очки». Начавшуюся революцию он воспринимал как занимавшуюся зарю будущего. Это и был один из тех «великих вопросов», который, по словам Белинского, волнует Европу. Анненков еще в «Парижских письмах» по горячему следу подчеркивал, что теперь совершается переход от старого общества к промышленному[1]. Не исключено, что пристальное внимание к такому роду движения если не пробуждалось, то закреплялось у Анненкова не без влияния его встреч с Марксом.

Анненков в воспоминаниях французскую революцию 1848 года не изобразил. Но она была в думах Анненкова. Об этом свидетельствуют уже упоминавшиеся письма его к братьям в 1848 году. Анненков живет в Париже, видит революцию, с террасы Тюильрийского дворца смотрит на уличные схватки. Но и тут не забудем, что письма пишутся с учетом перлюстрации. Конечно, Анненков напуган событиями, но не настолько, чтобы бежать из Парижа. Его письма — из числа тех немногих документов, в которых глазами русского человека воспринимается одно из са-

---

ский «Ярбюхер» и что он из этой статьи «истину... взял себе» — и в словах «*бог*» и «*религия*» видит «тьму, мрак, цепи и кнут» и любит теперь «эти два слова, как следующие за ними четыре» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 250). Курсивы Белинского восходят к следующему месту у Маркса: «Религия есть *опиум* народа. Упразднение религии, как *иллюзорного* счастья народа, есть требование его *действительного* счастья» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1. М., 1955, с. 415). Белинский сознавал, сколь велики эти истины, и сожалел, что нельзя их печатно «популяризировать и обнародовать».

[1] См.: «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, с. 264 и др.

мых сложных исторических событий [1]. Это было время, как говорит Анненков в воспоминаниях, «надежд, гаданий и всяческих *аспираций*», то есть «стремлений». Уже февральские события обескураживали Анненкова. Именно ему принадлежит фраза о «горестной профанации» всех этих «аспираций». Но почти все предреволюционные и революционные эпохи знают эту разницу между первоначальными надеждами и суровыми результатами. Только немногим умам удается последовательно прослеживать связный почерк истории и революционное движение воспринимать как органическое целое. Именно так понять революцию 1848 года было дано лишь К. Марксу и Ф. Энгельсу. Не понял ее до конца и Герцен. Еще дальше от правильного понимания стоит Анненков. В его письмах много эмоциональных моментов, хотя, несомненно, он в конечном счете ратовал за установление «порядка», равно возмущаясь кровопролитием как со стороны восставших парижан, так и со стороны душителя революции Кавеньяка. Письмо от 27 февраля 1848 года, где говорится о «горестной профанации», Анненков просит показать Белинскому.

Но события не были неожиданностью для Анненкова и тем более для Белинского. О закономерности революционных взрывов Маркс писал Анненкову еще в 1846 году. Предощущением неизбежности взрыва преисполнено его письмо к братьям от 9 марта 1848 года, после бегства короля Луи Филиппа, и в преддверии выборов в Национальное собрание: «Хотят, чтоб в нем было побольше мужиков, мастеровых и вообще рабочего класса: этого даже и в старую революцию не было [2], — вот почему настоящая гораздо ужаснее прежней. Теперь идет дело, как бы сделать работника владельцем части того, что он работает по заказу; как бы сделать земледельца владельцем части чужой земли, которую он обрабатывает по найму; разумеется, фабриканты и владельцы земли будут сопротивляться... Битва отложена до Национального собрания. Вместе с ним она подымется — страшная, решительная...» [3] Собственно, битва уже шла полным ходом. Анненков хотел только, чтобы битва не выходила на улицы, не приняла вооруженный характер.

---

[1] Письма хранятся в ИРЛИ, № 2—42, с 26 февраля 1846 по 14 июля 1848 г. Особенно важны письма за № 36—42. Частично опубликованы И. Л. Морозовым в статье «Горестная профанация» в «Историческом сборнике», 1935, № 4, Л., Изд-во АН СССР. И. Л. Морозов очень предвзято истолковывает эти письма и все время сопоставляет отклики Анненкова о революции с суждениями о ней К. Маркса. Но кто же выдержит такую параллель!..

[2] То есть имеется в виду революция XVIII в., но этого не было и в революцию 1830 г.

[3] «Исторический сборник», 1935, № 4, с. 248.

В восприятиях Анненкова был и рациональный смысл, если учесть русские условия. В общем-то обновление жизни его радует. Революция несла то, о чем в России можно было только мечтать. Никак не назовешь его интерес к событиям «платоническим». Он просит показать Белинскому письмо, в котором перечисляет то блага, которые несла французская революция и которые не мог дать режим Луи Филиппа: «Совершенная свобода печати, свобода создания клубов, право быть всем вооруженными, которые записались в Национальную гвардию, всеобщее избирательное право достигшим 21 года, право быть избранным с 25 лет». Любопытно замечание Анненкова и о том, что крестьяне, закоренелые собственники, терпеть не могут пролетариев и ринулись многими отрядами с ружьями на помощь Парижу, то есть на помощь «законной власти». 1848 год для Анненкова был высшим пунктом его политических и общественных интересов.

Уединившись у себя в имении, Анненков конспективно, вчерне набрасывает очерк «Две зимы в провинции и деревне. С генваря 1849 по август 1851 года», увидевший свет только после его смерти. Перед нами не что иное, как продолжение размышлений о судьбах мира, судьбах России в свете того зарева, которое загорелось во Франции. Для нас этот очерк существенно дополняет «Замечательное десятилетие» и свидетельствует, что Анненков не только напуган революцией, но и прозревает при ее помощи. Желание перемен в России стало еще более сильным. Тем саркастичнее он изображает разгул дикой николаевской реакции у себя дома, испуг повсюду, ожидание арестов в связи с французской революцией, делом петрашевцев, венгерскими событиями. Николай I и его прислужники явно представляются как антинародная сила, тупая и изжившая себя. Хотя здесь Анненков скрыто полемизирует с Герценом, слишком оптимистично смотревшим на вопрос о зрелости революционных сил в России, тем не менее Анненков видит, что Россия не только придавлена гнетом реакции Николая I, но что в ней бурлит и недовольство — и старой дорогой идти уже невозможно.

Еще позднее Анненков опубликовал воспоминания «Февраль и март в Париже, 1848 год» («Библиотека для чтения», 1859, и «Русский вестник», 1862), и этот акт с его стороны имел характер предупреждения русских от кровавых беспорядков.

Следует, однако, оцепить и то, что в 1880-е годы он все же захотел вернуться к этой эпохе, и она невольно связывалась с «замечательным десятилетием» русских идейных исканий, с Белинским и Герценом. Познавательное значение «Замечательного десятилетия» огромно при всех недостатках концепции автора, толковавшего иногда о непосильных для него проблемах.

5

Оба воспоминания о Тургеневе: «Молодость И. С. Тургенева» и «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым» — написаны были по свежим следам — кончины писателя и появились в свет первое — в 1884-м и второе — в 1885 году. Тургенев письменно завещал Анненкову разобрать его переписку и использовать в печати, как он сочтет нужным.

Если к Белинскому Анненков тянулся как к идеалу, как к центральной фигуре «замечательного десятилетия», — что делает ему великую честь, — то в Тургеневе он нашел на редкость родственную себе натуру. Их дружеская переписка с 1852 по 1883 год составляет 750 писем. Анненков хорошо видит Тургенева «изнутри» и в своих мемуарах более здраво, чем в статьях, оценивает его творчество. Тургенев, в свою очередь, отзывался об Анненкове: «Я верю в его вкус» (из письма к М. М. Стасюлевичу).

Основная задача первого воспоминания — осветить малоизвестные страницы биографии Тургенева, после того как его слава и литературное значение получили признание во всем мире. Анненков и начинает свой очерк с высказываний о Тургеневе Флобера, Ж. Санд, Карлейля, Гизо, Доде, Золя, Мопассана, Ренана. На этом фоне тем парадоксальнее выглядят некоторые особенности характера Тургенева в начале поприща, когда современникам бросались в глаза стремления Тургенева к литературному «эффекту», его нерешительность, рассеянность. При несомненной, рано обнаружившейся талантливости он долго искал себя, сперва прослыл в качестве стихотворца, автора поэм «Параша», «Разговор», и потом как бы случайно набрел на темы и жанровые приемы «Записок охотника», упрочивших его положение. Анненков старается жизнью и характером Тургенева объяснить его литературный путь. Он, в частности, вводит в оборот ценные сведения о тяжелых отношениях Тургенева с его матерью, женщиной деспотической, что значительно повлияло на его характер.

Подступы к первому роману — «Рудин» — освещены Анненковым обстоятельно. И все же заметно, как он уклоняется от высказываний своих личных мнений о Тургеневе. Обошел он вопрос и о той исключительной роли, которую сыграл в литературной судьбе писателя Белинский, первый угадавший его незаурядный талант и направлявший его развитие. Может быть, это объясняется тем, что Тургеневу было отведено несколько страниц в «Замечательном десятилетии».

Гораздо значительнее воспоминания «Шесть лет переписки

с И. С. Тургеневым», охватывающие период с 1856 по 1862 год, то есть от «Рудина» до «Отцов и детей». Перед нами подлинные письма Тургенева, адресованные Анненкову, с примечаниями Анненкова, носящими мемуарный характер.

Из личной жизни Тургенева здесь отмечаются три острых эпизода, о которых общественность давно была осведомлена по слухам: разрыв Тургенева с «Современником» из-за статьи Добролюбова о романе «Накануне», тяжба с Гончаровым на почве сходства мотивов в романах обоих писателей и несостоявшаяся дуэль с Л. Н. Толстым. Два последних эпизода изложены исчерпывающе ясно. Анненков сам был в составе третейского суда (наряду с С. С. Дудышкиным и А. В. Дружининым), который и разъяснил, что подозрения Гончарова относительно плагиатов Тургенева несостоятельны. Рассказывая о несостоявшейся дуэли между Тургеневым и Л. Н. Толстым, Анненков преуспел в главном: убедительно доказал, что Тургенев от вызова не уклонялся и его снял сам Толстой. В одном Анненков не располагал всеми фактами: в характеристике причины ссоры. Об этом позднее, в 90-х годах, расскажет А. А. Фет в своих воспоминаниях, так как ссора между Толстым и Тургеневым произошла в его доме в селе Степановке.

Что касается рассказа о разрыве Тургенева с «Современником», Анненкову не хватает фактов, может быть, потому, что он в 1858 и 1860-х годах жил за границей. Но самое главное — он не видит социально-общественной, политической основы этого разрыва, символизировавшего раскол в русском освободительном движении на демократов и либералов. Анненков приводит неубедительные мелочные причины, таившиеся больше в недоразумениях личного характера.

Великолепно нарисовав сцены своих разговоров с М. И. Катковым в качестве доверенного лица Тургенева по поводу печатавшегося в «Русском вестнике» романа «Отцы и дети», Анненков явно неумело пародирует придирки Каткова к образу Базарова как чрезвычайно опасного для России. Анненков полагает, что ему вполне удается отстоять точку зрения автора романа указанием на то, что образ Базарова достаточно шаржирован и не может приниматься всерьез. Тут всецело сказывается «либерализм» Анненкова. Между тем сам Тургенев дает почувствовать в романе (впоследствии подтвердив это в специальной заметке об «Отцах и детях»), что он всей душой на стороне «новых людей» и будущее принадлежит Базаровым, хотя и нельзя разделять многих их воззрений.

В этих воспоминаниях есть много ценных страниц: об особой, видимо, автобиографической основе повести «Ася», о творческой

лаборатории писателя, которая хорошо раскрывалась при изучении оставшихся рукописей автора, о том, как Тургенев делился с Анненковым и другими своими друзьями размышлениями по поводу романа «Накануне», как оба они, Тургенев и Анненков, вместе переживали то странное, гробовое молчание, с которым русский народ встретил манифест 1861 года о своем «освобождении».

Много честных и значительных признаний у Анненкова в этих воспоминаниях. Их особенность состоит в том, что он говорит о человеке, который был более всего понятен и равен ему не по таланту, конечно, и значению, а по манере понимать вещи. В развернувшейся идейной борьбе 50—60-х годов они принадлежали к одному лагерю. Поэтому многое из того, что говорит Анненков в воспоминаниях о произведениях Тургенева, теперь, задним числом невольно координировалось с его собственной критической деятельностью в 50—60-х годах, когда он писал о произведениях Тургенева в журналах. Теперь, после смерти Тургенева, Анненкову казалось, что он может позволить себе более откровенные высказывания. В одном из писем к Пыпину Анненков намекает, что при всей своей любви к Тургеневу ему теперь придется без церемоний коснуться многих вопросов: «Нельзя же к остатку своей жизни — все играть в жмурки, как я делал — увы — до сих пор» [1].

Как понимать эту несколько неожиданную и весьма многозначительную фразу? Ответ можно найти, если сопоставить то, что говорит Анненков об одних и тех же произведениях Тургенева в мемуарах и в статьях. Разница не столь большая, но имеется. В нашумевшей в свое время статье «Литературный тип слабого человека» (1858), написанной по поводу тургеневской повести «Ася», Анненков вступал в полемику со статьей Чернышевского на ту же тему — «Русский человек на rendez-vous». Анненков брал под защиту тип «слабого» человека, выведенный Тургеневым, хвалил свойственную этому типу рефлексию, интеллектуальное богатство, противопоставлял его так называемым «цельным» натурам, людям «трескучей фразы», которые духовно бедны и рано или поздно срываются со своих пьедесталов. При этом Анненков делал общий ошибочный вывод: «В свойствах нашего характера и складе нашей жизни нет ничего похожего на *героический* элемент» [2]. Теперь в мемуарах «Шесть лет пе-

---

[1] «М. М, Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, с. 434.

[2] П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки, т. 2. СПб., 1879, с. 167.

реписки с И. С. Тургеневым» нет апологии типа «слабого человека» — она запряталась глубоко в переадресовку созданного Тургеневым типа самому Тургеневу, отсюда и подчеркивание автобиографизма повести «Ася». А при такой комбинации «негероический» Тургенев может поспорить с любым «активным» разночинцем. И все же Анненков волей-неволей теперь уже отказывался от полемики с Чернышевским. Точно таким же образом, наверное, при жизни Тургенева изустно Анненков не позволял себе высказывать суждения о деловой сухости и однолинейности образа Базарова. Об этих чертах Базарова он теперь свободно говорит в мемуарах, Специальной статьи об «Отцах и детях» он не писал. Это, возможно, объясняется тем, что, как говорится в мемуарах, Тургенев был романом доволен и не очень прислушивался к критическим замечаниям друзей, его больше интересовали мнения молодого поколения, хотя он и с ним «ни на какие сделки не шел». К числу новых смелостей, видимо, относится у Анненкова и критический отзыв об образе Соломина в романе «Новь». У Тургенева есть определенная ставка на Соломина, который своей практически-штольцевской манерой решать социальные вопросы должен был противостоять романтизму народников, Нежданову и другим. Но Анненков как раз под свою защиту берет Нежданова и «хождение в народ» объявляет «замечательной страницей из истории внутреннего быта России», а о Соломине говорит как о «малогероичном, бесцветном, мещански-осторожном фабриканте». Слова, знаменательные для оценки самого Анненкова, как видим, весьма далекого от того, чтобы одобрять буржуазное делячество и всех «либералов».

Эта важная тема проходит и в воспоминаниях Анненкова об А. Ф. Писемском под названием «Художник и простой человек», написанных вскоре после кончины писателя (январь 1881 г.). Воспоминания искренни и сильны.

Для самого Анненкова воспоминания о Писемском — новое важное завоевание. Тут и эпоха переходная, сложная, и писатель — «простой» русский человек, наделенный «непосредственной силой таланта», но и преисполненный сюрпризов, парадоксов, диковинок. По типу Писемский был так не похож на людей 40-х годов, к которым принадлежали Гоголь, Белинский, Герцен, Тургенев и сам Анненков.

Конечно, в этом очерке — в характеристике 50—60-х годов, «молодой редакции» «Москвитянина», «Свистка», «Современника» — много либерального примиренчества Анненкова. Но он нисколько не идеализирует обстановки в стране, показывает ее критическую фазу. Самое же главное — Анненков хорошо уловил появление в русской литературе особого разряда писателей, к ко-

торым справедливо относит Писемского и А. Н. Островского (добавим от себя, к ним принадлежал также и Н. С. Лесков), которые были совершенно чужды предписаниям критики 40-х годов и главная сила которых была в великолепном знании жизни, низовых социальных пластов. У Писемского же Анненков особенно подчеркивает отсутствие всякого сентиментализма по отношению к народу: писатель не обольщался готовящейся реформой. Писемский трезво предвидел, что жестокости в народном быту, его «горькая судьбина» еще впереди, они возрастут с неимоверной силой и в пореформенную эпоху: «В эпоху обновления не верил». Писемский — человек непредвзятых суждений: он опирается на жизненный опыт, его ум — не отвлеченной теоретической складки, который обо всем судит по учениям и верованиям. Анненков, однако, не упускает и уязвимых мест парадоксальной позиции Писемского, какого-то внутреннего душевного слома, который мешал писателю трезво ориентироваться в общественной жизни.

Характерны при этом и появившиеся в этих воспоминаниях элементы критической оценки Дружинина, взгляды которого имели «*консервативный*» оттенок, суждения его о литературе носили «эссеистский» характер, и он был «слишком вельможен» для массы русских читателей; неожиданно Дружинин уподобляется Сенковскому, которого он «очень уважал».

Анненков способен был улавливать самые здравые голоса времени, рисовать живые фигуры разных эпох. Его личные впечатления складываются в широкие картины умственного движения. Он обладает, по верному определению Тургенева, «энциклопедически-панорамическим пером». Он умеет пластически лепить образы людей и, если можно так выразиться, образы идей, теорий, общую атмосферу споров. Он был способен жить неумирающей памятью. Отсюда свежесть и достоверность его мемуаров, их огромная познавательная ценность.

В. И. Кулешов

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Н. В. ГОГОЛЬ В РИМЕ ЛЕТОМ 1841 ГОДА

I

С самой Вены торопился я в Рим, к страстной неделе, и наконец привел свой план в исполнение! Доехав до Анконы, я предпринял оттуда довольно оригинальное путешествие, которое покажется баснословным, когда железные дороги в Италии уничтожат последний отпрыск поколения ветуринов *. Я нанял в Анконе одного такого ветурина, человека уже весьма пожилого и обладателя старой кареты, в которую дуло даже из спинки ее, и двух тощих кляч. Мне привел его *cameriere* ** трактира, где я останавливался в Анконе. Мы уговорились сделать путешествие к вечному городу самым ускоренным способом, именно в одну неделю (200 итальянских миль переезда или около 350 верст), причем попечение на прокормление меня в это время и на доставление ночлегов возложено было тоже на возницу. Таким образом, за 12 скуд, или 60 франков, он делался в продолжение трех суток моим кучером, дядькой, сберегателем и полным хозяином моей воли. В этом отстранении личной свободы, а вместе с тем и ответственности за себя и за свое существование, было что-то очень приятное. Старик, весьма суровый с виду, но плутоватый, как все итальянцы, живущие около трактиров и больших дорог, ни разу не изменил горделивому слову, которым он возразил на мое беспокойное сомнение касательно достоинства будущего провианта. «Signor, son galant'uomo ***, — сказал он, — и все лучшее, что найдем в гостиницах, будет вам представлено». И действительно, он был порядочным человеком в этом смысле, но в другом отношении никак

* Ветурино (*ит.* — veturino) — извозчик на дальние расстояния.
** слуга (*ит.*).
*** Синьор, я порядочный человек (*ит.*).

нельзя было его упрекнуть в излишне суровом понимании своего долга. Во-первых, увидав на другой день рыхлую карету у подъезда гостиницы, я никак не мог вообразить, чтоб эта была та покойная, хорошая, красивая и *всем известная* карета, про которую мне говорил ветурино накануне, да и лошади не походили на тех статных, хороших, *любезных* лошадей, какие представлялись моему воображению благодаря его описаниям. Но делать было нечего. Я сел в карету скрепя сердце и, покуда привязывали чемодан к запяткам, весьма сурово посматривал на мальчишку в лохмотьях, который, подойдя к самой дверце, требовал милостыни с какой-то удивительной настойчивостию, с непостижимым выражением гордости, точно милостыня была казенная пошлина, взимаемая им по закону. Я решился не давать милостыни, смотрел ему прямо в лицо и, когда карета тронулась, имел удовольствие видеть, как, метнув свирепый взор, мальчик протянул кулак и сказал вполовину яростно и вполовину с недоумением: «Вот, еще едет в Лоретто, а милостыни не дает». Путь наш лежал через знаменитое Лоретто, славное своим собором и драгоценностию, в нем хранимой [1]. Но, продолжая изложение не совсем твердых нравственных оснований моего ветурина, я должен еще прибавить, что накануне я выразил ему желание ехать одинодинешенек в карете и получил на то полное согласие его, заплатив предварительно за все три остальные места условленную плату. Я был действительно один в карете, когда мы тронулись от подъезда гостиницы, но, вероятно, ветурино размыслил, что желание мое принадлежит к числу тех варварских капризов капитала, которые можно не исполнять, хотя бы право на них и было утверждено законным контрактом. У самых ворот города сын ветурино, бойкий мальчик лет двенадцати, взятый им с собою для подмоги и для приобретения опытности в ремесле, Отворил дверцы кареты и впустил туда двух калабрийских читадинов *, в весьма живописных костюмах, сказав мне с наглостию, обещавшей большие успехи в будущем: «Они до первого города, синьор». Оказалось, что в мысли ветурино и его потомка первый город был Рим, как, впрочем, и следует думать о нем всякому поэту и философу. Дело еще этим не кончилось. У меня было грустное предчувствие, что и третье пустое место будет

* Читадино (*ит.* — cittadino) — горожанин.

вскоре *занято*, — так и случилось. Едва отъехали мы по шоссе несколько сажен, как увидали на дороге в желтом, весьма неживописном и потертом городском сюртуке молодого человека лет восемнадцати, с немецкой физиономией, здорового, мускулистого и несколько робко поджидавшего нашего подъезда. Это был бедный сапожный подмастерье из католических кантонов Швейцарии, отправлявшийся в вечный город искать места в папской гвардии, после неудачных попыток прославиться где-нибудь в провинции[2]. Он влез в карету неуклюже, но уклончиво и стыдливо, словно чувствуя за собой какой-либо проступок. Все места были заняты: я посмотрел в переднее оконце на ветурино. Он сидел на козлах в круглой шляпе с большими полями, в коричневом плаще с откидным капишоном и с длинным бичом в руке — спокойно, неподвижно и хладнокровно, как будто жизнь и прошедшее его были чище зеркала, но молчание и суровость его выражали все-таки некоторую стыдливость и точно говорили: «Как быть? Мы живем этим». Только мальчишка его часто оборачивался назад и кидал на меня сквозь оконце испытующий взгляд.

И началось долгое путешествие. Происходило это в самой средине итальянской весны, в конце апреля месяца. Начало ее я застал в Венеции, но там она имела совсем другой характер. Еще Гете заметил, что Венеция город по преимуществу красок, света, тени и ярких живописных противоположностей[3]. В мое время полное весеннее солнце отражалось и играло на его мраморных, разноцветных дворцах и соборах, на мозаиках их стен, на заливе, на колоннах площадей, на флагах и памятниках его, которые сверкали всей своей массой... Это было ослепительно, почти невыносимо для северного глаза. Довольно сказать, что даже и те архитектурные подробности, которые находились в тени и вырезывались резкими очертаниями на плоскости целого здания, залитого солнцем, даже и они были еще пропитаны каким-то голубым светом, словно волновавшимся на поверхности их. В Анконе характер природы изменился. Небо покрылось легкими белыми прозрачными тучами. В воздухе было что-то нежное, пахучее и ласкающее, окрестности лежали в ровном, задумчивом освещении, и только изредка волны мягкого света пробегали по виноградным и фруктовым садам. Ничто не раздражало глаза, но и ничто не заслоняло самой дальней точки горизонта. Все пространство

покрыто было не туманом, а какой-то умеренно яркой пеленой, сохранявшей целиком очертания и формы предметов, но сглаживавшей резкость всех линий. Первые отпрыски Апеннин, вскоре показавшиеся нам, светились как перламутр, а дальние водопроводы, являвшиеся иногда по сторонам на горизонте, словно были написаны белой краской, несколько поблеклой от времени, по белому же, но свежему полю неба. Нега и томление выражались на всем, куда вы ни обращали взор, и вы невольно чувствовали, что при таких днях все должно зреть в земле и многое подыматься в сердце человека. Когда около полудня я всходил пешком на гору, где красовалась Лоретто со своим собором и дворцом, долина, которую мы только что миновали, выступала шаг за шагом перед глазами, со всеми ее белыми каменными хижинами, разбросанными так, как будто они упали с неба и рассыпались между виноградных кустов и фруктовых деревьев. Горы составляли окраину долины, и все вместе погружено было в такую возбуждающую, томительную тишину, в такое мертвое и вместе страстное молчание...

Миновав Лоретто, мы стали подыматься у Серравале на Апеннинские горы. Я большей частию шел пешком. Изредка перепадал теплый дождь, ужасно пугавший итальянцев, которые, как все южные народы, боятся дождя. На всякой покатости ветурино останавливался, оглядывался по сторонам и, завидев вдали волов, уже приготовленных заранее для подмоги проезжающим, кричал: «Buovi...» * Мальчик-пастух издалека выговаривал себе байок (две копейки ассигн.) за труд, потом лениво приводил волов, припрягал к нашим лошадкам, и мы тащились вверх. Случалось, что горы готовились запереть нас со всех сторон, врезывались одна в другую и загораживали дорогу, но белая шоссейная полоса все тянулась по одному боку скалы и к вечеру спускалась вниз — непременно в цветущую долину и фруктовый сад, где мы и заночевывали. Ночлеги эти и полуденные отдыхи в ущельях составляли не последнюю прелесть нашего патриархального путешествия. Мы останавливались то в бедной австерии, уединенно торчавшей при дороге, то в гостинице какого-либо местечка, имевшей притязание на пышность, как следует горожанке, но везде встречали ту же простоту итальянской жизни. В иных местах было

* Волы (*ит.*)

лишнее блюдо, обыкновенно какая-либо зелень или рыба, подаваемая с видимой гордостию на стол самим хозяином; в других — фляжка туземного вина, легкого и прозрачного, вызывала особенную похвалу собеседников; случалось также, что кровать совершенно голой комнаты покрыта была ситцевым одеяльцем необычайной и хвастливой пестроты, но везде за стол наш садился вместе с нами первый поселянин, возвращавшийся из соседнего местечка, да обыкновенно и сам хозяин или главный cameriere, поставив блюдо, придвигал стул к посетителям, помещался сзади кого-либо и, опираясь на спинку чужого седалища, вступал в живой и беглый разговор, удивительно выражавший общительность и природное любопытство племени. Ветурино мой почувствовал ко мне глубокое уважение, как только убедился, что я не расположен делать ему упреков за плохое понимание святости контракта: рано утром, когда после кофе выходили мы продолжать наше следование, он уже был на козлах, ласково улыбался мне и даже раз, поджидая остальных путешественников, указал глазами на сына и произнес: «Возьмите его с собой *a Pietroburgo*». — «Пожалуй», — отвечал я. «А что он будет там?» — продолжал ветурино. «Он будет солдатом в русской гвардии», — сказал я. «Хочешь ты?» — заметил отец, обращаясь к сыну, который стоял у двери, тоже улыбаясь с свойственным ему лукавством. Мальчик сделал сильный жест рукою и отвечал: «Лучше быть аббатом». Старик разразился хриплым хохотом и дернул лошадей, прибавив: «Che birbone!» (Экой разбойник!) Лаконическая шутка эта окончательно утвердила между нами самые удовлетворительные отношения.

Отношения мои с двумя калабрийцами — моими спутниками в карете — оказались чуть ли еще не лучше и во всяком случае гораздо замечательнее. Оба спутника были в коротеньких бархатных куртках, в панталонах до колена, в чулках и ботинках; классическая круглая шляпа с огромными полями и широкий плащ тоже украшали их, но первый знакомец, высокий, молодой и красивый мужчина, с горбатым носом и черными волосами, вел себя, как испанский гранд. Он молча и с достоинством подавал мне руку поутру, мало говорил в карете, но с изысканной учтивостию отвечал на вопросы, почти всегда улыбаясь; вместе с тем он отдавал и принимал взаимные услуги, столь обыкновенные между путешественни-

ками, очень важно и серьезно. Я часто посматривал на него украдкой, стараясь уяснить себе свойства и особенности этого изящества в обращении, которое в торговцах кожами, какими оба они были, меня чрезвычайно поражало... Я тогда еще не знал этой итальянской природы, носящей в себе самой возможность простого и естественного достиженья всех родов красоты и благородства. Гораздо позднее ознакомился я с удивительными типами, которые в нищенской, прорванной куртке, наброшенной на плечо, стоят и смотрят, как герои, и с чудными характерами, которые за обухом мясника или за прилавком портного мыслят, как рыцари. Товарищ моего испанского гранда был создан иначе. Это был живой человек, нисколько не красивый, широколицый, с лысиной на голове, уже пожилой и необычайно добродушный, — качество, весьма ясно светившееся и в быстрых черных глазах его. Не знаю, за что он привязался ко мне с первого раза. Тут опять действовало врожденное итальянское добросердечие и то непосредственное чувство, которое у свежих народов бывает вообще неугомонно. Его, видимо, взволновало мое положение путешественника из далекой страны, без знакомых и друзей. Угождениям не было меры. Предупредительность не знала границ. Он суетился от глубокой, сердечной доброты и по действию живого воображения, мгновенно и случайно пораженного. Всю дорогу смотрел он за мной во все глаза и часто, наклоняясь ласково на мою сторону, спрашивал, улыбаясь: «А есть ли такие горы у вас в *Рушии*?» Вопросы подобного рода почти не сходили у него с языка; усматривал ли он признаки внимания и удовольствия на моем лице, как тотчас же обращался с запросом, есть ли в *Рушии* шоссе, реки, лошади, австерии, собаки, деревья, и при моих утвердительных ответах оставался совершенно счастлив, словно ему подарили какое-либо поместье со всеми этими предметами. К этому надо прибавить самое решительное, абсолютное отсутствие всяких сведений и ученой образованности, заставившее его раз спросить: не одну ли веру с турками мы исповедуем? Зато суетливая доброта его не отступала от меня ни на шаг во всю дорогу. Помню, что раз под вечер мы достигли высшей точки Апеннин; я, вместе с моим неотступным провожатым, шел пешком, и мы далеко оставили за собой ветурина. Когда открылась передо мной вся панорама этого хребта с горами, которые составляли бесчисленные перспективы для глаза,

прерывая воздушное пространство своими вершинами и слабея в красках все далее и д а л е е, — я остановился в невольном изумлении. Тут не было ничего ломаного, угловатого и хаотического, как в Альпах, еще недавно мною покинутых; это было просто словно окаменелое, широкое море, где каждая волна приобрела самостоятельность, отразилась живописно на другой, а последняя уже слилась с белесоватой полосой неба. Оттенок вечерней зари, пробивавшейся сквозь облака, бросал на дальние вершины яркий, багровый свет и оттенял сильнее ближайшие к нам. Я хотел что-то сказать сопутнику моему, но его не было возле меня. В это время подъехал ветурино и строгим голосом приказал нам садиться в карету, под тем предлогом, что теперь мы будем спускаться очень скоро, *рысью.* Я тотчас же повиновался, а за мной прыгнул в карету и пропавший мой спутник. Он с торжеством держал в руке пучок полевых цветов, набранных им в горах, и, подавая его мне, сказал отлично громким голосом, как обыкновенно говорят итальянцы иностранцу, на способность понимания которого не совсем надеются: «Положите, положите — эти цветы, эти цветы — в книжку свою, книжку свою — и когда будете в *Рушии,* у с е б я, — вспомните о них». Я положил цветки в путеводитель Муррая[4], где они и теперь у меня покоятся.

Что касается до швейцарского подмастерья, то это был *пария* нашего общества. Все мои сопутники чувствовали себя по состоянию и гражданскому положению выше бедного юноши и оказывали ему совершенное невнимание; только один я отводил ему душу несколькими немецкими фразами, погружавшими его постоянно в какой-то трепет. Застенчивость и робость его были непобедимы. Он не конфузился только тогда, когда спал, а спал он много в карете и спал уже совершенно откровенно. Раскинувшись прямо и по сторонам, он делался тогда почти единственным хозяином кареты, предоставляя в ней товарищам своим, как будто из милости, кой-какие уголки. Вероятно, ветурино принял его в число сопутников за совершенную безделицу, потому что смотрел на него и обращался с ним постоянно с презрением. Следуя привычкам своей родины, молодой швейцарец почти никогда не шел по шоссе, а большей частию карабкался целиком по горам и всегда опереживал возницу, строго придерживавшегося прямой линии. Раз, когда он, высоко-

чив из кареты, прямо полез на скалу, я видел, как ветурино бросил на него невыразимо саркастический взгляд и произнес сквозь зубы, точь-в-точь как Лаблаш в «Севильском цирюльнике»: «Che bestia!» *

Таким образом, за час до солнца, когда в горах еще волновалась сырость весенней ночи, начинали мы путешествие, закутываясь в свои шинели и прижимаясь к своим уголкам; но мало-помалу с возрастающей теплотой дня, иногда очень ярко показывавшегося из-за вершин, сбрасывали шинели вместе с последними остатками дремоты. Тогда останавливались мы в какой-нибудь горной котловине, у подъезда одной из тех каменных хижин, построенных из едва обтесанного булыжника, где внизу у очага живет семейство хозяина, исправляя там и все свои нужды, — и завтракали. Часто случалось мне смотреть, сидя перед уединенной гостиницей, на клочок неба, видимый из ущелья, и любоваться облаками, которые пробегали вверху, точно китайские тени, свертываясь на узком полотне и оставляя по скату гор там и сям оторванные куски и точки прозрачного тумана. Иногда въезжали мы обедать и отдыхать в средневековое местечко, с мрачной башней у моста, перекинутого через обрыв, с романским собором в середине и с остатками полуразрушенного замка в конце, где еще иногда сохранялся аристократический донжон... ** И чем грознее казалась наружность такого местечка, тем сильнее действовало сонное, мертвое спокойствие, царствовавшее на его улицах. Казалось, шумная средневековая жизнь отошла отсюда для того, чтоб оставить за собой пустоту, изредка наполняемую порывами современной жизни, которая иногда мгновенно и бурно проносится над этими местами, позабытыми историей, и снова покидает их на сон и невозмутимую тишину. Было что-то соответственное между нашим медленным, ленивым путешествием и этой летаргической жизнью, которая не заботится о времени, не бегает за ним с судорожной страстью, как остальная Европа, и равнодушно дает ему течь мимо себя... Как будто сам переживаешь это душевное состояние и радуешься, что мог испытать его. Невыразимое наслаждение доставляли мне те счастливые долины, которыми перерезываются Апеннины, оставляя в воображении одно

* Экой скотина! (*ит.*)
** Донжон (*фр.* donjon) — башня.

воспоминание своих садов. Читатель может найти в прекрасной книге мистер Миттермайера об Италии[5] описание замечательно человеческих, мягких отношений между владельцами земель в этой стране и их фермерами, между фермерами и их работниками, отношения, удалившие язву сословной вражды, которою страдает Западная Европа. Все эти долины, разбитые на множество владельческих кусков, с их загородами, виноградниками, полями, садами, — живут как будто одновременной жизнию на всех своих точках. При спуске с горы видны на далекое пространство плоские кровли разбросанных хижин; присутствие человека с его трудом, заботами и радостями чувствуется, так сказать, во всех сторонах картины и дает ей совершенно особенный смысл. Каждая подробность ее словно говорит не только за себя, но и за человека, а все вместе представляется как восхитительный пейзаж и как покров, скрывающий мысль. Олицетворение само напрашивается здесь на каждом шагу. Помню необычайное впечатление, произведенное на меня чудной долиной Фолиньо, которую я видел случайно в полном блеске ясного солнца, в самый полдень. Изумительная тишина лежала на всех полях и огородах, блестевших первою зеленью весны и еще вдобавок омываемых речкой, которая бежала, светясь и скрываясь по временам за кустами. Благоухание лаврового листа неслось к нам на склон горы, по которому мы спускались в долину, развернувшуюся у подошвы ее. Съехав вниз, мы остановились. У самой дороги возвышался необычайно грациозный древний храмик Дианы, в чистом вкусе времен республики, омываемый рекою и чудно отражавшийся белыми колоннами и белыми стенами своими на зелени горы и полей. Нельзя было выбрать лучшего места для жилища чистой богини, и мертвая тишина, царствовавшая как в долине, так и вокруг самого храмика, казалась еще остатком благоговейного уважения и культа, которыми некогда окружали это святилище.

Не стану описывать ни Фолиньо, ни Терни с его каскадом[6], ни Сполетто, ни других мест, прежде нами осмотренных; все это находится в бесчисленных описаниях Италии и обо всем этом надо говорить много и долго, если уже решиться говорить. Скажу только, что по приближении к Риму разбросанные деревни все более и более исчезают и появляются каменные хижины, толпящиеся друг к другу, как бы ища защиты от врагов в об-

щинной и городовой жизни. Средневековые башни и укрепления встречаются чаще. Вскоре открылись перед нами и покинутые, бесплодные поля Рима, по которым Тибр три раза извился широкой мутной лентой прежде вступления своего в вечный город. Мы переехали его сперва у Боргет, затем через *Ponte Mollo* — мост, построенный еще Августом. Какое-то подобие массивного темного колпака, висевшего на небе, указало нам место, где находился Петр, но мы держались левее и через ворота *del Popolo* въехали в Рим, на великолепную площадь, украшенную обелиском, имея перед собою три улицы, начинавшиеся церквами, а налево от себя[7] гору Пинчио с ее чудными виллами, в которых еще не так давно, в XVI столетии, жители Рима видели прохаживающуюся тень Нерона, где-то тут погребенного. Мы приехали в среду на страстной неделе, 28 апреля 1841 года, после однонедельного счастливейшего и в полном смысле насладительного вояжа.

Старомодная карета наша была, однако же, замечена всеми носильщиками, факинами и cicerone, которые вьются около трактиров в Италии, как досадные и часто невыносимые насекомые. В трактире Hôtel de Russie, на самой площади del Popolo, куда я тотчас бросился, не было ни одного нумера, по милости гостей, прибывших к римским праздникам, особенно английских офицеров, смещенных на половину жалованья. Они в фантастических, выдуманных ими самими мундирах наполняли потом церкви и капеллы Рима, радуясь дешевизне его жизни и свободе носить какие угодно самозваные титулы. Я несколько раз изумлялся неутолимому, горячечному любопытству этих мирных воинов, соединенному с оттенком грубой насмешливости и презрения. Не успел, однако ж, я убедиться, что не найду пристанища ни в одном из соседних отелей, как какой-то facilino * подхватил мой чемодан и понесся вдоль Корсо. Волей или неволей я следовал за ним до тех пор, пока он не остановился у одного дома на Корсо, где подхватил меня уже поджидавший хозяин квартиры и приказал нести чемодан вверх, в две пустых и чистых комнатки. Тут произошла одна из тех штук, которые так чернят Италию в глазах людей, привыкших судить о всей стране по первому мошеннику, какой им попадется на дороге. Хозяин потре-

* носильщик (*ит.*).

бовал 150 франков платы за квартиру в продолжение одной святой недели, и я думал выказать удивительные познания местных цен, предложив ту же сумму за весь месяц. Это было ровно в шесть раз более того, что следовало, — и едва торг состоялся, как хозяин, полагая, вероятно, возможность существования *vendett'ы* * и в моей славянской крови, явился ко мне с контрактом, обязывавшим меня не портить ни диванов, ни стульев, ни столов, ни стен, ни рам, ни полов и проч. Подписав это обязательство, я переоделся и тотчас же вышел на улицу, расспрашивая у всех, куда пройти к русскому посольству, где намеревался взять адрес Н. В. Гоголя. Между тем облачное небо, сопровождавшее нас во все время путешествия, разрешилось проливным дождем, загнавшим всех в дома и кофейни. Промокши до костей, с трудом отыскал я дом посольства, взял адрес у швейцара и еще с б*о*льшим трудом возвратился домой, потому что ошибся улицей и плутал до тех пор, пока не наткнулся на извозчичью коляску, имевшую твердость не убежать восвояси от дождя.

На другой день, прежде визита к Гоголю, я отправился в собор Петра. Говорили некогда, что все дороги ведут к Риму; можно сказать, что все дороги в Риме ведут или к Капитолию, или к Петру. Легко узнал я направление, перешел Тибр по мосту, украшенному вычурными статуями[8], поглядел на колоссальную гробницу Адриана (крепость св. Ангела), похожую на громадную пивную стопу, и по прямой линии достиг великолепной колоннады, пропилей Петра, а затем вступил и в святилище, которое так долго грезилось моему воображению, но воображение ничего подобного и нарисовать не могло. Несмотря на несчастные украшения пиластров, принадлежащие к упадку вкуса, линии собора и сочетания их ясно обозначались и с первого шага как будто отнимали возможность измерить их глазом — так огромны были своды над головой, так страшно тяжело упирались в землю пиластры и росли кверху, к дугам потолка, которых принимали на себя. Многим знакомо двойное чувство, испытанное путешественниками при входе в этот храм — чувство бедности отдельного лица в виду колоссальной, вековой постройки и чувство гордости за мысль и силу человека. Особенно это двойное, смешанное чувство ни-

---

* родовой мести (*ит.*).

сходит на вас, когда, следуя по главному проходу (*nef*), уже поражающему широтой своего дугообразного потолка, вы идете прямо на массу света, которая бьет впереди, вступаете под самый купол и на одно мгновение совершенно теряетесь в этом неизмеримом *пространстве,* охваченном каменным Пантеоном. Размеры так страшны, что почти уничтожается понятие о них и нужно какое-либо сравнение для ясного их представления[9]. Колоссальный балдахин Бернини[10] в середине, над гробницей апостола, кажется беседкой, и вы с напряженным усилием соображаете меру его вышины, указываемую обыкновенно дорожниками. Долго бродил я по боковым отделам храма, изучая его памятники, большею частию ухищренной, затейливой манеры XVII столетия, останавливаясь перед колоссальными мозаическими картинами его и осторожно обходя исповеднические ложи, пред которыми стояли толпы народа, исполняющего в эти торжественные дни духовные свои обязанности. Особенно занимали меня бесчисленные эффекты, рождаемые в пространствах этого храма перспективой и взаимным сочетанием каменных и мраморных масс, различно освещенных. То из-за угла какого-нибудь пиластра виднелась колоссальная дуга главного прохода, черная и как бы отрезанная на ярком грунте пустого пространства, образуемого куполом; то выдвигался какой-либо памятник одной частью своей, словно оторвавшейся от общего целого; то открывался вкось балдахин Бернини в темном освещении, а за ним вдали угол папской кафедры, озаренной светлым лучом из окна. Свет окон ложился также на помост, перерезывался густыми тенями массивных пиластров, рождая беспрерывные живописные эффекты, которые благодаря громадности здания имели колоссальный и грандиозный характер. Собор жил своей особенной жизнью... У одной стены я неожиданно наткнулся на моего калабрийского радушного знакомца. Мы обрадовались друг другу. Он рассказал мне, что в нынешнее утро он уже исповедался, был у причастья и завтра, кончив все с Римом, едет далее в Неаполь. С неизменной своей лаской он спрашивал меня о моих похождениях, глубоко опечалился при рассказе о дорогом найме квартиры и, узнав, что я намерен отсюда идти пешком отыскивать одного своего земляка, предложил себя в проводники. Вскоре оказалось, что Strada Felice, близ Monte Pincio, куда мы должны были направлять путь свой,

была столь же мало знакома ему, как и мне. Он беспрестанно расспрашивал всех прохожих о дороге и почти всегда брал не в ту сторону, которую указывали: излишнее желание отличиться услугой сбивало его поминутно с толку. Мы остановили даже одного весьма почтенного мужчину с важной физиономией и с зонтиком в руке. Он подробно изъяснил нам путь, а когда, по обыкновению, отойдя несколько шагов, проводник мой вдруг повернул, ни с того, ни с сего, в переулок, совершенно противоположный указанному направлению, почтенный старец, позабыв лета и важность, пустился за ним вдогонку, крича: «Ma dové vada, corpo di Bacco?» (Да куда же ты идешь, черт возьми?) Запыхавшись, нагнал он проводника, сделал ему препорядочный выговор, поставил на надлежащий путь и, едва обращая внимание на мои изъявления благодарности, спокойно возвратился на свою дорогу. Наконец мы миновали великолепную церковь Maria Magiore, за ней дворец Барберини, встречая повсюду народ в необычайном движении и суете, как обыкновенно бывает перед праздниками там, где еще сохранилось понятие о праздниках, и наконец очутились в Strada Felice, у дома, носившего желанный 126 нумер [11]. Тут, поблагодарив от души моего благороднейшего сопутника, я крепко пожал ему руку, и мы расстались навсегда.

В последнем этаже дома, в просторной передней, я наткнулся на сухого краснощекого старичка, почтенного владельца этажа, г. Челли, с которым так дружно жил впоследствии, и спросил его о квартире Гоголя. Старичок объявил, что Гоголя нет дома, что он уехал за город, никому неизвестно, когда будет назад, да и по прибытии, вероятно, сляжет в постель и никого принимать не станет. Видно было, что почтенный старичок выговаривал затверженный урок, который ему крепко-накрепко был внушен Гоголем, боявшимся посетителей как огня. Но покуда я старался убедить его в своих правах на свидание с его жильцом, дверь прямо перед нами отворилась, и из нее высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо сказал старичку: «Разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо впустить. Здравствуйте. Что ж вы не приезжали к карнавалу?» — прибавил он по-русски, вводя меня в свою комнату и затворяя двери. Надо сказать, что около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал всем своим товарищам по Нежинскому

лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами *знаменитых* французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный приятель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и состоял до конца [12]. Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату, тогда принадлежавшую В. А. Панову [13], а по отъезде его в Берлин доставшуюся мне. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро — стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник, или, говоря пышнее, римская лампа, стояла на окне и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату 20 франков в месяц.

Последнее мое свидание с Гоголем было в 1839 году, в Петербурге, когда он останавливался в Зимнем дворце, у Жуковского. Первые главы «Мертвых душ» были уже им написаны, и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами, с какого-то обеда, к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу, он застал там всех скромных, безызвестных своих друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время... Мы уже узнали, что он собирался прочесть нам новое свое произведение, но приступить к делу было не легко. Гоголь как ни в чем не бывало ходил по комнате, добродушно подсмеивался над некоторыми общими знакомыми, а о чтении и помину не было. Даже раз он намекнул, что можно отложить заседание, но Н. Я. Прокопович, хорошо знавший его привычки, вывел всех из затруднения. Он подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда тетрадь почтовой бумаги в осьмушку, мелко-намелко исписанную, и сказал по-малороссийски, кажется, так:

«А що се таке у вас, пане?» Гоголь сердито выхватил тетрадку, сел мрачно на диван и тотчас же начал читать при всеобщем молчании. Он читал без перерыва до тех пор, пока истощился весь его голос и зарябило в глазах. Мы узнали таким образом первые четыре главы «Мертвых душ»...[14] Общий смех мало поразил Гоголя, но изъявление нелицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах, под конец чтения, его тронуло... Он был доволен. Кто-то сказал, что приветствие Селифана босой девочке, которую он сажает на козлы вместо проводника от Коробочки, — приветствие «ноздря» — не совсем прилично. Все остальные слушатели восстали против этого замечания как выражающего излишнюю щекотливость вкуса и отчасти испорченное воображение, но Гоголь прекратил спор, взяв сторону критика и заметив: «Если одному пришла такая мысль в голову — значит, и многим может прийти. Это надо исправить». После чтения он закутался, по обыкновению, в шубу до самого лба, сел со мной на извозчика, и мы молча доехали до Зимнего дворца, где я его ссадил. Вскоре потом он опять исчез из Петербурга[15].

Гоголь обрадовался нашей новой встрече, расспрашивал, каким путем прибыл я в Италию, одобрял переезд из Анконы с ветурином и весьма сожалел, что предварительно я не побывал в Париже. Ему казалось, что после Италии Париж становится сух и безжизнен, а значение Италии бросается само собой в глаза после парижской жизни и парижских интересов. Впоследствии он часто развивал эту мысль. Между тем время было обеденное. Он повел меня в известную историческую австерию под фирмой «Lepre» («Заяц»), где за длинными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая публика: художники, иностранцы, аббаты, читадины, фермеры, принчипе[16], смешиваясь в одном общем говоре и истребляя одни и те же блюда, которые от долгого навыка поваров действительно приготовляются непогрешительно. Это все тот же рис, барашек, курица, — меняется только зелень по временам года. Простота, общежительность итальянская всего более кидаются тут в глаза, заставляя предчувствовать себя и во всех других сферах жизни. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то

недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностранца), которого он называл синьором Николо. Получив наконец тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайною алчностью, наклонясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии. В середине обеда к нам подсел довольно плотный мужчина, с красивой, круглой бородкой, с необычайно умными, зоркими карими глазами и превосходным славянским обликом, где доброта и серьезная, проницательная мысль выражалась, так сказать, осязательно; это был А. А. Иванов, с которым я тут впервые познакомился. Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив и начал шутить с прислужником, еще так недавно осыпаемым строгими выговорами и укоризнами. Намекая на древний обычай возвещать первое мая и начало весны пушкой с крепости св. Ангела и на соединенные с ним семейные обыкновения, он спрашивал: намеревается ли почтенный сервиторе * *piantar il Magio* (слово в слово — сажать май месяц) или нет? Сервиторе отвечал, что будет ждать примера от синьора Николо и т. д. По окончании расчета за обед Гоголь оставил прислужнику, как и все другие посетители, два байока, а когда я с своей стороны что-то переложил против этой скудной суммы, он остановил меня замечанием: «Не делайте этого никогда. Здесь есть обычаи, которые дороже вашей щедрости. Вы можете оскорбить человека. Везде вас поблагодарят за прибавку, а здесь посмеются». Известно, что житейской мудрости в нем было почти столько же, сколько и таланта. Прямо из австерии перешли мы на Piazza d'Espagna, в кофейную «Del buon gusto», кажется, уселись втроем в уголку за чашками кофе, и тут Гоголь до самой ночи внимательно и без устали слушал мои рассказы о Петербурге, литературе, литературных статьях, журналах, лицах и происшествиях, расспрашивая и возбуждая повествование, как только начинало оно ослабевать. Он был в своей тарелке и, по счастливому выражению гравера Ф. И. Иордана, мог *брать,* что ему нужно было или что стоило это-

---

* Сервиторе (*ит.* — servitore) слуга.

го, полной рукой, не давая сам ничего [17]. Притом же ему, видимо, хотелось исчерпать человека вдруг, чтоб избавиться от скуки возвращаться к нему еще несколько раз. Наслаждение способностию читать в душе и понимать самого человека по поводу того, что он *говорит*, — способностию, которой он, как все гениальные люди, обладал в высшей степени, тоже находило здесь материал... Не имея никаких причин размерять себя, а, напротив, считая необходимостью для истины будущих сношений представить полный вид на самого себя, я говорил решительно все то, что знал, и все то, что думал. Гоголь прерывал иногда беседу замечаниями, чрезвычайно глубокими, но не возражал ни на что и ничего не оспоривал. Раз только он обратился ко мне с весьма серьезным, настоятельным требованием, имевшим вместе с тем юмористический оттенок, удивительно грациозно замешанный в его слова. Дело шло о покойном Гребенке как о подражателе Николая Васильевича, старавшемся даже иногда подделаться под его первую манеру рассказа [18]. «Вы с ним *знакомы*, — говорил *Гоголь*, — напишите ему, что это никуда не годится. Как же это можно, чтоб человек ничего не мог выдумать? Непременно напишите, чтоб он перестал подражать. Что ж это такое в самом деле? Он вредит мне. Скажите просто, что я сержусь и не хочу этого. Ведь он же родился где-нибудь, учился же грамоте где-нибудь, видел людей и думал о чем-нибудь. Чего же ему более для сочинения? Зачем же он в мои дела вмешивается? Это неблагородно, напишите ему. Если уже нужно ему за другим ухаживать, так пусть выберет кто поближе к нему живет!.. Все же будет легче. А меня пусть оставит в покое, пусть непременно оставит в покое». Но в голосе и в выражении его было так много комического жара, что нельзя было не смеяться. Так сидели мы до самой ночи. Гоголь проводил меня потом к моей квартире и объявил, что завтра утром он придет за мной и покажет кой-что в городе.

На другой день он действительно явился и добродушнейшим образом исполнил свое обещание. Он повел меня к Форуму, останавливал излишнюю ярость любопытства, обыкновенные новичкам порывы к частностям, и только указывал точки, с которых должно смотреть на целое и способы понимать его. В Колизее он посадил меня на нижних градинах, рядом с собою, и, обводя глазами чудное здание, советовал на первый раз только проникнуть-

ся им. Вообще он показывал Рим с таким наслаждением, как будто сам открыл его...

Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге до 1836 года, до первого отъезда за границу. (Мы исключаем его быструю поездку в Любек в 1829 году с столь же быстрым возвращением назад.) Правда, некоторые черты, как увидим, уже показывали начало нового и последнего его развития, но они еще мелькали на поверхности его характера, не сообщая ему одной, господствующей краски. 1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости, и вот почему воспоминание с особенной силой привязывается к этому году. Надо сказать, что в Петербурге около Гоголя составился круг его школьных приятелей и новых, молодых знакомых, которые любили его горячо и были ему по душе. Перед этим кругом Гоголь всегда стоял просто, в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный, несколько скрытный характер и наклонность овладевать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кроме жаркой привязанности, которую он питал вообще к двум-трем товарищам своего детства, — «ближайшим людям своим», как он их называл[19], — Гоголю должен был нравиться и тот откровенный энтузиазм, который высказывался тут к тогдашней литературной деятельности его, несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращение приятелей между собою. В этом круге он встречал только ласковые, часто им же воодушевленные лица, и не было ему надобности осматриваться, беречься и отклонять от себя взоры. За чертой круга Гоголь открывал себе широкий путь жизни всеми средствами, которые находились в его богатой натуре, не исключая хитрости и сноровки затрогивать наиболее живые струны человеческого сердца. Он сходил с этой арены в безвестный и, так сказать, уединенный круг своих приятелей, если не отдыхать (в это время он не отдыхал почти никогда, но *жил* постоянно всеми своими способностями), то по крайней мере сравнивать его бескорыстные суждения о себе и ряд надежд, возлагаемых на него, с тем, что говорилось и делалось по поводу его особы на другом, более обширном поприще. Он был прост перед своим кругом, добродушен, весел, хотя и сохранял тонкий, может быть невольный, оттенок чувства своего превосходства и своего значения. Мало-помалу род поучения, ободрения и удовольствия, какие он почерпал

в этом круге, становились ему менее нужны и менее привлекательны; жизнь начала нестись с такой силой вокруг него, показались такие горячие, страстные привязанности, действовавшие и на общественное мнение, что никем неведомый и запертый в себе самом кружок должен был потерять значение в его глазах. Притом же вскоре явились требования со стороны других приверженцев Гоголя[20], на которые старый круг не мог отвечать, и явления в самом Гоголе, которые трудно было понять ему; но почти ко всем его лицам Гоголь сохранил неизменное расположение, доказывавшее теплоту и благородство его сердца. Он даже в минуту развития самостоятельных, наиболее исключительных своих мнений еще вопрошал мысль прежних своих приятелей и прислушивался к ней с большим любопытством. Так иногда писатель, пресыщенный критикой и разбором своих произведений, охотно склоняет ухо к мнению какого-либо оригинального чудака, живущего вдали партий, литературных вечеров и течения господствующих понятий.

Записки о жизни Гоголя, изданные г. Кулишем *, оценены публикой по достоинству[21]. Это одна из немногих драгоценных книг последнего времени, которая исполнена содержания и способна к обильным выводам. Вообще только те книги и важны в литературе, которые заключают гораздо более того, что в них сказано. Вместе с превосходными воспоминаниями гг. Кульжинского, Иваницкого, Лонгинова, Чижова, г-жи Смирновой и С. Т. Аксакова, передающими нам физиономию Гоголя в урывках, но удивительно живо и верно, вместе с замечательнейшими подробностями о жизни Гоголя и обстановке его жизни в разные эпохи, наконец с богатой коллекцией писем самого Гоголя, стоившей издателю, вероятно, немалых у с и л и й, — книга представляет запас материалов для биографии Гоголя, какого вряд ли кто и мог ожидать. Имя издателя ее упрочено в нашей литературе этим добросовестным и благородным трудом. Во многих местах своей книги он с замечательным пониманием своей задачи отказывается от роли биографа. Действительно, биография Гоголя еще впереди. Вот почему заметки, которые следуют теперь, относятся совсем не к

---

* Под этими записками подписаны буквы Н. М., заимствованные г. Кулишем у его приятеля Н. А. Макарова для своего литературного обихода[22]. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

г. Кулишу, исполнившему все свое дело, а имеют в виду тех будущих составителей биографии Гоголя, которые неизбежно воспитаются по «Запискам» г. Кулиша и с помощью их должны будут построить картину жизни и развития этого во всех отношениях необыкновенного человека.

Прежде всего хотелось бы нам, чтоб навсегда отвергнута была система отдельного изъяснения и отдельного оправдания всех частностей в жизни человека, а также и система горевания и покаяния, приносимого автором за своего героя, когда, несмотря на все усилия, не находит более слов к изъяснению и оправданию некоторых явлений. Направление это бесплодно. Там, где требуется изобразить характер, и характер весьма *многосложный*, — оно замещает старание понять и представить живое лицо легкой работой вычисления — насколько лицо подошло к известным, общепринятым понятиям о приличии и благовидности и насколько выступило из них. При этой работе случается, что автор видит прореху между условным правилом и героем своим там, где ее совсем нет, а иногда принимается подводить героя под правило без всякой нужды, только из ложного соображения, что герою лучше стоять на почетном, чем на свободном и просторном месте. Можно весьма легко избегнуть всех этих резких недоразумений, изобразив характер во всей его истине, или по крайней мере в той целости, как он нам представляется после долгого обсуждения. Живой характер, глубоко обдуманный и искренне переданный, носит уже в себе самом пояснение и оправдание всех жизненных подробностей, как бы разнообразны, противоречивы или двусмысленны ни казались они, взятые вро?ь и отдельно друг от друга. Он освобождает биографа от необходимости стоять в недоумении перед каждым пятнышком, придумывая средства, как бы вывести его поскорее, и отстраняет другую, еще важнейшую беду: видеть пятно там, где его совсем нет и где только существует игра света и тени, порождаемая естественным отражением характера на других предметах и лицах. Ввиду цельно изображенного характера умолкает также и всякая литературная полемика, которая без того приведена в необходимость поверять одни свидетельства другими, опровергать одну частность другой частностью, сомнительный приговор — другим, что под конец представляет какую-то длинную цепь фактов, не приводящих ни к какому результату, и где истина кажется на всех

точках, потому что ни на одной не остановилась окончательно. Глубоко продуманный, поэтически угаданный и смело изложенный характер имеет еще и ту выгоду, что он точно так же и принимается, как составился в уме жизнеописателя, то есть целиком. Цельно изображенный характер может быть только целиком отвергнут или, наоборот, целиком принят, на основании Строгих нравственных соображений. Без соблюдения этих коренных условий хорошего биографа автор будет походить всегда на человека, который стоит у весов день и ночь и беспрестанно обвешивает приходящих, задерживая одну чашку с событиями и обвинениями слишком тяжелыми или подталкивая другую с явлениями, в моральном смысле несколько легковесными. Стрелка не придет никогда в свое правильное положение и центральной точки никогда не укажет.

Если с самого детства, с школьнической жизни в Нежине, мы видим, что достижение раз задуманной цели или предприятия приводило в необычайное напряжение все способности Гоголя и вызывало наружу все качества, составившие впоследствии его характер, то будем ли мы удивляться, что вместе с ними появилась врожденная скрытность, ловко рассчитанная хитрость и замечательное по его возрасту употребление чужой воли в свою пользу. Станем ли мы скрывать или, еще хуже, искать у читателя *отпущения* этим жизненным чертам, которые более всего предвещают не совсем обыкновенного человека. В школьнической переписке Гоголя с матерью мы видим, по риторическому тону некоторых писем, что в них скрывается какое-то другое дело, чем то, которое излагается на бумаге, и имеем исторические, несомненные свидетельства в подтверждение невольных догадок, возбуждаемых ими. Многие места их, наиболее пышные, держатся за фактические основания совсем не того рода, какие молодой ученик старается выставить перед семейством. Посредством этих пышных фраз он растет в глазах своих родных, с одной стороны, и исполняет свои собственные намерения, с другой. Это раннее проявление неколебимой воли, идущей упорно к своим тайным целям, по-нашему заключает более поучения и выводов, чем самое прилежное исполнение задачи спасать ежеминутно его репутацию, которую ни один человек, имеющий смысл в голове, никогда не заподозрит. Приведем один пример из домашней его переписки, подтверждающей слова наши. Вот каким способом изъясняет он при-

чину скорого своего возвращения из внезапной поездки за границу в 1829 году: «Несмотря на ваше желание, я не должен пробыть долее в Любеке: я не могу, я не в силах приучить себя к мысли, что вы беспрестанно печалитесь, полагая меня в таком далеком расстоянии» (письмо к матери, «Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 80)[23]. Г-н Кулиш принимает это объяснение как единственно достоверное из всех других предположений о быстром возвращении его в отечество. Конечно, никто не станет опровергать, что Гоголь мог испытывать тоску по родным и знакомым, как и всякий другой человек; но кто вник в сущность его характера, тот никогда не согласится думать, что романтическое, сантиментальное чувство могло изменить одно все его намерения. Не лучше ли для самой славы Гоголя предполагать, как мы искренно убеждены, что бесполезность поездки и отсутствие при этом всякой цели погнали его назад. Менее твердый и самостоятельный человек, сделав ложный шаг, продолжал бы следовать далее по одному направлению, ожидая помощи, по обыкновению, от судьбы, случая, людей и проч. Гоголь, почувствовав, что он стоит на скользкой тропе, тотчас же возвращается назад[24] и снова принимается отыскивать в отечестве своем настоящую почву деятельности, которая никак не давалась ему. Он удвоивает силы и находит ее. Так всегда поступают необыкновенные люди, предназначенные к какому-либо роду общественного служения.

Могут ли бросить все эти приемы своеобычного молодого человека, отводящего глаза самых близких людей от истинных своих чувств, от истинных своих намерений, — могут ли они, говорим мы, бросить какую-либо тень на известную страстную привязанность его к матери, на безграничную любовь к семейству, которого он был всю жизнь нравственным и материальным благодетелем, продолжая ту же самую роль покровителя и после смерти?[25] Они открывают только особенности его характера, форму, какую принимали все его поступки и даже душевные его побуждения, и ими Гоголь гораздо лучше обрисовывается, чем посредством приложения к нему общих, отвлеченных понятий о нежности, чувствительности, доброте, годных для всех натур, как платье, сшитое не по одной известной мерке, пожалуй, может прийти на всякий рост.

С 1830 по 1836 год, то есть вплоть до отъезда за границу, Гоголь был занят исключительно одной мыслью —

открыть себе дорогу в этом свете, который, по злоупотреблению эпитетов, называется обыкновенно большим и пространным; в сущности, он всегда и везде тесен для начинающего. Гоголь перепробовал множество родов деятельности, — служебную, актерскую, художническую, писательскую[26]. С появления «Вечеров на хуторе», имевших огромный успех, дорога наконец была найдена, но деятельность его еще удвоивается после успеха. Тут я с ним и познакомился[27]. Он был весь обращен лицом к будущему, к расчищению себе путей во все направления, движимый потребностью развить все силы своп, богатство которых невольно сознавал в себе. Необычайная житейская опытность, приобретенная размышлениями о людях, выказывалась на каждом шагу. Он исчерпывал людей так свободно и легко, как другие живут с ними. Не довольствуясь ограниченным кругом ближайших знакомых, он смело вступал во все круга, и цели его умножались и росли по мере того, как преодолевал он первые препятствия на пути. Он сводил до себя лица, стоявшие, казалось, вне обычной сферы его деятельности, и зорко открывал в них те нити, которыми мог привязать к себе. Искусство подчинять себе чужие воли изощрялось вместе с навыком в деле, и мало-помалу приобреталось но менее важное искусство направлять обстоятельства так, что они переставали быть препонами и помехами, а обращались в покровителей и поборников человека. Никто тогда не походил более его на итальянских художников XVI века, которые были в одно время гениальными людьми, благородными любящими натурами — и глубоко практическими умами. Ввиду этого напряженного развития всех сил, направленных к одной цели, будем ли мы сомнительно качать головой, когда увидим Гоголя, самонадеянно вступающего на профессорскую кафедру без нужного приготовления к ней, без качеств, составляющих истинного ученого?[28] Станем ли томиться над изысканием *облегчающих обстоятельств,* когда встретим в письмах Гоголя к гг. Максимовичу, Погодину[29], например, уверение, что он трудится над историей Малороссии в шести томах, над всеобщей историей и географией под заглавием: «Земля и люди» в трех или двух томах, над историей средних веков в восьми томах (всего семнадцать или шестнадцать томов), между тем как он трудился над «Тарасом Бульбою», над статьями и повестями «Арабе-

сок» и «Миргорода». Нам все равно, — верил ли он сам в эти и подобные им обещания, или нет, — они составляют для нас только проблески, указывающие смысл тогдашнего его развития, черты характера, способные изъяснить его физиономию. Что они не лишены своего рода достоинства и поэзии, согласится всякий. В самом деле: картина, представляющая нам гениального человека, занятого устройством своего положения в свете и литературе, изысканием средств для труда на обширном поприще, куда призывает его сознание своей силы, не заключает ли в себе гораздо более нравственной красоты, поэзии и поучения, чем самое кропотливое разбирательство того, что было сказано им хорошего и что не так-то хорошо сказалось? Какую услугу оказывает биограф своему герою, когда, вместо того чтоб пояснить сущность его стремлений и благородство его целей, принимается разрешать противоречия, неизбежные в такой жаркой, лихорадочной жизни, и старается связать их скудной ниткой произвольных толкований, которая еще и рвется ежеминутно в руках исследователя? Как ни редко встречается эта бесплодная работа в превосходной книге г. Кулиша, но он не совсем свободен от нее. Всякий раз как покидает он роль добросовестного собирателя материалов и приступает к истолкованиям, самые странные недоразумения, самые далекие соображения, совершенно чуждые делу, накопляются под пером его, нисколько не поражая его ум своим неправдоподобием. Таковы, между прочим, вопросы, задаваемые г-м Кулишем самому себе по поводу одного письма Гоголя в 1829 году, где последний рисует собственный портрет в таких чертах: «Часто я думаю о себе, зачем бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем он одел все это в такую странную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?»[30] Слова эти строги, но изображение истинного характера Гоголя должно значительно ослабить краски самой исповеди. Были *законные* причины для его противоречий и переходов. Г-н Кулиш прибавляет свои пояснения к портрету, в которых, между прочим, находится следующая мысль: «Большую часть жизни употребил Гоголь на анализ самого себя как нравственного, предстоящего пред лицом бога существа *и как*

бы только случайно вдавался иногда в деятельность другого рода, которая составила его земную славу, — зачем, для чего это?..» («Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 78.) Вторая половина этого периода не совсем верна в отношении всей вообще жизни Гоголя, но, встреченная при описании первой эпохи его развития и приложенная к молодому Гоголю, искавшему земной славы всеми силами своей души, — она, с мыслию, в ней заключающеюся, отходит к тому роду толкований, о которых мы говорили сейчас и которые зиждутся на соображениях, взятых вне сущности самого предмета.

Вообще для биографа чрезвычайно важно смотреть прямо в лицо герою своему и иметь доверенность к его благодатной природе. Позволено трепетать за каждый шаг младенца, но шаги общественного деятеля, отыскивающего простора и достойной сцены своим способностям, как это было с Гоголем между 1830 и 1836 годами, не могут быть измеряемы соображениями педагогического рода. Прежде всего надо знать тут, куда человек идет, что лежит в основании его характера, каков его способ понимания предметов и в чем заключается сущность его *созерцания* вообще. Здесь только и отгадка его физиономии, и одна неопровержимая истина. С другой стороны, охотникам до отрицательных данных, до прозаических фактов, низводящих человека к толпе, следует заметить, что в деле понимания характера эта система столь же мало приведет к цели, как и противоположная ей — система ненужной поддержки и оправдания всех его поступков. Можно употребить, например, много времени и много бумаги на перечисление всех доказательств его осторожности в обращении с людьми и снисхождения к любимым их представлениям, посредством которого Гоголь приковывал к себе сердца знакомых в эту эпоху; можно также исписать порядочный лист, подбирая черты, в которых проявляется его врожденная скрытность, наклонность выставлять призраки и за ними скрывать свою мысль и проч. Но чем более и чем остроумнее станем отыскивать и исторически подтверждать все наши, в сущности, весьма бедные находки, тем сильнее будет затемняться физиономия Гоголя и отходить от нас в даль и в туман. Оно и понятно. Физиономия его, как и физиономия всякого необыкновенного человека, должна освещаться сама собой, своим внутренним огнем. Она тотчас искажается, как подносят к ней со стороны гру-

бый светоч, будь он самого розового или, наоборот, мрачного, гробового цвета. Пример правильной оценки Гоголя дал Пушкин. Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ» [31], но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя [32]». Глубокое слово! Пушкин понимал неписаные права общественного деятеля. Притом же Гоголь обращался к людям с таким жаром искренней любви и расположения, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а, напротив, спешили навстречу к нему. Никогда, может быть, не употребил он в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 году, когда приступил к печатанию «Мертвых душ». Плодом его неутомимого возбуждения и стремлений к одной цели при помощи всяких мер, которые, конечно, далеко отстоят от идеала патриархальной простоты сношений, было скоро появление «Мертвых душ» в печати. Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и выражении своих чувств.

Поэтому не удивительно будет, если скажем, что именно в эту страстную, необычайно деятельную эпоху своей жизни Гоголь постоянно оставался существом высокого нравственного характера, не переставал быть ни на минуту по мысли, образу жизни и направлению благороднейшим человеком в строгом смысле слова. Помирить образ подобного человека с теми частностями, которые приводят в тупик поверхностного наблюдателя, не искажая и не перетолковывая их, значит — именно понять и настоящую задачу биографа.

Мы сказали, что Гоголь часто сходил с шумного, трудового своего жизненного поприща в уединенный круг своих приятелей — потолковать преимущественно о явлениях искусства, которые, в сущности, одни только и наполняли его душу. Он никогда не говорил с приятелями об ученых своих предприятиях и других замыслах, потому что хотел оставаться с ними искренним и таким, каким его знали сначала. Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена [33], на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую

переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где оп разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него. В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: «Вот, вы как раз поспели». В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: «Ты ступай... Они уже знают свой час и, когда надобно, уйдут». Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в «Записках сумасшедшего». Часто потом случалось мне сидеть и в этой скромной чайной и в зале. Гоголь собирал тогда английские кипсеки с видами Греции, Индии, Персии и проч., той известной тонкой работы на стали, где главный эффект составляют необычайная обделка гравюры и резкие противоположности света с тенью. Он любил показывать дорогие альманахи, из которых, между прочим, почерпал свои поэтические воззрения на архитектуру различных нравов и на их художественные требования. Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда в должности его камердинера[34]. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью», что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах и наконец устроить ему покойную будущность. Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни, Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия. Приятели сходились также друг у друга на чайные вечера, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены на *вес золота.* Гоголь был в этих случаях строгий, нелицеприятный судья и оценщик. На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием,

которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского, товарища Гоголя по лицею, человека веселых нравов, некоторые из них выходили действительно карикатурно метки и уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен. Помню, что несколько вечеров Гоголь беспрестанно тянул (мотивы для куплетов выбирались из новейших опер — из «Фенелы», «Роберта», «Цампы») кантату, созданную для прославления будущего предполагаемого его путешествия в Крым, где находился стих:

И с Матреной наш Яким
Потянулся прямо в Крым.

В памяти у меня остается также довольно нелепый куплет, долженствовавший увековечить подвиги молодых учителей из его знакомых, отправлявшихся каждый день на свои лекции на Васильевский остров. Куплет, кажется, принадлежал Гоголю безраздельно:

Все *бобрами* завелись,
У Фаге все завились —
И пошли через Неву,
Как чрез мягку мураву и т. д.

Точно то же происходило и на обедах в складчину, где Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие малороссийские блюда. Важное других бывал складчинный обед в день его именин, 9 мая, к которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой *кок,* облекался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на *петушка,* по замечанию одного из его знакомых (Белоусова) [35]. Как далек еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 года он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». «Это вы говорите, — сказал он, — а другие считают ее фарсом». Вообще суждениями так называемых избранных людей Гоголь, по благородно высокой практической натуре своей.

никогда не довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость — явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных. Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. «Последний день Помпеи» Брюллова привел его, как и следовало ожидать, в восторг[36]. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца. О метафизическом способе[37] понимания явлений природы и искусства тогда и в помине не было. Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно, с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова[38]. В жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходился со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державина. Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения, и такой яркий колорит получали они в устах его! Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия... Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему тотчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа. Он не любил уже и в то время французской литературы, да не имел большой симпатии и к самому народу за «моду, которую они ввели по Европе», как он говорил, «быстро создавать и тотчас же, по-детски, разрушать авторитеты». Впрочем, он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю[39]. Так же

мало знал он и Шекспира (Гете и вообще немецкая литература почти не существовали для него), и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя — Вальтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой почтительной любовью. Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска и потому не могли задобривать его в пользу автора... Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художнической точки зрения за удивительное его распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам. В эту эпоху Гоголь был наклонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству, признаки которого очень ясно видны и в его ученых статьях о разных предметах, чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его... В тогдашних беседах его постоянно выражалось одно стремление к оригинальности, к смелым построениям науки и искусства на других основаниях, чем те, какие существуют, к идеалам жизни, созданным с помощью отвлеченной, логической мысли — словом, ко всем тем более или менее поэтическим призракам, которые мучат всякую деятельную благородную молодость. При этом направлении два предмета служили как бы ограничением его мысли и пределом для нее, именно: страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии, что составляло в нем истинное охранительное начало, и художественный смысл, ненавидевший все резкое, произвольное, необузданно-дикое. Они были, так сказать, умерителями его порывов. В этом соединении страсти, бодрости, независимости всех представлений со скромностию, отличающей практический взгляд, и благородством художественных требований заключался и весь характер первого периода его развития, того, о котором мы теперь говорим.

Никогда, однако ж, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его обезоруженным не было возможности.

Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Сколько было тогда подмечено в некоторых общих приятелях мимолетных черт лукавства, мелкого искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствие производительных способов; сколько разоблачено риторической пышности, за которой любит скрываться бедность взгляда и понимания, сколько открыто скудного житейского расчета под маской приличия и благонамеренности! Все это составляло потеху кружка, которому немалое удовольствие доставлял и тогдашний союз денежных интересов в литературе со всеми его изворотами, войнами, триумфами и победными маршами! [40] Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер [41]. Поэтический взгляд на предметы был так свойствен его природе и казался ему таким обыкновенным де-

лом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии», — говорил оп. На этом основании он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство. Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностию требований. Не говоря уже о том, что он угадывал по инстинкту всякое не живое, а придуманное лицо, сознаваясь, что оно возбуждает в нем почти такое же отвращение, как труп или скелет, но Гоголь ненавидел *идеальничанье* в искусстве прежде критиков, возбудивших гонение на него. Он никак не мог приучить себя ни к трескучим драмам Кукольника, которые тогда хвалились в Петербурге, ни к сантиментальным романам Полевого, которые тогда хвалились в Москве[42]. Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости *игры в бабки,* со всяким специальным человеком, который далее своей специальности и ничего не знает. Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки, которых было гораздо более, чем сколько их видел г. Кулиш, — и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в каком-либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже, пожалуй, дельным литературным судьею и первым попавшимся знатоком какого-либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему. Но, по нашему мнению, важнее всего этого была в Гоголе та мысль, которую он приносил с собой в это время повсюду. Мы говорим об энергическом понимании вреда, производимого пошлостию,

ленью, потворством злу с одной стороны, и грубым самодовольством, кичливостию и ничтожеством моральных оснований — с другой. Он относился ко всем этим явлениям совсем не равнодушно, как можно заключить даже из напечатанных его писем о московской журналистике и об условиях хорошей комедии[43]. В его преследовании темных сторон человеческого существования была страсть, которая и составляла истинное нравственное выражение его физиономии. Он и не думал еще тогда представлять свою деятельность как подвиг личного совершенствования, да и никто из знавших его не согласится видеть в ней намеки на какое-либо страдание, томление, жажду примирения и проч. Он ненавидел пошлость откровенно и наносил ей удары, к каким только была способна его рука, с единственной целью: потрясти ее, если можно, в основании. Этот род одушевления сказывался тогда во всей его особе, составляя и существенную часть нравственной красоты ее. Честь бескорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращению к извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголем этой эпохи даже и против него самого, если бы нужно было. Несомненные исторические свидетельства тут важнее признаний автора[44], подсказанных другого рода соображениями и сильным подавляющим влиянием новых идей, позднее возникших в его сердце. Мы с своей стороны убеждены, что Гоголь имел, между прочим, в виду и этого рода деятельность, когда накануне 1834 года обращался к своему гению с удивительным поэтическим дифирамбом, вопрошая будущее и требуя у него труда, вдохновения и подвига. Опубликованием этого документа, как и многих других, г. Кулиш получил право на долгую признательность истории литературы нашей. Чудно и многознаменательно звучат последние слова этого воззвания к гению: «О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мной хотя два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу, я совершу! *Жизнь кипит во мне.* Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество. Я совершу! О, поцелуй и благослови меня!»[45] Но кроме вдохновенных часов, каких Гоголь просил у своего гения, и кроме положительной деятельности, к какой приводило чувство *кипящей жизни и силы,* он еще, по характеру своему, старался действовать на толпу и внешним своим суще-

ствованием; он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так, после издания «Вечеров», проезжая через Москву, где, между прочим, он был принят с большим почетом тамошними литераторами, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в «Московские ведомости» не «коллежским регистратором», каковым был, а «коллежским асессором». «Это надо...» — говорил он приятелю, его сопровождавшему [46].

Таким был или по крайней мере таким представлялся нам молодой Гоголь. Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворот в его существовании. Не скроем, что такого рода смешения попадаются в книге г. Кулиша довольно часто. Можно даже сказать, что он вообще смотрит на Гоголя с конца поприща, — недостаток, который смягчается отчасти содержанием представляемых документов и догадливостию, возбуждаемою ими неминуемо в самом читателе.

Между тем, трудясь за устройством своей жизни и особенно за наполнением ее обильнейшим содержанием, какое возможно было добыть, Гоголь встретил три обстоятельства, подсекшие, так сказать, всю эту деятельность в самой средине ее развития и устремившие его за границу. Мы не намерены искать причин его отъезда за границу в психическом настроении его, потому что, благодаря скрытности Гоголя, это осталось навсегда тайной и всякое заключение тут поражено заранее несостоятельностию. Мы также вполне согласны, что собственные его объяснения как по этому поводу, так и по всем другим, заключающиеся в безыменной записке («Авторская исповедь») и в других автобиографических документах, *буквально верны и истинны* [47]. Это наше убеждение, почерпнутое из внимательного изучения их; но мы должны сказать, что объяснения Гоголя опираются преимущественно на одну какую-либо поэтическую или моральную черту события, без сомнения ему присущую, но открытую уже гораздо позднее, после долгого размышления о событии. Фактическая, материальная основа происшествия, живое впечатление, произведенное им с первого

раза, цепь разнородных ощущений, им вызванных, пропускаются без внимания, как и следует быть в автобиографии, ищущей показать один только нравственный смысл события. Восстановить пропущенные подробности, доискаться первых причин явления, дополнить заметки автобиографии вводом всех красок действительности, сообщив, таким образом, плоть и кровь ее общим указаниям, — есть уже дело жизнеописателя. Одна из первых причин, оторвавших Гоголя от Петербурга, был неуспех его университетского преподавания. Гоголь понадеялся на силу поэтического воссоздания истории, на способ толкования событий a priori, на догадку и прозрение живой мысли, но все эти качества, не питаемые постоянно фактами и исследованиями, достали ему на несколько блестящих статей, на несколько блестящих лекций, а потом истощились сами собою, как лампа, лишенная огнепитательного вещества. Падение было горько для человека, возбудившего столько надежд и ожиданий, а вслед за ним последовало то ожесточенное преследование новых его книг, «Миргород» и «Арабески», тогдашней критикой, которое возбудило симпатический отголосок в публике, почти безусловно покорявшейся «Телескопу», выражавшему ее[48]. Голос Москвы был сначала заглушаем шумом петербургской журналистики, и потребно было мощное, энергическое слово Белинского в «Телескопе», чтобы поддержать автора и ослабить влияние, произведенное многочисленными противниками;[49] но это не могло сделаться скоро. Как ни странно покажется, что к числу причин, ускоривших отъезд Гоголя, мы относим и журнальные толки, но это было так. Мы намекнули прежде о том, что мнением публики Гоголь озабочивался гораздо более, чем мнениями знатоков, друзей и присяжных судей литературы, — черта, общая всем деятелям, имеющим общественное значение, а петербургская публика относилась к Гоголю если не вполне враждебно, то по крайней мере подозрительно и недоверчиво. Последний удар нанесен был представлением «Ревизора». Читатель должен хорошо помнить превосходное описание этого театрального вечера, данное самим Гоголем[50]. Хлопотливость автора во время постановки своей пьесы, казавшаяся странной, выходящей из всех обыкновений и даже, как говорили, из всех приличий, горестно оправдалась водевильным характером, сообщенным главному лицу комедии, и пошло-карикатурным, отразившимся в

других [51]. Гоголь прострадал весь этот вечер. Мне, свидетелю этого первого представления, позволено будет сказать, что изображала сама зала театра в продолжение четырех часов замечательнейшего спектакля, когда-либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостию. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был как-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика — за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «Это — невозможность, клевета и фарс». По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами «Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними, а то все, все...» [52]

В начале лета 1836 года Гоголь уехал за границу на пароходе. Он действительно «устал душою и телом», как сам говорит. Шесть лет беспрерывного труда, разнообразных предприятий и волнений, даже не принимая в соображение последних тяжелых ударов, нанесенных

всем его ожиданиям, требовали сами собой отдыха. По первым письмам, полученным от него из-за границы, видно, что Гоголь скоро отыскал покой и ровное настроение духа. Это подтверждается и письмами, напечатанными г. Кулишем. Известие о смерти Пушкина в 1837 году потрясло Гоголя до глубины души[63], оставило навсегда незаместимую пустоту в его жизни, но нравственных оснований его нисколько не изменило, по крайней мере письма его, после жарких выражений тоски и боли по невозвратимой общественной и еще более личной для Гоголя утрате, принимают снова характер тихого, спокойного созерцания людей, говорят о заботах, вызываемых плохим состоянием его здоровья, ясно дают подразумевать ровный, размеренный и спокойный труд и во многих местах носят свидетельство, что Гоголь еще наслаждался природой и искусством просто, непосредственно, как человек, продолжающий свободно воспитывать мысль. Пелена известного однообразного цвета еще не распростиралась перед глазами его. Он только вошел в себя, по еще не обратился к самому себе с беспощадно кропотливым анализом; ограничил свою деятельность и установился в ней, но еще не давал ей значения аскетического подвига; сличал жизнь, обычаи, мнения народов и вникал в них, но еще не делался судьей стран и убеждений... Цели чисто человеческие и земные еще мелькали перед ним со всеми очарованиями, какие заключают в себе, и это может показать следующий, неизданный отрывок из общего послания его к приятелям. Оно принадлежит к 1837 году и писано из Парижа 25 января.

«Да скажи, пожалуйста — с какой стати пишете вы все про «Ревизора»? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что «Ревизора» играют каждую неделю, театр полон и проч. ... и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на «Ревизора» — плевать, а во-вторых... к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава богу, это ложь: я вижу через каждые три дня русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты! Стыдно тебе, — ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславием, то его уже

нет; пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили *все* то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей... Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ним «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне в течение долгого времени ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова, — я бы благодарил судьбу. *Одна только слава по смерти* (*для которой, увы, не сделал я до сих пор ничего*) *знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки...*» [54]

Здесь, конечно, виден шаг вперед, но по одному и тому же направлению. Он только перенес жажду славы с современников на потомство. Если письмо это удивило приятелей, знавших, как всегда дорожил он современным успехом и влиянием на публику, то это была их вина: они не поняли обыкновенного явления, замечаемого у всех гениальных писателей — при начале нового труда смотреть с отвращением на путь, уже пройденный. Гоголь еще мало изменился. Только в 1839 году появляются у него фразы вроде следующей: «Германия есть не что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива» [55]. Тут уже сказалось влияние Италии и особенно Рима, в котором он провел весну 1837 и потом почти беспрерывно два года (с осени 1837 по осень 1839) [56]. Влияние начинает все более усиливаться и проявляется отвращением к европейской цивилизации, наклонностию к художническому уединению, сосредоточенностию мысли, поиском за крепким основанием, которое могло бы держать дух в напряженном довольстве одним самим собою. Со всем тем особенности эти, возникающие мало-помалу в характере Гоголя, до такой степени еще слиты с прежним свободным и многосторонним направлением, что указать начало их, первый, так сказать, толчок, подвигнувший ум в эту сторону, пет никакой возможности. Это все равно что желать подсмотреть минуту, когда зарождается болезнь в человеке или уловить мгновение, когда начинается развитие какой-либо части в организме его. Мало-помалу также Гоголь погружается весь в новый свой труд: «Мертвые души». Если эта поэма по справедливости может назваться памятником его как писателя, то с не меньшей

основательностию позволено сказать, что в ней готовил он себе и гробницу как человеку. «Мертвые души» была та подвижническая келья, в которой он бился и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее. Я постараюсь далее указать связь «Мертвых душ» со всею последующей судьбой их автора, а теперь повторю прежде сказанное, что летом 1841 года, когда я встретил Гоголя, он стоял на рубеже нового направления, принадлежа двум различным мирам. По тайным стремлениям своей мысли он уже относился к строгому, исключительному миру, открывавшемуся впереди; по вкусам, некоторым частным воззрениям и привычкам художнической независимости — к прежнему направлению. Последнее еще преобладало в нем, но он уже доживал сочтенные дни своей молодости, ее стремлений, борьбы, падений и — ее славы!

На третий день моего приезда Рим, по случаю наступления праздников святой недели, отдался весь ликованию. Как в эти дни, так и в предшествовавшие им я почти совсем не видал Гоголя, будучи занят глазеньем на все духовные процессии, которыми наполнился город, Много времени, беготни, стоического равнодушия к своей особе потребно было, чтоб не пропустить какой-либо стороны католицизма, показываемой раз в год. Могу сказать только, что ни один англичанин не опередил меня ни в чем. Я присутствовал при «омовении ног», которое производил папа в приделе Петра, при угощении им бедных священников в одной из сакристий того же храма, при исполнении Stabat Mater в Сикстинской часовне, при крещении евреев в Латеране одним из кардиналов св. коллегии, при общем покаянии в иезуитской церкви и проч. Гоголь посвящал меня в церемонии и направлял поиски, но сам не выходил из дома и не переменял образа жизни. Великолепна была физиономия города с наступлением праздников. Ковры и ткани покрыли стены домов, петарды трещали с окон, с балконов, из-под ног пешеходов, улицы запестрели окрестным народонаселением, прибывшим к торжеству, в ярких, живописных костюмах и с не менее живописными лицами. В день самого праздника я, как и следовало ожидать, присутствовал при папской литургии и видел, как с высоты балкона св. Петра, окруженный кардиналами, папа дал благословение народу и отпустил ему грехи. Вечером того же дня мы ходили с Гоголем и двумя русскими художниками по площади собора, любуясь на чудное освещенье его

купола и перемену огней, внезапно производимую в известный час. Купол горел тихо, ровно в мрачной синеве неба, посреди чудной, теплой весенней ночи, под шепот водопадов соборной площади, под говор народа, двигавшегося во всех направлениях. Тут положено было, между прочим, что я перейду в комнату Панова тотчас, как он уедет в Берлин, и, сделавшись близким соседом Гоголя, посвящу один час каждого дня на переписку, под его диктовку, уже совсем изготовленной первой части «Мертвых душ».

II

Поселившись рядом с Гоголем, в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской «Мертвых душ». Остальное время мы жили розно и каждый по-своему. Правда, в течение дня сталкивались мы друг у друга довольно часто, а вечера обыкновенно проводили вместе, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условие не давать чувствовать себя товарищу ни под каким видом. Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ничего не требовали. Он тогда только и давал что-либо от себя. В Риме система эта, предоставив каждому полную свободу действий, поставила каждого в нравственную независимость, которою он всего более дорожил.

Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из подробностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво. «Вы этого не можете понять, — говорил он, — это так: я себя знаю». При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы — никогда не подвергаться испарине. «Я горю, но не потею», — говорил

он. Все это не мешало ему следовать вполне своим обыкновенным привычкам. Почти каждое утро заставал я его в кофейной Del buon gusto отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейни: яркий румянец пылал на его щеках, и глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: «Ессо, ladrone!» (Вот тебе, разбойник!) Гоголь останавливался, проговаривал, улыбаясь: «Как разнежился, негодяй!» — и снова начинал вторую половину фразы с той же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина. Случалось также, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуживал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической ноте. Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я вместо продиктованного им слова «щекатурка» — употребил «штукатурка». Гоголь остановился и спросил: «Отчего так?» — «Да правильнее, кажется». Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: «А за науку спасибо»[57]. Затем он сел по-прежнему в кресло, помол-

чал немного, и снова полилась та же звучная, по-видимому простая, но возвышенная и волнующая речь. Случалось также, что прежде исполнения моей обязанности переписчика я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривал: «Старайтесь не смеяться, Жюль». Действительно, я знал, что переписка замедляется подобным выражением личных моих ощущений, и делал усилия над самим собой, но в те годы усилия эти редко сопровождались успехом. Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом, если могу так выразиться. Это случилось, например, после окончания «Повести о капитане Копейкине», первая редакция которой, далеко превосходящая в силе и развитии напечатанную, только недавно сделалась известна публике[58]. Когда, по окончании повести, я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал: «Какова повесть о капитане Копейкине?»

«Но увидит ли она печать когда-нибудь?» — заметил я. «Печать — пустяки, — отвечал Гоголь с самоуверенностью, — все будет в печати». Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной VI главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее». В ту же минуту, однако ж, возвысив голос, он продолжал: «Знаете ли что, нам до *cenare* (ужина) осталось еще много: пойдемте смотреть сады Саллюстия, которых вы еще не видали, да и в виллу Людовизи постучимся» *. По светлому выражению

* Римляне зовут ужином обед в 7 часов вечера, около вечерен, когда становится прохладнее, а обедают ровно в полдень,

его лица, да и по самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа. Это оказалось еще более на дороге. Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою, и в значении этого бурного порыва веселости, который вполне напомнил мне старого Гоголя, я не ошибся и тогда. В виллу Людовизи нас, однако ж, не пустили, как Гоголь ни стучал в безответные двери ее ворот; решетчатые ворота садов Саллюстия были тоже крепко замкнуты, так как время сиесты * и всеобщего бездействия в городе еще не миновалось. Мы прошли далее за город, остановились у первой локанды **, выпили по стакану местного слабого вина и возвратились в город к вечернему обеду в знаменитой тогда австерии «Фалконе» («Сокол»).

Важное значение города Рима в жизни Гоголя еще не вполне исследовано. Памятником и свидетельством его воззрения на папскую столицу времен Григория XVI может служить превосходная его статья «Рим», в которой должно удивляться не завязке или характерам (их почти и нет), а чудному противопоставлению двух народностей, французской и итальянской, где Гоголь явился столь же глубоким этнографом, сколько и великим живописцем-поэтом. Сущность его воззрения на Рим излагать нет надобности, так как статья Гоголя хорошо известна всем

после чего или спят, или запираются в домах своих на все время полуденного зноя. Тому же порядку следовал и я, когда он не нарушался обязанностями туриста. Сады Саллюстия — ныне живописный огород, в котором разбросаны руины бывших построек, а великолепная вилла Людовизи замечательна тем, что отворяется для немногих посетителей, наделенных особенной рекомендацией посланников или значительных лиц города. В ней, как известно, сохраняются колоссальный бюст Юноны и знаменитая статуя «Арий и Петус». Причину ее недоступности объясняют покражей или порчей, произведенной в ней какими-то английскими туристами. (*Примеч. П. П. Анненкова.*)

* Сиеста (*ит.* siesta) — часы дневного отдыха.

** Локанда (*ит.* locanda) — харчевня.

русским читателям; но следует сказать, что под воззрение свое па Рим Гоголь начинал подводить в эту эпоху и свои суждения вообще о предметах нравственного свойства, свой образ мыслей и, наконец, жизнь свою. Так, взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе. Он сам говорил, что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, «Илиады» Гнедича и стихотворений Пушкина. Это было совершенно вровень, так сказать, с городом, который, под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому. Добродушный пастырь этот, так ласково улыбавшийся народу при церемониальных поездах и с такой любовью благословлявший его, умел остановить все новые почки европейской образованности и европейских стремлений, завязавшиеся в его пастве, и когда умер, они еще поражены были онемением. О том, какими средствами достиг он своей цели, никто из иностранцев не спрашивал: это составляло домашнюю тайну римлян, до которой никому особенного дела не было. Гоголь, вероятно, знал ее: это видно даже по намекам в его статье, где мнение народа о господствующем клерикальном сословии нисколько не скрыто; но она не тревожила его, потому что если не оправдывалась, то по крайней мере объяснялась воззрением на Рим. Вот собственные его слова из статьи: «Самое духовное правительство, этот странный, уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния... чтобы до времени, в тишине таилась его гордая народность»[59]. Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния, и подтвердили убедительным образом старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы[60]. Оказалось и оказывается с каждым днем более, что Рим никогда не находился в таком уединении и в таком сиротстве, какие признаны были за ним наблюдателями. Необычайными мерами, еще в некоторой степени продолжающимися и теперь, с него была снята только работа, требуемая временем и его необходимостями: и благодаря этому обстоятельству народ предался одним природным своим наклонностям, артистическому веселью, остроумной беспечности и столь свойственному ему художническому

творчеству. Сильное развитие этой стороны его характера заставило предполагать, что в ней и вся жизнь Рима, по колесо европейской истории не может миновать ни одного уголка нашей части света и неизбежно захватывает людей, как бы ни сторонились они. Стремление римского населения сделаться причастником общих благ просвещения и развития признается теперь законным почти всеми; но оно жило во многих сердцах и тогда. Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью. Помню, раз на мое замечание, «что, вероятно, в самом Риме есть люди, которые иначе смотрят на него, чем мы с ним», — Гоголь отвечал почти со вздохом: «Ах, да, батюшка, есть, есть такие». Далее он не продолжал. Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прогреваемая им в будущем и почти неизбежная при новых стремлениях, поражала его неприятным образом. Он был влюблен, смею сказать, в свое воззрение на Рим, да тут же действовал отчасти и малороссийский элемент, всегда охотно обращенный к тому, что носит печать стародавнего или его напоминает. Зато уж и Францию, которую считал родоначальницей легкомысленного презрения к поэзии прошлого, начинал он ненавидеть от всей души. О французском владычестве в Риме, в эпоху первой империи, когда действительно сподвижники Наполеона I, вместе с истреблением суеверия, принялись истреблять и коренные начала народного характера, Николай Васильевич отзывался после с негодованием. Он много говорил дельного и умного о всесветных преобразователях, не умеющих отличать жизненных особенностей, никогда не уступаемых народом, от тех, с которыми он может расстаться, не уничтожая себя как народ, но упускал из вида заслуги всей истории Франции перед общим европейским образованием. Впрочем, твердого, невозвратного приговора как в этом случае, так и во всех других, еще не было у Гоголя: он пришел к нему позднее. Он тогда еще составлял его и потому довольно часто оглядывался на свои мысли и проверял их на противоположных взглядах и на противоречии, он шел только к тому решительному приговору, который с такой силой раздался пять лет спустя в литературе нашей. Для подтверждения наших слов приведем один маловажный случай: кроме маловажных случаев, никаких других между нами и быть не могло, но именно потому, может быть, все случаи, касающиеся Гоголя, имели почти всегда значительную фи-

зиономию и сохранили в памяти моей точное выражение. Однажды за обедом, в присутствии А. А. Иванова, разговор наш нечаянно попал на предмет, всегда вызывавший споры: речь зашла именно о пустоте всех задач, поставляемых французами в жизни, искусстве и философии. Гоголь говорил резко, деспотически, отрывисто. Ради честности, необходимой даже в застольной беседе, я принужден был невольно указать на несколько фактов, значение и важность которых для цивилизации вообще признаваемы всеми. Гоголь отвечал горячо и тем, вероятно, поднял тон моего возражения; однако ж спор тотчас же упал в одно время с обеих сторон, как только сделалась ощутительна в нем некоторая степень напряжения. Молча вышли мы из австерии, но после немногих задумчивых шагов Гоголь подбежал к первой лавочке лимонадчика, раскинутой на улице, каких много бывает в Риме, выбрал два апельсина и, возвратясь к нам, подал с серьезной миной один из них мне. Апельсин этот меня тронул: он делался, так сказать, формулой, посредством которой Гоголь выразил внутреннюю потребность некоторого рода уступки и примирения.

Вообще следует помнить, что в эту эпоху он был занят внутренней работой, которая началась для него со второго тома «Мертвых душ», тогда же им предпринятого, как я могу утверждать положительно [61]. Значение этой работы никем еще не понималось вокруг него, и только впоследствии можно было разобрать, что для второго тома «Мертвых душ» начинал он сводить к одному общему выражению как свою жизнь, образ мыслей, нравственное направление, так и самый взгляд на дух и свойство русского общества. Результаты этих изысканий и трудов над самим собой и над духовным бытом нашего общества публике известны, и мы покамест их не судим: мы только повторяем, что с подобными эпохами поворотов мысли и направления неизбежно связано колебание воли и суждения, как это и было здесь. Он осматривал и взвешивал явления, готовясь оторваться от одних и пристроиться к другим. Так, например, долго, с великим вниманием и с великим участием слушал он горячие повествования о России, заносимые в Рим приезжими, но ничего не говорил в ответ, оставляя последнее слово и решение для самого себя. Отсюда также и те длинные часы немого созерцания, какому предавался он в Риме. На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый

римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду тогатых, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью [62]. Так точно было и в Тиволи, в густой растительности, окружающей его *каскателли* *, он садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, недвижные глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижим целые часы, с воспаленными щеками. Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевой эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: «Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта». Так еще никому, собственно, не принадлежал он, и выход из этого душевного состояния явился *уже* после отъезда моего из Рима. Я застал предуготовительный процесс: борьбу, нерешительность, томительную муку соображений. Письма от этой эпохи, собранные г. Кулишем, уже вполне показывают, куда стремилась его мысль, но письма эти, как магнитная стрелка, обращены к одной неизменной точке, а сам корабль прибегал ко многим уклонениям и обходам, прежде чем вышел на твердый и определенный путь.

Одна только сторона в Гоголе не потерпела ничего и оставалась во всей своей целости — именно художническое его чувство. Гоголь не только без устали любовался тогдашним Римом, но и увлекал неудержимо всех к тому же поклонению чудесам его. Официальные католические праздники пасхи, на которых, по стечению иностранцев, присутствует чуть ли не более насмешливых, чем верующих глаз, уже давно миновались. Значительная часть туристов разъехалась, и настоящий туземный Рим выступил один для новых духовных праздников, совпадающих с летними месяцами. Здесь, в виду итальянского народа, Гоголь не чуждался толпы. Он предупреждал меня о дне вознесения, когда папа дает благословение полям Рима с высоты балкона Иоанна Латеранского [63], — и зрелище, на котором мы присутствовали в тот день, было не ниже наших ожиданий. Летнее солнце Италии

* водопады (*ит.*).

осветило старые стены Рима, задернув голубой, прозрачной пеленой далекие альбанские горы. Ближе к нам и в самую минуту благословения оно ударило нестерпимо ярко на белые головные платки коленопреклоненных женщин, на широкие соломенные шляпы мужчин, на разноцветные перья войска, тоже преклонившего колено, на красные мантии кардиналов — и произвело картину ослепительного блеска и вместе превосходной перспективы. Затем наступили торжества *Corpus Domini.* В семь часов вечера, перед *Ave Maria,* при самом начале вечерних прогулок наших, мы непременно встречали духовную процессию, импровизированный алтарь на углу улицы, аббата под балдахином с дарохранильницей, которою после краткой молитвы он благословлял падающий ниц народ. Вечернее солнце играло опять главную роль в картине, обливая пурпуром знамена, огромные полотна с фигурами святых, кресты разных величин, фонари, рясы нищенствующих монахов и загорелые лица итальянцев, пылавшие несколько мгновений неизобразимо ярким и теплым светом. О цветочных коврах Дженсано, раскладываемых по пути таких же процессий и составляющих подвижной рисунок с изображениями кардинальских гербов, арабесок, узоров из листьев и лепестков растений, Гоголь упоминает сам в статье о Риме[64]. Николай Васильевич был неутомим в подметке различных особенностей этого народного творчества, которое окружало тогда духовные торжества, но могло существовать и помимо их. Так, очевидцы происшествий 1848—1849 годов рассказывают об удивительных триумфальных арках, строимых в одну ночь неизвестными архитекторами, да и в мое время, как справедливо заметил Гоголь, любая лавочка лимонадчика на площади заслуживала изучения по рисунку украшений из зелени, винограда и лавра. Как велико было уважение Гоголя ко всякому проявлению самородной фантазии или даже сноровки, покажет следующий пример. В одной из кофейных он заметил, что стены и потолок ее покрыты сеткой из полосок бумаги, перегнутых надвое и приставленных к штукатурке. Узнав, что этим способом придумано сохранять заведения от порчи мух, гуляющих преимущественно по внешней стороне клеток, Гоголь долго рассматривал это хозяйственное изобретение и наконец воскликнул с чувством: «И этих-то людей называют маленьким народом!» Сметливость и остроумие в народе были для него

признаками, свидетельствующими даже об историческом его призвании. Несколько раз повторял он мне, что нынешние римляне, без сомнения, гораздо выше суровых праотцев своих и что последние никогда не знали того неистощимого веселия, той добродушной любезности, какие отличают современных обитателей города. Он приводил в пример случай, им самим подсмотренный. Два молодых водоноса, поставив ушат на землю, принялись с глазу на глаз смешить друг друга уморительными анекдотами и остротами. «Я целый час подсматривал за ними из окна, — говорил Гоголь, — и конца не дождался. Смех не умолкал, прозвища, насмешки и рассказы так и летели, и ничего водевильного тут не было; только сердечное веселие да потребность поделиться друг с другом обилием жизни». Гоголь был не прочь и от сильных, необузданных страстей, которые затемняют иногда сердце и ум этих любезных людей. Все естественное, самородное, уже по одному этому имело право на его уважение. Вот какой анекдот рассказывал он юмористически, но не без удовольствия. В его глазах один мальчишка пустил чем-то в другого, проходившего мимо, и, чувствуя, вероятно, важность ответственности за поступок, тотчас же шмыгнул в двери близлежащего дома, которые и припер за собою. Обиженный ребенок кинулся к дверям, старался выломать их и, видя невозможность одолеть преграду, стал вызывать оскорбителя на личную расправу. Ответа никакого, разумеется, не последовало; ребенок истощался в бранных эпитетах, в самых ядовитых прозвищах и в ругательствах и не слыхал ни малейшего отзыва. Тогда он лег у порога двери и зарыдал от ярости, но и слезы не истощили жажду мщения, которая кипела в этой детской груди. Он встал опять на ноги и принялся умолять своего врага хоть подойти к окну, чтоб дать посмотреть на себя, обещая ему за одно это прощение и дружбу... Но, оставляя в стороне анекдоты, скажем, что уважение Гоголя к проблескам цельной и свежей натуры не ограничивалось одними людскими характерами: оп и создания искусства ценил еще тогда по признакам силы, обнимающей сразу предмет, и чем менее заметно было в произведении искания, пробованья и щупанья, тем более оно ему нравилось, но он простирал иногда определения свои до парадокса. Так, к великому соблазну А. А. Иванова, он объявил однажды, что известная пушкинская «Сцена из Фауста» выше всего «Фауста» Гете,

вместе взятого. Не должно думать, однако ж, чтоб наслаждение Римом и людьми его сделало самого Гоголя слабым и мягкосердечным: напротив, он обращался весьма строго с последними — и это *по принципу.* Притворная суровость его была тут противодействием римской сметливости, народного расположения к сарказму и природной беспечности итальянца. Он был взыскателен, и надо было видеть, как важно примеривал он новые башмаки, сшитые ему молодым парнем с блестящими черными глазами и лукавой улыбкой. Он его почти измучил осмотром и потом говорил мне, смеясь: «Иначе и нельзя с этим народом; чуть оплошай — заговорит тебя. Подсунет мерзость, поставит перед собой башмак, отступит шаг назад и начнет: «О, что за чудная *cosa*! О, какая дивная вещица! Никакой племянник папы не носил такого башмака. Посмотрите, синьор, какая форма каблука! Можно влюбиться до безумия в такую вещь» и так далее». Придирчивость Гоголя была лицемерна уже и потому, что он никогда не сердился на те обыкновенные итальянские надувательства, которым, несмотря на вею свою строгость и сноровку, подвергался не раз. Так, вздумав сделать прогулку за город в обыкновенном нашем обществе, мы подрядили ветурина, дали ему задаток и назначили час отъезда. Но час прошел, а ветурин не являлся, употребив, вероятно, задаток на неотлагательные свои нужды и забыв о поручении. Все присутствующие оказывали ясные знаки нетерпения и громко выражали негодование свое, исключая Гоголя, который оставался совершенно равнодушен, а когда один из общества заметил, что подобной штуки никогда бы не могло случиться в Германии: там-де никто своего не даст и чужого не возьмет, — то Гоголь отвечал с досадой и презрением: «Да, но это только в картах хорошо!»

Еще одна черта. Мы, разумеется, весьма прилежно осматривали памятники, музеи, дворцы, картинные галереи, где Гоголь почти всегда погружался в немое созерцание, редко прерываемое отрывистым замечанием. Только уже по прошествии некоторого времени развязывался у него язык и можно было услыхать его суждение о виденных предметах. Всего замечательнее, что скульптурные произведения древних тогда еще производили на него сильное впечатление. Он говорил про них: «То была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты».

Может статься, всего тяжелее было для позднейшего Гоголя победить врожденное благоговение к высокой, непогрешительной, идеальной пластической форме, какое высказывалось у него в мое время поминутно. Он часто забегал в мастерскую известного Тенерани любоваться его «Флорой», приводимой тогда к окончанию, и с восторгом говорил о чудных линиях, которые представляет она со всех сторон и особенно сзади. «Тайна красоты линий, — прибавлял он, — потеряна теперь во Франции, Англии, Германии и сохраняется только в Италии». Так точно и знаменитый римский живописец Камучини, воспитанный на классических преданиях, находил в нем усердного почитателя за чистоту своего вкуса, грацию и теплоту, разлитые в его картинах, похожих на оживленные барельефы. Никогда не забывал Гоголь, при разговоре о римских женщинах или даже при встрече с замечательной женской фигурой, каких много в этой стране, сказать: «А если бы посмотреть на нее в одном только одеянии целомудрия, так скажешь: женщина эта с неба сошла». Не нужно, полагаю, толковать, что поводом ко всем словам такого рода было одно артистическое чувство его: жизнь вел он всегда целомудренную, близкую даже к суровости и, если исключить маленькие гастрономические прихоти, более исполненную лишений, чем довольства. Так еще полно и невредимо сохранял он в себе художнический элемент, который особенно разыгрывался, когда духота, потребность воздуха и гулянья заставляли прекращать переписку «Мертвых душ» и выгоняли нас за город, в окрестности Рима.

Первая наша поездка за город в Альбано возникла, однако ж, по особенному поводу, который заслуживает упоминовения. Один молодой русский архитектор (фамилия его совершенно вышла у меня из памяти)[65] имел несчастие, занимаясь проектом реставрации известной загородной дачи Адриана, простудиться в Тиволи и получить злокачественную лихорадку. Благодаря искусству римских докторов, через две недели он лежал без всякой надежды, приговоренный к смерти. Во все время его тяжкой болезни Гоголь с участием справлялся о нем у товарища его по академии и квартире в Риме, скульптора Лугановского (теперь тоже покойного), но сам не заходил к умирающему, боясь, может быть, прилипчивости недуга, а может быть, опасаясь слишком сильного удара для своих расстроенных нервов. Бедный молодой

человек кончался: я был при последних минутах его и видел, как после одной ложечки прохладительного питья, которое беспрестанно подавала ему, по здешнему обычаю, женщина, сидевшая у его изголовья, он вдруг бодро, необычайно зорко окинул большими глазами комнату и людей, в ней находившихся, но это было последнее усилие молодости: он тотчас же ослабел и вскоре угас. Мы все собирались отдать бедному нашему соотечественнику последний долг, но Гоголь, вероятно по тем же причинам, о каких было упомянуто, боялся печальной церемонии и хотел освободиться от нее. За день до похорон, утром, после чашки кофе, я подымался по мраморной лестнице Piazza d'Espagna и увидел Гоголя, который задумчиво приближался к ней сверху. Едва только заметили мы друг друга, как Гоголь, ускорив шаги и раздвинув руки, спустился ко мне на площадку и начал с видом и выражением совершеннейшего отчаяния: «Спасите меня, ради бога: я не знаю, что со мною делается... Я умираю... я едва не умер от нервического удара нынче ночью... Увезите меня куда-нибудь, да поскорее, чтоб не было поздно...» Я был поражен неожиданностью известия и отвечал ему: «Да хоть сию же минуту, Николай Васильевич, если хотите. Я схожу за ветурином, а куда ехать, назначайте сами». Через несколько часов мы очутились в Альбано, и надо заметить, что как дорогой, так и в самом городке Гоголь казался совершенно покоен и ни разу не возвращался к пояснению отчаянных своих слов, точно никогда не были они и произнесены.

С горы Альбано, как известно, открывается изумительный вид на Рим и всю его Кампанью, которому, может быть, только вредит самая его обширность и полпота. Далекое, безмолвное поле, усеянное руинами, по которому, кажется, ходит одно только солнце, меняя ежечасно краски и цвета его в виду недвижной черты города и синего купола Петра! Особенно вечером, при закате, когда длиннее и гуще ложатся на землю тени гробниц и водопроводов, картина эта приобретала строгое, художественное величие, почти всегда производившее на Гоголя непостижимое действие: на пего ниспадал род нравственного столбняка, который он сам изобразил в статье «Рим» этими чудными чертами: «Долго, полные невыразимого восхищения, стоял он перед таким видом, И потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв

все, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер» и проч. После утренней работы, еще до обеда, Гоголь приходил прямо к превосходной террасе виллы Барберини, господствующей над всею окрестностью, куда являлся и я, покончив с осмотрами города и окрестностей. Гоголь садился на мраморную скамейку террасы, вынимал из кармана книжку, читал и смотрел, отвечая и делая вопросы быстро и односложно. Надо сказать, что Гоголь перечитывал в то время «Историю Малороссии», кажется Каменского[66], и вот по какому поводу. Он писал драму из казацкого запорожского быта, которую потом бросил равнодушно в огонь, недовольный малым действием ее на Жуковского; история Малороссии служила ему пособием[67]. О существовании драмы я узнал случайно. Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда приготовлялся диктовать, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-намелко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел вслух первую фразу какого-то старого казака (имени не припомню), попавшуюся мне на глаза и мною удержанную в памяти: «И зачем это господь бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала баба...» Гоголь сердито бросился ко мне с восклицанием: «Это что?» — вырвал у меня бумажку из рук и сунул ее в письменное бюро; затем мы спокойно принялись за дело. Возвращаюсь к террасе Барберини. Более занятый своею мыслью, чем чтением, Гоголь часто опускал книжку на колени и устремлял прямо перед собой недвижный, острый взгляд, который был ему свойствен. Вообще все окружающие Гоголя чрезвычайно берегли его уединение и пароксизмы раздумья, находившие на него, как бы предчувствуя за ними ту тяжелую многосложную внутреннюю работу, о которой мы говорили. Иногда уходили мы с ним, и обыкновенно в самый полдень, под непроницаемую тень той знаменитой аллеи, которая ведет из Альбано в Кастель-Гандольфо (загородный дворец папы), известна Европе под именем альбанской *галереи* и утрудила на себе, не исчерпанная вполне, воображение и кисти стольких живописцев и стольких поэтов. Под этими массами зелени итальянского дуба, платана, пины и проч. Гоголь, случалось, воодушевлялся как живописец (он, как известно, сам порядочно рисовал). Раз он ска-

зал мне: «Если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут! Все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!» — и он сопровождал слова свои энергическими, непередаваемыми жестами[68]. Не надо забывать, что вместе с полнотой внутренней жизни и творчества Гоголь обнаруживал в это время и признаки самонадеянности, которая высказывалась иногда в быстром замечании, иногда в гордом мимолетном слове, выдававшем тайну его мысли. Он еще тогда вполне сберегал доверенность к себе, наслаждался чувством своей силы и полагал высокие надежды на себя и на деятельность свою. О скромности и христианском смирении еще и помину не было. Так, при самом начале моего пребывания в Риме, разгуливая с ним по отдаленным улицам его, мы коснулись неожиданно Пушкина и недавней его смерти. Я заметил, что кончина поэта сопровождалась явлением, в высшей степени отрадным и поучительным: она разбудила хладнокровный, деловой Петербург и потрясла его... Гоголь отвечал тотчас же каким-то горделивым, пророческим тоном, поразившим меня: «Что мудреного? Человека всегда можно потрясти... То ли еще будет с ним... увидите». В самом Альбано, на одной из вечерних прогулок, кто-то сказал, что около шести часов вечера передние всех провинциальных домов в России наполняются угаром от самовара, который кипит па крыльце, и что само крыльцо представляет оживленную картину: подбежит девочка или мальчик, прильнет к трубе, осветится пламенем раздуваемых углей и скроется. Гоголь остановился на ходу, точно кто-нибудь придержал его. «Боже мой, да как же я это пропустил, — сказал он с наивным недоумением, — а вот пропустил же, пропустил, пропустил», — говорил он, шагая вперед и как будто попрекая себя. В том же Альбано, где мы теперь находимся, вырвалось у Гоголя восклицание, запавшее мне в душу. Два обычные сопутники наши, А. А. Иванов и Ф. И. Иордан, прибыли в Альбано, похоронив бедного своего товарища. За обедом Ф. И. Иордан, сообщая несколько семейных подробностей о покойнике, заметил: «Вот он вместо невесты обручился с римской Кампанией». — «Отчего с Кампанией?» — сказал Гоголь. «Да неимущих иноверцев

хоронят иногда здесь просто в п о л е». — «Н у, — воскликнул Г о г о л ь, — значит, надо приезжать в Рим для таких похорон». Но он не в Риме умер, и новая цепь идей под конец жизни заслонила перед ним и образ самого города, столь любимого им некогда.

Я еще ни слова не сказал о существенном качестве Гоголя, сильно развитом в его природе и которого он тогда еще не старался подавить в себе насильственно — о юморе его. Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины — меру; юмор ставил его на ту высоту, с которой можно быть судьею собственных представлений, и наконец он представлял всегда готовую поверку предметов, к которым начинали склоняться его выбор и предпочтение. Распростившись с юмором или, лучше, стараясь искусственно обуздать его, Гоголь осуждал на бездействие одного из самых бдительных стражей своей нравственной природы. В то время, которое мы описываем, он сохранял еще юмор в полной свежести, несмотря на возникающую потребность идеализации окружающего и приближающийся перелом в его жизни. Так, мы знаем, что он смотрел на господствующее сословие в папском Риме как на собрание ограниченных, малосведущих людей, склонных к материальным удовольствиям, но добродушных и мягкосердечных по натуре: лицо каждого аббата представлялось ему с житейской, вседневной стороны его и он не заботился об официальной его деятельности, где то же простодушное лицо, лакомка и болтун, вырастает в меру своих обширных прав и власти, ему данной. Так же точно мы знаем, по статье «Рим», что Гоголь нашел место в картине и для рыжего капуцина, значение которого, помню, с жаром объяснял В. А. Панову, ссылаясь на эффект, производимый нищенствующим братом, когда он вдруг появляется в среде пестрых итальянских женщин или удалой римской молодежи [69]. Нельзя забыть также, что даже тяжелая красная карета кардинала с пудреными лакеями назади удостоивалась в его разговорах ласкового и пояснительного слова. Все это представление предметов было бы очень далеко от истины и настоящего их достоинства, если бы не поправлялось его юмором, выводившим наружу именно ту резкую родовую черту предмета, по которой он правильнее судится, чем по со-

ображениям и описаниям пристрастного мыслителя. Когда юмор, стесненный в своей естественной деятельности, замолк окончательно, что действительно случилось с Гоголем в последний период его развития, — критическое противодействие личному настроению ослабело само собой, и Гоголь был увлечен неудержимо и беспомощно своей мыслью... Множество проявлений этого юмора заключено в самой статье о Риме; присутствие его чувствовалось тогда почти в каждом разговоре Гоголя, но собрать проблески этой способности теперь нет никакой возможности. Большая часть их изгладилась из моей памяти, оставив только общее представление о своем характере. Случалось иногда, что это был осколок целого драматического представления, как, например, рассказ Гоголя о знакомстве с кардиналом Меццофанти. Он очень любил этого кардинала-полиглота, маленького, сухощавого и живого старичка, который при первой встрече с Гоголем заговорил по-русски[70]. Гоголь объяснял способ его выпутываться из филологических затруднений, так сказать, наглядно. Кардинал, обдумав фразу, держался за нее очень долго, выворачивая ее во все стороны, не делая шагу вперед, покуда не являлась новая придуманная фраза, и при живости старика это имело комическую сторону, передаваемую Гоголем весьма живописно. Он наклонялся немного вперед и, подражая голосу и движениям президента «Пропаганды», начинал вертеть шляпу в руках и говорить итальянской скороговоркой: «Какая у вас прекрасная шляпа... прекрасная круглая шляпа, также и белая, и весьма удобная — это точно прекрасная, белая, круглая, удобная шляпа» и проч. Впрочем, Гоголь отдавал справедливость удивительной способности кардинала схватывать отношения частей речи друг к другу в чуждом диалекте, а степень настоящего познания нашего языка у Меццофанти может показать следующая стихотворная записка его, буквально списанная мною с оригинала:

Любя Российских Муз, я голос их внимаю
И некие слова их часто повторяю,
Как дальний Отзыв, я не ясно говорю:
Кто ж может мне сказать, что я стихи творю.

I. Меззофанти

Возвращаемся к городской нашей жизни. В Риме не было тогда постоянного театра, но какая-то заезжая труппа давала пьесы Гольдони, Нотте и переделки из

французских водевилей. Спектакль начинался обыкновенно в десять часов вечера и кончался за полночь. Мы довольно часто посещали его, ради первой его любовницы, красавицы в полном смысле слова, очень хорошего jeune premier, а более ради старика Гольдони, который по весьма спокойному, правильному развитию сложных завязок в своих комедиях составлял противоположность с путаницей и небывальщиной французского водевиля. Гоголь весьма высоко ценил итальянского писателя. Ночь до спектакля проводили мы в прогулках по улицам Рима, освещенным кофейнями, лавочками и разноцветными фонарями тех сквозных балаганчиков с плодами и прохладительными напитками, которые, наподобие небольших зеленых храмиков, растут в Риме по углам улиц и у фонтанов его. В тихую летнюю ночь Рим не ложится спать вовсе, и как бы поздно ни возвращались мы домой, всегда могли иметь надежду встретить толпу молодых людей без курток или с куртками, брошенными на одно плечо, идущих целой стеной и вполголоса распевающих мелодический туземный мотив. Бряцание гитары и музыкальный строй голосов особенно хороши бывали при ярком блеске луны: чудная песня как будто скользила тогда топкой серебряной струей по воздуху, далеко расходясь в пространстве. Случалось, однако же, что удушливый *сирокко,* перелетев из Африки через Средиземное море, наполнял город палящей, раскаленной атмосферой; тогда и ночи были знойны по-своему: жало удушливого ветра чувствовалось в груди и на теле. В такое время Гоголь видимо страдал: кожа его делалась суха, на щеках выступал яркий румянец. Он начинал искать по вечерам прохлады на перекрестках улиц; опершись на палку, он закидывал голову назад и долго стоял так, обращенный лицом кверху, словно перехватывая каждый свежий ток, который может случайно пробежать в атмосфере. Наскучив прогулками и театрами, мы проводили иногда остаток вечера у себя дома за бостоном. Надо сказать, что ни я, ни хозяин, ни А. А. Иванов, участвовавший в этих партиях, понятия не имели не только о сущности игры, но даже и о начальных ее правилах. Гоголь изобрел по этому случаю своего рода законы, которые и прикладывал поминутно, мало заботясь о противоречиях и происходившей оттого путанице; он даже весьма аккуратно записывал на особенной бумажке результаты игры, неизвестно для чего, потому что

с новой игрой всегда оказывалась необходимость изменить прежние законы и считать недействительными все старые приобретения и потери. Лучше всего была обстановка игры: Гоголь зажигал итальянскую свою лампу об одном рожке, не дававшую света даже столько, сколько дает порядочный ночник, но имевшую достоинство напоминать, что при таких точно лампах работали и веселились древние консулы, сенаторы и проч. Затем Гоголь принимал в свое распоряжение фляжку *орвиетто,* захваченную кем-нибудь на дороге, и мастерским образом сливал из нее верхний пласт оливкового масла, заменявший, тоже по древнему обычаю, пробку и укупорку. Вообще у Гоголя была некоторая страсть к рукодельям: с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными материалами, в сильной задумчивости. Одно обстоятельство только тревожило меня, возбуждая при этом сильное беспокойное чувство, которое выразить я, однако же, не смел перед Гоголем, а именно тогдашняя его причуда — проводить иногда добрую часть ночи, дремля на диване и не ложась в постель. Поводом к такому образу жизни могла быть, во-первых, опасная болезнь, недавно им выдержанная и сильно напугавшая его, а во-вторых, боязнь обморока и замирания, которым он, как говорят, действительно был подвержен. Как бы то ни было, но открыть секрет Гоголя, даже из благодушного желания пособить ему, значило нанести глубочайшую рану его сердцу. Таким образом, Гоголь довольно часто, а к концу все чаще и чаще приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руку и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и так же точно усаживался на своем собственном соломенном диванчике вплоть до света, а со светом взбивал и разметывал свою постель для того, чтоб общая наша служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе жильца своего, в чем, однако же, успел весьма мало, как и следовало ожидать. Обстоятельство это, между прочим, хорошо поясняет то место в любопытной записке Ф. В. Чижова о Гоголе 1843 года, где автор касается апатических вечеров Н. М. Языкова,

на которых все присутствующие находились в состоянии полудремоты и после часа молчания или редких отрывистых замечаний расходились, приглашаемые иногда ироническим замечанием Гоголя: «Не пора ли нам, господа, окончить нашу шумную беседу» («Записки о жизни Гоголя», том I, стр. 330). Вечера эти могли быть для Гоголя началом самой ночи, точно так же проводимой, только без друзей и разговоров. Конечно, тут еще нельзя искать обыкновенных приемов аскетического настроения, развившегося впоследствии у Гоголя до необычайной степени, но путь для них был уже намечен. Впрочем, все умерялось еще тогда наслаждениями художнической, созерцательной жизни, и самая бессонница, вызванная мнительностью, имела подчас поэтическую обстановку. Так, однажды во Фраскати мы долго разговаривали, сидя на окне локанды, глядя в темное голубое небо и прислушиваясь к шуму фонтана, который журчал на дворе. Беседа шла преимущественно об отечестве; Гоголь по временам вдыхал в себя ароматический запах итальянской ночи и при воспоминании о некоторых явлениях нашего быта проговаривал задумчиво: «А может быть, все так и нужно покамест». Вообще мысль о России была в то время, вместе с мыслию о Риме, живейшей частью его существования. Он вполне был прав, утверждая впоследствии, что никогда так много не думал об отечестве, как вдали от него, и никогда не был так связан с ним, как живя на чужой почве: чувство, испытываемое многими людьми с гораздо меньшими способностями и меньшим призванием, чем Гоголь. Между тем кроткая свежесть ночи, тишина ее и однообразный плеск фонтана погрузили меня в дремоту: я заснул на окне в то самое время, как мне казалось, что все еще слышу говор фонтана и различаю шепот собеседника... Вероятно, Гоголь так же продремал всю ночь на окне, потому что он разбудил меня поутру точно в том виде и костюме, как был накануне.

Между тем со мной случилось довольно неприятное происшествие. Выкупавшись в Тибре, я захватил сильную простуду, которая разрешилась опухолью горла, или жабой, по простонародному названию. Доктор никак не мог овладеть болезнию и, не зная что делать, потребовал кровопускания. Я сопротивлялся этому общему итальянскому средству; но раз почтенный доктор вошел ко мне в сопровождении хозяина нашей квартиры, его домашних

и фельдшера. По первым словам я убедился, что они решились на насилие, и покорно отдал себя в их распоряжение. Фельдшер быстро перевязал мне руку и с видом какого-то свирепого наслаждения приступил к делу. Всего забавнее, что сам доктор не мог удержаться от восторга при виде крови и закричал: «Bel sangue! Ecco-lo!» (Вот она, кровь-то!) Затем, почти прыгая около меня, он подтверждал фельдшеру не жалеть моей крови и просил о том же всех присутствующих, на лицах которых было написано душевное удовольствие. Комическая сцена, поразившая меня своей странностью и неожиданностию!

При первых признаках упорного недуга, сопротивляющегося медицинским средствам, Гоголь уехал тотчас за город, написав оттуда хозяину нашей квартиры маленькую записочку, в которой просил его заняться больным — nostro povero ammalato *, как выразился. Кажется, вид страдания был невыносим для него, как и вид смерти. Картина немощи если не погружала его в горькое лирическое настроение, как это случилось у постели больного графа Иосифа Виельгорского в 1839 году [71], то уже гнала его прочь от себя: он не мог вытерпеть природного безобразия всяких физических страданий. Что касается до созерцания смерти, известно, как подействовал на весь организм его гроб г-жи Хомяковой, за которым он сам последовал вскоре в могилу [72]. Вообще при сердце, способном на глубокое сочувствие, Гоголь лишен был дара и уменья прикасаться собственными руками к ранам ближнего. Ему недоставало для этого той особенной твердости характера, которая не всегда встречается и у самых энергических людей. Беду и заботу человека он переводил на разумный язык доброго посредника и помогал ближнему советом, заступничеством, связями, но никогда не переживал с ним горечи страдания, никогда не был с ним в живом, так сказать, натуральном общении. Он мог отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желание своего сердца, но самого себя ни в каком случае не отдавал. Нельзя и требовать от натуры человека, чего в ней не заключается (довольно, что натура была благородная и любящая по-своему), но замечание это показалось нам совершенно необходимым в виду тех безразличных, ничего не выражающих фраз

---

* нашим бедным больным (*ит.*).

об «ангельской» душе, «необычайном» сердце и проч., которые расточаются биографами Гоголя в опытах изображения его характера — и характера его нисколько не определяют.

Я скоро выздоровел, а между тем время отъезда моего из Рима приближалось. До того мы успели сделать целым обществом прогулку в Сабинских горах, побывать в Олевано и Субиако, где нашли толпу русских художников, изучающих все эти превосходные и оригинальные местности. Гоголь нам не сопутствовал, он оставался в Риме * и потом весьма пенял на леность, помешавшую ему присоединиться к странническому каравану. Особенно сожалел он, что лишился удобного случая видеть те бедные римские общины, которые еще в средние века поселились на вершинах недоступных гор, одолеваемых с трудом по каменистой тропинке привычным итальянским ослом. Другого способа езды здесь нет. Многие живут там и доселе, связываясь с государством только посредством сборщика податей и местного аббата, их всеобщего духовника, сходя в долину для посева и сбора маиса и кукурузы, обмена своих овощей, а иногда, при благоприятных политических обстоятельствах, для разбоя и грабежа на дорогах. Как совершеннейшее проявление той естественной, *непосредственной* жизни, которую так высоко ценил Гоголь, они действительно заслуживали внимания его, особенно если вспомнить истинно живописные стороны, какими они, надо сказать правду, обладают в изобилии. Живописность и всякий проблеск самородной выдумки, как бы малозначительна ни была она, находили в Гоголе почти всегда лучшего и благорасположеннейшего ценителя. Помню, что в одно из наших путешествий по дорогам между Тиволи, Фраскати и Альбано мы наехали на узкую лощину, закраины которой так густо

* Известный наш художник Ф. А. Моллер, оканчивавший свою «Русалку», писал в это же время портрет Гоголя. По возвращении моем из Субиако я раз застал в его мастерской Гоголя за сеансом. Вероятно, сеансы эти и были причиной, помешавшей Гоголю принять участие в нашей прогулке. Показывая мне свой портрет, Гоголь заметил: «Писать с меня весьма трудно: у меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений», что подтвердил и Ф. А. Моллер. Портрет известен: это мастерская вещь, но саркастическая улыбка, кажется нам, взята Гоголем только для сеанса. Она искусственна и никогда не составляла главной принадлежности его лица. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

поросли кустами живой изгороди, что составили над тропинкой род зеленого непроницаемого свода. Гоголь был в восхищении и сказал: «Вот какими дорогами надо бы обзавестись Европе»; но Европа обзавелась дорогами совсем в другом вкусе.

За день до моего отъезда из Рима мы перебрались в Альбано, где решились ожидать прибытия почтовой кареты Перети, в которой я взял место до Неаполя. На другой день после прощального дружеского обеда в обыкновенной нашей локанде Гоголь проводил меня до дилижанса и на расставанье сказал мне с неподдельным участием и лаской: «Прощайте, Жюль. Помните мои слова. До Неаполя вы сыщете легко дорогу, но надо отыскать дорогу поважнее, чтоб в жизни была дорога; их множество и стоит только выбрать...» [73] Мы расстались. Я ехал на Неаполь, с тем чтобы осень провести в Верхней Италии, а на зиму переселиться в Париж.

В октябре 1841 года [74] в Париже получено было известие, что Гоголь уехал в Россию для печатания первого тома «Мертвых душ».

Несколько подробностей касающихся до истории появления этого тома в печати, мы намерены привести здесь же, прерывая на время нить воспоминаний наших. С. Т. Аксаков в превосходной записке своей о Гоголе, сообщенной г. Кулишем и, к сожалению, разделенной им на отрывки, в которых отчасти теряется общий характер повествования (см. «Записки о жизни Гоголя», СПб., 1856), относит к концу 1840 года замечательную перемену тона в письмах Гоголя, получивших оттенок торжественности и мистического одушевления. С. Т. Аксаков объясняет это обстоятельство, во-первых, болезнию Гоголя в Вене осенью того же года, открывшей ему, по собственному его признанию, многое, что изменило все существование его, а во-вторых, причину перемены полагает в великом значении, какое возымели «Мертвые души» для их автора, увидавшего, как под рукой его «незначащий сюжет вырастает в колоссальное создание, наполненное болезненными явлениями нашей общественной жизни» [75]. Последняя догадка особенно справедлива. С приближением к концу своего заветного труда Гоголь начинает уже смотреть на себя как на человека, в жизни которого слышатся шаги неведомого, таинственного предопределения. Взгляд этот на самого себя все более и более укрепляется по мере развития работы и наконец

переходит в убеждение, которое нераздельно срастается со всем его существованием. При поверке его писем всеми известными обстоятельствами его жизни мы видим, как по мере окончания какой-либо части романа, свежих, живых отпрысков, данных им, или обогащения его каким-либо новым представлением Гоголь проникается каждым из этих явлений, настраивает душу на высокий лад и возвещает друзьям событие торжественными, пророческими намеками, приводившими их в такое недоумение сначала. Он смотрит на самого себя при таких случаях со стороны (объективно) и говорит о себе прямо с благоговением, какое следует питать ко всякому, хотя бы и непонятному, орудию предопределения. Его вдохновенные, лирические возгласы, частое провозвестие близкого и великого будущего до того совпадают с годами и эпохами окончания разных частей романа, с намерениями автора в отношении их, что могут служить несомненными свидетельствами хода его работ и предприятий. Тон писем Гоголя изменяется, как замечено, к концу 1840, именно к тому времени, когда «Мертвые души» (первая часть) были готовы вчерне. В следующем за тем году наступает окончательная отделка и переписка глав, и мы видим, что в марте 1841 года Гоголь зовет к себе в Рим М. С. Щепкина, Конст. Серг. Аксакова и потом М. П. Погодина, возлагая на них обязанность перевезти себя в Россию. В письме его встречаются следующие строки: «Меня теперь нужно беречь и лелеять... Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет... Они сделают не бесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара, еле держится; но в этой вазе заключено теперь сокровище. Стало быть, ее нужно беречь» [76]. Когда, в августе того же года, переписка романа была совсем приведена к окончанию (то есть две недели спустя после моего отъезда из Рима), Гоголь отправляет к одному из своих лицейских товарищей, А. С. Данилевскому, письмо с советами касательно лучшего устройства его жизни, и вместе с тем из-под пера его выливаются эти вдохновенные черты: «Ио слушай! теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова!.. О, верь словам моим! Властью высшею облечено отныне мое слово... Все может разочаровать, обмануть, изменить тебе, но не изменит мое слово... Прощай! Шлю

тебе братский поцелуй мой и молю бога, да снидет на тебя хоть часть той свежести, которою объемлется душа моя, восторжествовавшая над болезнями хворого моего тела» и проч. («Зап. о жизни Гоголя», т. I, стр. 273 и 285) [77]. Так возвещал он друзьям своим степени различного состояния своей рукописи, и, конечно, если тут есть часть простого авторского самолюбия, то уже в мере, которая пропадает незаметно в другом, сильнейшем настроении. После 1843 года, при работе за второю частью «Мертвых душ», настроение это приобретает еще большее развитие, и тогда намеки, свидетельствующие о положении дела, о видах, какие имел автор на свое создание, о пути, который приняло его творчество, становятся еще более торжественными и проникаются еще более свойствами мистического, восторженного созерцания. Они делаются вместе с тем чаще, постояннее до тех пор, пока собрание их в одну книгу и издание в 1847 году под именем «Выбранные места из переписки с друзьями» возвещают, по нашему мнению, совершенное окончание второй части «Мертвых душ» и скорое ее появление в свет [78]. Мы еще будем говорить об этой *решительной* эпохе в жизни Гоголя, которая значительно отличается от начальной, или *предуготовительной,* в которой находимся, но теперь же скажем, что отыскать соответствие между подробностями тогдашней его переписки и состоянием второй части «Мертвых душ» есть дело, конечно, трудное, но не невозможное для будущего биографа его.

И довольно замечательно, что даже простого сомнения в себе, не только христианского смирения, о котором так много толковали по поводу Гоголя, нет и признаков в его переписке вплоть до 1847 года, то есть до страшного переворота в его жизни, последовавшего за неуспехом выданной им книги. Правда, он учит всех наблюдать за собой, радоваться ударам, наносимым самолюбию, но всякий такой удар отражает от себя тотчас же и весьма решительно. Все его требования упреков, выговоров, просьбы о сообщении бранчивых критик, похвалы несправедливым заключениям литературных врагов его тоже не показывают никакого смирения. Он уже стоял выше этого, играл с безвредным жалом порицателей, даже хвалил их, как хвалит учитель фехтованья мальчика, нанесшего ему знакомый и предвиденный удар; но когда удар действительно был искусно рассчитан и поражал его, он подымался, как гроза, и с великою

энергией) возвращал его противнику. Но в письмах Гоголя, скажут нам, есть, между прочим, ясные признаки упадка сил, есть искренние жалобы на творческую немощь, наконец, есть нелицемерная покорность провидению, надежда на него и беспощадная оценка самого себя. Действительно есть, и все это уже симптомы самого труда, самого процесса работы, столько же, сколько и известного нравственного состояния. Всякий раз, как они появляются, можно подразумевать, как нам кажется, что Гоголь еще занят развитием идеи или представления, что он одолевает творческим образом характер или происшествие, что, наконец, он еще носится в открытом море создания, колеблемый всеми соображениями писателя и без берега в виду. Эти эпохи есть вместе с тем и эпохи самых сильных физических его страданий...

Грозные, карающие письма Гоголя к друзьям и даже к семейству, которые так удивили многих, поясняются тоже состоянием его мысли в эту эпоху. Такими письмами он намекал на сокровища, которые в ней таятся, и, по нашему мнению, они пишутся всякий раз, как труженику, более и более переходившему к мистическому представлению своего призвания, кажется, что он открыл новую сторону в литературной задаче своей и стоит на высшей степени ее понимания. С вершины добытой художнической или мистической истины, что уже делалось для него все равно, он свободно бросает перуны вниз, к людям, еще не просвещенным тою благодатью, присутствие которой он сильно чувствует в себе. Под обаянием исключительной идеи Гоголь начинает придавать, особенно с 1843 года, глубокое значение всякому обстоятельству, касающемуся лично до него или до друзей: таинственные, многознаменующие признаки плодятся вокруг него; каждый простой случай жизни оживает, олицетворяется, получает вещее слово и пропадает, уступая место другому... Помню одно письмо Гоголя поэту Н. М. Языкову, кажется пропущенное г. Кулишем, в котором он излагает мистическое значение грефенберговского способа лечения холодной водой [79]. Он обращает внимание друга на поучительную историю воды как всеобщего медицинского средства, от начала веков предложенного человеку самим промыслом. Отвергнутое заумничавшимся человеком, оно вновь открыто, но не академиями, не профессорами и современной наукой, а простым и бедным крестьянином австрийской деревушки! Но когда Гоголь

сам попробовал ванны и души Грефенберга, которые отчасти расстроили его слабые нервы, он забывал все свои прежние толкования и в другом письме к Н. М. Языкову откровенно проклинал Грефенберг и его знаменитого доктора. Ошибки не исправляют страстные увлечения: все, что каким-либо образом соприкасается с задачею его жизни, с созданием романа, является в необычайных размерах... Так, поручения его списывать статьи журналов и пересылать ему, вместе с заметками о нравах и обычаях, с ходячими толками и суждениями о нем самом, являются, в свете его вдохновенных пояснений, не просто материалами для питания и укрепления его литературной деятельности, а почти делом, приближающим великое будущее, и спасением для тех людей, которые займутся им. Есть несколько писем Гоголя к госпоже Смирновой (жене губернатора, урожденной Розетти) в Калугу, где поручения этого рода представлены в виде нравственного подвига, следствия которого могут быть гораздо важнее для того, кто принял его на себя, чем для того, кто прямо ими воспользуется [80]. Иногда даже малейшие обстоятельства, каким-либо образом ускоряющие движение романа, облекаются тем же таинственным светом, в котором очертания всех предметов ложатся громадными, колоссальными линиями. Один сильный пример этого перевода очень обыкновенных потребностей жизни на высокий язык прозрений, предчувствий и мистических толкований, мы берем из переписки покойного Н. Я. Прокоповича с Гоголем. Он относится к 1842, к эпохе печатания «Мертвых душ» в Москве, и, таким образом, сам собою приводит нас к предмету нашего описания [81].

Читатель должен вспомнить прежде всего, что в октябре 1841 года [82] Гоголь жил в Москве, представив там и рукопись свою на цензурное одобрение. По затруднениям, которые встретились тогда, рукопись переслана была в Петербург [83] и в марте месяце 1842 года получила полное цензорское одобрение, за исключением повести о капитане Копейкине, которую следовало переделать [84]. Гоголь приступил к переделке повести и с нетерпением ждал прибытия своей рукописи, высланной в Москву для печатания, как говорили, тоже в марте, но рукопись пришла только в начале апреля, пролежав где-то добрый месяц. Все это время Гоголь томился, страдал, жаловался друзьям на пропажу труда и в неподдельной тоске спрашивал у всех об участи своей

рукописи. Наконец приступлено было к печатанию. Дело, таким образом, приходило к развязке; горизонт уяснялся понемногу, и Гоголь задумал кстати выдать новое издание своих Сочинений, но уже в Петербурге, и предоставил все хлопоты печатания покойному Н. Я. Прокоповичу. 15 мая он написал ему следующее письмо:

«Благодарю тебя именно за то, что ты в день 9 мая * написал письмо ко мне. Это было движение сердечное; оно сквозит и слышно в твоих строках. Я хорошо провел день сей, и не может быть иначе: с каждым годом торжественней и торжественней он для меня становится. Нет нужды, что не сидят за пиром пировавшие прежде: они присутствуют со мной неотразимо, и много присутствует с ними других, дотоле не бывавших на пире. Ничтожна грусть твоя, которая па мгновенье осенила тебя в сей день; она была поддельная, ложная грусть: ибо ничего, кроме просветления мыслей и предчувствий чудесного грядущего, не должен заключать сей день для всех близких моему сердцу. Обманула тебя, как ребенка, мысль, что веселье твое уже сменилось весельем нового поколения. Веселье твое еще и не начиналось... *Запечатлей же в сердце сии слова: ты узнаешь и молодость, и крепкое, разумное мужество, и мудрую старость, постепенно, торжественно-спокойно, как непостижимой божьей властью я чувствую отныне всех их разом в моем сердце.* Девятого же мая я получил письмо от Данилевского. Я за него спокоен. Три, четыре слова, посланные еще из Рима, низвели свежесть в его душу **. Я и не сомневался в том, чтобы не настало наконец для него время силы и деятельности. Оп светло и твердо стоит теперь на жизненной дороге. *Очередь твоя. Имей в меня каплю веры, и живящая сила отделится в твою душу.* Я увижу тебя скоро, может быть через две недели. Книга тоже выйдет к тому времени; все почти готово. Прощай. До свидания. Твой Г.» [85].

Торжество писателя и гражданина, достигающих последней цели своих стремлений, звучит в этом письме удивительно полным и могучим аккордом: мысль о близком появлении романа низводит небо в душу автора и дает ему чувствовать зараз наслаждения всех возрастов,

---

* День именин Н. В. Гоголя. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** Отрывок из этого письма к Данилевскому приведен у нас несколько выше. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

по его словам. То же самое обещает он и приятелю, для которого приготовляет довольно сложную, хлопотливую, но совсем не блестящую и нисколько не вдохновенную работу — печатание и издание своих сочинений в Петербурге. По поводу этой простой комиссии он заглядывает в будущее и немеет пред необычайными наградами, которые готовятся там за подвиг, доступный всякому только что грамотному и порядочному человеку. Надобно сказать, что по нашему глубокому убеждению, которое желали бы мы сообщить всем, Гоголь был совершенно добросовестен, когда писал эти строки: он сам верил в необъятную важность своего плана! Как в этом случае, так и во всех других ему подобных нет никакой возможности предположить, что рукой его водил один только голый, безобразный, мещанский расчет — притянуть к себе чужие силы и ими воспользоваться. Кто знает свойство вообще исключительных идей литературного, мистического и всякого другого содержания поглощать все другие соображения и становиться всюду на первый план, тот никогда не придет к подобному заключению. Самый тон подобных писем, исполненный теплоты и одушевления, уже отстраняет от них подозрение в сухом обдумывании эгоистического замысла. Мы сейчас увидим, каков был Гоголь, когда действовал от своего лица и по обстоятельствам, а не по внушениям своей неизменной мысли: он становится другим человеком и выказывает новую сторону характера, совершенно противоположную той, которой теперь занимаемся. В настоящем случае, как и во всех с ним схожих, он был выше или, если хотите, ниже расчета. Он говорит с собеседником как *власть имущий,* как судья современников, как человек, рука которого наполнена *декретами,* устраивающими *их* судьбу по их воле и против их воли.

Но с этой высоты представления своей жизненной задачи Гоголь по временам сходил в толпу людей, когда требовала этого необходимость, и становился с ними лицом к лицу. Тогда обнаруживалась другая сторона его характера, о которой сейчас упомянули. Для борьбы с нерешительностью, равнодушием и противодействием он употреблял верные, чисто практические средства, и притом с разнообразием, энергией и дальновидностью расчета, заслуживающими изумления. Так было между прочим в эпоху печатания первого тома «Мертвых душ». Письмо к Н. Я. Прокоповичу, приведенное нами выше, имело

еще приписку следующего содержания: «О книге можно объявить; постарайся об этом. Проси Белинского, чтобы сказал что-нибудь о ней в немногих словах, как может сказать не читавший ее. Отправься тоже к Сенковскому и попроси от меня поместить в литературных новостях известие, что скоро выйдет такая-то книга, — и больше ничего. В этом, кажется, никто из них не имеет права отказать» [86]. Это незначительный образчик его хлопот о книге. Он писал министру просвещения, покойному графу Уварову, известное письмо, в котором, по глубокой сметливости, мельком говорит о нравственном значении нового своего произведения и указывает преимущественно на бедность и беспомощность своего положения, обнаруживая этим немаловажные познания в деловой логике и в материях, на которые она обращает особенное свое внимание [87]. Письмо было без означения года, числа и места, откуда послано, и г. Кулиш в своей книге (т. I, с. 292) думает, что это произошло, может быть, от рассеянности, но это произошло не без умысла. Просьба выражала высшую степень незаслуженного страдания, до которого доведен человек, и могла обойтись без всех формальностей; отсутствие их, не говоря о другом, даже сообщало ей особенный вид искренности. Немного далее г. Кулиш (стр. 254) по поводу этого письма и другого к бывшему попечителю СПб. округа, князю М. А. Дондукову-Корсакову [88], точно в том же роде, замечает: «Перечитывая эти письма, значительно мною сокращенные, удивляешься простодушию поэта и его незнанию самых обыкновенных приемов в сношениях с людьми такого рода, по такому делу и при таких обстоятельствах. Не думаю, однако ж, чтобы эти недостатки понижали его хотя одним градусом во мнении истинно благородно мыслящего человека. Нет, зная ничтожество его в жизни практической, неловкости в сношениях с людьми, мелочные причуды характера или какие бы то ни были нравственные недостатки, мы тем больше должны почитать пламень его таланта. Глядя таким образом на поэта, мы не оскорбим *его памяти своим любопытством, доискивающимся его высоких поступков или мыслей и самых мелких его слабостей».* Все это место, как и несколько других в книге г. Кулиша, следует понимать буквально наоборот, и тогда оно будет соответствовать делу и выражать справедливое мнение. Простодушия поэта нет и признаков в обоих письмах; нарушение обыкновенных

условий корреспонденции вышло, как нам кажется, совсем из другого источника, чем недостаток опытности; практический смысл Гоголя составлял его отличительное свойство, пока не пропадал в одной исключительной идее; к *пламени его таланта* незачем обращаться благонамеренному и добросовестному исследователю, как бы к некоторому облегчительному обстоятельству в своем роде, а доискиваться причины его высоких поступков и мелких слабостей не значит оскорблять памяти Гоголя, перед которой благоговеет всякий образованный русский, а значит только удовлетворить законной потребности в истине и в великом поучении, которое представляет жизнь каждого замечательного человека.

В дополнение мы приводим здесь из переписки с Н. Я. Прокоповичем один листок, который окончательно показывает, в каком тоне и на каких условиях требовал Гоголь ходатайства друзей перед людьми, от которых зависела судьба его рукописи, а стало быть, и его собственная. Листок подтверждает также, что письма его к двум влиятельным лицам эпохи не были произведением минутной вспышки, а, напротив, составляли часть обдуманной системы. «Москва, февраль. — Я получил твое уведомление, но такое же самое, назад тому полторы недели, я получил уже от Плетнева, и с тем вместе было сказано, чтоб я готовился к печати, что на днях мне пришлется рукопись, а между тем уже две недели прошло... Не затеялась ли опять какая-нибудь... история? Пожалуйста, зайди к Плетневу и разведай. И попроси его, чтоб он был так добр и заехал бы сам в квартиру к князю Д-К — ву. Последний был когда-то благосклонен ко мне. Пусть он объяснит им, что все мое имущество, все средства моего существования заключаются в этом, что я прошу их во имя справедливости и человечества, потому что я и без того уже терпел и терплю. Меня слишком истомили, измучили эти история, и что я терплю много уже чрез одни проволочки, давно лишенный всяких необходимых (средств существования). Словом, пусть он объяснит им это. Не<ужели> они будут так бесчувственны... Здоровье мое идет пополам, — иногда лучше, иногда хуже. Но я устал крепко всеми силами и, что всего хуже, — не могу совсем работать. Чувствую, что мне нужно быть подальше от всего житейского дрязгу, он меня томит»[89]. Конечно, материальная сторона предприятия не могла быть лишена всей своей важности в глазах человека, жившего од-

ними своими литературными трудами, но намерение держаться одной этой стороны, как лучшей пособницы в настоящем деле, доказывает уже само по себе сильное познание эпохи и немалую практическую зоркость.

И не один влиятельные лица того времени вызывали у Гоголя уменье приноровляться к понятиям и взгляду общества, но и на самых друзьях своих он еще испытывал способность говорить языком их помыслов и наклонностей. Зная постоянное желание бывшего издателя «Современника» (Плетнева) украсить свой журнал его именем, Гоголь пишет к старому своему другу и покровителю письмо из Москвы от 6 февраля 1842. На этот раз Гоголь вдруг отказывается от печатания «Мертвых душ», просит возвратить ему рукопись, под предлогом необходимых исправлений, и только требует откровенного мнения друзей насчет достоинства и недостатков романа[90]. Письмо это, если бы получено было своевременно в Петербурге, конечно, поразило бы всех почитателей его таланта, да, вероятно, и рассчитано было на произведение этого эффекта, способного удвоить их ходатайства по общему делу. Не довольствуясь этим, Гоголь, как бы ненароком, бросает еще в конце письма следующие слова:

«P. S. Будет ли в «Современнике» место для статьи около *семи* печатных листов, и согласитесь ли вы замедлить выход этой книжки, выдать ее не в начале, а конце апреля, то есть к празднику. Если так, то я вам пришлю в первых числах апреля. Уведомьте». Надо сказать, что единственная статья, которой он мог располагать, была именно «Рим», в чем удостоверяет нас сам автор, писавший к Прокоповичу 13 марта: «В «Москвитянине» не повесть моя, а небольшой отрывок... Это единственная вещь, которая у меня была годная для журнала»[91]. Пообещав ее «Современнику», Гоголь отдал статью в «Москвитянин», по причинам, которые опять сам же излагает: «Погодину я должен был дать что-нибудь, потому что он много сделал для меня. Плетневу я тоже должен, хотя до сих пор еще не выполнил». Статья «Рим» появилась в третьем № «Москвитянина», 1842, а вслед за тем, 17 марта Гоголь высылает издателю «Современника» старую, хотя и вновь переделанную повесть «Портрет», которая вряд ли могла заменить для журнала подарок, сделанный «Москвитянину», а в извинение пишет, что как ни силился составить для «Современника» «статью во многих отношениях современную», но, написав три «бес-

путных страницы», истребил ее совсем. Можно смело предполагать, что даже к этим трем «беспутным страницам» он никогда не приступал. Вдобавок Гоголь старается еще убедить редакцию, что старая повесть более идет такому журналу, как «Современник», который должен быть весь обращен к прошлому и почти не иметь другой цели, кроме воспоминания Пушкина и собрания друзей вокруг его могилы («Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 295)[92]. Во всей этой, впрочем, весьма обыкновенной журнальной истории важно для исследователя только одно обстоятельство, именно следующее: письмо, где Гоголь отказывается от печатания «Мертвых душ» и обещает статью, было им придержано и отослано уже спустя две недели после написания (17 февраля). Гоголь, видимо, причислял письмо к последним крайним мерам своим и ожидал еще известий. Когда более благоприятные известия достигли до Москвы, письмо потеряло свою самостоятельность и пошло в виде дополнения к другому, спокойному и уже частью веселому сообщению (см. «Зап. о Гоголе», т. I, стр. 291). Роль, на которую оно предназначалось, была снята с него, характер последнего, решительного удара потерян: оно оставалось только свидетелем протекших волнений писателя, которые должны еще были возбуждать участие и сострадание его друзей!

Мы упомянули раз имя Белинского. Ввиду влияния, которое имел этот замечательный деятель своего времени на значительный класс читателей, Гоголь не мог оставить его без внимания и с первого же знакомства получил от него услугу, немаловажную по своим последствиям. Обычный, формальный ход рукописи «Мертвых душ», как мы уже сказали, встретил в Москве какого-то рода затруднения. Гоголь еще не знал, на что решиться, когда, пользуясь случайным пребыванием Белинского в Москве, он назначил ему в доме одного общего знакомого свидание, но, как следовало ожидать, под условием величайшего секрета[93]. Пренебречь ропотом друзей, завязав откровенные сношения с критиком, он не мог даже по убеждениям своим. Мы знаем положительно, что Гоголь, вместе с другими членами обыкновенного своего круга, был настроен не совсем доброжелательно к Белинскому, и особенно потому, что критик стоял за суровую, отвлеченную, идеальную истину и при случае мало дорожил истиной исторической, а еще менее преданием, связями и воспоминаниями кружков. Гоголь несколько раз выражал,

недовольство свое критикой Белинского еще в Риме. С другой стороны, несмотря на тогдашнюю бдительность литературных партий и строгий присмотр за людьми, Гоголь понимал опасность оставаться безвыходно в одном кругу, да и сочувствие к деятельности Гоголя, высказанное не раз Белинским, сглаживало дорогу к сближениям; отсюда *секретные* сношения, первый пример которых подал, как известно, Пушкин, посылавший тайком критику нашему свои книги и одобрительные слова [94]. Не обвиняя никого, можно объяснить подобные явления чрезвычайной молодостью литературы и общества; но как бы то ни было, при первом *таинственном* свидании Гоголя с Белинским Гоголь решился на пересылку своей рукописи в Петербург, и тогда же обсуждены были меры для сообщения ей правильного и безостановочного хода. Белинский, возвращавшийся в Петербург, принял на себя хлопоты по первоначальному устройству этого дела, и направление, которое он дал ему тогда, может быть, решило и успех его. С ним, как мы слышали, пошла в Петербург и самая рукопись автора... Впрочем, как мы сказали, миновать известного нашего критика почти и не было возможности: он уже начинал делаться у нас странным анонимом. Никто не произносил его имени, но литературные прения, где бы они ни завязывались, постоянно имели в виду положения, им высказанные, не говоря уже о множестве статей, невольно и неудержимо направленных в ту сторону, где стоял замечательный аноним, существование и влияние которого они старались покрыть ложным презрением! Несколько позднее явление это еще развилось и обхватило большой круг. В разговорах любителей литературы, в обществе образованных людей, занимавшихся событиями отечественной жизни и ее направлением, даже на профессорских кафедрах красноречия аноним присутствовал неизбежно. Его надобно было непременно обойти, чтоб идти далее или в другую сторону. Точно так поступал и Гоголь: ни разу не произносит он имени Белинского во всей своей переписке с друзьями, но протягивает ему руку за спиной их. После отъезда Белинского в Петербург Гоголь получил от него длинное, пространное письмо с мыслями, касавшимися, вероятно, внутреннего значения «Мертвых душ» и будущего их продолжения [95]. Так можно по крайней мере заключить из следующего отрывка, писанного Гоголем к П. Я. Прокоповичу в мае

1842: «Я получил письмо от Белинского. Поблагодари его. Я не пишу к нему, потому что минуты не имею времени и потому, что, как сам он знает, обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний мой проезд через Петербург». Действительно, в доме Прокоповича в Петербурге устроено было опять совещание, не требовавшее уже таких предосторожностей, как московский его предшественник, но все-таки носившее характер секрета, без которого Гоголь не мог его ни понять, ни представить себе. Через два месяца после выезда своего из Петербурга за границу, именно из Гастейна (в Тироле), Гоголь делает еще следующую приписку к Прокоповичу, которая, если не ошибаемся, показывает присутствие некоторого чувства доверенности и уважения к критику: «Да, пожалуйста, попроси Белинского отпечатать для меня особенно листки критики «Мертвых душ», если она будет в «Отечественных записках», на бумаге, если можно, потонее, чтобы можно было прислать мне ее прямо в письме, и присылай мне по листам, по мере того как будет выходить» [96]. Конечно, тут есть частью выражение того любопытства, какое обнаруживал вообще Гоголь в отношении суждений и толков о себе, но тут есть вместе с тем, как нам кажется, и кой-что более. Таким образом, под покровом равнодушия и внешней холодности, способных обмануть глаза приятелей, он отдавал должное нравственной силе, не признаваемой другими, и, таким образом, скажем еще, люди самых различных положений в обществе, самых разнородных стремлений и характеров действовали одинаково в его пользу или в пользу его дела.

Наконец «Мертвые души» вышли из печати. Алекс. Иван. Тургенев, получивший это известие из России, распространил его в Париже, и легко понять, с каким восторгом принято было оно всеми, которые отчасти ознакомились с содержанием и направлением романа [97]. С этих пор начинаются беспрерывные разъезды Гоголя по Европе.

В мае 1842 он покидает Петербург [98], направляется к югу, живет довольно долго с больным Н. М. Языковым в Гастейне и осенью вместе с ним является в Рим, где остается на зиму 1842/1843. Весь следующий остаток 1843 проводит он в беспрерывных разъездах; осенью посещает Дюссельдорф, где жил В. Л. Жуковский, и наконец является (в декабре 1843) в Ниццу; здесь уже, бла-

годаря обществу А. О. Смирновой, гр. Виельгорского и других близких людей, Гоголь останавливается несколько долее — вплоть до весны 1844. Затем он переселяется во Франкфурт, в загородный домик Жуковского, основавшего там свое местопребывание, и, с малыми отлучками в Баден, Остенде, Париж и на разные воды, живет у него до лета 1845. Таким образом, Ницца и Франкфурт остаются пунктами самого долгого его пребывания на одном месте. Затем является снова год безостановочных вояжей (от лета 1845 года до весны 1846), и вместе с тем это год болезни, лечения, душевной тревоги, сменяемой невыразимыми порывами мистического экстаза, посещающего его все чаще и чаще. Он успокоивается несколько в Риме, но весной выезжает оттуда в Париж, направляясь к морским купаньям в Остенде, изменяет, однако же, на дороге свой маршрут и поворачивает из Парижа на Дунай, а оттуда через Швальбах (близ Рейна), где ожидает его В. А. Жуковский, с которым он так давно расстался, — достигает цели путешествия. Из Швальбаха (30 июля), между прочим, Гоголь отправляет в Петербург к П. А. Плетневу первую тетрадку «Выбранной переписки с друзьями», заготовленную еще в Риме. Второй период его развития кончился; плоды римского созерцания, определяющий и идеализирующий взгляд на русское общество, теория безграничного самосовершенствования, поражающая художническую производительность в самом источнике, и наконец понимание себя как орудия в руках предопределения и мучительные догадки о видах и целях его в отношении к себе — все это окончательно воспиталось и созрело среди этих четырехлетних беспрерывных разъездов, перемешанных с остановками... Покажем здесь степени этого развития, сколько позволяют пределы и цель нашей статьи, и воротимся снова к воспоминаниям.

Во второй половине 1842 и в начале 1843 мысль Гоголя еще далеко не достигала последних пределов того пути, по которому устремилась. Он занимается изданием своих сочинений, начатым в Петербурге, и входит в мельчайшие подробности касательно этого дела. Распределение статей, условия с книгопродавцами, время выпуска, выгоды, каких можно ожидать от предприятия, и наконец употребление будущих сумм, — все взвешено и обсуждено им с необычайною аккуратностию: он занят жизнию весьма серьезно. Почта за почтою присылает Гоголь издателю своему перемены, дополнения, прибавки к

разным статьям. Так, прислано было окончание «Игроков» и велено было включить фразу в речь Утешительного, после слов: «На, немец, возьми, съешь свою семерку» — «Руте, решительное руте; просто карта — фоска». «Эту фразу, — прибавляет Гоголь, — включи непременно — она настоящая армейская и в своем роде не без достоинства» [99]. Вероятно, он и услыхал ее где-нибудь тогда же. Так точно, усилив еще выразительность монолога Кочкарева, начинающегося словами: «Да что ж за беда? Ведь иным плевали несколько раз», Гоголь предписывает озаглавить комедию следующим образом: «Женитьба, совершенно невероятное событие, в двух действиях». Затем присылает он подробное описание немой сцены, которая должна быть приложена к концу «Ревизора» и выполнение которой он хочет сделать обязательным для актеров [100]. Общий характер всех этих перемен и сила самой критической способности в Гоголе весьма хорошо выражаются следующим отрывком из его письма к Н. Я. Прокоповичу: «Гаштейн. Июля 27—15 (1842). Я к тебе еще не посылаю остальных двух лоскутков, потому что многое нужно переправить, особливо в «Театральном разъезде после представления новой пьесы». Она написана сгоряча, скоро после представления «Ревизора» и потому немножко нескромна в отношении к автору. Ее нужно сделать несколько идеальней, то есть чтобы ее применить можно было ко всякой пьесе, задирающей общественные злоупотребления, а потому я прошу тебя не намекать и не выдавать как написанную по случаю «Ревизора». При корректуре второго тома прошу тебя действовать как можно самоуправней и полновластней: в «Тарасе Бульбе» много есть погрешностей писца. Он часто любит букву *и*; где она неуместна, там ее выбрось; в двух-трех местах я заметил плохую грамматику и почти отсутствие смысла. Пожалуйста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо, — все будет хорошо. Да вот что самое главное: в нынешнем списке слово «слышу», произнесенное Тарасом пред казнию Остапа, заменено словом: «чую». Нужно оставить по-прежнему, то есть: «Батько, где ты? слышишь ли это? — Слышу». Я упустил из виду, что к этому слову уже привыкли читатели и потому будут недовольны переменою, хотя бы она была и лучше». Так

еще заботится Гоголь о себе как о писателе, и презрения ко всей своей прошлой литературной деятельности нет еще тут и признаков.

Совсем другое является с половины 1843... Прежде всего следует заметить, что выпуск второй части «Мертвых душ» откладывается тогда на неопределенное время. Нам уже почти несомненно известно теперь, что эта вторая часть в первоначальном очерке была у него готова около 1842 года [101] (есть слухи, будто она даже переписывалась в Москве в самое время печатания первой части романа). Вероятно, и тогда она уже носила определяющий и идеализирующий характер. Гоголь не скрывал как этого свойства нового произведения, так и относительной близости его появления. Он писал в 1842, что едет в Иерусалим, как только довершит свое произведение, и несколько раз повторяет эту мысль, намекая и на скорое исполнение плана: «Только по совершенном окончании труда моего могу я предпринять этот путь... Окончание труда моего пред путешествием моим так необходимо мне, как необходима душевная исповедь пред святым причащением» *. Но с половины 1843 все изменяется: путешествие в Иерусалим уже становится не признаком окончания романа, а представляется как необходимое условие самого творчества, как поощрение и возбуждение его. Вместе с тем роман уходит в даль, в глубь и тень, а на первый план выступает нравственное развитие автора. В течение недолгого срока оно достигает такой степени, по мнению Гоголя, что сочинение уже не может равняться с ним и стоит неизмеримо ниже мысли творца своего. Николай Васильевич начинает молить бога дать ему силы поднять произведение свое на высоту тех откровений, какие уже получила душа его. В половине 1843 друзья Гоголя извещаются письменно об изменившихся его намерениях касательно второго тома «Мертвых душ» и об устранении всех надежд на скорое его появление. Н. Я. Прокопович тоже получает своего рода предостережение. Пользуясь невинной его заметкой о нетерпении публики видеть продолжение романа, Гоголь отправляет ему следующее строгое и торжественное письмо, как все его письма, заключавшие намеки на видоизменения романа:

---

* См. Письма Гоголя, т. V, стр. 508, письмо к Ш<еремётево>й. (*Примеч. П. В. Анненкова.*) [102]

«Мюнхен. Мая 28 (1843). Твое письмо меня еще более удивило, чем, вероятно, удивит мое тебя. Откуда и кто распускает всякие слухи обо мне? Говорил ли я когда-либо тебе, что буду ныне летом в Петербурге? или что буду печатать II том в этом году? И что значат твои слова: *не хочу тебя обижать подозрением в лености до такой степени, что будто ты не приготовил 2-го тома «Мертвых душ» к печати?* Точно «Мертвые души» блин, который можно вдруг испечь. Загляни в жизнеописание сколько-нибудь знаменитого автора или даже хотя замечательного: что ему стоила большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя, и сколько времени заняла? — Всю жизнь, ни больше, ни меньше. Где ж ты видел, чтобы произведший эпопею произвел, сверх того, пять, шесть других? Стыдно тебе быть таким ребенком и не знать этого! От меня менее всего можно требовать скорости тому, кто сколько-нибудь меня знает. Во-первых, уже потому, что я терпеливее, склонен к строгому обдумыванию и притом еще во многом терплю всякие помешательства от всяких болезненных припадков. «Мертвых душ» не только не приготовлен II том к печати, *но даже и не написан,* и раньше двух лет, если только мои силы будут постоянно свежи в это время, не может выйти в свет. А что публика желает и требует II тома — это не резон; публика может быть умна и справедлива, когда имеет уже в руках, что надобно рассудить и (над чем) поумничать; а в желаниях публика всегда дура, потому что руководствуется только мгновенно минутного потребностью. Да и почему знает она, что такое будет во II томе? Может быть, то, о чем даже ей не следует и знать и читать в теперешнюю минуту, и ни я, ни она не готовы для второго тома»[103].

Так, после зимы в Ницце все обращается для Гоголя в вопрос, начиная с его авторской деятельности. Содержание нашего отрывка, несмотря на презрительный и горделивый тон его, все еще держится предметов общественного и литературного свойства, но в письмах к московским друзьям Гоголь весь отдается мистическому направлению и в нем почерпает доводы для временного прекращения и изменения своей деятельности как писателя. С этой поры также начинает выказываться та наклонность к упрекам и выговорам, которая отличала потом все его сношения с людьми близкими и дальними. Высшее нравственное состояние, до которого он достиг, по его

мнению, дозволяло и узаконило голый упрек: Николай Васильевич потерял даже и представление о его житейском, оскорбляющем свойстве. Рядом с этим встречается, однако же, весьма трогательная и благородная черта характера в Гоголе. Как только раздавался голос живого человека, отозвавшегося на его удары, как только достигал до него вопль затронутой им души, Гоголь вдруг падал с высоты всего предполагаемого своего развития, предавался глубочайшему раскаянию, старался загладить или изменить смысл неосторожного выражения и при этом все казалось ему хорошо — нежное, ласкающее слово, одобрение, подымающее силы, мольба и лесть... Так действует он постоянно в течение четырех последних лет пребывания за границей со всеми друзьями своими.

К той же последней половине 1843 относим мы первое уничтожение рукописи «Мертвых душ» [104] из трех, какому она подверглась. Если нельзя с достоверностию говорить о совершенном истреблении рукописи II тома в это время, то, кажется, можно допустить предположение о совершенной переделке его, равняющейся уничтожению. Так по крайней мере можно заключить из всех писем Гоголя и особенно из письма к В. А. Жуковскому от 2 декабря 1843: роман, за которым уже около трех лет работал автор, представляет в эту эпоху, по собственному его признанию, один первоначальный хаос: это труд, только что зарождающийся. Вот слова самого Гоголя:

«Я продолжаю работать, то есть *набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ»*. Труд, терпение, даже приневоливание себя, награждают меня много. Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа, и многое в мире становится после этого труда ясно. Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступнее к прозрению великих тайн божьего создания и видишь, что чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек, кончит все тем же: одною полною и благодарною молитвою» [105].

В смысле этих слов ошибиться, кажется, нельзя: набрасывание хаоса, из которого должно произойти создание «Мертвых душ», не может относиться ни к продолжению поэмы, ни к отделке какой-либо части ее. Не о постепенности в творчестве или обыкновенном ходе его говорит это место, а о новой творческой материи, из ко-

торой начинают отделяться части создания по органическим законам, сходным с законами мироздания. Старая поэма была уничтожена; является другая, при обсуждении которой открываются тайны высокого творчества с тайнами, глубоко схороненными в недрах русского общества. Обновление поэмы было полное...

Между тем наступил 1844 год, важнейший во втором периоде гоголевского настроения. Одну половину его Гоголь пробыл, как известно, в Ницце, а другую во Франкфурте, с временными отлучками из обоих городов, не заслуживающими упоминовения. Он начинает этот год раздачей экземпляров «Подражания Христу» [106] друзьям, оставшимся в России, и кончает признанием, что за работой самосовершенствования уже никакие земные утраты не в силах огорчить его. (Письма, том VI, стр. 136.) [107] Сочинения свои, с такими хлопотами изданные два года тому назад, он неоднократно объявляет произведениями глупой молодости, да и первая часть «Мертвых душ» не избегает почти того же отзыва (см. в Письмах Гоголя, т. VI, стр. 204) [108]. Наставления, упреки, идеалы для образа жизни и объяснения их посылаются друзьям в разных видах, перемешанные с тем возвращением на собственные слова и поправкой собственных слов, какие идут у него почти всегда рядом с самым твердым, по-видимому неизменным и решительным приговором. Он сосредоточивается весь на переписке с друзьями и на соображениях, касающихся романа. Там и здесь у него одна задача: помочь ближнему и в его освобождении от пороков и несчастий времени найти собственное спасение; но он ищет общего благодатного лекарства, способного целить злые недуги зараз и награждать больного ничем не заслуженными радостями... Цель, таким образом поставленную, называет он своим житейским подвигом, забывает для нее опыт, науку и мало-помалу начинает выделять самого себя и мысль свою из современного развития, из насущных требований общества, из жизни. Он усиливается смотреть поверх голов, занятых обыденным, безотлагательным делом времени, открывает новые горизонты, перспективы, светлые сияния в тех сторонах, куда покамест пет никаких путей. Мираж этот кажется ему важнее всего, что делается около него. Торжественно принимает он на себя роль моралиста, но как мало было в нем призвания к этой роли, показала потом его книга «Выбранная переписка». В ней он оскорбляет

общее чувство справедливости, проповедуя смирение там, где не было ни малейшей кичливости, требуя любви, жертв и примирения не у тех, которые провинились особенно постоянством отпора, сухости и презрения к другим. Мысль общества начинает уже скрываться от того человека, который первый ее открыл и почувствовал в себе, и это несчастное одиночество Гоголь принимает за высокий успех, рост в вышину, великое нравственное превосходство. Тогда сама собой является необходимость разрешения вопросов и литературных задач посредством призраков и фантомов, что так поражает в оставшейся нам второй части «Мертвых душ» [109]. Именно около этой эпохи задуманы лица вроде Костанжогло, который должен был явиться типом совершеннейшего помещика-землевладельца, типом, возникшим из соединения греческой находчивости с русским здравомыслием и примирения двух национальностей, родных по вере и преданиям [110]. Участие призрака в создании еще виднее на другом лице — откупщике Муразове, который вместе с практическим смыслом, наделившим его монтекристовскими миллионами, обладает высоким нравственным чувством, сообщившим ему дар сверхъестественного убеждения. Крупная разжива со всеми ее средствами, не очень стыдливыми по природе своей, награждена еще тут благодатию понимать таинственные стремления душ, открывать в них вечные зародыши правды и вести их с помощью советов и миллионов к внутреннему миру, к блаженству самодовольствия и спокойствия. Это примирение капитала и аскетизма поставлено, однако же, на твердом нравственном грунте, и здесь-то нельзя удержаться от глубокого чувства скорби и сожаления. Основная мысль второй части «Мертвых душ», как и все нравственные стремления автора, направлены к добру, исполнены благих целей, ненависти и отвращения ко всякой духовной неурядице [111]. Вторая часть «Мертвых душ» чуть ли не превосходит первую по откровенности негодования на житейское зло, по силе упрека безобразным явлениям нашего быта и в этом смысле, конечно, превосходит все написанное Гоголем прежде поэмы. Самый замысел повести, даже в нынешнем несовершенном своем виде, поражает читателя обширностию размеров, а некоторые события романа, лучше других отделанные, с необычайным мастерством захватывают наиболее чувствительные стороны современного общества: довольно указать, в подтверждение

того и другого, на план окончания второй части, с одной стороны, на начинавшуюся историю Тентетникова — с другой. Да и в самой «Переписке с друзьями», ныне изданной[112], сколько попадается заметок, показывающих глубочайшее познание сердца человеческого, изощренное постоянным наблюдением за собой и за другими, сколько светлого пояснения едва приметных душевных волнений доступных только чувству и глазу опытного, искушенного психолога, наконец, сколько отдельных моральных положений неотразимой истины и несомненного достоинства. Ввиду всех этих разбросанных сокровищ, у которых от близости с фальшивыми ценностями отнята или по крайней мере значительно ослаблена возможность приносить пользу, грусть и истинное сожаление овладевают читателем, и невольно слышится ему, что жизнь великого и здравомыслящего писателя, осужденного на бесплодие самим направлением своим, должна неминуемо кончиться грозной и мучительной драмой.

К концу этого развития я опять встретился с Гоголем. Надо сказать, что со времени выезда моего из Рима я уже более не видал Гоголя вплоть до 1846 года. Два раза получил я от него по письму в России, из которых первое заключало обыкновенные его комиссии, касавшиеся присылки книг и сообщения толков о его произведениях, а второе (1843) содержало выговор за резкие суждения о людях, не понимавших или хуливших его литературную деятельность[113]. Тем и ограничивались все наши сношения в течение пятилетней разлуки. Проезжая через Париж в 1846 году, я случайно узнал о прибытии туда же Николая Васильевича, остановившегося, вместе с семейством гр. Толстого (впоследствии обер-прокурора синода), в отеле улицы *De la Paix.* На другой же день я отправился к нему на свидание, но застал его уже одетым и совсем готовым к выходу по какому-то делу. Мы успели перекинуться только несколькими словами. Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось по-старому длинными, густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но,

казалось мне, еще более исполнились огня и выражения. Николай Васильевич быстро перебежал через все обычные выражения радости, неизбежные при свиданиях, и тотчас заговорил о своих петербургских делах. Известно, что после издания своих сочинений Гоголь жаловался на путаницу в денежных расчетах, которой, однако же, совсем не было: Николай Васильевич забыл только сам некоторые из своих распоряжений. Тогда уже все было объяснено, но Николай Васильевич не желал казаться виноватым и говорил еще с притворным неудовольствием о хлопотах, доставленных ему всеми этими расчетами. Затем он объявил, что через два-три дня едет в Остенде купаться, а покамест пригласил меня в Тюльерийский сад, куда ему лежала дорога. Мы отправились. На пути он подробно расспрашивал, нет ли новых сценических талантов, новых литературных дарований, какого рода и свойства они, и прибавлял, что новые таланты теперь одни и привлекают его любопытство: «старые всё уже выболтали, а всё еще болтают». Он был очень серьезен, говорил тихо, мерно, как будто весьма мало занятый своим разговором. При расставании он назначил мне вечер, когда будет дома, исполняя мое желание видеть его еще раз до отъезда в Остенде.

Вечер этот был, однако же, не совсем удачен. Я нашел Гоголя в большом обществе, в гостиной семейства, которому он сопутствовал. Николай Васильевич сидел на диване и не принимал никакого участия в разговоре, который вскоре завязался около него. Уже к концу беседы, когда зашла речь о разнице поучений, какие даются наблюдением двух разных народов, английского и французского, и когда голоса разделились в пользу того или другого из этих народов, Гоголь прекратил спор, встав с дивана и проговорив длинным, протяжным тоном: «Я вам сообщу приятную новость, полученную мною с почты». Вслед за тем он вышел в другую комнату и возвратился через минуту назад с писанной тетрадкой в руках. Усевшись снова на диван и придвинув к себе лампу, он прочел торжественно, с сильным ударением на слова и заставляя чувствовать везде, где можно, букву О, новую «Речь» одного из известных духовных витий наших [114]. «Речь» была действительно недурна, хотя нисколько не отвечала на возникшее прение и не разрешала его нимало. По окончании чтения молчание сделалось всеобщим; никто не мог ни связать, ни даже отыскать нить прерван-

ного разговора. Сам Гоголь погрузился в прежнее бесстрастное наблюдение; я вскоре встал и простился с ним. На другой день он ехал в Остенде.

Все это было весной, когда для туриста открываются дороги во все концы Европы. Следуя общему движению, я направился в Тироль, через Франконию и южную Германию. По обыкновению, я останавливался во всех городах на моем пути и прибыл, таким образом, в Бамберг, где и расположился осмотреть подробнейшим образом окрестности и знаменитый собор его. Последний, как известно, принадлежит XII столетию, времени полного развития так называемого романского стиля, и стоит на горе, у подножия которой раскинулся город, связанный так неразлучно с воспоминаниями молодости, по милости Геца фон Берлихингена [115]. Романские соборы, признаюсь, действовали на меня еще более готических в Европе: они разнообразнее последних, символика их гораздо затейливее и в мистических их барельефах, перемешанных с забавными фигурами вседневной жизни, более порыва, свежести и молодости. Пищи для любопытства и изучения в каждом романском соборе чрезвычайно много, и вот почему на другой день моего приезда в Бамберг я часа два или три пробыл между массивными столбами его главной церкви. Усталый и измученный более наблюдением и соображениями, чем самою ходьбою, я покинул собор и начал уже спускаться вниз с горы, когда на другом конце спуска увидел человека, подымающегося в гору и похожего на Гоголя как две капли воды. Предполагая, что Николай Васильевич теперь уже в Остенде и, стало быть, позади меня, я с изумлением подумал об этой игре природы, которая из какого-нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершенное подобие автора «Вечеров на хуторе», но не успел я остановиться на этой мысли, как настоящий, действительный Гоголь стоял передо мною. После первого моего восклицания: «Да здесь следовало бы жертвенник поставить, Николай Васильевич, в воспоминание пашей встречи», он объяснил мне, что все еще едет в Остенде, но только взял дорогу через Австрию и Дунай *. Теперь дилижанс его остановился в Бамберге,

---

* Поездка эта принадлежала к числу тех прогулок, какие Гоголь предпринимал иногда без всякой определенной цели, а единственно по благотворному действию, которое производили на здоровье его дорога и путешествие вообще, как ему казалось. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

предоставив немцам час времени для насыщения их желудков, а он отправился поглядеть на собор. Я тотчас поторопился с ним назад и когда, полный еще испытанных впечатлений, стал ему показывать частности этой громадной и великолепной постройки, он сказал мне: «Вы, может быть, еще не знаете, что я сам знаток в архитектуре». Обозрев внутренность, мы принялись за внешние подробности, довольно долго глядели на колокольни и на огромного каменного человека (чуть ли не изображение строителя), который выглядывал с балкона одной из них; затем мы возвратились опять к спуску. Гоголь принял серьезный, торжественный вид: он собирался послать из Швальбаха, куда ехал, первую тетрадку «Выбранной переписки» в Петербург и, по обыкновению, весь был проникнут важностью, значением, будущими громадными следствиями новой публикации. Я тогда еще и не понимал настоящего смысла таинственных, пророческих его намеков, которые уяснились мне только впоследствии. «Нам остается не много времени, — сказал он мне, когда мы стали медленно спускаться с горы, — и я вам скажу нужную для вас вещь... Что вы делаете теперь?» Я отвечал, что нахожусь в Европе под обаянием простого чувства любопытства. Гоголь помолчал и потом начал говорить отрывисто; фразы его звучат у меня в ушах и в памяти до сих пор: «Эта черта хорошая... но все же это беспокойство... надо же и остановиться когда-нибудь... Если все вешать на одном гвозде, так уже следует запастись по крайней мере хорошим гвоздем... Знаете ли что?.. Приезжайте на зиму в Неаполь... Я тоже там буду». Не помню, что я отвечал ему, только Гоголь продолжал: «Вы услышите в Неаполе вещи, которых и не ожидаете... Я вам скажу то, что до вас касается... да, лично до вас. Человек не может предвидеть, где найдет его нужная помощь... Я вам говорю — приезжайте в Неаполь... я открою тогда секрет, за который вы будете меня благодарить». Полагая, что настоящий смысл загадочных слов Гоголя может быть объяснен приближающимся сроком его вояжа в Иерусалим, для которого он ищет теперь товарища, я высказал ему свою догадку. «Нет, — отвечал Гоголь. — Конечно, это дело хорошее... мы могли бы вместе сделать путешествие, но прежде может случиться еще нечто такое, что вас самих перевернет... тогда вы уже и решите сами всё... только приезжайте в Неаполь... Кто знает, где застигнет человека новая жизнь...» В голосе его было

так много глубокого чувства, так много сильного внутреннего убеждения, что, не давая решительного слова, я обещая, однако же, серьезно подумать о его предложении. Гоголь перестал говорить об этом предмете и остальную дорогу с какой-то задумчивостью, исполненной еще страсти и сосредоточенной энергии, если смею так выразиться, мерным, отрывистым, но пламенным словом стал делать замечания об отношениях европейского современного быта к быту России. Не привожу всего, что он говорил тогда о лицах и вещах, да и не все сохранилось в памяти моей. «Вот, — сказал он раз, — начали бояться у нас европейской неурядицы — пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких фермеров... А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою; некоторые ложатся на землю и целуют ее, как любовницу. Это что-нибудь да значит?.. Об этом-то и надо поразмыслить». Вообще он был убежден тогда, что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои законы, о которых в Европе не имеют понятия. Как теперь, смотрю на него, когда он высказывал эти мысли своим протяжным, медленно текущим голосом, исполненным силы и выражения. Это был совсем другой Гоголь, чем тот, которого я оставил недавно в Париже, и разнился он значительно с Гоголем римской эпохи. Все в нем установилось, определилось и выработалось. Задумчиво шагал он по мостовой в коротеньком пальто своем, с глазами, устремленными постоянно в землю, и поглощенный так сильно мыслями, что, вероятно, не мог дать отчета себе о физиономии Бамберга через пять минут после выезда из него. Между тем мы подошли к дилижансу; там уже впрягали лошадей, и пассажиры начинали суетиться около мест своих. «А что, разве вы и в самом деле останетесь без обеда?» — спросил я. «Да, кстати, хорошо, что напомнили: нет ли здесь где кондитерской или пирожной?» Пирожная была под рукою. Гоголь выбрал аккуратно десяток сладких пирожков с яблоками, черносливом и вареньем, велел их завернуть в бумагу и потащил с собой этот обед, который, конечно, не был способен укрепить его силы. Мы еще немного постояли у дилижанса, когда раздалась труба кондуктора. Гоголь сел в купе, поместившись как-то боком к своему соседу, немцу пожилых лет, сунул перед собой куда-то пакет с пирожками и сказал мне: «Прощайте еще раз...

Помните мои слова... Подумайте о Неаполе». Затем он поднял воротник шинели, которую накинул на себя при входе в купе, принял выражение мертвого, каменного бесстрастия и равнодушия, которые должны были отбить всякую охоту к разговору у сотоварища его путешествия, и в этом положении статуи, с полузакрытым лицом, тупыми, ничего не выражающими глазами, еще кивнул мне головой... Карета тронулась.

Таким образом расквитался я с ним с моей стороны за проводы из Альбано. Мы так же расстались у дилижанса в то время, но какая разница между тогдашним, живым, бодрым Гоголем и нынешним восторженным и отчасти измученным болезнию мысли, отразившейся и на красивом, впалом лице его.

В 1847 году вышли наконец «Выбранные места из переписки с друзьями». В том самом Неаполе, куда звал меня Николай Васильевич, застала его буря осуждений и упреков, которая понеслась навстречу книги, сразила и опрокинула ее автора. Путешествие в Иерусалим было отложено. С высоты безграничных надежд Гоголь падал вдруг в темную, безотрадную пучину сомнений и новых неразрешимых вопросов. Известно, что тогда произошло. Вторая часть «Мертвых душ», созданная под влиянием идей «Выбранной переписки», подверглась новой переделке. Гоголь противопоставляет впервые истинно христианское смирение ударам, которые сыплются на него со всех сторон. Глубоко трогательная и поучительная драма, еще никем и не подозреваемая, получает место и укореняется в его душе [116]. Рассказать все, что знаешь об этом страшном периоде его жизни, и рассказать добросовестно, с глубоким уважением к великой драме, которая завершила его, есть, по нашему мнению, обязанность каждого, кто знал Н. В. Гоголя и кому дороги самая неприкосновенность, значение и достоинство его памяти.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
1838—1848

I

...Я познакомился с Виссарионом Григорьевичем Белинским за год до моего отъезда за границу, именно осенью 1839 года [1]. Он приехал тогда в Петербург для сотрудничества в «Отечественных записках» [2], привезенный из Москвы И. И. Панаевым [3], и уже находился во втором или третьем периоде своего развития [4].

Известно, что Белинский выступил на литературное поприще статьей в «Молве» 1834 года, носившей заглавие «Литературные мечтания — элегия в прозе» [5]. Это было обозрение русской словесности, обратившее на себя внимание бойкостью слова и характеристикой эпох и лиц, которая не имела никакого сходства с обычными и, так сказать, узаконенными определениями их в наших курсах словесности. Лирический тон статьи с философским оттенком, заимствованным от системы Шеллинга, сообщал ей особенную оригинальность [6]. Все было тут молодо, смело, горячо, а также и исполнено промахов, сознанных и самим автором впоследствии; но все обличало возникновение каких-то новых требований мысли от русской литературы и русской жизни вообще. Старик Каченовский, — вероятно, обольщенный свободными отношениями критика к авторитетам и частыми отступлениями его в область истории и философии, старый профессор, призвал тогда к себе Белинского [7], — этого студента, еще не так давно исключенного из университета за малые способности, как говорилось в определении совета [8], жал ему горячо руку и говорил: «Мы так не думали, мы так не писали в наше время» *. Менее волнения, конечно, произвела статья в Петербурге, где уже созревали известные сатурналии [9] только что основанной «Библиотеки для чтения», с ее

* Рассказ В. Г. Белинского. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

глумлениями над наукой и над всяческими убеждениями; [10] но и здесь статья не прошла незамеченной мимо глаз. С этих пор именно Н. И. Греч, как человек, еще более других приличный в сонме литературных публицистов той эпохи, усвоил систему воззрения на Белинского, сравнительно еще благосклонную. Он высказывал ее потом не раз во всеуслышание: «Умный человек, но горький пьяница, и пишет свои статьи, не выходя из запоя». Белинский-пьяница был так же мыслим, как Лессинг на канате, или что-нибудь подобное. С тех же пор Ф. В. Булгарин, с своей стороны прозвавший Белинского «бульдогом» [11], начал свою, столь долго не прерываемую жалобу на извращение умов, свои чуть не 20-летние нападки на новый дух в литературе, грозящий лишить Россию, к стыду потомков и посрамлению перед Европою, всех ее умственных сокровищ *.

Впрочем, как ни задорна была статья Белинского по своей форме, особенно для петербургских самозваных знаменитостей, в обличении и опозорении которых критик, по собственному признанию, находил *блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное* [13], но, собственно, она нисколько не потрясала ни одного из наших старых авторитетов и постоянно ко всем им относилась с величайшим энтузиазмом. Смелость заключалась не столько в исследовании, сколько в началах и принципах, высказанных критиком и предпосланных исследованию. Статья более грозила обличением людям и предметам, и только над очень немногими из них исполняла угрозу. Белинский еще не вносил ни малейшего раскола в тот молодой кружок, сформировавшийся в начале тридцатых годов, под сепию Московского университета, из которого потом вышли самые замечательные личности последующих годов [14]. Зародыши различных и противоборствующих мнений уже находились в нем, как легко убедиться из имей, составлявших его персонал (К. Аксаков, Станкевич и др.), но зародыши эти еще не приходили в бро-

---

* Жалобы эти не остались без последствий для литературы. При издании Пушкина (1854 г.) возникли цензурные затруднения при передаче суждений нашего поэта о Державине, так как прежде того состоялось распоряжение цензурного комитета оберегать от непрошеных критик имена Державина, Ломоносова, Карамзина, а также и личность самого Булгарина. Никто не чувствовал тогда обиды, наносимой первым трем великим именам нашего отечества этим уравнением их с персоной издателя «Северной пчелы» [12]. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

жение и таились до поры до времени за дружеским обменом мыслей, за общностью научных стремлений. Достаточно вспомнить, что К. С. Аксаков был тогда германизирующим философом, не менее Станкевича; П. Киреевский — завзятым европейцем и западником, не уступавшим Т. Н. Грановскому; а последний, скоро присоединившийся к этому кругу, после сотрудничества своего в «Библиотеке для чтения» Сенковского [15], делил вместе со всеми ими поэтическое созерцание на прошлое и настоящее России. Белинский, который так много способствовал впоследствии к разложению круга на его составные части, к разграничению и определению партий, из него выделившихся, является на первых порах еще простым эхом всех мнений, суждений, приговоров, существовавших в недрах кружка и существовавших без всякого подозрения о своей разнородности и несовместимости [16]. Вот почему восторженная статья Белинского, отличавшаяся капризным ходом, некоторою разорванностью и недостатком сосредоточенности, представляет еще бессознательное смешение наименее родственных или схожих друг с другом настроений. Чисто славянофильское представление идет здесь рядом с чисто западным; афоризмы тогдашней скептической исторической школы нашей наталкиваются на гиперболы, достойные Сергея Глинки в самые сильные минуты его патриотического одушевления; либерализм и консервативное учение (если можно употреблять эти термины, занимаясь эпохой, не знавшей самых явлений, которые ими обозначаются) попеременно возвышают голос, нимало не смущаясь своим соседством. Для примера, как начинающий критик наш стоял еще тогда одновременно и за реформу Петра I, и за московскую оппозицию реформам, достаточно напомнить некоторые из положений статьи.

Значение народных обычаев и нерушимое их сбережение в среде племени составляло еще для Белинского 1834 года дело первой и точно такой же важности, каким оно казалось впоследствии для наиболее ярых противников молодого критика из славянской партии. В простых и грубых нравах он находил еще, вместе с последними, отблески поэзии, называя только жизнь, ими создаваемую, хотя самобытной и характерной, но односторонней и изолированной. Наоборот, будущие славянофилы, вероятно, вполне разделяли тогда мнение Белинского, а именно, что в реформах своих Петр Великий был совершенно прав и народен нисколько не менее любого московского

царя старой эпохи. Особенно характерно то место в статье, где, переходя на сторону великого реформатора, он предпосылает, однако же, скорбное, прощальное воззвание к погибающей старине и притом в словах и образах, которые теперь, при определившейся личности Белинского, составляют для нас как будто невероятную, фальшивую черту, искажающую его физиономию. «Прочь достопочтенные, окладистые бороды, — говорит он. — Прости и ты, простая и благородная стрижка волос в кружок, ты, которая так хорошо шла к этим почтенным бородам! Тебя заменили парики, осыпанные мукою!.. Прости и ты, прекрасный поэтический сарафан наших боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка с пышными рукавами, и ты, высокий, унизанный жемчугом повойник — простой чародейный наряд, который так хорошо шел к высоким грудям и яркому румянцу наших белоликих и голубооких красавиц... Простите и вы, заунывные русские песни и ты, благородная и грациозная пляска: не ворковать уже нашим красавицам голубками» и т. д.[17]

Вот откуда выходил Белинский. Либерализм безличного дружеского кружка тоже был представлен в статье довольно полно, самым основным ее положением, по которому литература наша есть дело случайного возникновения и соединения нескольких более или менее талантливых лиц, в которых общество не нуждалось и которые сами, в нравственном и материальном отношении, могли обходиться без общества. Отсюда — ничтожество литературы и слабость писателей, несмотря на их качества, таланты и усердие. Можно догадываться, что в круге ходило с успехом и европейское представление о важности буржуазии и tiers-état * для государства, потому что Белинский ищет в разных сословиях нашего отечества тех деятелей, которые помирят европейское просвещение с коренными основами русской народности, назначая для этой роли духовенство, купечество, городских людей, ремесленников, даже мелких торговцев и промышленников **, и тут же оговариваясь, ввиду возможных воззрений с другой стороны, а именно, что «высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях

---

* третьего сословия (*фр.*).

** Кольцов уже введен был тогда Станкевичем в круг московских друзей его и, по всей вероятности, был косвенной причиной тех надежд, которые выражал Белинский на людей *среднего положения.* (*Примеч. П. В. Анненкова.*)[18]

или, *вернее всего, в целой идее народа*». Словом, знаменитая первая статья maid-speech * Белинского [19] отлично выражала тогдашнее интеллектуальное состояние образованной молодежи, у которой все виды направлений жили еще как в первобытном раю, обок друг с другом, не находя причин к обособлению и не страшась взаимной близости и короткости. Связующим поясом была тут одинаковая любовь к науке, свету, свободной мысли и родине. Можно уподобить это состояние значительному водному бассейну, в котором будущие реки и потоки мирно текут вместе до той поры, когда геологический переворот не разделит их и не откроет им пути в противоположные стороны. Белинский именно был тем подземным огнем, который ускорил этот переворот.

Немудрено, если придет кому-нибудь в голову спросить: стоит ли так долго останавливаться на журнальной статейке, не совсем свободной от противоречий и вдобавок еще с определениями, от которых потом отказался сам автор ее? Вопрос легко устраняется, если вспомнить, что статья произвела необычайное впечатление как первый опыт ввести историю самой культуры нашего общества в оценку литературных периодов. Нужно ли говорить, как она была принята молодыми умами в Петербурге [20], сберегавшими себя от *заговора* против литературы [21], устроивавшегося перед их глазами? Для них она упраздняла множество убеждений и представлений, вынесенных из школы. Протестующий характер статьи в этом отношении был очень ясен не только для тех корифеев партии «Библиотеки для чтения», о которых мы говорили, но и людям, соглашавшимся со многими из ее положений, но не любившим видеть бесцеремонное колебание преданий, да еще на основании чужих философских систем. Таковы были Пушкин и Гоголь. И тот и другой были оценены весьма благосклонно критиком, но сохраняли о нем почти всю жизнь упорное молчание. Первый, по свидетельству самого Белинского, только посылал к нему тайно книжки своего «Современника», да говорил про него: «Этот чудак почему-то очень меня любит» **. Суждение второго мы сами слышали: «Голова недюжинная, но у нее всегда чем вернее первая мысль, тем

---

* первое выступление (*англ.*).

** Пушкин прибавлял, по тому же свидетельству, секретно и еще замечание, что у Белинского есть чему поучиться и тем, кто его ругает. (*Примеч. П. В. Анненкова.*) [22]

нелепее вторая». Замечание касалось выводов, добываемых Белинским из своих эстетических и философских оснований и о приложении этих выводов прямо и непосредственно к лицам и фактам русского происхождения, хотя тот же Гоголь указывал позднее на статьи Белинского о его собственной, гоголевской деятельности как на образцовые по своей неотразимой истине и мастерскому изложению [23].

Итак, в Петербурге первая статья Белинского и все следовавшие за ней нашли отголосок всего более в тех молодых учителях русского языка и словесности, которые созывались для казенных замкнутых училищ и корпусов, разраставшихся, по принятой системе, все более и более в исключительные заведения для воспитания всего *благородного* русского юношества целиком. Не то чтобы статья «Молвы» сразу упразднила официальную науку о литературе: последняя держалась долго, красовалась еще на экзаменах вплоть до преобразования закрытых школ и корпусов, но, благодаря молодым учителям этих заведений, а за ними и большей части наших гимназий, образовалась, с появления статей Белинского, обок с утвержденной программой преподавания русской словесности, другая, невидная струя преподавания, вся вытекавшая из определений и созерцания нового критика и постоянно смывавшая в молодых умах все, что заносилось в них схоластикой, педантизмом, рутиной, стародавними преданиями и благонамеренной прикрасой. Растительное действие этой невидимой струн увеличивалось вместе с дальнейшим развитием критика, с которого, можно сказать, персонал учителей и молодых людей вообще той эпохи не спускал глаз, и, таким образом, имя Белинского было уже очень громко в среде нарождающегося поколения, в школах и аудиториях, когда оно еще не признавалось в литературных партиях, не ведалось добросовестно или ухищренно одними, возбуждало презрительные отзывы других и не обращало никакого внимания даже самих чутких стражей русского просвещения [24]. Работа Белинского и его воодушевленной мысли, искавшей постоянно идеалов нравственности и высокого, философского разрешения задач ж и з н и, — эта работа не умолкала, покуда сам он числился скромно в рядах русских второстепенных подцензурных писателей и журнальных сотрудников. Для тогдашнего цензурного ведомства первостепенными писателями долгое время были только одни редакторы жур-

налов — Сенковский, Греч, Булгарин, за исключением Пушкина и Гоголя, слишком уже ярко выступавших вперед. Чрезвычайным счастием должно считаться то, что тогдашняя цензура не угадала в Белинском на первых порах моралиста, который, под предлогом разбора русских сочинений, занят единственно исканием основ для трезвого мышления, способного устроить разумным образом личное и общественное существование. Впоследствии она распознала в нем влиятельного писателя и всемерно старалась не допускать применение его идей к историческим лицам и современности, но и при этом способе понимания деятельности Белинского она отчасти все-таки продолжала считать его, с голоса «Северной пчелы», за человека, производящего преимущественно малопонятную, туманную чепуху, которая может быть терпима по самой дикой своей оригинальности, становясь безвредной тем более, чем сильнее и подробнее высказывается. Этому обстоятельству мы и обязаны сохранением некоторых существенных положений и мыслей у Белинского, которые пробирались на свет под именем чудовищностей и нелепостей. Это же обстоятельство поясняет многое в последующих явлениях общественной жизни нашей, которые без того могут показаться странными, нежданными и негаданными сюрпризами.

II

Я сошелся с Белинским в первый раз у А. А. Комарова[25], преподавателя русской словесности во 2-м кадетском корпусе. Комаров занимал и квартиру в зданиях корпуса.

Приезд Белинского в Петербург имел особенное значение, как уже было сказано, для небольшого круга тогдашних молодых людей, которые в литературном триумвирате О. И. Сенковского, Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина, выросшем на благодатной почве смирдинских капиталов, вконец ими истощенных[26], — видели как бы олицетворение затаенного презрения к делу образования на Руси, образец хитрой, расчетливой, но ограниченной практической мудрости, а наконец — ловко устроенный план надувательства благонамеренностью и патриотизмом тех лиц, которых нельзя было надуть другим путем. Надо сказать, что это дело в три руки производилось с замечательным

искусством. Неистощимое, часто дельное и почти всегда едкое остроумие Сенковского, глумившегося над русской quasi-наукой, старалось вместе с тем удалить всякую серьезную попытку к самостоятельному труду и отравить насмешкой источники, к которым труд этот мог бы обратиться. Греч распространялся о разврате умов и совестей в Европе, умиляясь зрелищем здорового нравственного состояния, в каком находилась наша родина, а товарищ его беспрестанно указывал на те тонкие струи яда и отравы, которые, несмотря на усилия триумвирата, все-таки пробираются к нам из чужбины и извращают суждения публики о русских писателях и русских деятелях вообще. Замечательно, что эти великие мужи петербургской журналистики тридцатых годов иногда и ссорились между собою, не доходя, впрочем, до явного разрыва, но ссорились из-за права *протекции* над писателями, которую каждый хотел иметь в своих руках исключительно. Протекция сделалась основным критическим мотивом, направлявшим оценку лиц и произведений. Протекция раздавала места так же точно в литературе, как и в администрации: она производила в чины и звания талантов людей, как гг. Масальского, Степанова, Тимофеева и др., и даже несколько раз жаловала просто в гении, как, например, Кукольника и «барона Брамбеуса» [27]. Нынешнему времени трудно и понять ту степень негодования, какую возбуждали органы этой самозваной опеки над литературою в людях, желавших сохранить по крайней мере за этим отделом общественной деятельности некоторый призрак свободы и человеческого достоинства. При отсутствии общественных и политических интересов бороться с триумвиратом становилось почти делом чести; по хорошему или дурному отношению к триумвирату стали узнавать в некоторых кругах молодежи — впрочем, очень немногочисленных — нравственные качества людей. Вражда к триумвирату еще усилилась, когда оказались практические следствия распоряжения, состоявшегося около того же времени, — вовсе не допускать соперничества журналов и терпеть одни уже существующие издания [28], что приравняло органы триумвиратов к нынешним концессиям железных дорог, *с гарантией правительства.* Приезд Белинского был, как сказано, особенно важен тем, что возвещал новую попытку бороться с литературными концессионерами после трех неудачных попыток: двух в Москве, предпринятых сперва «Телескопом», а затем «Московским

наблюдателем», — журналом, даже и основанным именно с этою целью в 1835 году *. Третья, в Петербурге, взята была на себя «Современником» Пушкина — и тоже безуспешно[29]. С новым правилом о журналах, казалось, все походы против откупщиков общественного мнения должны были прекратиться. Правило это очень походило на позднейшее распоряжение относительно Раскольников, которым дозволялось сохранять свои старые часовни и молельни с строгим запрещением воздвигать новые около них, но разнилось от него тем, что тогдашнее цензурное ведомство признало возможным допустить официальное подновление старых литературных часовень, чего раскольники не могли делать с своими иначе, как тайно или с подкупом. В это время А. А. Краевский, тогда еще сравнительно молодой человек, усильно добивался возможности очистить себе место в ряду журнальных концессионеров эпохи, и это — надо сказать правду — не по одному ясному материальному расчету, но и по нравственным побуждениям: противопоставить злой вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями. Он принялся искать редакторского кресла для себя по всем сторонам и притом с выдержкой, упорством и твердостью, действительно замечательными, плодом которых было появление сперва «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» под его редакцией (диплом на издательство приобретен был тогда известным Плюшаром у довольно мелочного, хитрого и скупого старика Воейкова), в которых, как известно, участвовал и Белинский. Затем, в 1838 году, А. А. Краевский открыл и перекупил право на возобновление «Отечественных записок» у известного П. Свиньина, прямо уже от своего имени, и, по сделке с ним, не покидая еще «Прибавлений», объявил о выходе своего старо-нового журнала, сделавшегося вскоре настоящей его собственностью. Клич, который он тогда кликнул, с одобрения самых почетных лиц петербургского литературного мира, ко всем еще не подпавшим под позорное иго журнальных феодалов, отличался и очень верным расчетом, и признаками полной искренности и благонамеренности. «Если и эта новая

---

* Для поддержания этого издания Гоголь принял на себя роль пропагандиста и собирал подписки со всех своих знакомых в Петербурге — и, прибавим, чрезвычайно настойчиво и энергично. Каждый из нас должен был иметь и имел своего «Наблюдателя». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

попытка,— говорил новый издатель своим сторонникам,— противопоставить оплот смирдинской клике не удастся, то всем нам останется только сложить руки и провозгласить ее торжество».

Бедный А. Ф. Смирдин и не воображал, что даст свое имя для обозначения очень неблаговидного литературного периода[30]. Честный, добрый, простодушный, но без всякого образования, он соблазнился, получив неожиданно довольно большое состояние от книгопродавца Плавильщикова, ролью двигателя современной литературы и просвещения. Кажется, самый этот каприз был еще подсказан ему петербургскими журналистами, которые и завладели честолюбивым торговцем для своих целей. Меценат-книгопродавец, подавленный их авторитетом, смотрел на весь мир их глазами, расточал деньги по их советам и говорил на своем купеческо-приказчичьем языке про всякое начинание, про всякий талант, не искавший покровительства триумвиратов: «Это наши недоброжелатели-с!» А что делали с ним его доброжелатели, успевшие потом разорить и еще одного такого же импровизированного двигателя русского просвещения, книгопродавца Плюшара, издателя «Энциклопедического словаря» — почти неимоверно. Я сам слышал из уст Смирдина, уже в эпоху его бедности и печальной старости, рассказ, как, по совету Булгарина, он предпринял издание, кажется, «Живописного путешествия по России», текст которого должен был составить автор «Выжигина», взявшийся также и за заказ гравюр в Лондоне[31]. В этом смысле заключен был формальный контракт между ними, причем Смирдин назначал 30 тысяч рублей на предприятие. Долго ждали картинок, но, когда они пришли, Смирдин с ужасом увидел, что они состоят из плохих гравюр, исполненных в Лейпциге, а не в Лондоне. На горькие жалобы Смирдина в нарушении контракта Булгарин отвечал, что никакого нарушения тут нет, потому что в контракте стоит просто: заказать за границей. Ловушка была устроена грубо и нагло, но книгопродавец попался в нее. Когда Смирдин рассказывал мне этот пассаж, усталые, воспаленные глаза его налились слезами, голос задрожал: «Я напишу свои записки, я напишу „Записки книгопродавца"!» — бормотал он.

Вызывающее действие этого нового клича собрало под знамя обновленного журнала много старых и молодых сил, державшихся в стороне от литературы, как то дока-

зал первый громадный нумер «Отечественных записок» (1839 года), исполненный замечательными, по времени, статьями; все они принадлежали перу и начинающих и заслуженных наших писателей. Бедные и богатые принялись работать на журнал г. Краевского почти без вознаграждения или за ничтожное вознаграждение, доставляя только издателю средства бороться с капиталистами, заправлявшими делами литературы, что продолжалось несколько долее, чем бы следовало, как впоследствии думали иные; но это относится к предположениям, которые так и должны остаться предположениями, и о которых ничего другого сказать нельзя. Любопытен, однако, анекдот, ходивший тогда по городу: Ф. В. Булгарин, но чувству самосохранения, скоро угадал новую силу, являющуюся на журнальном поприще с «Отечественными записками», и опасность, которая грозит авторитетам колонновожатых печати, если она решительно обратится против них. При встрече с редактором нового журнала Ф. В. Булгарин предлагал ему просто-запросто присоединиться к союзу журнальных магнатов и сообща с ними *управлять* делами литературы. Предложение было, конечно, устранено собеседником.

Возвращаясь к делу, следует заметить, что последующие нумера журнала представляли, как и первый нумер его, опять много прекрасных стихотворений, дельных статей и даже умных критик, но не обнаруживали в редакции ничего похожего на определенные начала, на литературные убеждения и тенденции, которые одним искусством в ведении журнального дела, в собирании людей около себя, одним трудолюбием и даже упорною ненавистью к врагам еще не могут быть заменены с успехом. В Петербурге оказался с «Отечественными записками» великолепный склад для ученых и беллетристических статей, но не оказалось учения и доктрины, которых можно было бы противопоставить развратной проповеди руководителей «Библиотеки для чтения» и «Северной пчелы». Приходилось оглянуться на Москву, которая действительно была тогда средоточием нарождавшихся сил и талантов, сильно работала над философскими системами, доискиваясь именно *принципов,* и не боялась ни резкого полемического языка, ни даже отвлеченного, туманного склада речи, лишь бы выразить вполне свою мысль и нажитое убеждение. Рассказывают, что при имени Белинского, предложенного И. И. Панаевым, г. Краевский не узнал

в нем того человека, который должен был положить основание его общественному значению *. Обстоятельства принудили его все-таки обратиться к Белинскому, но когда критик наш, после предварительных переговоров, весьма облегченных тем, что, покинув «Московский наблюдатель» 1838 года, Виссарион Григорьевич не имел уже органа для своей деятельности и средств для существования, когда, говорим, критик явился в Петербург в 1839 году на постоянное жительство и сотрудничество по журналу г. Краевского, общее предчувствие в круге противников петербургского направления было, что вместе с ним явилась на сцену и живая мысль, и достаточно сильная рука, чтоб подорвать или по крайней мере ослабить наконец союз литературных промышленников, в сущности презиравших русское общество со всеми его стремлениями, надеждами и с его претензиями на устройство своей духовной жизни.

III

Под впечатлением страстного тона философских статей Белинского и особенно пыла его полемики позволительно было представлять его себе человеком исключительных мнений, не терпящим возражений и любящим господствовать над беседой и собеседниками. Признаюсь, я был удивлен, когда на вечере А. А. Комарова мне указали под именем Белинского на господина небольшого роста, сутуловатого, со впалой грудью и довольно большими задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и как-то сразу, по-товарищески, отвечал на приветствия новых знакомящихся с ним людей. Разумеется, я уже не встретил ни малейшего признака внушительности, позирования и диктаторских замашек, каких опасался, а, напротив, можно было подметить у Белинского признаки робости и застенчивости, не допускавшие, однако ж, и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрошеных услугах какого-либо торопливого доброжелателя. Видно было, что под этой оболочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу. Вообще неловкость Белинского, спутанные речи

---

* «Литературные воспоминания» И. Панаева, «Современник», 1861, февраль. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

и замешательство при встрече с незнакомыми людьми, над чем он сам так много смеялся, имели, как вообще и вся его персона, много выразительного и внушающего: за ними постоянно светился его благородный, цельный, независимый характер. Мы наслышались об увлечениях и порывах Белинского, но никаких порывов и увлечений в этот первый вечер моего знакомства с ним, однако ж, по произошло. Он был тих, сосредоточен и — что особенно поразило меня — был грустен. Поверяя теперь тогдашние впечатления этой встречи всем, что было узнано и расследовано впоследствии, могу сказать с полным убеждением, что на всех мыслях и разговорах Белинского лежал еще оттенок того философско-романтического настроения, которому он подчинился с 1835 года и которому беспрерывно следовал в течение четырех лет, несмотря на то, что сменил Шеллинга на Гегеля в 1836—1837 году, распрощался с иллюзиями относительно своеобычной красоты старорусского и вообще простого, непосредственного быта и перешел к обожанию «разума в действительности»[32]. Он переживал теперь последние дни этого философско-романтического настроения. В тот же описываемый вечер зашел разговор о какой-то шутовской рукописной повести, на манер Гофмана, сочиненной для потехи сообща несколькими лицами, на сходках своих, ради времяубиения. «Да, — сказал серьезно Белинский, — но Гофман — великое имя. Я никак не понимаю, отчего доселе Европа не ставит Гофмана[33] рядом с Шекспиром и Гете: это — писатели одинаковой силы и одного разряда».

Положение это и другие, ему подобные, Белинский унаследовал и сберегал еще от эпохи шеллинговского созерцания, по которому, как известно, внешний мир был причастником великих эволюции абсолютной идеи, выражая каждым своим явлением минуту и ступень ее развития. Оттого фантастический элемент гофмановских рассказов казался Белинскому частицей откровения или разоблачения этой всетворящей абсолютной идеи и имел для него такую же реальность, как, например, верное изображение характера или передача любого жизненного случая. В описываемую эпоху он уже принадлежал всецело Гегелю и вполне усвоил идеалистический способ пояснять себе явления окружающей жизни, людей и события, что сообщало последним почти всегда в его устах какой-то грандиозный характер, часто вовсе ими не заслуживаемый. Мелких практических изъяснений какого-либо

факта и вопроса, мало-мальски выходящих из обыкновенного порядка дел, он вообще не любил и только по особенному настроению, принятому на себя преднамеренно в Петербурге, еще принуждал себя выслушивать их. Конечно, уже не было у него прежней, еще недавней, восторженной проповеди о «великих тайнах жизни», *без предчувствия и разгадки которых существование человека сделалось бы,* как он говорил, *не только бесцветным, но положительно величайшим бедствием, какое только можно было бы придумать для земно рожденных,* но все-таки наш русский мир, наша современность, даже некоторые подробности жизни отражались не иначе в его уме, как в многозначительных образах, в широких обобщениях, поражавших и увлекавших новых его слушателей. Вообще корни всех старых, уже пройденных им учений и созерцаний еще жили в нем, по приезде в Петербург, тайной жизнию и при всяком случае готовы были пустить ростки и отпрыски и действительно по временам оживали и цвели полным цветом, что составляло, посреди занятого петербургского круга приятелей Белинского, величайшую его оригинальность и вместе неодолимую притягивающую силу.

Замечательным и волнующим явлением того времени были посмертные сочинения Пушкина, которые постепенно обнародовал «Современник» 1838—1839 годов, перешедший в руки П. А. Плетнева. Они — эти чудные сочинения — находили в Белинском такого, можно сказать, энтузиаста и ценителя, какой еще и не выпадал на долю нашего великого поэта. Это уже был не тот Белинский, который года за два перед тем и еще при жизни Пушкина считал деятельность его завершенной окончательно и в последних произведениях его хотя и распознавал еще печать гениальности, но заявлял, что они все-таки ниже того, что можно было бы ожидать от его пера. Теперь это было поклонение безусловное, почти падение в прах пред святыней открывающейся поэзии и перед вызвавшим ее художником. Особенно «Каменный гость»[34] Пушкина произвел на Белинского впечатление подавляющее. Он объявил его произведением всемирным и колоссальности неизмеримой. Когда однажды мы просили его разъяснить, в чем заключается мировое значение этого создания и что он еще находит в нем, кроме изящества образов, поэтичности характеров и удивительной простоты в ведении очень глубокой драмы, Белинский принялся за развитие

той мысли, что все это составляет только внешнее отличие произведения, а подземные ключи, которые под ним бегут, еще важнее всем видимой и осязаемой его красоты. Он принялся за расследование этих живых источников, но на первых же положениях остановился и сконфуженно проговорил: «Вот этак со мной всегда случается: примусь за дело, занесусь бог знает куда, да и опешусь; не знаю, как выразить мою мысль, которая, однако ж, для меня совершенно ясна». Он махнул рукой и отошел в сторону с каким-то болезненным выражением лица. Видимо, что в драме Пушкина заключено было для него новое откровение одной из «*тайн* жизни», передача одной из «субстанций», как тогда говорили, человеческого духа, но он не мог или не хотел разъяснять их перед кружком, мало приготовленным к пониманию отвлеченностей и не отличавшимся наклонностию к «философированию».

Со второй или третьей встречи, однако же, обнаружилась у Белинского та добродушная веселость, порождаемая иногда самыми незначительными, даже пошлыми, выходками собеседников (что несколько удивляло меня сначала), которая соединялась у него всегда с какой-то незлобивой, почти ласковой насмешкой, с легкой иронией над самим собой и над окружающими. Со всем тем сквозь тогдашнюю веселость Белинского пробивалась все та же неотстранимая черта грусти. Он был печален, и не случайно, а как-то глубоко, задушевно. Не нужно было быть ни особенно зорким наблюдателем, ни особенно искусным психологом, чтобы открыть эту черту: она бросалась в глаза сама собою. И немудрено было ей оказаться: Белинский переживал страдания своего разрыва с московскими друзьями, только что обнаружившегося перед его отъездом из Москвы, и должен был чувствовать сильнее горечь этого обстоятельства теперь, в чужом, незнакомом и неприветливом городе, куда был занесен [35].

Очень несправедливо думали и думают еще теперь, что Белинскому было нипочем расставаться с людьми и менять свои отношения к ним на основании различия убеждений. Многие тогда говорили и чуть не печатали, что он находил даже в том выгоду, ибо всякий такой поворот открывал исток его желчи, злобным инстинктам, наклонности к ругательству и оскорблению, которые иначе задушили бы его! Могу сказать наоборот, что редко встречал я людей, которые бы более страдали, будучи принуждены, вследствие неотстранимого логического и диалекти-

ческого развития своих принципов, удаляться в другую сторону от прежних единомышленников. Он долго мучился как потерей старого созерцания, так и потерей старых собеседников, и только убежденный в законности поворота, им сделанного, освобождался от всех тревог и приобретал новое качество, именно гнев и негодование против тех, которые его задерживали на пути и напрасно занимали собой.

Первая попытка критически отнестись к составным частям московского интеллектуального кружка и подвергнуть его анализу, за которым должно было последовать отделение различных элементов, его составлявших, положена, как известно, Белинским в статье под заглавием «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"», помещенной в «Телескопе» 1836 года... Статья эта в полемическом смысле принадлежит к мастерским вещам автора и по яркости красок и резкой очевидности доводов не утеряла, кажется нам, относительной занимательности и доныне. Вся она обращена была против главного критика «Московского наблюдателя» С. П. Шевырева, у которого он спрашивал, чему он верует, какие законы творчества и основные философско-эстетические или эфические[36] идеи исповедует, — разоблачая при этом его дилетантские отношения ко всем художественным теориям, его обычай сочинять законы и правила вкуса для оправдания личных своих вкусов, для потворства немногим избранникам из своих близких знакомых и для указания обществу целей в меру случайных и мимолетных своих ощущений. Особенно восставал Белинский против мнений критика о важности *светского и светско-дамского элемента* в литературе, которые могли будто бы возвысить ее тон и благороднее устроить жизнь самих авторов. «Художественный и *светский,* — отвечал Белинский, — не суть слова однозначащие, так же как дворянин и благородный человек... Художественность доступна для людей всех сословий, всех состояний, если у них есть ум и чувство; светскость есть принадлежность касты... Светскость еще сходится с образованностью, которая состоит в знании всего понемногу, но никогда не сойдется с наукою и творчеством» и т. д. Статья эта вообще была одна из тех, которыми обыкновенно порываются старые связи и союзы и отыскиваются новые. Для нас в ней особенно важны ее грустные заключительные строки: «Всего досаднее, что у нас не умеют еще отде-

лять человека от его мысли, не могут поверить, чтоб можно было терять свое время, убивать здоровье и *наживать себе врагов* из привязанности к какому-нибудь задушевному мнению, из любви к какой-нибудь отвлеченной, а не житейской мысли. Но какая нужда до этого!» Он доканчивал мысль восклицанием: «Но если мысли и убеждения доступны вам, идите вперед и да не совратят вас с пути ни расчеты эгоизма, ни отношения личные и житейские, ни боязнь неприязни людской, ни обольщения их коварной дружбы, стремящейся взамен своих ничтожных даров лишить вас лучшего вашего сокровища — независимости мнения и чистой любви к истине!» [37].

Или мы сильно ошибаемся, или в этом торжественном тоне ясно слышится глубокий, искренний вопль души накануне потери некоторых из ее симпатий и убеждений. Слова Белинского содержат еще и пророчество. Предчувствие не обмануло Белинского. Разрыв с журналистом и его партией не напрасно казался ему отважным делом: с той минуты и до нынешней включительно Белинскому составлена была в известных кругах репутация дикого ругателя всего почтенного и достойного на русской почве, и попытки удержать за ним эту репутацию в потомстве возобновляются еще от времени до времени и на наших глазах [38].

Одновременно с этой статьей, давшей сильный толчок к разрушению мирно процветавшей общины друзей науки и просвещения, было еще множество и других случаев, при которых Белинский открыто искал боя и врагов. Так, он не задумался назвать и «Современник» Пушкина, со второй его книжки, «петербургским „Московским наблюдателем"» по направлению, заметив в нем (справедливо или нет, — это другой вопрос) поползновение искать себе читателей и судей в одном, исключительно светском круге [39]. Помним, что эта полемика с «Современником» произвела в то время почти столько же шума и негодования, как и заметка его, несколько прежде сделанная и из другого круга представлений [40]. В статье «О повестях Гоголя» именно он проводил мысль, даже и не им первым высказанную, что все древние и новые эпические поэмы, выкроенные по образцу «Илиады», как-то: «Энеида», «Освобожденный Иерусалим», «Потерянный рай», «Россиада» и проч. [41], заменяя живые, неподдельные народные предания и представления дру-

гими, хитро придуманными на их манер, принадлежат к фальшивому роду произведений. Ужас всего старого педагогического мира нашего, видевшего в этой заметке образец непростительного невежества и ересь, превышающую воображение, был невыразим. Так критик наш плодил вокруг себя врагов со всех сторон, число которых увеличивалось почти с каждой новой его заметкой о старых наших писателях, несходной с традиционным их пониманием. Корыстный представитель этих недовольных, Булгарин, говорил в «Северной пчеле», что при способе суждения, обнаруженном Белинским, ему нипочем доказать какое угодно положение, хоть следующее: «*Измена — дело не худое и даже похвальное*», и по пунктам, имевшим тогда почти уголовный характер, упрекал критика, опираясь на его суждения о Державине, Карамзине, Жуковском и Батюшкове, в тех же чувствах, какие питают к России «завистливые иностранцы, ренегаты, *безбородые* юноши и проч.»[42]. Вот как поставлен был литературный спор с первого же раза и велся отчасти в этом смысле, конечно с меньшей наглостью, даже и людьми, нисколько не похожими на Булгарина с братией.

Теперь дело стало еще серьезнее, потому что Белинский совершил разрыв с тем кругом людей, которому принадлежал всецело, с теми немногими, мыслию которых дорожил, и удаление от которых грозило ему действительным одиночеством на свете[43].

Что же произошло между ними?

Оставляя в стороне житейские размолвки с друзьями, о которых имеем и особенно тогда имели очень смутное неполное представление, обращаюсь к разноголосице их в области мысли. Когда Белинский напечатал в том же 1839 году в журнале г. Краевского, еще не будучи его признанным постоянным сотрудником, две свои статьи — рецензию на книгу Ф. Н. Глинки «Очерки Бородинского сражения» и библиографический отчет о «Бородинской годовщине» Жуковского, — ему казалось, что он выводил только логически правильные заключения из оснований Гегеля и непогрешительно прилагал их к живому факту к действительности[44]. Надо сказать, что с первых же попыток Белинского к определению значения *действительности* в жизни народов и лиц он встретил уже противоречие у многих из своих друзей, которые не желали

уступать свое право — быть настоящими и несменяемыми судьями всякой действительности. Но разгоревшийся спор этот вырос до разрыва связей только в 1839 году. Летом этого года, как известно, Москва, а с ней и Россия праздновали великое патриотическое торжество — открытие памятника на Бородинском поле. Одушевление было общее и понятное. Летом 1839 года я случайно находился в Москве и смотрел из окна одного родственного мне дома против Кремля на великолепный крестный ход, огибавший кремлевские стены, в замке которого шел митрополит Филарет[46], сопровождаемый самим императором Николаем Павловичем верхом. Это было кануном, так сказать, торжественного открытия бородинского памятника в августе того же года. Горячих толков и патриотического одушевления и теперь уже возникало много, но я, тогда еще не знакомый ни с одной из личностей описываемого круга, не мог и предчувствовать, как сильно будут меня занимать впоследствии отголоски этого события. Белинский вздумал воспользоваться открытием бородинского памятника, чтобы подтвердить им мудрость гегелевского афоризма о тождестве действительности с истиной и разумностью и разобрать всю плодотворную сущность этого положения. Но с первой же статьи оказалось, что излишнее обобщение правила может повести к необычайным выводам, к резким, чудовищным заблуждениям. Напрасно друзья Белинского представляли ему все опасности прямого, непосредственного приложения его идеи к русскому миру — Белинский, никогда не знавший сделок, уступок, добровольных умолчаний, еще более укреплялся их сомнениями. Надо было или бросить всю теорию, или оставаться ей верным до конца. Ему показалось даже, что наступила именно, та минута, о которой он говорил прежде, когда для спасения своей мысли и совести следует решиться на откровенный разрыв с самыми близкими людьми. Покойный Г<ерцен> рассказывает в своих известных записках[46], что перед отъездом Белинского из Москвы произошел между ними спор, за которым последовало охлаждение между друзьями, длившееся, впрочем, недолго, всего год, и кончившееся полным примирением их, так как первая причина ссоры — слепое прославление действительности — признано было самим его исповедником, Белинским, философской и жизненной ошибкой. Описание спора у

Г<ерцена> очень любопытно: оно показывает первые бури, возникшие у нас от столкновения систем и отвлеченностей с явлениями реального характера. Г<ерцен> добавлял еще свое описание изустно следующей подробностию. Когда через год после первого столкновения с Белинским Г<ерцен> явился в Петербург, он уже застал там Белинского и, разумеется, возобновил с ним распрю по поводу нового учения[47]. И тогда-то, рассказывал Г<ерцен>, в жару спора со мной Белинский прибег к аргументу, прозвучавшему необычайно дико в его устах. «Пора нам, братец, — сказал критик, — посмирить наш бедный заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью перед событиями, где действуют народы с своими руководителями и воплощенная в них история». По сознанию Г<ерцена>, он пришел в ужас от этих слов, тотчас же замолчал и удалился. Ему показалось, что тут совершилось какое-то отречение от прав собственного разума, какое-то непонятное и чудовищное самоубийство. Через два года, по возвращении из второго своего удаления, в Новгород, снова в Петербург (1841 год), Г<ерцен> уже не имел никаких поводов препираться с критиком: они были одинакового мнения по всем вопросам[48].

Белинский явился, таким образом, в чуждый ему город с глубокой раной в сердце; но он все еще надеялся переиначить взгляды друзей на свои теории, высказав всю свою мысль по поводу спорного пункта, их разделявшего. В начале 1840 года он явился со статьей «Менцель, критик Гете» в «Отечественных записках»[49]. Здесь, подавляя всей силой своего презрения мелкие умы, кропотливо разбирающие, что им нравится и что не нравится в исторических явлениях, Белинский создает особые права, преимущества, даже особую нравственность для великих художников, великих законодателей, гениальных людей вообще, которые уполномочиваются изобретать особые дороги для себя и вести по ним современников и человечество, не обращая внимания на их протесты, волнения, симпатии и антипатии. Более полной подчиненности в пользу привилегированных избранников судьбы нельзя было проповедовать[50]. Надо признаться, статья была живо и мастерски написана, содержала много верных заметок, сделавшихся теперь уже общим достоянием, как, например, заметку о меткости и исторической важности непосредственного чувства в

народных массах, о родственной связи, существующей всегда между стремлениями великих умов и инстинктами общества и проч.; но все это не ослабляло ее основного софистического характера, отстранявшего вполне критические отношения к общественным вопросам. Все это продолжалось недолго. К осени того же 1840 года Белинский уже вышел из чада направления, грозившего остановить всю его деятельность с самого начала.

У нас уже много было писано об этой эпохе развития Белинского и с различными целями. Предмет, однако же, не вполне уяснен, потому, может быть, именно, что слишком много занимал исследователей и раздут ими до размеров важного психического явления, чему способствовал и сам Белинский своими последующими объяснениями. В сущности, это был просто безграничный *оптимизм,* которым разрешалась Гегелева система часто и не на одной только русской почве; она уже и в других странах, как в Пруссии, производила те же результаты, по присущему ей двоесмыслию. Стоило только понять ее определение государства как конкретного явления, в котором отдельная личность должна найти полное успокоение и разрешение всех своих стремлений, — стоило только, говорим, понять это определение в одном известном, официальном смысле, чтобы прийти к обоготворению всякого существующего порядка дел. Первым руководителем Белинского, однако же, на этом поприще самообольщения был в то время не кто иной, как нынешний * отрицатель всех доселе известных форм правления, враг сложившихся окончательно государств, обособившихся национальностей, их общественных преданий и верований — М. Б<акунин>. Первая ошибка в диалектической выкладке, о которой говорим и которая имела такие последствия для Белинского, принадлежит ему[51].

IV

Есть причины полагать, что годы 1836—1837 были тяжелыми годами в жизни Белинского. Мне довольно часто случалось слышать от него потом намеки о горечи этих годов его молодости, в которые он переживал свои

* Умерший во время составления этих заметок. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

сердечные страдания и привязанности, по подробностей о тогдашней своей жизни он никогда не выдавал, как бы стыдясь своих ран и ощущений. Только однажды он заметил, что ему случалось, как нервному ребенку, проплакивать по целым ночам воображаемое горе. Можно было полагать только, что горе это было не совсем воображаемое, как он говорил. Замечательно, что эти оба года, исполненные для него жгучих волнений и потрясений, были употреблены им вместе с тем еще и на занятие философией Гегеля, которая нашла особенно красноречивого проповедника в лице одного молодого отставного артиллерийского офицера, выучившегося скоро и хорошо по-немецки и вообще обладавшего способностию к быстрому усвоению языков и отвлеченных понятий. Это был М. Б<акунин>. В 1835 году он не знал, что делать с собой, и наткнулся на Н. В. Станкевича, который, угадав его способности, засадил за немецкую философию[52]. Работа пошла быстро. Б<акунин> обнаружил в высшей степени диалектическую способность, которая так необходима для сообщения жизненного вида отвлеченным логическим формулам и для получения из них выводов, приложимых к жизни. К нему обращались за разрешением всякого темного или трудного места в системе учителя, и Белинский гораздо позднее, то есть спустя уже 10 лет (в 1846 году), еще говорил мне, что не встречал человека, более Б<акунина> умевшего отстранять, так или иначе, всякое сомнение в непреложности и благолепии всех положений системы. Действительно, никто из приходящих к Б<акунину> не оставался без удовлетворения, иногда согласного с основными темами учения, а иногда просто фиктивного, выдуманного и импровизированного самим комментатором, так как диалектическая его способность, как это часто бывает с диалектиками вообще, не стеснялась в выборе средств для достижения своих целей.

Как бы то ни было, но только упоение гегелевскою философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя, который путем логического шествия от одних антиномий к другим разрешал всей тайны мироздания, происхождение и историю всех явлений в жизни, вместе со всеми феноменами человеческого духа и сознания. Человек, не знакомый с Гегелем, считался кружком почти что несуществующим человеком: отсюда и от-

чаянные усилия многих, бедных умственными средствами, попасть в люди ценою убийственной головоломной работы, лишавшей их последних признаков естественного, простого, непосредственного чувства и понимания предметов. Кружок постоянно сопровождался такими людьми. Белинский очень скоро сделался в нем корифеем, выслушав основные положения логики и эстетики Гегеля, преимущественно в изложении и комментариях Б<акунина> [53]. Надо заметить, что последний возвещал их как всемирное откровение, сделанное человечеством на днях, как обязательный закон для мысли людской, которую они исчерпывают вполне без остатка и без возможности какой-либо поправки, дополнения или изменения. Следовало или покориться им безусловно, или стать к ним спиной, отказываясь от света и разума. Белинский на первых порах и покорился им безусловно, стараясь достичь идеала бесстрастного существования в «духе», подавляя в себе все волнения и стремления своей нравственности и органической природы, беспрестанно падая и приходя в отчаяние от невозможности устроить себе вполне просветленную жизнь, по указаниям учителя.

Дело, конечно, не обходилось тут без сильных протестов со стороны неофита. Дар проникать в сущность философских тезисов, даже по одному намеку на них, и потом открывать в них такие стороны, какие не приходили на ум и специалистам дела, — этот дар поражал в Белинском многих из его философствующих друзей [54]. Он не утерял его и тогда, когда, по-видимому, предался душой и телом одному известному толкованию гегелевской системы. Способность его становиться по временам к ней совершенно оригинальным и независимым способом и заставила сказать Г<ерцена>, что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших Гегелево учение, и оба эти лица не знали ни слова по-немецки. Одним из них был француз — Прудон, а другим русский — Белинский [55]. Возражения последнего на некоторые из догматов системы иногда удивительно освещали ее слабые, схоластические стороны, но уже не могли потрясти *веры* в нее и высвободить его самого из-под ее гнета. Известно восклицание Белинского, весьма характеристическое, которым он заявлял свое мнение, что для человека весьма позорно служить только орудием «всемирной идеи», достигающей

через него необходимого для нее самоопределения. Восклицание это можно перевести так: «Я не хочу служить только ареной для прогулок «абсолютной идеи» по мне и по вселенной»[56]. Опровержения такого рода, как бы мимолетны они ни были, конечно, не могли не раздражать его друга, Б<акунина>, не лишенного, как все проповедники, деспотической черты в характере. Впоследствии образовались сильные размолвки, именно вследствие протестов Белинского, на которые учитель отвечал, с своей стороны, весьма энергично. Уже в сороковых годах, говоря мне об искусстве, с каким Б<акунин> умел бросать тень на лица, которых заподозревал в бунте против себя, Белинский прибавил: «Он и до меня добирался. «Взгляните на этого Кассия[57], — твердил он моим приятелям, — никто не слыхал от него никогда никакой песни, он не запомнил ни одного мотива, не проронил сроду и случайно никакой ноты. В нем нет внутренней музыки, гармонических сочетаний мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человеческой природы». Вот какими закоулками добирался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под своей полой». Оба приятеля, как известно, вплоть до 1840 года беспрестанно ссорились[58] и так же беспрестанно мирились друг с другом, но в лето 1836 года они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда в течение 1836 года Белинский, введенный в семейство Б<акуниных>, нашел там, как говорили его знакомые, необычайный привет даже со стороны женского молодого его населения, к чему он никогда не относился равнодушно, убежденный, что ни одно женское существо не может питать участия к его малоэффектной наружности и неловким приемам. Белинский ездил в Тверь и жил некоторое время в поместье самих Б<акуниных>[59]. Беседы, которые он вел под кровом их дома, под обаянием дружбы с одним из его членов, при внимании и участии молодого и развитого женского его персонала, конечно, должны были крепче запасть в его ум, чем при какой-либо другой обстановке. Результаты оказались скоро. Когда Белинский опять возвратился к журнальной деятельности и принял на себя, в 1838, издание «Московского наблюдателя»[60], совершенно загубленного прежней редакцией, — на страницах журнала уже излагались не Шеллинговы воззрения в том лирическо-торжественном

тоне, какой они всегда принимали у Белинского, а строгие гегелевские схемы в надлежащей суровости языка и выражения и часто с некоторою священной темнотою, хотя и старые воззрения, и новые схемы имели много родственного между собою. К тому же одним из сотрудников журнала, от которого ждали переворота в области литературы и мышления, состоял теперь М. Б<акунин>. Он именно и открыл новый фазис философизма на русской почве, провозгласив учение о святости всего *действительно* существующего[61].

Одно, хотя и очень короткое время, Б<акунии>, можно сказать, господствовал над кружком философствующих. Он сообщил ему свое настроение, которое иначе и определить нельзя, как назвав его результатом *сластолюбивых* упражнений в философии. Все дело ограничивалось еще для Б<акунина> в то время *умственным наслаждением,* а так как самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно нового питания и возбуждения, то обширное, безбрежное море гегелевской философии пришлось тут как нельзя более кстати. На нем и разыгрались все силы и способности Б<акунина>, страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, и наконец пышная, всегда как-то праздничная по своей форме, шумная, хотя и несколько холодная, малообразная и искусственная речь. Однако же эта праздничная речь и составляла именно силу Б<акунина>, подчинявшую ему сверстников: свет и блеск ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самым идеям, ею возвещаемым. Б<акунина> слушали с упоением не только тогда, когда он излагал сущность философских тезисов, но и тогда, когда спокойно и степенно поучал о необходимости для человека ошибок, падений, глубоких несчастий и сильных страданий как неизбежных условий истинно человеческого существования,

Б<акунин> сам рассказывал впоследствии, что однажды, после вечера, посвященного этой материи, собеседники его, большей частию молодые люди, разошлись спать. Один из них поместился в той же комнате, где опочивал и сам учитель. Ночью последний был разбужен своим молодым товарищем, который, со свечою в руках и со всеми признаками отчаяния на лице, требовал у него помощи: «Научи, что мне делать, — говорил он, — я — погибшее существо, потому что как ни думал, не

чувствую в себе никакой способности к страданию». Действительно, полюбить страдание, и особенно в юношеские годы, трудновато.

Естественно, однако ж, что такое продолжительное умственное, диалектическое, философское пирование могло быть устроено только при одном условии: совершенного обеспечения себя от протестов со стороны людей огорченных или негодующих на жизнь, при условии осмыслить, если не узаконить все то, на что они жалуются или в чем сомневаются. Необходимо было прежде всего убедить всех, которые сильно чувствовали *злобу дня,* в том, что их личные, отдельные попытки осуждения современности или основ, на которых она держится, суть преступления против существующей «действительности», то есть преступление против «всемирной идеи», которая в данную минуту в нее воплотилась, другими словами, против самого «высшего разума». Спокойствие и нужное расположение духа для философирования покупались только этой ценою. И ничем другим Б<акунин> в эту эпоху не занимался, кроме прямых и косвенных внушений этого рода. Ему принадлежит ввод в печать нового русского презрительного слова «прекраснодушие», возбудившего такое недоумение в публике и журналах своим, действительно, не очень складным составом, которое, будучи буквальным переводом немецкого «Schönseligkeit» [62], призвано было обозначать у нас благородные, но несостоятельные отрицания личного мышления и личного суда над современностию. Ему принадлежит распространение у нас того крайнего, чистейшего и вместе брезгливого идеализма, который с ужасом отворачивался от всякого житейского шума, смешивая под одним общим названием *низших явлений субъективного духа* все, что мешало ему, идеализму, заниматься спокойно вопросами о судьбах и призвании человечества: он просмотрел французский переворот 1830 года, ничего не распознал в общественном движении, наступавшем за ним во Франции (Ж. Занд, Сен-Симон, Ламэне), ничего не видал в современной ему юной Германии, уже основавшей свой орган в 1838 году: «Deutsche Jahrbücher» [63]. Он только заклеймил эти явления названием необузданных шалостей *рассудочного,* но не философского ума. Сам Шиллер объявлялся еще у этого идеализма, за молодые свои протесты, за свою жажду справедливости, правды, гуманности — гениальным ребенком, который ни-

когда не мог возвыситься от теплых, хороших ощущений до спокойного созерцания идей и мировых законов, управляющих людьми, до объективного понимания предметов. Отец русского идеализма, Б<акунин> вместе с тем был весьма податлив и на житейские наслаждения, которыми пользовался совершенно беспечно и за которыми гнался как-то наивно, простодушно. Жизнь и философия тут не мешали друг другу. Впрочем, следует еще раз повторить, что нигде, может быть, философский романтизм не воплощался в таком сильном, по средствам и дарованиям, представителе, каким был Б<акунин>. Прикрытый математически-строгими формулами Гегелевой логики, романтизм этот казался по наружности очень суровой проповедью, будучи, в сущности, только потворством и оправданием для самых утонченных прихотей мысли, наслаждающейся собой.

Для Белинского, однако же, это было другое дело: философские занятия далеко не служили ему потехой и развлечением, а, наоборот — горьким и тяжелым искусом, который он проходил с трудом и самоотвержением, надеясь обрести истину, покой для мысли и совести на конце его. Надо было привыкать к строю мыслей, открываемых новым созерцанием, и беспощадно убивать в себе всякое сомнение в нем, всякий позыв к противоречию. Философский оптимизм требовал очень многого. Путем отвлеченностей и метафизических выкладок он превращал в научные аксиомы, в философские истины и в откровения «духа» ходячие общественные начала, за малыми исключениями, почти всю современную жизненную обстановку и большую часть всех умственных и других отправлений, навеваемых и вызываемых текущей минутой.

В этом благоприятном разъяснении текущей минуты именно и заключалось преимущественно то обаяние, которое производил на всех тогдашний глубоко консервативный, религиозный, даже с мистическим оттенком, семейно-добродетельный, нравственный, *музыкальный* Б<акунин>[64], — такой, каким его знали до 1840 года, когда он уехал за границу из России.

С тех пор он ушел далеко; но потребность созидания систем и воззрений, обманывающих духовные потребности человека, вместо удовлетворения их, — осталась все та же, и тот же романтизм, ищущий необычайных выводов и потрясающих эффектов, слышится и в его

призывах к разрушению обществ и к истреблению цивилизации, как прежде слышался в воззваниях к высшему героическому пониманию и осуществлению нравственности и человеческого достоинства.

Уже и тогда многие, как покойный В. П. Боткин, например, и сам Белинский, по временам понимали хорошо источники проповеди Б<акунина>[65]. Описывая мне его личность в 1840 году, тогда мне еще совершенно незнакомую[66], Белинский говорил: «Это пророк и громовержец, но с румянцем на щеках и без пыла в организме»[67]. Таково было последнее впечатление, вынесенное им из долгих сношений с учителем. Но в общественном значении никто не отказывал философии Б<акунина>, потому что она действительно составляла прогресс в умственном развитии нашего общества и служила прогрессу. Способ понимания целей и задач жизни, ею усвоенный, заключал в себе много фантастичного элемента, но, конечно, стоял неизмеримо выше того грубого способа их представления, который царствовал у большинства современников. Смысл, который система Б<акунина> отыскивала не только в политических, но даже в будничных эфемерных явлениях текущего дня, действительно был произвольный и навязанный им насильно, но все-таки это был смысл, для усвоения которого следовало еще многому поучиться и о многом подумать. Положения проповеди Б<акунина> слишком многое узаконили в существующих порядках — это правда, но они узаконили их так, что порядки эти переставали походить на самих себя. Они становились идеалами в сравнении с тем, чем были на реальной почве. Нравственные требования от всякой отдельной личности носили у него характер безграничной строгости: вызов на героические подвиги составлял постоянную и любимую тему всех бесед Б<акунина>. Гегелевское определение личности как поприща, на котором совершается таинство самоопределения и окончательного разоблачения «творящей идеи», уполномочивало уже требовать от каждого человека самых напряженных усилий на пути развития своего сознания и нравственных доблестей. Б<акунин> и требовал этих усилий с вдохновением и настойчивостью, которые вошли уже у него в организм и привычку. Так, даже накануне французского переворота 1848 года в Париже, когда он сам перешел на чисто политическую арену и, сильно окрашенный польской пропагандой, приступил к

подговорам, тайным махинациям и клубным мерам в известном *роде*, — он готов был всегда призывать людей к чистым подвигам, целомудренной жизни и идеальному пониманию ее задач. Это и заставило Г<ерцена> прозвать его тогда же (1847 год) в шутку «старой Жанной д'Арк». Г<ерцен> прибавлял, что это и девственница, но только *анти*орлеанская, так как питает отвращение к королю Луи-Филиппу — орлеанскому.

Человек, предшествовавший Б<акунину> в изучении Гегеля и даже впервые, как мы сказали, посвятивший самого Б<акунина> в науку, Н. В. Станкевич, никогда не доходил до полного, абсолютного оптимизма в философии. Станкевич уже и потому не мог соперничать в этом с товарищем, что, выходя с ним из одних оснований и не менее его отданный во власть романтического настроения, неспособен был, однако же, по разборчивости ума, изяществу и поэтичности природы, к грубым обобщениям. По причинам просто и чисто физиологическим, он останавливался в недоумении перед каждой скрытой и явной несправедливостью, так же точно, как и перед всяким чрезмерным увлечением. У него была поверка излишне заносчивых тезисов в чувстве меры, да к тому же он снабжен был и даром юмора, который открывал ему оборотную, теневую сторону предметов. Этого дара вовсе недоставало Б<акунину>. Должно считать счастливым обстоятельством для Б<акунина> то, что в эпоху его самой жаркой проповеди Станкевич (с осени 1837 года) и Грановский (за год до того) были за границей, а Г<ерцен> проходил первое свое удаление, сперва в Вятку, а потом во Владимир; случись они тогда в Москве, законодательная деятельность Б<акунина> и его декреты по предметам мышления получили бы значительное ограничение и изменение.

Остается теперь посмотреть, как все эти свойства и качества философской системы Б<акунина> отразились тогда на душе Белинского.

V

На первых порах влияние новой философской системы Б<акунйна> не было выгодно для таланта Белинского. Белинский прежде всего приступил тогда к изучению схем, формул, делений — всех почти неосязаемых теней

колоссального мира абстракции, называемого логикой Гегеля, и приступил с пылом и фанатическим одушевлением, лежавшими в его природе. Сделав обет ученического послушания системе, он уже не изменил своему обету до конца. Он наложил опеку на свой подвижной ум, на свое тревожное сердце, создал план, программу, почти табличку поведения для своей жизни и для своей мысли и употреблял неимоверные усилия, чтобы отогнать от себя все наваждения врожденного ему таланта, критической и эстетической способности. Во все это время Белинского не покидало сомнение даже в праве отдаваться впечатлениям внешней жизни, своему чувству, своим сердечным влечениям. Он страдал в мысли так же, как и в способе относиться ко всему реальному в его собственном существовании. Это было уже далеко не наслаждение философией, как в период Шеллингова влияния, — это был тяжелый труд, каторжная работа, принятая на себя из надежды близкого воскрешения в будущем и потом уже радостного существования на земле, без сомнений, колебаний и томительных вопросов. Мучительный искус, добровольно проходимый одним из характеров, наименее способных к подчиненности, не кончился и тогда, когда Белинский ознакомился с учением *о действительности,* хотя оно, по-видимому, должно было бы освободить его от напрасных исканий идеально-совершенных правил и основ жизни. По крайней мере в литературе следы того же послушнического искуса сохраняются и в статьях его от 1838 года. Слово его, такое бодрое и развязное дотоле, становится в «Московском наблюдателе» 1838 года неопределенным, туманным, словно чахнет, занятое преимущественно выяснением философских терминов (особенно термин «конкретность» стоил ему долгих трудов и беспрестанных повторений одного я того же понятия на разные лады), переложением их на русский язык и толкованием их смысла для русской публики[68]. По временам это бедное, уже обезличенное слово старается еще придать себе вид развязности, скрыть схоластические путы, мешающие его движению, казаться свободным, смелым словом, несмотря на ту цепь, которую дозволило наложить на себя. Это были вспышки, соответствовавшие тем мимолетным протестам против теории, о которых говорено. Вообще же журнал «Московский наблюдатель», орган Белинского с 1838 года, представлял в течение нескольких месяцев печальную

арену, где можно было видеть замечательного и своеобычного мыслителя в униженном положении страдальца, изнывающего и слабеющего под действием жестокой умственной дисциплины, лишавшей его сил, но которую он продолжает упорно налагать на себя, не признавая ее за наказание. Журнал истомил редактора и всех тех, которые за ним тогда следили. Многие из друзей редактора были также очень недовольны им и не скрывали своего мнения[69]. Позволю себе при этом сказать несколько слов о собственных моих тогдашних впечатлениях по этому поводу.

VI

Известно, что «Московский наблюдатель» 1838 года открывался передовой статьей Рётшера «О философской критике художественного произведения»[70]. О ней много было говорено и тогда и потом в нашей литературе, и все-таки мне приходится остановиться на ней и теперь. Статья принадлежала к числу тех чрезвычайно сухих и отвлеченных трактатов, где понятия под наторелой рукой писателя складываются сами собой в затейливые узоры, оставляя в стороне как вздорную помеху все соображения о насущных потребностях известного общества, об условиях или нуждах его существования в данную минуту. Статья определяла будущее направление журнала. Она делила критику на четыре разряда, строго отмежеванные, отдавая, разумеется, предпочтение первому — философскому отделу как заключающему в себе единственные истинные и непреложные законы для суда над произведениями. А непреложность этих законов доказывалась процессом исследования, свойственным философской критике, которая, распознав мысль художественного произведения, выделяет эту мысль из создания, развивает ее самостоятельно, по-философски, допытывается всех возможных ее выводов, и потом возвращает эту мысль снова созданию, наблюдая, все ли то сказано в образах и подробностях создания, что обнаружилось в философском анализе его. Если да — да; если нет — тем хуже для создания!

Три низшие отдела критики, то есть критика психологическая, скептическая и историческая, конечно, не пользовались симпатиями Белинского. Не говорим уже о

скептической, давно им презираемой, но и психологическая и историческая критики как не имеющие руководителя в *абсолютных законах* мысли и искусства ценились им весьма мало. Чрезвычайно любопытно выслушать при этом, что он говорил по поводу последней из них: «Подробности жизни поэта нисколько не поясняют его творений. Законы творчества вечны, как законы разума. На что нам знать, в каких отношениях Эсхил или Софокл были к своему правительству, к своим гражданам и что при них делалось в Греции? Чтобы понимать их трагедии, нам нужно знать значение греческого народа в абсолютной жизни человечества... До политических событий и мелочей нам нет дела» и проч.[71].

Белинский тут просто не походил на самого себя. Между тем, в статье Рётшера, пред теми рубриками критики ставились бедные явления нашей печати и письменности, вымеривался их рост и, на основании полученных четвертей и вершков, им отводилось помещение в одном из отделов. Так поступил Белинский с сочинениями Фонвизина, которые отнес к ведомству критики исторической, вместе с изумительным товарищем — сочинениями Вольтера, а «Юрия Милославского» подчинил ведению критики психологической, придав ему тоже необыкновенного спутника и сотоварища, именно Шиллера, «этого странного полухудожника и полуфилософа», замечал Белинский. Но недостало даже таланта и опытности Белинского, чтобы к названным русским авторам приложить все требования критического отдела, которому они делались подсудны, и найти в них все те черты, которые по теории должны были в них существовать непременно. Он обещал представить это свидетельство совпадения теории с живым примером, но не исполнил обещания — и по весьма понятной причине. При осуществлении задачи либо теория должна была лопнуть по всем составам, либо примеры отбиться совсем от теории.

Зато Белинский исполнил другое. Чем более отрекался он от права личного суждения, тем более завладевали его умом мертвые философские схемы и тезисы, которые не только заслоняли перед его глазами предметы искусства, но назойливо и нагло становились на их место. Когда актер Мочалов создал роль Гамлета в Москве, Белинский написал большую статью о трагедии и о московском исполнителе главной ее роли[72]. Как же представился

Гамлет воображению Белинского? Конечно, так же, как и Гете, — человеком, страдающим бедностью воли ввиду огромного замысла, на который он себя предназначает. Но откуда эта немощь воли и сопряженные с нею страдания в лице, умеющем при случае поступать очень смело и решительно? — спрашивал себя Белинский. Ответ давался схемой. Гамлет, по ее определению, выражает собою все признаки того психического состояния, когда человек, мирно живший с собою и про себя, переходит к существованию в «действительности», во внешнем мире, таком запутанном и бессмысленном на первый взгляд. Борьба и страдания, неразлучные с этим погружением в хаос и в кажущуюся грубость реального мира, отнимают у Гамлета всю силу воли, всю твердость характера. Качества эти возвращаются к нему, когда Гамлет, после долгого, мучительного искуса, приходит к чувству покорности перед законами, управляющими этим непонятным, грозным миром действительности, к тихому убеждению, что надо быть *всегда готовым на все.* Таким образом, Гамлет преобразился в представителя любимого философского понятия, в олицетворение *известной* формулы (что действительно, то — разумно), и Белинский на этом пьедестале устраивает апофеозу как великому творцу драмы, так и замечательному его толкователю на московской сцене [73].

Постоянные превращения живых образов в отвлечения начинают появляться все более и более у Белинского. При обозрении журналов 1839 года Белинский делает заметку о статье Губера «Фауст» [74]. Что такое Фауст Гете? Для Белинского той эпохи Фауст есть точно такая же философская схема, как и Гамлет, даже почти ничем не отличающаяся от нее. Фауст как человек глубокий и всеобъемлющий должен был выйти из естественной гармонии духа, поссориться с действительностию, к которой обратился за утешением и познанием, и после ряда кровавых испытаний, мучительной борьбы, падений и обольщений возвратиться снова к полной гармонии духа, но уже гармонии, просветленной опытом и сознанием. Он прозрел под конец разум и оправдание всего сущего. Фауст умирает в блаженстве и от блаженства такого сознания.

Как ни тяжело было, по-видимому, приложить этот способ определения предметов искусства к чему-либо, выросшему на русской почве, Белинский, однако же, не

остановился перед трудностию. Я сказал, что при появлении в «Современнике» 1838 года посмертных сочинений Пушкина Белинский испытал более чем восторг: даже нечто вроде *испуга* перед величием творчества, открывшегося глазам его. В литературной хронике «Московского наблюдателя» 1838 года, отдавая отчет о четырех томах «Современника», заключавших неизданные произведения великого поэта, Белинский спрашивал себя: что такое Пушкин? [75] Оказалось, что та же схема, которая служила мерилом внутреннего достоинства Гамлета и Фауста, пригодна и для определения последних произведений Пушкина. Вот собственные слова Белинского: «В самом деле, — говорит он, — чтобы постигнуть всю глубину этих гениальных картин, разгадать их вполне *таинственный* смысл и войти во всю полноту и светозарность их могучей жизни, должно пройти чрез мучительный опыт внутренней жизни и выйти из борьбы прекраснодушия в гармонию просветленного и примиренного с действительностию духа. Повторяем, примирение путем объективного созерцания жизни — вот характер этих последних произведений Пушкина» [76].

Было бы очень странно, если бы этот философский тезис, так могущественно и деспотически овладевший умом Белинского, остался без приложения к предметам политического и общественного характера или заменился там каким-либо иным, несхожим с ним, созерцанием. Непоследовательность такого различия в определениях была бы очевидным опровержением самых оснований теории, а Белинский был всегда последователен и в истине, и в минутных заблуждениях своих. Таким образом, являлась у Белинского и политическая теория, в силу которой человек, для того чтобы устроить правильные отношения к обществу и государству, должен разрешить в себе ту же задачу, какую разрешали Гамлет и Фауст своими персонами, а Пушкин — своими произведениями. Разница состояла здесь в том только, что на политической и социальной почве уже не предстояло возможности выбирать явлений, предпочитать одни другим, производить им оценку и сортировку, а необходимо было уважать и признавать их всех одинаково и целиком. Белинский поэтому требовал, «чтобы человек, не желающий довольствоваться всю жизнь призрачным существованием, вместо действительного человеческого существования, признал ложью и обманом умственные похоти своей лично-

сти, подчинился требованиям и указаниям государства, которое есть единственный критериум истины на земле, проникнул в глубокий смысл его идеи, превратил все могучее его содержание в собственные убеждения свои, и тем самым сделался уже представителем не случайных и частных мнений, а выражением общей, народной, наконец мировой жизни или, другими словами, стал *духом во плоти*». Белинский продолжал далее: «В духовном развитии человека момент отрицания необходим, потому что кто никогда не ссорился с жизнью, у того и мир с нею не очень прочен; но это отрицание должно быть именно только моментом, а не целою жизнию: ссора не может быть целью самой себе, но имеет целью примирение. Горе тем, которые ссорятся с обществом, чтобы никогда не примириться с ним: общество есть высшая действительность, а действительность требует или полного мира с собою, полного признания себя со стороны человека, или сокрушает его под свинцового тяжестью своей исполинской длани» [77].

Место это находится в разборе книги «Очерки Бородинского сражения» Ф. Н. Глинки, которая ознаменовала, как знаем, полный расцвет гегелевского оптимизма в русской литературе.

Такова вкратце у Белинского история зарождения и развития гегелевского оптимизма, которая, так сказать, прошла у нас перед глазами.

VII

Нельзя покончить, однако же, с этим периодом деятельности критика, не повторив еще раз того, что было сказано о его частых восстаниях против своих же догматов: в противность всему строю и всем заключениям признанного и усвоенного им учения из-под пера Белинского беспрестанно вырывались положения, похожие на ереси. Этими еретическими вспышками, смахивавшими на бунт против начал, угнетавших его ум, высказывались те, на время подавленные и притаившиеся, критические силы Белинского, которые ждали окончания философского погрома, чтоб явиться снова на свет в полном блеске. Не удивительно ли было, например, в самом пылу гегелевского настроения, когда так процветало благоговение к «идее» и неутомимое искание е е , — вычитать

у Белинского следующие строки в его разборе плохой драмы Полевого «Уголино»: «В творчестве сила не в идее, а в форме, которая, само собою разумеется, необходимо предполагает и условливает идею, и эта форма должна быть проникнута кротким, благоговейным сиянием эстетической красоты. Величие содержания (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозревает ее...» Помню хорошо недоумение, которое возбуждали в нас подобные внезапные повороты (а их было немало), наносившие более или менее чувствительные удары самим основам и первым началам найденной философской системы[78]. Помню также, что многие из нас и обращались к автору в подобных случаях за разъяснениями этих противоречий; но разъяснения Белинского большею частию обнаруживали досаду на людей, подвергавших его экзамену, и давались, как даются ответы детям на их расспросы. «Неужто вы думаете, — говорил Белинский, — что я должен при каждом мнении справляться с тем, что сказал когда-то прежде? Да вот теперь я вас ненавижу, а через день буду страстно любить». Много было истины в этих словах. Белинский особенно боялся тогда противоречий, потрясающих новую его систему, и отзывался гневно и нервно о людях, их высказывавших; но оказывалось, что он больше всего и думал именно о таких людях. В связи с этой чертой находилась и другая, не менее любопытная. Он негодовал, становился угрюм и зол, именно когда встречал непререкаемое согласие с его положениями, хотя это и не часто случалось, точно ему недоставало тогда возражений и обличений. Внутренняя жизнь Белинского в эту эпоху представляла раздвоение поистине трагическое и исполнена была страданий и сомнений, которые по временам он и открывал собеседникам в резком, неожиданном слове, можно сказать — в вопле истерзанной души. Он судорожно и отчаянно держался за новые свои верования, но с каждым днем все более и более чувствовал, что они меняются, тускнут и испаряются на его собственных глазах.

Но в этот же период времени случалось и так, что Белинский боролся с гнетущими условиями метафизического деспотизма не одними вспышками и порывистыми движениями врожденной ему критической мысли, а и целыми продуманными суждениями и приговорами, которые шли наперекор теории и всем ее толкователям.

И как гордился сам Белинский этими доказательствами и заявлениями самодеятельности своего ума! В письме к И. И. Панаеву 19 августа 1839 года, напечатанном в «Современнике» 1860 года, в январе месяце, он шутливо, но с чувством нескрываемого торжества вспоминает, что еще осенью прошлого года объявил вторую часть «Фауста» Гете сухой, мертвой символистикой, к великому негодованию и изумлению всех московских друзей-философов[79]. Они не находили почти слов для выражения своего гнева и презрения к смельчаку, налагавшему руку на своего рода «философский апокалипсис», а теперь опустили головы, прочитав в «Deutsche Jahrbücher» статью молодого эстетика Фишера (Fischer), говорит Белинский, который буквально повторил все то, что возвещал он, непризнанный Белинский, за год перед тем[80].

И было чем гордиться!

Что касается до нас, то мы жаждали ересей Белинского, противоречий Белинского, измен его своим положениям и нарушений философских догматов, как подарков: они, казалось, возвращали нам старого Белинского 1834—1835 годов, когда он имел, несмотря на Шеллинга, свою независимую мысль и свое направление *. Не то чтобы кружок его петербургских сторонников ясно прозревал несостоятельность системы и выводов, из нее получаемых, — для этого он не был достаточно развит философски, — но он чувствовал беспокойство, следуя за развитием учителя, сильно недоумевал, когда ему — кружку этому — не позволяли ропота даже и на самые обыденные явления жизни, и беспрестанно обращал глаза назад, к прежнему Белинскому 1835 года, издателю шести книжек «Телескопа», где помещены статьи и разборы, оставшиеся и доселе памятниками чуткой критики, приговоры которой пережили поколения, впервые их выслушавшие. Может быть, это подозрительное состояние кружка, всегда готового сорваться с тезисов на

* В «Телескопе» 1835 года помещены были образцовые статьи: «О русской повести и повестях Гоголя», «О стихотворениях Баратынского», «Стихотворения Владимира Бенедиктова» и «Стихотворения Кольцова». Надеждин, поручивший издание «Телескопа» Белинскому при своем отъезде за границу, был удивлен по возвращении в декабре 1835 года и доброкачественностию статей, в нем помещенных, и запущенностию редакции, недодавшей множество книжек журнала. Таков был и потом Белинский как «редактор». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

практическую дорогу прямой, наглядной оценки предметов, без всяких справок о том, что они представляют в идее, и было причиной грустного, осторожного, сдержанного обращения Белинского с кружком. Он не доверял ни его покорности отвлеченным понятиям, ни особенно его способности проникнуться ими в должной степени, и однажды, когда заговорили перед ним о здравом практическом смысле Петербурга, поправляющем увлечения и под дыханием которого иссыхают все источники фантазии и мечтаний, Белинский вспыхнул и с гневом проговорил: «Я вижу, куда вы клоните. Вам никогда не удастся сделать из меня то, что вы хотите!» Он еще боялся за судьбу своего идеализма в Петербурге, да и долго потом, даже после отрезвления своей мысли, происшедшего в 1840 году, еще держался за него как за отличие, которое не следовало терять на новом месте. Дело, однако же, сложилось иначе.

VIII

После всего этого длинного отступления возвращаюсь к рассказу. Поселясь в Петербурге, Белинский начал ту многотрудную, работящую жизнь, которая продолжалась для него восемь лет сряду, почти без всякого перерыва, потрясла самый организм и заела его. На первых порах, после довольно долгого пребывания на квартире Панаева, он нанял себе помещение на Петербургской стороне, по Большому проспекту, в красивом деревянном домике, с довольно просторной, но сырой и холодной комнатой и с небольшим кабинетом, жарко натопленным, где я и нашел его уже зимой 1840 года. Противоположность в температуре этих комнат не производила, по-видимому, особого действия на здоровье хозяина, по зато постоянно награждала посетителей его обычными зимними дарами Петербурга — флюсами, гриппами и подчас жабами. Укрывшись в своем тропически душном кабинете, Белинский весь отдался мысли и вел сурово-уединенную, почти аскетическую жизнь, из которой по временам выходил в круг новых своих знакомых, где его строгий вид, всего чаще перемежавшийся со вспышками гнева или негодующего юмора, еще более обнаруживал основной фон, подкладку, так сказать, его страдающей души. Ошибиться было нельзя; наименее проницательный собеседник если не понимал, то чувствовал существенную

принадлежность этого человека — живое олицетворение образов, изобретенных поэзией для передачи мучительных стремлений и порываний беспокойного сердца и возбужденной мысли. Только это был титан добродушный. В отличие от романтических типов этого рода, которых нам представляют обыкновенно лишенными слабых или любезных сторон характера, Белинский обладал в значительной степени теми и другими. Нельзя было не заметить его ребячески чистой доверчивости к хорошему слову и честному помышлению, перед ним высказанным, а потом его комического гнева на себя, когда он открывал (что делалось очень скоро) не совсем чистые источники этих заявлений. Его наивная неопытность в делах общежития беспрестанно вовлекала в ошибки такого рода, хотя за минутами подобных промахов у него следовало почти тотчас же отрезвление, и тогда он уже открывал в характерах и явлениях стороны, которые ускользали и от очень пытливых и осторожных людей.

Но, вообще говоря, потребности в людях, в водовороте жизни, в поверке себя другими и всех — друг другом Белинский тогда не обнаруживал. Он обходился без всего этого по целым неделям. После погрома, испытанного его новой теорией, он уже дни и ночи стоял перед письменным своим бюро. Довольно узкий тропический его кабинет из двух окон, между которыми стояло это бюро, имел еще, у противоположной стены и в расстоянии пяти-шести шагов, кушетку, с маленьким столиком у изголовья. Белинский почти всегда писал, как то требуется для журнальных статей, на одной стороне полулиста и бросал страницу, как только достигал ее конца. Затем он ложился на кушетку и принимался за книгу, после чего, переменив высохшую страницу, снова принимался за перо, не испытывая никакой помехи ни в чтении, ни в письме от этих промежутков в течении мыслей. Так создавались срочные и несрочные статьи, утомлявшие его физически гораздо более, чем умственно. Рука и слабая грудь его болели, но голова оставалась постоянно свежа. Впрочем, усиленная работа эта была нужна ему морально для того, чтобы обмануть и развлечь тоску одиночества, которую он испытывал с тех пор, как покинул московский свой кружок и обменял его на другой, не заменивший старого... Он долго не мог также привыкнуть к Петербургу, к его образу жизни — размеренной и осторожной, но кончил таким полным признанием его

значения и разных гражданских и полицейских гарантий для личности, им представляемых, что помирился с ним окончательно.

Но у Белинского взамен общества были тогда три постоянные, неразлучные собеседника, которых наслушаться вдоволь он почти уже и не мог, именно Пушкин, Гоголь и Лермонтов. О Пушкине говорить не будем: откровения его лирической поэзии, такой нежной, гуманной и вместе бодрой и мужественной, приводили Белинского в изумление, как волшебство или феноменальное явление природы. Он не отделался от обаяния Пушкина и тогда, когда, ослепленный творчеством Лермонтова, весь обра--и л с я к новому светилу поэзии и ждал от него переворота в самых понятиях о достоинстве и цели литературного призвания. При отъезде моем за границу в октябре 1840 года Белинский спросил, какие книги я беру с собою. «Странно вывозить книги из России в Германию», — отвечал я. «А Пушкина?» — «Не беру и Пушкина...» — «Лично для себя я не понимаю возможности жить, да еще и в чужих краях, без Пушкина», — заметил Белинский.

О втором его собеседнике — Гоголе — скажем сейчас несколько пояснительных слов. Но что касается отношений, образовавшихся между Белинским и третьим, самым поздним или самым новым и молодым его собеседником — именно Лермонтовым, то они составляют такую крупную психическую подробность в жизни нашего критика, что об ней следует говорить особо.

Важное значение Белинского в самой жизни Н. В. Гоголя и огромные услуги, оказанные им автору «Мертвых душ», уже были указаны нами в другом месте *. Мы уже говорили, что Белинский обладал способностью отзываться, в самом пылу какого-либо философского или политического увлечения, на замечательные литературные явления с авторитетом и властью человека, чувствующего настоящую свою силу и призвание свое. В эпоху шеллингианизма одною из таких далеко озаряющих вспышек была статья Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», написанная вслед за выходом в свет двух книжек Гоголя: «Миргород» и «Арабески» (1835 год). Она и уполномочивает нас сказать, что настоящим восприем-

---

* См. мои «Воспоминания и критические очерки», т. I, в статье о Гоголе. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

ником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский. Статья эта вдобавок пришлась очень кстати. Она подоспела к тому горькому времени для Гоголя, когда, вследствие претензии своей на профессорство и на ученость *по вдохновению,* он осужден был выносить самые злостные и ядовитые нападки не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой [81]. Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как озадаченный и сконфуженный не столько ярыми выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. Московские знакомые и доброжелатели его покамест еще выражали в своем органе («Московском наблюдателе») сочувствие его творческим талантам весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себе право отдаваться вполне своим впечатлениям только наедине, келейно, в письмах, домашним образом [82]. Руку помощи в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему тогда никем не прошенный, никем не ожиданный и совершенно ему неизвестный Белинский [83], явившийся с упомянутой статьей в «Телескопе» 1835 года. И с какой статьей! Он не давал в ней советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой-либо черты, на основании ее сомнительной верности или необходимости для произведения, не одобрял другой как полезной и приятной, — а, основываясь на сущности авторского таланта и *на достоинстве его миросозерцания,* просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего *великого писателя.* Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Он еще тогда не пришел к убеждению, что московская критика, то есть критика Белинского, злостно перетолковала все его намерения и авторские цели, — он благосклонно принял заметку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя», и был доволен статьей, и более чем доволен: он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени. С особенным вниманием остановился в ней Гоголь на определении качеств истинного творчества, и раз, когда зашла речь о статье, перечитал вслух одно ее место: «Еще создание художника есть тайна для всех,

еще он не брал пера в руки, — а уже видит их (образу) ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, изборожденного страстями и горем, а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет и свяжет между собою...»[84] «Это совершенная истина, — заметил Гоголь и тут же прибавил о полузастенчивой и полунасмешливой улыбкой, которая была ему свойственна: — Только не понимаю, чем он (Белинский) после этого восхищается в повестях Полевого». Меткое замечание, попавшее прямо в больное место критика; но надо сказать, что, кроме участия романтизма в благожелательной оценке рассказов Полевого, была у Белинского и еще причина для нее. Белинский высоко ценил тогда заслуги знаменитого журналиста и глубоко соболезновал о насильственном прекращении его деятельности по изданию «Московского телеграфа»; все это повлияло па его суждение и о беллетристической карьере Полевого[85].

Но решительное и восторженное слово было сказано, и сказано не наобум. Для поддержания, оправдания и укоренения его в общественном сознании Белинский издержал много энергии, таланта, ума, переломал много копий, да и не с одними только врагами писателя, открывавшего у нас реалистический период литературы, а и с друзьями его. Так, Белинский опровергал критика «Московского наблюдателя» 1836 года, когда тот, в странном энтузиазме, объявил, будто за одно «слышу», вырвавшееся из уст Тараса Бульбы в ответ на восклицание казнимого и мучимого сына: «Слышишь ли ты это, отец мой?» — будто за одно это восклицание «слышу» Гоголь достоин был бы бессмертия; а в другой раз опровергал того же критика, и не менее победоносно, когда тот выразил желание, чтобы в рассказе «Старосветские помещики» не встречался намек на *привычку,* а все сношения между идиллическими супругами объяснялись только одним нежным и чистым чувством, без всякой примеси[86].

Вспомним также, что «Ревизор» Гоголя, потерпевший фиаско при первом представлении в Петербурге[87] и едва не согнанный со сцены стараниями «Библиотеки для чтения», которая, как говорили тогда, получила внушение извне преследовать комедию эту, как политическую,

не свойственную русскому миру, — возвратился, благодаря Белинскому, на сцену уже с эпитетом «гениального произведения». Эпитет даже удивил тогда своей смелостью самих друзей Гоголя, очень высоко ценивших его первое сценическое произведение. А затем, не останавливаясь перед осторожными заметками благоразумных людей, Белинский написал еще резкое возражение всем хулителям «Ревизора» и покровителям пошловатой комедии Загоскина «Недовольные», которую они хотели противопоставить первому. Это возражение носило просто заглавие «От Белинского» и объявляло Гоголя безоглядно великим европейским художником, упрочивая окончательно его положение в русской литературе [88]. Белинский сам вспоминал впоследствии с некоторой гордостью об этом подвиге «прямой», как говорил, критики, опередившей критику «уклончивую» и указавшей ей путь, по которому она и пошла (см. библиографическое известие о выходе «Мертвых душ», VI, 396, 400, 404 etc.) [89]. Таковы были услуги Белинского по отношению к Гоголю; но последний не остался у него в долгу, как увидим.

Николай Васильевич Гоголь жил уже за границей в описываемое нами время и уже два года, как основался в Риме, где и посвятил себя всецело окончанию первой части «Мертвых душ». Правда, он побывал в Петербурге зимой 1839 года и читал нам здесь первые главы знаменитой своей поэмы, у Н. Я. Прокоповича, но Белинского не было на вечере: он находился случайно в Москве [90]. Вряд ли Гоголь и считал тогда Белинского за какую-либо надежную силу. По крайней мере в мимолетных отзывах, слышанных мною от него несколько позднее (в 1841 году, в Риме), о русских людях той эпохи Белинский не занимал никакого места. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарные воспоминания отложены в сторону. И понятно отчего: между ними уже прошли статьи нашего критика о «Московском наблюдателе», горькие отзывы Белинского о некоторых людях того кружка, который уже призывал Гоголя спасти русское общество от философских, политических и вообще западных мечтаний. Н. В. Гоголь видимо склонялся к этому призыву и начинал считать настоящими своими ценителями людей надежного образа мыслей, очень дорожащих тем самым строем жизни, который подвергался обличению и осмеянию [91]. Николай Васильевич вспомнил

о Белинском только в 1842 году, когда для успеха «Мертвых душ» в публике, уже представленных на цензуру, содействие критика могло быть не бесполезно. Он устроил тогда одно *тайное* свидание с Белинским в Москве, где последний случайно находился, и другое, хотя и не тайное, но совершенно безопасное, в кругу своих петербургских знакомых, не имевших никаких соприкосновений с литературными партиями; секрет свиданий был действительно сохранен, но, как я узнал после, они нисколько не успели завязать личных дружеских отношений между писателями. Все это было, однако же, еще впереди и случилось уже в мое отсутствие из Петербурга и России.

Теперь же, накануне моего отъезда за границу в 1840 году, Белинский как-то особенно был погружен в изучение и пересмотр гоголевских сочинений. Он и прежде пропитался молодым писателем настолько, что беспрестанно цитировал разные лаконически-юмористические фразы, столь обильные в его творениях, но теперь Белинский особенно и страстно занимался выводами, какие могут быть сделаны из них и вообще из деятельности Гоголя. Можно было подумать, что Белинский поверяет Гоголем самые начала, свойства, элементы русской жизни и ищет уяснить себе, в каких отношениях стоят произведения поэта к собственным философским его, Белинского, воззрениям и как они с ними могут ужиться. Здесь следует заметить, что время изменения и перелома в созерцании Белинского определить весьма трудно с некоторой точностию. Фактически несомненно, что в следующем, 1841 году свершился мгновенный поворот критика к новым убеждениям, но приготовлялся он ранее и тогда, когда критик еще не покидал старой почвы и старой теории. Я сохраняю убеждение, что вместе с другими агентами его отрезвления — уроками жизни, развитием собственной его мысли и внушениями друзей — Лермонтов и Гоголь были не последними агентами, что доказывается и статьями о них, написанными Белинским в течение 1840 года. Под действием поэта реальной жизни, каким был тогда Гоголь, философский оптимизм Белинского должен был разложиться, как только его серьезно сопоставили с картинами русской действительности. Никакими логическими изворотами нельзя было помочь беде, — следовало или соглашаться с художником, обещавшим еще много новых созданий в том же духе, или

покинуть его как не понимающего той жизни, которую изображает. Притом же обличения Гоголя довершали ряд обличений, начатых уже самым строем жизни и критическим умом Белинского прежде. Конечно, более правильное понимание известной формулы Гегеля о тождестве действительности и разумности, освободившее ум Белинского от философского обмана, дано было совсем не Гоголем, но Гоголь его подкрепил. Таким-то образом расплачивался Николай Васильевич с критиком за все, что получил от него для уяснения своего призвания; но вот что замечательно: обоим им суждено было поменяться ролями и разойтись по тем же дорогам, по которым пришли друг к другу. Пока Белинский, выведенный однажды на почву реализма, прокладывал себе дорогу все далее и далее по одному направлению, — романист, способствовавший ему обрести этот верно намеченный путь, возвращался сам, после долгих блужданий, к той исходной точке, на которой стоял, при самом начале, его критик. Обменявшись местами, они уже, каждый с своей стороны, стремились достичь крайних, последних выводов своего положения, и оба одинаково умерли страдальцами и жертвами напряженной работы мысли — мысли, обращенной в различные стороны.

IX

Что касается Лермонтова, то Белинский, так сказать, овладевал им и входил в его созерцание медленно, постепенно, с насилием над собой. При первом появлении знаменитой лермонтовской думы «Печально я гляжу на наше поколенье», помещенной в № 1 «Отечественных записок» 1839 года, — этого монолога, над которым впоследствии критик долго и часто задумывался, которым не мог насытиться и о котором позднее не мог наговориться, — Белинский, еще живший в Москве, выразился коротко и ясно. «Это стихотворение энергическое, могучее по форме, — сказал он, — но *несколько прекраснодушное* по содержанию»[92]. Известно, что выражал эпитет «прекраснодушный» в нашем философском кружке. Однако же Белинский не успел отделаться от Лермонтова одним решительным приговором. Несмотря на то, что характер лермонтовской поэзии противоречил временному настроению критика, молодой поэт, по силе таланта и смелости

выражения, не переставал волновать, вызывать и дразнить критика. Лермонтов втягивал Белинского в борьбу с собою, которая и происходила на наших глазах. Ничто не было так чуждо сначала всем умственным привычкам и эстетическим убеждениям Белинского, как ирония Лермонтова, как его презрение к теплому и благородному ощущению в то самое время, когда оно зарождается в человеке, как его горькое разоблачение собственной своей пустоты и ничтожности, без всякого раскаяния в них и даже с некоторого рода кичливостию. Новость и оригинальность этого направления именно и привязывали Белинского к поэту такой полной откровенности и такой силы.

Нельзя сказать, чтобы Белинский не распознавал в Лермонтове отголоска французского байронизма, как этот выразился в литературе парижского переворота 1830[93] года и в произведениях «юной Франции», — а также и примеси нашего русского великосветского фрондерства, построенного еще на более шатких основаниях, чем парижский скептицизм и отчаяние. Но он им отыскивал другие причины и основания, а не те, которые выходили из самой жизни поэта. Художнический талант Лермонтова закрывал лицо поэта и мешал распознать его. Кроме замечательной силы творчества, которую он постоянно обнаруживал, он еще отличался проблесками беспокойной, пытливой и независимой мысли. Это уже была новость в поэзии, и по теории источника ее приходилось искать в долгом труде головы, в пламенном сердце, мучительном опыте и проч., хотя бы пришлось для этого многое наговорить на них. И вот Белинский принялся защищать Лермонтова — на первых порах от Лермонтова же. Мы помним, как он носился с каждым стихотворением поэта, появлявшимся в «Отечественных записках» (они постоянно там печатались с 1839 года), и как он прозревал в каждом из них глубину его души, больное, нежное его сердце. Позднее он так же точно носился и с «Демоном», находя в поэме, кроме изображения страсти, еще и пламенную защиту человеческого права на свободу и на неограниченное пользование ею. Драма, развивающаяся в поэме между мифическими существами, имела для Белинского совершенно реальное содержание, как биография или мотив из жизни действительного лица [94].

Памятником усилий Белинского растолковать настроение Лермонтова в наилучшем смысле остался превосходный разбор романа «Герой нашего времени» от 1840 года. Здесь-то, спасая Печорина от обвинения в диких порывах, в цинических выходках беспрестанно рисующегося и себя оправдывающего эгоизма, что сделало бы его лицом противоэстетическим, а стало быть, по теории и безнравственным, Белинский находит гипотезу, способную дать ключ к уразумению наиболее возмутительных поступков героя. Белинский пишет по этому случаю чисто адвокатскую защиту Печорина, в высшей степени искусственную и красноречивую. Найденная им гипотеза состоит в том, что Печорин еще не полный человек, что он переживает минуты собственного развития, которые принимает за окончательный вывод жизни, и сам ложно судит о себе, представляя свою особу мрачным существом, рожденным для того, чтобы быть палачом ближних и отравителем всякого человеческого существования. Это — его недоразумение и его клевета на самого себя. В будущем, когда Печорин завершит полный круг своей деятельности, он представляется Белинскому совсем в другом виде. Его строгое, полное и чуждое лицемерия самоосуждение, его откровенная проверка своих наклонностей, как бы извращены они ни были, а главное, сила его духовной природы служат залогами, что под этим человеком есть другой, лучший человек, который только переживает эпоху своего искуса. Белинский пророчил даже Печорину, что примирение его с миром и людьми, когда он завершит все естественные фазисы своего развития, произойдет именно через женщину, так унижаемую, попираемую и презираемую им теперь. Как добрая нянька, Белинский следит далее за всеми движениями и помыслами Печорина, отыскивая при всяком случае всевозможные облегчающие обстоятельства для снисходительного приговора над ним, над его невыносимой претензией играть человеческой жизнию по произволу и делать кругом себя жертвы и трупы своего эгоизма. Один только раз Белинский останавливается перед выходкой Печорина совершенно растерянный, не находя уже слов для уяснения грубой мысли героя и признаваясь, что не понимает его. Случилось это тогда, когда Печорин, при мысли, что обольщенная им женщина проведет ночь в слезах, чувствует трепет неизъяснимого блаженства и проговаривает: «Есть минуты, когда я понимаю вампира! — а еще

слыву добрым малым и добиваюсь этого названия!» «Что такое вся эта сцена? — восклицает наконец Белинский. — Мы понимаем ее только как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие с самим собою, вечно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства, но *последней ее черты мы решительно не понимаем...*»

Так боролся Белинский с Лермонтовым, который под конец, однако же, одолел его. Выдержка у Лермонтова была замечательная: он не сказал никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стечению обстоятельств, очень своеобразно; он шел прямо и не обнаруживал никакого намерения изменить свои горделивые, презрительные, а подчас и жестокие отношения к явлениям жизни на какое-либо другое, более справедливое и гуманное представление их. Продолжительное наблюдение этой личности, вместе с другими, родственными ей по духу на Западе, забросили в душу Белинского первые семена того позднейшего учения, которое признавало, что время чистой лирической поэзии, светлых наслаждений образами, психическими откровениями и фантазиями творчества миновало и что единственная поэзия, свойственная нашему веку, есть та, которая отражает его разорванность, его духовные немощи, плачевное состояние его совести и духа. Лермонтов был первым человеком на Руси, который навел Белинского на это созерцание, впрочем уже подготовленное и самым психическим состоянием критика. Оно пустило обильные ростки впоследствии.

Таким образом, все материалы для устранения отвлеченного, философского принципа, вся нужная подготовка для выхода из фальшивого псевдогегелевского оптимизма были уже теперь налицо; но Белинский освобождался от старого воззрения, так тщательно воспитанного им в себе, медленно, как от любви, хотя уже с половины 1840 года он не мог вспоминать и говорить без ужаса и отвращения о статье своей «Менцель», которою он открыл этот замечательный год своей жизни и которая была написана им еще в Москве (1839 год)[95]. Эстетические статьи, о которых мы сейчас говорили, последовавшие за ней, были плодом уже петербургских его дум. На них еще лежит во многих местах отблеск старого направления, но с ними снова выходил на литературную

арену замечательный критик в полном обладании своей мыслью и своим увлекательным словом. Проснулись все его способности, вся прирожденная ему сила литературной прозорливости. Статьи его были не просто журнальными рецензиями — они составляли почти *события* в литературном мире того времени. Все они установляли новые точки зрения на предметы, читались с жадностью, производили глубокое, неизгладимое впечатление на современную публику, на всех нас, какие бы оттенки прежних, не вполне покинутых убеждений, еще ни встречалась в них и как бы сам автор ни осуждал впоследствии некоторые из их положений и приговоров за излишний пыл и через меру высокий тон их. Белинский как критик-художник являлся действительно человеком власти и могущества, подчиняющим себе. Достаточно вспомнить для объяснения обаятельного действия всех его рецензий 1840 года, после «Менцеля», что в каждой из них происходила, так сказать, художническая анатомия данного произведения, открывалось его внутреннее строение с очевидностью и осязательностью, дававшими иногда совершенно одинаковое, а иногда еще и большее наслаждение, чем чтение самого оригинала. Это было восстановление произведения, только уже проведенного, так сказать, через душу и эстетическое чувство критика и получившего от соприкосновения с ними новую жизнь, большую свежесть и более глубокое выражение. Так, в художническо-эстетической критике 1840 года Белинский находил выход из опутавшего его философского догматизма. С этим направлением я его и оставил при моем отъезде за границу.

X

Прежде отъезда мне пришлось, однако же, побывать опять в Москве. На этот раз Белинский снабдил меня письмом к Василию Петровичу Боткину, которого я вовсе не знал, но о котором много и часто говорилось при мне. Я побежал к нему при первой возможности. Это было в половине июня 1840 года [96].

Я застал В. П. Боткина в беседке сада, прилегавшего к известному дому Боткиных на Маросейке. Тут он устроил себе очень изящный летний кабинет, где и проводил все свободные свои часы, окруженный многочисленными изданиями Шекспира и комментариями на него

европейских исследователей. Он составлял тогда статью о Шекспире [97]. Я нашел в Боткине тех времен молодого человека в красивом парике, с чрезвычайно умными и выразительными глазами, в которых меланхолический оттенок постоянно сменялся огоньками и вспышками, свидетельствовавшими о физических силах, далеко не покоренных умственными занятиями. Он был бледен, очень строен, и на губах его мелькала добродушная, но как-то осторожная улыбка, — словно врожденный его скептицизм по отношению к людям сохранял над ним свои права и в области безграничного идеализма, в которой он тогда находился.

Впоследствии оказалось, что он стоял на границе радикального нравственного переворота, которого и сам еще не предчувствовал [98]. Никто не обращал внимания на внезапные проблески страсти на лице и в речах, которые часто прорывались у него, и никому не приходило в голову подозревать, что в нем живет еще другой человек кроме того, которого знали и любили окружающие его друзья и товарищи.

Мы, разумеется, разговорились о Белинском и о его мучительных исканиях выхода из положений, очень основательно выведенных из данного тезиса и очень несостоятельных в приложениях к практической жизни. «Он платится теперь, — сказал мне задумчиво и как-то строго Боткин, словно обращаясь к самому себе, — за одну весьма важную ошибку в своей жизни — за презрение к французам. Он не нашел у них ни художественности, ни чистого творчества и за это объявил им непримиримую вражду, а между тем без знания их политической пропаганды о них и судить не следует. *Ваш Петербург* принесет Белинскому большую пользу в этом отношении: он непременно изменит его взгляд на французов». *Наш* Петербург, однако же, не был в настоящей мысли Боткина такой панацеей для Белинского от заблуждений, как он это заявлял. Из обширной переписки, которую вел Боткин с Белинским в то время, оказалось, что друг критика еще очень боялся, чтобы на новой почве и отделенный от своего естественного, московского круга критик не выпустил из вида великие начала философского понимания предметов литературы и нравственности!

Разбор гоголевского «Ревизора», написанный Белинским тогда же [99], послужил ответом на эти напрасные

опасения. Так как статья эта составляет вместе с тем и биографическую черту из жизни критика, то я и остановлюсь на ней.

Может быть, нигде в сильнейшей степени не сказались все самые видные качества эстетической критики Белинского, о которой говорили, как именно в этом разборе «Ревизора», которого Белинский противопоставлял «Горю от ума». Здесь каждое движение души у Хлестакова, городничего, его жены, дочери, да и вообще у действующих лиц комедии выслежено с неутомимостию мыслителя-психолога, разрешающего трудную задачу, которая ему предложена; каждый намек на их характеры, часто заключающийся в одном слове или беглой черте, уловлен со вдохновением, можно сказать, равносильным художническому. Весь ход творческой мысли автора разобран до мельчайшей подробности, и читателю статьи невольно кажется, что он присутствует в какой-то критической лаборатории, где разлагаются перед его глазами все замыслы, приемы и дальновидные расчеты художнического производства. Тайн чужой работы для Белинского как бы не существует. Между прочим здесь находилось множество мыслей, которые потом, к удивлению, были усвоены самим Гоголем и встречаются в его собственной защите своей комедии, как, например, мысль, что грубая ошибка городничего, принявшего мальчишку Хлестакова за ревизора, есть действие встревоженной совести. «Не грозная действительность, а призрак, фантом или, лучше сказать, тень от страха виновной совести должна была наказать человека призраков (городничего)», — говорил Белинский в одном месте. Даже знаменитое положение Гоголя, что честное существо в «Ревизоре» есть смех, даже и оно сказано было Белинским прежде [100]. Упомянув, что основа трагедии всегда зиждется на борьбе, возбуждающей сострадание и заставляющей гордиться достоинством человеческой природы, Белинский продолжает: «Так и основа комедии — на комической борьбе, возбуждающей смех; однако же в этом смехе не одна веселость, *но и мщение за униженное человеческое достоинство, и, таким образом, другим путем, нежели в трагедии, но опять-таки открывается торжество нравственного закона*»; и много еще подобных мест заключалось в статье [101]. Я не вывожу из этого сближения никаких заключений, хотя и позволительно думать, что Гоголь читал статью Белинского по крайней мере

весьма внимательно. Что же касается до «Горя от ума», то Белинский считал комедию изумительной картиной нравов и гениальной сатирой, но не находил в ней художнически построенного создания и, восхищаясь ею, сожалел, что не может приложить к ней тех способов философско-эстетического анализа, которые употреблял для разбора «Ревизора». Он был еще связан теоретическими запрещениями и ограничениями; и немного позднее, в эпоху обращения к политическим и общественным вопросам, о которой пророчил В. П. Боткин, Белинский сам считал этот приговор далеко не исчерпывающим всего значения комедии Грибоедова [102].

Между прочим, в это же самое время Белинский покончил все расчеты и связи с человеком, которого он ценил еще недавно очень высоко и которого глубоко уважал и *любил*, — с Н. А. Полевым. Под гнетом тяжелых обстоятельств жизни Н. А. Полевой, сделавшийся издателем «Сына отечества», перешел на сторону врагов философского движения в России и самого развития независимой, критической журнальной деятельности, эру которой, между прочим, он сам же и открыл у нас. Отзываясь теперь презрительно и насмешливо о молодых попытках отыскать какие-то особенные начала для жизни и мысли без справки с опытом и условиями времени, Полевой думал сделаться необходимым человеком в том кругу людей и понятий, к которым пристроился после падения «Московского телеграфа». Но расчет его и тут не удался. Он был им подозрителен и тогда, когда защищал их. Всего этого было, однако же, довольно, чтобы потушить у Белинского те искры привязанности, которые он постоянно питал в душе к прежнему бойкому публицисту и недавнему романтическому сказочнику. Он это и высказал откровенно в разборе «Очерков русской литературы» Н. А. Полевого, разборе, который может стать рядом с прежним его разбором деятельности С. П. Шевырева по яркости красок и убедительности доводов: оба эти разбора заслоняли людей нового поколения от влияния авторитетов и репутаций, переставших отвечать потребностям времени, и оба порешили участь двух значительных имен в литературе [103].

Когда я вернулся после трехмесячной летней отлучки, моей снова в Петербург, я нашел в Белинском большую перемену. Белинский уже вышел из психического кризиса, в котором я его оставил. Упреки, которые он делал

себе в глубине души и уединенно за свое недавнее увлечение, высказывал он теперь торжественно, явно, во всеуслышание. Тон и склад его разговоров проникнут был самообличением самым ярким и беспощадным. Он уже пережил и позабыл боль скорбных признаний и делал их теперь публично. Получая укоры со всех сторон, Белинский уже свободно разбирал их, оправдывал и пополнял. Станкевич писал из Берлина с изумлением о *новых* теориях, народившихся в Петербурге; [104] о негодовании же в круге Г<ерцена>, в котором числился, кроме О<гарева> и других, тогда еще и Грановский, было уже нами сказано выше. Даже и обличения посторонних лиц, гораздо менее друзей стеснявшихся приискиванием позорных источников для объяснения ультраконсервативной деятельности Белинского, находили в нем своего адвоката. Он становился на сторону своих диффаматоров, досказывал им сам черты, которые могли бы усилить ядовитость их полемики, и только для себя не находил никакого оправдания. Так разрешался его кризис. Можно было подумать, что Белинский находит что-то облегчающее для себя в этих беспрестанных истязаниях своей репутации. Черта такого самобичевания проявлялась у Белинского иногда и без особенно важных поводов, порождая иногда уморительные и юмористические вспышки. Известно, что наш критик погрешил еще в 1839 году пятиактной, скучно-психической и сентиментальной комедией («Пятидесятилетний дядюшка») [105], о которой не любил вспоминать и которой стыдился. Однажды и уже через несколько лет после ее появления, когда Белинский имел в литературе значительное имя и влияние, он был представлен где-то известному славянскому филологу-профессору И. Срезневскому, который с первого же слова объявил, что он не сочувствует его критической деятельности, но зато находит комедию его гениальной вещью. Белинский затем уже никогда не мог вспомнить об этом отзыве без выражения безмерного изумления, как будто дело шло о чем-то совершенно невозможном и неестественном [106].

Достойно замечания еще и то обстоятельство, что смысл вообще философских статей Белинского не был разгадан и патриотами-консерваторами эпохи, которым статьи должны были бы прийтись по сердцу и которые, наоборот, присоединились к толпе, преследовавшей критика свистками. Даже люди очень образованные и весьма

радевшие как о внутреннем, так и о внешнем достоинстве русской жизни, как, например, С. Шевырев, не угадали помощи, какую приносят статьи Белинского их собственному делу, по множеству очень умных и дельных заметок о психологии народной, которые в них заключались и опередили науку о психической жизни народов, ныне появившуюся. Образованные люди и профессора остановились только на туманном языке Белинского и далее не пошли, довольствуясь случаем лишний раз поглумиться над противником. Таким образом, большого политического смысла не обнаружилось ни с той, ни с другой стороны, но откуда же и было взять его тогда? Первые проблески некоторого политического смысла зародились у нас только в разгаре великого спора между славянофилами и западниками, там они и окрепли, о чем будем говорить далее.

XI

По осени того же 1840 года явился в Петербург молодой человек, М. К<атко>в, из Москвы, переводчик «Ромео и Юлии», уже составивший себе репутацию человека с основательными филологическими познаниями и с замечательными способностями к отвлеченному мышлению и к критике идей. Но в это время он преследовал еще и другие цели, стараясь показаться человеком не только энциклопедического образования, но и страстных житейских увлечений, занимаясь точно так же философскими соображениями, поэзией, искусством и творчеством, как и сообщением своей физиономии демонического выражения. Желание прослыть человеком, способным понимать и чувствовать в себе все стороны существования, бросало его по временам в необычайные попытки, подсказывало действия и порывы совершенно фантастического характера, частию искренние, так как он действительно обладал страстной, увлекающейся натурой, а частию придуманные, в виде украшения, отличия, *полезной* психической черты. Все это вместе довольно плохо вязалось с планами ученой и труженической жизни, какие он делал для себя, и создавало из него загадку для окружающих, чего он и хотел. Уже с 1839 года К<атко>в был сотрудником «Литературных прибавлений» и «Отечественных записок» г. Краевского и вместе с Бе-

линским, при обновлении редакции последнего журнала, очутился в числе главных его руководителей. По прибытии в Петербург он остановился также у И. И. Панаева — орудия и агента этого обновления. Он появился, однако же, ненадолго, пробираясь в Берлин для окончания философского и научного образования, во-первых, а во-вторых, для исполнения одного долга чести. Какая-то старая и довольно грубая, хотя и морализующая, по обыкновению, выходка Б<акунина> по поводу одной московской истории [107] вызвала в самом кабинете Белинского порядочно безобразную сцену между К<атко>вым и Б<акуниным>, когда оба они находились уже в Петербурге [108]. Дело должно было разрешиться дуэлью в Берлине. К удовольствию друзей, принимавших участие в противниках, дуэль не состоялась вовсе *. В Петербурге К<атко>в был предшествуем, как я сказал, репутацией человека нервного характера и оригинального ума, питаемого особенно знакомством с источниками господствовавших тогда теорий, и, наконец, писателя, уже отличившегося мастерством своим выражать метко и живописно оригинальные стороны философских идей, исторических эпох и предметов искусства вообще. Критические статьи К<атко>ва действительно возвещали очень свежий, разнообразный и сильный талант; между ними остается мне памятной рецензия его на книгу Зиновьева «Основание русской стилистики» [109], где первое возникновение риторики как науки оправдывалось строем всей древней греческой жизни и цивилизации и осязательно показывалась нелепость ее претензии на звание науки в быту новых обществ. Тем же характером блестящего изложения и понимания исторической и бытовой сущности вопросов отличаются и многие другие его статьи в «Литературных прибавлениях» и «Отечественных записках» 1839 и 1840 годов. Белинский очень дорожил его сотрудничеством в «Отечественных записках» и ожидал от того больших последствий для журнала, чего, однако же, не сбылось.

К<атко>в переживал тогда тот период развития, который можно назвать «*свирепостию молодости*» и который

---

* При отъезде моем за границу Белинский, рассказывая подробности сцены, поручал мне стараться о примирении врагов. «Было бы большим несчастием, — говорил он, — потерять такого человека, как К<атко>в; действуйте особенно на Б<акунина> — он же резонер и на сделку пойдет скорее». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

часто разрешается явлениями, которые кажутся совершенно невозможными и дикими в приложении к лицу, узнанному нами позднее, когда оно уже вполне определилось. С физиономии его почти не сходило тогда выражение некоторого легкого презрения к *интеллигенции,* его окружавшей, а поступки его еще сильнее выражали убеждение в своем праве не дорожить ею. Белинский не составлял исключения. К<атко>в нимало не скрывал высокого понятия о самом себе и больших надежд, возлагаемых им на свою будущность, и думал, что они могут служить достаточным основанием для снисходительного взгляда на его резкие выходки и несправедливости к друзьям, которые только и занимались тем, чтоб поддержать, поощрить и укрепить его деятельность и влияние. В короткое время своего пребывания в Петербурге, кроме некоторых библиографических статей, он перевел, вместе с другими участниками, роман Купера «Патфайндер» и составил этюд «Сарра Толстая», который появился в «Отечественных записках» почти перед самым его отъездом за границу [110]. Белинский, еще до напечатания этого этюда, был очень доволен им и даже много говорил о нем, но не прошло и двух месяцев, как он переменил свое мнение об этюде, о чем я уже узнал впоследствии. Ему сделались вдруг противны психические изыскания в области *духа,* анализ неуловимых чувств и ощущений внутреннего человеческого существования, словом, вся та метафизика ума и воли, какая обильно предлагалась статьей К<атко>ва, но которая начинала уже терять всякое значение для Белинского. Было и еще соображение. По всему складу мысли и деятельности К<атко>ва, с первых же его шагов за границей, все яснее оказывалось, что он гораздо более занят мыслию водворить в своем отечестве новые основы положительного созерцания и верования, какие он открыл в позднейшей философии «откровения» Шеллинга, чем призванием работать на просветление загрубелой русской общественной среды прямо и непосредственно, как того требовало время. Сам К<атко>в скоро подтвердил все догадки Белинского. Еще в Гамбурге, ступая, так сказать, впервые на почву Европы, он думал, что успех «Отечественных записок» доставит ему и Белинскому средства безбедного существования на всю жизнь, а менее чем через год он прекратил все сношения с журналом. Было бы крайне поверхностно и мелочно объяснять дело неясностью де-

нежных расчетов между редакцией и сотрудником ее, между тем как дело разъясняется вполне отвращением К<атко>ва следовать по пути бесповоротного отрицания, которое боится и не желает разъяснений. В 1842 году он на этом основании подозрительно относился даже к «Мертвым душам» Гоголя, как я имел случай лично убедиться, и не столько к поэме, сколько к будущим ее панегиристам, которых предвидел и которых более опасался, чем выводов самого произведения. В глухую осень 1840 года (октября 5-го) мы с ним сели на *последний* пароход, отправлявшийся из Петербурга в Любек. Белинский, Кольцов и Панаев провожали нас до Кронштадта [111].

Я упомянул имя Кольцова. Это была моя первая и последняя встреча с этим замечательным человеком. Как теперь смотрю на малорослого, коренастого поэта, со скулистой, чисто русской физиономией и с весьма пытливым и наблюдательным взглядом. Все время проводов он молчал, как бы озадаченный и подавленный умными, а еще более — развязными речами литературных авторитетов, — речами, которые выслушивал с покорным вниманием неофита. Это была как будто обязательная маска, принятая им в литературном обществе, которое так много делало для распространения его известности, потому что и ко мне, совершенно безвестному и нимало не влиятельному лицу кружка, он подошел после обеда в Кронштадте со словами: «Не забывайте, что вы обязаны нас учить и просвещать». Много было искреннего в чувстве, которое ему подсказывало подобные слова, но много в них было также и привычки, взятой в постоянном обращении с кругом писателей. Она не мешала, однако же, его суждению. По словам Белинского, не было человека более зоркого, проницательного и догадливого, чем Кольцов с его спокойным и покорным видом: он распознавал людей сквозь кору наносной культуры и цивилизации и судил о них очень правильно и самостоятельно. Это не мешало ему и в жизни и в поэтической деятельности отдавать по временам самого себя бесповоротно во влияние и управление какой-либо излюбленной личности, чем он тоже выражал свою русскую природу вполне. Белинский, например, распоряжался его мыслию и душой самовластно: кроме того, что критик наш высвободил его народную и поразительно образную песнь от дурных резонерских привычек, он навеял также Кольцову сперва

его религиозные гимны, а затем пробудил в нем зародыши поэтического созерцания жизни и жажду по наслаждениям бытия, какую оно за собой выводит [112]. При Кольцове оставались, однако же, все та же оригинальная форма, тот же оборот и неподражаемый склад речи, на что бы она ни обращалась; эта черта, кажется, должна была бы остановить недавние подозрения, брошенные на поэта, в присвоении чужой литературной собственности [113]. Есть анекдот от эпохи, теперь нами передаваемой, который Белинский повторял не раз. В разгаре московского философского настроения собрался однажды у В. П. Боткина кружок друзей, занимавшихся наукой наук, и притом собрался в самом счастливом и веселом расположении духа. Тогда еще существовали для людей *радости* по вычитанной идее, по открытию нового фактора в духовной жизни, по приобретению нового горизонта для мысли и т. д. Кружок ликовал одною из этих нематериальных, отвлеченных и теперь уже немногим понятных радостей. Случайно попал на него и Кольцов, конечно, не вполне уразумевавший основания восторженных речей своих друзей, но общее настроение подействовало на него обаятельно. Он сам просветлел и, удалившись в кабинет хозяина, сел за письменный его стол и возвратился через несколько минут к приятелям с бумажкой в руках. «*А я написал песенку*», — сказал он робко и прочел стихотворение «Песнь лихача Кудрявича», пьесу, которой по-своему как бы отвечал и вторил шумной речи молодых московских энтузиастов.

Не мешает сказать мимоходом, что часть биографии Кольцова, касающаяся его семейных дел, кажется, должна быть принимаема теперь с некоторою осторожностью и оговоркой, необходимыми особенно для подтверждения догадки, что собственно никакого преднамеренного и обдуманного преследования со стороны родных не было в жизни Кольцова. Они тогда и долго потом еще не считали себя виновными перед покойным, и действительно могут быть — если не оправданы, то пощажены на суде потомства. Они жили по правилам, обычаям и воззрениям грубой культуры, которую унаследовали от отцов, и понять не могли, что притесняют и, наконец, губят близкого человека одним образом своих диких понятий и своей жизнию по этим понятиям. Они оскорбляли и мучили свою жертву беззлобно и бессознательно, и только в этом и заключается именно трагизм семейного по-

ложения Кольцова, обреченного на жизнь в безобразной среде с той степенью развития, которую уже имел...

Мы так и уехали, оставив Белинского при разработке эстетических начал, которые он понимал далеко не так узко, как положено думать об эстетических приемах вообще. По некоторым чертам, мною уже приведенным, можно судить, какое многозначительное содержание он сообщал им, а чем далее он шел, тем все большую широту получали и его эстетические начала, обнимавшие не одни только условия и задачи искусства, но и связанные с ними неразрывно вопросы жизни и морали. Кстати, о последней. При отъезде я уносил с собой образ Белинского преимущественно как нравоучителя и об этом считаю нужным сказать теперь несколько слов.

Кто не знает, что моральная подкладка всех мыслей и сочинений Белинского была именно той силой, которая собирала вокруг него пламенных друзей и поклонников. Его фанатическое, так сказать, искание правды и истины в жизни не покидало его и тогда, когда он на время уходил в сторону от них. Авторитет его как моралиста никогда не страдал между окружающими от его заблуждений. Необычайная честность всей его природы и способность убеждать других и освобождать их от дурных приростов мысли продолжали действовать на друзей обаятельно и тогда, когда он шел вразрез с их убеждениями. Очерк его моральной проповеди, длившейся всю жизнь его, был бы и настоящей его биографией.

К концу 1840 года нравственное уже не выводилось им более из полного устранения своей личности, своего *я,* и из передачи всего себя в лоно беспредельной *любви,* как в первый (шеллинговский) период развития; оно не заключалось также в *понимании* самого себя как высшего творческого момента в деятельности всеобщего разума и высшей идеи, как выходило по Гегелю. Беспредельная *любовь* и абсолютное *понимание* своей духовной сущности как начала, из которых вытекают все правила жизни, заменялись другим и единственным деятелем. Теперь нравственное для Белинского состояло в эстетическом воспитании самого себя, то есть в приобретении чуткости к правде, добру, красоте и в усвоении неодолимого органического отвращения к безобразию всякого вида и рода. Я живо помню еще беседы, в которых он развивал это положение. По его убеждению, хорошим пособием для возведения себя на степень разумного человека и про-

светленной личности может служить изучение основных идей в истинно художнических созданиях. Все эти основные идеи суть вместе с тем и откровения морального мира. Из разбора и усвоения их возникает в обществе мало-помалу кодекс нравственности, не писанный, без мраморных таблиц и хартий, но лучше их укореняющийся в сознании отдельных лиц, лучше их устроивающий внутренний быт человека, а через человека и быт целых поколений. Каждый новый гениальный художник привносит, так сказать, в этот свободный кодекс нравственных начал новую черту, новую подробность, которые почерпнуты прямо из наблюдения и определения элементов духовной природы человека. Образуется рядом с живущими, действующими, писанными и неписанными, нужными и ненужными уставами общежития и благочиния другой устав, неизмеримо более светлый, разумный и серьезный, которому следуют люди, развитые эстетически. Человек, воспитанный на миросозерцании великих художников, поэтов, философов, мыслителей, под конец сам становится способным к творчеству в области нравственных идей, открывает новые начала правды и возвещает их, покоряясь им сам и покоряя им других. Белинский нашел очень много глубоких соображений на этой почве, с которой он сошел в конце своего поприща на другую, тоже давшую ему много немаловажных выводов и о которой еще речь впереди.

И как он встрепенулся, когда около той же эпохи возвещен был новый журнал «Маяк», долженствовавший, как говорили, преимущественно способствовать возобновлению и развитию старой, допетровской и *испытанной русской* морали, позабытой нашим светским и литературным обществом[114]. Белинский прежде всех бросился поднять эту перчатку. Он отозвался о скором появлении журнала враждебно и сердито и перед самым отъездом моим показал мне даже место из приготовляемой им статьи, где упоминалось о журнале: «В нашу уснувшую литературу начал вкрадываться китайский дух; он начал пробираться не под своим собственным, то есть китайским именем *Дзунь-Кин-Дзынь,* а с чужим паспортом, с подложною фамилией и назвался *моральным духом.* Говорят, что добрые мандарины приняли благое намерение издавать на русском языке журнал, имеющий целию распространение в русской литературе этого благовонно-китайского духа» (в разборе «Ольги», романа автора

«Семейства Холмских»)[115]. Выдуманное китайское слово забавляло самого автора, но оно не выражало еще вполне степени негодования, объявшей его при известии о замысле основать журнал для защиты отживших начал, хотя бы некогда и очень важной исторической эпохи. Все это было как бы предчувствием той ожесточенной борьбы, какую он поведет скоро против тех же начал с врагами, гораздо более дельными и многочисленными, чем будущая редакция обещанного журнала *.

Частые нападки Белинского на моральничанье повели, однако же, к недоразумению, которое чуть ли не продолжается и до сих пор. Надо припомнить, что Белинский вполне усвоил себе деление Гегеля нравственных начал на две области: *моральную* (Moralität), к которой он отнес более или менее хорошо придуманные правила общежития, и собственно *нравственную* (Sittlichkeit), которая объемлет у него самые законы, управляющие психическим миром человека и. порождающие этические потребности и представления. Сделавшись проводником этих мыслей в русской жизни, Белинский начал свой долгий подвиг преследования в литературе и вообще явлениях нашего общества того, что он называл моралью и моральничаньем. Когда возвратилось к нему после некоторого перерыва его яркое и откровенное слово, он уже не прекращал своего неусыпного гонения на моральничанье, сильно господствовавшее тогда у нас в театре, словесности и жизни, так как посредством его люди прикрывали свою духовную наготу и старались обмануть себя и других относительно нравственной своей пустоты. Все, что отзывалось благовидным, но коварным резонерством, желающим подменить очевидные факты лживым их толкованием, все, что носило печать слабосильной, пустой сентенции, рассчитанной на получение дешевым способом, без хлопот и усилий, репутации честности и порядочности, наконец, все, что отзывалось китайским раболепным отношением к старине и изуверским отвращением к трудам нового времени, все это клеймилось у Белинского одним прозвищем «морали и моральничанья»

* По странной случайности в то самое время, когда обновленные «Отечественные записки» принимали то направление, о котором говорим, в Москве возникал журнал «Москвитянин», который должен был служить как бы противодействием петербургскому изданию. «Москвитянин» был основан в 1841 году. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)[116]

и преследовалось со смелостью, весьма замечательной по тому времени. Беспощадное обличение этого чудовища «морали» рассеяно у него почти по всем его статьям от той эпохи. Чтобы ознакомиться, каким энергическим языком оно обыкновенно производилось, любопытные могут прочесть любую из его рецензий (см., например, рецензию на роман Р. Зотова «Цин-киу-Тонг», V, 261) или любой театральный отчет (см. отчет о комедии С. Навроцкого «Новый Недоросль», VI, 163 [117]; — Белинский писал и театральные фельетоны при «Отечественных записках»). Он достиг того, что опошлил у нас самое слово «мораль», но работа эта не прошла ему, однако же, даром. Она дала повод его врагам составить ему, пользуясь недоразумением и игрой слов, репутацию безнравственного существа, не признающего законов, без которых никакое общество держаться не может. Они успели объявить безнравственным человека, который всю жизнь искал основных принципов идеально благородного существования на земле, который был, назло своим насмешкам над моралью, одним из замечательнейших *моралистов своей эпохи* и который проповедовал и поддерживал кругом себя спасительную ненависть ко всему пошлому, лицемерному, унижающему [118].

Я провел три года за границей, весьма мало получая известий из родины. В этот промежуток времени свершился весьма важный переворот в психическом состоянии и в направлении всей деятельности Белинского, — а стало быть, и в его представлениях о нравственном, как скоро увидим.

XII

Мы покинули Петербург за непривычным для него занятием. Петербург принялся за чтение иностранных газет: он был взволнован неожиданно *египетским* вопросом [119]. Десять лет перед тем, в начале тридцатых годов, публика наша очень мало интересовалась даже и таким событием, как французский переворот 1830 года, и не справлялась о причинах, его породивших. Теперь было несколько иначе: по первому слуху о возможности столкновений в Европе любопытство овладело даже и ленивыми умами. Иностранные газеты и брошюры, насколько их можно было достать, очутились в руках даже и наименее привычных к такой ноше. Потребность справлять-

ся о ходе дел в Европе осталась, однако же, и по миновании грозы. То, что прежде составляло, так сказать, привилегию высших аристократических и правительственных сфер, становилось делом общим.

Влияние, какое начинает оказывать с 1840 года Европа и ее дела на тогдашнюю нашу интеллигенцию, заставляет меня нехотя обратиться к туристским моим воспоминаниям и сказать несколько слов о том, что русские находили вообще в современной Европе и преимущественно во Франции, сменившей Германию в их благорасположении к западным культурам.

Итак, в Западной Европе, куда мы прибыли через четыре дня довольно бурного плавания, — шли большие приготовления. Германия собиралась на войну с Францией за принцип *законности,* нарушенный египетским пашой, который вздумал переменить вассальные свои отношения к Порте на протекторат Франции, поддерживавшей его в этом намерении [120]. Англия, весьма мало интересовавшаяся принципами законности, когда они призывались европейскими кабинетами, поднялась первая за святость их, когда дело пошло о Турции. Правительства континента страшно обрадовались этой поддержке Англии: она давала им возможность обнаружить, без всякого риска, сдерживаемую дотоле ненависть к революционной, *беспринципной* Франции; народы их, еще лишенные представительства, собирались биться с врагом за свою честь, страдающую от самохвальства парижских журналистов, от бравад республиканцев и левой стороны французской палаты депутатов. Катавасия эта начинала сильно разгораться, когда мы высадились на берег в Травемюнде. На одной станции, по дороге из Любека в Гамбург, М. К<атко>в показал мне, покуда нам готовили завтрак, листок немецкой газеты, где сообщалась новинка, знаменитая патриотическая песенка Беккера: «Sie sollen ihn (Рейна) nicht haben» *, облетевшая потом всю Германию из конца в конец.

Воинственное движение по поводу дикого, свирепого и, несмотря на лукавство свое, пошловатого египетского эксплуататора, к счастию, длилось недолго, что избавило Европу от удовольствия видеть за французскими «contingents» ** фригийские шапки, а за немецкими «ланд-

* Он (Рейн) не должен стать их (*нем.*).

** войсками (*фр.*).

штурмами» * — и наших интендантских чиновников. Луи-Филипп утомился каждодневно слушать «Марсельезу» под окнами Тюльери и получать ежеминутно известия о военно-революционном настроении умов; а благоразумная Англия, заручившись трактатом почти со всей Европой, который гарантировал права Турции, оставила его открытым на случай присоединения к нему Франции, когда пожелает [121]. Все было спасено таким образом, и Нептуны с берегов Сены и Темзы могли без стыда вернуть назад выпущенную ими бурю и отойти на покой.

Когда все приутихло в северо-германском мире, оказалось, что Франция не только не потеряла у него кредита, но чуть ли он еще и не вырос. По крайней мере так можно было думать в Берлине по соединенным усилиям полиции, церкви, науки, театра и даже балета — отклонить возбужденное внимание публики от Парижа и дел его. Целые ведомства и корпорации в Берлине, казалось, только и думали о том, чтоб бороться с Парижем, мешать его влиянию, предохранять людей от его соблазнов как в мире идей, так и в житейском мире, изобретая на замену их свои собственные соблазны, не столь решительного и яркого характера.

Не говоря уже о попытках придать бедному тогда городу на реке Шпрее фальшивое подобие большой резиденции и важного политического центра, — вплоть до 1848 года там сочинялись проповеди, выходили ученые трактаты, создавались философия и искусство для борьбы с французским *нечестием* и для пристыжения его. Один вопрос проводился в бесчисленных видах и слышался, можно сказать, повсюду: допустит ли солидный немецкий ум, немецкая верность историческим преданиям, привязанность немцев к своему очагу и домашним порядкам, наконец немецкая потребность добираться до ядра каждой мысли — допустят ли они восторжествовать над собой легкомыслию и нечестию одного романского племени, растерявшего коренные основы человеческого и гражданского существования. Вопрос этот открыто ставился представителями власти, министрами, ораторами, с церковных кафедр, многими профессорами, журналистами, литераторами и художниками. Присмирелая, осторожная Франция Луи-Филиппа порождала такое сокро-

---

* военнообязанными (*нем.*).

вище тайной злобы и гнева в некоторых официальных и консервативных кругах, какого они не нашли у себя, когда та же Франция через 15 лет тяготела почти над всеми европейскими кабинетами *. Дело объясняется просто: июльская революция 1830 года впервые нанесла тяжелый удар трактатам 1815 года и нравственным и политическим основам, установленным «Священным союзом» [122]. Рана, нанесенная Францией 1830 года обычному порядку дел и течению мыслей в Европе, была далеко не смертельна, но эта рана все-таки болела и возбуждала тяжелые мысли насчет исхода болезни. Отсюда и крики, призыв бесчисленных врачей и искание возможных средств скорого исцеления.

Покуда, однако ж, все попытки заслонить как-нибудь от глаз людей Париж и Францию не вполне достигали желаемого успеха. Тому много мешала и так называемая «юная Германия», обратившая у нас тотчас же внимание на себя. Побежденная десять лет тому назад на улицах и площадях, она успела теперь захватить в свои руки часть публицистики, философскую полемику и преимущественно обличение немецкой науки, жизни и немецкого искусства; она открыто шла за знаменем и фортуной чужестранного народа, умеющего так много ставить политических и общественных вопросов перед собой. Не то чтобы партия эта имела какую-либо плодотворную государственную идею или обладала каким-либо учением, способным отвечать на все требования. Она предприняла только расшевелить немецкий мир и имела за собой даже и некоторое довольно значительное меньшинство осторожных и хладнокровных умов, которые возмущались долгим промедлением в исполнении некоторых торжественных обещаний, данных народам в 1813 году [123] и недавними попытками изменить, по возможности, смысл и сущность протестантизма. Большинство, однако же, сопротивлялось разлагающему действию «юной Германии», сколько могло. Общество немецкое, с администрацией во главе, приняло тогда очень простую систему делить людей на два разряда: на людей, симпатизирующих Франции,

---

* Разумеется, при этом были, как и всегда, блестящие исключения: такие люди, как Гумбольдт, Варнгаген, Ранке, Гервинус, Ганс и др., никогда не исповедовали ужаса к французским идеям вообще и к французскому обществу в частности. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

позабыв все многочисленные ее вины перед Германией, и на людей, доверяющих немецкому гению, хотя бы он еще и не вполне обнаружил все свои силы и средства. Этот последний отдел, покровительствуемый и высшими официальными сферами, исповедовал еще и учение, по которому всякой свободной политической деятельности народа должна всегда предшествовать строгая подготовка к ней в безмятежном царстве мысли, науки и теории. Берлинский университет, благодаря соединенным усилиям администрации и людей науки, вырос сам собой в готовое царство такого рода: немецкая ученость процветала там, как нигде. Пользуясь правом ознакомления с курсами прежде выбора их, мы каждый вечер ходили по аудиториям и слушали знаменитейших его профессоров. Я еще застал в университете почтенного Вердера, друга и учителя Станкевича, Грановского, Тургенева, Фролова и многих других русских. Он объяснял логику Гегеля и продолжал цитировать стихи и афоризмы из Гете для сообщения красок жизни и поэзии отвлеченным формулам учителя. Риттер, Шеллинг тоже открыли свои курсы. Любопытна была для меня лекция Сталя — философа-пиетиста [124] и одного из будущих основателей газеты «Kreuz-Zeitung», который излагал основания, необходимые для осуществления истинно христианского государства, нигде еще не достигшего вполне своего настоящего типа и т. д.

Однако же либеральное, политическое движение умов, данное 1830 годом, не заглушалось конференциями берлинского университета, а, напротив, еще росло под его тенью. Для поддержания его существовали тогда и сильно шумели «Jahrbücher» Руге, чисто революционный орган, тоже не покидавший философизма, но сделавший его орудием преследования немецких порядков и вообще скромности и узкости немецкого созерцания жизни [125]. Как бы в опровержение этого упрека отечественной науке, Германия произвела несколько ранее книгу, исполненную теологической эрудиции и возбудившую, на первых порах, повсеместный ужас — не только в советах и канцеляриях, но и между отъявленными либералами — известную книгу Штрауса [126]. Свободное исследование начинало перерастать требования тех, которые его возбудили и защищали. Уже недалеко было то время, когда немецкая эрудиция и теория разовьет, особенно в области теологии и политической экономии, такую смелость вы-

водов и положений, что подскажет тогдашнему газетному и клубному нашему мудрецу, И. И. Гречу, его общеизвестное глубокомысленное замечание. Около 1848 года он во всеуслышание говорил: «Не Франция, а Германия сделалась теперь рассадником извращенных идей и анархии в головах. Нашей молодежи следовало бы запрещать ездить не во Францию, а в Германию, куда ее еще нарочно посылают учиться. Французские журналисты и разные революционные фантазеры — невинные ребята в сравнении с немецкими учеными, их книгами и брошюрами». Он был прав в последнем отношении, но покамест можно было еще безопасно для своей нравственности оставаться в Берлине и свободно выбирать точку зрения и свою тенденцию между спорящими сторонами. У всякого новоприезжего туда из русских соотечественники его, уже прожившие несколько лет в этом центре немецкой эрудиции, шутливо спрашивали, если он изъявлял желание оставаться в нем: чем он прежде всего намерен быть — *верным ли,* благородным немцем (der treue, edle Deutsche), или суетным, взбалмошным французом (der eitle alberne Franzose). О том, не захочет ли он остаться русским — не было вопроса, да и не могло быть. Собственно русских тогда и не существовало; были регистраторы, асессоры, советники всех возможных наименований, наконец помещики, офицеры, студенты, говорившие по-русски, но русского типа в положительном смысле и такого, который мог бы выдержать пробу как самостоятельная и дельная личность, еще не нарождалось.

В одном из берлинских кафе («Под липами») у Спарньяпани, отличавшемся громадным количеством немецких и иностранных газет и журналов, я встретил однажды вечером двух русских высокого роста, с замечательно красивыми и выразительными физиономиями, Тургенева и Б<акуни>на, бывших тогда неразлучными. Мы даже и не раскланялись; ни с одним из них я еще не был знаком и не предчувствовал близких моих отношений к первому. В Берлине же я распрощался и с М. К<атко>вым. Он записался в слушатели университета, а я отправился на юг, поближе к Италии, чтобы с первыми весенними днями ступить на ее классическую почву [127].

XIII

Зиму 40—41 годов мне привелось прожить в меттерниховской Вене. Нельзя теперь почти и представить себе ту степень тишины и немоты, которые знаменитый канцлер Австрии успел водворить, благодаря неусыпной бдительности за каждым проявлением общественной жизни и беспредельной подозрительности к каждой новизне на всем пространстве от Богемских гор до Байского залива и далее. Бывало, едешь по этому великолепно обставленному пустырю, как по улице гробниц в Помпее, посреди удивительного благочиния смерти, встречаемый и провожаемый призраками в образе таможенников, пашпортников, жандармов, чемоданщиков и визитаторов пассажирских карманов. Ни мысли, ни слова, ни известия, ни мнения, а только их подобия, взятые с официальных фабрик, заготовлявших их для продовольствия жителей массами и пускавших их в оборот под своим штемпелем. Для созерцательных людей это молчание и спокойствие было кладом: они могли вполне предаться изучению и самих себя и предметов, выбранных ими для занятий, уже не развлекаясь людскими толками и столкновениями партий. Гоголь, Иванов, Иордан и много других жили полно и хорошо в этой обстановке, осуществляя собою, еще задолго до Карлейля, некоторые черты из его идеала мудрого человека, благоговейно поклоняясь гениям искусства и литературы [128], сберегая про себя святыню души, отдаваясь всем своим существом избранному делу и не болтая зря со всеми и обо всем по последнему журналу. Но за мудрецами и созерцательными людьми виднелась еще шумная, многоглазая толпа, не терпящая долгого молчания кругом себя, особенно при содействии южных страстей, как в Италии. Забавлять-то ее и сделалось главной заботой и политической мерой правительств. Кто не слыхал об удовольствиях Вены и о постоянной, хотя и степенной, полицейски-чинной и размеренной оргии, в ней царствовавшей? Кто не знает также о праздниках Италии, о великолепных оркестрах, гремевших в ней по площадям главных ее городов каждый день, о духовных процессиях ее и об импресариях, поставлявших оперы на ее театры, причем шумной итальянской публике позволялось, несмотря на двух белых солдат, постоянно торчавших по обеим сторонам оркестра с ружьями в руках, беситься как и сколько

угодно. Развлекать толпу становилось серьезным административным делом, но повторять эту картину, вслед за многими уже свидетелями, не предстоит здесь, конечно, никакой надобности.

Одна черта только в этом мире, так хорошо устроенном, беспрестанно кидалась в глаза и поражала меня. Несмотря на всю великолепную обстановку публичной жизни и несмотря на строжайшее запрещение иностранных книг (в моденском герцогстве обладание книгой без цензурного штемпеля наказывалось ни более, ни менее, как *каторгой*), французская беспокойная струя сочилась под всей почвой политического здания Италии и разъедала его. Подземное существование ее не оставляло никакого сомнения даже в умах наименее любопытных и внимательных. Оно не было тайной и для австрийского правительства, которому оно беспрестанно напоминало о грустной необходимости считать себя, несмотря на трактаты, временным, случайным правительством в предоставленных ему провинциях и умножать, для самосохранения, войско, бюджет, наблюдения, мероприятия и т. д.

В марте 1841 года я уже был в Риме, поселился близ Гоголя и видел папу Григория XVI действующим во всех многочисленных спектаклях римской святой недели и притом действующим как-то вяло и невнимательно, словно исправляя привычную домашнюю работу. В промежутках облачения и потом обрядов он, казалось, всего более заботился о себе, сморкался, откашливался и скучным взором обводил толпу сослужащих и любопытных. Старый монах этот точно так же управлял и доставшимся ему государством, как церковной службой: сонно и бесстрастно переполнил он тюрьмы Папской области не уголовными преступниками, которые у него гуляли на свободе, а преступниками, которые не могли ужиться с монастырской дисциплиной, с деспотической и вместе лицемерно-добродушной системой его управления. Зато уже Рим и превратился в город археологов, нумизматов, историков от мала до велика. Всякий, кто успевал продраться до него благополучно сквозь сеть различного рода негодяев и мошенников, его окружавшую, и отыскать в нем наконец спокойный угол, превращался тотчас же в художника, библиофила, искателя редкостей. Я видел наших отдыхающих откупщиков, старых степенных помещиков, офицеров от Дюссо, зараженных археологией, толкующих о памятниках, камеях,

Рафаэлях, перемешивающих свои восторги возгласами об удивительно глубоком небе Италии и о скуке, которая под ним безгранично царствует, что много заставляло смеяться Гоголя и Иванова: по вечерам они часто рассказывали курьезные анекдоты из своей многолетней практики с русскими туристами. К удивлению, я заметил, что французский вопрос далеко не безынтересен даже и для Гоголя и Иванова, по-видимому успевших освободиться от суетных волнений своей эпохи и поставить себе опережающие ее задачи. Намек на то, что европейская цивилизация может еще ожидать от Франции важных услуг, не раз имел силу приводить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение. Отрицание Франции было у него так невозвратно и решительно, что при спорах по этому предмету он терял обычную свою осторожность и осмотрительность и ясно обнаруживал не совсем точное знание фактов и идей, которые затрогивал.

У Иванова доля убеждения в той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть не менее, но, как часто случается с людьми глубоко аскетической природы, искушения и сомнения жили у него рядом со всеми верованиями его. Он никогда не выходил из тревог совести. Можно даже сказать про этого замечательного человека, что все самые горячие попытки его выразить на деле в творчестве свои верования и убеждения рождались у него так же точно из мучительной потребности подавить во что бы то ни стало волновавшие его сомнения. И не всегда удавалось ему это. Притом же, наоборот с Гоголем, он питал затаенную неуверенность к себе, к своему суждению, к своей подготовке для решения занимавших его вопросов и потому с радостию и благодарностию опирался на Гоголя при возникающих беспрестанно затруднениях своей мысли, не будучи, однако же, в состоянии умиротворить ее вполне и с этой поддержкой. Вот почему при неожиданно возникшем диспуте нашем с Гоголем за обедом, у «Фальконе», о Франции (а диспуты о Франции возникали тогда поминутно в каждом городе, семействе и дружеском кругу), Иванов слушал аргументы обеих сторон с напряженным вниманием, но не сказал ни слова. Не знаю, как отразилось на нем наше словопрение и чью сторону он втайне держал тогда. Дня через два он встретил меня на Monte-Pincio и, улыбаясь, повторил не очень замысловатую

фразу, сказанную мною в жару разговора: «Итак, батюшка, Франция — очаг, подставленный под Европу, чтобы она не застывала и не плесневела». Он еще думал о разговоре, между тем как Гоголь, добродушно помирившись в тот же вечер со своим горячим оппонентом (он преподнес ему в залог примирения апельсин, тщательно выбранный в лавочке, встретившейся по дороге из «Фальконе»), забыл и думать о том, что такое говорилось час тому назад.

Надо сказать, что прения по поводу Франции и ее судеб раздавались во всех углах Европы тогда, да и гораздо позднее, вплоть до 1848 года. Вероятно, они происходили в то же время и там, далеко, в нашем отечестве, потому что с этих пор симпатии к земле Вольтера и Паскаля становятся очевидными у нас, пробивают кору немецкого культурного наслоения и выходят на свет. Но и при этом следует заметить, что русская интеллигенция полюбила не современную, действительную Францию, а какую-то другую — Францию прошлого, с примесью будущего, то есть идеальную, воображаемую, фантастическую Францию, о чем говорю далее.

XIV

Чем более приходилось мне узнавать Париж, куда я попал наконец в ноябре 1841 года[129], тем сильнее убеждался, что повода для зависти соседей он действительно заключает в себе очень много благодаря сильно развитой общественной жизни своей, своей литературе и прочему, но причин для суеверного страха перед его именем он содержит весьма мало. Я застал Париж волею или неволею подчиненным строго конституционному порядку; правда, что этого никто не хотел видеть, а видели только опасности, представляемые народным характером французов, забывая притом коренное отличие конституционного режима, состоящее в его способности мешать развитию дурных национальных сторон и наклонностей. Еще очень много было людей, считавших даже это средство спасать народы от заблуждений и увлечений опаснее самого зла, которое оно призвано целить.

После популярного воинственного Тьера управление Францией принял на себя англоман по убеждениям Гизо[130], который в ненависти и презрении к самодея-

тельности и измышлениям народных масс и их вожаков совершенно сходился с королем, хотя оба они были обязаны именно этим массам и вожакам своим возвышением. Оба они были также и замечательные мыслители в разных родах: король — как скептик, много видевший на своем веку и потому не полагавшийся на одну силу принципов без соответственного подкрепления их разными другими негласными способами; министр его — как бывший профессор, привыкший установлять основные начала, им самим и открытые, и верить в их непогрешимость. Из соединения этих двух доктринеров противоположного рода возникла особая система конституционного правления, старавшаяся водворить в стране переворотов мудрствующую, резонирующую и себя проверяющую свободу[131]. Система располагала множеством приманок для энергических людей, которым нужно было составить себе имя, положение, *карьеру*, — но беспощадно относилась к тем, которые не признавали ее призвания водворить порядок в умах и ее учение о важности правительственных сфер и строгой иерархической подчиненности. Доброй части французов, однако же, система эта казалась олицетворенной, невообразимой пошлостью: жить без всякой надежды на успех какой-либо внезапной политической импровизации, какого-либо отчаянного и счастливого покушения (coup-de-tête), которые, сказать мимоходом, все подавлялись с особенной энергией и скоростью министерством Гизо в течение восьми *лет*, — жить так значило, по собственным словам партизанов непосредственной народной деятельности, обречь себя на позор перед потомством. Партии истощались в усилиях подорвать министерство, и в 1848 году совершенно случайным образом опрокинули его, но уже вместе с конституционной монархией[132].

Говоря правду, им действительно не за что было любить это министерство. Его «мещанская» честность и стыдливость мешали ему лакомить Францию фразами о ее призвании побеждать народы, к вящему их преуспеянию, и воспрещали также разделять восторги толпы к недавнему еще прошлому страны, которое величалось не иначе, как временем доблестей и славы[133]. Оно вдобавок неустанно обличало пустоту и ничтожество народных идеалов, проектов революционного обновления государства и различных укоренившихся догматов народного самолюбия и тщеславия. Вся эта добропорядочность по-

ведения не могла сделать, конечно, правления Гизо популярным в его отечестве. Да он и не гнался за популярностию, презирая ее столько же, сколько и героев, вознесенных клубами и партиями, и рассчитывая единственно на поддержку деловой, степенной части населения, которая в нужную минуту ему, однако же, позорно изменила, как известно. Взамен популярности, он искал почетною имени в истории и думал его найти вместе со своим старым королем, сделав из Франции свободное и благочинное государство, водворяя в нем конституционные *нравы,* работая неусыпно за обузданием крайних политических страстей — и все это под перекрестным огнем печати, которая, несмотря на пресловутые *сентябрьские* законы[134], пользовалась при нем свободой, не имевшей себе подобия на континенте, за исключением маленькой Бельгии и некоторых кантонов Швейцарии. Притом же каждый день Гизо приносил свою систему на публичное обсуждение в тогдашние почти постоянно бурные заседания палаты депутатов, где он часто достигал до героизма в откровенности и до цинизма в ответах врагам. Впоследствии вся эта кипучая жизнь, вырабатывавшая исподволь конституционный фундамент для страны, нагло объявлена была, при Второй империи, презренной игрой в парламентаризм и заменена игрой полицейских агентов на улицах, скандальной журналистикой в печати и законодательным корпусом в четырех глухих стенах, без прав трибуны и без гласности!

Из боязни прослыть эгоистическим «буржуа», лишенным органа для понимания народных стремлений и скрытых бедствий работающих классов, немногие решались тогда высказывать вполне все, что они думали о Париже сороковых годов. Достоверно, однако же, что путешественники имели тогда дело с городом вполне изящным по своим приемам и обычаям, который отличался, как естественным следствием конституционных порядков, мягкостию сношений, отсутствием мелкой подозрительности к людям, возможностию для всякого иностранца отыскать сочувствие, симпатический отголосок на любое серьезное мнение или начинанье, а наконец, и относительною честностию всех сделок частных людей между собою. Все это, как известно, исчезло тотчас же при Второй империи. Для подтверждения этого краткого очерка достаточно поставить его в параллель с тем, чем сде-

лался город Париж после потери июльской конституции.

На совести и репутации Гизо, конечно, есть несколько пятен. Так, его упрекали в употреблении неблагородных средств для поддержания своей системы, в подкупах избирателей и особенно в том, что для легчайшего управления ими он держал число избирателей на ограниченной цифре, какую застал сам. Все это правда и опровергнуто быть не может, но правда также и то, что упрочить конституционные порядки во Франции он мог только, как доказал это последующий опыт, единственно с тем персоналом единомышленников, который находился у него в руках. Таким знатокам английской истории, как король Луи-Филипп и Гизо, не могло быть безызвестно, что только *упроченная* конституционная система бывает способна к перестройке себя совершенно заново, не теряя ни своей силы, ни своих оснований. Пример английской конституции был налицо: она имела тоже свои эпохи «*снисходительных*» подкупных парламентов, но не только победоносно вышла из всех опасностей и затруднений, а изменила все законодательство о выборах в камеру общин, восстановила право обиженных местностей и сословий на посылку депутатов в парламент и переформировала весь состав представительства, не утеряв при этом ни на волос коренного своего значения и влияния на страну. Весь вопрос, таким образом, сводился для Гизо и его администрации на *упрочение* конституции, и нельзя сказать, чтобы он слепо, эгоистически и бессознательно защищал действующие законы о выборах. В жару прений о расширении их он не раз заявлял мнение, что дело изменения их не может ограничиться в такой стране, как Франция, одним присоединением *способностей* к лику избирателей[135]. За этим присоединением «способностей» он уже прозревал новые уступки и всеобщее народное голосование — тот грубый и ничего не выражающий ответный вопль толпы, которая постоянно возвращает вопрошателю только слова, брошенные им в ее среду, что и совершалось постоянно при Наполеоне III. Как бы то ни было, но позволительно предположить, что парламентаризм Гизо и Луи-Филиппа, столько преследуемый и позоримый впоследствии их врагами, поднял бы в постепенном прогрессивном своем развитии благосостояние Франции и рабочих ее классов не менее последующих *декретов* Второй империи о национальных

мастерских, о перестройке целиком заново Парижа, о создании «городков» для мастеровых (cités ouvrières) и проч.

XV

Нужно ли говорить, что сочувствием нетерпеливых или пылких умов в Европе пользовалась совсем не Франция Гизо, а та, которая стояла за нею и протестовала против ее конституционных затей, не отвечающих, по ее мнению, духу страны. В самом деле, что за надобность была германским передовым людям, а за ними и другим кружкам политиков до какой-то новой Франции, старающейся держаться в границах своей хартии, Франции приличной, благопристойной и тем самым извращающей все старые понятия о стране, которые сложились у народов с конца прошлого столетия? Для них это была совершенно неведомая Франция, которую они и изучать не хотели, а искали прежней, еще недавней, хорошо всем знакомой, типической Франции, той, которая имеет абсолютные решения по всем вопросам социального, политического и нравственного характера, а когда они слишком долго медлят своим появлением, принимает меры вызвать их силой. Вот эта последняя, старая Франция и была еще тогда для многих в Европе исконной, вековой Францией, а другая, только что начинавшая показываться на политическом горизонте, считалась подлогом, наваждением злого духа, словом — призраком, самозванно подменившим родовую физиономию страны какою-то отвратительно гладкой глупой маской. Не зная, чем объяснить это превращение, заграничные партии объясняли его не иначе, как насилием, беспримерным в летописях истории: смирный король-гражданин, Луи-Филипп, постоянно честился у себя дома и за порогом его прозвищем «le tyran», Гизо называли за границей, например в Англии, конституционным «герцогом Альбой» и тому подобными именами и т. д. Воззрение русских кружков на Францию недалеко отходило от общего представления ее дел, сложившегося у крайних либералов Европы: у нас тоже искали потаенной Франции, вместо той, которая была на виду, и ожидали, что первая рано или поздно сменит вторую. Смена и действительно произошла скорее, чем ожидали е е , — и дала совсем непредвиденные результаты. Она именно очистила дорогу вели-

колепной французской империи, которая так хорошо отмстила за все предшествовавшие ей правительства, рассеяв и подавив как своих, так и их врагов. Кажется, в этой роли Немезиды и состоит все ее историческое призвание. В России один только Т. Н. Грановский, по особенному историческому чутью, которым был наделен, и по присущему ему чувству истины старался как можно менее вторить хору ругателей монархии Луи-Филиппа, а в числе его ругателей были у нас очень высокопоставленные правительственные лица. Помню, что летом 1845 года несколько слов, сказанных мною в защиту Гизо на даче в Соколове (близ Москвы), возбудили общий насмешливый протест друзей. Грановский, однако же, при самом разгаре спора взял меня под руку и, уводя в соседнюю аллею, промолвил им с юмором в интонации, не передаваемым на бумаге: «Оставьте нас с ним наедине потолковать, господа, и об нас не беспокойтесь. Мы к вам вернемся порядочными людьми». И тогда-то выразил он мнение, что политические идеалы Гизо преднамеренно узки и скромны, соответственно тому невеликому представлению о политических способностях французов, которого министр никогда не скрывал. «Но пренебрежение к народному духу, — добавил Грановский, — не может обойтись даром во Франции: она знает, что этому духу обязана своим местом и ролью в истории Европы. Так или иначе, рано или поздно, система Гизо и Луи-Филиппа не выдержит: они и умны и ошибаются не по-французски, и вот это-то им не простится». Я не думал тогда, что слова Грановского были — пророчество.

Надо заметить и то, что борющаяся и так интересовавшая всех позади стоящая, революционная Франция производила свои нападки на строй конституционной жизни и порядки, ею заведенные, с большою ловкостию, энергиею и замечательным талантом: она почти вся состояла из даровитейших людей эпохи. Группа писателей, преследовавшая свистками систему Луи-Филиппа, производила неотразимое впечатление на лиц, образованных литературно, да обладала и другим привлекательным качеством. Она поднимала, кроме вопросов текущего дня, перед которыми мы всегда чувствовали слабость своего практического опыта и суждения, еще и всего более широкие, отвлеченные вопросы будущности, темы нового социального устройства Европы, смелые постройки новых форм для науки, жизни, нравственных и религиоз-

ных верований, а наконец критику всего хода европейской цивилизации. Здесь мы уже были, что называется, на просторе, приученные измала к великолепным ипотезам, к широким, изумительным обобщениям и умозаключениям.

Таким образом, когда осенью 1843 года я прибыл в Петербург, то далеко не покончил все расчеты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни.

Книга Прудона «De la propriété», тогда уже почти что старая; «Икария» Кабе, малочитаемая в самой Франции, за исключением небольшого круга мечтательных бедняков-работников; гораздо более ее распространенная и популярная система Фурье, — все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода *. Да оно и понятно. В огромном большинстве случаев трактаты эти были те же метафизические эволюции, только эволюции, перенесенные на политическую и социальную почву. За ними туда и последовали целые фаланги русских людей, обрадованных возможностию выйти из абстрактного, отвлеченного мышления без реального содержания к такому же абстрактному мышлению, но с кажущимся реальным содержанием.

Та часть верных и зрелых практических указаний, какая заключалась в этих трактатах и чем европейский мир не замедлил воспользоваться, всего менее обращала на себя наше внимание, да и не в том было вообще призвание трактатов на Руси. В промежутке 1840—1843 годов такие трактаты должны были совершить окончательный переворот в философских исканиях русской интеллигенции и сделали это дело вполне. Книги названных авторов были во всех руках в эту эпоху, подвергались всестороннему изучению и обсуждению, породили, как прежде Шеллинг и Гегель, своих ораторов, комментаторов, толковников, а несколько позднее, чего не было с прежними теориями, и своих мучеников. Теории Прудона, Фурье, к которым позднее присоединился

---

* Я уже не говорю о новой религии «человечества», изложенной фантастическим теозофом Пьером Леру в его книге «De l'Humanité»: она по близости к надоевшему пиетизму и невыдержанности мысли в философском отношении, к чему мы были всегда очень чувствительны, не имела особенного успеха. Я цитирую разные книги на память, может быть не совсем точно обозначая их полное заглавие. (*Примеч. П. В. Анненкова.*) [136]

Луи Блан с известным трактатом «Organisation du travail»[137], образовали у нас особенную школу, где все эти учения жили в смешанном виде и исповедовались как-то зараз адептами ее[138]. В такой не слишком плотной и солидной амальгаме вышли они лет через пятнадцать после того на свет и в русской печати.

Белинский пристроился к общему направлению, как только первые лучи социальной метафизики дошли до него, но и тут, как и в философский период, он начал с начала. Сам Белинский ни с кем не переписывался за границей, но до нас доходили слухи через приезжающих, что он погружен в чтение пространной «Истории революции 1789 года» Тьера[139]. Пресловутое творение Тьера, не очень глубоко понимавшего эпоху, но очень эффектно излагавшего наиболее выпуклые ее стороны, ввело его в новый мир, доселе мало знакомый ему, и понудило идти далее в изучении его[140]. Уже на моих глазах в Петербурге принялся он за историю того же события, отличавшуюся вполне отсутствием всякой поверки лиц и дел, именно за сочинение Кабе «Le peuple», который находил признаки необъятного коллективного ума во всех случаях, когда вступали в дело народные массы, и который объяснял наконец даже падение республики трогательным, святым добродушием тех же масс, одерживающих победы над врагами не для себя, не для извлечения немедленной пользы из события, а для прославления своих принципов — братолюбия, равенства и справедливости. Впрочем, эти и другие совершенно противоположные по духу сочинения служили Белинскому просто средством отыскать первые семена социализма, заброшенные переворотом 89 года на европейскую почву: ему нужно было видеть его зачатки с конвентом, парижской коммуной, героями старого коммунизма, Бабефом и Буонаротти, чтобы распознать современную его физиономию и понять основательно некоторые его ходы в нашу эпоху. Никакого решения по всем этим явлениям он не имел, да и всеми предлагаемыми тогда решениями был недоволен. Необычайное впечатление произвела на него только книга Луи Блана «Histoire des dix ans», тем именно, что показала, какого рода интерес и какую массу поучения и даже художнических качеств может заключать в себе история наших дней, переживаемого, так сказать, мгновения, под рукой сильного таланта, хотя бы история такого рода и употребляла в дело подчас не со-

всем испробованные материалы, а подчас и просто городскую сплетню [141].

По возвращении моем в 1843 году в Петербург почти первым словом, услышанным мною от Белинского, было восторженное восклицание о книге Луи Блана. «Что за книга Луи Блана! — говорил о н . — Ведь этот человек нам ровесник, а между тем что такое я перед ним, например? Просто стыдно подумать о всех своих кропаниях перед таким произведением. Где они берут силы, эти люди? Откуда у них являются такая образность, такая проницательность и твердость суждения, а потом такое меткое слово! Видно, жизнь государственная и общественная дают содержание мысли и таланту поболее, чем литература и философия...» Очевидно, эстетическое и публицистическое направление уже потеряло для Белинского свою привлекательность и отодвигалось на задний план в его уме; но все же волей и неволей он оставался при нем, потому что только с помощию его можно было поднимать самые простые вопросы общественной морали и касаться, хотя бы и косвенно, предметов русского современного быта и развития. Подобно тому как крестьяне покупали тогда нужные им земли на имя задаренного ими помещика, так покупалось в литературе право говорить о самом пустом, по все-таки публичном деле и о смысле того или другого всем известного общественного явления, призывая на помощь и выставляя вперед грамматику, математику, хорошие или дурные стихи, даже водевили Александринского театра, московские романы и т. д.

Таково было действие французской культуры на добрую половину нашего русского мира. Но вот что замечательно. Изменяя свой способ воззрения на призвание писателя и помещая задачи литературы уже в среде общественных вопросов, ни Белинский, ни весь кружок тогдашних западников и не думал выбрасывать прежних своих представлений за борт как негодный балласт, не приносил никакой каннибальской жертвы из коренных оснований прежнего своего созерцания. Как ни различно было у них понимание сущности некоторых политико-экономических тем, как ни горячи были между ними споры по частностям и способам приложения новых полученных идей, весь кружок сходился, однако же, безусловно в некоторых началах: он одинаково принимал нравственный элемент исходной точкой всякой деятель-

ности, жизненной и литературной, одинаково признавал важность эстетических требований от себя и от произведений мысли и фантазии, и никто в нем не помышлял о том, чтоб можно было обойтись, например, без искусства, поэзии и творчества вообще как в жизни, так и при политическом воспитании людей. Кстати заметить, что в виду частых споров между друзьями было выражено позднее в литературе нашей подозрение, что самый круг делился еще на баричей, потешавшихся только идеями, и на демократические натуры, которые принимали горячо к сердцу все философские положения и делали их задачами своей жизни. Мнение это может быть отнесено к числу догадок, которыми удобно отстраняются затруднения точного определения явлений. В круге, о котором идет дело, не всегда только «баричи» старались уйти от строгих заключений и выводов, какие необходимо истекают из теоретических положений, и не всегда только «демократы» понимали яснее своих товарищей сущность начал и старательнее их доискивались последнего слова философских проблем. Очень часто роли менялись, и врагами увлечений и защитниками крайних мнений делались не те лица, от которых всего вернее было ожидать подобных заявлений, что можно было бы подтвердить многочисленными примерами. Дело в том, что отличительную черту всего круга надо искать в другом месте и прежде всего в пыле его философского одушевления, который не только уничтожил разницу общественного положения лиц, но и разницу их воспитаний, привычек мысли, бессознательных влечений и предрасположений, превратив весь круг в общину мыслителей, подчиняющих свои вкусы и страсти признанным и обсужденным началам. Темпераменты в нем, конечно, не сглаживались, психические и философские отличия людей проявлялись свободно, большая или меньшая энергия в понимании и в выражении мысли существовали на просторе, но все эти силы шли вослед и на служение идее, господствовавшей в данную минуту, которая роднила и связывала членов круга в одно неразрывное целое и, если можно так выразиться, сияла одинаково на всех лицах. Бывали в недрах круга и упорные разногласия,— ожесточенная борьба не раз потрясала его до основания, как мы уже говорили и увидим еще далее, но междуусобия эти происходили исключительно по поводу прав того или другого начала на господство в круге, по поводу водворения той

или другой философской или политической схемы в умах и упрочения за ней прав на сочувствие и повиновение. Других побуждений и другого дела круг этот не знал. Так шло до 1845 года, когда под тяжестию собственной своей слишком абстрактной задачи и под напором новых общественных и социальных вопросов круг стал распадаться и распался окончательно к 1848 году, оставив после себя воспоминания, которые еще не раз, думаем, будут обращать на себя внимание мыслящих русских людей.

XVI

Осенью 1843 года, проездом через Москву, я познакомился с Г<ерценом>[142] (а также с Т. Н. Грановским и со всем кругом московских друзей Белинского), которого знал доселе только понаслышке. Я еще застал ученое и, так сказать, междусословное торжество, происходившее в Москве по случаю первых публичных лекций Грановского [143], собравшего около себя не только людей науки, все литературные партии и обычных восторженных своих слушателей — молодежь университета, но и весь *образованный* класс города — от стариков, только что покинувших ломберные столы, до девиц, еще не отдохнувших после подвигов на паркете, и от губернаторских чиновников до неслужащих дворян. Единодушие в приветствии симпатичного профессора со стороны всех этих лиц, разделенных между собою всем родом своей жизни, своих занятий и целей, считалось тогда очень знаменательным фактом, и, действительно, факт имел некоторое значение, обнаружив, что для массы публики существуют еще и другие предметы уважения, кроме тех, которые издавна указаны ей общим голосом или официально. С такой точки зрения публичные лекции Грановского, пожалуй, могли считаться и политическим событием, хотя сам знаменитый профессор, посвятивший свои чтения сжатым, но выразительным очеркам нескольких исторических лиц, постоянно держался с тактом и достоинством, никогда его не покидавшими, на той узкой полосе, которая отведена была ему для преподавания. Он сделал из нее цветущий оазис науки, какой только мог. В мастерских его руках эта узкая полоса исследования получила довольно большие размеры, и на ней открылась возможность делать опыт приложения науки к жизни, морали

и идеям времени. Лекции профессора особенно отличались тем, что давали чувствовать умный распорядок в сбережении мест, еще не доступных свободному исследованию. На этом-то замиренном, нейтральном клочке твердой земли под собой, им же и созданном и обработанном, Грановский чувствовал себя хозяином; он говорил все, что нужно и можно было сказать от имени науки, и *рисовал* все, чего еще нельзя было сказать в простой форме мысли. Большинство слушателей понимало его хорошо. Так поняло оно и лекцию о Карле Великом, на которую и я попал *. Образ восстановителя цивилизации в Европе был в одно время и художественным произведением мастерской кисти, подкрепленной громадною переработанной начитанностью, и указанием на настоящую роль всякого могущества и величества на земле. Когда в заключение своих лекций профессор обратился прямо от себя к публике, напоминая ей, какой необъятный долг благодарности лежит на нас по отношению к Европе, от которой мы даром получили блага цивилизации и человеческого существования, доставшиеся ей путем кровавых трудов и горьких опытов, — голос его покрылся взрывом рукоплесканий, раздавшихся со всех концов и точек аудитории.

Это единодушие похвалы за смелость профессора (смелость могла тогда заключаться в публичном заявлении сочувствия к Европе) породило мысль у некоторых из друзей его, что наступила настоящая минута примирения между двумя большими литературными партиями — западной и славянофильской, спор между которыми уже сильно разгорелся в промежуток 1840—1843 годов. С целью свести противников и приготовить их сближение затеян был в следующем 1844 году дружеский обед [144], на котором присутствовали почти все корифеи двух противоположных учений, какие находились тогда в Москве: они подали на нем друг другу руки и объявили, что одинаково связаны служением науке и одинаково уважают все бескорыстные убеждения, порождаемые ею. Но *дипломатический* мир, когда борьба не исчерпана еще вполне, редко вносил прочные основания для мира между людьми. Поводы к разладу между собравшимися на обед существовали еще в таком обилии, благодаря стече-

* Темой лекции Грановского была средневековая история Франции и Англии. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

нию многих обстоятельств, а в том числе и деятельности Белинского, что с окончанием, можно сказать, последнего заздравного тоста на обеде все стояли опять на старых местах и в полном вооружении.

Что же произошло в промежуток этих трех последних лет? Собственно, ничего нового не произошло, а только повторилось в обновленной форме и на других гораздо более сложных и продуманных основаниях старое явление отпора Москвы цивилизаторской заносчивости Петербурга. Москва *делала* консервативную оппозицию, на основании старых начал русской культуры, — Петербургу, провозглашавшему несостоятельность почти всех старых русских начал перед общечеловеческими началами, то есть перед европейским развитием. Не раз уже приходилось обеим нашим столицам вступать в борьбу на этой почве, но никогда, может быть, спор между ними не захватывал столько вопросов научного свойства и не обнаруживал столько талантов, многосторонней образованности, хотя и принужден был, по обыкновению, держаться на литературной, эстетической, философской и частию археологической аренах и притворяться, никого, впрочем, не обманывая, невинным спором двух различных видов одного и того же русского патриотизма, а иногда даже и пустым разногласием двух школьных партий.

В сущности, дело тут шло об определении догматов для нравственности и для верований общества и о создании политической программы для будущего развития государства. Не очень точны были прозвища, взаимно даваемые обеими партиями друг другу в виде эпитетов: *московской* и *петербургской* или *славянофильской* и *западной,* — но мы сохраняем эти прозвища потому, что они сделались общеупотребительными, и потому, что лучших отыскать не можем: неточности такого рода неизбежны везде, где спор стоит не на настоящей своей почве и ведется не тем способом, не теми словами и аргументами, каких требует. Западники, что бы о них ни говорили, никогда не отвергали исторических условий, дающих особенный характер цивилизации каждого народа, а славянофилы терпели совершенную напраслину, когда их упрекали в наклонности к установлению неподвижных форм для ума, науки и искусства. Деление партий на *московскую* и *петербургскую* можно допустить несколько легче, и оно понятно, ввиду той массы слуша-

телей, которая там и здесь пристроилась к одному из двух противоположных учений; но и оно не выдерживает строгой поверки: как раз к обществу Москвы принадлежали влиятельнейшие западники, как Чаадаев, Грановский, Г<ерцен> и др., а в Петербурге издавался журнал «Маяк», который в манере защищать старые авторитеты напоминает современного нам пресловутого Veuillot и может назваться «Père Duchêne'ем»[145] консерватизма, преданий и идеалов старины. В Петербурге же сочувствие к славянофильству в высших слоях общества сказывалось много раз и очень явственно Мы увидим даже, что враждующие имели еще пока чрезвычайно много точек соприкосновения между собою, впоследствии ими утерянных, что в среде их существовали мысли, предметы, убеждения, перед которыми умолкали разногласия. Когда я познакомился с Г<ерценом>, он нам читал только что написанную им известную остроумную параллель между Москвой и Петербургом[146]. Сопоставляя упорство Москвы в сохранении всяческих, почтенных и непочтенных, своих особенностей с развязностью Петербурга, не признающего важности ни в чем на свете, кроме разве *приказания,* полученного из надлежащего источника, Г<ерцен> все-таки не мог скрыть, несмотря на все свои юмористические и саркастические выходки, жертвой которых были в равной степени обе столицы наши, своего тайного благорасположения к одной, старейшей из них, — благорасположения, от которого он не освободился и в период заграничной эмиграции. Да он и не старался от него освободиться, а, напротив, как будто сберегал в себе это чувство. А уж это ли не был западник! Много таких примеров благородной невыдержанности убеждений встречается и в других лицах обеих партий.

Тем не менее борьба между партиями шла оживленная, особенно несколько позднее и после того, как она успела поставить себе определенные цели; да и было за что бороться. Образованный русский мир как бы впервые очнулся к тридцатым годам, как будто внезапно почувствовал невозможность жить в том растерянном умственном и нравственном положении, в каком оставался дотоле. Общество уже не слушало приглашений отдаться просто течению событий и молча плыть за ними, не спрашивая, куда несет его ветер. Все люди, мало-мальски пробужденные к мысли, принялись около этого времени

искать, с жаром и алчностию голодных умов, основ для сознательного разумного существования на Руси. Само собою разумеется, что с первых же шагов они приведены были к необходимости, прежде всего, добраться до внутреннего смысла русской истории, до ясных воззрений на старые учреждения, управлявшие некогда политическою и домашнею жизнию народа и до правильного понимания новых учреждений, заменивших прежде бывшие. Только с помощью убеждений, приобретенных таким анализом, и можно было составить себе представление о месте, которое мы занимаем в среде европейских народов, и о способах самовоспитания и самоопределения, которые должны быть выбраны нами для того, чтобы это место сделать во всех отношениях почетным. Все зашевелилось: искания пошли, как известно, с двух противоположных точек, и рано или поздно должны были привести исследователей в столкновение. Шум первых их сшибок и составил содержание всей эпохи нашего развития, которая обозначается общим именем — эпохи сороковых годов.

Люди этой эпохи не раз уже обзывались, даже и при их жизни, пустыми идеалистами, неспособными вывесть за собой ни малейшей реформы, изменить в чем-либо окружавшего их строя жизни. Замечательно, что идеалисты сороковых годов сами почти соглашались с своими судьями и постоянно твердили, даже и печатно, что поколению их, как переходному, суждено только приготовить материалы для реформ и изменений. О доброкачественности и пригодности этих материалов только и шел у них весь спор. А что спор был не совсем *бесплоден*, — это доказывается семенами развития, которые он заложил, просочив все слои тогдашнего образованного общества, и которые вышли на свет, даже и после систематического искоренения их в 1848 году, еще полными силы и жизни в двух великих реформах настоящего царствования. Никто, полагаем, не станет опровергать, что начала русской народной культуры, заметные в крестьянской реформе, и начала европейского права, открывающиеся в *судебной*, — приготовлены были издалека тем самым спором, о котором говорим[147]. Можно пожелать и всем нынешним предметам споров такой же завидной исторической участи.

XVII

Одним из важных борцов в плодотворном диспуте, завязавшемся тогда на Руси, был Г<ерцен>. Признаться сказать, меня ошеломил и озадачил на первых порах знакомства этот необычайно подвижной ум, переходивший с неистощимым остроумием, блеском и непонятной быстротой от предмета к предмету, умевший схватить и в складе чужой речи, и в простом случае из текущей жизни, и в любой отвлеченной идее ту яркую черту, которая дает им физиономию и живое выражение. Способность к поминутным неожиданным сближениям разнородных предметов, которая питалась, во-первых, тонкой наблюдательностью, а во-вторых, и весьма значительным капиталом энциклопедических сведений, была развита у Г<ерцена> в необычайной степени, — так развита, что под конец даже утомляла слушателя. Неугасающий фейерверк его речи, неистощимость фантазии и изобретения, какая-то безоглядная расточительность ума приводили постоянно в изумление его собеседников. После всегда горячей, но и всегда строгой, последовательной речи Белинского скользящее, беспрестанно перерождающееся, часто парадоксальное, раздражающее, но постоянно умное слово Г<ерцена> требовало уже от собеседников, кроме напряженного внимания, еще и необходимости быть всегда наготове и вооруженным для ответа. Зато уже никакая пошлость или вялость мысли не могли выдержать и полчаса сношений с Г<ерценом>, а претензия, напыщенность, педантическая важность просто бежали от него или таяли перед ним, как воск перед огнем. Я знавал людей, преимущественно из так называемых серьезных и дельных, которые не выносили присутствия Г<ерцена>. Зато были и люди, даже между иностранцами, в эпоху его заграничной жизни, для которых он скоро делался не только предметом удивления, но страстных и слепых привязанностей.

Почти такие же результаты постоянно имела и его литературная, публицистическая деятельность. Качества первоклассного русского писателя и мыслителя Г<ерцен> обнаружил очень рано, с первого появления своего на арену света, и сохранил их в течение всей жизни, даже и тогда, когда заблуждался. Вообще говоря, мало встречается на свете людей, которые бы умели сберегать, подобно ему, право на внимание, уважение и изуче-

ние в то же самое время, когда он отдавался какому-либо увлечению. Ошибки и заблуждения его носили еще на себе печать мысли, от которой нельзя было отделаться одним только презрением или отрицанием ее. Этой стороной своей деятельности он походил на Белинского, но Белинский, постоянно витавший в области идей, не имел вовсе способности угадывать характера людей при встрече с ними и не обладал злым юмором психолога и наблюдателя жизни. Г<ерцен>, наоборот, как будто родился с критическими наклонностями ума, с качествами обличителя и преследователя темных сторон существования. Это обнаружилось у него с самых ранних пор, еще с московского периода его жизни, о котором говорим. И тогда Г<ерцен> был умом в высшей степени непокорным и неуживчивым, с врожденным, органическим отвращением ко всему, что являлось в виде какого-либо установленного правила, освященного общим молчанием, о какой-либо непроверенной истине. В таких случаях хищнические, так сказать, способности его ума поднимались целиком и выходили наружу, поражая своей едкостью, изворотливостью и находчивостью. Он жил в Москве на Сивцевом-Вражке еще неведомым для публики лицом, но уже приобрел известность в кругу своем как остроумный и опасный наблюдатель окружающей его среды; конечно, он не всегда умел держать под спудом тайну тех следственных протоколов, тех послужных списков о близких и дальних личностях, какие вел в уме и про себя. Люди, беспечно стоявшие с ним об руку, не могли не изумляться, а подчас и не сердиться, когда открывались те или другие части этой невольной работы его духа. К удивлению, вместе с нею уживались в нем самые нежные, почти любовные отношения к избранным друзьям, не избавленным от его анализа, но тут дело объясняется уже другой стороной его характера.

Как бы для восстановления равновесия в его нравственной организации, природа позаботилась, однако же, вложить в его душу одно неодолимое верование, одну непобедимую наклонность: Г<ерцен> веровал в благородные *инстинкты* человеческого сердца, анализ его умолкал и благоговел перед инстинктивными побуждениями нравственного организма как перед единственной, несомненной истиной существования. Он высоко ценил в людях благородные, страстные увлечения, как бы ошибочно они еще ни помещались, и никогда не смеялся над

ними. Эта двойная, противоречивая игра его природы — подозрительное отрицание, с одной стороны, и слепое верование — с другой, возбуждали частые недоумения между ним и его кругом и были поводом к спорам и объяснениям; но именно в огне таких пререканий, до самого его отъезда за границу, привязанности к нему еще более закалились, вместо того чтобы разлагаться. Оно и понятно почему: во всем, что тогда думал и делал Г<ерцен>, не было ни малейшего признака лжи, какого-либо дурного, скрыто вскормленного чувства или расчетливого коварства; напротив, он был всегда весь целиком в каждом своем слове и поступке. Да была и еще причина, заставлявшая прощать ему даже иногда и оскорбления, — причина, которая может показаться невероятной для людей, его не знавших.

При стойком, гордом, энергическом уме это был совершенно мягкий, добродушный, почти женственный характер. Под суровой наружностью скептика и эпиграмматиста, под прикрытием очень мало церемонного и нисколько не застенчивого юмора жило в нем детское сердце. Он умел быть как-то угловато нежен и деликатен, а при случае, когда наносил слишком сильный удар противнику, умел тотчас же принести ясное, хотя и подразумеваемое покаяние. Особенно начинающие, ищущие, пробующие себя люди находили источники бодрости и силы в его советах: он прямо принимал их в полное общение с собой, с своей мыслью, что не мешало его разлагающему анализу производить подчас над ними очень мучительные психические эксперименты и операции. Говорить ли о странной аномалии? Он сам чувствовал эту струну добродушия в себе и принимал меры, чтобы она звучала не слишком явственно. Самолюбие его словно было оскорблено при мысли, что, кроме ума и способностей, у него могут еще подметить и доброту сердца. Ему случалось насильственно ломать природный свой характер, чтобы на некоторое время казаться не тем, чем он создан, а человеком свирепого закала: но капризы эти длились недолго. Другое дело было, когда он попал за границу и укрепился в партии движения: там он принялся за переработку своего характера очень серьезно. Нельзя было оставаться в среде и во главе европейских демократов, сохраняя ту же откровенность в приемах жизни и обхождения, как в Москве. Одно это могло уже уронить человека перед клубным и социалистическим персо-

налом, который охотно пользуется добродушием, но весьма мало ценит его. Г<ерцен> принялся гримироваться для новой своей публики в человека, носящего на себе тяжесть громадного политического мандата и призвания, между тем как, в сущности, его занимали все разнообразнейшие идеи науки, искусства, европейской культуры и поэзии, потому что он был по-своему также и поэтом. Следы этой неблагодарной работы над собой оказались особенно после того, как первые попытки его помочь русскому обществу в работе совлечения с себя одежд *ветхого* человека [148] встретили общее сочувствие: он выработал из себя неузнаваемый тип. Какая готовность попрать все связи и воспоминания, все старые симпатии в интересах абстрактного либерализма, какое надменное легковерие в приеме известий, льстящих личному настроению и ему поддакивающих, и какое неусыпное стояние на карауле при всяком чувстве своем, при всякой частной и национальной склонности, чтобы оно не исказило величественного облика, какой подобает бесстрастному человеку, олицетворяющему судьбу народов! [149] Впрочем, надо сказать, что Г<ерцен> никогда вполне не достигал цели своих стараний. Он не успел выворотить себя наизнанку, а успел только перепортить себя. Он успел еще и в другом — он нажил себе безвыходное страдание, и если чья судьба может назваться трагической, то, конечно, именно его судьба под конец жизни. По необычайно пытливому и проницательному уму он разобрал до последней пылинки ничтожество, пошлую и комическую сторону большинства корифеев европейской пропаганды и, однако ж, следовал за ними *. По живому нравственному чувству, которое ему было обще с Белинским, Грановским и со всей русской эпохой сороковых годов, он возмущался бесстыдством, цинизмом мысли и поступков у *свободных* людей, собравшихся под одним с ним знаменем, и бережно таил свое отвращение. Со всем тем товарищи его, руководимые чутьем самосохранения,

---

* Мне вспомнился при этом характеристический анекдот. После 1848 года один из русских эмигрантов, С<азонов>, вздумал составить альбом из портретов тогдашней немногочисленной русской эмиграции, которую называл *настоящей Россией.* Он обратился к Г<ерцену> за портретом. «Я согласен д а т ь, — отвечал Г<ерцен>, — мой портрет в коллекцию, но с тем, чтобы в нее был принят и сотоварищ мой — крепостной лакей, недавно убежавший от своего барина в Париже». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

отгадали в нем врага и обратили на него свое обычное оружие — клевету, сплетню, диффамацию, пасквиль. Г<ерцен> остался один *. Но до всего этого было еще далеко. Когда я узнал его, Г<ерцен> был в полном блеске молодости, исполнен надежд на себя, составляя гордость и утешение своего круга. В эпоху первых публичных лекций Грановского он волновался, писал о них статьи и торжествовал успех своего друга так шумно, что казалось, будто празднует свой собственный юбилей **.

А между тем связи его с Т. Н. Грановским начались далеко не под счастливыми предзнаменованиями. Замечательно то обстоятельство, что зародыши различных направлений и первые ростки их показались у нас как-то зараз в конце тридцатых годов и начале сороковых. Едва началось страстное изучение немецкой философии с той *положительной* ее стороны, о которой мы говорили, как на скамьях Московского университета уже сформировался кружок молодых людей, обративших внимание не на философские, а на социальные вопросы, поклонявшихся не Гегелю, а Сен-Симону (1834). Во главе кружка стоял юноша, студент естественно-математического факультета, будущий кандидат его — именно этот самый Г<ерцен>. Он позже говорил мне, что и он и его молодая партия смотрели очень подозрительно на Станкевича и Грановского [152], отзывались враждебно и насмешливо об их занятиях как о приятном препровождении времени, найденном досужими людьми. Г<ерцен> носился на пер-

---

* К числу поэтических страниц, каких у Г<ерцена> много, принадлежит описание его последнего путешествия в Неаполь и посещения там монастыря кармелитов. Горькие, глубоко печальные и трогательные мысли, внушенные ему тихим монастырем, показывают состояние его души и принадлежат к драгоценным автобиографическим остаткам, которыми следует дорожить по справедливости. (*Примеч. П. В. Анненкова.*) [150]

** Горячие статьи его о Грановском в «Московских ведомостях», 1844, и в «Москвитянине», 1844, еще и тем были замечательны, что он протягивал в них руку славянской партии, предлагая мир на честных условиях. Вот что выговаривал он у нее для своих единомышленников: «Нет положения *объективнее* относительно прошедшего Европы, как положение русского. Конечно, чтоб воспользоваться им, недостаточно быть русским, а надобно достигнуть *общечеловеческого* развития, надобно именно не быть исключительно русским, то есть понимать себя не противоположным Западной Европе, а братственным» («Москвитянин», 1844 г., № 7). Партия славянофилов отчасти приняла эти условия мира, как увидим, но с оговорками, много их изменившими. (*Примеч. П. В. Анненкова.*) [151]

вых порах со своим Сен-Симоном как с кораном и рассказывает в собственных записках, что, явясь однажды к Н. А. Полевому, назвал его *отсталым* человеком за равнодушный отзыв о реформаторе. Н. А. Полевой грустно и гневно заметил: «Вот и трудись всю жизнь, чтобы первый мальчик назвал тебя никуда негодным. Погодите, — прибавил он пророчески, — то же будет и с вами»[153]. Покамест в уме молодого социалиста жило полное презрение к чистому мышлению и к его представителям на Руси. Это так верно, что, когда Г<ерцен> возвратился из первой своей вятско-владимирской жизни (1839 год) в Москву, кружок наших философствующих принял его довольно холодно и не скрыл, что считает его человеком еще не развитым и отсталого образа мыслей[154]. Обстоятельство это и заставило Г<ерцена> обратиться к источнику благодати, к изучению Гегеля, которым дотоле пренебрегал. Открытие, сделанное им тогда, имело важные последствия. Он усмотрел в системе учителя совсем не то, что видели его новые друзья. Он признавал совпадение истории и человеческого прогресса с ходом идеи, развивающейся диалектически в логике Гегеля, но думал, что моменты видоизменения этой идеи соответствуют только общественным и религиозным переворотам истории. Поступательные шаги в человечестве, по этому толкованию, обнаруживаются тогда, когда какой-либо из исторических народов начинает менять старые основы своей жизни. Тогда только и наступают минуты реального осуществления прогрессивных идей в истории. На этих, так сказать, постоянных, но и феноменальных, случайных протестах человечества и зиждется возможность признать единство эволюций и логической идеи с историческими явлениями, а не на основании естественного, рокового и неизбежно прогрессивного хода человеческого развития. Способ такого понимания допускался системой Гегеля наравне с другими, — стоило только перевести идеи учителя из одного разряда фактов в другой. Г<ерцен> привлек к своему образу понимания и староверов философии. Оказалось, что, выступив на литературное и жизненное поприще с враждебным настроением против лучшего существовавшего тогда круга людей, Г<ерцен> не только сошелся и сговорился с ним, но и стал впереди его как авторитет в вопросах отвлеченного мышления. Философия сделалась в его руках оружием крайне острым и далеко берущим, но славянская партия выста-

вила против нее другое, тоже хорошо испробованное оружие. Таким образом, в начале сороковых годов после короткой размолвки Белинский, Грановский, Г<ерцен> и др. были уже сплочены единством стремлений, и хотя внутренние раздоры продолжали еще от времени до времени возникать между ними, но при общности принципов и особенно в виду опасного врага, славянофильской партии, они уже никогда не расходились так, чтобы не слыхать голоса друг друга и не отвечать на призыв товарища.

XVIII

Не будучи постоянным жителем Москвы и посещая ее случайно, чрез довольно долгие промежутки времени, я не имел чести познакомиться с домом Елагиных, который, состоя из хозяйки, А. П. Елагиной, племянницы В. А. Жуковского, сыновей ее от первого мужа, известных братьев П. В. и И. В. Киреевских, и семейства, приобретенного в последнем *браке*, — был любимым местом соединения ученых и литературных знаменитостей Москвы, а по тону сдержанности, гуманности и благосклонного внимания, в нем царствовавшему, представлял нечто вроде замиренной почвы, где противоположные мнения могли свободно высказываться, не опасаясь засад, выходок и оскорблений для личности препирающихся[155]. Почтенный дом этот имел весьма заметное влияние на Грановского, Г<ерцена> и многих других западников, усердно посещавших его: они говорили о нем с большим уважением. Может быть, ему они и обязаны были некоторой умеренностью в суждениях по вопросам народного быта и народных *верований*, — умеренностью, которой не знал уединенно стоявший и действовавший Белинский, называвший ее прямо любезностию чайного столика. Обратное действие западников на московских славянофилов, составлявших большинство в обществе елагинского дома, тоже не подлежит сомнению. Все это вместе взятое дает ему право на почетную страницу в истории русской литературы, наравне с другими подобными же оазисами, куда скрывалась русская мысль в те эпохи, когда недоставало еще органов для ее проявления *.

---

* Мы слышали, впрочем, что собрания в доме Елагиных все-таки должны были прекратиться под конец вследствие все более

Я сам имел случай видеть пример воздействия на Г<ерцена> бесед с людьми другого настроения, не сходного с его собственным, хотя в примере, который хочу привести, слышится также и отголосок его прежнего обхождения с социальными вопросами [158]. В одно из утренних моих посещений Г<ерцена>, в мезонине его дома на Сивцевом-Вражке, где помещался его кабинет, он заговорил о презрении, которое выражено было Белинским к мужицкому быту вообще, названному им «*лапотной и сермяжной действительностью*». Фраза находилась в разборе какой-то пустой книжонки с рассказами из народной жизни, грубо и комически идеализированной автором. «Книжка книжкой, — говорил Г<ерцен>, — но отзыв неосторожен и сам по себе и тем, что дает потачку журналу считать себя большим барином перед народом. За что презирать лапоть и сермяжку? Ведь они не более как признак крайней бедности, вопиющего недостатка. Можно ли делать из них позорные эпитеты, а между тем такие эпитеты стали распложаться в журнале. Мне иногда бывает очень трудно защищать его. Я, например, ничего не нашел ответить Хомякову, когда он, подобрав эти фальшивые ноты, заметил: «Хоть бы вы растолковали редактору, что он ходит в сапогах потому только, что у него есть подписчики на «Отечественные записки», а не будь у него подписчиков на «Отечественные записки», и он недалеко бы ушел от лапотника» [159].

Т. И. Грановский по временам также смотрел не совсем одобрительно на некоторые полемические выходки Белинского, особенно на те, которыми затрогивались личности писателей, но ни он, ни Г<ерцен> уже не допускали и мысли о потворстве славянско-народной партии в ее жалобах на бесцеремонность критика — жалобах, имевших постоянно в виду его анализ прошлых и настоящих литературных «*слав*» России. В мнениях об этих так называемых *славах* они почти постоянно сходились с критиком. Не далее как в 1842 году Белинский, возмущенный тем, что один из московских профессоров не

и более возраставшей горячности споров между встречавшимися там людьми обеих партий [156]. Довольно привести один пример: в 1845 году разница в суждениях о памфлете Н. М. Языкова «Не наши» и о поступке автора, его написавшего, чуть не вызвала дуэли между П. В. Киреевским и Т. Н. Грановским, едва устраненной друзьями их. (*Примеч. П. В. Анненкова.*) [157]

иначе смотрел на его исследования в области литературы, как на преступления против величества русского народа (lèse-nation), написал довольно злой и остроумный памфлет под названием «Педант», в котором осмеивал слабые стороны мнений и приемов своего чересчур желчного противника[160]. Памфлет имел большой успех и, разумеется, раздражил донельзя того, кто послужил ему оригиналом. Вероятно, полагая возможным требовать от Грановского важных уступок на основании знакомства по университету и дому Елагиных, обиженный предложил ему, в присутствии многих свидетелей, довольно надменный вопрос: «Неужели после такой статьи он, Грановский, еще решится подать публично руку Белинскому при встрече?» — «Как! подать руку? — отвечал Грановский, вспыхнув. — На площади обниму» *. Говоря вообще, Белинский был, если можно так выразиться, смутителем московской жизни: без его раздражающего слова, может быть, она сохранила бы долее тот наружный вид изящного разномыслия, не исключающего мягких и дружелюбных отношений между спорящими, который составлял ее отличие в первый период великой литературной распри, завязавшейся у нас. Белинский решительными афоризмами и прогрессивно растущей смелостью своих заключений ставил ежеминутно, так сказать, на барьер своих московских друзей со своими врагами в Москве. Первый почувствовавший несообразность положения людей, изловчающихся как можно приличнее и ласковее наносить друг другу если не смертельные, то очень тяжелые раны, был благороднейший и последовательнейший Константин Сергеевич Аксаков. Правда и то, что для него славянизм и русская народная жизнь составляли более чем доктрину или учение, защищать которые обязывает честь: славянизм и народный русский строй жизни сделались жизненными основами его существования и кровию его самого. Г<ерцен> рассказывает в своих записках, как, встретившись на улице, К. С. Аксаков трогательно распрощался с ним навсегда, не признавая в нем более товарища на жизненном пути[161]. С Грановским дело было еще знаменательнее. К. С. Аксаков приехал к нему ночью, разбудил его, бросился к нему на шею и, крепко сжимая в своих объятиях, объявил, что приехал к нему исполнить одну из

---

* Рассказ Белинского. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

самых горестных и тяжелых обязанностей своих — разорвать с ним связи и в последний раз проститься с ним как с потерянным другом, несмотря на глубокое уважение и любовь, какие он питает к его характеру и личности. Напрасно Грановский убеждал его смотреть хладнокровнее на их разномыслия, говорил, что, кроме идей славянства и народности, между ними есть еще другие связи и нравственные убеждения, которые не подвержены опасности *разрыва*, — К. С. Аксаков остался непреклонен и уехал от него сильно взволнованный и в слезах *. Тогда еще у нас учение и взгляды порождали внутренние интимные драмы.

В доме же Елагиной Г<ерцен> встречался с постоянным своим оппонентом А. С. Хомяковым, в котором чрезвычайно уважал собственную свою способность усматривать в мыслях и фактах присущую им отрицательную сторону, их немощи и болезни, и потому искал диспутов и столкновений с противником такой силы, такой эрудиции и такого остроумия. В это время Г<ерцен> уже напечатал свою известную, очень живую, хотя и отвлеченно-философскую статью «Дилетантизм в науке» («Отечественные записки» 1842 года) [162], в которой давал право науке нисколько не беречь дорогих преданий, убеждений, облегчающих существование людей и народов на земле, и уничтожать их без робости, как только они противоречат в чем-либо ее собственным научным основаниям. В этом праве науки он находил и ее отличие от дилетантизма, равно неспособного отдаться младенческой душой поэзии народных измышлений и следовать неуклонно по пути анализа и строгого исследования предметов. Этими качествами дилетантизма и объясняется его природная способность мешать всем дойти до окончательных выводов под предлогом дружелюбной помощи каждой из сторон. Взамен и в вознаграждение каких-либо утрат в жизни автор сулил от имени науки ряд высоких наслаждений ума и таких здравых убеждений, которые с избытком вознаградят за все, что могло быть потрясено или уничтожено его. Статья обнаруживала страстную, полнейшую веру во всемогущество науки, под которой разумелась все-таки философия естествознания, и, несмотря на несколько тяжелый язык, была глубоко радикальной статьей по своему содержанию. При первой встрече с

* Рассказ Т. Н. Грановского. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

А. С. Хомяковым Г<ерцен> наткнулся, в противоположность своему философскому радикализму, на другой, тоже полнейший радикализм, но совсем иного вида.

Г<ерцен> рассказал сам в одном из своих заграничных изданий часть тех сшибок его с Хомяковым, которые касались преимущественно строя, духа и оснований немецкой философии. Из этих сообщений ясно оказывается, что главнейшим аргументом Хомякова против Гегелевой системы служило положение, что из разбора свойств и явлений одного *разума,* с исключением всех других, не менее важных нравственных сил человека, никакой философии, заслуживающей этого имени, выведено быть не может. О другой части своих споров с Хомяковым — теозофской — Г<ерцен> едва упоминает в записках, может быть потому, что она казалась ему гораздо менее важной, чем первая, но позволительно теперь не согласиться с его мнением [163].

Основным, хотя еще и не высказываемым ясно поводом к этой второй части их диспутов послужило предпринятое тогда А. С. Хомяковым восстановление (реабилитация) византиизма, столь опозоренного между учеными на Западе. Способ понимания и приложения его нашими прямыми, натуральными его защитниками — наставническим персоналом духовных семинарий и академий — увеличивал еще отвращение к нему. С известного письма Чаадаева [164], однако ж, в 1836 году, в котором византиизм объявлялся источником умственного и политического растления всей России и предавался чуть-чуть не проклятию истории, уже нельзя было обойти вопроса о византиизме всякому, кто захотел бы сообщить своим верованиям и убеждениям вид критически обсужденного и рассмотренного дела. А. С. Хомяков не только не обходил вопроса, но настойчиво примешивал его ко всем явлениям жизни и к таким сферам деятельности человеческой, где его присутствие всего менее ожидалось, везде давая ему, под рукою, роль мерила истины, добра и красоты. Ключ к пониманию многих крайне оригинальных мнений и приговоров школы Хомякова, которые шли наперекор всем добытым фактам и положениям, лежит именно в изобретении и употреблении этого нового критериума для оценки исторических явлений. Тезисы и положения ее вроде того, что религиозная сторона западного искусства и преимущественно дорафаэлевской живописи есть произведение слабосильного мистицизма, а

не прямого христианского созерцания, что привлекательный идеал старого русского правителя представляет нам царь Федор Иванович в своей особе, а прекрасный тип правления в народном духе являет царствование Елизаветы Петровны в новой нашей истории, — все эти тезисы, говорим, и другие, еще более смелые и странные, оттого и приводили в такое недоумение противников школы Хомякова, что они не вполне знали ее тайну и не обладали ключом к разбору этих загадок.

Что Хомяков был добросовестен и веровал в свои начала, — о том не может быть и слова, но позволительно думать вместе с тем, что его уму, преимущественно диалектическому, идея поднять знамя византиизма, переделать приговор истории, поворотить общее мнение назад, — могла иметь свою обольстительную сторону. Как бы то ни было, объявляя византиизм великим и еще не вполне оцененным явлением в человечестве, А. С. Хомяков тем самым отрицал и уничтожал громадную массу исторических, критических и теологических трудов Запада, враждебных восточной цивилизации, понижал его кичливость и многие предметы его гордости, как, например, эпохи Реформации и Возрождения, до смысла второстепенных и даже болезненных явлений человеческой мысли. Реформация была для него жалкой попыткой западных народов исправить религию, прямые источники которой засыпаны католицизмом наглухо, а эпоха Возрождения, ей предшествовавшая, — отчаянным призывом со стороны тех же народов языческого мира на помощь для создания у себя чего-либо похожего на науку, искусство и цивилизацию. Положительная сторона в защите всеспасающего византиизма основывалась у него на представлении и понимании церковного восточного учения как такого, которое допускает полную свободу мысли при неограниченном авторитете политического или церковного догмата. А. С. Хомяков нисколько не стеснялся историей Византийской империи, которая могла противоречить этому положению. Во-первых, для него дельной, беспристрастной истории византийских греков вовсе не существовало на свете, и все, что выдается за их историю в Европе, представлялось ему чуть ли не сплошной клеветою или жалким недоразумением, а во-вторых, она не могла бы служить ни подтверждением, ни опровержением его мысли, если бы и существовала. Начала, лежавшие в основе восточного христианства, были так глубоки и высоки, что

политическое и общественное развитие самой страны за ними не поспевало. Можно себе представлять растление константинопольского двора, общественных нравов и государственных порядков в каком угодно виде, но дух и созерцание, хранимое церковью народа и переданное ею векам, все-таки остается единственным фундаментом, на котором может быть утверждено великое, образованное и нравственное христианское государство. В византийской империи ее церковное учение и есть настоящая ее история, ее мысль и ее право на благодарность народов. В позднейших брошюрах, которые А. С. Хомяков издавал за границей, в пятидесятых годах, под псевдонимом «Ignotus», содержится изложение главных пунктов этого учения и вытекающего из них взгляда на взаимные отношения народа к своим иерархам и властям в христианской общине. Восточное христианство даже рядом и назло азиатскому деспотизму, иногда становившемуся во главе его, сберегло представление о собрании верных как прототипе государства, где каждый зависит от каждого и где каждый есть в одно время и подначальное и руководящее лицо. Оно допускало фактически, но не знало в принципе деления людей на учителей и учеников, на обязанных повелевать и обязанных повиноваться, потому что все люди имели одно назначение — служить *церкви,* — и малейший из них мог стать рядом с превознесенным членом в течение этой непрерывной службы и по ее требованию. Самые догматы, выработанные восточным христианством, при всем своем характере непререкаемости и неизменности, еще нисколько не стесняют свободы движения для философской мысли, благодаря полученной ими в «соборах» глубине и всеобъемлемости: они облекают человеческое разумение со всех сторон, как атмосфера или небо облекают нашу землю. Сверх того, философия, не чуждающаяся теологических истин, нравственных и бытовых вопросов, такая, зачатки которой находятся в византийских учителях, отвечает точно так же на требования сердца, как и на запросы самого тонкого метафизического анализа, и по этому двойственному характеру она именно и должна рано или поздно пустить живые отпрыски во все виды науки, освежить и обновить умственный быт Европы.

К такому великому делу обновления захудавшего, в нравственном смысле, европейского существования призвана та национальность, которая судьбами истории и

провидения сделалась наследницей и представительницей византиизма в мире, какова бы, впрочем, ни была покамест бедная, смиренная, приниженная доля этой избранной национальности.

Более отвлеченного радикального мышления нельзя было противопоставить философскому радикализму Г<ерцена>, и последний сознавался, что А. С. Хомяков заставил его прочесть волюминозные истории Неандера и Гфрёрера[165] и особенно изучать историю вселенских соборов, мало знакомую ему, для того чтобы восстановить некоторого рода равновесие в споре с противником и иметь возможность поверять обильные ссылки Хомякова на каноны и параграфы соборных постановлений, которыми он сыпал на память, противопоставляя их точным немецким тезисам Г<ерцена>.

Если основное положение Хомякова, точка исхода всей его системы, имело такой радикальный характер, то само собою разумеется, что выводы, практические приложения, политические, исторические и литературные суждения, ею обусловливаемые, должны были еще в сильнейшей степени носить оттенок пренебрежения к западной цивилизации, сурового взгляда на ее развитие и решительного отрицания большей части ее продуктов. Оно так и было. Сам А. С. Хомяков прилежно следил за ходом и открытиями наук, художеств и даже ремесел в Европе, будучи одним из самых развитых людей на Руси, но школа, им образованная, понеслась, как всегда бывает, в данном ей направлении уже без оглядки и осторожности, сохраняемых основателем. Все, с чем носились тогда наши западники, начиная от романов Ж. Занда, имевших большой успех между ними по социальным вопросам, которые они поднимали, до новых попыток к устроению политического и экономического быта государств (Конт, Прудон, Мишеле), — все это отстранялось школой Хомякова как не стоящее внимания. Европа объявлялась несостоятельной для здорового искусства, для удовлетворения высших требований человеческой природы, для успокоения религиозной жажды народов и водворения справедливости, правомерности и любви между ними. Ей предназначались естественные, финансовые, технические науки, великие промышленные изобретения, создание громадных торговых и военных флотов — словом, баснословные успехи по всем отделам ведения, способствующим материальной стороне существования. Она

осуждалась на развитие комфорта, роскоши, богатств, которые и накопляются ею в безмерном количестве. Благосостояние Европы, беспримерное в истории, продолжает еще расти, в ущерб все более и более грубеющему нравственному смыслу ее. Она даже закрывает глаза от восстающей перед ней смерти в образе пролетариата, который расплодился под ее кровом и грозит возобновлением времен варварства. От европейских литератур школа Хомякова брала и помнила только подходящие места из их сатириков, моралистов и обличителей; историки и писатели Европы ценились по количеству упреков и нареканий, какие случалось им проронить относительно своего времени и прошлого их отечества. Иностранная хрестоматия школы вся почти состояла из образцов этого рода, которые и цитировались ею часто и охотно. По свидетельству всех слышавших Хомякова, он производил критику социального и интеллектуального положения Европы с особенным искусством, блеском и остроумием хотя и в границах приличия и осторожности, свойственных его чуткому уму. Как Г<ерцен>, с своей стороны, ни старался сдерживать и холодить его критическое воодушевление, он сам еще не избавился от действия этой критики. Слова Хомякова, по нашему мнению, оставили следы в уме и сердце Г<ерцена>, против его воли может быть, и отразились в позднейшей его проповеди о несостоятельности и банкротстве западной жизни вообще.

На пути этих жарких прений встречалось, однако же, имя, вокруг которого спор шумел и пенился особенно яростно, наподобие потока, встретившегося с неподвижной скалой. Это было имя нашего колосса, который, принимая от сената титул «отца отечества», сказал речь, как бы отвечающую из глубины прошлого столетия на современные волнения потомков: «Нам всегда надлежит помнить участь Царяграда и Византийской империи, для того чтоб за пустыми занятиями не потерять своего государства» [166]. Зато имя этого человека и причислялось наиболее горячими адептами школы к разряду той вольницы, тех изгоев общества и ненавистников русского быта, которых во все времена было много на Руси, не только между приказными и по царевым кружалам [167], но даже и в почтенных, но особенно строгих семействах. Эти-то изгои и произвели реформу, когда один из гениальнейших людей всех веков сделался их представителем

и захватил бразды управления московским царством. Радикальнее этого нельзя было отвечать западникам, благоговевшим перед реформой; зато западники и мстили своим противникам, предавая, с своей стороны, поруганию все, что те считали святыней народного духа и народных воспоминаний.

В печати, на скромном поприще тогдашней публицистики, все это, разумеется, являлось в смягченном виде, высказывалось не так ярко и откровенно. На сцену люди выходили, за очень малыми, всем известными исключениями, несколько принаряженные. Однако же следы домашних бурь должны были отражаться и в журнальной литературе и действительно отражались. Журнал «Москвитянин», сделавшийся эхом славянофильской школы, доходил в защите своих основных положений — о богатстве русского народного духа, о его религиозной сущности, об элементах смирения, кротости, терпения, мудрости, его отличающих, — до крайних границ увлечения, до утверждения, например, что земля русская удобрялась для истории не как земли западных народов, кровью населений, а только слезами их[168]. Журнал «Отечественные записки», сделавшийся с 1840 года центром соединения для «западников», в своей проповеди общечеловеческого развития, законы которого одинаковы, как они утверждали, для всех стран, почасту простирал отрицание народных отличий до степени непонимания, казавшейся напускной и предумышленной. Оба журнала вели ожесточенную полемику, и, конечно, не было недостатка с обеих сторон во взбалмошных головах, в «enfants perdus», которых редакции выпускали в виде застрельщиков: они-то и производили те курьезы и абсурды, которых можно набрать довольное количество и тут и там. Многие и доселе еще полагают, что эти курьезы и абсурды именно и составляют характеристические черты тогдашней журналистики, но разделять этот взгляд не предстоит возможности. За обоими журналами стояли еще люди, смотревшие гораздо далее того горизонта, которым ограничивались по необходимости публичные органы, ими поддерживаемые. Так, Белинский понимал все вопросы гораздо глубже, чем «Отечественные записки», где писал, а за Белинским стояли еще Грановский, Г<ерцен> и др., часто вовсе не разделявшие взглядов своего журнала. С «Москвитянином» это еще было очевиднее и резче. Люди, подобные обоим Киреевским,

Хомякову, Аксаковым, никак не могут быть привлечены к ответственности за все задорные выходки редакции. По обширности понимания славянофильского вопроса, по дельности и внутреннему значению своих убеждений, они стояли гораздо выше «Москвитянина», который постоянно считался их органом и поддерживался ими наружно.

Таким образом, обе литературные партии в описываемое время (1843) стояли как два лагеря друг против друга, каждый со своими шпагами. Казалось, они уже никогда и не будут встречаться иначе, как с побуждением наносить взаимно удары и обмениваться вызовами, но время, год*а* прибывающего размышления устроили дело иначе. Уже в половине этого периода, между 1845—1846 годами в умах передовых людей обоих станов свершился поворот и начало возникать предчувствие, что обе партии олицетворяют собой каждая одну из существеннейших необходимостей развития, одно из начал, его образующих. Партии должны были бороться так, как они боролись, на глазах публики, для того, именно, чтобы выяснить всю важность содержания, заключающегося в идеях, ими представляемых. Только после их усилий, трудов и борьбы можно было распознать, сколько жизненной правды заключается в идее народного, племенного.

XIX

В конце 1843 года Белинский, уже женатый, занимал небольшую квартиру на дворе дома Лопатина, которого лицевая сторона выходила на Аничкин мост и Невский проспект.

В этом помещении Белинский предоставил себе три небольших комнаты, из коих одна, попросторнее, именовалась столовой, вторая за ней слыла гостиной и украшалась сафьянным диваном с обязательными креслами вокруг него, а третья — нечто вроде глухого коридорчика об одном окне — предназначалась для его библиотеки и кабинета, что подтверждали шкап у стены и письменный стол у окна. Впрочем, сам хозяин нисколько не подчинялся этому распределению: в столовой он постоянно работал и читал, а диван гостиной служил ему большею частию ложем при частых его недугах; в кабинет он за-

глядывал только для того, чтоб достать из шкапа нужную книгу. Две задние комнаты занимала его семья, умножившаяся вскоре дочерью Ольгою.

Ребенок этот, а потом сын, проживший недолго и унесший с собою в могилу последние силы отца, да еще цветы на окнах составляли тогда предмет его ухаживаний, забот и нежнейших попечений. Они одни были его жизнию, которая начинала уже убегать от него и угасать понемногу. Вскоре ему уже предписано было носить респиратор при выходе на воздух, и он шутливо говорил мне: «Вот какой я богач сделался! Максим Петрович у Грибоедова едал на золоте, а я дышу через золото: это будет еще поважнее, кажется!» [169] Часто заставал я его на диване гостиной в совершенном изнеможении, особенно после усиленных трудов за срочной статьей, оставлявших его с головной болью и в лихорадке. Надо сказать, впрочем, что он очень скоро поправлялся после этих пароксизмов, поддерживаемый тем напряженным состоянием духа и воли, которое уже не покидало его с 1842 года и которое, поднимая его часто с одра болезни и давая ему обманчивый вид человека, исполненного жизни и энергии, разрушало в то же время и последние основы его страдающего организма.

Возбужденное состояние сделалось наконец нормальным состоянием его духа. Почти ни минуты покоя и отдыха не знала его нравственная природа до тех пор, пока болезнь окончательно не сломила его. Самые тихие, дружеские беседы чередовались у него с порывами гнева и негодования, которые могли быть вызваны первым анекдотом из насущной жизни или даже рассказом о каком-либо диком обычае иной, очень далекой страны. Кто-то однажды рассказал перед ним способ, которым добывал себе евнухов хорошей расы старый египетский паша Мегемет-Али. Мегемет делал именно разию на какое-либо соседнее негритянское племя и приказывал захватывать при этом всех детей мужеского пола; затем над пленными производился строгий выбор, а избранные экземпляры подвергались известной операции, после которой их тотчас же зарывали по пояс в горячий песок степи. Половина детей умирала, а другая, выдержавшая опыт, рассылалась старым злодеем разным турецким сановникам, в которых он почему-либо нуждался. Кровь бросилась в голову Белинскому; он подошел к анекдотисту и произнес жалобным голосом: «Зачем вы рассказали э т о , — мне

придется теперь не спать ночь». Жена Белинского вообще чрезвычайно боялась вечеров, когда он засиживался с друзьями в разговорах.

По действию воображения и представительной способности, развитых у него неимоверно, он переносил ненависть на лица, уже отошедшие в область истории, на давно минувшие события, почему-либо возмущавшие его. У него было множество врагов и предметов злобы как в современном мире, так и в царстве теней, о которых он равнодушно говорить не мог. Объективных, то есть, попросту сказать, индифферентных отношений к историческим деятелям или важным фактам истории вовсе и не знала эта страстная природа. Белинский превращался как будто в современника различных эпох, на которых натыкался в чтении, выбирал сторону, которую следовало защищать, и боролся с противной стороной, уже давно замолкшей, — так, как будто она сейчас нарушила его нравственный покой и убеждения. Нечто подобное, в обратном смысле, происходило и с предметами его симпатий, которые он отыскивал в разных веках и у разных народов: он влюблялся в героев своей мысли, вскакивал с места при одном их имени и нередко защищал их от современной критики до последней возможности. Он неохотно расставался со своими друзьями. Но всего более, однако же, тратил он сил на вражду и негодование. Круг врагов его, кроме действительных и состоявших налицо, увеличивался всем персоналом, добытым в чтении: он боролся так же страстно с тенями прошлого, как и с людьми и событиями настоящего.

Можно себе представить, что происходило, когда Белинский покидал безответных своих подсудимых и случайно натыкался на живое, современное лицо, стоявшее перед ним воочию с каким-либо ограниченным пониманием серьезного предмета или с какой-либо тупой и обскурантной теорией. В то время вообще не умели различать человека от его слова и суждения и думали, что они неизбежно составляют одно и то же. Всех менее допускал это различие Белинский, и громовые его обличения в подобных случаях разрывали все связи с оппонентом и не оставляли никакой надежды на возобновление их в будущем. Последствием такого образа сношений со светом была, конечно, необходимость жить в одиночестве или только в сообществе очень близких людей, на что Белинский охотно и осуждал себя, не изменяя нисколько

своих приемов мысли и суждений, когда насильно и случайно вводился в другую среду.

Понятно, что в таком же напряженном состоянии духа происходило и его чтение, даже и тогда, когда обращалось на предметы ученого и отвлеченного содержания. Мы уже упомянули, что в этот период его жизни, оно — чтение это — все прогрессивно разрасталось в сторону экономических и политических вопросов. Такой манеры чтения, какую усвоил себе Белинский, достаточно было, чтобы надсадить и более сильный организм. К книге, к статье, любому учению и мнению, начиная от самых добросовестных трактатов, захватывающих глубочайшие интересы общества и человечества, и кончая самыми ничтожными произведениями русской словесности, — Белинский всегда относился более чем серьезно, относился страстно, допытываясь психических причин их появления, создавая им генеалогию, разбирая одну по одной черты их нравственной физиономии. Поводов для восторгов и вспышек гнева находилось тут множество. Сколько раз случалось нам заставать его — после оконченной книги, статьи, главы — расхаживающим вдоль трех своих комнат со всеми признаками необычайного волнения. Он тотчас же принимался передавать свои впечатления от чтения в горячей, ничем не стесненной импровизации. Я находил, что эта импровизация еще лучше его статей, но статьи в таком тоне и не пишутся, да и писаться не могут. Если судить по количеству и массе ощущений, порывов и мыслей, какие переживал этот замечательный человек каждый день, то можно назвать его коротенькую жизнь, так быстро сгоревшую на наших глазах, достаточно продолжительной и полной. К тому следует прибавить, что Белинский так врастался, смеем выразиться, в авторов, которых изучал, что постоянно открывал их затаенную, невысказанную мысль, поправлял их, когда они изменяли ей или нарочно затемняли ее, и выдавал их последнее слово, которое они боялись или не хотели произнести. Этого рода обличения были самой сильной стороной его критики. Так, во многих иностранных, преимущественно экономических и социальных, писателях он угадывал направление, которое они примут или должны принять. Так, например, он говорил о Жорж Занде, которого, впрочем, очень уважал, что писательница эта гораздо более связана теми идеями и принципами, которые отвергает, чем сколько сама то

думает; о Тьере он замечал, что в его «Истории французской революции» [170] последняя является чем-то вроде *божьего попущения,* отчего в ней становится многое непонятным, несмотря на очень ясное и гладкое изложение. Пьера Леру Белинский называл взбунтовавшимся католическим попом и т. д., а о русских наших деятелях и говорить нечего — он почти безошибочно определял всю будущую их деятельность по первым представленным ими образцам ее.

Немудрено, если при этой постоянной работе его духа приятели его находили, что с каждой новой встречей он уже стоял не там, где его видели накануне; неустанное колесо мысли уносило его часто далеко из их глаз. Полемике его суждено было выразить именно эту сторону его психической натуры, жаждавшей борьбы и движения, подобно тому как критико-публицистические статьи изобличали его способность самообладания и его господство над собственной мыслию.

После этого уже не трудно представить себе, что в войне между западниками и славянофилами Белинский оказался врагом непримиримым, между тем как другие собратья его по оружию, как Г<ерцен> или Грановский и проч., считали себя втайне только временными врагами нашей национальной партии и ждали от лучших ее представителей только разъяснения их программы, чтобы протянуть им руку. Правда, и Белинский пришел позднее к мысли о необходимости разобрать дельное в учении славянофилов от не совсем дельного наноса, да также допустил и оговорки, ограждающие собственное его западное воззрение от упрека в слепой страсти ко всем европейским порядкам, но он последний кинул брешь, которую фанатически защищал от вторжения элементов темного, грубого, непосредственного мышления народных масс, противопоставляя знамя общечеловеческого образования всем притязаниям и заявлениям так называемых народных культур [171].

Исходной точкой всей ожесточенной полемики его против таких культур и против их защитников было убеждение, что они могут возникать при всяком порядке вещей и уживаться со всяким строем жизни, к которому привыкли или который почему-либо излюбили. Наоборот, ему казалось, что основной характер общечеловеческого образования именно и состоит в том, что люди, его усвоившие, подвергают критике и обсуждению все

формы существования и удовлетворяются только теми, которые отвечают логике и выдерживают самый строгий анализ. На этом основании Белинский делил мир на зрячие и слепые народы, и последние были ему противны по принципу, какими бы в прочем добродетелями, высокими качествами души, способностями и другими знатными преимуществами ни обладали.

Нужно ли прибавлять, что о какой-либо справедливости по отношению к людям, народам и предметам не было и помину при этом, да о справедливости Белинский, в пылу битвы, и не заботился, в чем совершенно походил и на своих противников, поступавших точно так же. И он и они спасали только свои воззрения, казавшиеся им благотворными по своим последствиям, а о т о м, — сколько падало при их столкновениях напрасных жертв, сколько наносилось грубых ударов, ничем не оправдываемых, идеям и верованиям, сколько страдало задаром репутаций и л и ч н о с т е й, — никто и не думал. Все это предоставлялось разобрать последующей истории и возвратить каждому должное и заслуженное. Для современников же оставалась горькая, упорная борьба, отчаянная, многолетняя ненависть друг к другу, закоренелая до того, что она даже пережила многих борцов и продолжалась от их имени на их гробах.

Еще до возвращения моего на родину, именно в 1842 году, Белинский, вскоре после своего памфлета «Педант», о котором я уже упоминал, нанес и еще другой тяжелый удар одной весьма почтенной личности московского круга — ныне покойному К. С. Аксакову. Известно, что К. С. Аксаков, при появлении первой части «Мертвых душ», в том же 1842 году написал статью [172], в которой проводил мысль о сходстве Гоголя по акту творчества и силе создания с Гомером и Шекспиром, находя, что только у одних этих писателей да у нашего автора обнаруживается дар указывать в пошлых характерах и в самом пороке еще некоторую внутреннюю крепость и своего рода силу, которые почерпаются ими уже от принадлежности к мощной и здоровой национальности. К. С. Аксаков, приравнивая Гоголя к Гомеру по акту творчества, позабыл притом упомянуть о множестве гениальных европейских писателей, отличавшихся тоже необычайными творческими способностями, которые, таким образом, как будто ставились все ниже Гоголя, а

вдобавок еще прямо объявлял, что в деле романа, понятого как продолжение древнегреческого эпоса, уже ни одно *современное европейское имя* не может быть поставлено рядом с именем Гоголя ни в каком случае. Ничто но могло возмутить Белинского более этих афоризмов[173]. Тот самый Белинский, который первый провозгласил Гоголя гениальным художником, объявлял теперь и печатно и устно, что гениальность Гоголя как создателя типов и характеров хотя и не может быть опровергаема, но имеет все-таки значение относительное. По содержанию и внутреннему смыслу задач, разрешаемых русским автором, она ограничена умственным и нравственным положением страны, и дело, им производимое, не может идти ни в какое сравнение с вопросами и темами европейского искусства, с целями, какие оно себе задавало и задает теперь в лице лучших своих представителей; что затем никакой предполагаемой крепости и силы народного духа в выводимых Гоголем на сцену лицах не обретается, ни о каком таком значении их, вероятно, автор и не думал, а если и думал, то ребячески ошибался. Вдобавок Белинский прибавлял, что Гоголь не только не выше всех европейских романистов, но, превосходя многих из них даром непосредственного творчества, наблюдения и поэтического чувства, уступает в объеме и значении основных идей некоторым, даже и не очень крупным явлениям европейской литературы. Все эти заметки наносили достаточно сильный удар новому предпринятому толкованию Гоголя, но Белинский присоединил еще к этому несколько саркастических выводов из положений своего противника и заключал спор насмешкой. Последним ударом — coup de grâce — этой полемики со стороны Белинского было его заявление, что если судить по некоторым лирическим местам первой части «Мертвых душ», в которых обещаются изумительные откровения относительно внутренней и внешней красоты русской жизни, то Гоголь может, пожалуй, утерять и значение великого *русского* художника. С тех пор имя Белинского пронеслось «яко зло» в лагере славянофилов и даже сделалось у них как бы олицетворением наносной, ни с чем не связанной, чуждой народу петербургской цивилизации, между тем как сами они отписали за собой Москву как город, где особенно живет и развивается чуткое понимание русского народного духа со всеми его чаяниями и представлениями.

XX

Я застал Белинского еще под влиянием этой полемики, раздраженного ею в высшей степени и собирающегося на новые битвы. Не проходило дня, чтоб не завязывался разговор о московском понимании нравственных и политических задач Европы и России, о московских толкованиях Гоголя и сторон русской жизни, им разоблаченных, о московском представлении порядков старорусского быта и о морали, которая истекает из учения славянофилов или в нем подразумевается. Повторяем, о справедливости к противникам тут не было и помысла, да и противники платили той же монетой своему петербургскому оппоненту и его партии. Спор сошел на вражду и пререкательство между двумя городами. С обеих сторон патриотизм заключался в том, чтоб унизить одну столицу на счет другой. Для человека, несколько чуждого страстей, в которых истощались обе партии, не было возможности сохранить что-либо похожее на свободное мнение. Выхода покамест не существовало. Надо было выбирать между партиями, жертвуя всеми возражениями, которые могли появляться в уме при их взаимных напраслинах, и, так сказать, обезличить себя в пользу своей собственной стороны.

Никто не испытал на себе полнее и болезненнее действие этой перестрелки между двумя центрами нашего развития, как И. С. Тургенев, очутившийся в среде их, когда явился из-за границы, выступив вскоре потом и на литературное поприще с поэмой «Параша» (1843 год). Заподозрив в нем с первых же шагов истого западника, партия, недружелюбно смотревшая на образцы чуждого воспитания и развития, словно задалась мыслью собрать как можно более помех на его жизненном пути. Целая коллекция пустых анекдотов о его словах, выражениях, замечаниях собиралась тщательно противниками и пускалась в ход с нужными прикрасами и дополнениями. О произведениях Тургенева до «Записок охотника» иначе и не говорилось, как о чудовищностях западного развития, пересаженных, без всяких признаков таланта, на русскую почву. Не так думал Белинский, открывший сразу в «Параше» признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрения на предметы [174]. «Что мне за дело до всех анекдотов о н е м , — говорил Б е л и н с к и й , — кто написал

«Парашу», тот сумеет поправить себя, в чем будет нужно и когда будет нужно». Слова его и на этот раз оправдались. Быстрое, ослепительное развитие художнического таланта в Тургеневе вместе с развитием качеств его нравственной природы, его духа благорасположения, терпимости вообще к людям и особенно справедливости к их трудам и убеждениям примирило с ним всех его бывших преследователей и поставило его самого в центре умственного движения.

Впрочем, в то время между партиями таилась, однако же, одна связь, одна примиряющая мысль, более чем достаточная для того, чтоб открыть им глаза на общность цели, к которой они стремились с разных сторон... Но еще не наступило время для разъяснения этого примиряющего начала, лежавшего в зерне посреди бранного поля и беспрестанно затаптываемого ногами борцов. Зерно, однако же, проросло, несмотря на все невзгоды, как увидим. Связь заключалась в одинаковом сочувствии к порабощенному классу русских людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни, допускающего это порабощение или даже на нем именно и основанного. Покамест никто еще не хотел видеть сродства в основном мотиве, двигавшем обе партии, и когда по временам мотив этот обнаруживался сам собой, партии наши торопились поскорее замять его. Для вящего укрепления розни не доверяли ни чувствам, ни характеру, ни намерениям друг друга. В Москве говорили по поводу петербургских гуманных протестов: «Петербург сделал из либерализма и своего отчаяния покойное вольтеровское кресло, в котором и нежится». Из Петербурга отвечали на это: «На московских исторических пуховиках еще слаще должно с п а т ь с я, — особенно под гул сорока сороков». Ко всему этому присоединялись еще и стихотворные перебранки. В Москве писались пасквили и эпиграммы на Белинского, и притом людьми в житейском отношении несомненно чистого нравственного характера, а из Петербурга им отвечали ругательной песенкой, содержавшей, между прочим, такую строфу:

Да, Россия — властью вашей —
Та же, что и до Петра:
Набивает брюхо кашей
И рыгает до утра.

Какое же тут могло быть соглашение?

Раздраженный полемикой, Белинский сделался подозрительным в высшей степени. Так, движимый все тем же опасением за элементы европейского развития, он недружелюбно отнесся и к нашей провинциальной литературе, к появлявшимся тогда сборникам, харьковским, архангельским и другим, усматривая тут намерение образовать маленькие центры цивилизации, в противоположность большим, государственным центрам — петербургскому и московскому — и проводить у себя дома втихомолку идеи о самостоятельной народной культуре, которая способна сама отыскать себе все нужные основы [175].

Пропасть, разделявшая партии, особенно расширилась, когда у нас публично зашла речь о правах на наше патриотическое и народное сочувствие всех иноземных — австрийских, венгерских, турецких — славян. Речь эта, впервые поднятая М. П. Погодиным [176], перешла в русскую печать из официальных и частных кругов, где конфиденциально держалась с начала тридцатых годов — в таком декламаторском виде, что на первых порах вызвала у Белинского глумление над ее формой и содержанием. Положение, принятое им по славянскому вопросу, имело одинаковый источник с тем, которое он выбрал относительно славянства вообще. Поводом к отрицанию этого вопроса служило Белинскому опять предположение, что за вопросом скрывается попытка прославления темных народных культур и усилие противопоставить их теперь с некоторой надеждой на успех выработанным началам европейской мысли. В самом деле, попытка на этот раз могла рассчитывать на те невольные симпатии к угнетенным племенам и народам, которые должны жить и действительно жили в русской публике. Никто более самого Белинского не был предрасположен к такого рода сочувствию, но при мысли, что тут может существовать план возвысить бедное племенное творчество с его суевериями, заблуждениями и бессознательными проблесками истины на степень, равную или даже высшую обдуманных основ и начал европейского образования, — при одной этой мысли Белинский устранял все другие соображения и нередко насиловал свое чувство. Так и в настоящем случае вышло, что Белинский хладнокровно относился к доблестным трудам и жертвам тех почтенных иностранных деятелей славянства, которые спасли язык и нравственную физиономию своих племен от

конечной гибели посреди других враждебных им народов. Не более справедливости, впрочем, оказывали и противники Белинского ему самому, когда принимались разбирать основы и побуждения его оппозиции. Они объявляли его человеком, преданным самым узким интересам существования, не имеющим даже и органа для понимания патриотических или народных инстинктов. Они шли и далее. По горячей его защите государственных приемов Петра I, по заявленным симпатиям к Петербургу они объявляли его мелким и вряд ли *вполне бескорыстным* централизатором и бюрократом. Централизатором он действительно и был, но не в том смысле, как говорили его враги, — не в пользу какого-либо существующего уже порядка дел и вещей, а того дальнего, который представлялся ему в виде единения всех народов Европы на почве одной общей цивилизации, под покровом одних законов для разумного существования.

С каким одушевлением говорил он о первых проблесках этой будущей централизации, этого будущего строя жизни, которые усматривал и в сближении европейских народов между собой посредством новых дорог, международных установлений и проч. и в их усилиях создать, не уничтожая родовых и племенных особенностей каждой страны, один общий кодекс для государственного и общественного существования человечества! А вместе с тем он уже не мог, да и не хотел сдерживать своего негодования, как только ему казалось, что обнаруживаются признаки посягательства на этот мерцающий вдали и еще далеко не обработанный кодекс. Все, что затрудняло его осуществление со стороны народного тщеславия, заносчивости этнографов, возвеличивающих ту или другую из народных групп на счет всех других национальностей, или со стороны скептицизма, почерпающего в отрицательных и темных подробностях современной европейской жизни доводы в пользу устранения ее от дел, — все это приводило его в неописанное волнение. Во многом он и заблуждался, как показало время, при восторженном изложении своих надежд на развитие Европы, но он заблуждался доблестно, как бывает с людьми, глубоко верующими в какую-либо великую идею! Белинский до того ревниво охранял добро, собранное старой и новой европейской цивилизацией, что уже подозрительно смотрел на образцы и замечательные произведения других, чуждых ей культур и отзывался о них очень

сдержанно. При появлении поэмы «Наль и Дамаянти» в художественном переводе Жуковского он ограничился напоминовением читателю, как греческий эпос «Илиада» выше измышлений индийского народного творчества. То же самое было и тогда, когда прекрасный перевод Я. К. Грота познакомил русскую публику с финской эпопеей «Калевала», с этим памятником фантазий и представлений народа, некогда населявшего, как говорят, всю Европу. Противопоставляя опять финский эпос греческому созерцанию жизни, Белинский находил в первом только безобразную фантазию, чудовищные образы и сплетенья, свойственные дикому народу и которые должны оттолкнуть всякого, кто раз ознакомился со стройностию, мерой и изяществом греческой народной производительности [177].

Как ни важны были, однако же, все эти вопросы и к какой яркой полемике ни давали они повод, все же они не могли заслонить ни на минуту перед Белинским чисто русского вопроса, который тогда целиком сосредоточивался у него на одном имени Гоголя и на его романе «Мертвые души». Роман этот открывал критике единственную арену, на которой она могла заниматься анализом общественных и бытовых явлений, и Белинский держался за Гоголя и роман его цепко, как за нежданную помощь. Он как бы считал своим жизненным призванием поставить содержание «Мертвых душ» вне возможности предполагать, что в нем таится что-либо другое, кроме художественной, психически и этнографически верной картины современного положения русского общества. Все силы своего критического ума напрягал он для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к допущению каких-либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме тех суровых, строго обличающих, какие прямо из него вытекают. После всех своих отступлений в область европейских литератур, в область славянства и проч. он возвращался с этого поля более или менее удачных битв опять к своему постоянному, домашнему делу, только освеженный предшествующими кампаниями. Домашнее дело это заключалось преимущественно в том, чтоб выбить из литературной арены навсегда, если можно, как диких, коварных и своекорыстных ругателей гоголевской поэмы, так и восторженных ее доброжелателей, прозревающих в ней не то, что она действительно дает. Он не уставал указывать правильные

отношения к ней и устно и печатно, приглашая при всяком случае и слушателей и читателей своих подумать, но подумать искренно и серьезно о вопросе, почему являются на Руси типы такого безобразия, какие выведены в поэме; почему могут совершаться на Руси такие невероятные события, какие в ней рассказаны; почему могут существовать на Руси, не приводя никого в ужас, такие речи, мнения, взгляды, какие переданы в ней.

Белинский думал, что добросовестный ответ на вопрос может сделаться для человека, добывшего его, программой деятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильного суждения о себе и других.

К этому же времени относится и появление в русской изящной литературе так называемой «натуральной школы», которая созрела под влиянием Гоголя, объясняемого тем способом, каким объяснял его Белинский. Можно сказать, что настоящим отцом ее был — последний. Школа эта ничего другого не имела в виду, как указание тех подробностей современного и культурного быта, которые не могли еще быть указаны и разобраны никаким другим способом, ни политическим, ни научным расследованием. Кстати заметить: прозвище «натуральной» дано ей было корифеем риторического, бесталантного, фальшиво-благонамеренного изложения русской жизни — Булгариным [178], но из вражды к Белинскому прозвищу обрадовались, и прозвище усвоили даже и люди, глубоко презиравшие литературную и критическую деятельность Булгарина. Оно и до сих пор держится у нас, несмотря на свое происхождение и на свою бессмыслицу [179].

XXIII

Покуда все это происходило вокруг имени Гоголя, сам он повернул в такую сторону, куда не пошли за ним и многие из тех, которые считались людьми, разделяющими все его взгляды. В феврале 1844 года я получил от него неожиданно и после долгого молчания следующее письмо:

«Февраля 10-го, Ницца, 1844.

Иванов прислал мне ваш адрес и сообщил мне вашу готовность исполнять всякие поручения. Благодарю вас

за ваше доброе расположение, в котором, впрочем, я никогда и не сомневался. Итак, за дело. Вот вам поручения: 1-е... (Это первое поручение заключалось в понуждении друга Гоголя, товарища его по Нежину, а теперь поверенного по делу печатания «Мертвых душ» в Петербурге, Н. Я. Прокоповича, к скорейшему доставлению наличных вырученных денег и расчетов. Как мало любопытное, мы его пропускаем и прямо переходим ко второму поручению как самому существенному для нас, которое уже и выписываем целиком, с сохранением орфографии автора.)

2. Другая просьба. Уведомьте, в каком положении и какой приняли характер ныне толки как о «Мертвых душах», так и о сочинениях моих. Это вам сделать, я знаю, будет отчасти трудно, потому что круг, в котором вы обращаетесь, большею частию обо мне хорошего мнения, стало быть, от них, что от козла молока. Нельзя ли чего-нибудь достать вне этого круга, хотя чрез знакомых вашим знакомым, через четвертые или пятые руки. Можно много довольно умных замечаний услышать от тех людей, которые совсем не любят моих сочинений. Нельзя ли при удобном случае также узнать, что говорится обо мне в салонах Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого, — в какой силе и степени их ненависть, или уже превратилась в совершенное равнодушие. Я вспомнил, что вы можете узнать кое-что об этом даже от Романовича *, которого, вероятно, встретите на улице. Он, без сомнения, бывает по-прежнему у них на вечерах. Но делайте все так, как бы этим вы, а не я интересовался. Не дурно также узнать мнение обо мне и самого Романовича.

За все это я вам дам совет, который пахнет страшной стариной, но тем не менее очень умный совет. Тритесь побольше с людьми и раздвигайте всегда круг ваших знакомых, а знакомые эти чтобы непременно были опытные и практические люди, имеющие какие-нибудь занятия; а знакомясь с ними, держитесь такого правила: построже к себе и поснисходительнее к другим, а в хвост этого совета положите мой обычай не пренебрегать никакими толками о себе, как умными, так и глупыми, и никогда

* Тоже нежинский товарищ Гоголя, пробивавшийся в литераторы с большими усилиями и посещавший для того разные литературные круги. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

не сердиться ни на что. Если выполните это, благодать будет над вами, и вы узнаете ту мудрость, которой уж никак не узнаете ни из книг, ни из умных разговоров.

Уведомьте меня о себе во всех отношениях, как вы живете, как проводите время, с кем бываете, кого видите, что делают все знакомые и незнакомые.

В каком положении находится вообще картолюбие и ...любие, и что ныне предметом разговоров как в больших, так и в малых обществах, натурально в выражениях приличных, чтобы не оскорбить никого. Затем, обнимая вас искренно и душевно и желая всяких существенных польз и приобретений, жду от вас скорого уведомления. Прощайте. — Ваш Г.

Адресуйте во Франкфурт на Майне, на имя Жуковского, который отныне учреждается там, и где чрез месяц я намерен быть сам»[180].

Письмо принадлежало к числу тех, которые удивляли весьма близких к Гоголю людей, как Плетнева, например, своими бесконечными вопросами о толках и мнениях публики по поводу его сочинений. Гоголь требовал особенно перечета наиболее диких и безобразных мнений. Даже и не очень короткие знакомые Гоголя завалены были письмами подобного рода и подали повод думать, что любопытство это, под благовидным предлогом изучения отношений публики к его деятельности, прикрывает у него особый вид едкого тщеславия, которое способно еще доставлять ему некоторого рода наслаждение. Что касается до меня, я обрадовался письму Гоголя и написал ему пространный ответ с откровенностию и добродушием, которые мне самому напоминали незабвенные вечера в Риме, Альбано, Фраскати и проч., когда мы проводили чудные южные ночи в бесконечных толках и разговорах о всем и о вся, когда за этими разговорами, как не раз случалось в Тиволи, даже вовсе не ложились в постель на ночь, а просиживали до утра на окне траттории, дремля под шум фонтана, который монотонно плескал посреди ее двора, перерезывая великолепные линии древнего греческого храма, высившегося на другом его конце. Тогда все понималось просто и так же говорилось. Но я ошибся жестоко — времена переменились. Не предчувствуя еще нового направления, принятого Гоголем, я неожиданно и невольно попал в больное место его мысли и растревожил ее. Хорошо помню, что, отвечая на

его вызов, я представил ему положение партий относительно его романа и передавал полемику Белинского с ними, причем, конечно, не считал нужным отзываться осторожно ни об одной из них. Мне казалось, что я обязан был высказать ему всю мою мысль сполна, как он того просил, и потому, может быть с некоторым излишним пылом и негодованием, говорил и о врагах его из *салонов* Булгарина и Сенковского, и о друзьях его из московской партии [181]. Не подозревая тесных связей, образовавшихся у Гоголя с последней в то время, я впал в одну из тех опрометчивых искренностей, которые заставляют человека раскаиваться в собственной своей правдивости. Гоголь, призывавший искренность, не выдержал этой и не понял дружеского письма.

В конце его, если не изменяет мне память, находилось еще замечание, что в ту переходную эпоху, в которой мы живем, почти невозможно себе и представить такого дела, которое бы получило отзвук в потомстве, так как оно, вероятно, не захочет и знать о некоторых надеждах и стремлениях нашего времени. Конечно, замечание принадлежало к разряду громких, но незрелых и заносчивых афоризмов, какие в частной интимной переписке сливаются нередко с пера у человека, желающего сказать скорее более, чем менее того, что ему кажется нужным, и не предвидящего вдобавок, что слово его будет прочитано не дружеским, а уже подозрительным глазом судьи и цензора. Можно было ожидать опровержения и разъяснения замечания, но, конечно, не того, что я получил.

С спокойной совестью я отправил мое не в меру откровенное письмо, и через два месяца получил на него ответ. Я был просто приведен в недоумение этим ответом. Он содержал в себе строжайший, более чем начальнический, а какой-то пастырский выговор, точно Гоголь отлучал меня торжественно от общения с верными своей церкви. Вместо мне знакомого добродушного, прозорливого, все понимающего и классифирующего психолога, стоял теперь передо мною совсем другой человек, да и не человек, а какой-то проповедник на кафедре, им же и воздвигнутой на свою потребу, громящий с нее грехи бедных людей направо и налево, по власти кем-то ему данной и не всегда зная хорошенько, чем они действительно грешат. Тон письма сбил меня совсем с толка, потому что я еще не знал тогда, что роль пророка и проповедника

Гоголь уже довольно давно усвоил себе, что в этой роли он уже являлся г-же Смирновой, Погодину, Языкову, даже Жуковскому и многим другим, громя и по временам бичуя их с ловкостью почти что ветхозаветного человека [182]. Привожу это письмо целиком.

«Франкфурт, мая 10-го (1844).

Благодарю вас за некоторые известия о толках на книгу. Но ваши собственные мнения... смотрите за собой; они пристрастны. Неумеренные эпитеты, разбросанные кое-где в вашем письме, уже показывают, что они пристрастны. Человек благоразумный не позволил бы их себе никогда. Гнев или неудовольствие на кого бы то ни было всегда несправедливы; в одном только случае может быть справедливо наше неудовольствие, когда оно обращается не против кого-либо другого, а против себя самого, против собственных мерзостей и против собственного неисполнения своего долга. Еще: вы думаете, что вы видите дальше и глубже других, и удивляетесь, что многие, по-видимому, умные люди, не замечают того, что заметили вы. Но это еще бог весть кто ошибается. *Передовые люди* но те, которые видят одно что-нибудь такое, чего другие не видят, и удивляются тому, что другие не видят; *передовыми людьми* можно назвать только тех, которые именно видят все то, что видят другие (все другие, а не некоторые), и, опершись на сумму всего, видят все то, чего не видят другие, и уже не удивляются тому, что другие не видят того же. В письме вашем отражен человек, просто унывший духом и не взглянувший на самого себя. Если б мы все вместо того, чтоб рассуждать о духе времени, взглянули, как должно, всякий на самого себя, мы больше гораздо бы выиграли. Кроме того, что мы узнали бы лучше, чт*о* в нас самих заключено и есть, мы бы приобрели взгляд яснее и многосторонней на все вещи вообще и увидели бы для себя пути и дороги там, где греховное уныние все темнит перед нами и вместо путей и дорог показывает нам только самое себя, то есть одно греховное уныние. Злой дух только мог подшепнуть вам мысль, что вы живете в каком-то переходящем веке, когда все усилия и труды должны пропасть без отзвука в потомстве и без ближайшей пользы кому. Да если бы только хорошо осветились глаза наши, то мы увидали бы, что на всяком месте, где бы ни довелось нам стоять, при

всех обстоятельствах, каких бы то ни было, споспешествующих или поперечных, столько есть дел в нашей собственной, в нашей частной жизни, что, может быть, сам ум наш помутился от страху при виде неисполнения и пренебрежения всего, и уныние не даром бы тогда закралось в душу. По крайней мере оно бы тогда было более простительно, чем теперь. Признаюсь, я считал вас (не знаю почему) гораздо благоразумнее. Самой душе моей было как-то неловко, когда я читал письмо ваше. Но оставлю это, и не будем никогда говорить. Всяких мнений о нашем веке и нашем времени я терпеть не могу, потому что они все ложны, потому что произносятся людьми, которые чем-нибудь раздражены или огорчены... Напишите мне о себе самом, только тогда, когда почувствуете сильное неудовольствие против себя самого, когда будете жаловаться не на какие-нибудь помешательства со стороны людей, или века, или кого бы то ни было другого, но когда будете жаловаться на помешательства со стороны своих же собственных страстей, лени и недеятельности умственной. Еще: и луча веры нет ни в одной строчке вашего письма и малейшей искры смирения высокого в нем незаметно! И после этого еще хотеть, чтоб ум наш не был односторонен или чтоб был он беспристрастен. Вот вам целый воз упреков. Не удивляйтесь, вы сами на них напросились. Вы желали от меня освежительного письма. Но меня освежают теперь одни только упреки, а потому ими же я прислужился и вам.

А вместо всяких толков о том, чем другой виноват или не выполнил своей обязанности, постарайтесь исполнить те обязанности, которые я наложу на вас. Пришлите мне каталог смирдинской бывшей «Библиотеки для чтения», со всеми бывшими прибавлениями. Он полнейший книжный наш реестр, да присоедините к тому реестр книг всех напечатанных Синодальной типографией: это можете узнать в синодальной лавке. Да еще сделайте одну вещь: выпишите для меня мелким почерком все критики Сенковского в «Библиотеке для чтения» на «Мертвые души» и вообще на все мои сочинения, так чтобы их можно послать в письме. Сколько я ни просил об этом, никто не исполнил. Каталог Смирдина есть, кажется, мой у Прокоповича. Пошлите тоже с почтой, которая ныне принимает посылки. Адресуйте в Берлин на имя служащего при тамошней миссии графа Мих. Мих.

Виельгорского для доставки мне, если почта не возьмется доставить во Франкфурт прямо на мое имя. Вот вам обязанности покамест истинно христианские. От вас требует выполнения этого долга прямо, безвозмездно —

Н. Гоголь»[183].

Несмотря на совершенно неожиданный для меня учительский и раздраженный тон этого письма, оно меня все-таки глубоко тронуло: во-первых, и замечательным литературным своим достоинством, а во-вторых — и преимущественно какой-то беспредельной верой в новое созерцание, им возвещаемое. Загадкой оставалось для меня только следующее: каким процессом мысли Гоголь перенес прямо на меня все, что я говорил вообще о современных людях, и отыскал в моих сообщениях личный в о п р о с, — уныние, ропот, недовольство судьбой и другие качества неудачного честолюбца. Но особенно не мог я понять, откуда тут взялся еще вопрос о религиозных моих убеждениях, о состоянии моей души и совести, так как исповедоваться в них я не имел ни малейшего помысла перед Гоголем, да он и не возбуждал такого вопроса. Передавать толки публики о «Мертвых душах» и по этому поводу представить свидетельство о более или менее удовлетворительном состоянии своего религиозного чувства — кому же это могло прийти в голову? Впоследствии все это объяснилось. Письмо Гоголя, как и множество других таких же, полученных разными лицами в России, было одним из той гряды облачков, которая предшествовала появлению роковой книги «Переписка с друзьями». Письма возвещали ее близкое восшествие на горизонт. Гоголь, ужаснувшийся успеха своего романа между западниками и людьми непосредственного чувства, весь погружен был в замысел разоблачить свои настоящие исторические, патриотические, моральные и религиозные воззрения, что, по его мнению, было уже необходимо для понимания готовящейся 2-й части поэмы. Вместе с тем все более и более созревали в уме его надежда и план наделить наконец беспутную русскую жизнь кодексом великих правил и незыблемых аксиом, которые помогли бы ей устроить свой внутренний мир на образец всем другим народам. Но намерение оставалось еще покамест тайной для всех, и служить каким-либо пояснением действий Гоголя не

могло. В потемках я отвечал Гоголю, что получил его письмо, благодарю за участие ко мне, не огорчаюсь его выговорами, не отвергаю вовсе его советов, но считаю нужным указать ему на странную ошибку. Он считает меня человеком весьма высокого мнения о себе, надменным и страдающим гордостью, а между тем мог бы заметить в течение долгих наших сношений, что я скорее имел претензию считать себя ничтожнейшим из детей мира, и без всякого вознаграждения, о котором говорит поэт, употребивший однажды это выражение [184].

Затем корреспонденция наша прекращается надолго, до 1847 года, когда, живя уже с больным Белинским на водах в Силезии, в Зальцбрунне, я опять получил от Гоголя письмо, но уже мягкое и отчасти грустное письмо [185]. Книга его «Переписка с друзьями» уже вышла и принесла ему такую массу огорчений, упреков, наконец клевет и незаслуженных оскорблений, что он склонился под этой бурей общественного негодования, как тростник — до земли. Состояние его духа отразилось и на письме, но об этом после. С тех пор уже благодушное, ласковое, снисходительное настроение не покидало Гоголя по отношению к старому его корреспонденту и собеседнику, и всякий раз, как мы встречались, до самой его смерти, выказывалось с новой силой. В 1851 году, за год до своей кончины, провожая меня из своей квартиры в Москве, на Никольском бульваре (дом графа Толстого), он, на пороге ее, сказал мне взволнованным голосом: «Не думайте обо мне дурного и защищайте перед своими друзьями, прошу вас: я дорожу их мнением».

Страдальческий, умиротворенный и на все уже подготовленный облик Гоголя — Гоголя последних дней — остался в моей жизни самым трогательным воспоминанием, наравне с обликом медленно умирающего и все еще волнующегося Белинского.

Бедный, запутавшийся друг, погибший добровольной и мучительной смертью именно потому, что жил в эпоху столкновения неустановившихся верований, одинаково важных и неустранимых, и которую так горячо защищал против мнения о ее переходном состоянии! Чрезвычайно замечательно следующее обстоятельство. В марте 1848 года, занимаясь обработкой 2-й части «Мертвых душ» в Москве, он пишет старому своему товарищу, уже упомянутому Н. Я. Прокоповичу, что труду его мешают,

во-первых, недуги, а во-вторых, отражение на авторе всех невыгодных влияний шаткого, *переходного* времени, в которое он живет. Итак, ужас и негодование, возбужденные в Гоголе одним намеком на то, что эпоха эта может быть названа переходною, миновались совершенно через четыре года, да и не только миновались, но сама мысль признана еще неоспоримой истиной на основании личного опыта. Вот это замечательное место письма, с которого я тогда же снял точную копню, конечно не объясняя никому причин, почему я считаю его особенно важным.

«Москва, 29 марта (1848).

Болезни приостановили мои занятия «Мертвыми душами», которые пошли, было, хорошо. Может быть, болезнь, а может быть, и то, что, как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса... просто не подымаются руки. *Странное дело, хоть и знаешь, что труд твой не для какой-нибудь переходной современной минуты, а все-таки современное неустройство отнимает нужное для него спокойствие*» [186].

Как далеко стоит это признание от восклицания: «Злой дух только мог подшепнуть вам мысль, что вы живете в каком-то переходящем веке, когда все усилия и труды должны пропасть без отзвука в потомстве...» Увы! Как еще положение это ни казалось опрометчиво, заносчиво и ложно, сказанное неловко и не вовремя, сам Гоголь, страстно опровергавший его, испытал еще сомнение в пользе своих усилий и трудов для *потомства,* — сомнение, результатом которого было, как известно, сожжение 2-й части «Мертвых душ». Если бы дело состояло тогда в его власти, то результатом этого настроения могло бы быть и нечто большее — именно сожжение всех его трудов вообще. Правда, тут примешалась душевная болезнь, патологическое состояние мозговых органов, но разве переходные эпохи именно и не отличаются этими болезнями, которые сами суть не что иное, как произведение глухой борьбы начал в глубине души и мысли каждого развитого человека.

Со всем тем мне легко сознаться теперь и повторить, что замечание о бесплодности трудов, предпринятых в переходное время, которым я погрешил тогда и которое

вызвало такие недоразумения, было вполне необдуманно и ложно в основании. Ни деятельность Гоголя, ни деятельность самого Белинского, а также и людей сороковых годов вообще из обоих лагерей наших не остались без следа и влияния на ближайшее потомство, да найдут, по всем вероятиям, еще не один отголосок и в более отдаленных от нас поколениях. Это убеждение только и могло вызвать составление настоящих «Воспоминаний».

XXIV

Мне приходится говорить теперь о замечательном в истории наших литературных партий 1845 годе и приступить к краткому библиографическому отчету о некоторых статьях журнала «Москвитянин», состоявшего слишком малое время иод непосредственной редакцией И. Киреевского[187]. Статьи были важным событием описываемой эпохи, и без разбора их — дальнейший рассказ о ней утерял бы спой настоящий смысл. Они именно обозначают ту минуту, с которой распря между славянами и западниками приняла у нас новый, менее беспощадный и слепой характер, чем прежде, хоть и долго потом еще не нуждалась в воинственном одушевлении, но тон становился другой. Перемена тона и самой речи, на которую решились прежде всех славяне, имела значительные последствия по отношению к внутренним делам и положению действующих лиц в обеих партиях.

Известно, что, кроме Белинского, вопрос об отношении народной культуры к европейскому образованию занимал еще Грановского и Г<ерцена> с их друзьями. По близким отношениям их к славянским деятелям вопрос этот мешал сойтись им с людьми противного лагеря, нравственную цену которых они очень хорошо знали, на какой-либо нейтральной почве. Действительно, пока и славянской партии господствовало полное отрицание европеизма, невозможно было никакое примирение и соглашение. Через это препятствие именно и перешагнула Киреевские, Хомяков и их друзья, когда в 1845 году приняли в свои руки редакцию журнала «Москвитянин». Они сделали первый шаг навстречу западникам. Можно сказать, что новые редакторы «Москвитянина», овладевая журналом, ничего другого и не имели в виду, как правильного, с их точки зрения, постановления и

разрешения вопроса. Тогда и оказалось с первого же раза, что для славянской партии *тип* европейской цивилизации столько же дорог, как и любому европейцу, но дорог не как готовый образец для подражания, а как надежный вкладчик в капитал собственных умственных сбережений русской народной культуры, как хороший пособник при обработке ею самой своего капитала.

Первым делом редакторов было поэтому устранение и опровержение тех мнений своих собственных единомышленников, которые или презирали тип европейской цивилизации, или противопоставляли его славянской культуре как нечто враждебное последней или к ней не приложимое. Руководящая статья И. В. Киреевского в 1-м № «Москвитянина» за 1845 год («Обозрение современного состояния словесности») наносила тяжелые удары преследователям Запада и прежде всего старому критику того же «Москвитянина» — С. Ш<евыреву>, который в 1841 году в статье «Взгляд на образование европейское» выражал мнение, что Россия, не испытавшая ни реформации, ни революции и тем самым сохранившая в себе великое нравственное единство, не может делить духовной жизни с болезненным европейским миром, а скорее призвана, может быть, исцелить и обновить его [188]. И. В. Киреевский не менее С. Ш<евырева> веровал во все, так сказать, догматы славянофильской партии, в печальное раздвоение европейской жизни, в необходимость и возможность ее обновления началами восточного любомудрия, что и высказывал в своем трактате; но И. В. Киреевский, вместе с тем, имел представление о роли Запада в деле цивилизации гораздо более широкое, чем ультраславяне из его собственной партии, которым и не замедлил высказать горькие истины.

Во второй своей статье («Москвитянин», № 2, 1845 год) он объявлял оба направления наши, как чисто русское, так и чисто западное, одинаково ложными, и это на основаниях, которые были гораздо более оскорбительны для собственной его партии, чем для враждебной ей. «Чисто русское направление ложно потому, — замечал он, — что пришло неизбежно, роковым образом, к ожиданию чуда и призыву его на помощь своей веры, ибо только чудо может воскресить мертвеца — русское прошлое, которое так горько оплакивается людьми этого воззрения. Направление, вдобавок, не видит, что каково бы ни было просвещение европейское, но истребить его

влияние, после того как мы однажды сделались его причастниками, уже находится вне нашей силы, да это было бы и великим бедствием». «Оторвавшись от Европы, — добавлял он, — мы перестаем быть общечеловеческою национальностью, лишаемся всех благ римско-греческого образования» («Москвитянин», 1845 год, № 2, стр. 63—78). Западникам, под которыми преимущественно разумелся Белинский, как самый крайний из них, посылался тоже довольно тяжкий укор. Направление их обвинялось в непонимании того, что истины Запада суть только остатки христианских начал, и упрек добавлялся замечанием, что они «*женоподобно* управляются одной страстью к предмету обожания, которая и привела их к нелепой мысли, будто все уже решено Европой и стоит только подбирать как святыню все, что она бросает нужного и ненужного» (стр. 73). Вместо этих пустых направлений, для Киреевского существует и важно только представление о двух родах образования — одно то, которое творится чрез внутреннее устроение духа, силою извещающейся в нем истины. Это самое разумное, высшее и уже без познания Европы обойтись не может. Другое — низшее образование — слагается чрез формальное развитие разума и приобретение высших познаний с помощью одного заимствования; оно делает из человека подобие логически-технической выкладки, без национальных и всяких других убеждений (74). В конце исследования является у Киреевского резюмирующий тезис, который гласит: «Поэтому любовь к образованности европейской, равно как и любовь к нашей, — обе совпадают в последней точке своего развития в одну любовь, в одно стремление к живому, полному, всечеловеческому и истинно христианскому просвещению». Обе статьи И. В. Киреевского произвели громадное впечатление и нашли доброжелателей и порицателей одинаково в обоих лагерях — славянском и западном. Белинский принадлежал к числу порицателей. В постройке статей он усмотрел отчасти немецкий характер, искусно, но фальшиво обобщающий предметы, а потом и некоторую непоследовательность. «Как же это, — говорил он, — Киреевский отыскал племя, способное дополнить развитие Европы свежими элементами своего изделия, а между тем предлагает ему идеалы цивилизации собственного своего измышления. Да ведь идеал-то цивилизации и есть само это избранное племя! Нет, уж если вы не обманываете

самого себя, говоря, что сподобилися читать в книге судеб о призвании русского народа, так не стыдитесь лежать перед ним во прахе. Я больше люблю Ш<евырева> и П<огодина>, которые, не бродя по сторонам, просто ревут: «Мы спасители, мы обновители!» — уж и знаешь, что им на это отвечать».

Третья статья И. Киреевского, которая, по плану его, должна была заняться текущими явлениями литературы, к сожалению, не появилась в печати [189].

Не менее решительно и строго отнесся к доморощенным гонителям Запада и А. С. Хомяков в двух прекрасных своих статьях: а) «Письмо в Петербург» («Москвитянин», 1845, № 2): о русских железных дорогах, и б) «Мнение иностранцев о России» («Москвитянин», 1845, № 4).

Последняя не была подписана и, конечно, имела в виду известную книгу Кюстина, которая, несмотря на строгое запрещение ее, читалась у нас повсеместно и возбуждала характеристикой некоторых лиц и событий саркастические толки втихомолку, очень невинные, но очень беспокоившие, однако же, административных людей эпохи [190]. Обычных славянофильских оговорок и в этих статьях нашлось много. Как и Киреевский, Хомяков объявлял в первой из них просвещение не чем иным, как просветлением всего разумного состава в человеке или народе, дополняя эту мысль еще замечанием, что такое просветление может совпадать с наукой, а может существовать и без нее, не теряя от того своего благотворного действия *. Как и Киреевский, он предпосылал обличению друзей обличение западников и школы Белинского, которых винил в непростительной односторонности. В литературных суждениях своих как И. В. Киреевский, так и А. С. Хомяков очень близко подходили к Белинскому, а часто шли и дальше его. Вот, например, место из второй статьи Киреевского: «Произведения нашей словесности как отражения европейских не могут иметь интереса для других народов, кроме интереса статистического, как показания меры наших ученических успехов в изучении их образцов»

---

* В этом месте Хомяков приводил в пример таких мудрых и светлых эпох, сложившихся, однако же, без участия формального знания, — царствования Федора Ивановича, Алексея Михайловича и императрицы Елизаветы Петровны, о чем было уже говорено. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

(«Москвитянин», № 2, стр. 63). Сильнее этого ничего не говорил и Белинский, а сколько брани вытерпел он за подобные, теперь уже совершенно оправданные приговоры! Правда, славянская наша партия, часто соглашаясь втайне с положениями ненавистного ей критика, старалась всемерно держать себя в стороне от него, отыскивая подчас довольно хитростным способом возможность, разделяя его мнение, противоречить ему. Примеров этому много. Оградив таким образом убеждения свои от всяких подозрений в потакательстве врагам, Хомяков тем с большей силой обращается к староверам собственной партии, чурающимся от Запада, как от язвы. «Не думайте, — восклицает он, — что под предлогом сохранить целостность жизни и избежать европейского раздвоения вы имеете право отвергать какое-либо умственное или вещественное усовершенствование Европы». «Есть что-то смешное, — продолжает он, — и даже что-то безнравственное в этом фанатизме неподвижности» (Ib., стр. 82—83). «Знайте, — поясняет он далее, — что усвоение чуждых стихий производится в силу законов нравственной природы народа и производит новые явления, обнаруживающие его своеобычность, многосторонность и самостоятельность». Он даже обзывает наших ультрапатриотов и гонителей Запада просто скептиками, лишенными веры в силу истины и здоровых начал русской жизни, которую защищают и которая на наших глазах, несмотря на характер подражательности, ей свойственной, уже опередила своих учителей во многом: в ней, например, немыслимо такое явление, как *баварское* искусство, занятое воспроизведением в одно время греческих, византийских и средневековых памятников[191].

Было довольно странно восхвалять русскую жизнь за то, чего она не сделала, не имея еще и понятия об истории искусства вообще, но меткость всех других определений Хомякова была признана славянами по отношению к западникам, а западниками по отношению к славянам.

Вторая статья Хомякова «Мнение иностранцев о России» любопытна была тем, что освобождала иноземных авторов и их русских подсказывателей от ответственности за нелепости, распространяемые ими о России. Что другое могли бы они говорить? — замечает Хомяков. Основное жизненное начало народа, откуда все исходит, весьма часто не только не понимается другими

народами, да нередко и им самим. Примером тому может служить Англия, и доселе не понимаемая, по мнению автора, ни чужеземными, *ни своими* писателями *. При одном формально-научном образовании и при одном логическом способе добывания и д е й , — прибавляет о н , — нет и возможности уловить душу народа, уразуметь начала, которыми он живет. Вот почему наш простой народ, не пошед за высшими классами в логическом и формальном образовании, оказал, по Хомякову, громадную услугу Руси. «Тут произошло, — говорит а в т о р , — бессознательное ясновидение человеческого разума, которое предугадывает многое, чему еще не может дать ни имени, ни положительного очертания» (№ 4 «Москвитянина», с. 38). Сохранив свою национальную культуру, русский народ подготовил дорогие материалы для народного самосознания, которое еще более укрепится и сильнее выразится после усвоения элементов европейской цивилизации, и уже сделает тогда невозможным лжетолкования русской жизни как со стороны чужеземных, так и своих исследователей.

Даже и такой труженик, как П. В. Киреевский, весь посвятивший себя собиранию памятников народного творчества и неохотно являвшийся на журнальную арену, принял участие в деле созидания прочных основ для своей партии. Он опровергал в № 3 «Москвитянина» известное положение М. П. Погодина, по которому русский народ всегда отличался мягкостию, податливостию, не знал сословной розни и *легко покорялся* всякому требованию [192]. П. В. Киреевский считал это положение оскорбительным для русского народа, предлагал другое пояснение его истории и вызвал жаркое возражение М. П. Погодина, подтверждавшего свою прежнюю тему о податливости русского народа ссылками на летописи.

Вообще можно полагать, что старый редактор журнала имел причины раскаиваться в том, что предоставил

---

* Это смелое положение А. С. Хомякова, всеми замеченное и не оставленное без возражения, показывало еще раз, как далеко увлекал его блестящий ум, наклонный к решительным словам и афоризмам, ради потрясающего их действия на слушателей. Вот что говорил он далее в подтверждение своей мысли: «Везде она (Англия) является как создание условного, мертвого формализма... но она вместе с тем имеет предания, поэзию, святость домашнего очага, теплоту сердца и Диккенса, *меньшого брата* нашего Гоголя» (!) («Москвитянин», 1845 г., № 4, с. 29), (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

орган свой другим рукам, несмотря на быстрое нравственное и материальное значение, приобретенное «Москвитянином» под новой редакцией. Уже с 3-го нумера М. П. Погодин поспешил оградить себя от нападков своих слишком добросовестных и откровенных друзей, требования которых все более и более росли и грозили оставить его самого и добрую часть его партии позади себя. В статейке «За русскую старину» (№ 3, с. 27) он с нескрываемой досадой возражает на упрек или на *клевету,* как выразился, будто славянофилы не уважают Запада, будто хотят воздвигнуть мертвый труп, будто нечестиво поклоняются неподвижной старине. Обиженный редактор довольно иронически поясняет, что они ратуют только за русский дух, веющий из старины, за самостоятельность жизни, а потом и за свободное признание всех заслуг запада, востока, севера и юга (с. 31).

Это значило не отвечать вовсе на сущность вопроса. По окончании года М. П. Погодин поспешил принять журнал опять в свои руки [193] и легко успел лишить его значения, которое он стал приобретать. «Москвитянин» влачил довольно бесцветное существование, опаздывая книжками и изредка оживляясь полемическими искрами, скоро потухавшими бесследно в массе литературного хлама. Так продолжалось до 1850 года, когда новое поколение, исключительно воспитанное Москвой, опять обратило на журнал внимание публики. Имена свежих деятелей, ожививших тогда редакцию журнала, под знаменем которого они собрались, теперь хорошо известны. Это были: по части художественного производства — А. Островский, А. Писемский, Л. Потехин, Кокорев и другие, а по части критики и философии — Ап. Григорьев, Эдельсон, Т. Филиппов и другие. Петербург тотчас же завязал и с ними полемику, приняв их за эпигонов — последки старой могущественной партии, но это уже относится к другому периоду литературы и развития.

Московские западники, с Грановским и Г<ерценом> во главе, не оставили руки, так великодушно протянутой им партией славян, без ответа. Они просто обрадовались возможности завязать с высокоразвитыми своими противниками опять некоторый обмен мыслей, так как главный ров, мешавший всякому сношению между обоими лагерями, был если не вполне, то наполовину засыпан. Слово возвратилось борцам, потому что они могли уже

разуметь друг друга. Сохраняя все свои отличия и свою независимость, не признавая очень многие из положений славян, которыми они окрашивали и дополняли главную тему о пользе и необходимости изучения Европы, а особенно не отрекаясь от права и обязанности энергически противиться при случае выводам, которые они делали из истории, как русской, так и европейской вообще — московская западная партия признавала, однако же, важность их последнего profession de foi * и поняла необходимость и законность уступок и с своей стороны. Уступки эти и были сделаны, как увидим. Но Белинский оставался вне всего этого движения.

XXV

Одновременно с раздвоением в лагере славян [194] последовало точно такое же и у западников: «Москвитянин» вызвал много бурь в недрах этой партии, и на одной из таких бурь, летом 1845 года, я присутствовал. Лето 1845 года оставило во мне такие живые воспоминания, что я и теперь (1870 год), по прошествии с лишком 25-ти лет, как будто вижу перед собой каждого из тогдашних лиц московского кружка и как будто слышу каждое их слово. Для меня это — не дальнее, наполовину позабытое прошлое, а как будто событие вчерашнего дня. Голоса, выражение физиономий и поза людей стоят в памяти так живо, точно мы недавно разошлись по домам; постараюсь передать мои воспоминания с наивозможной верностью.

Грановский, Кетчер и Г<ерцен> известили своих приятелей, что на лето 1845 года они поселяются в селе Соколове — в 25 или 30 верстах от Москвы. Село принадлежало помещику Д<иво>ву, который, на случай своих приездов в вотчину, оставил за собой большой дом, а боковые флигеля и домик позади предоставил наемщикам вместе с великолепным липовым и березовым садом, который от дома сходил под гору, к реке. На противоположной стороне реки и горки, по общему характеру русского пейзажа, тянулся сплошной ряд крестьянских изб. В обоих флигелях разместились семейства Г<ерцена> и Грановского, а домик позади занял Кетчер. Помещик

---

* исповедания веры (*фр.*).

не беспокоил наемщиков. В редкие свои наезды он только *приказывал* крестьянам и крестьянкам *свободно* гулять по своему саду, проходя вереницами мимо окон большого дома. Как ни легка, по-видимому, была эта барщина, но она возбуждала сильный ропот в людях, к ней приговоренных, чему наемщики были сами свидетелями не раз.

Вероятно, ни ранее, ни позже Соколово уже не представляло такой поразительной картины шума и движения, как летом 1845 года. Приезд гостей к дачникам был невероятный, громадный. Обеды устроивались на лугу перед домом почти колоссальные, и обе хозяйки — Н. А., жена Г<ерцена>, и Е. Б. Грановская, уже привыкшие к наплыву посетителей, справлялись с этою толпой неимоверно ловко. Сами они представляли из себя очень различные типы, хотя и связаны были тесной дружбой. Жена Г<ерцена>, со своим мягким, едва слышным голоском, со своей ласковой и болезненной улыбкой, со всем своим детски-нежным, хрупким и страдающим видом, обладала еще страстностью характера, пламенным воображением и очень сильной волей, что и доказала на деле при начале своей жизни и при конце ее. Елизавета Богдановна Грановская была олицетворением спокойной, молчаливо-благодарной и втайне радостной покорности своей судьбе, устроившей ее положение как жены и как женщины. Обе они способны были, каждая по-своему и с различными побуждениями, на очень значительные жертвы и подвиги, если бы то потребовалось. Всегда окруженные своими московскими приятельницами, они покамест служили в Соколове тем умеряющим, эстетическим началом, которое сдерживало пиры друзей, где на шампанское не скупились, в тоне веселой, но далеко не распущенной беседы.

Я появился среди этого персонала Соколова в конце июня месяца, был принят им с величайшим радушием, но с оттенком, который бросался в глаза. Как гость из Петербурга и из ближайшего кружка Белинского я должен был почувствовать, в среде самых дружеских излияний, ту ноту разногласия, диссонанса, какая уже существовала между двумя отделами западной партии. Нота эта звучала и в иронических шутках Г<ерцена>, и в нервном хохоте Кетчера, и в полусерьезной физиономии Грановского, которая попеременно разглаживалась и темнела. Всем необходимо было пропеть противную эту

ноту поскорее вслух, чтобы войти опять в простые, откровенные отношения друг к другу. Это и не замедлило случиться.

В тот же самый день все общество собралось на прогулку в поля, окружавшие Соколово, на которых, по случаю раннего жнитва, царствовала теперь муравьиная деятельность. Крестьяне и крестьянки убирали поля в костюмах, почти примитивных, что и дало повод кому-то сделать замечание, что изо всех женщин одна русская ни перед кем не стыдится и одна, перед которой также никто и ни за что не стыдится. Этого замечания достаточно было для того, чтобы вызвать ту освежающую бурю, которой все ожидали. Грановский остановился и необычайно серьезно возразил на шутку. «Надо прибавить, — сказал он, — что факт этот составляет позор не для русской женщины из народа, а для тех, кто довел ее до того, и для тех, кто привык относиться к ней цинически. Большой грех за последнее лежит на нашей русской литературе. Я никак не могу согласиться, чтобы она хорошо делала, потворствуя косвенно этого рода цинизму распространением презрительного взгляда на народность». С этого и начался спор.

Я не упомянул, что в числе постоянных гостей Соколова был еще влиятельный человек кружка — издатель «Московских ведомостей» Евг. Фед. Корш. По убеждениям своим он принадлежал вполне партии крайних западников, отыскивая вместе с ними основы для мысли и для жизни в философии, истории, следя за теориями социализма, и нисколько не ужасаясь никаких результатов, какие бы могли оказаться на конце этих разысканий; но вместе с тем он не принимал на веру никаких заманчивых посулов доктрины, откуда бы она ни исходила, если только мало-мальски приближалась к утопии или обнаруживала поползновение на произвольный вывод. Он постоянно воевал с идеалами существования, которых тогда возникало множество. Вообще это был критик убеждений и верований своего круга, с которым разделял многие из его надежд и все основные положения. Он стоял постоянно с ногой, занесенной, так сказать, из своего лагеря в противоположный, охлаждая слишком радужные чаяния или чересчур сангвинические порывы своих друзей. Обширная начитанность и поистине замечательная доля меткого и ядовитого остроумия, эффект которого увеличивался еще от противоположно-

сти с недостатком в произношении [195], делали из Евг. Корша выдающееся лицо круга *. Он тотчас понял, что завязавшийся спор не есть какая-либо решительная битва, изменяющая вконец положение сторон, а только простое объяснение между ними; поэтому он и ходил свободно между сторонами, не приставая ни к одной. Иначе принял дело Кетчер, которому казалось уже необходимостью произвесть себя в адвокаты отсутствующей петербургской стороны, как еще мало он сам ни разделял всех ее воззрений. Он поднял перчатку Грановского и повел с ним спор о *принципах* чрезвычайно горячо, как окажется, надеюсь, и из сокращенной моей передачи этого любопытного препирательства. За точность и порядок мыслей и за приблизительную верность самого выражения их — ручаюсь **.

— Да помилуйте, как же можно, — восклицал Кетчер, — обобщать на этот манер каждое пустое замечание! Какой же человек удержит голову на своих плечах, если из каждого его слова, пущенного на ветер, станут вытягивать разные смыслы. Ведь это Преображенский приказ [197]. А если уж обобщать, Грановский, так ты бы лучше поставил себе вопрос: не участвовал ли сам народ в составлении наших дурных привычек и не есть ли наши дурные привычки именно народные привычки?

— Постой, брат Кетчер, — возразил Грановский, — ты говоришь: не следует обобщать всякую случайную заметку; во-первых, любезный друг, случайные заметки состоят в близком родстве с тайной нашей мыслию, а, во-вторых, собрание таких заметок составляет иногда целое учение, как, например, у Белинского. А я тебе должен сказать здесь прямо, — добавил Грановский с особенным ударением на словах, — что во взгляде на русскую национальность и по многим другим литературным

---

* Из множества его цепких заметок я помню одну, обращенную к собеседнику, который, на основании Прудона, отыскивал в анархии спасительное средство для современных обществ. «Это, вероятно, потому, — сказал Евг. Корш, — что анархия всегда ведет за собой монархию». В другой раз он отвечал одному профессору [196], который с некоторым провинциальным акцентом восклицал: «Я, братцы, как вам известно, родикал». — «Я и прежде думал, что ты ничего другого *родить* не можешь», — заметил Евг. Корш. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** Заметки и цитаты, тогда же брошенные мною на бумагу для памяти, много помогли восстановлению всей этой сцены. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

и нравственным вопросам я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому, «Отечественным запискам» и западникам [198].

За этим категорическим объявлением последовала минута молчания. Гораздо позднее мысль, выраженная Грановским, повторялась много раз и самим Г<ерценом> от своего имени в его заграничных изданиях, но впервые она была сказана именно Грановским и в Соколове [199]. Г<ерцен>, конечно, принял участие в завязавшемся споре, нисколько не предчувствуя, разумеется, что не далее, как через год, он придет сам в столкновение с Грановским по вопросу, совершенно схожему с тем, который теперь разбирался *. Теперь он держал сторону Грановского, хотя не так решительно, как можно было думать, судя по внешним признакам сходства в их настроениях. Прямая, неуклонная, откровенная деятельность Белинского приходилась ему всегда по душе, несмотря на множество оговорок, какие он противопоставлял ей, да и предчувствие близости горьких расчетов с самим Грановским, вероятно, уже возникло в его уме и сдерживало его слово. Вмешательство его в разговор носило дружелюбный характер.

— Пойми же ты, братец, — говорил он, обращаясь к Кетчеру, — что кроме общего народного вопроса, о котором можно судить и так и иначе, между нами идет дело о нравственном вопросе. Мы должны вести себя прилично по отношению к низшим сословиям, которые работают, но не отвечают нам. Всякая выходка против них, вольная и невольная, похожа на оскорбление ребенка. Кто же будет за них говорить, если не мы же сами? Официальных адвокатов у них нет, — понимаешь, что все тогда должны сделаться их адвокатами. Это особенно не мешает понять теперь (1845 г.), когда мы хлопочем об упразднении всяких управ благочиния. Не для того же нужно нам увольнение в отставку видимых и

---

* В «Записках» Г<ерцена> рассказана подробно история его ссоры в 1846 году с Грановским по поводу неосторожного бранного слова, произнесенного О<гарев>ым в присутствии сожительницы, впоследствии жены К<етчера> [200]. Тогда Г<ерцен> стоял за О<гарева>, не вменял ему в вину случайного непечатного выражения, а обиженным уже являлся К<етчер>, так легко прощавший прежде мимолетные заметки. Грановский поддерживал К<етчера> и разделял его негодование. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

невидимых исправников, чтобы развязать самим себе руки на всякую потеху.

Кетчер не любил оставлять последнего слова за противником. Он возопил против попытки примешать еще и нравственность, после национальности, к пустому случаю, разросшемуся в такой диспут, утверждал, что обличение какого-либо несомненного факта, хотя бы и самого прискорбного характера, никогда не может быть безнравственно, а наконец, после насмешливых отзывов о новых народившихся руссофилах (на этого рода пикантные приправы к спорам никто тогда не скупился), перешел к Белинскому, который, собственно, и составлял настоящий предмет всего разговора. Кетчер заметил, что вряд ли мы и имеем право судить о настоящих воззрениях Белинского на русскую народность, так как он их никогда не высказывал вполне, да и ввиду цензуры и не мог передать всей своей мысли как по этому предмету, так и по многим другим. Здесь Грановский опять остановил Кетчера и покончил спор замечанием, которое поразило всех своей неожиданностью; привожу его буквально:

— Знаешь ли, брат Кетчер, что я имею тебе сказать по поводу твоего замечания о цензуре. Об уме, таланте и честности Белинского не может быть между нами никакого спора, но вот что я скажу о цензуре. Если Белинский сделался силой у нас, то этим он обязан, конечно, во-первых, самому себе, а во-вторых, и нашей цензуре. Она ему не только не повредила, но оказала большую услугу. С его нервным, раздражительным характером, резким словом и увлечениями он никогда бы не справился без цензуры со своим собственным материалом. Она, цензура, заставила его обдумывать планы своих критик и способы выражения и сделала его тем, чем он есть. По моему глубокому убеждению, Белинский не имеет права жаловаться на цензуру, хотя и ее благодарить тут не за что: она, конечно, также не знала, что делает.

Спор был вполне истощен именно этим заявлением Грановского. Все было сказано, что Грановскому хотелось сказать. Когда затем кто-то заметил, что все резкие, антинациональные выходки Белинского происходят еще из горячего демократического чувства, возмущенного тем состоянием, до которого доведены народные массы, Грановский горячо пристал к этому мнению, находя в нем разгадку многих излишеств критика, которые

все-таки считал явлением ненормальным и печальным. Спор прекратился. Он сделал свое дело, очистив совесть и позволив всем возвратиться уже без всяких помех к простым, дружеским и искренним отношениям.

В моем понимании этот спор еще имел и другое значение. Это было первое крупное проявление мысли, давно уже таившейся в умах, о необходимости более разумных отношений к простому народу, чем те, которые существовали в литературе и в некоторых слоях мыслящего класса людей. Литература и образованные умы наши давно уже расстались с представлением народа как личности, определенной существовать без всяких гражданских прав и служить только чужим интересам, но они не расстались с представлением народа как дикой массы, не имеющей никакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя. Спор выразил собою переворот, совершившийся в понятиях одного отдела западников относительно способов судить и оценять домашнюю культуру и нравственную физиономию толпы.

Года два-три перед тем никому из западной партии и в голову не приходило проверять самые смелые свои приговоры об обычаях, верованиях, моральных свойствах народа или заботиться об основательности и справедливости своих воззрений на его быт, надежды и ожидания. Все это было делом личного вкуса, и всякому предоставлено было думать об этих предметах что угодно, без малейшей ответственности за свои мнения и за свою точку зрения. Тон горделивого, полубарского и полупедантического презрения к образу жизни и к измышлениям темного, работающего царства водворился незаметно в среде образованных кругов. Особенно бросался он в глаза у горячих энтузиастов и поборников учения о личной энергии, личной инициативе, которых они не усматривали в русском мире. Почасту отзывы их об этом мире смахивали на чванство выходца или разбогатевшего откупщика перед менее счастливыми товарищами. *Кичливость образованностию* омрачала иногда самые солидные умы в то время и была по преимуществу темной стороной нашего западничества. Оно же — западничество это — и положило предел подобному извращенному применению его начал к жизни. Спор, изложенный выше, был результатом давнишнего желания одного отдела наших западников заявить формальный протест против легкомысленного трактования вопросов народной жизни,

каким погрешали некоторые ряды его собственной партии. Может быть, никто не принял так горячо к сердцу нововозникшего вопроса о самобытном мышлении темных людей, как один из надежнейших и горячих друзей круга, именно К. Д. Кавелин, человек, вносивший обыкновенно страстное одушевление во все свои как научные, так и житейские убеждения. Привычка к высокомерному обращению с народом была так обща, что ею тронуты были даже и люди, оказавшиеся впоследствии самыми горячими адвокатами его интересов и прав. Уже гораздо позднее и в Петербурге, куда он переехал и где приходилось всего более расчищать дорогу благорасположенному отношению ко всем видам народного творчества, пропаганда Кавелина не умолкала вплоть до конца пятидесятых годов[201]. Здесь кстати сказать еще, что человек, тоже немало содействовавший к изменению способа относиться к народу и представлять себе его умственную жизнь, был столь много осмеянный некогда славянофилами Тургенев. Первые его рассказы из «Записок охотника», явившиеся в «Современнике» 1847 года, положили конец всякой возможности глумления над народными массами. Но почва для «Записок охотника» была уже подготовлена, и Тургенев выразил ясно и художественно сущность настроения, которое уже носилось, так сказать, в воздухе.

XXVI

Возвращаюсь к Соколову. В средине лета подмосковное село это образовало нечто вроде подвижного конгресса из беспрестанно наезжавших и пропадавших литераторов, профессоров, артистов, знакомых, которые, видимо, все имели целью перекинуться идеями и известиями друг с другом. Хозяева жили в страшном многолюдстве и, по-видимому, не имели времени сосредоточиться на каком-либо своем, собственном, специальном занятии. Гости калейдоскопически сменялись гостями: тут, кроме Панаева, оставившего и описание соколовской жизни, промелькнули в моих глазах Н. А. Некрасов, давно уже мне знакомый и возбуждавший тогда общий симпатический интерес своей судьбою и своей поэзией; затем Ив. Вас. Павлов, здесь впервые мною и встреченный и поражавший оригинальной грубостию своих приемов, под

которыми таилось у него много мысли, наблюдения, юмора и т. д.; Евг. Фед. Корш, старый Щепкин, молодой, рано умерший Засядко, начинающий живописец Горбунов, сделавший литографированную коллекцию портретов со всего кружка *, были постоянными посетителями Соколова. Совсем не праздно жили и хозяева дачи в этом водовороте гостей и наезжих со всех сторон, как могло показаться сначала. Так, Г<ерцен> печатал и продолжал свои письма об изучении природы; Грановский приготовлялся к новой, второй серии публичных своих лекций; Кетчер переводил Шекспира упорно. Иногда он на целые дни пропадал из Соколова, в грязной, серой блузе и захватив только с собой кусок хлеба. Он тогда бродил по лесам, окружавшим Москву, и однажды встретил там истощенного беглого солдата, с пораненной ногой, который не очень дружелюбно посмотрел на него. Кетчер вынул у него занозу из ноги, перевязал рану и отдал ему свой кусок хлеба. Когда туземное и пришлое население Соколова собиралось в сходку на каком-либо из его форумов (кроме многолюдных обедов Соколова,

---

* Я сохраняю его карикатурный листок, сделанный карандашом и изображающий Г<ерцена>, Грановского, Корша, Панаева, мою особу и других в ночной беседе, какие тогда часто бывали на обрыве горы, в садовом павильоне Соколовского парка. Кругу, собиравшемуся в Соколове, недоставало двух весьма крупных членов его, В. П. Боткина и О<гарева>. Оба они жили за границей, в Париже, и первый, по рассказам Панаева, тоже недавно возвратившегося оттуда, усиленно старался офранцузить себя в языке, образе жизни, нравах и уже отличался ярой ненавистью к старому своему идолу — идеализму. Второй философски растрачивал остатки своего, некогда громадного, состояния и очень солидного здоровья. Впрочем, скандалезные анекдоты Панаева об обоих не вполне передавали их нравственное содержание, потому что первый, Боткин, съездив в Испанию, подарил русскую публику замечательно умным и картинным описанием страны[202], а второй, О<гарев>, возвратясь на родину в 1846, производил такое сильное обаяние своей поэтической личностью, что сделался почти чем-то вроде директора совести — directeur de conscience — в двух семьях — у Г<ерцена> и у А. Тучкова. Дамы обеих семей упивались написанными им тогда поэтически-философскими и социально-скорбными стихотворениями «Монологи», да и мужская половина семей, как оказалось впоследствии, подпала влиянию поэта не менее женской. Тайна этого обаяния заключалась в какой-то апатической, ленивой нервозности характера, позволявшей О<гареву> постепенно достигать крайних границ как в жизни, так и в мысли и уживаться, страдая, со всеми самыми невозможными положениями легко, как у себя дома. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

таким форумом служила еще и круглая площадка в глубине парка, обнесенная великолепными липами), то разговоры, прения, рассказы, происходившие на этих форумах, отражая все многообразие характеров, умов и настроений, носили еще один общий тон, который и был господствующим тоном всех бесед этой эпохи.

Политических разговоров, в прямом смысле слова, на этих импровизированных академиях почти никогда не происходило. Тогдашняя публичная жизнь снабжала только людей юмористическими анекдотами и покамест ничего более не давала. Собственно же основные принципы, управлявшие обществом, вовсе и не затрогивались. Рассуждать о них считалось делом праздным и говорить о них начинали тогда, когда в применении своем они достигали или комического, или трагического абсурда. До тех пор это были явления, для всех давно отпетые и похороненные. Вспоминали о них особенно, когда настояла надобность ускользнуть из когтей того или другого из мертвецов, ходивших по земле, и пускавшегося неожиданно преследовать живых людей. Взамен на первом плане стояли европейские дела, учения, открытия; они и составляли господствующую ноту в разговорах. Вместе с тем проходила еще другая красная нитка через всю многообразную сеть узоров свободной беседы в Соколове. Она-то и давала предчувствие об общем происхождении и родстве всех мнений и мыслей, там высказывавшихся, несмотря на частую их противоположность. Прежде всего следует заметить, что в Соколове не позволялось только одного — быть ограниченным человеком. Не то чтоб там требовались непременно эффектные речи и проблески блестящих способностей вообще; наоборот, труженики, поглощенные исключительно своими специальными занятиями, чествовались там очень высоко — но необходим был известный уровень мысли и некоторое достоинство характера. Воспитанию мысли и характера в людях и посвящены были все беседы круга, о чем бы они, в сущности, ни шли, что и давало им ту однообразную окраску, о которой говорено. Еще одна особенность: круг берег себя от соприкосновения с нечистыми элементами, лежавшими в стороне от него, и приходил в беспокойство при всяком, даже случайном и отдаленном, напоминовении о них. Он не удалялся от света, но стоял особняком от *него*, — потому и обращал на себя внимание, но вследствие именно этого положения

в среде его развилась особенная чуткость ко всему искусственному, фальшивому. Всякое проявление сомнительного чувства, лукавого слова, пустой фразы, лживого заверения угадывались им тотчас и везде, где появлялись, вызывали бурю насмешек, иронии, беспощадных обличений. Соколово не отставало в этом отношении от общего правила. Вообще говоря, круг этот, важнейшие представители которого на время собрались теперь в Соколове, походил на рыцарское братство, на воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоял, по какому-то соглашению, никем, в сущности, не возбужденному, поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими.

XXVII

История последовавших вскоре внутренних разногласий «западной» партии достойна не менее внимания, чем и история ее возникновения и влияния в обществе. За протестом московских друзей против исключительного европеизма Белинского последовал раскол в самом московском отделе западников. Оба главнейшие его представителя, Г<ерцен> и Грановский, разошлись по вопросам, возникшим в конце концов на почве той самой западной цивилизации, явлениями которой они так занимались Толчок к новому подразделению партии дали уже идеи социализма и связанный с ними переворот в способе относиться к метафизическим представлениям. Самые первые проблески этого разногласия между друзьями оказались опять в Соколове, хотя разгар спора, со всеми его последствиями, относится уже к следующему, 1846 году. Позволяю себе остановиться теперь же на этой подробности, которая, в различных видах и формах, повторялась и во многих других кружках и отделах нашего «западничества».

Кому не известно, что, собственно, *русский* социализм или то, что можно назвать народными экономическими представлениями, заключался в очень ясных и узких границах, состоя из учения об общинном и артельном началах, то есть из учения о владении и пользовании

сообща орудиями производства. В этом скромном, ограниченном виде, данном всей нашей историей, *русский* социализм и был поставлен впервые на вид славянофилами, с прибавкой, однако ж, что он может служить не только образцом экономического устройства для всякой сельской и ремесленной промышленности, но и примером сочетания христианской идеи с потребностями внешнего, материального существования. На эту-то прибавку именно западники наши и не согласились: они отвергали ее самым положительным образом, признавая, что русская община спасает интересы народа в настоящую минуту и дает ему средство бороться с несчастными обстоятельствами, его окружающими, но за общинным владением они не признавали никакого всесветного экономического принципа, который мог бы быть годен для всякого хозяйства. Временное значение артели и общины западники подтверждали примером точно таких же установлений, являвшихся у всех первобытных народов, и думали, что с развитием свободы и благосостояния русский народ и сам покинет эту форму труда и общежития. Убеждения эти принадлежали и современной им политико-экономической науке, которая вместе с ними признавала общинный порядок производства ценностей и равномерного распределения земли и орудий труда не более как мероприятием против голода со стороны нищенствующего, младенчествующего народного быта и не позволяла питать никаких надежд на приобретение им в будущем какого-либо политического или экономического значения. В таком виде представлялся западникам «русский социализм». Совсем в другой форме явился перед ними новый «европейский социализм». Начать с того, что он открывал блестящие перспективы во все стороны и развертывал перед глазами лучезарную, фантастически освещенную даль, которой и границ не было видно. Как уже было сказано, европейские социальные теории изучались тогда очень прилежно, но из самых теорий этих получались только более или менее хорошо связанные и размещенные коллекции неожиданных, изумляющих и подавляющих афоризмов. Европейский социализм того времени не стоял еще на практической и научной почве, а только разработывал покамест нечто вроде «видений» из будущего строя общественной жизни, которую он сам рисовал по своему произволу. Существенной частию его содержания была ожесточенная критика всех экономических

уставов и действующих религиозных верований и убеждений, которая служила ему способом очистить самому себе место в умах: она и давала ему сильно намеченный, боевой характер. И в каких энергических словах выразился этот характер! Уже не говоря о пресловутом восклицании Прудона — la propriété c'est le vol *, — о не менее знаменитом изречении портного Вейтлинга: «Нам предоставлен только один вид свободного труда — грабеж» [203], — сколько было еще других, тоже ослепляющих и оглушающих тезисов тогдашнего молодого социализма, над которыми приходилось работать его неофитам. «Торговля и сословие купцов, ею созданное, не что иное, как паразиты в экономической жизни народов»; «результаты *коллективного* труда рабочих достаются даром патрону, который всегда оплачивает только единичный труд»; «правильная ассоциация распределяет работу по силам каждого, а вознаграждение по нуждам его»; «способности рабочего не дают ему права на большую долю вознаграждения, будучи сами даром случая»; «искусство и талант суть уродливости нравственного мира, схожие с уродливостями физическими, и никакой оценки и оплаты не заслуживают»; «рабочий имеет такое же право на произведенную им ценность, как и заказчик ее»; «цивилизация Европы есть прямое порождение праздных ее сословий» — и так далее и так далее. Я привел здесь только тезисы и положения нового социализма, какие попали под перо, но их было множество, и все они раздражали воображение гораздо более, чем целые системы этого же направления, вроде систем Сен-Симона или Фурье, так как у первого иерархический характер учения, а у второго искусственная гармония темпераментов и психических серий возбуждали многими своими сторонами недоумение и юмор. При афоризмах же и тезисах «воюющего» социализма, наоборот, никто и не предъявлял требований на очевидность и убедительность доказательств. Сила этих громоносных положений заключалась не в их логической неотразимости, не во внутренней их правде, а в том, что они возвещали какой-то новый порядок дел и как будто бросали полосы света в темную даль будущего, открывая там неизвестные, счастливые области труда и наслаждения, о которых всякий судил по впечатлению, полученному в

* собственность — это кража (*фр.*).

короткое мгновение той или другой из подобных вспышек. Эти *прозрения* в будущее, однако ж, действовали чрезвычайно различно на людей самого круга. Грановский, например, нисколько не обольщался ими.

Признавая европейский социализм явлением, которое уже не может быть оставлено без внимания ни историком, ни вообще мыслящим человеком, он смотрел на него как на болезнь века, тем более опасную, что она не ждет и не ищет помощи ниоткуда. «Социализм, — говорил он, — чрезвычайно вреден тем, что приучает отыскивать разрешение задач общественной жизни не на политической арене, которую презирает, а в стороне от нее, чем и себя и ее подрывает». Иначе отнеслись к нему Г<ерцен> и Белинский.

Воинственные манифесты социализма, возвещавшие истребительный поход его на европейскую цивилизацию, не приводили их в ужас. Конечно, ни у того, ни у другого не было и помина об усвоении всех его предписаний или о превращении всех его претензий в догматы собственной своей «веры» (это было бы и нелепо в их обстановке). Многие из нивелирующих декретов социализма даже казались и им юношескими вспышками, но они смотрели гораздо бодрее, хладнокровнее и спокойнее, чем Грановский, на участь современной образованности, если бы она и должна была потерпеть некоторый ущерб. А в том, что образованности этой предстоит немалое испытание, уже никто не сомневался: тогда во всей Европе думали, что с социализмом надвинется на нее свирепый ураган, долженствующий потрясти все так долго и так трудно нажитые ею верования, убеждения, привычки, мысли и исторические основы. Разница в способах относиться к этим предчувствиям переворота именно и образовала ту *рознь* в московском кружке, о которой теперь говорим. Г<ерцен> был заодно с Белинским, и они оба смотрели прямо и открыто в лицо всем симптомам разложения, грозившим, по их мнению, Европе со стороны социализма, не призывая, но и не ужасаясь развалин, которые он должен произвести. Они думали, что из пепла старой цивилизации Европы возникнет феникс — новый порядок вещей как венец и последнее слово ее тысячелетнего развития.

Все предчувствия переворота, напротив, тревожили Грановского в высшей степени, и самый переворот, как он представлялся его уму, не вызывал у него ни малейшей

симпатии, никаких радужных надежд или ожиданий. Разногласие между друзьями было, как видим, совершенно невинного характера[204], не имея в основании своем ничего, кроме предположений и гаданий, но оно сопровождалось еще ирониями и диспутами, обнаруживавшими взгляды сторон и на другие предметы нравственного характера. Раз затянувшись, спор уже поддерживался множеством горючих элементов, прибывавших к нему со стороны, из ученых и других явлений тогдашней жизни.

Одним из таких горючих материалов должно считать, между прочим, хорошо известную книгу Фейербаха, которая находилась тогда во всех руках. Можно сказать, что нигде книга Фейербаха не произвела такого потрясающего впечатления, как в нашем западном круге, нигде так быстро не упраздняла остатки всех прежних предшествовавших ей созерцаний. Г<ерцен>, разумеется, явился горячим истолкователем ее положений и заключений, связывая, между прочим, открытый ею переворот в области метафизических идей с политическим переворотом, который возвещали социалисты, в чем Г<ерцен> опять сходился с Белинским *[205]. Но Грановский с горечью в душе, уже тронутой сомнениями, отбивался от того последнего слова, которое требовали у него друзья по поводу всех подобных явлений, и не говорил его, силясь сохранить под собой историческую, конкретную основу существования, подмываемую со всех сторон. Он начинал расходиться с собственным кругом, с тем кругом, в котором, по собственным словам его, заложены были целиком его сердце и вся нравственная часть его существования. Охлаждение и разногласие между друзьями уже существовало втайне прежде, чем вышло наружу. Уже в Соколове Грановский сказал раз при мне, шутя отпрашиваясь у общества в Москву для свидания с другими приятелями, там оставшимися, и преимущест-

---

* Кстати заметить еще факт. Для Белинского, собственно, был сделан в Петербурге одним из приятелей перевод нескольких глав и важнейших мест из книги Фейербаха[206], и он мог, так сказать, осязательно познакомиться с процессом критики, опрокидывавшей его старые мистические и философские идолы. Нужно ли прибавлять, что Белинский был поражен и оглушен до того, что оставался совершенно нем перед нею и утерял способность предъявлять какие-либо вопросы от себя, чем всегда так отличался. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

венно с домом Елагиных: «Мне это нужно, чтобы не совсем загрубеть между вами — вот вы ведь успели уже лишить меня бессмертия души». Слова эти, несмотря на шуточный их характер, поразили меня тогда же как разоблачение. Через год, именно в 1846 году, решение Грановского было принято окончательно. Г<ерцен> рассказывает в своих «Записках», что Грановский однажды положительно объявил ему, после какого-то горячего прения между ними, что он, Грановский, не может дальше идти с прежними своими товарищами в том направлении, какое все более и более усвояется ими и из которого он не видит никакого разумного выхода; что он принужден, с болью в душе, выделиться из дорогого ему круга по многим религиозным, нравственным и историческим вопросам и заявить это твердо и искренно. Г<ерцен> был поражен: он терял друга — и какого друга! — своей молодости, да и видел еще, с какой глубокой печалью на лице и каким голосом Грановский представил свой ультиматум! Изумленный и растерянный, Г<ерцен> обратился тогда же за разъяснением дела, а если можно, то и за посредничеством, к Е. Ф. Коршу, но он встретил у него уклончивый ответ, который показывал, что не все члены круга расположены смотреть на заявление Грановского как на минутную или капризную вспышку. Евг. Корш не одобрял крутой постановки вопроса, какую сделал Грановский, но из объяснений его можно было догадаться, что сам Корш признавал, однако, основательность поводов, которые понудили Грановского к его заявлению. Разрыв приобретал значение несомненного факта и требовал, подобно перелому кости в организме, наложения на первых порах перевязки и предоставления затем живительному действию времени — произвесть срастание члена. Так и было сделано. Полного, совершенного исцеления, однако же, не последовало между надломленными членами кружка. А между тем я был свидетелем, что до конца жизни ни Грановский, ни Г<ерцен>, ни Белинский не могли говорить друг о друге без умиления и глубокого сердечного чувства.

XXVIII

Что же делал Белинский за все это время? В конце лета этого года (1845) Белинский жил на даче, на Парголовской дороге, против соснового леска, окружавшего

озеро Парголовское. Мы туда и ушли с Белинским, когда по прибытии в Петербург я приехал навестить его и переговорить о всем, что видел за лето. Я ему передал подробности впечатлений, вынесенных мною из пребывания в Соколове. Он выслушал внимательно мое сочувственное описание тамошних дел и слов и промолвил: «Да, московский человек — превосходный человек, но кроме этого он, кажется, ничем более не сделается».

Белинский оставался теперь почти один со знаменем и девизом непримиримой вражды. Он считал своей обязанностью еще выше держать это знамя напоказ с тех пор, как ряды его защитников стали расстроиваться. Не без огорчения смотрел Белинский на сближение враждебных партий в Москве, — сближение, которое сделалось возможным, как он думал, только потому, что одна партия не вполне договаривала свою мысль и ее вполне обнаруживала свои конечные цели, а другая — западническая — непомерно обрадовалась сочувственному слову и с закрытыми глазами предалась обычному своему наслаждению — кидаться на шею врагам и поскорее сажать их за один стол с собою [207]. Причины разладицы увеличивались все более и более между друзьями: в борьбе с славянофилами Белинскому приходилось задевать и всех их союзников, старых и новых. Недоразумения копились поэтому в лагере западников почти при всяком обмене мыслей между старыми друзьями. Сбереглась в целости только одна черта в их обычных сношениях. Друзья не скупились на взаимные обличения и жестокие упреки, когда стояли лицом друг к другу, и обращались тотчас же в прежних друзей и верных товарищей, когда замолкали или расходились по домам. Беречь свои симпатии, нажитые в течение долгого времени, становилось тогда для всех необходимостью, нисколько не мешавшей каждому настаивать на своих убеждениях и их проводить в свет.

Белинский приступил тотчас же, с обычной своей страстностью и искренностью, к определению и уяснению пунктов разногласия, образовавшихся между московскими и петербургскими западниками. Прежде всего он отнесся скептически и насмешливо к серьезным минам, с которыми ученые в Москве разбирают вопросы русской жизни, перенося их на почву науки, философии, философствующей истории и проч. По его мнению, вопросы эти не нуждаются в такой пышной обстановке и могут

разрешиться очень простыми, не хитрыми и не мудреными мерами и принципами, доступными каждому самому простому пониманию. Так же точно и по отношению литературы к образованным классам общества Белинский думал, что последние нуждаются скорее в правильном устройстве их образа мыслей, чем в знании последних результатов европейской науки. Первое наглядное приложение этой системы отрицания дальних разъяснений и глубокомысленных упражнений в сфере идей Белинский сделал тотчас же на письмах Г<ерцена> об изучении природы, которые стали появляться тогда же в «Отечественных записках» [208]. Он признавал, что как положения, так и цели этих чрезвычайно умных статей в высшей степени важны, но не признавал возможности извлечь из откровений естествознания моральных и воспитательных указаний, нужных особенно для русских читателей, большинство которых еще не обзавелось органом для понимания первых нравственных начал. «И каким отвлеченным, почти тарабарским языком написаны эти статьи, — говорил Белинский, — точно Г<ерцен> составил их для своего удовольствия. Если я мог понять в них что-нибудь, так это потому, что имею за собой десяток несчастных лет колобродства по немецкой философии, — но не всякий обязан обладать таким преимуществом!» [209]

Несомненно, что в таких и им подобных заявлениях Белинского сквозило желание иметь дело с общественной литературой, занимающейся насущными вопросами дня, с популярным изложением научных и моральных истин (он вздыхал по литературе этого рода и в одном из тогдашних своих годичных обозрений словесности) [210], но все-таки основания его приговора казались очень жесткими. Они лишали интеллигентных людей эпохи последнего убежища от пустоты жизни, какое они еще находили в науке и в отвлеченной постановке вопросов. Они отнимали единственную арену, на которой дозволялось проявление мысли. Способствовать уничтожению этой арены или умалению ее значения в публике значило просто, по мнению противников Белинского, играть заодно и в руку с обскурантами. В Москве смотрели на эту оппозицию Белинского эрудиции и чистому мышлению как на громадную ошибку увлекающегося критика и вдобавок как на плохой расчет. Нельзя вызвать, — говорили там, — популярную пропаганду науки, закрывая или

подрывая настоящие источники самой науки, принуждая или отстраняя ее деятелей и замещая нынешние условия умственной жизни одними упреками, страстными призывами и пожеланиями лучшего, тщета которых должна быть ясна самому вспыльчивому критику еще более, чем кому-либо иному. Так расходились московские западники все далее и далее от центра западничества, образованного Белинским в Петербурге.

Помню любопытную сцену, приходящуюся к этому же времени: я был случайным свидетелем ее. П. П. Кудрявцев, проезжая в Берлин, куда посылался для окончания своего профессорского образования, посетил, разумеется, в Петербурге Белинского, этого приятеля молодых своих годов, который в авторе «Флейты» находил когда-то идеал природного эстетического вкуса и понимания[211]. Но встреча их теперь оказалась в высшей степени сдержанной, холодной и напряженной — и, конечно, по ней трудно было бы догадаться о родственных связях, некогда существовавших между этими людьми. Кудрявцев являлся точным представителем московского взгляда на теперешнюю деятельность петербургского критика, и весь ход разговора, завязавшегося между старыми друзьями, ясно показывал, что тут лежит, в скрытой форме, довольно сильно назревший раздор. Как теперь смотрю на высокую фигуру П. Н. Кудрявцева, в синем фраке с светлыми металлическими пуговицами: он опрокинулся на кресло в приемной-столовой Белинского и останавливал порывы своего собеседника отрывочными, холодными фразами, которые, будучи сказаны обычным глухим голосом его и при каменном выражении на его лице, падали, как судейские приговоры. Белинский выбрал опять статьи Г<ерцена> для того, чтобы через них переслать упреки московским людям за их абстрактные отношения и к жизни и к науке. Кудрявцев отвечал коротко: «Без абстракций нельзя обойтись при многих научных вопросах — за это надо сердиться на логическую необходимость, а не на людей». Напрасно Белинский старался развить мысль о необходимости предпочтения тех научных положений, которые наиболее приложимы к современному быту, и о необходимости трактования этих положений наиболее понятным для читателей *образом*, — Кудрявцев отвечал: «Что за иерархия такая в науках? Отвлеченные науки так же необходимы, как и политические, и друг другу помогают. Почему не заниматься

теми, с которыми более знаком, и в форме, которая более сподручна?» В таком тоне шла беседа некоторое время. Весь пыл Белинского, однако, не мог долго выдержать этого решительного отвода всех его положений, — отвода, по-видимому, очень спокойного, но, в сущности, весьма гневного и неприязненного. Беседа падала сама собой, и старые друзья хладнокровно расстались, обмениваясь самыми пошлыми вопросами на прощании, точно посторонние. Устами Кудрявцева говорила известная часть Московского университета.

И тот же самый П. Н. Кудрявцев через год, когда я посетил его уже в Берлине, при мне очень сурово и решительно остановил некоего г. С—ва[212], ученика и поклонника Шеллинга, но только очень низкой пробы, когда тот вздумал очертя голову ругать Белинского огулом. Надо знать, что С—в предлогом для своих ругательств взял неблагоприятный отзыв о Шеллинге, где-то высказанный Белинским (кажется, в статье о «Тарантасе» графа Соллогуба)[213], а сам Кудрявцев в то время состоял под неотразимым влиянием Шеллинговой «Философии откровения» и говорил о ней с упоением, что не помешало ему, как сказано, круто отнять слово у своего единомышленника. Но так почти всегда действовали противники Белинского, да и он сам, принадлежавшие к особому, теперь уже вымершему, роду противников.

Не более злобы и ожесточения сохранил и Г<ерцен>, знавший отзыв критика о его статьях и упоминавший об этих отзывах потом не раз. «Чудак этот, — говорил он, — изволит находить, что трудно выказать более ума и дельного взгляда на предмет в более темных выражениях, но он забывает, что иначе никакого ума и взгляда на русском языке и показать нельзя». Впрочем, Г<ерцен> скоро был с избытком вознагражден за строгие приговоры критика. Вслед за письмами об изучении природы появились в «Отечественных записках» первые главы известного романа Г<ерцена> *, и автор имел тотчас же удовольствие видеть, как внезапно переменились все отношения Белинского к его авторской деятельности[214]. Белинский пришел от начальных глав романа в положительный восторг, который возрастал по мере развития

* «Кто виноват?». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

повести. Критик наш, конечно, не просмотрел романтического колорита, который положен был на главные действующие лица романа, но отношения самого автора повести к своим лицам, горькая правда, с которой он излагает их порывы и мечтания, не исключающая, впрочем, и глубокого сочувствия к ним, а наконец — картина поучительной житейской драмы, возникающая из фальшивых общественных их *положений*, — все это поразило критика почти как неожиданность. Он многого ожидал от лучезарного ума Г<ерцена>, но такого мастерства «сочинения» не ожидал. «Вот где его *сила*, — говорил *он*, — вот где он на просторе, и вот какая арена ему открылась для богатырских литературных упражнений, к которым он склонен». Г<ерцен> был тронут этим неожиданным успехом своего романа, переломившим сухое настроение критика. «Виссарион *Григорьевич*, — замечал он потом шутя, но очень довольный *приговором*, — гораздо более любит наши сказочки, чем наши трактаты, да он и прав. В трактатах мы беспрестанно переодеваемся от надзора и раскланиваемся любезно с каждым буточником, а в сказке ходим гордо и никого знать не хотим, потому что в кармане плакатный билет имеем: чинить ей пропуски, давать ночлеги и кормежные». Г<ерцен> подтвердил свое воззрение на «сказку», да оправдал и пророчество Белинского, напечатав в 1847 году («Современник» 1847 года) так называемые «Записки» и т. д. (о душевных болезнях вообще и проч.). Это была тоже сказка, но сказка, захватывавшая глубокие психологические и социальные вопросы[215].

Была, однако ж, и еще причина для этих симпатических излияний Белинского, кроме той, которая порождалась самым литературным достоинством произведения Г<ерцена>: Белинский склонялся все более к признанию важного значения так называемой беллетристики, разнообразной, умной, цепкой беллетристики, какая существует во всех странах Европы, образуя в них такой же существенный элемент общественного развития, как и художественные произведения, и часто служа пособием для их понимания. Со стороны Белинского этот ввод нового деятеля в область искусства и это снабжение его патентом на право гражданства в ней не было изменой старым положениям критика 1840—1845 годов, а только дополнением их. «Великие образцовые произведения искусства и *науки*, — говорил *он*, — были и останутся един-

ственными пояснителями всех вопросов жизни, знания и нравственности, но до появления таких произведений, заставляющих иногда ждать себя подолгу, беллетристика — дело необходимое. В эти долгие промежутки она предназначена занимать, питать и поддерживать умы, которые без нее обречены были бы на праздность или на повторение старых образцов и преданий». Желать возникновения беллетристики, не придавая ей значения последнего судьи всех современных задач — значило для него только желать обмена идей и сбора необходимого материала для разрешения этих задач уже путем науки и творчества, когда наступит их время. Зачатки такой беллетристики Белинский усмотрел именно в вышеупомянутом романе Г<ерцена>, что однажды и высказал публично в разборе его, не придавая ему художнического значения, но ставя его высоко как произведение умного, наблюдательного и развитого человека[216]. По тем же поводам и первые произведения другого писателя, Д. В. Григоровича, выступившего в 1846 с повестью «Деревня», за которой последовала другая, «Антон Горемыка», — обе возбудившие множество толков — встречены были чрезвычайно сочувственно нашим критиком[217]. Он увидал в них начало эры талантливых разоблачений и ловкой проверки жизненных явлений из сельского нашего быта, важность которых была теперь несомненна для него.

Какую скромную роль ни отводил еще Белинский беллетристике вообще в литературе, но ходатайство за нее и предъявление ею прав на внимание показались еще многим ересью. Ново и дико было то, что критик признавал учителями общества уже не одни гениальные или очень крупные таланты, как прежде, а и всю безымянную массу литераторов и деятелей, разработывающих вопросы жизни и времени по мере сил своих и понимания. Первая, усмотревшая новое направление Белинского, была, конечно, очень чуткая к видоизменениям его мысли славянофильская партия. Она объявляла все учение о беллетристике прославлением публичной «болтовни», принижением серьезных тружеников в пользу «горланов». Мне самому приходилось слышать от некоторых — и не безвестных — лиц этой партии замечание, что поставление беллетристики на одну доску с поэтическим трудом похоже на оскорбление «святого духа».

Московским умеренным западникам новая пропаганда Белинского не показалась ни очень новой, ни такой страшной для дела образования: они знали участие беллетристики в создании общего умственного строя современной Европы. Притом же внутри круга жило убеждение, что нападки врагов Белинского порождены просто недоразумением, у многих даже и сознательным, ибо преследователем художественности, чистого творчества и серьезного труда нельзя было его и представить себе, И они были правы, как доказал восторг Белинского при появлении в том же 1845 году, еще в рукописи, «Бедных людей» Достоевского, которых он считал на первых порах замечательным художническим произведением [218].

XXIX

В одно из моих посещений Белинского, перед обедом, когда он отдыхал от утренних писательских работ, я со двора дома увидел его у окна гостиной с большой тетрадью в руках и со всеми признаками волнения на лице. Он тоже заметил меня и прокричал: «Идите скорее, сообщу новость...» «Вот от этой самой рукописи, — продолжал он, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит. Дело тут простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все, — а какая драма, какие типы! Да я и забыл вам сказать, что художника зовут Достоевский, а образцы его мотивов представлю сейчас». И Белинский принялся с необычайным пафосом читать места, наиболее поразившие его, сообщая им еще большую окраску своей интонацией и нерв-

ной передачей. Так встретил он первое произведение нашего романиста *.

И этим еще не кончилось. Белинский хотел сделать для молодого автора то, что он делал уже для многих других, как, например, для Кольцова и Некрасова, то есть высвободить его талант от резонерских наклонностей и сообщить ему сильные, так сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладевать предметами прямо, сразу, не надрываясь в попытках, но тут критик встретил уже решительный отпор. В доме же Белинского прочитан был новым писателем и второй его рассказ: «Двойник»; это — сенсационное изображение лица, существование которого проходит между двумя мирами — реальным и фантастическим, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни к одному из них. Белинскому нравился и этот рассказ по силе и полноте разработки оригинально странной темы, но мне, присутствовавшему тоже на этом чтении, показалось, что критик имеет еще заднюю мысль, которую не считает нужным высказать тотчас же. Он беспрестанно обращал внимание Достоевского на необходимость *набить руку,* что называется, в литературном деле, приобрести способность легкой передачи своих мыслей, освободиться от затруднений изложения. Белинский, видимо, не мог освоиться с тогдашней, еще расплывчатой манерой рассказчика, возвращавшегося поминутно на старые свои фразы, повторявшего и изменявшего их до бесконечности, и относил эту манеру к неопытности молодого писателя, еще не успевшего одолеть препятствий со стороны языка и формы. Но Белинский ошибся: он встретил не новичка, а совсем уже сформировавшегося автора, обладающего потому и закоренелыми привычками работы, несмотря на то, что он являлся, по-видимому, с первым своим произведением. Достоевский выслушивал наставления критика благосклонно и равнодушно. Вне-

---

* Во время вторичного моего отсутствия из России, в 1846 году, почти такое же настроение охватило Белинского, как рассказывали мне, и с рукописью «Обыкновенная история» И. А. Гончарова — другим художественным романом. Он с первого же раза предсказал обоим авторам большую литературную будущность, что было не трудно, но он еще предсказал, что потребуется им много усилий и много времени, прежде чем они наживут себе творческие идеи, достойные их таланта. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

запный успех, полученный его повестью, сразу оплодотворил в нем те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе. Успех этот более чем освободил его от сомнений и колебаний, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторов: он еще принял его за вещий сон, пророчивший венцы и капитолии. Так, решаясь отдать роман свой в готовившийся тогда альманах, автор его совершенно спокойно, и как условие, следующее ему по праву, потребовал, чтоб его роман был отличен от всех других статей книги особенным типографским знаком, например — каймой [219].

Впоследствии из Достоевского вышел, как известно, изумительный искатель редких, поражающих феноменов человеческого мышления и сознания, который одинаково прославился верностию, ценностию, интересом своих психических открытий и количеством обманных образов и выводов, полученных путем того же самого тончайшего, хирургически острого, так сказать, психического анализа, какой помог ему создать и все наиболее яркие его типы. С Белинским он вскоре разошелся — жизнь развела их в разные стороны, хотя довольно долгое время взгляды и созерцание их были одинаковы.

Я не успел еще сказать, что две зимы — 1844 и 1845 годов — Петербург видел в стенах своих и постоянного своего антагониста Н. Кетчера. Н. Кетчер провел в Петербурге эти зимы по служебным делам своим и страшно скучал по родному своему городу, в который и возвратился окончательно летом 1845 года, где, как мы видели, я и застал его на даче в Соколове. В Петербурге он занимался переводом с немецкого какой-то терапевтической или фармацевтической книги, долженствовавшей служить руководством для учебных заведений ведомства медицинского департамента, но поверх этой книги всегда лежали на письменном его столе томики Шекспира в оригинале и в немецком тексте, и он свободно переходил от перевода учебной книги к переложению поэтических созданий британского драматурга. В промежутки между этими занятиями он посещал театр и общество петербургских актеров, которых довольно своеобразно воспитывал, ругая почти все, что им нравилось и на что они возлагали большие надежды. Он иногда и собирал их в своей квартире, на Владимирской. Тут я встретил однажды и В. А. Каратыгина, бывшего

в апогее своей славы. Знаменитый трагик эпохи показался мне несколько нелепым со своим громадным ростом, густым и глухим басом, величавым видом и тупо сдержанным и значительным словом. По бешенству жестов, изысканности поз и утрировке выражений он частенько бывал нелеп и на сцене, но тут он выкупал эти недостатки инстинктивной отгадкой главной черты изображаемого характера, проведением ее через всю роль и передачей ее в возможной яркости и рельефности, чем и достигал подчас замечательных эффектов.

Пребывание Кетчера ознаменовалось постоянными, нескончаемыми толками о различии и противоположных качествах обеих наших столиц. Белинский, огорченный *сделками* партий в Москве, гремел против города, имеющего тлетворное влияние на самых здравомыслящих людей, а Кетчер исполнял теперь роль адвоката Москвы, что было согласно с обычаем, принятым в круге, — всегда стоять за отсутствующих. Мы видели, что летом, возвратясь на свое родное пепелище, в Москву, он оказался, наоборот, горячим защитником петербургских взглядов. Впрочем, в спорах между друзьями не было ничего нового, за исключением одной черты: тут препирались уже не представители двух враждебных партий, а представители одной и той же дружеской партии, что подтверждало ее распадение. Обе столицы, Москва и Петербург, опять употреблены были в дело, как прежде в борьбе с чистыми славянофилами, — для обозначения духа и содержания новых отделов раздвоившейся партии западничества. Москва и Петербург присуждены были, как и прежде, взимать на себя увлечение, страсти, гневные вспышки современников и служить им орудиями борьбы. Петербургское «западничество» выражалось устами Белинского. «Между питерцем и москвичом, — говорил Белинский, подразумевая уже одних западников (я сохраняю здесь смысл речей его, но не самую форму их), — никакой общности взглядов долго существовать не может: первый — *сухой* человек по натуре, а второй — *елейный* во всех своих словах и мыслях. У них различные роли, они только мешают и гадят друг другу, когда сойдутся». Этот афоризм я передал почти буквально, потому что часто слышал его от Белинского. Затем, по мнению Белинского, если позволительно мечтать о появлении у нас большой литературной и общественной партии когда-либо, то ее следует ожидать только из

Петербурга, потому что единственно в Петербурге люди знают истинную цену вещей, слов и поступков, а затем еще и потому, что единственно в Петербурге люди ничем не обольщаются и принимают без благодарности и умиления всякие подарки и милости как нечто им следующее; а наконец и потому, что способны без сердечных болей отделываться от застарелых мыслей и от хороших людей, если они ни к чему не ведут или мешают достижению раз поставленной цели. Как далеко ушел Белинский от своих еще не очень давних томлений по Москве и нежных воспоминаний о ней! Кетчер от имени московских западников выражал совсем другое мнение. По его толкованию, вся работа петербургского человека заключается в том, чтоб *прослыть* умным человеком, причем всяческие воззрения, убеждения, тенденции считаются у него различными видами дурачеств, мешающими устройству карьеры, а затем уже, прослыв умным человеком, петербуржец спит и видит, как бы продать себя подороже со всем своим багажом.

В статейке «Петербург и Москва», написанной Белинским, в 1846, для альманаха Некрасова [220] и отражающей хорошо его споры с другом, критик сознается, что Москва больше и лучше читает, больше и лучше думает, но он прибавлял еще в разговорах своих к этому замечанию, что в Петербурге люди лучше держат себя и порядочнее себя ведут, точно приготовляясь к чему-то серьезному; на этом основании истому и распущенному москвичу становится даже и жутко жить на берегах Невы. Кетчер имел ответ и на это положение. Он приблизительно выражал такую мысль: излишества, безобразие и всякие чудовищности москвича еще почтеннее приличия и сдержанности питерца. Там все уродливости наголо и ничем другим, как уродливостями, не слывут, а здесь в целый год не узнаешь, какой человек у тебя перед глазами, герой ли добродетели, или отъявленный негодяй. Замечательно, что в таких противоположных терминах прения между друзьями могли держаться целые месяцы сряду, но это оттого, что в спор заплеталось множество личных вопросов и множество соображений, порождаемых явлениями и событиями каждого дня в двух столицах. Притом же спор этот был тогда повсеместный, общий и происходил, так или иначе, в каждом доме, где только собирались люди, не чуждые литературе и вопросам культуры.

Какими бы странными, пустыми и праздными ни

казались все споры подобного рода современным людям. но нельзя сказать, чтобы они лишены были вовсе дельных оснований и поводов для возникновения своего в эпоху, когда процветали; западная партия, например, в Москве и Петербурге усматривала в лицах, по сочувствию их к тому или другому городу, оттенки мнений, распознавать которые другим путем было очень трудно, видела сразу по одному расположению человека к тому или другому центру западнического направления настоящее знамя человека и его истинные взгляды на общее дело просвещения, угадывала наконец цвета и краски, в какие должны отливаться все его убеждения. Белинский даже по степени симпатических отношений к одной из столиц наклонен был узнавать своих единомышленников или своих тайных недоброжелателей. Все это, однако же, продолжалось недолго, как сейчас увидим, потому что характер самых предметов сравнения начал, с переходом одних деятелей и представителей направления на другую почву, с исчезновением иных вовсе из среды партий, меняться часто: мерило для расценки и определения величин, противопоставленных друг другу, оказывалось беспрестанно неверным, неприложимый.

Гораздо долее этого спора держались толки и прения по поводу известной *фикции,* условного представления, по которому седалищем славянофильства признавалась Москва, а западнических тенденций — Петербург. Препирательства, вызванные этой *фикцией,* возобновлялись несколько раз и впоследствии, но и они кажутся теперь занятием, придуманным для себя людьми, страдавшими обилием праздных сил. Глазу современного человека чрезвычайно трудно найти во всех этих спорах исторически верный факт, так как он видит теперь одни обломки явлений, не распознает связи их с психической жизнию эпохи и развлечен тем, что все эти остатки недавнего нашего прошлого стоят перед ним уже в новом, совершенно переработанном, почти неузнаваемом виде, какой сообщило им последующее развитие нашей мысли и печати, принявшееся за их восстановление в свою очередь.

Но толки и горячие беседы не составляли для Белинского никогда настоящего дела, а только были приготовлением к нему. Статьям его весьма часто предшествовал долгий обмен мыслей с окружающими людьми или предпосылалось изложение идей, его занимавших, в дружеских разговорах, чем он одинаково разъяснял самому

себе свои темы и будущий порядок их развития. Так случилось и теперь.

Белинский воспользовался появлением романа гр. Соллогуба «Тарантас», чтобы поговорить серьезно, подробно и уже печатно со своими московскими друзьями[221]. Известно, что западники чрезвычайно откровенно относились друг к другу в своем интимном кружке, но чуть ли Белинский не первый перенес эту откровенность и в печать. Правда, пример подала славянская партия в «Москвитянине», как мы видели. Она принялась там за чистку домашнего белья и за сведение счетов между собой, но тотчас же и отказалась от этой попытки, находя, вероятно, что малочисленность ее семьи требует крайней осторожности и снисходительности в обращении членов между собой. Только на условии взаимной поддержки партия и могла сохранить свою целость и сберечь весь свой персонал, нужный для борьбы. Потребность держаться сплоченной, по возможности, перед врагами приводила ее затем уже постоянно не только к публичному непрестанному выставлению напоказ лучшей стороны своих деятелей, причем тщательно покрывались молчанием все частные разногласия с ними, но и к отысканию блестящих сторон деятельности у таких людей своего круга, которые их вовсе не имели. Все соображения и расчеты подобного рода никогда не помещались в голове Белинского и никогда не могли остановить его. Он и теперь отдался вполне своему намерению, без всякого колебания. Статью Белинского о «Тарантасе» гр. Соллогуба можно назвать образцом мастерской полемики, говорящей гораздо более того, что в ней сказано формально. Она произвела сильное впечатление на людей, умевших различать за слышимой речью другой, потаенный голос, а кто тогда не умел этого? Белинский чрезвычайно искусно воспользовался двойным характером разбираемого произведения, изображавшего очень верно, иногда даже с истинным юмором, скудную умственную и житейскую арену, по которой двигались представители как нашей первобытной, так и поправленной, щеголеватой Руси, но в то же время дополнявшего еще свои картины фантазиями на счет будущего блестящего развития той самой печальной среды, которую рисовало. Выходило так, что грубость и бесплодие почвы именно и дают право надеяться на получение с нее обильной жатвы и ослепительных результатов. Белинский отдавал полную

справедливость реальной живописи предметов и образов, какую находил в романе, и относился с презрением к фантастическим пророчествам и пояснениям его, которые, говорил он, ничего не доказывают, кроме бедности суждения и созерцания автора, если только не полагать у него *иронических* намерений. Белинский называл все эти детские *прозрения в будущее* России донкихотством, но прибавлял, что это донкихотство невинное и еще очень низкой, второстепенной пробы, а есть и другое, более опасное и лучше обдуманное, — и затем критик восходил к описанию этого донкихотства высшего сорта и порядка, начало которого Белинский усмотрел за границей в сфере науки, истории и философии, стало быть — в сфере высокоразвитых людей * и предостерегал от появления его у нас. Это донкихотство высшего полета, по мнению Белинского, верует в возможность примирения начал, диаметрально противоположных друг другу, убеждений и взглядов, взаимно исключающих друг друга, и занято отысканием какого-нибудь уголка в области мысли, где бы мог спокойно совершиться устраиваемый им насильственный брак, противоестественный союз различных направлений. Как ни пышно с вида это псевдонаучное донкихотство, располагающее, однако же, огромными средствами эрудиции, диалектики и философской находчивости, оно все-таки, говорил Белинский, сродни пошловатому донкихотству соллогубовского романа. Обоим им обще стремление искать спасения от жизненной правды, бьющей в глаза, в области лжи и фантазии. Все намерения и цели полемической статьи этой были достаточно ясны и прозрачны для всех, посвященных в дела литературы, но Белинскому хотелось досказать и последнее свое слово. Он вменил в заслугу автору и то обстоятельство, что он дал генерическое имя и отчество[223] вздорному герою-мечтателю своего романа, назвав его «Иваном Васильевичем». «Мы теперь будем знать, — говорил Белинский, — как называются у нас все фантазеры этого рода», — а известно, что и И. В. Киреевский, автор замечательных статей «Москвитянина»[224], носил то же имя и отчество.

---

* Он имел в виду преимущественно новую систему Шеллинга (философия откровения), а после нее учение Бюше (Buchez) — о католическом социализме и другие. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)[222]

Как отразилась эта статья на московских друзьях Белинского, видно из речей и мнений на даче в Соколове, о которых было уже говорено прежде.

XXX

Между тем приближалось время очень важного переворота в жизни Белинского.

Скорее, чем можно было ожидать, оказалось, что Белинский ошибался, когда, благодаря ослабевшей энергии наших партий, пророчил близкое воцарение равнодушных отношений к существенным вопросам русской жизни или когда опасался, что партии окончательно сойдутся на каком-либо фантастическом представлении из области истории, права и народного быта, которое не будет иметь ни малейшей связи с современным положением дел. Ничего подобного не случилось, да и не могло случиться. Какие бы шаги ни делали умеренные отделы наших партий навстречу друг другу, сойтись они все-таки никак не могли, как показало — и очень скоро — последующее время. Между ними лежала пропасть, образовавшаяся из различного понимания роли русского народа в истории и различного суждения о всех других факторах и элементах той же истории. «Славяне», как известно, давали самое ничтожное участие в развитии государства пришлым, иноплеменным элементам, за исключением византийского, и во многих случаях смотрели на них как на несчастие, помешавшее народу выразить вполне свою духовную сущность. «Европейцы», наоборот, приписывали вмешательству посторонних национальностей большое участие в образовании Московского государства, в определении всего хода его истории и даже думали, что этнографические элементы, внесенные этими чуждыми национальностями, и устроили то, что называется теперь народной русской физиономией. Разногласие сводилось окончательно на вопрос о культурных способностях русского народа, и вопрос оказался настолько силен, что положил непреходимую грань между партиями.

«Славянская» партия не хотела, да и не могла удовольствоваться уступками своих врагов, — пониманием народа, например, как одного из многочисленных агентов, слагавших нашу историю, — а еще менее могла удоволь-

ствоваться признанием за народом некоторых симпатических, нравственно привлекательных сторон характера, на что охотно соглашались ее возражатели. Она требовала для русского народа кое-чего большего. Она требовала именно утверждения за ним громадной политической, творческой и моральной репутации, великой организаторской силы, обнаружившейся в создании Московского государства и в открытии таких общественных, семейных и религиозных идеалов существования, каким ничего равносильного не могут противопоставить наши позднейшие и новые порядки жизни. На этом основании и не заботясь об исторических фактах, противоречивших ее догмату, или толкуя их ловко в свою пользу, она принялась по частям за лепку колоссального образа русского народа с целью создать из него тип, достойный поклонения. С первых же признаков этой работы по сооружению, в лице народа, апофеозы нравственным основам и идеалам старины, и еще не дожидаясь ее конца, московские западники целым составом усвоили себе задачу неустанно объявлять русский народ славянофилов лженародом, произведением ученой наглости, изобретающей исторические черты и материалы, ей нужные. Особенно укоряли они своих ученых противников в наклонности принимать под свою защиту, по необходимости, даже и очень позорные бытовые и исторические факты истории, если их нельзя уже пропустить молчанием или нельзя целиком отвергнуть как выдумку врагов русской земли.

Полемика эта длилась долго и особенно разгорелась уже в пятидесятых годах, в эпоху замечательных славянофильских сборников (1852—1855 годы: «Московский сборник», «Синбирский сборник»; «Беседа»)[225]. Душой этой полемики, после того как уже не стало и Белинского, был тот же самый Грановский, заподозренный некогда петербургскими друзьями в послаблении врагам, хотя он сам редко выходил на арену[226]. Правда, что это всегда был враг великодушный. Известно, что в разгаре спора много было сказано дельных положений с обеих сторон и много обнаружилось талантов, успевших приобрести себе впоследствии почетные имена. Ни один из них не прошел незамеченным Грановским спервоначала. Человек этот обладал в высшей степени живучей совестливостию, понуждавшей его указывать на достоинство и заслугу везде, где он ни встречал их, не стесняясь никакими посторонними, кружковыми или тактическими

соображениями. Нередко приходилось нам всем слышать от него такую оценку его личных врагов и врагов его направления, какую могли бы принять самые благорасположенные к ним биографы на свои страницы. Между прочим, он очень высоко ценил молодого Валуева, автора известной статьи о местничестве в одном из славянофильских сборников, так рано умершего для отечества, и говорил о нем не иначе, как с умилением [227].

Освобожденный от страха видеть заключение спора, так много стоившего ему, каким-нибудь простым компромиссом между партиями, Белинский уже спокойнее и объективнее отнесся к самому вопросу о доле, какую должны иметь и имеют народные элементы в культурном развитии страны. Теперь (1846), когда оказалось, что дело обличения заносчивой пропаганды и излишеств национальной партии может рассчитывать на старых сподвижников, спокойный ответ на вопрос значительно облегчался. Нельзя уже было не видеть, что учение о народности как повод к изменению нынешних условий ее существования имеет весьма серьезную сторону; только опираясь на это учение, открывалась возможность говорить об ошибках русского общества, повредивших чести и достоинству государства. Пример был налицо. «Славянская» партия, несмотря на все возражения и опровержения, приобретала с каждым днем все более и более влияния и подчиняла себе умы, даже и не очень покорные по природе, и подчиняла одной своей проповедью о неузнанной, несправедливо оцененной и бесчестно приниженной русской народности.

И действительно, как бы сомнительна ни казалась идеализация народа, производимая «славянами», какими бы шаткими ни объявлялись основы, на которых они строили свои народные идеалы, — работа «славян» была все-таки чуть ли не единственным делом эпохи, в котором общество наше принимало наибольшее участие и которое победило даже холодность и подозрительность официальных кругов. Работа эта одинаково обольщала всех, позволяя праздновать открытие в недрах русского мира и посреди общей моральной скудости богатого нравственного капитала, достающегося почти задаром. Все чувствовали себя счастливее. Ничего подобного «западники» предложить не могли, у них не было никакой цельной и обработанной политической теоремы, они занима-

лись исследованиями текущих вопросов, критикой и разбором современных явлений и не отваживались на составление чего-либо похожего на идеал гражданского существования при тех материалах, какие им давала и русская и европейская жизнь. Добросовестность «западников» оставляла их с пустыми руками, и понятно, что положительный образ народной политической мудрости, найденный славянофилами, начинал поэтому играть в обществе нашем весьма видную роль.

Вольное обращение с историей, на которое им постоянно указывали, нисколько не останавливало роста этого идеала и его развития; напротив, свобода толкования фактов способствовала еще его процветанию, позволяя вводить в его физиономию черты и подробности, наиболее привлекательные для народного тщеславия и наиболее действующие на массы. Ошибки, неверности, нарушения свидетельств приходились тут еще на здоровье, так сказать, идеалу и на укрепление партии, его воспитавшей. Между тем — сознательно или бессознательно — все равно — партия достигала с помощью своего спорного идеала несомненно весьма важных целей. Тут случилось то, что не раз уже случалось на свете: рискованные и самовольные положения принесли гораздо более пользы обществу и людям, чем осторожные, обдуманные и потому робкие шаги беспристрастного исследования. Партия успела ввести в кругозор русской интеллигенции новый предмет, нового деятельного члена и агента для мысли — именно народ, и после ее проповеди ни науке вообще, ни науке управления в частности уже нельзя было обойтись без того, чтобы не иметь его в виду при разных политико-социальных решениях и не считаться с ним. Это была великая заслуга партии, чем бы она ни была куплена. Впоследствии, и уже за границей, Г<ерцен> очень хорошо понимал значение возведенной постройки славянофилов и недаром говорил: «Наша европейская западническая партия тогда только получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в обращение славянофилами» [228].

Но если это-то было невозможно покамест, то по крайней мере уже наступало время понимать важность подобных тем. Не далее как в 1847 году сам Белинский уже говорил о нелепости противопоставлять национальность общечеловеческому развитию, как будто эти явления непременно должны исключать друг друга, между

тем как, в сущности, они постоянно совпадают. Общечеловеческое развитие не может выражаться иначе, как чрез посредство той или другой народности, оба термина даже и немыслимы один без другого. Мысль свою он подробно развил в статье «Обозрение литературы 1846 года»[229]. В ней особенно любопытно одно место. К этому месту Белинский подходит предварительным и очень обстоятельным изложением мнения, что как отдельное лицо, не наложившее печати собственного своего, духа и своего содержания на полученные им идеи и представления, никогда не будет влиятельным лицом, так и народ, не сообщивший особенного, своеобразного штемпеля и выражения нравственным основам человеческого существования, всегда останется мертвой массой, пригодной для производства над нею всяких экспериментов. Пространное развитие этого положения Белинский заключает словами, почти буквально повторяющими точно такие же слова Грановского, сказанные в Соколове по поводу сочувствия, какое вынуждают к себе почасту основные убеждения «славян», хотя, собственно, критик наш этих слов Грановского сам не слыхал. Вот это место: «Что *личность* в отношении к идее человека, то — *народность* в отношении к идее человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. *В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитиков,* потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят как такое-то издание такой-то логики. Но, к счастию, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому...»[230] Молодая редакция нового «Современника» 1847 года, для которого статья писалась и где она была помещена, думала, однако же, иначе об этом предмете. Так как борьба с славянофильской партией да интерес более или менее художественной литературы обличения составляли пока всю программу нового журнала, то понятно, что движение его критика навстречу к обычным врагам петербургской журналистики затемняло одну и важную часть самой программы журнала. Впоследствии я слышал, что редакция много роптала на статью с такой странной, небывалой тенденцией в петербургско-западнической печати, и ко-

торой она должна была открыть свой новый орган гласности.

Таким образом разрешалась долгая полемика Белинского с лютейшими своими врагами.

Основание «Современника», 1847 год, положило предел участию Белинского в «Отечественных записках», которым он так усердно послужил в течение шести лет, что создал почетное имя и положение журналу и потерял свое здоровье. С половины 1845 года мысль покинуть «Отечественные записки» не оставляла Белинского, в чем его особенно поддерживал Н. А. Некрасов с практической точки зрения. Действительно, материальное положение Белинского год от году становилось все хуже и никакого выхода не представляло ни с какой стороны. Силы его слабели, семья требовала увеличенных средств существования, а в случае катастрофы, которую он уже предвидел, оставалась без куска хлеба. Может быть, никто из наших писателей не находился в положении более схожем с положением тогдашнего работника и пролетария в Европе. Подобно им, он никого лично не мог обвинять в устройстве гнетущих обстоятельств своей жизни — все исполняли по отношению к нему добросовестно свои обязательства, никаких притеснений он не испытывал, никаких чрезмерных требований не предъявлялось и никто не делал попыток увернуться от условий, принятых по взаимному соглашению — все обстояло, таким образом, чинно, благопристойно, *респектабельно,* по английскому выражению, вокруг него. Но труд его все-таки приобретал свою ценность только тогда, когда уходил из его рук, приносил всю пользу, какой от него ожидать можно было, изданию, а не тому, кто его произвел. Не было и возможности поправить дело, не изменяя обычных экономических условий, утвержденных раз навсегда. С каждым днем Белинский все более и более убеждался, что чем сильнее станет он напрягать свою деятельность и чем блестящее будут оказываться ее результаты в литературном и общественном смысле, тем хуже будет становиться его положение ввиду неизбежного истощения творческого материала и уничтожения самой способности к труду, вследствие его удвоенной энергии. Будущность представлялась ему, таким образом, в очень мрачных красках, и с половины 1845 года мы слышали горькие жалобы его на свою судьбу, жалобы, в которых он не щадил и самого себя. «Да что же и делать судьбе этой, — говорил он в

заключение, — с глупым человеком, которому ничего впрок не пошло, что она ему ни давала» *.

И действительно, с концом 1845 года Белинский покидает на время журнальную работу и расстается с «Отечественными записками»[232]. Событие это произвело некоторого рода переполох в маленьком литературном мире того времени. С удалением Белинского пророчили падение журнала, но журнал устоял, как всякое предприятие, уже добывшее себе прочные основы и открывшее притом готовую арену для литературной деятельности новоприходящим талантам. Таков был молодой Майков, принявший в свои руки наследство Белинского — критический отдел журнала; отдел этот обретал в нем новую и свежую силу, вместо атрофии и расслабления, которыми ему грозили.

В. Н. Майков отложил в сторону весь эстетический, нравственный и полемический багаж Белинского и за норму оценки произведений искусства принял количество и важность бытовых и общественных вопросов, ими поднимаемых, и способы, с какими авторы указывают и разрешают их. Преждевременная смерть помешала ему развить вполне свое созерцание **.

С разрывом старых связей не все еще кончилось для Белинского; надо было отыскать средства существования. Белинский предвидел это и обратился, еще до разрыва, за советом и помощью к друзьям, излагая им свой план — издать уже прямо от своего имени большой аль-

---

* Привожу анекдот из этих проявлений самоосуждения и самообличения, к которым он был склонен, но в которых был также всегда и искренен. Один из журнальных редакторов того времени, напечатав в своем издании переводный роман и заплатив за него условленную сумму переводчику, почел себя вправе выпустить перевод отдельной книжкой и в свою пользу. Но он напал на энергичного человека, который, после бесплодных цротестаций, решился повести дело серьезно и, пожалуй, дойти до судебных инстанций, какие тогда существовали. Редактор принужден был уступить и возвратить переводчику его собственность. Выслушав рассказ, Белинский молча принялся шарить по углам комнаты, добыл там свою палку и, подавая ее рассказчику, прибавил: «Учите меня, авось и я пойму, как должно беречь свое добро». Но выучиться этому он не мог, не перестав быть Белинским. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)[231]

** Вместе с В. Н. Майковым был еще и другой замечательный молодой человек, В. А. Милютин, тоже рано погибший. Они оба могут считаться последними отпрысками замечательного десятилетия и составляют уже переход к литературному периоду 1850—1860 годов. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)[233]

манах из совокупных их трудов, если они согласятся войти в его виды и намерения[234]. Ответ не замедлил явиться. Со всех сторон знаменитые и незнаменитые писатели наши поспешили препроводить к нему все, что имели у себя наготове, и уже к началу 1846 года в руках Белинского образовалась значительная масса рукописного и частию очень ценного материала, как показало позднейшее его опубликование. Не могла скрыться от глаз самого Белинского и внимания его ближайших советников во всем этом деле, Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, важность собранного материала. Последние уже давно искали самостоятельной издательской деятельности и пробовали ее не раз — выпуском альманахов и сборников[235], но тут представлялся случай к основанию уже большого предприятия — нового периодического издания. Материал Белинского мог бы служить ему на первых порах готовой поддержкой. Тогда и возникла мысль о приобретении старого, пушкинского «Современника», скромно, почти безвестно существовавшего под руководством П. А. Плетнева, мысль, которая и приведена была в исполнение Некрасовым и Панаевым[236]. Они купили вместе с тем и весь «материал» Белинского (Панаев был главным вкладчиком при всех этих операциях), что и помогло Белинскому расплатиться с долгами и впервые почувствовать себя свободным человеком. При этом новые редакторы «Современника» 1847 года открывали ему еще и перспективу в будущем, которая особенно должна была цениться Белинским. Они включали его в число неофициальных соиздателей журнала (официальным выставлялся, в виде поруки перед цензурой, проф. А. В. Никитенко) и предоставляли ему, кроме платы за статьи, еще и долю в выгодах издания, какие окажутся. Без популярного имени Белинского действительно трудно было обойтись предприятию, но к этому примешивалась еще и надежда, разделяемая и Белинским, что все лучшие деятели Москвы последуют за ним в новое издание и разорвут связи с «Отечественными записками». Надежде этой, однако же, не суждено было исполниться. Московские литераторы, да и некоторые из литераторов в Петербурге, желая полного успеха «Современнику», находили, что два либеральных органа в России лучше одного, что раздвоение направления на два представителя еще более гарантирует участь и свободу журнальных тружеников и что, наконец, по коммерческому характеру всякого журнального

предприятия вряд ли и новое будет в состоянии идти по какой-либо иной дороге в своих расчетах с людьми, как не по той же самой, по которой шло и старое. Все это происходило в то время, когда я уже с февраля 1846 года находился за границей.

XXXI

В одно прекрасное утро, по осени 1847 года, в крошечном салоне парижской моей квартиры, улице Caumartin, 41, явился господин, хорошо выбритый, по русскому обычаю, с волосами, зачесанными на затылок, и в долгополом сюртуке, который странно мешал его. порывистым движениям. Это был Г<ерцен>[237], носивший еще на всей своей внешности резкий отпечаток московского жителя, но скоро преобразившийся благодаря парижским портным и другим артистам в полного джентльмена западной расы — с подстриженной головой, щегольской бородкой, очень быстро принявшей все необходимые очертания, и пиджаком, ловко и свободно державшимся на плечах. Я обрадовался ему несказанно и выслушал юмористическую повесть об усилиях и домогательствах, какие потребовались ему для выезда[238], и потом о долгом вояже его, еще на *почтовых,* через всю Германию. Он прибыл в Париж со всем семейством, остановился на Place Vendôme[239] и расспрашивал меня как парижского старожила (я уже прожил целый год в столице Франции) об условиях, образе жизни и привычках новой своей резиденции, к которым, тоже по русскому обычаю, и применился весьма скоро. И не он один подчинился этого рода превращению и изменению своей оболочки, а с нею и самого образа жизни, но и семья его — и притом с свободой и развязностию, которые могли бы считаться изумительными, если бы не были всеобщим, всем известным свойством нашей природы. Жена Г<ерцена> после первой недели своего пребывания в Париже представляла уже из себя совсем другой тип, чем тот, который олицетворяла собою в Москве. Впрочем, внутренняя переработка, изменившая ее нравственную физиономию, началась еще т а м , — как буду г о в о р и т ь , — и только завершилась в Париже. Из тихой, задумчивой, романтической дамы дружеского кружка, стремившейся к идеальному воспитанию своей души и не делавшей никаких запросов и

никаких уступок внешнему миру, она вдруг превратилась в блестящую туристку, совершенно достойную занимать почетное место в большом, всесветном городе, куда прибыла, хотя никакой претензии на такое место и не заявляла. Новые формы и условия существования вскоре вытеснили у нее и последнюю память о Москве[240]. Быстрота всех подобных внешних и внутренних метаморфоз, испытываемых русскими людьми, зависела, кроме их предрасположения к ней, еще и от многих других причин.

Париж, например, знаменитого буржуазного короля Лудовика-Филиппа обаятельно действовал различными сторонами своей политической жизни на русских, пробиравшихся туда всегда более или менее секретным, воровским образом, так как в наших паспортах заграничных того времени поименование Франции официально воспрещалось. Впечатление, производимое Парижем на пришельцев с севера, походило на то, которое является вслед за неожиданной находкой: они припадали к городу со страстию и увлечением путника, вышедшего из голой степи к давно ожидаемому источнику. Первое, что бросалось в глаза при этой встрече с столицей Франции, было, конечно, ее социальное движение. Везде по протяжению Европы уже существовали партии, подвергавшие разбору условия и порядки европейской жизни, везде уже слагались общества, рассуждавшие о способах остановить, изменить и направить течение современной жизни в другую сторону, но только в Париже критическое движение это вошло, так сказать, в колею обычных дневных явлений и притом освещалось чрезвычайно эффектно лучами французского народного духа, который умеет располагать в живописные группы людей, учения и идеи и делать из них картины и зрелища для публики, прежде чем они сделаются руководителями и преобразователями общества. Не было возможности удержаться от участия к этому движению, которое слагалось из метких, остроумных статей журнального мира, из пропаганды на театре, из периодических лекций и конференций профессоров и непрофессоров. Так, три воскресенья сряду я слышал в зале одного пассажа самого О. Конта, излагавшего основные черты своей теории перед толпой, которая и не предчувствовала, чем сделается эта теория впоследствии. Движение дополнялось еще массой социальных книг, начавших известную войну против официальной политической экономии, и фамильными собраниями честных,

начитанных и развитых работников, уже принявших к сведению новые положения социализма и обработывавших их по-своему, как впоследствии депутат Корбон, часовщик по ремеслу, которого мне тоже удалось видеть в его мастерской, служившей ему и редакцией для его журнала «L'Atelier»[241]. Все это были огоньки, которые предшествовали знаменитой революции 48 года, никем, впрочем, еще тогда не предчувствуемой, и которая, сказать между прочим, своим внезапным приходом их всех и потушила. Когда я прибыл в Париж по весне 1846, я уже застал там целую русскую колонию с главными и выдающимися ее членами, Б<акуниным> и С<азоно>вым, занятую непрерывным исканием и обсуждением бытовых, исторических, философских и всяких вопросов, какие постоянно возбуждала общественная жизнь Парижа при либеральном короле Лудовике-Филиппе.

Однако иначе нельзя было назвать покамест того образа занятий европейскими вопросами, который существовал тогда между русскими, как забавой.

Дело шло тут преимущественно об удовлетворении любопытства, раздражаемого безустанно явлениями каждого текущего дня, об исполнении обязанности стоять настороже относительно всего, что происходит важного и ничтожного в городе, о добыче живого материала для разбора его, для упражнения критических своих способностей, а затем и более всего для развития бесконечной, пестрой, золотошвейной ткани разговоров, споров, выводов, положений и контрположений. Никакой ответственности перед собственной совестию, никакого обязательного начала для устройства собственной жизни и поведения при этом еще не представлялось никому. Необходимости подобного распорядка с собой не предвиделось и в будущем. О русской политической эмиграции не было еще и помина: она явилась только тогда, когда прокатился гром революции 1848 года и заставил многих обратиться к своему прошлому, подвести ему итоги и поставить себя самого в ясное, определенное положение как к грозному явлению, неожиданно разразившемуся над Европой, так и к правительствам, которые были им испуганы. Правда, от времени до времени падали в среду наших людей, потешавшихся Парижем, напоминовения о требованиях другого строя жизни, чем тот, которым они наслаждались. Так случилось с известным Г<оло>виным, которого официально вызывали в Россию за пустейшую

книжонку, напечатанную им по-французски в Париже, без *дозволения.* Это был опыт политической экономии, представлявшей менее, чем учебник, простую выписку из школьных тетрадок, да и то не совсем толковую, но во всяком случае уже совершенно невинную [242]. Я, кажется, и не встречал на веку моем писателя, менее заслуживавшего внимания, как этот Г<оло>вин, в одно время игравший на бирже и в *оппозицию,* пробиравшийся в жокей-клуб, в мир лореток и в демократические консилиабулы [243] — наглый и ребячески-трусливый, но он остался в Париже, несмотря на вызов и сделался прежде всех русским «политическим» эмигрантом и притом из особенного начала, из страха: ему мерещились всевозможные ужасы, которые по отношению к нему просто были немыслимы *. После *напоминовений* вроде того, какое получил Г<оло>вин, круг дилетантствующих политиков и социалистов наших некоторое время обсуждал этот факт с разных точек зрения и потом снова отдавался увлекающему потоку своих занятий и страстного, но безответного вмешательства в интимные дела французской национальности.

Не должно думать, чтоб эта азартная игра со всем содержанием Парижа велась только людьми, литературно и политически развитыми: к ней примешивались часто и такие особы, которые имели совсем иные цели в жизни, — не культурные. Так, по дороге в Европу я получил рекомендательное письмо к известному Марксу от нашего степного помещика [244], также известного в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника. Он находился, как оказалось, в самых дружеских отношениях с учителем Лассаля и будущим главой интернационального общества; он уверил Маркса [245], что, предавшись душой и телом его лучезарной проповеди и делу водворения экономического порядка в Европе, он едет обратно в Россию с намерением продать все свое имение и бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции. Далее этого увлечение

---

* Всего забавнее, что он и сам считал себя важным преступником, боялся выдачи своей персоны дипломатическим путем и побежал объясняться с министром Дюшателем, который, выслушав его опасения, засмеялся и заметил: «Какой вздор! Живите спокойно, делайте что хотите, да уж если вам нужен непременно совет, то вот мой — *не очень вмешивайтесь в польские дела*» (рассказ Г<оло>вина). (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

идти не могло, но я убежден, что когда лихой помещик давал все эти обещания, он был в ту минуту искренен. Возвратившись же на родину, сперва в свои имения, а затем в Москву, он забыл и думать о горячих словах, прозвеневших некогда так эффектно перед изумленным Марксом, и умер не так давно престарелым, но все еще пылким холостяком в Москве[246]. Немудрено, однако же, что после подобных проделок как у самого Маркса, так и у многих других сложилось и долгое время длилось убеждение, что на всякого русского к ним приходящего, прежде всего должно смотреть как на подосланного шпиона или как на бессовестного обманщика. А дело, между тем гораздо проще объясняется, хотя от этого и не становится невиннее.

Я воспользовался, однако же, письмом моего пылкого помещика, который, отдавая мне его, находился еще в энтузиастическом настроении, и был принят Марксом в Брюсселе очень дружелюбно[247]. Маркс находился под влиянием своих воспоминаний об образце широкой русской натуры, на которую так случайно наткнулся, и говорил о ней с участием, усматривая в этом новом для него явлении, как мне показалось, признаки неподдельной мощи русского народного элемента вообще. Сам Маркс представлял из себя тип человека, сложенного из энергии, воли и несокрушимого убеждения — тип, крайне замечательный и по внешности. С густой черной шапкой волос на голове, с волосистыми руками, в пальто, застегнутом наискось, — он имел, однако же, вид человека, имеющего право и власть требовать уважения, каким бы ни являлся перед вами и что бы ни делал. Все его движения были угловаты, но смелы и самонадеянны, все приемы шли наперекор с принятыми обрядами в людских сношениях, но были горды и как-то презрительны, а резкий голос, звучавший как металл, шел удивительно к радикальным приговорам над лицами и предметами, которые произносил. Маркс уже и не говорил иначе, как такими безапелляционными приговорами, над которыми, впрочем, еще царствовала одна, до боли резкая нота, покрывавшая все, что он говорил. Нота выражала твердое убеждение в своем призвании управлять умами, законодательствовать над ними и вести их за собой. Предо мной стояла олицетворенная фигура демократического диктатора, как она могла рисоваться воображению в часы фантазии.

Контраст с недавно покинутыми мною типами на Руси был наирешительный.

С первого же свидания Маркс пригласил меня на совещание, которое должно было состояться у него на другой день вечером с портным Вейтлингом, оставившим за собой в Германии довольно большую партию работников. Совещание назначалось для того, чтобы определить по возможности общий образ действий между руководителями рабочего движения. Я не замедлил явиться по приглашению.

Портной-агитатор Вейтлинг оказался белокурым, красивым молодым человеком, в сюртучке щеголеватого покроя, с бородкой, кокетливо подстриженной, и скорее походил на путешествующего *комми,* чем на сурового и озлобленного труженика, какого я предполагал в нем встретить. Отрекомендовавшись наскоро друг другу и притом с оттенком изысканной учтивости со стороны Вейтлинга, мы сели за небольшой зеленый столик, на одном узком конце которого поместился Маркс, взяв карандаш в руки и склонив свою львиную голову на лист бумаги, между тем как неразлучный его спутник и сотоварищ по пропаганде, высокий, прямой, по-английски важный и серьезный, Энгельс открывал заседание речью. Он говорил в ней о необходимости между людьми, посвятившими себя делу преобразования труда, объяснить взаимные свои воззрения и установить одну общую доктрину, которая могла бы служить знаменем для всех последователей, не имеющих времени или возможности заниматься теоретическими вопросами. Энгельс еще не кончил речи, когда Маркс, подняв голову, обратился прямо к Вейтлингу с вопросом: «Скажите же нам, Вейтлинг, вы, которые так много наделали шума в Германии своими коммунистическими проповедями и привлекли к себе стольких работников, лишив их мест и куска хлеба, какими основаниями оправдываете вы свою революционную и социальную деятельность и на чем думаете утвердить ее в будущем?» Я очень хорошо помню самую форму резкого вопроса, потому что с него начались горячие прения в кружке, продолжавшиеся, впрочем, как сейчас окажется, очень недолго. Вейтлинг, видимо, хотел удержать совещание на общих местах либерального разглагольствования. С каким-то серьезным, озабоченным выражением на лице он стал объяснять, что целию его было не созидать новые экономические теории, а принять те,

которые всего способнее, как показал опыт во Франции, открыть рабочим глаза на ужас их положения, на все несправедливости, которые по отношению к ним сделались лозунгом правителей и обществ, научить их не верить уже никаким обещаниям со стороны последних и надеяться только на себя, устраиваясь в демократические и коммунистические общины. Он говорил долго, но, к удивлению моему и в противоположность с речью Энгельса, сбивчиво, не совсем литературно, возвращаясь на свои слова, часто поправляя их и с трудом приходя к выводам, которые у него или запаздывали, или появлялись ранее положений. Он имел теперь совсем других слушателей, чем те, которые обыкновенно окружали его станок или читали его газету и печатные памфлеты на современные экономические порядки, и утерял при этом свободу мысли и языка. Вейтлинг, вероятно, говорил бы и еще долее, если бы Маркс с гневно стиснутыми бровями не прервал его и не начал своего возражения. Сущность саркастической его речи заключалась в том, что возбуждать население, не давая ему никаких твердых, продуманных оснований для деятельности, значило просто обманывать его. Возбуждение фантастических надежд, о котором говорилось сейчас, замечал далее Маркс, ведет только к конечной гибели, а не к спасению страдающих. Особенно в Германии обращаться к работнику без строго научной идеи и положительного учения равносильно с пустой и бесчестной игрой в проповедники, при которой, с одной стороны, полагается вдохновенный пророк, а с другой — допускаются только ослы, слушающие его разинув рот. «Вот, — прибавил он, вдруг указывая на меня резким жестом, — между нами есть один русский. В его стране, Вейтлинг, ваша роль могла бы быть у места: там действительно только и могут удачно составляться и работать союзы между нелепыми пророками и нелепыми последователями». В цивилизованной земле, как Германия, продолжал развивать свою мысль Маркс, люди без положительной доктрины ничего не могут сделать, да и ничего не сделали до сих пор, кроме шума, вредных вспышек и гибели самого дела, за которое принялись. Краска выступила на бледных щеках Вейтлинга, и он обрел живую, свободную речь. Дрожащим от волнения голосом стал он доказывать, что человек, собравший сотни людей во имя идеи справедливости, солидарности и братской друг другу помощи под одно знамя, не может

назваться совсем пустым и праздным человеком, что он, Вейтлинг, утешается от сегодняшних нападков воспоминанием о тех сотнях писем и заявлений благодарности, которые получил со всех сторон своего отечества, и что, может быть, скромная подготовительная его работа важнее для общего дела, чем критика и кабинетные анализы доктрин вдали от страдающего света и бедствий народа. При последних словах взбешенный окончательно Маркс ударил кулаком по столу так сильно, что зазвенела и зашаталась лампа на столе, и вскочил с места, проговаривая: «Никогда еще невежество никому не помогло!» Мы последовали его примеру и тоже вышли из-за стола. Заседание кончилось, и покуда Маркс ходил взад и вперед в необычайном гневном раздражении по комнате, я наскоро распрощался с ним и с его собеседниками и ушел домой, пораженный всем мною виденным и слышанным.

Сношения мои с Марксом не прекратились и после выезда моего из Брюсселя. Я встретил его еще вместе с Энгельсом в 1848 году в Париже, куда они оба приехали тотчас после февральской революции, намереваясь изучать движение французского социализма, очутившегося теперь на просторе. Они скоро оставили свое намерение, потому что над социализмом этим господствовали всецело чисто местные политические вопросы, и у него была уже программа, от которой он не хотел развлекаться, — программа добиваться с оружием в руках господствующего положения в государстве для работника [248]. Но и до этой эпохи были минуты заочной беседы с Марксом, весьма любопытные для меня; одна такая выпала на мою долю в 1846 году, когда по поводу известной книги Прудона «Système des contradictions économiques» Маркс написал мне по-французски пространное письмо, где излагал свой взгляд на теорию Прудона [249]. Письмо это крайне замечательно: оно опередило время, в которое было писано, двумя своими чертами — критикой положений Прудона, предугадавшей целиком все возражения, какие были предъявлены на них впоследствии, а потом новостью взгляда на значение *экономической* истории народов. Маркс один из первых сказал, что государственные формы, а также и вся общественная жизнь народов с их моралью, философией искусством и наукой суть только прямые результаты экономических отношений между людьми и с переменой этих отношений сами меняются или даже и вовсе

упраздняются. Все дело состоит в том, чтобы узнать и определить законы, которые вызывают перемены в экономических отношениях людей, имеющие такие громадные последствия. В антиномиях же Прудона, в его противопоставлении одних экономических явлений другим, произвольно сведенным друг с другом и, по *свидетельству истории,* нисколько не вытекавшим одно из другого, Маркс усматривал только тенденцию автора облегчить совесть буржуазии, возводя неприятные ей факты современных экономических порядков в безобидные абстракции à la Гегель и в законы, будто бы присущие самой природе вещей. На этом основании он и обзывает Прудона *теологом* социализма и мелким *буржуа* с головы до ног. Окончание этого письма передаю в дословном переводе, так как оно может служить хорошим комментарием к сцене, рассказанной выше, и дает ключ для понимания ее:

«В одном только я схожусь с господином Прудоном (NB. Маркс везде пишет «monsieur Pr.»), именно в его отвращении к плаксивому социализму (sensiblerie sociale). Ранее его я уже нажил себе множество врагов моими насмешками над чувствительным, утопическим, *бараньим* социализмом (socialisme moutonier). Но г. Прудон странно ошибается, заменяя один вид сентиментализма другим, именно сентиментализмом мелкого буржуа, и своими декламациями о святости домашнего очага, супружеской любви и других тому подобных вещах, — той сентиментальностью, которая вдобавок еще и глубже была выражена у Фурье, чем во всех самодовольных пошлостях нашего доброго г. Прудона [250]. Да он и сам хорошо чувствует свою неспособность трактовать об этих предметах, потому что по поводу их отдается невыразимому бешенству, возгласам, всем гневам честной души — irae hominis probi: он пенится, клянет, доносит, кричит о позоре и чуме, бьет себя в грудь и призывает бога и людей в свидетели того, что не причастен гнусностям социалистов. Он занимается не критикой их сентиментализма, а, как настоящий святой или папа, отлучением несчастных грешников, причем воспевает хвалу маленькой буржуазии и ее пошленьким патриархальным доблестям, ее любовным упражнениям. И это неспроста. Сам г. Прудон с головы до ног есть философ и экономист маленькой буржуазии. Что такое маленький буржуа? В развитом обществе он вследствие своего положения

неизбежно делается, с одной стороны, экономистом, а с другой — социалистом: он в одно время и ослеплен великолепиями знатной буржуазии и сочувствует страданиям народа. Он мещанин и вместе — народ. В глубине своей совести он похваляет себя за беспристрастие, за то, что нашел тайну равновесия, которое, будто бы, не походит на «juste milieu», золотую середину. Такой буржуа верует в противоречия, потому что он сам есть не что иное, как социальное противоречие в действии. Он представляет на практике то, что говорит теория, и г. Прудон достоин чести быть научным представителем маленькой французской буржуазии. Это его положительная заслуга, потому что мелкая буржуазия войдет непременно значительной составной частью в будущие социальные перевороты. Мне очень хотелось, вместе с этим письмом, послать вам и мою книгу «О политической экономии», но до сих пор я не мог еще отыскать кого-нибудь, кто бы взялся напечатать мой труд и мою критику немецких философов и социалистов, о чем я говорил вам в Брюсселе. Вы не поверите, какие затруднения встречает такая публикация в Германии со стороны полиции, во-первых, и со стороны самих книгопродавцев, во-вторых, которые являются корыстными представителями тенденций, мною преследуемых. А что касается до собственной нашей партии, то она прежде всего крайне бедна, а затем добрая часть ее еще крайне озлоблена на меня за мое сопротивление ее декламациям и утопиям».

Книга «О политической экономии», упоминаемая Марксом в письме, есть, как полагаю, последний его труд «Капитал», увидевший свет только недавно[251]. Признаюсь, я не поверил тогда, как и многие со мной, разоблачающему письму Маркса, будучи увлечен, вместе с большинством публики, пафосом и диалектическими качествами прудоновского творения. С возвращением моим в Россию, в октябре 1848 года, прекратились и мои сношения с Марксом и уже не возобновлялись более. Время надежд, гаданий и всяческих *аспирации*[252] тогда уже прошло, а практическая деятельность, выбранная затем Марксом, так далеко убегала от русской жизни вообще, что, оставаясь на почве последней, нельзя было следить за первой иначе, как издали, посредственно и неполно, путем газет и журналов.

Рассказанный здесь эпизод с Марксом, может быть, не покажется лишним в картине Парижа, если прибавить,

что точно такие же сцены и по тем же вопросам происходили во всех больших городах Европы и, конечно, чаще всего именно в Париже; менялись люди, менялась драматическая обстановка, согласно другому развитию и образованию характеров — сущность прений и столкновений в демократических кружках оставалась та же. Везде искали *цельных* доктрин социализма, научных изъяснений и оправданий для *чувства* недовольства, из которого социализм вышел, планов для общины, где труд и наслаждение шли бы рука об руку. Потребность упразднить массу нелепых, незрелых, бесплодных опытов, предпринимаемых для осуществления этого идеала непосвященными, мало подготовленными и фантастическими умами, чувствовалась повсюду. Этим и объясняются совокупные усилия лучших деятелей социализма найти такой тип рабочей общины, который бы дал возможность доказать несомненно, что каждая нравственная и материальная потребность человека обретут в ней удобное и комфортабельное помещение для себя. Движение умов как в области теорий, так и в пробах почвы для практического разрешения экономических трудностей было всеобщее до тех пор, пока оно не уперлось в «национальные мастерские», где и было подавлено, для того чтобы возродиться уже на других началах...

С первых же шагов своих в Париже Г<ерцен>, переехавший на постоянную квартиру в Avenue Marigny, откуда он писал в «Современник» 1847 года[253], — Г<ерцен>, говорю, по складу своего ума и наклонности к энергическому вчинанию при всякой данной задаче, очутился как бы в своем родном элементе. Он бросился тотчас же в это сверкающее море отважных предположений, беспощадной полемики, всевозможных страстей и вышел оттуда новым и крайне нервным человеком. Мысль, чувство, воображение приобрели у него болезненную раздражительность, которая сказывалась прежде всего в негодовании на господствующий политический режим, который занимался обессиливанием одних учений другими. Затем не менее гнева и злобы возбуждала в нем и ясность реформаторских проектов, фальшиво обещающих положить конец всем прениям и уже торжествующих победу прежде самого сражения. То и другое явление одинаково казались ему признаками несостоятельности общества, и в одну из минут задушевного анализа ощущений, полученных им при первом знакомстве с

европейским социализмом, он написал одну из тех своих статей, которая может назваться самым пессимистским созерцанием западного развития, какое только высказывалось по-русски; но зато она и была им писана уже *с другого берега* — он видел теперь воочию то, что до сих пор было ему известно издалека[254]. Несмотря на эту исповедь, Г<ерцен> подчинился почти безусловно тому самому движению, которое считал безысходным. Долгое обращение с предметом исследования втянуло его в его интересы, в его задачи и намерения, что часто бывает со страстными натурами, встречающими на пути слепые, но непоколебимые верования. Не было человека, который бы беспощаднее отзывался о несостоятельности европейского строя жизни и который бы вместе с тем столь решительно пристроивался к нему, поверяя им свою деятельность, материальные и умственные привычки. Письма Г<ерцена> из Avenue Marigny уже носили на себе ясный, хотя еще и осторожно наложенный штемпель гуманных идей с намеками на вопросы нового рода, так что они должны считаться первыми пробами приложения в русской литературе социологического способа понимать и обсуждать явления. Начиная с разбора драмы Феликса Пи*а*[255] и до подробностей парижского быта, все в них отражало настроение, почерпнутое из других источников, а не из тех, которыми питались наши философские, замаскированно-либеральные и филантропические тенденции. Друзья Г<ерцена> в Москве и Петербурге любовались этим оригинальным, всегда блестящим, но вместе и новым поворотом его таланта и не предчувствовали, что тут начинается дело, которое далеко уведет от них автора писем в сторону, да и сам автор еще и не помышлял о том, где очутится, по логическому развитию принципов и их последствий.

Впрочем, московские друзья Г<ерцена>, любуясь сатирической меткостью писем, восхищаясь остроумием их заметок и обличений, часто останавливаясь подолгу на проблесках глубокой мысли в определении текущих явлений тогдашнего французского общества, — друзья все-таки не вполне верили в объективную правду писем, и считали их отчасти произведением обычного фрондерства, свойственного всем путешественникам, которым стыдно с первого же раза покориться чужой стране и не сделать оговорок, вступая в близкие с ней связи. Отголосок этого мнения сказался всего сильнее у В. П. Боткина,

что и заставляет меня сделать выписку из московского его письма ко мне от 12 октября 1847 года:

«Кстати, прочел в 10 № «Современника» три письма Г<ерцена> из Avenue Marigny, и прочел их с самым живым удовольствием. Первое письмо хуже прочих: в нем даже заметно некоторое усилие сострить; разумеется, не везде, но кое-где острота не вяжется сама собою к перу, к фразе. Что касается до его взгляда на театры и город, то при всем его превосходстве, при всем блеске и глубокомыслии, по моему мнению, это все-таки *первое наглядное* впечатление. Je ne cherche pas chicane à sa manière de voir * — и, вполне признавая за ним право смотреть на вещи под своим углом, я все-таки остаюсь при своем прежнем мнении и не стану подражать славянской нетерпимости Г<ерцена>, который меня разбранил за то, что я осмелился быть не одного с ним мнения. Во-вторых, я прочел его письма с наслаждением: это так увлекательно, так игриво, это — арабеск, в котором шутка свивается с глубокой мыслью, сердечный порыв с летучей остротой; что мне за дело, что я о многом думаю совершенно иначе: всякий имеет право смотреть на вещи по-своему, и Г<ерцен> смотрит на них так живо, так увлекательно, что я вовсе теряю желание спорить: наслаждение пересиливает всякое другое чувство. Но, по моему мнению, главный недостаток их в неопределенности точки зрения; да, мне кажется, Г<ерцен> не дал себе ясного отчета ни в значении старого дворянства, которым он так восхищался, ни в значении bourgeoisie, которую он так презирает. Что же за этим у него остается? Работник. А земледелец? Неужели Г<ерцен> думает, что уменьшение избирательного ценза изменит положение буржуазии? Я не думаю. Я не поклонник буржуазии, и меня не менее всякого другого возмущает и грубость ее нравов, и ее сильный прозаизм, но в настоящем случае для меня важен факт. Я скептик; видя в спорящих сторонах в каждой столько же дельного, сколько и пустого, я не в состоянии пристать ни к одной, хотя в качестве угнетенного класс рабочий, без сомнения, имеет все мои симпатии, а вместе с тем не могу не прибавить: дай бог, чтоб у нас была буржуазия! Cet air de matador **, о котором Г<ерцен> все решает во Франции, — очень мил,

* Я не придираюсь к его манере смотреть на вещи (*фр.*).
** Этот тон матадора (*фр.*).

увлекателен, я его мочи нет как люблю в нем, именно потому, что знаю мягкое, голубиное сердце этого матадора, но ведь решение Г<ерцена> ровно ничего не уясняет: оно только скользит по вещам. Все эти вопросы до такой степени сложны, что невозможно поднять ни один, не поднявши вместе с ним нескольких...» [256].

Итак, даже оставляя в стороне личные счеты В. П. Боткина с Г<ерценом>, который высказывал ему часто горькую правду по поводу его бесхарактерной поблажки всем внешним приманкам парижской жизни, приведенный отрывок все-таки выражал мнение и других друзей Г<ерцена>, хорошо понимающих причины и поводы демократических возгласов о буржуазии в ее отечестве, но считавших такие возгласы непригодными для русского общества, которое еще лишено образовательных элементов, принесенных некогда этой самой буржуазией в историю. Притом же друзья и не знали, куда еще заведет Г<ерцена> его огульное осуждение Европы, и боялись, что авторитетное слово его отразится в извращенном виде на умах и представлениях русских читателей. Того же самого боялись они и от исповеди Белинского, когда он попал за границу и обнаружил воззрения на западную культуру, близко подходившие к воззрениям Г<ерцена>, о чем еще будем говорить. Может быть, в числе причин, побудивших Г<ерцена> написать позднее вышеупомянутую свою статью, было и желание разъяснить друзьям свои истинные отношения к европейскому миру и место, которое он намерен в нем занять. Известно, что в статье противополагалось безвыходному положению европейского общества появление народа, одно присутствие которого в Европе тревожит умы, который известен только с мрачных сторон своих, но который несет с собой народную культуру, качества мысли и сердца, имеющие, по-видимому, большую будущность [257]. К этой ноте, впервые раздавшейся у Г<ерцена> в упомянутой статье, Г<ерцен> потом часто возвращался и пробовал брать эту ноту на множество ладов, но она не у всех друзей вызвала сочувствие, а некоторые долго находили ее напряженной и фальшивой, несмотря ни на какие варьяции и смягчения, которыми сопровождал ее почасту автор.

Между тем жизнь Г<ерцена> шла по-прежнему очень шумно и весело, несмотря на внезапные остановки его посреди рассеяний и развлечений Парижа и наступавшие за ними заботливые ощупывания почвы под своими

погами; но перерывы эти были не долги, круг знакомых его все более и более увеличивался, беседы разрастались, говор усиливался *. Ни он, да и никто из русских друзей его вовсе и не думали о том, что может наступить минута, когда жить амфибией посреди двух миров — западного и русского — не станет возможности и придется выбирать между порядками, одинаково сильно и ревниво, хотя и на различных основаниях, предъявляющими права на обладание всем человеком. Минута была не за горами (всего один год разделял ее от людей), но когда она пришла, наступили горькие расчеты, болезненные пожертвования, вынужденные, противоестественные отречения, испортившие окончательно жизнь Г<ерцена>, да и многих других еще вместе с ним.

XXXII

Начав говорить о зачатках будущей русской эмиграции, я не могу обойти молчанием нового элемента движения, которым обогатился Париж к тому времени, именно — польского. Элемент этот существовал, конечно, и прежде, но теперь он совершенно преобразился.

Он сбросил с себя мистический оттенок, который сообщили ему Товянский и Мицкевич, пять лет перед тем, не проповедовал более учения о мессианизме[259], разрешающем народные и всякие другие вопросы посредством нарочно посылаемых для того, предъизбранных от вечности людей, и не говорил уже о братстве всех славянских племен как о последней цели их исторического развития. Вместо этого в Париже заседал тогда так называемый центральный революционный комитет из поляков, объявивший себя единственным уполномоченным от польского народа, для управления делом восстановления павшего королевства в старых его границах, требовавший

---

* Увлечение потоком развернувшейся перед ним жизни отражалось и на планах писательской его деятельности. Он начал повесть из французской революции 89 года с русским деятелем посреди ее и не усомнился послать рассказ в «Современник». Позднее Панаев говорил мне в Петербурге: «Г<ерцен> с ума сошел, посылает нам картины французской революции, точно она у нас дело признанное и позабытое». Повесть, разумеется, не попала в печать, а явилась за границей в особом сборнике. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)[258]

для своих безапелляционных декретов слепого повиновения от каждого, кто только говорит польским наречием, и достигавший своей цели вполне. Комитет совсем не думал о примирении между славянами на каких-либо общих им основаниях, а предписывал им просто войну против правительств, под которыми живут. С помощью своих агентов, прокламаций, администраторов и генералов, посылаемых на различные и самые опасные пункты в славянских землях, он держал все нити обширного республиканского заговора в своих руках и только что произвел галицийское движение 1846 года, кончившееся резней землевладельцев и падением Кракова, после которого комитет и замолк на время, соображая новые планы восстаний и движений. Так как энергия действий была единственным правом комитета на существование и единственной инвеститурой, какую он предъявлял своим недоброжелателям, вроде аристократической партии Чарторыского, то и все члены этой ассоциации отличались, или старались отличаться, точно такой же энергией. Она, между прочим, очищала и место в самом комитете для честолюбцев, да имела и множество других выгод. Прежде всего она освобождала людей от излишне требовательных запросов со стороны иностранцев: от героев чего требовать? Одна эта доказанная революционная энергия отвечала за все, замещая удобно все другие качества, какие могли недоставать людям, она закрывала все их недостатки по образованию и умственному развитию, шла в обмен даже за нравственные свойства их и за моральный характер, когда их не оказывалось налицо, — словом, персонал польских эмигрантов жил в Париже каким-то особенным, привилегированным сословием. К нему именно и пристроился один из русских искателей политического дела — Б<акунин>, знакомый уже нам.

Уже с 1842 года Б<акунин> предвещал то, чем сделался впоследствии. В этом году он поместил в известном журнале А. Руге свою статью под псевдонимом «Elyzard»[260], которая возбудила внимание ученых немецких бюргеров своими *искусно построенными* обвинениями немецкого гения в бесплодной способности его переводить все требования времени и развития на почву схоластики и затем, увидав их в облачении и пышных орнаментах философской теории, успокоиваться и приниматься опять за новые упражнения в том же роде. Будучи сам одним из жарких адептов германской философии, он разорвал с

нею все связи, а чтоб положить между собой и ею достаточное физическое и нравственное пространство, переехал из Берлина в Париж и принялся искать политического занятия по редакциям журналов, мастерским работников, демократическим кафе-ресторанам — и, наконец, успел обрести в польской пропаганде нечто похожее на специальность и призвание. После некоторого колебания, вызванного самой ее односторонностью, о которой часто и упоминал в беседах с друзьями, он окончил тем, что принял ее вполне и отдался ей уже безоглядно, открыто и решительно, сжигая за собой корабли, не оставляя ни малейшей тропинки позади себя на случай отступления. Никто еще из русских до него так смело не отрывался от домашних пенатов своих, прежнего строя мыслей, старых воспоминаний и созерцаний в пользу запрещенной религии польского дела. Обаяние этой религии заключалось для него преимущественно в революционном характере, за который ей отпускались многие узкие стремления, многие темные инстинкты. Это было что-то похожее на революционный романтизм своего рода, где призраки и фантомы шли впереди логики, указаний истории, соображений рассудка и опыта. Под покровом такого романтизма можно было сожалеть о существовании в человечестве различных национальностей, враждебных друг другу, и в то же время служить самому исключительному национальному делу из всех, когда-либо бывших на свете; можно было отказываться от патриотических предрассудков вообще — и развить в себе взгляды и чувства польского ультрапатриота; можно было, наконец, считаться свободным от всех религиозных и сословных *определений*, — и жить душа в душу с воюющим католичеством и шляхетством. Такой широкой дороги для радикального дилетантизма не представлял даже и социализм, требовавший все-таки от человека в каждом своем подразделении (а их было тогда немало) отречения от других соперничествующих с ним отделов.

В это же время возникло и учение о необходимости привить польскую оппозиционную энергию к русской национальности, лишенной ее от природы: развитие этого учения Б<акунин> принял на себя и немало способствовал тому, что через посредство газет, брошюр, речей и трактатов учение вошло на некоторое время в сознание Европы. Ему казалось, что он делает при этом двойное дело — возбуждает сочувствие к одному славянскому

народу, оскорбленному исторической несправедливостью, и воспитывает основы независимого суждения в другом славянском народе, именно у соотечественников. Так как от количества единомышленников в русском мире зависела большая или меньшая важность его собственного положения в эмиграции, то Б<акунин>производил набор приверженцев не очень строго и разборчиво, зачисляя в ряды их, вместе с умами, наклонными заниматься политическими проблемами, и просто любопытствующих людей или таких, которые искали более или менее интересных и пикантных знакомств в Париже. Сам он, однако же, подавал пример открытого исповедования своих убеждений, которое ищет случаев довести свои положения до общего сведения и при нужде не отступит для этого перед уличной манифестацией или политическим скандалом. Таков был проходимый им тогда фазис жизни, предшествовавший последнему ее периоду, когда Б<акунин> выработал из себя полнейший тип космополита, до того полный, что казался *отвлеченностью* и становился почти непонятным с точки зрения реальных условий человеческого существования, — тип, не признававший силы никаких исторических, географических, бытовых условий для определения судьбы и деятельности народов, упразднявший расы, племена, сложившиеся государства и общества, — для постройки на их обломках одного общего образца рабочей жизни.

Б<акунин> скоро достиг апогея нивелирующего философского и экономического романтизма, но это было еще впереди, а теперь в качестве только польского агитатора он ждал случая торжественно и официально, так сказать, заявить свой выбор партии. Случай представился почти накануне революции 1848 года, при праздновании польской колонией годовщины варшавского восстания 1830 года. Б<акунин> произнес на юбилее перед многочисленным собранием и в публичной зале свою известную речь[261], в которой остерегал поляков от попыток примирения с врагами, какие были уже деланы некоторыми из их соотечественников, и, напротив, возбуждал их к вражде насмерть за свою национальную идею, причем, конечно, не был скуп на мрачную характеристику главных противников идеи. Министерство Гизо, так боявшееся вообще народных страстей и всякого предлога к ним (а особенно польского), не оставило речь без ответа и на третий день после ее произнесения выслало оратора из

Парижа[262], причем сам Гизо, отвечая на запрос по этому случаю в палате депутатов, сказал, что нельзя же дозволить всякой свирепой личности (une personalité violente), вроде Б<акунина>, нарушать общественный порядок и международные приличия. Тогда Б<акунин> уехал в Брюссель, написав предварительно письмо к министру внутренних дел, графу Дюшателю, в котором, упрекая его за превышение власти, замечал, что будущность принадлежит не ему и его партии, а тем, кого он гонит и преследует теперь.

Несмотря на силу привлекательности, какою обладал Б<акунин>, и благодаря своей чуткости ко всем вопросам совести, возникающим в сознании человека, благодаря еще ежеминутной готовности заниматься разрешением нравственных и умственных затруднений, которыми страдают люди, ищущие выхода из противоречий своей мысли со своим воспитанием и природными наклонно-с т я м и, — Б<акунин> все-таки не мог устроить откровенных сношений между русской колонией и польской эмиграцией, как часто ни сводил их и как искусно ни направлял их беседы. Очень тонкой струей, почти незаметной для постороннего глаза, но внутренно ощущаемой всеми участниками дела, пробегала какая-то *фальшь* в сношениях между двумя сторонами, и Г<ерцен> открыл ее тотчас же, как очутился между ними[263]. С обеих сторон существовало множество мысленных ограничений, того, что в доктрине иезуитов называлось «restrictions mentales» *, и всего обильнее такими приемами и уловками были именно те патетические минуты, когда стороны сходились на каких-либо общих началах и дружелюбно подавали друг другу руки, радуясь единству и согласию своих либеральных идей. Каждая из сторон еще подразумевала нечто такое, чего не высказывала, а это невысказываемое и было самое существенное. Надо вспомнить, что тогдашняя польская эмиграция, вслед за своими передовыми людьми и при явном и тайном одобрении Европы жила мыслию о необходимости польского верховенства, польской гегемонии в будущем федеративном союзе славянских племен, стояла за право Польши требовать от близких и дальних своих соплеменников, во имя своей высшей цивилизации и давней принадлежности к европейской культуре, добровольной покорности и

---

* мысленные ограничения значений произносимых слов (*фр.*).

нужных жертв для осуществления этого протектората. Понимая неудобство излагать перед русскими друзьями свою руководящую национальную идею, польская эмиграция не ставила ее на вид, когда речь заходила о роли и призвании различных национальностей славянского мира, а такая речь заходила поминутно.

Много других любопытных соображений, а подчас и откровений племенного духа и характера, высказывалось в этих разговорах, но сообщать их здесь, по размерам и целям нашей статьи, не предстоит возможности. Между прочим, маститый Лелевель, живший в Брюсселе в крайней и почетной бедности, изумил меня однажды правдой и откровенностию своих воззрений, сберегаемых другими его соотечественниками только про себя. Впрочем, он и последних изумлял тем же не раз, как, например, в известной своей польской истории[264], где высказал столько горькой правды своему народу. Проездом через Брюссель я встретил Лелевеля в излюбленном им кафе, на антресолях которого он и жил, пользуясь трубой из его печи, проведенной мимо его комнаты и согревавшей ее зимою. Регулярно каждый вечер он сходил в кафе выпивать свою чашку кофе, причем расплачивался парой су, тщательно завернутых в бумажку. После непродолжительной беседы с этим ветераном польского дела я думал, что не услышу более его голоса, но на другой день он зашел ко мне и, не застав дома, оставил небольшую записку по-французски. К великому моему удивлению, я нашел в ней коротенький трактатец о том, что в русском языке будто бы не существует слов для выражения понятий о личной чести и добродетели — honneur, vertu. Существующее слово *честь* в русском языке выражает будто бы одно понятие о родовом или служебном отличии, и в этом смысле оно только и понималось у нас искони, а добродетель есть составное слово, придуманное нами по нужде, для обозначения *психического* качества, которого оно, однако же, нисколько не передает. Таким образом, старик выходил на соглашение с поднятым забралом и не скрывал своего настоящего мнения о контрагенте, с которым намеревался вступить в сделку.

Скрыть, впрочем, правду от глаз русских, минутных своих доброжелателей, эмиграция все-таки не могла и вызывала у них подобную же затаенную национальную думу. Русские выказывали перед политическими врагами своими образцовое великодушие, делали всевозможные

уступки польскому патриотическому чувству, верили их обвинениям и укорам и вместе с тем держали в сохранности заднюю мысль свою, подсказывавшую, что право на какое-либо главенство в славянском мире, если о нем позволительно еще думать, может принадлежать только крепкому политическому телу, как их отечество, которое и есть настоящий представитель этого мира. Много надо было принимать предосторожностей, чтобы помешать этим тайным, невыговариваемым мыслям выйти наружу и разорвать международный мираж, который успел образоваться в Париже благодаря Б<акунину>. По инстинктивному чувству опасности потерять возможность сходок, которые если ничего не разрешали, то по крайней мере приучали людей друг к другу (и это уже было тогда немаловажным делом), явилось обоюдное не подготовленное заранее соглашение держать в стороне все жгучие народные вопросы, полные ссор и препирательств, предоставляя их разрешение будущему времени, и ограничиться покамест упражнениями в гуманных и благородных чувствах, которые так легко, удобно и эффектно выставлять напоказ. На этих основаниях хорошее настроение всех членов кружка было обеспечено, и в Париже становилось одним праздником больше. Так зачинался польский вопрос в русском мире, и я представляю здесь только факт, не разбирая его ни с политической, ни с нравственной точки зрения и не упоминая о его последствиях.

Кстати заметить, Б<акунин> сам сознавался, что польский вопрос дорог ему особенно тем, что дал возможность поместить куда-нибудь жизненные цели, пристроиться к какой-либо деятельности. По высылке из Парижа он, в октябре 1847, написал к друзьям, там остававшимся, письмо из Брюсселя[265], из которого извлекаю следующие строки: «Я, вероятно, скоро должен буду снова ораторствовать; покамест не говорите об этом, кроме Т<ургенева> — дело еще не совсем решено. Может статься, что меня и отсюда также *прогонят*, — пусть себе гоняют, а я буду тем смелее, лучше и легче говорить. Вся жизнь моя определялась до сих пор почти невольными изгибами, не зависимыми от моих собственных предположений; куда она меня поведет? Бог знает! Чувствую только, что возвратиться назад я не могу и что никогда не изменю своим убеждениям. В этом вся моя сила и все мое достоинство, в этом также вся дей-

ствительность и вся истина моей жизни, в этом моя вера и мой долг; а до остального мне дела нет: будет как будет. Вот вам моя исповедь. Во всем этом много мистицизма, скажете вы, — да кто же не мистик? Может ли быть капля жизни без мистицизма? Жизнь только там, где есть широкий, безграничный и потому и несколько неопределенный, мистический горизонт; право, мы все почти ничего не знаем, живем в живой сфере, окруженные чудесами, силами жизни, и каждый шаг наш может их вызвать наружу без нашего ведома и часто даже независимо от нашей воли... Прием, сделанный мне поляками, наложил на меня огромную обязанность, но вместе *показал и дал мне возможность действовать.* Я знаю, что вы относитесь ко всему этому несколько скептически, и вы с своей стороны правы; и я тоже переношусь иногда на вашу точку зрения, но что ж делать — природы не изменить. Вы — скептик, я — верующий, у каждого из нас свое дело. Но довольно об этом. G<igot> вам кланяется. Маркс treibt hier dieselbe eitle Wirtschaft, wie vorher *, — портит работников, делая из них резонеров. То же самое теоретическое сумасшествие и неудовлетворенное, недовольное собою самодовольствие и т. д.». Письмо это, кроме свидетельства о том, что не сущность польской пропаганды привлекала Б<акунина> (о ней он отзывался очень свободно), а открываемая ею арена политической и агитаторской деятельности, — письмо это, говорю, любопытно еще и в другом отношении. Оно показывает автора в настоящем его свете, как романтического, мистического анархиста, чем он всегда был и чем объясняется его ненависть к авторитетному, положительному и законодательствующему Марксу, — ненависть, которая продолжалась более 25 лет и завершилась между ними скандалом и полным разрывом [266]. Впрочем, вскоре открылся для Б<акунина> и еще новый путь деятельности. Не прошло и шести месяцев, как переворот 1848 года открыл ему опять двери Парижа [267], куда он и прибыл, поселившись в казарме с работниками, составлявшими охрану и свиту революционного префекта полиции, известного Косидьера. До того Б<акунин> прислушивался к социализму и знакомился с руководителями его только как с новым элементом, на который могут опереться

---

* Маркс занимается здесь тем же суетным делом, что и раньше (*нем.*).

будущие, замышляемые политические перевороты. Теперь он убедился, что работники и социализм — самостоятельные силы, способные и сами вынести наверх, на своих плечах, человека с даром слова, критическим талантом и природной изобретательностью на почве теорий, отвлеченных построений и пышных иллюзий. Он отдался фантастическому социализму с тем же увлечением и с тою же готовностию на жертвы, как и фантастическому полонизму, ему предшествовавшему.

Между тем как русско-польские вдохновенные праздники торжествовали водворение вечного мира на севере Европы, такие же торжества происходили, по разным поводам и в разных формах, во всех углах Парижа. Образованные иностранцы, собственно, для таких праздников, с великолепными спектаклями и апофеозами будущего, и съезжались, почерпая в них сведения о состоянии и направлении умов в отечестве всяческих реформаторских попыток. Русская колония не отставала ни от кого при этом, а Г<ерцен> был часто сам душой и героем подобных праздников. Он очень скоро сделался, как и Б<акунин>, из зрителя и *галереи* участником и *солистом* в парижских демократических и социальных хорах. Под электрическим действием всех возбуждающих элементов города живая природа Г<ерцена> мгновенно пустила в сторону ростки необычайной силы и роскоши, в которые вся и ушла, надрывая свое нормальное существование. Многосторонняя образованность Г<ерцена> начинала служить ему всю ту службу, к какой была способна, — он понимал источники идей лучше тех, которые их провозглашали, находил к ним дополнения и очень часто поправки и ограничения, ускользавшие от специалистов по данным вопросам. Он начинал *удивлять* людей, и немного прошло времени с его приезда, как около него стал образовываться круг более чем поклонников, а, так сказать, *любовников* его, *со* всеми признаками страстной привязанности. В числе последних находился и известный эмигрант, поэт Г<ерве>г, который потом внес столько горя и страдания в его личное и семейное существование[268]. Не раз при разгаре этого интеллектуального пира в Париже мне вспоминались московские пиры села Соколова, сопровождавшиеся таким же нервным возбуждением умственных и физических сил, но уже какая была разница в содержании и настроении!

Относительно изумления, возбуждаемого в иностранцах

обширностию понимания некоторых русских людей, способом их ставить вопросы и признаками вообще необычайных способностей, можно было бы привести много любопытных подробностей. Г<ерцен> и Б<акунин> собирали дань этого изумления, смешанного почти со страхом, едва не на каждом шагу. Они постоянно, после встречи с знакомыми и незнакомыми лицами, оставляли их в раздумье насчет загадочных натур такой силы мысли, такой смелости воззрений и языка, остающихся одинокими экземплярами развития посреди своих земляков. Известная заметка Мишле, пришедшего даже в смущение от пафоса, остроумия и широких размахов одной прочитанной им книги Г<ерцена>, показывает, что автор «Истории Франции» довольно тщательно искал объяснения этому новому для него явлению и думал найти его в швабско-русском, а не чисто славянском происхождении автора[269]. Что касается до Б<акунина>, то уже и тогда приходили к нему за советом и разъяснением по вопросам философского, отвлеченного мышления, и притом такие люди, как, например, Прудон. Один из умных и развитых французов, который видел пробелы в умственном развитии своей собственной страны, созывал ради Б<акунина> своих знакомых и при этом говорил: «Я вам покажу чудище (une monstruosité) по сжатой диалектике и по лучезарной концепции сущности всяческих идей» (par sa dialectique serrée et par sa perception lumineuse des idées dans leur essence).

Если Г<ерцен>, как мы заметили выше, понес на себе следы парижской жизни, то тем менее могла избежать заразы опьяняющей атмосферы большого города тихая, сосредоточенная жена Г<ерцена>. Она преобразилась в истую парижанку, усвоила себе яркую демократическую окраску и горячо принимала к сердцу интересы французской жизни, восторгаясь и любуясь разными более или менее бедными и страдающими людьми, выброшенными ею на улицу, и особенно теми полубуржуа и полуработниками, которые, кроме размышлений о форме будущего неизбежного переворота, никакого другого занятия на свете не имели. Дом Г<ерцена> сделался подобием Дионисиева уха[270], где ясно отражался весь шум Парижа, малейшие движения и волнения, пробегавшие на поверхности его уличной и интеллектуальной жизни. И только одна М. Ф. К<орш>, сопровождавшая Г<ерценов> в их путешествии, не захвачена была водоворотом

и служила живым напоминовением о недавно покинутой ими и уже позабываемой Москве. Больная, редко выходившая из дома, посвятившая себя уходу за детьми и только издали прислушивавшаяся к гулу, который несся от всемирного города, она становилась каким-то анахронизмом в семье, впрочем очень любившей и уважавшей ее. Как ни интересна была по своему содержанию и разнообразию новая обстановка, в которую попала теперь эта умная и многосторонне образованная женщина, но мысль ее постоянно жила в кругу далеких друзей, оставленных в Москве и занятых своим не блестящим и не шумным делом — спасать умы и нравственное чувство людей от загрубения, наступающего со всех сторон. Одним своим присутствием в доме Г<ерцена> она говорила хозяевам и некоторым из русских гостей их о другой культуре, о недавних, уже пренебрегаемых друзьях, за--ятых у себя дома невзрачной, подготовительной, черновой работой просвещения. До них ли было теперь при таком блеске, при таких очаровательных дорогах, открытых на все стороны каждому умственному и нравственному побуждению и даже всякому капризу мысли! В образе М. Ф. К<орш> стояла перед Г<ерценом> олицетворенная *элегия* с горячими симпатиями к прошлому, — а кто из тех, которые неслись теперь в вихре всяческих наслаждений европейским миром и добытой свободой, имел время останавливаться перед элегиями или прислушиваться к ним?! [271]

XXXIII

Вскоре мне уяснилось, что были и другие причины к холодности между друзьями, переехавшими за границу, и теми, которые остались дома, — посущественнее рассеяний Парижа. После нескольких искренних и доверчивых бесед, происходивших у нас обыкновенно по ночам в Париже, я не мог сомневаться более, к великому моему изумлению, что в глазах Г<ерцена> и его семьи Москва совершенно поблекла, лишилась своих красок, утеряла магическое слово, отворяющее сердца. Вся старая жизнь в. ней казалась уже Г<ерцену> и его жене сухой степью; на ней уже не росло более трогательных воспоминаний, да и те, которые оставались от давнего времени, видимо завяли, не поддерживаемые тщательным уходом, который так же необходим для воспоминаний, как для детей и цветов.

Переворот этот объяснить не совсем легко, потому что он вышел из довольно сложного психического процесса и воспитался массой очень тонких нервных раздражений, но несомненно, что начался переворот еще в Москве и только довершился за границей. Обстоятельство это пролило для меня большой свет на все приемы Г<ерцена> в Париже, на всю его судорожную торопливость поставить себя в центре новой жизни; другая, старая, которая могла бы служить ей противовесом, уже скрылась для него в тумане и более не существовала Никто еще не возбуждал во мне так полно предчувствия, при первых же шагах Г<ерцена> на почве европеизма, что он прирастет к ней навсегда, что почва эта окончательно овладеет им и уже не уступит его никакой другой, хотя фактических поводов для такого пророчества пока еще и не представлялось ниоткуда. Но я тогда не знал, что Г<ерцеп> просто старается нажить себе второе духовное отечество, так как первое уже лишилось своей притягательной силы и существовало только как повод к сожалению, дружескому участию и великодушному предложению посильных услуг, если потребуются.

Известно, что незадолго до отъезда за границу Г<ерцен> потерял отца и получил довольно значительное наследство, сделавшее его сравнительно богатым человеком. Рамки, в которых заключено было до того его московское существование, раздвинулись, но показались ему еще теснее, стеснительнее, чем прежде; с увеличением материальных средств поднялись и окрылились желания, а желания и стремления у этого в высшей степени сангвинического характера находились в уровень с его образованием и мыслию. Притом же для Г<ерцена> наступала та пора жизни, когда человек испытывает обыкновенно мучительную потребность самой напряженной деятельности (ему шел 35-й год); но простора для деятельности в той форме и тех размерах, какие ему были нужны, он, конечно, найти не мог. Оставалось убивать весь избыток накопившейся энергии в пустом мозговом одушевлении, в шуме дружеских собраний, в поддержании или опровержении более или менее дельных тезисов на вечерах и по обедам; но, во-первых, это не могло продолжаться долго, а во-вторых, скоро оказалось, что и по этой тропинке уже нельзя было двигаться. Центры прежних собраний распались, дружеские интимные

сходки не удавались более. Последним особенно повредил переворот в материальном быте Г<ерцена> и сравнительно богатая обстановка его дома, явившаяся, конечно, без всякого преднамерения у новых хозяев. Не было увлечения, составлявшего букет подобных сходок в прежнее время, когда они возникали на общих издержках, требовали некоторого пожертвования, вызывали хлопоты и хозяйские соображения Г<ерцен> рассказывал, что появление какого-нибудь серебряного подноса или канделябра в его новом хозяйстве поражало как бы немотой его друзей: искренность и веселие пропало, как только повстречались с готовым комфортом. Он относил это явление к той капле демократической зависти, которая живет в сердцах даже самых лучших людей; но такое изъяснение мне казалось всегда несправедливостию: тут было сожаление об утерянных условиях прежнего скромного образа жизни[272]. Когда уже оказалось почти невозможным собрать под одну кровлю близких людей без того, чтобы не увидать признаков измененных отношений с ними, и когда скоро оказалось (о чем сейчас будем говорить), что они уже расходятся и в понимании предметов — что оставалось делать? Умственные интересы московской и вообще русской среды были исследованы до нитки, вопросы, казавшиеся особенно важными, переворочены на все лады. Серьезной работы, в которую можно было бы уйти и запереться от мира, не обреталось вовсе, а потому оставалось, конечно, только тушить поедающий огонь деятельности чем ни попало. А между тем почти обок существовала, в форме западного мира, просторная арена для бесконтрольного удовлетворения всех умственных потребностей, но доступ к ней был невозможен по особенному положению Г<ерцена> в отечестве. Много усилий употребил он, чтоб разорвать эту цепь, связывающую его движения, и, вероятно, не успел бы, если бы В. А. Жуковский не принял участия в его судьбе и не помог ему достигнуть цели[273].

Не менее любопытна и душевная история, пережитая в эту же пору женою Г<ерцена>. И ей, как и мужу ее, страшно надоела дисциплина, которую ввел и неуклонно поддерживал тогдашний идеализм между друзьями. Наблюдение за собой, отметание в сторону как опасного элемента некоторых побуждений сердца и натуры, неустанное хождение по одному ритуалу долга, обязанностей, возвышенных *мыслей*, — все это походило на

строгий монашеский искус. Как всякий искус он имел свою чарующую и обаятельную силу сначала, но становился нестерпимым при продолжительности. Любопытно, что первым поднявшим знамя бунта против проповеди о нравственной выдержке и об ограничении свободы отдаваться личным физическим и умственным поползновениям был О<гарев>. Он и привил к обоим своим друзьям. Г<ерцену> и его жене (особенно к последней), воззрение на право каждого располагать собой, не придерживаясь никакому кодексу установленных правил, столь же условных и стеснительных в официальной морали, как и в приватной, какую заводят иногда дружеские кружки для своего обихода. Нет сомнения, что воззрение О<гарева> имело аристократическую подкладку, давая развитым людям с обеспеченным состоянием возможность спокойно и сознательно пренебрегать теми нравственными стеснениями, какие проповедываются людьми, не знавшими отроду обаяний и наслаждений полной материальной и умственной независимости. В основе его лежало еще и уважение к физиологическим требованиям лица, которые всего менее признавались демократическими умами, искавшими установить общие правила и начала даже и для органических и психических отличий человека. Оно пришло по вкусу тогдашнему Г<ерцену>, выбитому из обыденной колеи московского дружеского существования, и это обстоятельство, вместе с сохранившейся нежностью к товарищу своего детства, объясняет то высокое мнение об О<гареве>, которое не раз выражал Г<ерцен>, называя его свободнейшим человеком и умнейшей головой в России. То достоверно, что влияние О<гарева> имело неисчислимые последствия для самого Г<ерцена>, а также и для жены его [274].

Вся эта работа передвижения с одной точки зрения на предметы на другую, начавшаяся с появления О<гарева> в Москве, в 1846 году, шла, однако же, гораздо медленнее у Г<ерцена>, чем у его жены. Г<ерцен> не скоро отделался от первоначальной философской своей закваски. Несмотря на свое отречение от статутов идеалистического ордена, к которому принадлежал, несмотря на попытки *секуляризовать,* так сказать, свою жизнь[275], Г<ерцен> долго и потом сохранял на себе печать, приемы и сословные отличия своего прежнего звания. Тип строгого учителя и нравственного проповедника остался с ним и после того, как он сошел, так сказать, с кафедры

и поселился на публичном рынке, разделяя его волнения, ропот и жалобы. От некоторых основных начал исповедуемой им некогда философско-моральной доктрины он никогда уже и не отказывался. Впоследствии он даже казался, на основании именно этого первородного греха, многим умам и характерам, позднее народившимся и уже не знавшим никаких стеснений, полулибералом и нерешительным человеком[276]. По наружности никакой перемены в способе пользоваться своей жизнию и молодостью с ним не произошло с тех пор, как он стоял на европейской почве. Он и прежде, не стесняясь началами и правилами, отдавался свободно влечению мимолетной фантазии, всякому затронутому чувству и первому впечатлению, но тогда еще у него сохранялось в целости сознание, что он остается тем же человеком, просветленным благодатию высшего понимания жизни, каким воспитала его среда, что он не потерял способности судить правильно о собственных увлечениях своих, и для сохранения их не продавал своей души и многих годов ее научного воспитания. Так же свободно распоряжался он и теперь своею парижскою жизнию, но с вторжением в нее политических и социальных страстей — успокоительной фикции для совести не существовало более: все эти явления имели свои уставы, никем не проверенные, очень требовательные, а подчас и возмущавшие непривычное к ним ухо и чувство; вдобавок они еще выдавали себя за догматы, без принятия которых к ним и подступать не следует. Запас старых и никогда вполне не растраченных моральных убеждений составлял у Г<ерцена> уже ненужный к ним придаток, потерял значение *регулятора* мыслей и существовал без цели, мешая уверовать в нравственную сторону предметов окончательно и не имея силы совсем упразднить их в глубине совести как ложные и не подтвержденные продукты одного общественного болезненного недуга. Положение могло выйти трагическим — и впоследствии таким и вышло.

Наоборот, разложение старых теорий и представлений отразилось полнее и решительнее на душе бедной, восприимчивой, изящной по характеру и природе — жене Г<ерцена>, и переработало ее окончательно. Реакция против условий московского существования началась у нее с того мгновения, когда она почувствовала непреодолимое отвращение к *буржуазным* добродетелям, которые составляли основу всего быта, окружавшего ее, но

она внесла еще страсть в свою критику. Ей уже сделались не только скучны, но и подозрительны доблести при домашнем очаге, семейный героизм, всегда довольный и гордый самим собой, и вечное прославление всех тех пожертвований, трудов и добровольных лишений, которые сносились перед ее глазами на алтари разных более или менее почтенных молохов, величаемых, по ее мнению, идеями. С пробудившейся жаждой к расширению своего существования она возненавидела нескончаемое хождение все в одну сторону, п*о*солонь, и объясняла устройство этой невыносимой церемонии, походившей в ее глазах на раскольничье радение, частию тем, что она необходима жрецам кружка для прикрытия их слабой, апатической, ограниченной природы, а частию тем, что она доставляет вообще бедным инстинктам и побуждениям потеху гордого самоуслаждения. Никогда так радикально не относился сам Г<ерцен> к старому кружку друзей, никогда не выказывал столько жестокости и несправедливости в приговорах над ним, никогда не отзывался о нем с такой ненавистью, ценя, однако, даже и в спорах с старым кружком немаловажные усилия его членов выносить жизненные тяготы времени наиболее мужественно, благоразумно и независимо. Но все это пропало из вида его жены, заменилось какой-то наивной, незлобивой диффамацией прежних друзей, как только приходилось вспоминать о них[277]. Жена Г<ерцена> возлагала еще на ответственность старых знакомых и долгую скуку прежней своей жизни, между тем как настоящей причиной этой скуки был, как скоро объяснилось, запоздалый, мечтательный и бесплодный романтизм. Несмотря на постоянное чтение серьезных иностранных писателей, несмотря на философский говор, раздававшийся постоянно около жены Г<ерцена> и, конечно, не щадивший никаких иллюзий и фальшивых решений вопросов, — душа ее имела еще свои секреты, сберегала про себя тайные задачи и питалась, в самом шуме скептических излияний, скрытными романтическими стремлениями и чаяниями. Но куда ни обращала она свои глаза — ничего похожего на порядочный романтизм нигде не оказывалось налицо вокруг нее. Она была счастлива в муже, в семье, в друзьях — и страдала отсутствием поэзии, которая не сопровождала все эти благодатные явления в той мере, как бы ей хотелось. Она предпочла бы поэтические беды, глубокие несчастия, окруженные

симпатией и удивлением посторонних, и минутные упоения — тому простому безмятежному благополучию, которым наслаждалась. Задачей ее жизни сделалось, таким образом, обретение романтизма в том виде, как он существовал в ее фантазии; за ним она и погналась со страстию и неутомимостью искателя волшебных кладов, надеясь когда-нибудь напасть на его след и вкусить от той испробованной немногими смертными амврозии возвышенных чувств, какую он готовит для своих верных слуг, — узнать отраду небесных ощущений, им доставляемых. Под конец жизни ей показалось, что она держит эту чашу с волшебным напитком в своих руках, но при первом же прикосновении губ глубочайшее отвращение и жгучее раскаяние во всем, что было сделано для обладания драгоценным сосудом, овладело всем ее существом и свело преждевременно в могилу.

Я не намерен рассказывать здесь печальные подробности более головной, чем сердечной страсти, как она развилась на реальной почве у этой все-таки замечательной женщины, но некоторые черты истории важны и для определения отношений между разнородными эмиграциями.

Дело в том, что поэтическая мечтательница ознакомилась с жизнию по *романтизму,* которую наконец обрела в Париже через посредство в высшей степени развитой, изящной и вместе холодной и эгоистически-сластолюбивой личности, какою и был вышеупомянутый Г<ерве>г. Личность эта вдобавок была еще двойной германской знаменитостию, — она прославилась лирическими песнями, призывавшими народы к оружию, и радикализмом взглядов на правительство вообще и на прусское в особенности. Под мягкой, вкрадчивой наружностию, прикрываясь очень многосторонним, прозорливым умом, который всегда был настороже, так сказать, и опираясь на изумительную способность распознавать малейшие душевные движения человека и к ним подделываться, — чудная личность эта таила в себе сокровища эгоизма, эпикурейских склонностей и потребности лелеять и удовлетворять свои страсти, чего бы то ни стоило, не заботясь об участи жертв, которые будут падать под ножом ее свирепого эгоизма. Все средства своего образования, развития, действительно не совсем обыкновенных даже и в кругу передовых людей Европы, а также и своего нервного темперамента, часто разрешавшегося лирическими, вдох-

новенными вспышками и порывами, — все эти средства, говорю, перепробовала замечательная личность, здесь описываемая, для дела обольщения заезжей мечтательницы, для доставления себе победы над всеми запросами многотребовательной ее фантазии. Долго отыскиваемый романтизм являлся теперь перед женой Г<ерцена> в великолепном, ослепительном виде! Лоэнгрин со сказочных высот был перед нею налицо, и только подойдя к нему ближе, она вдруг увидала, какой страшный образ скрывается за ангельской маской, им усвоенной, — и в ужасе, последним сверхъестественным движением воли, она вырвалась из его рук, измученная и оскорбленная. Может быть, обольститель и действительно чувствовал некоторого рода любовь и привязанность к обреченной им жертве, как это бывает у иных преследователей; но когда жертва ускользнула от него, любовь и привязанность пропали бесследно, а место их заняли бешенство неудачи, жажда мести за помятое тщеславие и за оскорбление, нанесенное его гордости и самолюбию. Он принялся публично бросать грязью в женщину и семью, благополучие которых разрушил, употребляя при этом средства, возмущавшие даже и друзей его...

И вот чем кончался романтизм для бедной женщины, предавшейся ему и поплатившейся за него жизнию, и вот как разрешались столкновения наивной натуры с человеком, принадлежащим к типу людей, встречающихся на Западе, и вооруженным с головы до ног как для доблестных, так и для всяких других подвигов.

Всего печальнее и поучительнее в этой истории то, что Г<ерцен> сам ввел человека подобного закала в свои дом и сам водворил его у себя. Позднее Г<ерцен> говорил, что обращение его с этим человеком было более *фамильярное,* чем дружественное. Может быть, это и так в смысле психической верности, но мы все видели его непрестанные ухаживания за нашим эмигрантом, его усилия выказаться перед ним блестящими сторонами ума, купить его внимание. Так было, впрочем, на первых порах у Г<ерцена> и с другими эмигрантами и знаменитостями радикального мира, гораздо менее развитыми, чем тот, о котором мы говорим. Он и им открывал сокровища своего ума, сердца, расточал перед ними блестки остроумия и начитанности, не спрашивая, способны ли они еще понимать то, что им показывают так нерасчетисто.

Да куда же, спросят, девалась способность Г<ерцена> к тонкому анализу характеров, о которой я говорил прежде, его сатирическая и полемическая *жилка,* которая так сильно билась в Москве и помогала ему создавать такие меткие, часто беспощадные и уничтожающие, портреты знакомых людей. Куда пропал признанный мастер разительно схожих карикатур и горячих эпиграмм, имевших все подобие биографических данных? Они не пропали, как оказалось впоследствии; Г<ерцен> не утерял, не лишился ни одной из прежних своих сил, но, в поисках за новой духовной отчизной, он их сдерживал искусственно, старался затоптать, запрятать подалее в глубь души для того, чтобы добыть себе искусственную слепоту, делавшуюся теперь уже необходимостью для оправдания себя. Он принимал меры против своей прозорливости и склонности к комическим разоблачениям; на этом условии только и мог сохраниться в уме его весь окружавший его мир в качестве действительного, не призрачного существования, но мир этот не хотел знать об усилиях Г<ерцена> понять его с наилучшей стороны, а потребовал разделения с ним его предрассудков, предвзятых идей, необдуманных решений и планов. Г<ерцен> склонился и в эту сторону, и только когда чаша была переполнена, действительность сделалась нестерпима, нагло ясна в своей несостоятельности, — возвратились к Г<ерцену> прежние качества ума, вся мощь глубокого психолога-мыслителя, и он отдал на суд будущих русских людей, в известных своих «Записках», как самого себя, так и типы деятелей, ведших за собой политические фаланги того времени[278]. — Многое и другое еще возвратилось к нему тогда...

При отъезде Г<ерцена> за границу из Москвы в последний раз собрались около него все друзья и сопровождали его до первой станции петербургской дороги. Г<ерцен> ехал на Петербург и в омнибусе — железного пути еще не было. Прощальный обед, устроенный на станции, закончился, несмотря на шумное начало его, в грустном настроении друзей — многие из них плакали. Чего бы, кажись, плакать по случаю отъезда за границу на более или менее продолжительное время молодой, исполненной сил и надежд, семьи? Но вместе с ней ехал еще человек, который, назло всем недоразумениям, составлял еще такую необходимость в жизни своих друзей, что утрата его, даже и на короткий срок, поразила

их, когда наступила минута расставания. Что бы заговорили они, если бы могли предчувствовать, что для всех их это была уже утрата вечная. Сопровождаемый горячими напутствиями, почти страстными выражениями любви и дружбы, Г<ерцен> тронулся в дальнейший путь под трогательным впечатлением этой разлуки. Он довез впечатление свое всецело и до Парижа, да и в последующем развитии его жизни оно не раз восставало в его памяти, хотя уже не могло примирить его с покинутым и далеко оставленным позади миром. Только в минуты полного нравственного одиночества, испытанного им особенно перед основанием своего журнала, да в минуты горьких раздумий о своем деле, которое, чем бы он ни жертвовал для него, все-таки не давало ему полной натурализации в сонме европейских деятелей, — только тогда воспоминания о Москве — теплой, обильной струей приливали к его сердцу и извлекали вопль страдающей души, доходивший и до друзей в Белокаменной. Он препоручал им своих детей, препоручал им защиту собственного имени и взывал к их участию, поощрению, нравственной поддержке[279]. Оказалось, что жить без старых связей с Россией становилось невыносимым сиротством. Толпы людей, привлеченных к нему журнальным полем, открытым им для искренних и для корыстных обличений, для нужд общественной важности и для нужд личной мести и задетого самолюбия, не могли их заменить...

Так носила бурная, кипучая волна европейской жизни этот драгоценный самородок, брошенный в нее из какой-то далекой, неизвестной планеты, — носила из стороны в сторону, разбивая его и, конечно, не заботясь о том, куда его сложить и пристроить.

Иначе выразилось действие той же европейской среды на другого и тоже замечательного русского человека, Василия Петровича Боткина. Г<ерцен> уже не застал его в Париже, но я еще успел, до отъезда его обратно в Россию, прожить с ним целый год и съездить с ним еще летом 1846 года в Тироль и Ломбардию, причем путешествие наше совершалось довольно оригинальным способом. Минуя публичные кареты и дилижансы, насколько было возможно, а также и чересчур гостеприимные дворцы с отелями и ресторанами, мы ехали в телегах и колясочках местных промышленников извоза, и три месяца жили между крестьянами, лодочниками, работниками,

по народным австериям, рынкам и темным закоулкам городов и селений. Я сожалею, что не вел дневника этой поездки, который мог бы быть любопытен теперь, после переворотов, обновивших Австрию и Италию...

Известно, что В. П. Боткин женился на француженке, приехавшей *отыскивать фортуну* в Россию и не думавшей никогда о формальном браке, как и сама заявляла[280]. Когда друзья Боткина заметили ему, что проект женитьбы на девушке, которая ничего другого не желает, как весело прожить с любимым человеком более или менее долгое время, представляет некоторого рода странность, — Боткин пришел в великое негодование. «Так вот чем кончается, — говорил он, — ваша гуманность и искание идеалов! Эксплуатировать женщину, натешиться ею и потом бросить, когда надоела, — хорошие основы!» Брак был совершен по всем обрядам, в Казанском соборе, но через месяц Боткин увидал свою ошибку и бросил тотчас же несчастную женщину на произвол судьбы, не желая уже более и слышать о ней. Как всегда бывает, он возненавидел в ней собственный промах и наказывал в ней свой собственный грех. Вместе с тем вся одежда крайнего идеалиста, какую он носил постоянно, вопреки всем новым модам, вдруг соскочила с него, как в театральном превращении у многоумного Фауста, обратившегося мгновенно в бешеного юношу. Он предался весь сенсуальной жизни, окунулся в самый омут парижских любовных и всяческих приключений, дополняя их раздражающими впечатлениями искусства, в котором кропотливо рылся, отыскивая тончайшие черты произведений, что было видоизменением того же культа сенсуализму, которому он предался. Он отрывался от него по временам, чтоб освежить голову от хмеля одуряющих наслаждений, и возвращался к ним еще с большей энергией. Плодом таких *гигиенических* перерывов была его поездка в Испанию и прекрасная книга его, за ней последовавшая: «Письма из Испании». Из того же источника проистекали и его занятия социальными и политическими вопросами, в которых он с изумительной прозорливостию открывал и потом преследовал малейшие черты скрытого идеализма, замаскированной чувствительности и мечтательности, сделавшиеся теперь предметами его ожесточенной ненависти. В таком настроении застал его, и уже в Москве, серьезный поворот дел, начавшийся повсеместно в Европе с 1848 года.

Никто более его не испугался этого поворота, да поворот еще и укрепил в нем зародившееся настроение, так как оно могло служить некоторым образом щитом и охраной против подозрений в моральной склонности к утопиям. На склоне жизни, с ослаблением сил и уже тогда, когда он сам сделался значительным капиталистом, В. П. Боткин занял почетное и видное место в рядах нашей ультраконсервативной партии. Но он превратился в ультраконсерватора на свой собственный манер, который ставил его неизмеримо выше большинства его собратов по убеждениям. В основу своего последнего созерцания он положил, кроме чувства сохранения своего общественного положения, которое у него всегда было очень живо, еще и доктрины двух великих современных мыслителей — Карлейля и Шопенгауэра. Он почерпнул у первого его ненависть ко вседневной болтовне журналистики и литературных репортеров вместе с учением о спасительной силе повиновения великим авторитетам, просветителям народов и двигателям истории, где бы они ни встретились. От второго он усвоил его глубочайшее презрение к толпе и народным массам и его энергические проклятия беспредметному философствованию умников, разлагающих только без конца и цели одну собственную мысль. Таким образом, замечательный человек этот перешел множество стадий развития, и только смерть помешала ему видеть, во что слагается и чем кончает наш русский консерватизм.

XXXIV

К числу особенностей тогдашнего Парижа принадлежало еще и важное качество его — представлять для людей, ищущих почему-либо уединения, самое тихое место во всей континентальной Европе. В нем можно было притаиться, скрыться и заслониться от людей, не переставая жить общей жизнию большого, всесветного города.

Не надо было употреблять и особенных усилий для того, чтобы найти в Париже замиренный, так сказать, уголок, из которого легко и спокойно могло быть наблюдаемо одно ежедневное творчество города и народного французского духа вообще, что представляло еще занятие, достаточное для наполнения целых дней и месяцев.

Такие уголки добывались во всех частях города — и притом за сравнительно небольшие пожертвования *. От одного из таких уголков я был неожиданно оторван очень печальным известием из России. В. П. Боткин писал мне, что Белинский становится плох и приговорен докторами к поездке за границу, именно на воды Зальцбрунна, в Силезии, начинавшие славиться своими целебными качествами против болезней легких[281]. Друзья составили между собой подписку для отправления туда больного; к участию в подписке приглашал меня и Боткин[282]. Я отвечал, что приеду сам в Зальцбрунн и надеюсь быть полезнее Белинскому этим способом, чем каким-либо другим. Точно такое же решение принял и И. С. Тургенев, находившийся тогда в Берлине. Он немедленно отправился навстречу неопытного вояжера, мало разумевшего по-немецки и никогда еще не покидавшего своей родины, в Штеттин, где и принял его под свое покровительство[283]. Оба они и прибыли через Берлин в Обер-Зальцбрунн, поселясь в чистом деревянном домике с уютным двориком на главной, но далеко не блестящей улице бедного еще городка.

Итак, оторвавшись от всех связей в Париже и отложив на будущее время планы разных путешествий, я направился в июне 1847 года в Зальцбрунн. Переночевав в Бреславле, я на другой день рано очутился в неизвестном мне местечке и на первых же шагах по какой-то длинной улице встретил Тургенева и Белинского, возвращавшихся с вод домой...[284]

Я едва узнал Белинского. В длинном сюртуке, в картузе с прямым козырьком и с толстой палкой в руке — передо мной стоял старик, который по временам, словно заставая себя врасплох, быстро выпрямлялся и поправлял себя, стараясь придать своей наружности тот вид, какой, по его соображениям, ей следовало иметь. Усилия длились недолго и никого обмануть не могли: он представлял из себя, очевидно, организм, разрушенный наполовину. Лицо его сделалось бело и гладко, как фарфор, и ни одной здоровой морщины на нем, которая бы говорила об упорной борьбе, выдерживаемой человеком с

* В таких уголках жило много немецких ученых, приезжавших в Париж доканчивать свои работы, а из русских в это время там находился Н. Г. Фролов, переводивший «Космос» Гумбольдта, и П. Н. Кудрявцев, дописывавший диссертацию «Судьбы Италии». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

наплывающими на него годами. Страшная худоба и глухой звук голоса довершали впечатление, которое я старался скрыть, сколько мог, усиливаясь сообщить развязный и равнодушный вид нашей встрече. Белинский, кажется, заметил подлог. «Перенесли ли ваши вещи к нам в дом?» — проговорил он торопливо и как-то сконфуженно, направляясь к дому.

Вещи были перенесены — я поселился во втором этажике квартиры, и начался длинный, томительный месяц безнадежного лечения, о котором старый широколицый, приземистый доктор Зальцбрунна уже составил себе, кажется, понятие с первого же дня. На все мои расспросы о состоянии больного, о надеждах на улучшение его здоровья он постоянно отвечал одной и той же фразой: «Да, ваш приятель очень болен». Более новой или объясняющей мысли я так от него и не добился...

Каждое утро Белинский рано уходил на воды и, возвратясь домой, поднимался во второй этаж и будил меня всегда одними и теми же словами: «Проснися, сибарит». У него были любимые слова и поговорки, к которым привыкал и которых долго не менял, пока не обретались новые, обязанные тоже прослужить порядочный срок. Так, все свои довольно частые споры с Тургеневым он обыкновенно начинал словами: «Мальчик, берегитесь — я вас в угол поставлю». Было что-то добродушное в этих прибаутках, походивших на детскую ласку. «Мальчик Тургенев», однако же, высказывал ему подчас очень жесткие истины, особенно по отношению к неумению Белинского обращаться с жизнию и к его непониманию первых реальных ее основ. Белинский становился тогда серьезен и начинал разбирать психические и бытовые условия, мешающие иногда полному развитию людей, хотя бы они и имели все необходимые качества для развития; однако же многие слова Тургенева, как я заметил после, западали ему в душу, и он обсуждал их еще и про себя некоторое время. Как ни оживленны были по временам беседы наши, особенно когда дело касалось личностей и физиономий, оставленных по ту сторону немецкой границы, но они все-таки не могли наполнить целого летнего монотонного дня, и притом в городке, лишенном всякого интеллектуального интереса. Напрасно друзья перебирали свои воспоминания за утренним кофе, который всемерно длили, сидя под навесом барака, игравшего на дворике нашего домика роль

курьезной беседки без сада и зелени; напрасно потом долгий «table d'hôte» в каком-то ресторане наполнялся анекдотами, передачей журнальных новостей и заметок о прочитанных книгах и статьях — времени оставалось еще нестерпимо много. Притом же скоро оказалась необходимость понизить и тон всех разговоров. Случалось, что смех, вызванный каким-либо забавным анекдотом, переходил у Белинского в пароксизм кашля, страшно и долго колебавшего его грудь и живот, а с другой стороны, какая-либо заметка, принятая им к сердцу, мгновенно выгоняла краску на его лице и вызывала оживленное слово, за которым, однако ж, следовало почти тотчас физическое изнеможение. Чисто растительная, животная жизнь вперемежку с чтением и обменом нескольких мыслей становилась необходимостью; но Тургенев не мог выдерживать этого режима. Он сперва нашел выход из него, принявшись за продолжение «Записок охотника», начало которых появилось несколькими месяцами ранее и впервые познакомило его со вкусом полного литературного и популярного успеха. Он написал в Зальцбрунне своего замечательного «Бурмистра», который понравился и Белинскому, выслушавшему весь рассказ с вниманием и сказавшему только о Пеночкине: «Что за мерзавец — с тонкими вкусами!» Но затем Тургенев уже не мог долее насиловать свою подвижную природу и однажды, после получения почты, объявил нам, что уезжает на короткое время в Берлин — проститься с знакомыми, отъезжающими в Англию, но что, проводив их, снова вернется в Зальцбрунн. Он оставил даже часть вещей на квартире. В Зальцбрунн он не возвратился, вещи его мы перевезли с собой в Париж, сам он чуть ли не побывал за это время в Лондоне [285].

Молодые годы Тургенева были наполнены примерами таких неожиданных поворотов в сторону от предпринятого дела, имевших силу всегда удивлять и бесить его друзей, но надо сказать, что уклонения эти выходили у него постоянно из одного источника. Тургенев тогда еще не мог останавливаться долго на одном решении и на одном чувстве — из опасения замешкаться и упустить самую жизнь, которая бежит мимо и никого не ждет. Им овладевал род нервного беспокойства, когда приходилось только издали прислушиваться к ее шуму. Он постоянно рвался к разным центрам, где она наиболее кипит, и сгорал жаждой ощупать возможно большее ко-

личество характеров и типов, ею порождаемых, каковы бы они ни были. Немало жертв принес он этому влечению своей природы, становясь иногда рядом с довольно ничтожными личностями по своим стремлениям и продолжая с ними подолгу одинаковый путь, точно он был его собственный или особенно излюбленный им. Он никогда не разделял брезгливости большей части людей его круга, которая мешала им приближаться к характерам и личностям известного круга идей и строя жизни и тем лишала их значительной доли поучительных наблюдений и выводов. К тому же сознание разнообразных средств успеха, данных ему образованием и природой, затемняло еще тогда для Тургенева и жизненные цели. В эти годы молодости и ее увлечений ему казалось еще, что он может испробовать все возможные существования и соединить в себе солидные качества писателя и художника с качествами, нужными для приобретения репутации победителя на всех рынках, ристалищах и аренах света, какие всякое несколько развитое общество открывает своим праздным силам и тщеславию. Все эти стремления скоро улеглись под влиянием столько же годов, сколько и труда над самим собой, особенно под отрезвляющим влиянием сознанного им наконец литературного своего призвания; но их еще помнят его прежние сотоварищи, а некоторые из них помнят еще и с целью сделать из этих давно угасших стремлений основную черту его биографии. Вот почему я и решился дать здесь место моим воспоминаниям о сущности самого явления — в надежде, что они, воспоминания эти, может быть, помогут судить о нем с мерой и осторожностию, которые не всегда сохраняются современниками нашего поэта-романиста.

При небольшом внимании уже и тогда постоянно сказывалось, что истинные сочувствия Тургенева совершенно ясны и определенны, несмотря на его равномерно-ласковое отношение к самым разнокачественным элементам общества; что истинные привязанности и предпочтения его не только имеют обдуманные основания, но и способны к продолжительной выдержке. Впоследствии все это обнаружилось ясно, но круги наши, привыкшие вообще строго держаться в своих границах, пугливо и подозрительно смотреть на все, что лежит за ними и обок с ними, долго не могли помириться с упомянутой расточительностию Тургенева на связи и знакомства. Независимость всех движений Тургенева, свободные

переходы его от одного стана к другому, противоположному, от одного круга идей к другому, ему враждебному, а также и радикальные перемены в образе жизни, в выборе занятий и интересов, поочередно приковывавших к себе его внимание, были загадкой для строгих друзей его и составили ему в среде их незаслуженную репутацию легкомыслия и слабохарактерности, но никто еще у нас так часто не обманывал пророчеств и определений своих критиков; никто так успешно не переделывал общественных приговоров в свою пользу, как именно Тургенев. Пока масса эксцентрических анекдотов о нем ходила по литературному миру, в виде свидетельства о расположении его полагаться, для приобретения себе почетного места в свете, более на эффектные слова и поступки, чем на содержание и достоинство их, Тургенев ни о чем другом не думал, как о разборе явлений, полученных им путем опыта и наблюдений, как о превращении их в свое умственное добро — и при этом разборе обнаружил качества мыслителя, поэта и психолога, поразившие его преждевременных биографов. Так, между прочим, из близких и дружелюбных сношений с разнородными слоями общества, не исключая и тех, которые стояли у наших кругов на index, считались слоями отверженными и недостойными внимания, возникла у Тургенева та, смею выразиться, *нужда справедливости* по отношению к людям и — как необходимая ее окраска — то благорасположение к ним, которые составили ему другую и уже более верную репутацию — чрезвычайно симпатического, доброжелательного и *много понимающего* человека в нашем русском мире.

Очень скоро Тургенев сделался на целый литературный период излюбленным человеком этого многосложного русского мира, который признал в нем свое доверенное лицо и поручил ему ходатайство по всем своим делам. А дела эти все были невещественного свойства и состояли преимущественно в отыскивании прав на сочувствие к нравственным и умственным представлениям русского мира. Тургенев оказался не ниже задачи. Почти с самого начала литературного поприща он успел открыть в простом народе целый строй замечательных представлений и своеобычной морали, что особенно было ценно, так как дело тут шло о робком и застенчивом классе общества, который не умеет, да и вообще не любит говорить о себе и про себя. Перенося ту же пытли-

вость анализа на другие классы общества, Тургенев сделался в России летописцем и историком умственных и душевных томлений всего своего времени по разрешению настоятельных запросов пробужденной мысли, очнувшегося ума и сердца, которые не знали покамест, как найти для себя выход и что с собой делать. В сущности, вся литературная деятельность Тургенева может быть определена как длинный, подробный и поэтически объясненный реестр идеалов, какие ходили по русской земле между разнородными слоями ее образованного и полуобразованного населения в течение 30 лет и посреди обычной обстановки жизни и суровых условий существования, в которых она вращалась. Тургенев открыл особенное творчество на Руси, творчество в области идеалов, и как бы мечтательны, молоды, печальны ни были на вид эти идеалы, какой бы характер частного домашнего дела, единичных, разрозненных стремлений мысли и чувства ни носили они на себе, — поучительная сторона их заключалась в разновидности с тем, чем русская жизнь тогда особенно кичилась и что обыкновенно производила. Но внутренний смысл всяких идеалов, даже и самых скромных, так привлекателен и обладает такой силой возбуждать внимание и сочувствие, что на нем останавливаются подчас и умы, далеко ушедшие по лестнице научного и гражданского развития. Идеалы вообще есть семейное добро всего образованного человечества, а при этом часто случается, что и незначительная вещь становится дорогой по воспоминаниям и мыслям, с нею связанным. Вот почему единогласное, почти восторженное одобрение, каким были встречены на Западе рассказы Тургенева, объясняется, — кроме мастерства изложения, ему свойственного и удивившего искушенный художнический вкус Европы, кроме любопытства, возбужденного картинами неизвестной, своеобычной культуры, — еще и тем, что рассказы эти поднимали край завесы, за которой можно было усмотреть тайну духовной и общечеловеческой производительности у новых, чуждых людей, работу их сознания и страдающей мысли. Мы слышали в последнее время, что старый Гизо, прочитав «Гамлета Щигровского уезда» Тургенева, увидал в этом рассказе такой глубокий психический анализ общечеловеческого явления, что пожелал познакомиться и лично поговорить о предмете с его автором. Мнения философа и критика Тэна, а также и Ж. Занда о рассказе «Живые

мощи» известны. Последняя писала автору: «Nous tous, nous devons aller à l'école chez vous» *[286]. Уже не говорю о рецензенте и историке беллетрических произведений Германии, Юлиане Шмидте, который провозгласил Тургенева королем современной новеллы. Трудно и пересчитать все симпатические отзывы иностранцев о деятельности нашего романиста.

Тургенев не изменил качествам своего творчества и тогда, когда позднее вывел перед публикой типы и образы смелого отрицательного характера: и на этих холодных физиономиях лежат еще огненные следы какого-то давнего прохода по ним тех же волнений, катастроф и падений, какие вызывались идеальными стремлениями у людей предшествовавшей эпохи вообще. По всей справедливости Тургенева можно бы было назвать искателем душевных *кладов,* таящихся в недрах русского мира, и притом искателем, обладающим необманчивыми приметами для добывания их: он разрыл многое множество существований с целью получить вещественное свидетельство о той идее, idée fixe, которая их питает и служит путеводной звездой в жизни, и никогда не удалялся с пустыми руками от работы, вынося если не цельные дорогие психические откровения, то в крайнем случае зачатки и пробы идеальных созерцаний. Все это и сделало его толкователем своей эпохи, а вместе с тем и первоклассным писателем в отечестве и за границей. Полное развитие, однако же, всех творческих приемов Тургенева, не пренебрегавших и раздражающими красками, жесткими словами, ядовитыми намеками для определения грубой, пошлой, обычной русской действительности и открывавших в то же время теплые, целительные струи, какие просачиваются в этой же самой действительности, — все это творчество, говорю, тогда лежало еще впереди. Тургенев еще только собирал для него материалы.

И. С. Тургенев остался за границей во Франции и по отъезде Белинского восвояси. Он жил почему-то довольно долго в провинции (в Brie, и чуть ли не замке Ноган, поместье Ж. Занд)[287], а когда наезжал в Париж, то довольно рассеянно прислушивался к толкам соотечественников, интересуясь не столько предметами, которые их занимали, сколько проявлением их характеров, психическими основами их мнений, причинами, которые опре-

* Мы все должны пойти в ученье к вам (*фр.*).

делили у них тот или другой выбор доктрин и созерцаний. Изучение лица стояло у него всегда на первом плане; убеждения ценились не столько по своему содержанию, сколько по свету, какой они бросают на внутреннюю жизнь человека. Черту эту он разделял с большинством художников и вообще с психологами по природе. Художником и психологом был он и по отношению к самому себе. Двойной анализ — эстетический и моральный, какому стал он рано подвергать самого себя, под конец переработал всю его нравственную физиономию, потушив суету пустых исканий, погоню за напускными чувствами и волнениями, необходимыми для эфемерных триумфов. Европейская жизнь много помогла ему в этом труде над собой. Вообще говоря, Европа была для него землей обновления: корни всех его стремлений, основы для воспитания воли и характера, а также и развития самой мысли заложены были в ее почве и там глубоко разветвились и пустили отпрыски. Понятно становится, почему он предпочитал смолода держаться на этой почве, пока совсем не утвердился на ней. Немало упреков от соотечественников вынес он на веку своем за это предпочтение, казавшееся им обидным; некоторые из них видели тут даже отсутствие национальных убеждений, космополитизм обеспеченного человека, готового променять гражданские обязанности свои на комфорт и легкие потехи заграничного существования и проч. и проч. Ни в одном из взводимых на него преступлений Тургенев, конечно, не провинился, да ими и не мог провиниться человек, литературная деятельность которого, — то есть, другими словами, вся задача жизни, — ничего иного никогда и не высказывала, кроме постоянной пламенной думы о своем отечестве, и который жил ежедневной мыслию о нем, где бы ни находился, что хорошо известно и старым и новым его знакомым. Не отсутствие народных симпатий в душе и не надменное пренебрежение к строю русской жизни сделали Европу необходимостию для его существования, а то, что здесь обильнее текла умственная жизнь, поглощающая пустые стремления, что в Европе он чувствовал себя более простым, дельным, верным самому себе и более свободным от вздорных искушений, чем когда становился лицом к лицу с русской действительностию.

Особенно важно заметить, что и в то время и позднее никакого разрыва с отечеством не могло существовать у

Тургенева уже и потому, что он всегда оставлял там часть своего существования, куда бы ни уходил, предмет страсти, так сказать, именно русскую литературу, — понимая под этим словом художническую, критическую и публицистическую деятельность. Другая — ученая литература жила тогда в замкнутых кругах и с обществом сношений не вела. На той, первой, популярной литературе и сосредоточились все помыслы Тургенева. Известно, что в то время русская литература считалась ступенью к изучению законов и условий искусства. Люди той эпохи видели в занятии искусством единственную оставшуюся им тропинку к некоторого рода общественному делу: искусство составляло почти спасение людей, так как позволяло им думать о себе как о свободно мыслящих людях. Никогда уже после того *идея* искусства не понималась у нас так обширно и в таком универсальном, политико-социальном значении, как именно в эти годы затишья. Искусством дорожили: это была единственная ценность, которая находилась в обращении и какой люди могли располагать. Каждая теория искусства, присвоившая, добывавшая ему новые умственные области, каждое расширение его ведомства принимались с великой благодарностью. Чем просторнее становилось в своих владениях искусство, чем далее отодвигались его границы, — тем сильнее увеличивалось число предметов, подлежащих публичному обсуждению. Вся работа общественной мысли возложена была на одного только агента ее, и такое понимание искусства жило почти во всех умах, но, разумеется, сильнее проявлялось у присяжных деятелей его. Так и у Тургенева — привязанность к русской литературе и искусству составляла органическое чувство, одолеть которое уже были не в силах никакие посторонние соблазны и влечения. Белинский высоко ценил это качество своего друга. Для Тургенева и многих его современников, после народа, ничего более важного и более достойного внимания и изучения, чем русская литература, вовсе и не существовало в России: ее одну они там и видели и на нее возлагали все свои надежды. Другие голоса, которые рядом с нею неслись оттуда и подчас настойчиво требовали внимания и уважения к себе, проходили без отзвука в их мысли. Для Тургенева — да, повторяю, и для многих других еще за ним — следить за русской литературой значило следить за пер-

венствующим (если не единственным) воспитывающим и цивилизующим элементом в России.

Убеждение это связывалось еще с представлением дельного литератора как неизбежно высоконравственного лица; занятие литературой, казалось всем, требует прежде всего чистых рук и возвышенного характера. Можно было бы привести много примеров, где это мнение высказывалось от имени публики. Гоголь, которого нельзя упрекнуть в потворстве литераторам, рассказал в своей известной «Переписке» случай, когда одного какого-то писателя, провинившегося неблаговидным поступком в провинции, неизвестный член общества остановил строгим выговором, который кончался замечанием: «А еще литератор!» Тургенев подтверждал свое страстное чувство к литературе и свои заботы о ней на самом деле. Многие из его товарищей, видевшие возникновение «Современника» 1847 года, должны еще помнить, как хлопотал Тургенев об основании этого органа, сколько потратил он труда, помощи советом и делом на его распространение и укрепление. Первые №№ «Современника» содержат, кроме начала «Записок охотника», еще несколько исторических и критических заметок Тургенева, не попадавших в полное собрание его сочинений[288]. Кстати сказать: эстетические и полемические заметки Тургенева носили всегда какой-то характер *междуделья,* отличались умом, но никогда не обладали той полнотой содержания, которая необходима для того, чтобы сказанное слово осталось в памяти людей. То же самое суждение может быть приложено и к его позднейшим объяснениям с критиками и недоброжелателями, к его исповедям своих мнений (professions de foi), поправкам и дополнениям его созерцаний и проч. Они не удовлетворяли ни тех, к кому относились, ни публику, которая следила за его мнениями. Тургенев овладевал вполне своими темами и становился убедительным только тогда, когда разъяснял предметы и самого себя на арене художественного творчества. Русская литература, прикрепленная тогда исключительно к этой арене и к разным обширным и мелким ее отделам, становилась таким важным жизненным явлением, что за нею в глазах Тургенева должно было пропасть и пропадало все, что делалось другого на родине. Настоящее дело было в одних ее руках — и так думал о русской журналистике, публицистике и русской

художественной деятельности вообще не он один, как уже мы сказали.

Вот почему, между прочим, Тургенев хладнокровно обошел и все идеи и доктрины тогдашней русско-парижской колонии: они истекали из других источников, чем те, в которых он полагал настоящую целебную силу. Русский «политический» человек представлялся ему пока в типе первоклассного русского писателя, создающего вокруг себя публику и заставляющего слушать себя поневоле.

Очень характеристично для этого отдаленного времени то обстоятельство, что исключительная любовь Тургенева к литературе могла еще казаться подозрительной и навлечь ему неприятности. По возвращении в Россию в 1851 году Тургенев был потрясен известием о смерти Гоголя (1852) и послал в одну московскую газету несколько горячих строк сочувствия к погибшему деятелю уже после того, как в Петербурге состоялось распоряжение о недопущении надгробных панегириков автору «Мертвых душ». Никто не осведомился, знал ли или не знал Тургенев о состоявшемся распоряжении и можно ли было даже, предполагая, что распоряжение было ему известно, поставить ему в вину желание провести свою статейку в свет, так как для достижения своего желания он не нарушал никаких положительных законов и подверг статью обыкновенному цензурному ходу, только на расстоянии нескольких сот верст от Петербурга — в Москве. Тогдашний председатель цензурного комитета в Петербурге (Мусин-Пушкин), однако же, усмотрел в бегстве статейки из-под его ведомства и появлении ее в Москве *ослушание начальству,* и последствием был месячный арест Тургенева при одной из съезжих и затем высылка в деревню на жительство[289]. Благодаря этой мере, съезжая, где он содержался (у Большого театра, между Екатерининским каналом и Офицерской улицей), попала в русскую литературу и сделалась *исторической* съезжей. Там, посреди разных домашних расправ полиции, бывших тогда еще в полном цвету, но в квартире самого частного пристава, куда был переведен по повелению государя наследника (ныне царствующего императора)[290], Тургенев написал тот маленький chef-d'oeuvre, который не утерял и доселе способности возбуждать умиление читателя, именно рассказ «Муму». На другой день своего освобождения и перед выездом в ссылку он нам и прочел

его. Истинно трогательное впечатление произвел этот рассказ, вынесенный им из съезжего дома, и по своему содержанию, и по спокойному, хотя и грустному тону изложения. Так отвечал Тургенев на постигшую его кару, продолжая без устали начатую им деятельную *художническую* пропаганду по важнейшему политическому вопросу того времени.

После этого отступления, которое, ввиду разноречивых толков о замечательном человеке, порожденном той же эпохой сороковых годов, казалось мне совершенно необходимым, возвращаюсь назад. Итак, после отъезда Тургенева мы остались с Белинским вдвоем, с глазу на глаз, в Зальцбрунне.

XXXV

Белинский явился мне в эти дни долгих бесед и каждочасного обмена мыслей совершенно в новом свете. Страстная его натура, как ни была уже надорвана мучительным недугом, еще далеко не походила на потухший вулкан. Огонь все тлился у Белинского под корой наружного спокойствия и пробегал иногда по всему организму его. Правда, Белинский начинал уже бояться самого себя, бояться тех еще не порабощенных сил, которые в нем жили и могли при случае, вырвавшись наружу, уничтожить зараз все плоды прилежного лечения. Он принимал меры против своей впечатлительности. Сколько раз случалось мне видеть, как Белинский, молча и с болезненным выражением на лице, опрокидывался на спинку дивана или кресла, когда полученное им ощущение сильно въедалось в его душу, а он считал нужным оторваться или освободиться от него. Минуты эти походили на особый вид душевного страдания, присоединенного к физическому, и не скоро проходили: мучительное выражение довольно долго не покидало его лица после них. Можно было ожидать, что, несмотря на все предосторожности, наступит такое мгновение, когда он не справится с собой, и действительно, такое мгновение наступило для него в конце нашего пребывания в Зальцбрунне.

Надо знать, чем был за полгода до своей смерти Белинский, чтобы понять весь пафос этого мгновения, имевшего весьма важные последствия и от дальнейших и окончательных результатов которого освободила его только смерть. Я подразумеваю здесь известное его письмо к

Гоголю, много потерявшее теперь из первоначальных своих красок, но в свое время раздавшееся по интеллектуальной России, как трубный глас. Кто поверит, что когда Белинский писал его, он был уже не прежний боец, искавший битв, а, напротив, человек, наполовину замиренный и потерявший веру в пользу литературных сшибок, журнальной полемики, трактатов о течениях русской мысли и рецензий, уничтожающих более или менее шаткие литературные репутации.

Мысль его уже обращалась в кругу идей другого порядка и занята была новыми нарождающимися определениями прав и обязанностей человека, новой *правдой,* провозглашаемой экономическими учениями, которая упраздняла все представления старой, отменяемой правды о нравственном, добром и благородном на земле и ставила на их место формулы и тезисы рассудочного характера. Белинский давно уже интересовался, как мы видели прежде, этими проявлениями пытливого духа современности, но о каком-либо приложении их к русскому миру, где еще не существовало и азбуки для разбора и разумения их языка, никогда не помышлял. Он пришел только к заключению, что дело развития каждой отдельной личности, ищущей некоторой высоты и свободы для своей мысли, должно сопровождаться посильным участием в исследовании свойств и элементов того потока политических и социальных идей, в который брошены теперь цивилизация и культура Европы. Для облегчения этой работы, необходимой для каждой мало-мальски мыслящей и *совестливой* личности, Белинский и начинал думать, что следовало бы и в русской литературе установить коренные точки зрения на европейские дела, с которых и могла бы начинаться независимая работа критики у нас и свободное исследование всего их содержания.

Одного только не мог он переносить: спокойствие и хладнокровное размышление покидало его тотчас, как он встречался с суждением, которое, под предлогом неопределенности или неубедительности европейских теорий, обнаруживало поползновение позорить труды и начинания эпохи, не признавать честности ее стремлений, подвергать огулом насмешке всю ее работу на основании тех самых отживших традиций, которые именно и привели всех к нынешнему положению дел. При встрече с ораторством или диффамацией такого рода Белинский выходил из себя, а книга Гоголя «Переписка с друзьями» была

вся, как известно, проникнута духом недоверчивости и наглого презрения к современному движению умов, которое еще и плохо понимала. Вдобавок она могла служить и тормозом для возникавших тогда в России планов крестьянской реформы, о чем скажу ниже. Негодование, возбужденное ею у Белинского, долго жило в скрытном виде в его сердце, так как он не мог излить его вполне в печатной оценке произведения по условиям тогдашней цензуры, а потому, лишь представился ему случай к свободному слову, оно потекло огненной лавой гнева, упреков и обличений...[291]

Понятно, однако же, что с новым настроением Белинского волнения и схватки русских литературных кругов, в которых он еще недавно принимал такое живое участие, отошли на задний план. Он даже начинал смотреть и на всю собственную деятельность свою в прошлом, на всю изжитую им самим борьбу с литературными противниками, где так много потрачено было сил и здоровья на приобретение кажущихся побед и очень реальных страданий, как на эпизод, о котором не стоит вспоминать. Так выходило по крайней мере из его суровой, несправедливой оценки самого себя, которую в последние месяцы его существования не один я слышал от него. Белинский становился одиноким посреди собственной партии, несмотря на журнал, основанный во имя его, и первым симптомом выхода из ее рядов явилась у него утрата всех *старых антипатий,* за которые еще крепко держались его последователи как за средство сообщать вид стойкости и энергии своим убеждениям. Он до того удалился от кружкового настроения, что получил возможность быть справедливым и наконец упразднил в себе все закоренелые, почти обязательные ненависти, которые считались прежде и литературным и политическим долгом. Немногие из его окружающих поняли причины, побуждавшие его рассчитаться со своим прошлым, не оставляя позади себя никакого предмета злобы, а причина была ясна. В уме его созревали цели и планы для литературы, которые должны были изменить ее направление, оторвать от почвы, где она укоренилась, и вызвать врагов другой окраски и, конечно, другого, более решительного и опасного характера, чем все прежние враги, хотя и горячие, но уже обессиленные наполовину и безвредные...[292]

Я уже упомянул, какое странное впечатление произ-

вело на ближайших его сотрудников по журналу заявленное им сочувствие к той части славянофильских воззрений на народ, которая может быть принята каждым размышляющим человеком, к какой бы партии он ни принадлежал. Хуже еще было, когда Белинскому вздумалось похвалить, со всеми надлежащими оговорками, «Воспоминания Булгарина», тогда вышедшие, и заметить, что они любопытны по характеристике русских нравов в начале нынешнего столетия, системы тогдашнего публичного воспитания и вообще заведенных порядков жизни, которых автор был сам свидетелем и жертвой. Похвала Булгарину в устах Белинского, как ни была еще скромна сама по себе, показалась, однако же, такой чудовищной вещью журнальным соредакторам критика, что они напечатали статейку, уже переработав и переиначив ее до неузнаваемости, и тем вызвали укоризненное примечание последующего издателя сочинений Белинского, гласившее: «Статья эта, напечатанная по рукописи, — в «Современнике», — какая-то странная переделка»[293]. Редакция имела некоторое моральное право желать такой переделки. Во-первых, никто не был приготовлен к подобному нарушению всех традиций либеральной журналистики, связывавшей с некоторыми литературными именами множество вопросов, которые только *полемически* и могли быть поднимаемы в печати и которые давали этим именам значение символов, для всех понятных и не требовавших дальнейших разъяснений; а во-вторых, можно было думать, что Белинский не остановится на первом шаге в деле упразднения либеральных традиций своей партии, что грозило оставить в будущем саму партию без дела, круглой сиротой, не знающей, за что приняться. Многие из друзей уже относили к упадку умственных сил поворот, замечаемый в направлении Белинского, и выражали опасение, что он обратится на разрушение по частям тех начал, которые окрашивали так долго и ярко его собственную деятельность, причем новый журнал, конечно, терял один из крупных девизов своего знамени.

Опасения несбывшиеся, но они не вовсе взяты были с ветра. Белинский по временам обнаруживал мрачный взгляд на свою прошлую литературную жизнь. Помню, как однажды, после особенно мучительного дня кашля и уже укладываясь в постель, он вдруг заговорил тихим, полугрустным, но твердым тоном: «Нехорошо болеть,

еще хуже умирать, а болеть и умирать с мыслью, что ничего не останется после тебя на свете, — хуже всего. Что я сделал? Вот хотел докончить историю русской народной поэзии и литературы, да теперь и думать нечего. А может быть, кто-нибудь тогда и вспомнил бы обо мне, а что теперь? Знаю, что вы хотите сказать, — прибавил он, заметив у меня движение, — но ведь две-три статьи, в которых еще половина занята современными пустяками, уже и теперь никому не нужными, не составляют наследства. А все прочее понадобится разве историку нашей эпохи...» И так далее...

Я оставил его с тяжелым чувством на душе. Это сомнение в пользе целого жизненного труда имело для меня трагический смысл. И нельзя было приписать слова Белинского действию болезни: он, видимо, думал и прежде о том, что теперь высказал, — за речью его слышалось как бы долгое предварительное соображение. Выходило, что человек, пользующийся большой популярной известностью, обремененный, так сказать, сочувствиями целого поколения, им воспитанного, еще считает себя призраком в истории русской культуры и не убежден в достоинстве той монеты, на которую куплено его влияние и слава. Много было несправедливости к самому себе в этой оценке, но много заключалось в ней и новых возникших требований от литературного деятеля, а также много горя — и не одного личного.

Но интересы мысли и развития, на которые Белинский постоянно обращал свое внимание, всегда выводили его из всякого субъективного настроения, как бы оно ни было глубоко и искренно, — выводили на свет, к людям и делам их. Это случилось и теперь.

Тогда много шумела известная — теперь уже позабытая — книга Макса Стирнера «Der Einzige und sein Eigenthum» («Единичный человек и его достояние»)[294]. Сущность книги, если выразить ее наиболее кратким определением, заключалась в возвеличении и прославлении эгоизма как единственного оружия, каким частное лицо, притесняемое со всех сторон государственными распорядками, может и должно защищаться против материальной и нравственной эксплуатации, направленной на него узаконениями, обществом и государством вообще. Книга принадлежала к числу многочисленных тогдашних попыток подменить существующие основы политической жизни другими, лучшего изделия, и достигала, как

часто бывало с этими попытками, целей, совершенно противоположных тем, какие имела в виду. Возводя эгоизм на степень политической доблести, книга Стирнера устроивала, в сущности, дела плутократии (кстати, легкий каламбур, представляемый этим словом на русском языке, не раз и тогда употреблялся Белинским в разговоре). Ознакомившись с книгой Стирнера, Белинский принял близко к сердцу вопрос, который она поднимала и старалась разрешить. Оказалось, что тут был для него весьма важный нравственный вопрос.

«Пугаться одного слова «эгоизм», — говорил он, — было бы ребячеством. Доказано, что человек и чувствует, и мыслит, и действует неизменно по закону эгоистических побуждений, да других и иметь не может. Беда в том, что мистические учения опозорили это слово, дав ему значение прислужника всех низких страстей и инстинктов в человеке, а мы и привыкли уже понимать его в этом смысле. Слово было обесчещено понапрасну, так как, в сущности, обозначает вполне естественное, необходимое, а потому и законное явление, да еще и заключает в себе, как все необходимое и естественное, возможность морального вывода. А вот я вижу тут автора, который оставляет слову его позорное значение, данное мистиками, да только делает его при этом маяком, способным указывать путь человечеству, открывая во всех позорных мыслях, какие даются слову, еще новые качества его и новые его права на всеобщее уважение. Он просто делает со словом то же, что делали с ним и мистики, только с другого конца. Отсюда и выходит невообразимая путаница: я полагаю, например, что книга автора найдет восторженных ценителей в тех людях, одобрения которых он совсем не желал, и строгих критиков в тех, для которых книга написана. Нельзя серьезно говорить об эгоизме, не положив предварительно в основу его *моральный* принцип и не попытав затем изложить его теоретически как *моральное* начало, чем он, рано или поздно, непременно сделается...»

Я передаю здесь смысл речи Белинского в том порядке, как она запечатлелась в моей памяти, и, конечно, другими словами, а не теми самыми, какие он употреблял. Несколько раз, при разных случаях и в разное время, возвращался он опять к вопросу, который, видимо, занимал его. Не могло быть сомнения, что вопрос связывался с последним видоизменением долгой моральной

проповеди, которую Белинский вел всю свою жизнь и постепенное развитие которой было уже нами представлено. Заключительное слово этой проповеди настолько любопытно, что может оправдать попытку собрать его заметки, с помощью уцелевших в моей памяти отрывков, в одно целое, причем необходима оговорка, уже столько раз прежде делаемая, что изложение не дает ни малейшего понятия о пыле и красках, какие сообщал автор своему слову, ни о форме, в какую выливалась его речь.

«Грубый, животный эгоизм, — размышлял Белинский, — не может быть возведен не только в идеал существования, как бы хотел немецкий автор, но и в простое правило общежития. Это — разъединяющее, а не связующее начало в своем первобытном виде, и получает свойство живой и благодетельной силы только после тщательной обработки. Кто не согласится, что чувство эгоизма, управляющее всем живым миром на земле, есть так же точно источник всех ужасов, на ней происходивших, как и источник всего добра, которое она видела! Значит, если нельзя отделаться от этого чувства, если необходимо считаться с ним на всех пунктах вселенной, в политической, гражданской и частной жизни человека, то уже сама собой является обязанность осмыслить его и дать ему нравственное содержание. Точно то же было сделано для других таких же всесветных двигателей — любви, например, полового влечения, честолюбия, — и нет причины думать, что эгоизм менее способен преобразоваться в моральный принцип, чем равносильные ему другие природные побуждения, уже в него возведенные. А моральным принципом эгоизм сделается только тогда, когда каждая отдельная личность будет в состоянии присоединить к своим частным интересам и нуждам еще интересы посторонних, своей страны, целой цивилизации, смотреть на них как на одно и то же дело, посвящать им те самые заботы, которые вызываются у нее потребностью самосохранения, самозащиты и проч. Такое обобщение эгоизма и есть именно преобразование его в моральный принцип. Вот уже и теперь есть примеры в некоторых государствах таких передовых личностей, которые принимают оскорбление, нанесенное одному человеку на другом конце света, за личную обиду и обнаруживают настойчивость в преследовании незнакомого преступника, как будто дело идет о восстановлении собственной чести. И заметить надо, что при этом любовь, сочувствие, ува-

жение и вообще сердечные настроения не играют никакой роли — покровительство распространяется, в одинаковой мере, и на людей, часто презираемых от всей души защитниками и х , — на таких, которых последние никогда но допустят в свое общество, да, случается, не признают пользы и самого существования их на свете. Что это такое, как не эгоизм, превосходно воспитанный и достигший уже до чувствительности строгого нравственного начала. Но таких передовых личностей еще очень мало, и они остаются покамест исключениями. Французы обозначают словом *солидарность* эту способность сберегать самого себя в других и пытаются сделать из него научный термин, вводя понятие, которое оно выражает, в политическую экономию, как необходимый ее отдел. А что такое солидарность, как не тот же эгоизм, отшлифованный и освобожденный от всех частиц грубого материала, входившего в его состав. Говорят, что все старые и новые философы и проповедники тоже учили искони думать о ближнем более, чем о самом себе. Это правда, но они не столько учили, сколько *приказывали* верить своим словам, требуя жертв и не обещая никаких вознаграждений за послушание, кроме похвал совести — и успех этих приказаний был таков, как известно, что эгоизм живет и доселе повсеместно в самом сыром и нетронутом виде. О нас уже и говорить нечего. Несмотря на многовековые приказы быть чувствительными к страданиям ближнего, найдется ли у нас пяток человек, которые возмутились бы ударами, падающими не на их собственную кожу? Единственную крепкую и надежную узду на эгоизм выковывает человек сам на себя, как только доходит до высшего понимания своих интересов. Немецкий автор напрасно соболезнует о жертвах, какие требуются теперь от каждой отдельной личности государством и обществом, и напрасно старается защитить эту личность, проповедуя всеотрицающий эгоизм: настоящий эгоизм будет всегда приносить добровольно огромные жертвы тем силам, которые способствуют облагороживанию его природы, а это именно и составляет задачу всякой цивилизации. Государство и общество никакой другой цели, в сущности, и не имеют, кроме цели способствовать превращению *животного* эгоизма личности в чуткий, восприимчивый духовный инструмент, который сотрясается и приходит в движение при всяком веянии насилия и безобразия, откуда бы они ни приходили...»

Этот беглый, поверхностный очерк размышлений Белинского по поводу книги Стирнера показывает, что последняя моральная его проповедь уже основывалась на действии тех врожденных психических сил человека, которые впоследствии были подробно исследованы и получили название *альтруистических.* Белинский предупредил несколькими годами анализ психологов, но, конечно, не мог дать его в надлежащей чистоте и определенности, что, вероятно, помешало и изложению его взглядов в печати, где от них не находится никакого следа. Он уже боялся прямого, непосредственного философствования и не хотел к нему возвращаться после своих старых опытов на этом поприще *.

В тесной связи с настроением Белинского находится уже его призыв, обращенный к художественной русской литературе и беллетристике — принять за конечную цель своих трудов служение общественным интересам, ходатайство за низшие, обездоленные классы общества. Призыв находится в последней, предсмертной статье Белинского, написанной им по возвращении из-за границы и напечатанной в «Современнике» 1848: «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Обозрение это составляет как бы мост, перекинутый автором от своего поколения к другому — новому, приближение которого Белинский чувствовал уже и по задачам, какие стали возникать в умах. Не раз и в старое время Белинский высказывал те же мысли — о необходимости ввода в литературу мотивов общественного характера и значения как способа сообщить ей ту степень дельности и серьезности, с помощью которых она может еще расширить принадлежащую ей роль первостепенного агента культуры. Теперь критик уже наклонен был требовать от литературы исключительного занятия предметами социального значения и содержания и смотреть на них как на единственную ее цель. Разница в постановке вопроса была тут немаловажная, и объясняется она, кроме всего другого,

---

* Может быть, под влиянием вышеизложенных мыслей Белинский и получил представление о «Сикстинской мадонне», которую потом видел в Дрездене, как об ультрааристократическом типе. Он перевел ее *божественное* спокойствие, так опоэтизированное у нас В. А. Жуковским, на простое определение, по которому в лице ее выражается равнодушие к страданиям и нуждам низменного нашего мира или, другими словами, полное отсутствие альтруистических чувств. (*Примеч. П. В. Анненкова.*) [295]

еще и состоянием умов, новыми реформаторскими веяниями, обнаружившимися в обществе. Тогда именно крестьянский вопрос пытался впервые выйти у нас на свет из тайных пожеланий и секретного канцелярского его обсуждения: составлялись полуофициальные комитеты из благонамеренных лиц, считавшихся сторонниками эмансипации, принимались и поощрялись проекты лучшего разрешения вопроса, допускались, под покровительством министерства имуществ, экономические исследования, обнаружившие несостоятельность обязательного труда и проч. [296]. Все это движение, как известно, продержа¬лось недолго, обессиленное сначала тайным противодействием потревоженных интересов, прикрывшихся знаменем консерватизма, а затем окончательно смолкшее под вихрем 1848, налетевшим на него с берегов Сены, который опустошал преимущественно у нас зачатки благих предначертаний. Но до этой непредвиденной катастрофы, казалось, наступила благоприятная минута указать, что все истинно великие литературы древнего и нового мира никогда не имели других целей, кроме тех целей, какие поставляет себе и общество в стремлениях к лучшему умственному и материальному самоустройству. Это именно и сделал Белинский во «Взгляде на литературу 1847 года», причем если из речи, которую повел он тогда, устранить оценку произведений эпохи, не относящуюся прямо к вопросу, то речь эта может быть названа предтечей и первообразом всех последующих речей в том же духе и направлении, сказанных десять лет спустя, за исключением только одной черты ее, резко отделяющей и Белинского и его эпоху от наступившего за ними времени. Черта образовалась из особенного понимания самых условий искусства, хотя бы и с политической окраской.

С достоверностию можно сказать, что, когда Белинский писал свою статью, перед глазами его мелькали соображения отчасти и практического характера. Изящная литература могла пособить, так сказать, родам давно ожидаемой крестьянской реформы. Как ни упорно держались слухи о признанной необходимости ее в официальных кругах, никто не говорил о ней прямо в печати. Множество соображений мешали реформе спуститься на площадь и принять единственный путь, ведущий к осуществлению е е , — путь всенародных толков. Из этих мешающих соображений наиболее веское было следующее:

ни одно самое умеренное и сдержанное слово, ни одно самое хладнокровное и бесстрастное исследование, которые захотели бы говорить о поводах к изменению крепостничества, — этой коренной основы русской жизни, — не могли бы обойтись без характеристики темных сторон, ею порожденных и оправдывающих посягновения на ее существование и заведенные ею порядки. Избежать горькой необходимости — осуждать прошлые времена и вместе сохранить в целости идею реформы, их отрицающую, — вот что составляло трудную дилемму, на разрешение которой уходила бесплодно вся энергия нововводителей и которая постоянно держала их на почве осторожных внушений и намеков, не обязывающих к немедленному принятию решения. Литература романов, повестей, так называемая изящная литература вообще, могла сослужить при этом большую службу. Она не обязана была знать о существовании затруднений и опасений по делу реформенной пропаганды, а прямо и смело начать ее от своего имени. Обманывая глаза своим притворным равнодушием к политическим вопросам, занимаясь, по-видимому, самым ничтожным делом приискания тем и драматических сюжетов для развлечения публики, литература эта могла войти потаенной дверью в самую среду вопросов, изъятых из ее ведения, что уже и делала не раз. «Записки охотника», «Записки доктора Крупова», «Бедные люди» Достоевского, а наконец мелодраматический «Антон Горемыка» и «Деревня» уже показали, как произведения чистой фантазии становятся трактатами по психологии, этнографии и законодательству. Белинский думал, что пришло время для литературы взять на себя всю ту работу, которую другие деятели откладывали именно под предлогом безвременья, и произвести за них тот следственный процесс над старыми условиями русского существования, какой должен предшествовать окончательному их устранению и осуждению. Белинский вместе с тем становился и сторонником правительства, как это можно видеть и в многочисленных печатных его заявлениях от 1847 года. Нужда в таком содействии литературы, однако ж, скоро миновала, и, наоборот, вся ею уже заготовленная с этой целью работа признана была даже опасной[297]. Со всем тем остается вполне достоверным, что если бы движение продолжалось, литература приняла бы на себя все ненависти раздраженных интересов и эгоистических страстей, отдала бы себя на

проклятия и поругания и развязала бы другим руки только на светлое, благодатное и благодарное дело восстановления права и справедливости в стране.

Ясно, что как проповедь, так и все намерения Белинского в этом случае скорее можно назвать *консервативными* в обширном смысле слова, чем революционными, как прославляли их потом соединенные враги печати и реформ в строе русской жизни. Здесь кстати будет сказать вообще о прозвище «революционера и агитатора», какое получил Белинский у своих, ему современных, и у позднейших врагов, которым одинаково полезно было распространять эту репутацию[298]. Ни одно из его увлечений, ни один из его приговоров, ни в печати, ни в устной беседе, не дают права узнавать в нем, как того сильно хотели его ненавистники, — любителя страшных социальных переворотов, свирепого мечтателя, питающегося надеждами на крушение общества, в котором живет. Те вспышки Белинского, на которые указывали диффаматоры его для подтверждения своих слов, всегда были произведением ума и сердца, обиженных в своем нравственном существе, в своей *идеалистической* природе. Ими он только облегчал душевные страдания и мстил подчас за грубое прикосновение к какому-либо гуманному чувству своему; но одно недоразумение или одна злая подозрительность могли предполагать за всем этим еще жажду скорых расправ, внезапных потрясений и простора для личной мести. Никогда и мысленно не принимал он защиты тех разрушительных явлений, которые проходят иногда через историю и действуют в ней со слепотой стихийных сил, не имея под собой часто никаких моральных основ и составляя как бы страшную и вместе нелепую импровизацию жизни, раздраженной до последней степени несчастиями и страданиями. Не раз Белинский и сам признавался, когда заходила речь о таких эпохах, упоминаемых историей западных европейских народов, что в подобные времена он был бы совершенно ничтожным, растерянным человеком, годным единственно на то, чтобы умножить собою число жертв, обыкновенно оставляемых ими за собой. Все, что не носило на себе печати мысли, не имело интеллектуального характера и выражения, вселяло ему ужас. Белинский легко, быстро понимал всякую смелую идею и всякое смелое решение, состоящее в каком-либо, хотя бы и дальнем родстве с началами — и приходил в тупик перед роковыми *случай-*

ностями, так часто направляющими жизнь помимо человеческого предвидения. На них он никогда не рассчитывал и никогда не вводил их в круг своего созерцания. Оставаясь таким же идеалистом в понимании условий исторического прогресса, как и в своей жизни, он отличался неспособностию признать нужду лжи, даже когда она успокоивает колеблющиеся умы, чувствовал неодолимое отвращение потворствовать пустым людям и вздорным явлениям, если бы они даже и действовали в рядах его собственной партии. У Белинского не было первых, элементарных качеств революционера и агитатора, каким его хотели прославить, да и прославляют еще и теперь люди, ужасающиеся его честной откровенности и внутренней правды всех его убеждений; но взамен у него были все черты настоящего человека и представителя сороковых годов — и между этими чертами одна очень крупная, к которой теперь и перехожу.

Черта эта состояла, как уже было сказано, в особенном понимании искусства как важного элемента, устроивающего психическую сторону человеческой жизни и через нее развивающего в людях способность к восприятию и созданию идеальных представлений. Чертой этой Белинский резко разграничивал свою эпоху от последующей, с которой во всем другом имел множество точек соприкосновения. Разлагая и опровергая старый эстетический афоризм — искусство для искусства, переводя все задачи литературы на общественно-служебную почву, помещая искусство и фантазию в авангард, так сказать, доблестной армии волонтеров, сражающихся за великодушные идеи, что значило, по мысли критика, сражаться за хорошо понятые интересы каждого лица в государстве — Белинский хотел, чтобы войско это снабжено было и надежным оружием, а таким оружием для него он считал всегда поэзию и творчество. Он допускал и простое обличение зла, простое отрицание н*а*голо, но смотрел на них как на рукопашную схватку, которая в некоторых случаях может быть неизбежна, но которая одна никогда не решает дела и не одолевает врагов. Одолевает их или по крайней мере наносит им неисцелимые раны только творческий талант, так как один он может собрать миллионы безобразных случайностей, пробегающих через жизнь, в цельную поразительную картину, и один он способен выделить из тысячи лиц, более или менее возбуждающих наше негодование, полный тип, в

котором они все отразятся. Нет надобности повторять здесь то, что он говорил по этому поводу, но необходимо отметить и удержать в памяти основу его литературно-политической теории. Основой этой было коренное убеждение, что создание художнических типов указывает положительными и отрицательными сторонами своими дорогу, по которой идет развитие общества, и ту, по которой оно должно бы идти в будущем. Это убеждение оставило и ясные следы в статье критика "Взгляд на русскую литературу 1847», где его всякий и может найти *.

Я уже сказал, что эта статья была тем последним звеном в развитии одного периода нашей литературы, к которому примкнули и за которое цеплялись первые звенья нового, последующего ее направления. Перерыва тут не было, как его, кажется, не было ни в одну из эпох русской истории, но характеры явлений обозначались на первых порах значительными отступлениями и несходствами. Через 10 лет после смерти Белинского из его теорий изящного принято было учение об общественных целях искусства, а все добавочные положения к его учению оставлены были в стороне.

Новое поколение, уже успевшее пережить грозный промежуток времени с 1848—1856, принялось за дело исследования форм русской жизни, недостатков ее и отсталых порядков, как только оказалась возможность говорить людям о самих себе **. Наступил период обличений. Понятно, что поколение взялось за это дело с теми орудиями производства, какие состояли у него готовыми налицо, и не имело причины ожидать прибытия щегольского и тонкого оружия (les armes de luxe) искусства для начатия своей работы. С течением времени руки привыкли так к простым орудиям беллетристической фабри-

* Пусть читатель поверит эти слова в «Современнике» 1848, где статья явилась, или в «Собрании соч. Белинского», 1861, часть одиннадцатая, страницы 348—356 и 363—365. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** Как бы презрительно ни отзывалась потом критика о всем запасе мелких наблюдений, едких воспоминаний, горького опыта, накопившихся у нас в течение многих лет молчания и терпения и открывших наконец исход для себя под видом единственно нужного и возможного искусства, все-таки должно сказать, что эта литература обличений как выражение обиженного личного или народного чувства имеет еще смысл, которого пи один историк нашего общества не пропустит без внимания. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

кации, что многие, даже очень даровитые судьи дела стали уже сомневаться в пользе водворения более усовершенствованных инструментов производства, имевших еще и ту невыгоду, что не всякий умел с ними обращаться и заработывать ими свой хлеб. Надо было приучаться жить без творчества, изобретательности, поэзии — и это делалось при существовании и полной деятельности таких художников, как Островский, Гончаров, Достоевский, Писемский, Тургенев, Лев Толстой и Некрасов, которые продолжали напоминать о них публике всеми своими произведениями!

Критика пришла на помощь озадаченной публике. Известно, что, вслед за первыми проблесками оживившейся литературной деятельности, наступила у нас эпоха *регламентации* убеждений, мнений и направлений, спутавшихся в долгий период застоя. Русский литературный мир еще помнит, с какой энергией, с каким талантом и знанием целей своих производилась эта работа приведения идей и понятий в порядок и к одному знаменателю. На помощь к ней призваны были исторические и политические науки, философские и этические теории. Всем старым знаменам и лозунгам, под которыми люди привыкли собираться, противопоставлялись другие и новые, но при этом постоянно оказывалось, что всего менее поддавалось *регламентации* именно искусство, бывшее всегда, по самой природе своей, наименее послушным учеником теорий. Подчинить его и сделать верным слугой одного господствующего направления удавалось только строгим религиозным системам, да и то не вполне, так как нельзя было вполне победить его наклонности менять свои пути, развлекать внимание капризными ходами, смеяться над школой и выдумывать свои собственные решения вопросов. Оно составляло именно дисгармонический элемент в период, следовавший за Белинским. Оставить за ним привилегию существовать особняком, на всей своей воле, в то время, когда всем предлагался общий и обязательный труд в одном духе и за одним практическим делом, — значило рисковать встретить искусство поперек дороги и против себя. Строгая дисциплина критики для разбора и соответственной оценки тех из художников, которые приняли ее программу, и тех, которые ей не подчинились, — становилась необходимостию. Как ни строга была эта дисциплина, введенная критикой, но помешать обществу увлекаться неузаконенными образцами творчества

она не могла. Тогда и явилось решение отодвинуть искусство вообще на задний план, пояснить происхождение его законов и любимых приемов немощью мысли, еще не окрепшей до способности понимать и излагать прямо и просто смысл жизненных явлений. Круг занятий, снисходительно предоставленных чистому художеству, намечен был с необычайной скупостию. Ему предоставлялась именно передача мимолетных сердечных движений, капризов воображения, нервных ощущений, оттенков и красок физической природы — всего, что лежит вне науки и точного исследования. Все остальные претензии искусства на деятельную роль в развитии общества были устранены, серьезные темы изъяты из его ведения и разложены на соответствующие им отделы философии, научной критики, специальных исследований. Мыслящее общество тщательно ограждалось от влияния того самого агента, который успешнее всего приготовляет душу человека для принятия семян как гражданских, так и всяких других идеалов. По временам, конечно, еще возникали протесты против этой несправедливости к искусству и раздавались голоса, которые указывали на важность художнических литературных произведений в деле образования характеров, направления умов к нравственным целям, возвышения уровня мыслей, но они проходили бесследно. И по справедливости! Все эти попытки напомнить о действии идеального и изящного на сердца людей, на склад их представлений, а затем на все их крупные и мелкие поступки, уже и потому не могли иметь успеха, не принимая даже в соображение большую или меньшую диалектическую их слабость, что новому поколению необходимо было прежде всего довести дело свое до конца, выразить всю свою сущность, и затем уже оно могло оглянуться назад и дополнить себя всем тем, чего ему недоставало. Так именно с течением времени и случилось.

Казалось бы, что различное понимание вопросов об искусстве не должно было положить особенно яркой разграничивающей черты между двумя периодами развития, особенно когда во всем другом они имели такое множество точек соприкосновения. И однако ж, вопросов этих достаточно было, чтобы ослабить в значительной степени связи, их соединяющие, и дать каждому из них особое выражение и удалить их друг от друга на значительное расстояние. Это случилось потому, что между ними ока-

залась рознь не на теоретическом определении изящного, а оказалась разница в *миросозерцаниях.* Споры об искусстве, как и вообще о всех истинно великих вопросах науки и цивилизации, тем особенно и поучительны, что, какова бы ни была их относительная важность, под ними всегда кроется и течет невидимой струей то или другое миросозерцание. При этом следует сказать, что история происхождения различных созерцаний, отвечавших у нас в свое время задушевным стремлениям целых поколений, имеет права на полнейшее уважение наше, с какой бы личной точки зрения мы ни относились к ее содержанию.

После тридцати лет, протекших со смерти Белинского, можно уже ясно судить о миросозерцании его, не смущаясь притоком случайных настроений, которые окрашивали его иногда своим особенным, но скоро проходившим цветом. Созерцание Белинского все заключается в понимании жизни и цивилизации как сил, предназначенных на доставление человеку *полноты духовного* и *материального* существования. По количеству идей и представлений, способствующих осуществлению той полноты разумного бытия, какая носилась перед его глазами в форме идеала, он судил об относительном достоинстве и значении эпох, людей и произведений их. Утайка, пропуск, скрытие какого-либо из элементов, необходимых для достижения этой полноты, было ли то делом преднамеренности или последствием недосмотра, одинаково пробуждали его критическую чуткость. Он сам постоянно и добросовестно занимался разбором и определением настоящих и подложных психических и социальных деятелей, заявляющих претензию на удовлетворение всех нужд ума и развития. В оценке тех и других он мог быть иногда излишне нервен, распределять краски, под влиянием одушевления или негодования, не совсем равномерно, но документы, на которых основывалось его суждение, всегда были подлинные, скрепленные свидетельством истории, точными исследованиями науки об идеальных и реальных потребностях человеческой природы. Удовлетворение этих потребностей, без своевольных исключений, подсказываемых расчетами и нуждами разных теоретических построек, он и считал задачей цивилизации и призванием ее. Переходя от общего выражения к частным приложениям того же самого созерцания, надо сказать, что Белинский требовал уже от каждой идеи, от каждого образа, учения и литературного произ-

ведения вообще, которые представлялись его глазам, полноты содержания, упраздняющей самую возможность вопросов и дополнений. Но такие цельные явления искусства и мышления встречались редко, а большей частию приходилось иметь дело с созданиями, еще сильнее отличающимися количеством своих упущений, чем открытий в области выбранных ими тем. Собственно говоря, вся его литературная критика, как еще ни старалась закрыться дипломатическими оговорками и изворотами, к которым и Белинский прибегал по нужде времени, наравне со всеми другими, была, в сущности, не чем иным, как рядом восстановлений, реставраций и оправданий разных позабытых или искусственно принижаемых черт цивилизации, психических и культурных необходимостей личного и общественного существования. Работа эта вошла у Белинского в привычку мысли и — что особенно важно — весьма часто обращалась им и на самого себя, чем легко объясняются его неоднократные перемены точек зрения на предметы, столь удивлявшие и возмущавшие его врагов.

Известно, что художественные произведения как изящной, так и ученой литературы обладают качеством оставлять очень малую поживу искателям рассеянностей или недосмотров автора, исчерпывать свой предмет и представлять такую твердыню выводов и заключений, для разрушения которой, даже и в малейшей ее части, потребна почти такая же сила и способность, какие находились в обладании и у самого ее строителя. Вот за такими-то произведениями старого и нового мира, в переводах и оригиналах, Белинский проводил дни и ночи: они никогда не старелись для него, сколько бы он их ни перечитывал, никогда не могли договорить ему своего последнего слова. Как у аскетов другого порядка идей, у него была потребность каждодневного приближения к алтарю художнических произведений и углубления в таинства, на нем свершаемые. Постоянное обращение с великими образцами ученой и изящной литературы возвысило его дух на такую степень, что люди в его присутствии чувствовали себя лучше и свободнее от мелких помыслов, уходили от него с освеженным чувством и добрым воспоминанием, какого бы рода ни велась с ним беседа. Говоря фигурально, к нему всегда являлись несколько *по-праздничному,* в лучших нарядах, и моральной неряхой нельзя было перед ним показаться, не возбудив его негодования, горьких и горячих обличений.

Таков был человек, который первый указал русской литературе реальное направление, кажется, прежде, чем о нем вспомнила и Европа, а теперь призывал ту же литературу на политическую арену, на занятие вопросами гражданского, общественного характера. Что двигало этого эстетика по преимуществу? Конечно, прежде всего благородное сердце, искавшее средств пособить первым, неотложным нуждам развития, еще вовсе и не начавшегося для массы его соотечественников, и затем все то же искание полноты идеального и реального типа для жизни и мысли. Сзади этой предполагаемой литературной деятельности ему открывалось еще все громадное поле европейской цивилизации с его обработкой, с его приобретениями, сделанными в течение стольких веков! С него он и глаз не спускал. Ни одного из всех опытов — старых и новых, приложенных к нему, ни одного счастливого результата, ими уже *данного*, — не хотела бы лишиться эта страстная душа! Конечная цель всех его требований и указаний заключалась в том, чтоб выработать из русской жизни полного работника просвещения, чтобы наделить ее всеми теми силами и воспитательными началами, которые образовали в Европе лучших и надежных ее работников. Не нужно, кажется, прибавлять, что все эти дальновидные расчеты оказались на деле мечтой; но тот еще не будет в состоянии правильно судить об эпохе Белинского, кто не поймет и не признает, что все мечтания и фантазии подобного рода были в то время положительным и весьма серьезным делом.

Возвращаюсь к рассказу.

Приближалось время окончания лечебного курса и нашего отъезда из Зальцбрунна. Белинский чувствовал себя гораздо лучше, кашель уменьшился, ночи сделались покойнее — он уже поговаривал о скуке житья в захолустье. Почти накануне нашего выезда из Зальцбрунна в Париж я получил неожиданно письмо от Н. В. Гоголя, извещавшего, что изданная им «Переписка с друзьями» наделала ему много неприятностей, что он не ожидает от меня благоприятного отзыва о его книге, но все-таки желал бы знать настоящее мое мнение о ней как от человека, кажется, не страдающего заносчивостию и самообожанием. Это было первое письмо после того надменно-учительского, о котором говорено [299], и первое после короткой встречи нашей в Париже и Бамберге [300]. Оно довольно ясно обнаруживало в Гоголе желание если не уте-

шения и поддержки, то по крайней мере тихой беседы. В конце письма Гоголь неожиданно вспоминал о Белинском и кстати посылал ему дружеский поклон вместе с письмом прямо на его имя, в котором упрекал его за сердитый разбор «Переписки» во 2-м № «Современника». Это и вызвало то знаменитое письмо Белинского о его последнем направлении, какого Гоголь еще и не выслушивал доселе, несмотря на множество перьев, занимавшихся разоблачением недостатков «Переписки», попреками и бранью на ее автора. Когда я стал читать вслух письмо Гоголя, Белинский слушал его совершенно безучастно и рассеянно, но, пробежав строки Гоголя к нему самому, Белинский вспыхнул и промолвил: «А! он не понимает, за что люди на него *сердятся*, — надо растолковать ему это — я буду ему отвечать».

Он понял вызов Гоголя [301].

В тот же день небольшая комната, рядом с спальней Белинского, которая снабжена была диванчиком по одной стене и круглым столом перед ним, на котором мы свершали наши довольно скучные послеобеденные упражнения в пикет, превратилась в письменный кабинет. На круглом столе явилась чернильница, бумага, и Белинский принялся за письмо к Гоголю как за работу, и с тем же пылом, с каким производил свои срочные журнальные статьи в Петербурге. То была именно статья, но писанная под другим небом...

Три дня сряду Белинский уже не поднимался, возвращаясь с вод домой, в мезонин моей комнаты, а проходил прямо в свой импровизированный кабинет. Все это время он был молчалив и сосредоточен. Каждое утро после обязательной чашки кофе, ждавшей его в кабинете, он надевал летний сюртук, садился на диванчик и наклонялся к столу. Занятия длились до часового нашего обеда, после которого он не работал. Не покажется удивительным, что он употребил три утра на составление письма к Гоголю, если прибавить, что он часто отрывался от работы, сильно взволнованный ею, и отдыхал от нее, опрокинувшись на спинку дивана. Притом же и самый процесс составления был довольно сложен. Белинский набросал сперва письмо карандашом на разных клочках бумаги, затем переписал его четко и аккуратно набело, и потом снял еще с готового текста копию для себя. Видно, что он придавал большую важность делу, которым занимался, и как будто понимал, что составляет документ,

выходящий из рамки частной, интимной корреспонденции. Когда работа была кончена, он посадил меня перед круглым столом своим и прочел свое произведение.

Я испугался и тона и содержания этого ответа, и, конечно, не за Белинского, потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть; я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание[302]. В письме заключалось не одно только опровержение его мнений и взглядов: письмо обнаруживало пустоту и безобразие всех идеалов Гоголя, всех его понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования вместе с диким положением той среды, защитником которой он выступил. Я хотел объяснить Белинскому весь объем его страстной речи, но он знал это лучше меня, как оказалось. «А что же делать? — сказал *он*. — Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорблял меня в душе моей и в моей вере в него».

Письмо было послано, и затем уже ничего не оставалось делать в Зальцбрунне. Мы выехали в Дрезден, по направлению к Парижу.

Здесь, забегая вперед, скажу, что по прибытии в Париж Г<ерцен>, уже поджидавший нас, явился в отель Мишо[303], где мы остановились, и Белинский тотчас же рассказал ему о вызове, полученном им от Гоголя, и об ответе, который он ему послал. Затем он прочел ему черновое своего письма. Во все время чтения уже знакомого мне письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Г<ерцен> шмыгнул, чтобы сказать мне на ухо: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».

XXXVI

Нелюдимость Белинского, казалось, все еще увеличивалась за границей с течением времени, вместо того чтоб уменьшиться. Он утерял всякую охоту заводить связи, даже и минутные, с незнакомыми лицами; наоборот, чем долее шло время, тем он сильнее сосредоточивался в помыслах о семье, которая положительно заслоняла для

него всю заграничную обстановку. Исключение составляли двух-, трехлетние немецкие мальчишки — на тех он смотрел охотно, и не раз, указывая мне на какой-нибудь особенно выдающийся экземпляр, приговаривал глухо: «У меня точно такой же был дома». Словом, семья сделалась для него уголком, в котором он мысленно запирался тотчас же, как оказывалась возможность к тому. Всего любопытнее, что он желал оставить свет и окружающих людей в неведении насчет своего приюта, и когда заходила о нем речь, отзывался равнодушно, не скрывая только — чего уже нельзя было скрыть — страстной любви своей к детям.

Биографическая черта эта, кажется, стоит того, чтоб остановиться на ней. Белинский женился в 1843 году, уже тогда, когда романтический период его жизни миновал и когда он укрепился в мысли, что далее ждать нечего от судьбы и случая, что он предопределен не ведать сочувствия женского сердца как в силу своего внешнего, будто бы непривлекательного вида, так и в силу нравственных своих качеств, будто бы несимпатичных вообще для женской природы. Замечательно было, однако ж, то, что с самого 1838 года он не умолкал громить и преследовать одиночество, на которое, по-видимому, так решительно согласился. В его глазах и определениях строгое одиночество, если оно верно самому себе, составляло противоестественное, искусственное, а потому и безнравственное явление, из какого бы душевного настроения ни выходило. Исключения из правила, вроде художника Иванова и ему подобных, и он признавал, но думал, что и о них надо судить только по важности идеи, для которой ими принесена была жертва. Он и покинул собственную систему одиночества тотчас, как явился предлог к т о м у, — и покинул с неимоверной торопливостию, изумившей друзей. Тогда объясняли этот факт тем, что он встретил привязанность, которая наносила удар его скептическому пониманию самого себя, сохранившись через значительный промежуток времени. Неожиданность такого открытия была настолько сильна, что привела его к мысли переустроить весь свой быт. Как бы то ни было, он привел в исполнение свое решение при недоумевающих лицах друзей, предвидевших в этом поступке новые затруднения жизни для него. Женившись, Белинский не отказался, однако ж, от своих воззрений на *сродство душ* и *стремлений* как на единственный эле-

мент, узаконяющий брачное состояние, и сознавался, что в его собственном браке недоставало идеального повода и отсутствовало поэтическое настроение. Он высказывал это мнение, не стесняясь, и перед всеми громко и часто, и здесь нельзя не признать достоинство ответа, какой он получал на свои вспышки. Умно рассчитанное или уже врожденное по темпераменту хладнокровие наиболее заинтересованной в деле стороны позволяло свободно истекать этим протестациям и критическим обращениям на совершившийся факт: они ни на волос не мешали другой стороне вести семейное дело в одном духе, стойко, спокойно, правильно. Под конец, с наступившим упадком физических сил, обнаружилась на Белинском та непреоборимая, громадная нивелирующая мощь *моногамического* общежительства, которая побеждает все порывы, мечтания и фантазии человека. Белинский видел уже в домашнем очаге своем как бы целящую силу для больного сердца и в руке, которая спокойно ему служила, как бы руку, удерживающую его на свете.

Первым благом жизни становилась теперь для него та заботливая тишина, то чуткое молчание домашнего быта, которые позволяли ему думать свои пламенные думы про себя, болеть сердцем без помехи. Раздел горьких мыслей и ощущений часто бывает подстрекательством к ним, а в последнем он уже более не нуждался. Он нуждался в другом, а именно в отдаленном, но симпатическом наблюдении за своей кончавшейся жизнью. Семья Белинского умела организовать такое наблюдение, которое не давало себя чувствовать, и не спрашивала у него никогда об истории болезни, не добивалась признаний и исповеди, не заставляла рассказывать страданий. Она приучила его к существованию, упрощенному до возможной степени и приноровленному столько же к состоянию его мысли, сколько и к физическому его состоянию. Понятно после того, что обычные спутники всякого путешествия, как то: многолюдство, пестрота жизни, назойливость внешних явлений, напрашивающихся на внимание, уже казались ему нестерпимыми, так как составляли новую лишнюю прибавку в психическом его мире, какой он вовсе не хотел. Вот почему он и писал длинные письма из-за границы, часто украдкой, не к друзьям в Петербург, а к жене и женщине, которая, по его же мнению, не в силах была войти в круг идей, несколько отличных от тех, к каким привыкла; поэтому также этот поэт в душе, воспитанный

на чтении и изучении художников, но уже усталый, не видел ни памятников культуры, ни самодельного творчества природы на своем пути и стоял перед ними часто немой, рассеянный, видимо поглощенный совсем другой и чуждой им мыслию.

Особенное отвращение испытывал Белинский к внезапным беседам, которые так часто завязываются на дорогах с незнакомыми людьми; отвращение это иногда разрешалось довольно комическими эффектами. На пути к Дрездену прыгнул в наш вагон с одной станции какой-то очень вертлявый и, по-видимому, весьма добродушный поляк. Услыхав русский говор, он обратился к соседу, которым, по несчастию, был Белинский, и начал с ним следующую короткую беседу, передаваемую буквально: «Вы русский?» — «Русский». — «Прямо из России?» — «Совершенно прямо». — «И, конечно, хорошо говорите по-французски?» — «Совсем не говорю». — «Значит, только по-немецки?» — «И по-немецки тоже не умею». — «Стало быть, — приставал неугомонный поляк и уже с печальным видом, — вы только по-русски говорите?» — «Немножко, и то неохотно», — отвечал Белинский, откидываясь в угол кареты. Надо было видеть выражение изумления на лице вопрошавшего: я не мог удержаться от смеха и перевел беседу уже на себя, начиная ее опять с начала...

В Дрездене мы остановились на неделю. Белинский заказывал белье и большей частью лежал на диване своей комнаты с книгой в руке. Он равнодушно гулял по берегу Эльбы, осматривал безучастно город, зашел и в Grüne-Gewölbe, которая своими дорогими детскими игрушками и сокровищами пробудила его внимание, с тем чтобы привести его почти в негодование, и наконец раза два побывал в картинной галерее. Здесь, по принятому обыкновению туристов, он также садился перед «Сикстинской мадонной», но вынес впечатление, совершенно противное тому, какое они обыкновенно испытывают при этом и затем описывают. Он первый, кажется, не пришел в восторг от ее небесного спокойствия и равнодушия, а, напротив, ужаснулся ему, что было также косвенным признанием гениальности мастера, создавшего этот тип[304]. В Дрезденской же галерее испытывал он и другое эстетическое горе: он наткнулся там на маленький chef-d'oeuvre Рубенса — «Суд Париса», в котором роль Венеры и обнаженных ее соперниц играли три фла-

мандские красавицы, снятые с натуры с поразительной верностью и реализмом. Белинский, привыкший понимать Венер и греческих женщин как осуществление идеальной красоты на земле, очутился тут перед тремя нагими матронами, пышущими здоровьем, упитанными и тучными, как огороды и сады их отечества, будущими матерями здоровых бургомистров и фабрикантов. Живописный реализм возбудил отвращение у поклонника реализма литературного. Он не мог помириться с картиной, как ни указывали ему на изумительный колорит ее, на жизненность этих тел, от которых, кажется, еще веяло теплом, как и от бархатных, парчовых одеяний утрехтского изделия, только что ими покинутых, на гармонию, рельефность всех ее частей, — Белинский стоял в недоумении и продолжал называть Рубенса поэтом мясников. Только несколько позднее, когда указали ему, в большой гравюре, на другую картину того же мастера «Торжество Вакха», на этот пир, в котором все фигуры, начиная с опьяневшего тигра до последней вакханки, охвачены столько же хмелем виноградных гроздий, сколько и безграничной радостью молодой жизни, открывшей возможность наслаждения на земле, Белинский пришел в изумление от силы рисунка, смелости мотивов, от идеи, доведенной до высшей степени ее пафоса и выражения. Когда заметили ему, что картина принадлежит той же руке, которая произвела и «Суд Париса», Белинский добродушно заметил: «Ну, значит, я наврал, да с меня нечего взять — я ведь олух в этих делах».

С недоразумениями подобного рода мне приходилось встречаться не раз и потом, и слышать, например от Г<ерцена>, остроумные выходки против манеры католических живописцев помещать святых на облаках в *сидячем положении,* низводить ангелов на землю и заставлять их играть на арфах, лютнях и скрипках и проч. и проч. Все это казалось крайне ненатуральным и чудовищным тем самым людям, которые в литературных произведениях нисколько не возмущались, когда встречали описания снов, тайных разговоров влюбленных, мимолетных психических ощущений, что все должно бы оставаться, по-настоящему, секретом и для авторов, которые сами не могли ничего подобного ни подглядеть, ни подслушать. То кажется несомненным, что для понимания как литературных, так и пластических созданий необходимо свыкнуться с их обычными приемами, помириться

с нелогичностью некоторых из них и признать в них авторитетную силу для своей мысли. Но подчиненность такого рода особенно противна, когда она является не в виде навыка, полученного с незапамятного времени, а требуется прежде всего от человека как начало премудрости, без которого нечего и приступать к суждению о предметах искусства. Может быть, это обстоятельство именно и подсказало оригинальное решение Белинскому, когда, прибыв в Кельн, он не пожелал видеть знаменитой абсиды его собора, тогда еще не достроенного. Он мимоходом взглянул на нее снаружи, уже проездом на станцию железной дороги, и только сказал: «Обширное помещение, нечего сказать, для католической идеи, которая там должна была проживать».

Париж оказался уже не под силу Белинскому. С первых же дней лихорадочное движение толпы, днем и ночью шумящие и ослепляющие кафе и магазины, суета и говор, восстающие с раннего утра, и толки, перекрестным огнем раздающиеся со всех сторон, утомили его скорее, чем я ожидал. Проехав по улицам и площадям Парижа, побывав несколько (немного) раз в его операх и театрах, он почувствовал почти тотчас же необходимость скрыться куда-нибудь от этого неумолкающего праздника. Он нашел два приюта: за письменным столом в своей комнате, на котором писал много и долго к жене, во-первых, и в семье Г<ерцена>, где М. Ф. К<орш> и хозяйка окружали его попечениями и успевали разглаживать морщины, наведенные усталостью от зрелища мятущихся людей, целей и намерений которых угадать нельзя.

Впечатление, произведенное на него Парижем, было вообще, так сказать, удивленно-грустное. «Все *в нем*, — говорил *Белинский*, — должно принимать громадные размеры: алчность, разврат и легкомыслие, так же точно как и разработка идей и знаний, и благородные порывы, и стремления, да разобраться в этом омуте и узнать, чего в нем *больше*, — дело очень трудное». Он не раз спрашивал у друзей, в самом ли деле необходимы для цивилизации такие громадные, умопомрачающие центры населения, как Париж, Лондон, и др.

Конечно, окружающие Белинского поспешили открыть ему те источники, которыми питается движение Парижа, так много удивившее *его*, — именно музеи, лекции, сходки и проч. Белинский следовал покорно за своими вожатаями, но, видимо, смотрел на это как на ис-

полнение долга, как на нечто схожее с праздничными *визитами* по начальству. Не трудно было подметить его благодарный взгляд всякий раз, когда его освобождали от этого своего рода спешного наглядного обучения и заменяли его сокращенным изложением того или другого любопытного явления в литературе, науке или жизни. Всего более интересовался он вопросом, какого результата в будущем следует ожидать от всех этих начинании, к каким положительным выводам можно прийти относительно дальнейшего развития цивилизации уже и теперь, на основании существующих данных, — словом, как велика сумма общечеловеческих надежд, носимых в себе всей этой видимой культурой? Ответов получено было много и большею частью самых благоприятных для грядущих поколений, за исключением только мнения Г<ерцена> по этому предмету, которое особенной веры в силу современных людей и их способности к прогрессу не обнаруживало. Белинский оставался, таким образом, между двумя противоположными суждениями о предмете, который его занимал. Не считая самого себя достаточно подготовленным для разрешения вопроса собственной мыслью, он покинул Париж с неясным представлением дела, которое делал город. Да и кто мог тогда ясно видеть, чт*о* готовится в нем, или предсказать, чт*о* несет ему ближайший наступающий день истории?

Вообще насколько становился Белинский снисходительнее к русскому миру, настолько строже и взыскательнее относился к заграничному. С ним случилось то, что потом не раз повторялось со многими из наших самых рьяных западников, когда они делались туристами: они чувствовали себя как бы обманутыми Европой, смотрели на нее с упреком, как будто она не сдержала тех обещаний, какие надавала им втихомолку. Это обычное явление объясняется довольно просто. Сухая, деловая, часто ограниченная и невежественная и всегда мелочная плутоватая толпа новых людей первая встречала за границей путешественников и, случалось, довольно долго держала их в среде своей, прежде чем они переходили к явлениям и порядкам высшего строя жизни. Но тогда они уже расположены были требовать у последних отчета за всю виденную прежде пошлость и возлагать на эти явления ответственность за все то безобразное и ничтожное, которое не было уничтожено их влиянием. Белинский не избег общей участи путешественников.

Под впечатлением скучного процесса своего лечения и особенно под впечатлением зрелища громадной людской массы, не имеющей и предчувствия тех идей и начал, которые возвещались миру от ее имени, Белинский давал мрачный отчет о заграничном своем житье-бытье друзьям в Москве — и напугал их [305]. Им показалось, что он может вернуться домой скептиком по отношению к европейской культуре вообще и в дальнейшей своей деятельности, даже нехотя и против своей воли, способствовать при таком настроении распространению надменных взглядов на западную цивилизацию, уже существующих в русском обществе. Опасения свои они сообщили и самому Белинскому. Один из них — В. П. Боткин — писал:

«Москва. 19 июля 1847. Сегодня получил твое письмо из Дрездена, милый мой Виссарион... Понимаю твое отвращение от Германии, Белинский, — очень понимаю, хоть и не разделяю его. Я не могу жить в Германии, потому что немецкая общественность не соответствует ни моим убеждениям, ни моим симпатиям, потому что нравы ее грубы, что в ней мало такта действительности и реальности и так далее, но я не изрекаю ей такого приговора, как ты, и относительно дурных и хороших сторон народов придерживаюсь несколько эклектизма. Понимаю твою скуку; я и здоровый захворал бы от скуки, проведя полтора месяца в Германии, а ты еще провел их в Силезии, в Сальцбрунне! Париж, я надеюсь, постоит за себя. Но зачем тебе видеть там одних только *конституционных подлецов*? Там есть много такого, что посущественнее и поинтереснее их. Политические очки не всегда показывают вещи в настоящем свете, особенно если эти очки сделаны из принятых заочно доктрин. Часто и доморощенные доктрины заставляют городить вздор (что доказывает книга Луи Блана; с твоим умным мнением о нем совершенно согласен), а беда, если наш брат приезжает в страну с заранее вычитанною доктриною... Получа твое письмо, я тотчас побежал поделиться им с Коршем и сегодня пошлю его к Грановскому... Ты получил письмо от Гоголя? По рассказам, это письмо показывает, что Гоголь потерял наконец смысл к самым простым вещам и делам... Сейчас получаю твое ко мне письмо обратно от Грановского; он недоволен им и боится, чтобы ты с твоей теперешней точки зрения на Германию и Францию не стал бы писать о них, воротясь в Россию. В самом деле, это было бы большим торжеством для на-

ших невежд и мерзавцев. О цензурных обстоятельствах, надеюсь, тебе сообщил уже Некрасов, и ты, конечно, уже знаешь, что теперь Ж. Занд не будет читаться на русском языке...» и т. д. [306].

Не трудно было окружающим Белинского, к которым московские друзья тоже обращались с запросами о нравственном его состоянии, разъяснить, что в основании всех его нареканий на заграничную жизнь лежит совсем не враждебное Европе чувство, а скорее чувство нежное к ней, раздосадованное только тем именно, что должно сдерживать, ограничивать себя и подавлять свои порывы.

Настроение, однако же, не прошло у Белинского бесследно.

О мозговом раздражении русской либеральной колонии, с ее заботами об устроении для себя наилучшего умственного комфорта, причем, конечно, не могли быть забыты ею и эффектные подробности из современных открытий, уже и говорить нечего. Белинский не обратил на колонию никакого внимания, как на дело, известное ему по опыту и у себя дома *.

Мы слышали, что позднее и уже находясь в Петербурге, Белинский принял известие о революции 48 года в Париже почти с ужасом [307]. Она показалась ему неожиданностию, оскорбительной для репутации тех умов, которые занимались изучением общественного положения Франции и не видели ее приближения. Горько пенял он на своих парижских друзей, даже и не заикнувшихся перед ним о возможности близкого политического переворота, который, как оказалось, и был настоящим делом эпохи. Этот недостаток предвиденья, по мнению Белинского, превращал людей или в рабов, или в беззащитные жертвы одного внешнего случая. Упреки были справедливы, но надо сказать, что окончательная форма переворота была неожиданностию и для тех, кто его устроил.

Жена Г<ерцена>, по инстинкту женского сердца, поняла, между прочим, Белинского, заехавшего в Париж, лучше и скорее всех других. Она собрала маленькую и хорошо подобранную коллекцию «образовательных»

---

* К польскому вопросу Белинский всегда относился только с *гуманной* точки зрения, находя, что жертвы истории и собственных грехов могут возбуждать глубокое сострадание, как вообще и все угасшие национальности прежних эпох. — Политической стороны польского вопроса он никогда не касался и постоянно обходил его с равнодушием. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

игрушек, уже существовавших тогда в Париже, хотя и без систематизации их, и подарила ее дочери Белинского. Между подарками были зоологические альбомы с великолепными рисунками животных всех поясов земли, которыми Белинский не уставал восхищаться. Он мечтал о воспитании дочери на естествознании и точных науках. Между прочим, он в это время нашел игрушку и для самого себя. Фланируя по улицам, он наткнулся в одном магазине готовых платьев на изумительно пестрый халат с огромными красными разводами по белому фуляровому полю и влюбился в него. Халат был именно той *выставочной* вещью, которую магазины нарочно заказывают с целью огорошить проходящего и остановить его перед своими зеркальными стеклами. Белинский почувствовал род влечения к этому предмету, долго колебался и наконец купил его, серьезно растолковывая нам, что предмет совершенно необходим ему для утренних работ в Петербурге. Подробность заслуживает упоминовения потому, что этот несчастный халат наделал потом много хлопот ему и мне.

По мере того как приближалось время к отъезду Белинского в Россию, о чем он уже стал мечтать чуть ли не со дня своего появления в Париже, возникал вопрос о способах удобнейшего отправления его на родину, так как предоставить Белинского самому себе в этом деле не было возможности по малой его опытности и неспособности беседовать на иностранных диалектах. Решение вопроса было уже принято, когда представилась возможность дать Белинскому благонадежного сопутника и вместе оказать услугу честному старику, занимавшему важную в Париже должность portier — привратнику в нашем доме. Старика, очень строгого к *простым* жильцам, которые поздно возвращались домой, и привязавшегося к русским своим пансионерам как-то страстно и безотчетно, звали Фредерик. Он был родом немец из Саксонии, свершил поход 12 года в Россию с армией Наполеона, попал в ординарцы к губернатору Москвы маршалу Даву, что и помогло ему возвратиться целым и невредимым в Париж, где он и поселился. Он охотно, особенно под хмельком, рассказывал об ужасах, какие он видел на пути в Россию и из России и в Москве. Вместе с тем он сгорал желанием побывать на родине (где-то около Лейпцига), которой не видал уже более 35 лет, и когда я предложил ему, под условием сперва довезти

моего приятеля до Берлина, посетить на наш счет свой фатерланд и затем возвратиться назад к месту, которое покамест будет блюсти его супруга (толстая и величественная баба), старик как-то присел, положил обе руки между колен и, легко подпрыгивая, мог только несколько раз промычать: «Oui, monsieur! Ah, monsieur!..» Для Белинского нашелся надежный проводник, говоривший по-немецки и по-французски и готовый беречь его особу и особенно его кошелек, как честь знамени или пароль, полученный от своего шефа.

В Париж пришел также и ответ Гоголя на письмо Белинского из Зальцбрунна[308]. Грустно замечал в нем Гоголь, что опять повторилась старая русская история, по которой одно неосновательное убеждение или слепое увлечение непременно вызывает с противной стороны другое, еще более рискованное и преувеличенное, посылал своему критику желание душевного спокойствия и восстановления сил и разбавлял все это мыслями о серьезности века, занимающегося идеей полнейшего построения жизни, какого еще и не было прежде. Что он подразумевал под этим построением, письмо не высказывало и вообще не отличалось ясностью изложения. Белинский не питал злобы и ненависти лично к автору «Переписки», прочел с участием его письмо и заметил только: «Какая запутанная речь; да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту».

День отъезда из Парижа, после предварительного совещания с друзьями, был назначен окончательно[309]. Накануне его, вечером, Белинский посидел еще раз на любимом своем месте, на мраморных ступеньках террасы, окружающей площадь Согласия, de la Concorde, задумчиво смотря на луксорский обелиск посреди площади, на Тюльери, выступавший фасадом и куполом из каштанового сада своего, на мост через Сену и Бурбонский дворец за ним, обратившийся в палату депутатов, и вспоминая страшные сцепы и драмы, некогда разыгрывавшиеся в этих местах. Поздно ночью, после прощания у Г<ерцена>, возвратились мы домой. Все было там уложено и приготовлено с помощью Фредерика, и на другой день в 5 часов утра мы были уже на ногах, а в половине 6-го — и в карете, которая должна была доставить нас на дебаркадер дальней северной железной дороги. Уже подъезжая к ней и за какие-нибудь четверть часа до

отхода самого поезда, мне вздумалось спросить Белинского: «Захватили ли вы халат?» Бедный путешественник вздрогнул и глухим голосом произнес: «Забыл, он остался в вашей комнате, на диване». — «Ну, — отвечал я, — беда небольшая, я вам перешлю его в Берлин». Но упустить халат из рук показалось Белинскому невыносимым горем. Надо было видеть ту печальную мину и слышать тот умоляющий голос, с которыми он сказал мне: «Нельзя ли теперь?» Отказать ему не было возможности без уничтоженья в его уме всех приятных впечатлений вояжа. Я призвал на помощь русское авось, остановил карету и послал Фредерика скакать в первом попавшемся фиакре домой что есть мочи, подобрать халат и застать нас еще на станции. Простее было бы отложить поездку до завтра, но мной завладел тоже некоторого рода азарт и желание одолеть помеху во что бы то ни стало. Русское авось, однако же, изменило на этот раз. Я едва успел взять билет для Белинского, распорядиться с его багажом, как пробил третий звонок, а Фредерика не было. Известно, что на французских дорогах царствует или царствовал военный распорядок, так что под криками и командами кондукторов мне всегда казалось, что я скорее на бастионе крепости, чем на мирном дебаркадере железной дороги. На этот раз командующие бастионом были еще суровее обыкновенного. В растворенную дверь настежь по третьему звонку гнали они теперь толпу пассажиров на террасу с таким неистовством, что можно было подумать, нет ли у нас сзади неприятельской артиллерии и казаков: «Allez, passez, dépechez-vous!» * Я шепнул Белинскому, чтоб оставил адрес свой в Брюсселе на станции и ждал там Фредерика; затем его втиснули в толпу, из которой он вылетел на террасу, но меня, как не имеющего билета, уже не пустили туда: права провожать своих знакомых и родных граждане Парижа тогда не имели, да, кажется, и теперь не имеют. Что происходило затем с Белинским на террасе, он описал мне потом из Брюсселя. Измученный, надорванный шумом, суетой, толчками, он остановился с билетом в руках на террасе, тяжело дыша и не зная, куда направиться. Тут усмотрел его один из бешеных кондукторов, рыскавших на террасе, заметил билет и с восклицанием:

---

* Проходите! торопитесь! (*фр.*).

«Mais que faites vous là, sacrebleu?» * — потащил его за руку и бросил в первый попавшийся вагон поезда, который уже тронулся. Так он и доехал до Брюсселя, но на пути повстречался с новым происшествием. Бельгийская таможня, раскрыв его чемодан, увидала коллекцию игрушек, подлежащую пошлине, и потребовала от него определения ценности этого добра. Вместо ответа, Белинский стал объяснять, как умел, что ценности вещей не знает, так как это подарок одной прекрасной дамы в Париже и т. д., а наконец и вовсе замолчал. Надо отдать справедливость таможенному чиновнику: посмотрев на немого и сконфуженного человека, который стоял перед ним, он прозрел, что имеет дело не с контрабандистом и, захлопнув чемодан, не взял никакой пошлины. Белинский изъяснял иначе великодушие чиновника, и довольно уморительным образом: «Догадавшись, что я глуп до святости, — писал он, — он сжалился надо мной и оставил меня в покое»[310]. На другой день Фредерик, чуть не плакавший от неудачи, повез ему в Брюссель знаменитый халат, легко отыскал там многострадального путешественника, благополучно препроводил его в Берлин, где и сдал с рук на руки Д. М. Щепкину, молодому, рано умершему и замечательному ученому по археологии и мифологии. В Петербург Белинский явился, к изумлению и радости своих знакомых, гораздо свежее и бодрее, чем выехал из него, но радость их была непродолжительна...

---

* Но что вы тут делаете, черт возьми? (*фр.*).

МОЛОДОСТЬ И. С. ТУРГЕНЕВА 1840—1856

«Мир праху твоему!» — так обыкновенно кончаются поминальные речи над усопшими, выражая тем пожелания живущих предать забвению все, что могло бы сколько-нибудь затемнить нравственный облик покойника. Но такое трогательное восклицание пригодно только для лиц, никогда не выходивших из толпы; для всех других оно звучит довольно странно, потому что со смертью их тотчас же начинается разбор их деятельности, их заслуг перед обществом и завершается указанием и перечетом тех препон, на какие они могли наткнуться в самом обществе. Только личности низших порядков жизни и представлений могут надеяться на «мир своему праху», но люди, носящие большое имя, должны ожидать, что с их кончиной и загорится критическая буря и возникнет спор, который потребует многих лет для своего разрешения. К удивлению, почти ничего подобного не случилось ни перед похоронами Тургенева, ни после них. Гроб его, засыпанный цветами, пришедшими с разных сторон, торжественно шел до могилы, не встречая помех и протестов. Старая историческая злоба, кой-где еще встречающаяся в обществе, против чествования независимого труда, таланта, знания, притаилась на время. Взамен редко приходилось кому-либо встретить такое согласие передовых людей Европы с русскими воззрениями на поэта, как при оценке его значения и влияния. Для судей всех национальностей это был «сказочник», столь же почетный, как и герой, прославившийся на бранном поле, как дипломат, победивший своих противников, как любой человек, высоко стоящий на ступенях иерархической лестницы. Что же такое нашлось у этого «сказочника», чтобы извратить обыкновенный ход человеческих дел и

наградить его, на другой день кончины, единодушными благословениями своих и чужих людей?..

То было произведение совокупного дела художнических его разоблачений, науки жизни, им проповедываемой, и обаяния его личности *. Покойный романист наш успел — к половине долгой жизни — привести нравственную природу свою в такое соответствие с благородством писательских своих помыслов и творчества вообще, что они составили вместе один образ, возбуждавший умиление и привязанность образованного мира. Приведем несколько примеров, ограничиваясь фактами заграничной его жизни. Тотчас же по переводе его рассказа «Живые мощи», Ж. Занд писала ему: «Maître! Nous devons aller tous à votre école» **[1]. «Странно и дико, — прибавлял Тургенев, сообщая по секрету этот отзыв знаменитого романиста, — но все-таки приятно выслушать такое мнение». Вообще он никак не соглашался принять титул представителя эпического творчества в Европе, какой немецкие и французские друзья его готовы были предложить ему, и почти разделял мнение «Allgemeine Zeitung» (тогда еще Аугсбургской), которая ядовито и насмешливо говорила о поклонении немцев «московской» эстетике. Успех своих рассказов он постоянно объяснял новостью предметов, им затрогиваемых, и тем, что в них своя и чужестранная публика встретили еще не ожидаемые и не подозреваемые ими начала морали и своеобычной кра-

---

* В только что изданной переписке Густава Флобера с Ж. Занд («Nouvelle Revue», dec. 1883) очень часто упоминается имя Тургенева; еще в 1866 году Г. Флобер писал: «J'ai diné avant-hier et hier avec Tourgueneff. Cet homme-là a une si belle puissance d'images, même dans la conversation, qu'il m'a montre G. Sand, accoudée sur un balcon dans le château de m-me Viardot, à Rosay. Il y avait sous la tourelle un fossé, dans le fossé un bateau et Tourgueneff, assis sur le banc de cette barque vous regardait d'en bas, le soleil couchant frappait sur vos cheveux noirs». <Позавчера и вчера я обедал с Тургеневым. Этот человек обладает таким изобразительным даром, даже в разговоре, что он нарисовал портрет Ж. Занд, облокотившейся на балкон замка м-м Виардо в Розе. Под башней был ров, во рву лодка, и Тургенев, сидя на скамье этой лодки, глядел на вас снизу вверх. Заходящее солнце играло на ваших черных волосах (*фр.*).> В другом месте он восклицает: «Vous ai-je dit que j'avais eu la visite de Tourgueneff? Comme vous l'aimeriez!» <Я говорил вам, что Тургенев нанес мне визит? Как бы вы полюбили его! (*фр.*).> (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** Метр! Мы все должны пойти в ученье к вам (*фр.*).

соты. Скромность его в этом отношении выдержала искушения, перед которыми мог бы потерять голову менее твердый человек. Напрасно большинство знаменитостей европейского мира слали ему одна за другой свои приветы. Карлейль утверждал, что более трогательного рассказа, чем «Муму», ему еще не приходилось читать; старый Гизо выразил желание познакомиться с автором «Дневника лишнего человека» — психического этюда, по его мнению, раскрывающего неведомые глубины человеческой души; молодой и торжествующий тогда Гамбетта приглашал его на парламентские завтраки и толковал о делах родины своего гостя. Известно, что Тэн в своей «Истории революции» сослался однажды на те же «Живые мощи» как на образец воспроизведения истины народного понимания жизни; не менее известно также и то, что Ламартин при описании своей встречи с Тургеневым достиг такого пафоса, который близко стоял к комизму [2]. Не говорим уже об отзывах прямых друзей нашего поэта — Флобера, Додэ, Зола, Мопассана и Ренана: они знакомы русской публике. Ничто не могло поколебать убеждения Тургенева в скромной роли, какая выпала на его долю в отечестве, даже и тогда, когда немецкий критик Юлиан Шмидт, разбирая «Дым», вопрошал его автора: «Чем же вы объясните после вашего пессимизма политическое величие своей родины и появление в ней таких людей, как Пушкин и вы сами?» Его не сбило с толку даже и нарождение в Германии идеалистов, вроде благородного Пича (Pietsch), недавнего переводчика комедии «Нахлебник» [3], который сделал задачей своей жизни распространение его произведений в своем отечестве и извещал Тургенева всякий раз, как приобретал для него нового надежного поклонника или новую поклонницу. Осторожность нашего романиста поистине была очень ценного свойства, если вспомнить еще, что мы не перечислили и десятой доли тех оваций, которых он служил предметом за границей.

Между тем И. С. Тургенев подвигался к величавому спокойствию старости и занял видное место перед тремя мирами — романским, германским и русским, которых знал одинаково хорошо, — тоже очень осторожно, как бы ожидая всегда протеста против самоуправства. Прежде чем утвердиться на своем посту, ему необходимо было

покончить почти со всеми чертами молодости, отделаться от множества привычек, полученных в начале своей карьеры, найти другой способ сноситься с людьми, чем тот, которому он следовал доселе. Молодость Тургенева была далеко не бурная, но распущенная, и постепенное собирание ее, приведение в порядок и в подчиненные отношения к какому-либо правилу жизни составляет поучительную историю, которую мы и собираемся напомнить здесь читателям.

I

За два года до его приезда из первого путешествия за границу (1840 год) с целью образования[4] — о нем были уже слухи в Москве и Петербурге. Знали, что он находился при отъезде своем в 1838 году на том самом пароходе, который сгорел у мекленбургских берегов, что он вместе с другими искал спасения на лодках, перевозивших пассажиров на малогостеприимную землю этой германской окраины. Рассказывали тогда, со слов свидетелей общего бедствия, что он потерял голову от страха, волновался через меру на пароходе, взывал к любимой матери и извещал товарищей несчастия, что он богатый сын вдовы, хотя их было двое у нее, и должен быть для нее сохранен[5]. Слухам этим верили, так как он был крайне молод в то время (двадцати лет). Даже и позднее Грановский, заставший его в Берлине, рассказывал еще, что он находил его с приставленным к нему крепостным дядькой за очень невинным занятием — игрой в карточные солдатики, которых они поочередно опрокидывали друг у друга. При появлении его в России ожидали встретить доморощенного барчонка, по которому немецкое образование прошло, обделав его наружно и не тронув внутреннего содержания, и нашли полного студента-бурша, замечательно развитого, но с презрением к окружающему миру, с заносчивым словом и романтическим преувеличением кой-каких ощущений и малого своего опыта. Люди Москвы и Петербурга должны были привыкать к нему, и отзывы их поражают на первых порах печальным единодушием. Образец гуманности, Николай Владимирович Станкевич, хорошо знавший Тургенева в Берлине, предостерегал своих приятелей в Москве не судить о нем по первому впечатлению[6]. Он согла-

шался, что Тургенев неловок, мешковат физически и психически, часто досаден, но он подметил в нем признаки ума и даровитости, которые способны обновлять людей. Герцен был проще, неумолимее и несправедливее. Он познакомился с ним в Петербурге (1840), перед второй ссылкой своей и через посредство Белинского. Отзыв его может быть выражен в немногих словах: пускай, мол, Белинский занимается книгами и книжонками и не вмешивается в оценку людей — тут он ничего не смыслит *[7]. Дело в том, что и к Герцену, как ко всем другим, Тургенев явился с непомерным доверием к самому себе, которое позволяло ему высказывать в виде несомненных истин всякие измышления, приходящие в голову. Качество это заслоняло покамест все таившееся в глубине его души и составлявшее впоследствии прелесть его бесед с окружающими.

Удивительно, что он только малой частию был виноват в упреках, которые ему делали. Богато наделенный природою даром фантазии, воображения, вымысла, он по молодости лет не умел с ними справиться и позволил им сделаться своими врагами, вместо того чтобы держать их в качестве своих слуг. Едва возникали в течение разговора представление или образ, как можно было видеть Тургенева, предъявляющего на них права хозяина, овладевающего ими, становящегося в центре рассказа и притягивающего все его нити к самому себе. При первом намеке на какую-либо тему в уме его возникала масса аналогических примеров, которыми он и подменивал главный возникший вопрос. Большая часть его слушателей — а у него их всегда было много — позабывали дело, с которого начиналась речь, и отдавались удовольствию слушать волшебную сказку, любоваться развитием непродуманного, бессознательного творчества, удерживая при этом наиболее смелые, яркие и поразительные черты фантастической работы. Было что-то наивно-детское, ребячески-прелестное в образе человека, так полно отдававшего себя в ежедневное безусловное обладание мечты и выдумки, но в конце концов из такого воззрения на Тургенева возникло общее мнение о нем как о человеке, никогда не имеющем в своем распоряжении искреннего

---

* Места эти не попали в опубликованную переписку обоих авторов. По отсутствию материалов нельзя восстановить их дословно и теперь. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

слова и чувства и делающегося занимательным и интересным только с той минуты, когда выходит заведомо из истины и реального мира. Никто, конечно, не смешивал его с Хлестаковым, простейшим типом лжи, только что созданным тогда, который употребляет ложь как средство обмануть себя и других относительно своей ничтожности. Поэтическая ложь Тургенева обнаруживала большие сведения и часто касалась таких вопросов, которые были даже неизвестны многим из ожесточенных его критиков. Цели юного Тургенева были ясны: они имели в виду произведение *литературного эффекта* и достижение репутации *оригинальности.* В этом заключается и ключ к их правильному пониманию.

Самым позорным состоянием, в какое может попасть смертный, считал он в то время то состояние, когда человек походит на других. Он спасался от этой *страшной* участи, навязывая себе невозможные качества и особенности, даже пороки, лишь бы только они способствовали к его отличию от окружающих. Он усвоивал своей физиономии черты, не вязавшиеся с ее добродушным, почти нежным выражением. Конечно, он никого не обманывал надолго, да и сам позабывал скоро черты, которые себе приписывал. Случалось, что он изумлялся собственным словам и относил их к клевете, когда их повторяли перед ним по прошествии некоторого времени. Так он называл клеветой свое заявление, будто перед великими произведениями искусства, живописи, скульптуры, музыки он чувствует зуд под коленами и ощущает, как икры его ног обращаются в треугольники, — однако же заявление было сделано. Конечно, не стоило бы и упоминать об этой шутке, если бы из массы подобных шуток и преувеличений не слагался в публике образ молодого Тургенева, который держался гораздо долее, чем было нужно, и существовал даже и тогда, когда оригинал уже нисколько не походил на то, что о нем думали.

Замечательно, что в произведениях той эпохи, большею частию стихотворных отрывках, Тургенев не обнаруживал ни малейших признаков фальши. Они писались им добросовестно и поражают доселе выражением искреннего чувства и той внутренней правдой мысли и ощущения, которой он научился у Пушкина. Тургенев начал рано свою писательскую карьеру; если не считать драму «Стено», написанную им еще на студенческой

скамье (он кончил курс в Петербургском университете в 1837 году) и рецензию на книгу Ан. Муравьева «Путешествие по святым местам русским», в старом «Современнике» Плетнева, 1838 года [8], где напечатано было и первое стихотворное его произведение «Старый дуб», то придется указать на «Отечественные записки», на страницах которых с 1841 по 1846 год помещено множество его стихотворных пьес за подписью Т. Л., которые представляли инициалы соединенных фамилий его отца и матери — Тургенев-Лутовинов. Затем он перешел в новый «Современник» Панаева и Некрасова, в издании которого принимал, как увидим, горячее участие и продолжал в нем печатать свои стихотворения с 1847 года вплоть до 1850 года. Все эти произведения носят несомненные признаки таланта и уже возвещали недюжинного писателя, который только ждал благоприятной минуты, чтобы высказать все свое содержание. Минута не заставила себя ждать. Из всех ранних его созданий замечены были публикой только два, вышедшие отдельно: «Параша», стихотворная повесть 1843 года, и «Разговор» — тоже в стихах, 1845 года. Мастерской рассказ далеко не затейливого происшествия в «Параше» и свободное, ироническое отношение к действующим ее лицам имели так много свежести и молодого здорового чувства, что обратили на себя общее внимание. Между прочим, «Параша» представила случай Белинскому высказать свою проницательность. «Что мне за дело до промахов и излишеств Тургенева, — говаривал он, — Тургенев написал «Парашу»: пустые люди таких вещей не пишут» [9]. Что касается до «Разговора», то дидактический, поучительный тон его подсказан был Тургеневу учением, которому он служил тогда горячим, хотя и не очень последовательным адептом, будто чистое творчество достигло с Пушкиным такого совершенства на Руси и такого повсеместного распространения, что ему предстоит потесниться немного и дать дорогу произведениям мыслящей способности, философско-политического созерцания. Тема встретила, однако же, горячую оппозицию в московской журналистике [10], но начавшаяся полемика прекратилась, когда через два года по напечатании «Разговора» явилась первая глава из «Записок охотника» («Хорь и Калиныч») в «Современнике» Панаева 1847 года и показала писателя нашего опять в новом свете, упрочив за ним почетное и славное имя в литературе, которое уже не могло быть забрасы-

ваемо грязью при помощи слухов или под предлогом критики[11].

Во всяком случае Тургенев нуждался тогда в литературе, почерпая в ней средства для своего существования. С самого начала сороковых годов он уже находился в ссоре с своей матерью, богатой и капризной помещицей Орловской губернии, которая, лишив содержания, предоставила его самому себе. Вплоть до конца его искуса, когда умерла мать (Варвара Петровна Тургенева скончалась в ноябре 1850 года), Тургенев представлял из себя какое-то подобие гордого нищего, хотя и сознававшегося в затруднительности своего положения, но никогда не показывавшего приятелям границ, до которых доходили его лишения. Гонимый нуждою и исполняя настоятельные требования матери, он по прибытии в Россию определился на службу в канцелярию министра внутренних дел[12], где попал под начальство известного этнографа В. Даля. Он пробыл тут не долго, потому что начальник его принадлежал к числу *прямолинейных* особ, которые требуют строгой аккуратности в исполнении обязанностей и уважения не только к своим служебным требованиям, но и к своим капризам... Тургенев невзлюбил начальника — собрата по ремеслу писателя — и скоро вышел в отставку, возвращаясь к старой скудости и к старому исканию эффектов и оригинальности. Чего он тогда не приносил в жертву этому Молоху? Он осмеивал тихие и искренние привязанности, к которым иногда сам приходил искать отдыха и успокоения, глумился над простыми сердечными верованиями, начало и развитие которых, однако же, тщательно разыскивал, примеривал к себе множество ролей и покидал их с отвращением, убедясь, что они казались всем не делом, а *гениальничанием* и скоро забывались. К этому же времени относится и его сближение с семьей артистки Виардо, — он был ей представлен в 1845 году и нашел у нее сына директора театров, Степана Гедеонова, который по музыкальному и художественному вообще образованию и по серьезной эрудиции был достойный ему соперник. Может статься, чувство соперничества определило и довольно резкий тон критической статьи, написанной Тургеневым в 1846 году по поводу драмы С. Гедеонова «Смерть Ляпунова»[13]. Но у него были еще в запасе и даровые, беспричинные, совсем не преднамеренные оскорбления, такие, какие мо-

жет наносить шутя только *всемирный ребенок,* Weltkind[14], не обязанный помнить свои обязательства и заниматься тем, что говорит. Он часто ходил тогда на охоту, и раз, возвратившись с отъезжего поля, хвалился количеством побитой им птицы, а в подтверждение своих слов приглашал слушателей отобедать у него на другой день. Слушатели поверили и чудной охоте и приглашению. На другой день они поднялись в четвертый этаж громадного дома на Стремянной улице, где жил Тургенев (между ними были и грудные больные, с трудом одолевшие его лестницу), и долго стояли перед запертой дверью его квартиры, — до тех пор, пока вышедший человек не известил их как об отсутствии хозяина, так и всяких приготовлений к приему гостей. Тургенев долго смеялся потом, когда ему рассказывали о недоумении и ропоте обманутых гостей, но извинений никому не приносил: все это казалось ему в порядке вещей, и он удерживал за собой право играть доверием людей, не чувствуя, по-видимому, никакой вины на своей совести за проделки подобного рода. Он даже не очень долюбливал тех осторожных господ, которые защищали себя от увлекательности его речи, не доверяли наивному убеждению, с каким он относился к своим иллюзиям, и трезво берегли до конца свое суждение. Он называл их кожаными чемоданами, набитыми сеном, но, однако, сдерживал перед ними свои увлечения. Особенный зуб имел он против существовавших у нас литературных кружков и выразил даже в печати свое осуждение их нетерпимости друг к другу и узкости их воззрений. Но причины его негодования на кружки, с корифеями которых он был на дружеской ноге, а с одним из таких кружков (так называемым западническим) разделял и тогда и после основы его учения, следует также искать и в личных отношениях. Кружки эти имели свои правила поведения, свои доктрины жизни, более или менее строгие, за исполнением которых тщательно следили. Нападая на кружки, Тургенев защищал еще свое право стоять особняком от господствующих течений в обществе, не подчиняться деспотизму принятых условий существования ни в каком их виде и оградить себя от разного вмешательства посторонней силы в дела своей души, в свободное, независимое цветение своей мысли и фантазии.

II

То же самое делал он и по отношению к своей матери. Замечательно, что настоящие и лучшие качества сердца обнаруживались у него с наибольшей силой в деревне или в семье. Всякий раз, как он отрывался от Петербурга, от его искушений и того возбуждающего чувства, которое распространяет большой центр населения, Тургенев успокоивался. Не перед кем было блестеть тогда, но для кого было изобретать сцены и думать о театральной постановке их. Деревня играла в его жизни ту самую роль, которую потом исполняли частые его отлучки за границу, — она с точностью определяла, что он должен думать и делать. Питая врожденное отвращение к насилию, получив от природы ненависть к попранию человеческих прав, которое тогда встречалось чуть ли не ежедневно, Тургенев мстил господству крепостничества в нравах и понятиях тем, что объявлял себя противником, без разбора, всех коренных, так называемых, основ русского быта. Он потешался благоговейными отношениями Москвы к некоторым излюбленным quasi-началам русской истории, но такой дальний, бесполезный протест был уже не у места в помещичьей деревне. Тут он беспрестанно наталкивался на конкретные случаи произвола и беззакония, которые затрагивали его душу и требовали, если не скорой помощи, часто и невозможной, то участия и понимания страданий.

Варвара Петровна Тургенева, мать его, обладала в одной Орловской губернии состоянием, равным, по тогдашнему счету, силе 5000 душ крепостных работников. Это была женщина далеко недюжинная и по-своему образованная: она говорила большею частью и вела свой дневник по-французски. Воспитание, которое она дала обоим сыновьям, показывает, что она понимала цену образования, но понимала очень своеобразно. Ей казалось, что знакомство с литературами Европы и сближение с передовыми людьми всех стран не может изменить коренных понятий русского дворянина, и притом таких, какие господствовали в ее семействе из рода в род. Она изумилась, увидав разрушение, произведенное университетским образованием в одном из ее сыновей, который полагал за честь и долг отрицание именно тех коренных начал, какие казались ей непоколебимыми. При врожденном властолюбии вспыльчивость и быстрота решений разви-

лись у нее от противоречий. Она не могла простить своим детям, что они не обменивали полученного ими воспитания на успехи в обществе, на служебные отличия, на житейские выгоды разных видов, в чем тогда и заключались для многих цели образования. Так как наш Тургенев не изменял ни своего образа мыслей, ни своего поведения в угоду ей, то между ними воцарился непримиримый, сознательный, постоянный разлад, чему еще способствовали и подробности ее управления имением. Как женщина развитая, она не унижалась до личных расправ, но подверженная гонениям и оскорблениям в молодости, озлобившим ее характер, она была совсем не прочь от домашних радикальных мер исправления непокорных или нелюбимых ею подвластных. Сама она, по изобретательности и дальновидному расчету злобы, была гораздо опаснее, чем ненавидимые фавориты ее, исполнявшие ее повеления. Никто не мог равняться с нею в искусстве оскорблять, унижать, сделать несчастным человека, сохраняя приличие, спокойствие и свое достоинство. Она не затруднилась произнести смертный приговор несчастной собачонке своего дворника Герасима, зная, что приговором своим наносит смертельную рану сердцу ее хозяина. И что же? Одно появление Тургенева в деревне водворяло тишину, вселяло уверенность в наступлении спокойной годины существования, облегчало всем жизнь — и это несмотря на его натянутые отношения к матери и в силу только нравственного его влияния, которому подчинялась даже и необузданная, уверенная в себе власть. Приводим здесь в подтверждение наших слов выдержки из письма В. Н. Шитовой, которая воспитывалась в доме Тургеневой и видела с малолетства все, что происходило в нем. Свидетельство ее тем ценнее, что написано с одушевлением, которое дает отчасти понятие о впечатлении, порождаемом каждым наездом нашего поэта в деревню или в московский дом между их обитателями.

«Как себя помню, так помню свое и всеобщее, в доме матери, обожание к нему. Редко он бывал у нас; но когда его ждали, все крестились, все радовались: «Наш ангел едет! Теперь у нас все будет хорошо, теперь *ничего* не будет!» Вот что слышалось со всех сторон. И действительно, велика была сила его кротости и доброты. Она все побеждала, все укрощала... Около него ничто лживое и злое не имело места. Настолько обаятелен он был, на-

столько сам хорош, что его нравственная, так сказать, красота разливалась на все окружающее его. Да, его доброты боялись! Читала я отзыв Рольстона о «Муму». Не то бы я сказала. Я воочию присутствовала при всей этой драме, я была единственная, допущенная в каморку Герасима, я ласкала, я кормила Муму, когда мне удавалось ускользнуть от зорких глаз приставленных ко мне француженок и англичанок, — и часто, очень часто дитятей прогуливалась на могучих руках Герасима... Я 18 лет даю уроки. Проходя историю русской литературы с моими ученицами, я сама читаю образцовые сочинения. Могу читать самые драматические места, но последних страниц «Муму» никогда не могла дочитать громко: меня всегда душили слезы. И прежде и теперь последовательно затем мысли переносятся к тому нашему освободителю, который дал нам 19 февраля и избавил навеки нашу родину от того гнета, при котором наш простолюдин не смел ни любить, ни чувствовать...» Октябрь 1883.

Красноречивые строки хорошо передают то, чем сделался Тургенев для своего села Спасского, доставшегося ему по наследству и после раздела с братом; но уже недалеко было время, когда он сделается любимцем не только своих спасовцев, как называл жителей деревни, но и любимцем читающей России вообще и русских женщин в особенности. Произошло это вскоре после кончины Варвары Петровны Тургеневой и после известного его ареста в 1852 году, сообщившего большую популярность его имени. Круг его знакомства еще не раздвигался до тех огромных размеров, как впоследствии, и литературная деятельность еще не имела за себя голоса всей Европы. На виду стояли «Записки охотника», а за ними теплились малыми, мелькающими огоньками повести, где уже сказывались первые проблески воззрений Тургенева на русскую женщину как на представительницу нравственной силы в обществе. Гораздо позднее заметили, что между этими повестями есть маленькие шедевры, вроде «Дневника лишнего человека». Современникам его трудно было усмотреть также, что он в течение десяти лет занимался обработкой одного и того же типа — благородного, но неумелого человека, начиная с 1846 года, когда написаны были «Три портрета», и вплоть до «Рудина», появившегося в 1856 году, где самый образ такого человека нашел полное свое воплощение. С Рудиным кончает-

ся и молодость Ивана Сергеевича — ему было уже 38 лет. Никому и в голову не приходило тогда заниматься разбором теории, весьма важной в биографическом отношении и в силу которой русская жизнь распадалась на два элемента — мужественную, очаровательную по любви и простоте женщину и очень развитого, но запутанного и слабого по природе своей мужчину. В авторе этой теории всего более интересовало мастерство кисти, приемы творчества, верные картины жизни, а разоблачающий внутренний смысл его творений закрывался для многих яркой мозаикой внешних его похождений между людьми.

Тогда было в моде некоторого рода предательство, состоявшее в том, что за глаза выставлялись карикатурные изображения привычек людей и способов их выражаться, что возбуждало смех и доставляло успех рассказу. Тургенев был большой мастер на такого рода представления. Никто не сердился на это злоупотребление, никто не думал о прекращении связей вследствие дошедших слухов о совершенной над ним диффамации — напротив, все старались платить тою же монетой авторам карикатур, что и объясняет большое количество анекдотов, остающихся от этой эпохи. Надо прибавить, что ко всем своим качествам изобретательности, наблюдательности и вдумчивости в явления Тургенев присоединял еще в значительной доле едкое остроумие и эпиграмматическую способность. Он давал им ход с той же неразборчивостью и с тем же обилием мотивов, как и всему, что выходило от него. Он составлял весьма забавные эпиграммы на выдающихся людей своего времени, не стесняясь их репутацией и серьезностью задач, которые они преследовали и которым сам сочувствовал. Не удерживали его и дружеские отношения. Все это, конечно, не способствовало к уменьшению неблагосклонного говора, раздававшегося вокруг его имени, но слух о меткости его эпиграмматических заметок, имевших пошиб народных поговорок, был так распространен, что В. П. Боткин вздумал однажды записывать его речи и привел свой план в исполнение. Затерянная книжка эта где-нибудь должна существовать, но она утратила свой интерес после того, как сам Тургенев прекратил свою юмористическую деятельность и оставил в сыром виде старые попытки и проявления ее.

Весьма ошибся бы тот, кто на основании здесь сказанного пришел бы к заключению, что Тургенев обма-

нывал свою публику и, пока она приглядывалась к нему, отдавал пороки ее и недостатки на общее посмеяние. Такое коварство не вязалось с добротой сердца, отражавшейся на всем, что он делал, и с его недоверием к себе, с весьма невысоким мнением о своих качествах и способностях. Он нуждался в помощи и благорасположении, а не в вызове и посрамлении кого-либо. Только с течением времени и возрастанием успеха приобретает он более правдивый, твердый, уверенный взгляд на самого себя. Вначале он брался за все с намерением ото всего отступиться, смотря по обстоятельствам. Если он силился походить на Манфреда [15] или Дон-Жуана, то, конечно, это был застенчивый Манфред или стыдливый Дон-Жуан, готовый всегда убежать от затеянного им дела. Его сравнивали с Ювеналом в некоторых случаях его жизни, особенно за памфлетическую сторону таланта, как в «Дыме», например; но если присмотреться ближе, то легко можно распознать, что он не питал никакого отвращения к жертвам своих сатир, а биографические сведения показывают, что ядовитое жало свое он обращал прежде всего на самого себя. Довольно упомянуть о той жажде осуждения, критики своих произведений, которой он страдал всю свою молодость и которая обратилась у него почти в болезнь. Он радовался всякому разбору своих произведений, выслушивал его с покорностью школьника, обнаруживая и готовность исправления. Одного замечания о неуместности сравнения Хоря и Калиныча с Гете и Шиллером, допущенного им, достаточно было, чтобы сравнение осталось только на страницах «Современника» 1847, где впервые явилось, и не перешло в следующие издания [16]. Вообще говоря, нельзя было никогда угадать, куда увлечет его голова, работающая в различных направлениях, но можно было указать, зная его прямое сердце, место, где он остановится. Было что-то женственное в этом сочетании решимости и осторожности, смелости и расчета, одновременной готовности на почин и на раскаяние, сообщавшее прелесть его меняющемуся существованию.

Никто не замечал меланхолического оттенка в жизни Тургенева, а между тем он был несчастным человеком в собственных глазах: ему недоставало женской любви и привязанности, которых он искал с ранних пор. Недаром повторял он замечание, что общество мужчин, без присутствия доброй и умной женщины, походит на тяже-

лый обоз с немазаными колесами, который раздирает уши нестерпимым, однообразным своим скрипом. Призыв и поиски идеальной женщины помогли ему создать тот Олимп, который он населил благороднейшими женскими существами, великими в своей простоте и в своих стремлениях. Пока требовательная критика разбирала, после Рудина, человека с большими претензиями и ничтожной волей, перенося на все поколение сороковых годов презрение, которое возбуждал в ней этот тип, Тургенев уже сделался идолом прекрасной половины человеческого рода. Любовь эта сопровождала его до могилы, но то была любовь платоническая. Сам он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею: он мог только измучить ее. Для торжества при столкновениях страсти ему недоставало наглости, безумства, ослепления. В одной из чудных повестей своих, «Первая любовь», он рассказывает ужас, наведенный на него ударом хлыста, которым раздраженный любовник отвечал своей возлюбленной, побеждая ее волю и своенравие. С тех пор ужас от дикого поступка, казалось, и не проходил у Тургенева и одолевал его, когда требовалась решимость выбора. Он не отвечал ни на одну из симпатий, которые шли ему навстречу, за исключением разве трогательных связей его с О. А. Т<ургеневой> в 1854 году [17], но и она длилась недолго и кончилась, как кончаются минутные вспышки, капризы и причуды, на которые он разменял свирепое одушевление истинной страсти, то есть мирным разрывом и поэтическим воспоминанием о прожитом времени.

Немаловажную роль в его жизни играл другой афоризм, который он тоже любил повторять: «Только с теми людьми и жить можно, которые все видят и понимают — и умеют молчать». Чуткий ко всему, что происходило в обществе, он спускался в отдаленные края его и выводил оттуда людей, замеченных им по серьезности своего образа мыслей и по характеру, рассчитывая на их скромность и привязанность, потому что сочувствие и преданность людей были ему необходимы, как воздух для существования. После 1850 года гостиная его сделалась сборным местом для людей из всех классов общества. Тут встречались герои светских салонов, привлеченные его репутацией возникающего *модного* писателя, корифеи литературы, готовившие себя в вожаков общественного мнения, знаменитые артисты и актрисы, состоявшие под

неотразимым эффектом его красивой фигуры и высокого понимания искусства, наконец, ученые, приходившие послушать умные разговоры светских людей. Высокопоставленные особы тогда еще не посещали его приемной: это явилось уже с началом нового царствования. Между всеми его гостями не редкость была найти людей без имени, никому не известных и отличавшихся своей сдержанностью. Тургенев дорожил ими столько же по крайней мере, сколько и теми, которые носили громкие имена в литературе и обществе. Беседа его с бойкими и развитыми людьми своего общества не стоила ему большого труда. С его образованием и находчивым умом, с его речью, исполненною того, что французы называют point (искрой), он легко приводил слушателей в восторг. Ввиду потребностей легкой эрудиции, столь необходимой для успеха в обществе, у него был недюжинный запас положительного знания и помощь справочных книг: так, в это время ему служила настольной книгой многотомная «Biographie universelle». В разговоре с отысканными им и выведенными в свет людьми все было, наоборот, просто. Он говорил с ними о том, что они знали и чем интересовались, и внимательно прислушивался к их мнениям, которые нигде более не мог встретить. Он обладал одним замечательным качеством: за ним ничего не пропадало. Он никогда не оставался в долгу ни за какое дело, ни за оказанное расположение, ни за наслаждение, доставленное ему произведением, ни за простую потеху, почерпнутую в той или другой форме. Все это он помнил хорошо и так или иначе, рано или поздно находил случай отыскать и отблагодарить по-своему человека за интеллектуальную услугу, полученную от него когда-то. Сколько имен просятся под перо в подтверждение факта — имен мужского и женского пола. Конечно, он мог и ошибаться в своих приговорах. Пишущий эти строки случайно натолкнулся на одну из оригинальных сцен в его квартире. Однажды ему довелось прийти к Тургеневу довольно рано утром. В кабинете его сидел критик Аполлон Григорьев, мыслитель и всегдашний энтузиаст, сказавший про Тургенева слово, которое долго оставалось в памяти автора «Дворянского гнезда»: «Вы *ненужный более* продолжатель традиций Пушкина в нашем обществе». Едва А. Григорьев завидел меня в дверях кабинета, как вскочил с дивана, где сидел, и, указывая мне на своего соседа, молодого морского офицера очень скром-

ной и приличной наружности, торжественным и зычным голосом воскликнул: «На колени! Становитесь на колени! Вы находитесь в присутствии гения!» Молодой офицер был поэт Случевский, никому тогда не известный. Он покраснел и не знал, что делать от смущения. Поднявшийся Тургенев тоже проговорил: «Да, батюшка, это будущий великий писатель»[18]. Пошли расспросы — оказалось, что они только что выслушали произведения Случевского и приведены ими были в восторженное состояние, которое — увы! — не разделили ни критики, ни общественное мнение, когда те же самые произведения предоставлены были их суду. Почетные, смеем сказать, ошибки Тургенева в оценке новых талантов происходили от его горячности служить им и приводили иногда к комическим результатам. Нельзя не рассказать здесь анекдота, слышанного от В. П. Боткина. Известно, что ничто так не возбуждало и не оскорбляло Боткина, как превознесение человека без достаточных оснований. Он уже наслышался о необычайном таланте г. Л<еонтье>ва, которого Тургенев провозгласил рассказчиком вне сравнения и ставил далеко выше себя, принижаясь, по обыкновению, без меры для того, чтобы увеличить рост соперника. Достав одно из произведений г. Л<еонтье>ва и прочитав его внимательно, Боткин дождался панегириста и с документом в руке, усадив его за стол, требовал, чтобы он показал, где тут сила и гениальность. Разбор его до того был резок и привязчив, что Тургенев не выдержал и убежал в сад, «где и принялся сочинять на меня эпиграмму», прибавлял Боткин. Эпиграмма вышла действительно забавная. Пародируя пушкинского «Анчара», Тургенев предоставил роль *древа яда* самому Боткину, умерщвляющему все живое кругом себя: «Па<нае>в сдуру налетит и, корчась в муках, погибает» и проч. Мы уже не говорим о том, что кошелек Тургенева был открыт для всех, кто прибегал к нему. Пересчитать людей, материально ему обязанных, почти и невозможно за их многочисленностью. Ему случалось вменять себе в заслугу отказ в помощи слишком назойливому человеку, но были и такие друзья, которые принимали и это заявление за обычное хвастовство его. Денежное пособие было, однако же, низшим видом его благотворительности: он являлся с услугой, когда нужно было поднять дух пациента, разбудить его волю, внушить доверенность к себе. Между прочим, он подарил первое издание «Записок

охотника» в 1852 году Н. Х. Кетчеру, которому оно досталось не без труда, потому что сопровождалось увольнением цензора, допустившего книгу в обращение, и вопросом о ее конфискации [19]. Кстати, это напоминает нам, что и администрация и публика одинаково смотрели тогда на сочинение Тургенева как на проповедь освобождения крестьян. Графиня Растопчина (урожденная Сушкова), получив книгу, заметила перед Чаадаевым: «Voilà un livre incendiaire». — «Потрудитесь перевести фразу по-русски, — отвечал Чаадаев, — так как мы говорим о русской книге». Оказалось, что в переводе фразы — зажигающая книга — получится нестерпимое преувеличение. Можно думать, что арест Тургенева в том же 1852 году явился наказанием столько же за статью о Гоголе, сколько и за это издание «Записок». Мы знали вельможу, очень образованного и гуманного, немало способствовавшего и облегчению уз нашей печати, который до конца своей жизни думал, что успехом своей книги Тургенев обязан французской манере возбуждения одного сословия против другого. Но весь говор, сопровождавший деятельность Тургенева, не мешал ему идти своей дорогой. Составитель этой статьи сам слышал от почтенного историка нашего Ивана Ег. Забелина, как Тургенев умолял его дать свое согласие на напечатание какого-либо из его трудов. «Нельзя же мне, — говорил тогда Тургенев, — тяготить весь век мой землю без пользы для других: дайте мне возможность сделать что-либо для общества». Предложение было отклонено, по неимению готового труда, но способ выразить свое сочувствие исследователю отличался оригинальностью. Вообще говоря, нравственная доблесть его превышала все его недостатки, и требовалось много усилий и громадное количество литературных и жизненных неприличий, чтобы из такого человека сделать себе врага и недоброжелателя.

III

Первую поездку за границу, после 1840 года, Тургенев совершил спустя семь лет, провожая семейство Виардо из России в Берлин, в 1847 году, и отправляясь оттуда в Штеттин для встречи больного Белинского, которого привез с собой на Шпре, а затем сопутствовал ему и в Зальцбрунн.

Никто из друзей не догадывался о скудости его средств в это время. Он умел мастерски скрывать свое положение, и никому в голову не могла прийти мысль, что по временам он нуждался в куске хлеба. Развязность его речей, видная роль, которую он всегда предоставлял себе в рассказах, и какая-то кажущаяся, фальшивая расточительность, побуждавшая его не отставать от затейливых похождений и удовольствий и уклоняться незаметно от расплаты и ответственности, отводили глаза. До получения наследства в 1850 году он пробавлялся участием в обычной жизни богатых друзей своих — займами в счет будущих благ, забиранием денег у редакторов под не написанные еще произведения — словом, вел жизнь богемы знатного происхождения, аристократического нищенства, какую вела тогда и вся золотая молодежь Петербурга, начиная с гвардейских офицеров. Впрочем, он никогда не терял надежды сделаться большим барином и однажды, несмотря на свои лишения, обещал Белинскому 100 душ крестьян, как только представится возможность к тому. Белинский принял в шутку подарок. «Жена, — закричал он, — иди благодарить Ивана Сергеевича: он нас помещиками делает». А между тем критик серьезно нуждался в устройстве своей судьбы. За год до отъезда своего в Зальцбрунн, именно, в 1846 году, он разорвал связи с «Отечественными записками» и собирал труды друзей для большого альманаха «Левиафан». Тургенев был из первых, обещавших ему свою лепту, а между тем по лукавству, часто встречаемому в литературных кружках, ему не хотелось конечной гибели органа «Отечественные записки», которую уже им пророчили. Тогда он свел редактора их с В. Майковым, молодым писателем, эстетика которого, построенная на этнографических данных, могла дать своего рода окраску журналу. Майков имел несчастие утонуть, купаясь близ Ропши, но на первых порах успел сохранить за «Отечественными записками» влияние, приобретенное ими при старом критике. Все остальное хорошо известно и много раз повторялось. Сборник статей куплен был у Белинского Панаевым и Некрасовым, которые с помощию его вздумали основать свой собственный журнал, нашли в старом «Современнике» Плетнева готовый материал для издания и приобрели его... Менее известно, что Тургенев был душой всего плана, устроителем его, за исключением, разумеется, личных особенностей, введенных в него будущими

издателями, с которыми делил покамест все перипетии предприятия. Некрасов совещался с ним каждодневно; журнал наполнился его трудами. В одном углу журнала блистал рассказ «Хорь и Калиныч», как путеводная звезда, восходящая на горизонте; в «Критике» явился его пространный разбор драмы Кукольника, и наконец множество его заметок разбросано было в последнем отделе журнала. В одной из них находилась латинская цитата; не доверяя лингвистическим познаниям своего друга, Некрасов испортил ее нарочно в корректуре, чтоб иметь возможность, при случае, свалить вину на типографию, и признался в своей хитрости автору. Дождавшись первой книги «Современника» на 1847 год, Тургенев выехал за границу.

Удивительный был этот 1846 год. По странной случайности к нему относится единовременное появление замечательных памятников русской литературы. Тогда были кончены и опубликованы: «Обыкновенная история» И. А. Гончарова, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, «Антон Горемыка» Д. В. Григоровича — произведения, открывавшие новые дороги талантам и возвещавшие цветение литературы в скором будущем, не оправданное, однако же, событиями и обстоятельствами, вскоре за тем наступившими...

Я уже с год жил в Париже, когда Иван Сергеевич прибыл в Зальцбрунн с больным Белинским. Я поспешил присоединиться к ним, и мы встретились в этом только что возникавшем тогда месте лечения грудных страданий, как это видно из моей статьи «Замечательное десятилетие», к которой и отсылаем читателя за подробностями *. Тургенев писал тогда «Бурмистра» и прилежно учился по-испански [20]. Известно, что он покинул нас с Белинским тайком, выехав из Зальцбрунна под каким-то благовидным предлогом на короткое время, оставив в нем часть белья и платья и уже не возвращаясь более назад. Когда по осени того же года я спрашивал его в Париже о причинах бесполезной хитрости, употребленной им в Зальцбрунне, он только пожал плечами, как бы говоря: «Да и сам не знаю». Дела его были в плохом состоянии: он не мог жить в Париже, поселился в пустом замке, предоставленном ему Жорж Зандом где-то на юге, и на-

---

* См. «Вестник Европы» 1880 года, январь, февраль, март, апрель и май. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

езжал по временам в Париж, обегал своих знакомых и скрывался опять. Перед революцией 1848 года он, однако же, переехал совсем в Париж, занял очень красивую комнату в угловом доме Rue de la Paix и Итальянского бульвара, теперь уже снесенном, и переходил в том же доме то выше, то ниже, смотря по благоприятным или неблагоприятным известиям из России. Февральские и июньские дни 1848 года застали его еще в Париже, и при этом нельзя не сказать о замечательной его способности подмечать характерные общественные явления, мелькавшие у него перед глазами, и делать из них картины, выдающие дух и физиономию данного момента с поразительной верностью. Таковы небольшие рассказы его из французской революции, как «Наши послали» и проч., хотя, собственно, сам он не принимал никакого участия в социальном движении знаменитого 1848 года и только говорил о нем [21].

В октябре я уехал в Россию, оставив Тургенева в Париже, и только через два года снова встретил его на родине. Извещенный о тяжкой болезни своей матери — 1850 год — он явился принять ее последний вздох и помириться с нею перед смертию, но уже не застал ее на свете. По какой-то чужой оплошности он не мог даже поспеть и на похороны ее в Донском монастыре, прибыв в Москву, где она скончалась, в самый день совершения обряда. Всеми подробностями церемонии распоряжался покойный брат его Н. С. Тургенев.

Шесть лет за тем прожил наш поэт безвыездно в России. В эти последние шесть лет его молодости произошло многое и в нем самом и в обстановке его. Мы уже говорили в упомянутой выше статье «Замечательное десятилетие» о внезапном аресте, постигшем его за статью о Гоголе. Замечательно, что сам он отзывался всю жизнь о событии без малейшего признака злобы, без чувства оскорбленной личности, почти равнодушно. Да и были причины на то. Несмотря на суровое начало, арест в дальнейшем своем течении принес ему немало добра, обнаружив общие симпатии к его лицу, дав возможность создать одну крупную вещь — рассказ «Муму» [22] — и, главное, открыв ему, что он и продиктован был без раздражения и ненависти как простая полицейская мера для обуздания и принижения писателей, не раз употреблявшаяся и прежде относительно журналистов и цензоров. Гораздо хуже ареста была последовавшая за ним

административная высылка в деревню, без права выезда из нее — во-первых, потому, что она могла продолжаться неопределенное количество лет, а во-вторых, потому, что Тургенев лишался возможности, имея к тому все нужные средства, располагать собою. Стеснение это раздражало его более всего. Мы видели подложный паспорт на имя какого-то мещанина, приобретенный им где-то, и с которым он явился однажды в Москву, к изумлению и ужасу своих приятелей[23]. Не желая, однако ж, рисковать всякий раз дальнейшей своей судьбой, он жаловался в Петербург и получил оттуда совет составить письмо с просьбой об освобождении (прилагался даже и образчик такого официально-просительного письма, с *признанием своей вины*). Тургенев последовал этому совету и был возвращен в следующем, 1853 году. Впоследствии, при заключении парижского мира, старый князь Орлов, бывший начальник III отделения в оное время и семейству которого Тургенев имел случай оказать услугу, дружески знакомясь с ним и целуя его в лоб, примолвил: «Кажется, вы не имеете причин сердиться на меня»[24]. Действительно, никто не сердился, начиная с потерпевшего, на событие. Разве можно сердиться на установившиеся нравы и обычаи, против которых не слышится и протеста общественной совести?

Накануне постигшей его катастрофы Тургенев сделал еще одно доброе дело. Пользуясь дружескими отношениями с редакторами «Современника», он ввел в круг петербургских литераторов сотрудников журнала «Москвитянин», показав пример терпимости и беспристрастия, довольно редкий в то время. (См. мою статью о А. Ф. Писемском, «Художник и простой человек» в «Вестнике Европы», 1882, апрель)[25].

Между тем года шли и приносили те плоды, семена которых давно в них были заложены. Разразилась свирепая война между нами и Турцией и англо-французскими ее союзниками в виду Европы, приготовляющейся к коалиции... Война перешла уже на нашу почву, обложила Севастополь и стучалась в Кронштадт; готовились большие приготовления к отпору, предвиделись новые жертвы и новые напряженные усилия отвечать нуждам минуты без особой надежды на успех. Мы все жили, как бы притаившись, чувствуя инстинктивно, что времена серьезны в высшей степени, и не питая радужных надежд на перемену обстоятельств. Летом 1854 года Тургенев по-

селился на даче по петергофской дороге, недалеко от О. А. Т<ургеневой>, которая с отцом и теткой жила в самом Петергофе. Общество этой чрезвычайно умной и доброй девушки сделалось для него необходимостью...

Однажды и уже по зиме следующего, 1855 года, зашед к нему на квартиру, я узнал, к великому моему удовольствию, что в задней ее комнате спит приезжий из армии молодой артиллерийский офицер граф Лев Николаевич Толстой. Публике было уже известно это имя, а литераторы превозносили его в один голос. Лев Толстой выслал в «Современник» первый свой рассказ «Детство и отрочество», поразивший всех поэтическим реализмом своим и картиной провинциальной семьи, гордо живущей со своими недостатками и ограниченностью, как явление вполне самостоятельное и непререкаемое. Он готовил еще и многое другое. Будучи соседом Толстого по деревне и движимый своим неугомонным демоном любопытства и участия, Тургенев пригласил его к себе. Но Л. Н. Толстой был очень оригинальный ум, с которым надо было осторожно обращаться. Он искал пояснения всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать ни эстетических, ни философских их пояснений, не признавая никаких традиций, ни исторических, ни теоретических, и полагая, что они выдуманы нарочно людьми для самообольщения или для обольщения других. Как курьез воззрение это еще могло поддерживаться при громадном образовании и большой начитанности, но гр. Толстой не гонялся за курьезами. То был сектантский ум по преимуществу, очень логический, когда касалось выводов, но покорявшийся только вдохновенному слову, сказавшемуся, неизвестно как, в глубине его души. Поэтому столь же интересно было следить за его мнением, всегда новым и неожиданным, сколько и за происхождением этого мнения. Нередко встречались у него приговоры, поражавшие своим ультрарадикальным характером. Так, шекспировского короля Лира он считал нелепостью, за неправдоподобие сказки, лежащей в основании трагедии[26], и в то же время все симпатии его принадлежали пьяному артисту-немцу, которого встретил в публичном доме и сделал героем одной из повестей своих[27]. В Тургеневе он распознал многосторонний ум и наклонность к эффекту — последнее особенно раздражало его,

так как искание жизненной правды и простоты и *здравомысленности* существования составляло и тогда идеал в его мыслях. Он находил подтверждение своего мнения о Тургеневе даже в физиологических его особенностях и утверждал, например, что он имеет фразистые ляжки. Вызывающий тон и холодное презрение, которые он высказывал перед Тургеневым даже и тогда, когда тот успел уже отделаться от многих увлечений своей молодости, заставляли ожидать разрыва и катастрофы, которые и явились. Уже в шестидесятых годах, находясь в гостях, в селе Спасском, Толстой сделал презрительное и едкое замечание об опытах воспитания, которым Тургенев подвергает свою дочь, увезенную им за границу, и окончательно вывел из себя терпеливого хозяина, отвечавшего ему грубостью. Последствием было назначение дуэли, не состоявшейся за отказом Толстого. За несколько лет до кончины Тургенева Толстой, вероятно очнувшийся от своих предубеждений против старого друга, ввиду общего уважения, которое тот приобрел, обратился к нему с трогательной просьбой забыть прошлое и восстановить их прежние дружеские отношения, на что Тургенев, пораженный этим актом мужественного великодушия, отвечал не только полной готовностью на сделку, но приехал сам к нему в деревню протянуть руку примирения, которое им обоим делало великую честь [28].

И пора было. Не говоря уже о том, что странным казалось видеть корифеев русской литературы, так связанных всем своим прошлым, во вражде друг с другом; но Тургенев оставался еще жарким поклонником Толстого во все время ссоры. Он признавал в нем, кроме качеств примерного товарища и честнейшей души, еще человека инициативы, почина, способного выдержать до конца любое предприятие, которому посвятил себя, лишь бы только не пропадала у него вера в достоинство начатого дела. О литературных трудах Толстого и толковать нечего: Тургенев был одним из его панегиристов. Он говорил во всеуслышание, что из всех русских романистов, не исключая и его самого, первое место должно принадлежать графу Л. Н. Толстому за его способность проникать в сущность характеров, исторических событий и целых эпох, какой не обладает ни один из существующих ныне писателей.

Приближалось, однако, время *общественных,* в пря-

мом смысле слова, романов и для Тургенева, превративших его в политического деятеля. Оно началось с появления повести «Рудин», в 1856 году. Это еще не был тот полный шедевр, каким оказались впоследствии «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Новь», но роман уже заключал в себе данные, которые так блестяще развились с годами. Впечатление, произведенное им, мало уступало тому, какое сопровождало появление «Хоря и Калиныча»; роман может считаться крупным торжеством автора, хотя журналистика отнеслась к нему очень сдержанно. Впервые является тут почти историческое лицо, давно занимавшее как самого автора, так и русское общество, своим смело-отрицательным, пропагандирующим характером, и является как несостоятельная личность в делах общежития, в столкновениях рефлектирующей своей природы с реальным домашним событием. Роман был погребальным венком на гробе всех старых рассказов Тургенева о тех абстрактных русских натурах, устраняющихся и пассирующих перед явлениями, ими же и вызванными на свет, — с тех пор они уже более не производились им. И понятно почему — последний, прощальный венок сплетался из качеств человека, заведомо могущественного по уму и способностям; после этого нечего было прибавлять более. Некоторые органы журналистики, оскорбленные унижением героя, объясняли это унижение негодованием автора на человека, который брал деньги взаймы и не отдавал их, но это было объяснение неверное[29]. Публика поняла повесть иначе и правильнее. Она увидала в ней разоблачение одного из свойств у передовых людей той эпохи, которая не могла же, в долгом своем течении, не надорвать их силы и не сделать их тем, чем они явились, когда выступили, по своему произволу, на арену действия. Выразителем этого мнения сделался известный О. И. Сенковский. Он написал восторженное письмо к г. Старчевскому о «Рудине», которое тот и поспешил сообщить Тургеневу. В письме Сенковский замечал, что автор обнаружил признаки руководящего пера, указывающего новые дороги, о чем он, Сенковский, имеет право судить, потому что сам был таким руководящим пером, и без *проклятого* (выражение письма) цензора Пейкера, испортившего его карьеру, может статься, и выдержал бы свое призвание. В «Рудине» Сенковский находил множество вещей, не выговоренных романом, но видимых глазу читателя под

прозрачными волнами, в которых он движется. Политическое и общественное значение повести открывается во всех ее частях и притом с такой ясностию и вместе с таким приличием, что не допускает ни упрека в утайке, ни обвинения в злостных нападках. Сенковский сулил большую будущность автору повести и был в этом случае не фальшивым пророком, как часто с ним случалось прежде.

Между тем молодость Тургенева уже прошла. Ему предстояло еще около 30 лет обширной деятельности, но тем же ветхим человеком, каким его знали в эпоху появления «Параши», он оставаться не мог[30]. Еще прежде «Рудина» он почувствовал сам роль, которая выпала ему на долю в отечестве, — служить зеркалом, в котором отражаются здоровые и болезненные черты родины; но для этого необходимо было держать зеркало в надлежащей чистоте. Всякое человеческое начинание имеет свой пункт отправления, который и указать можно; только одно действие времени не имеет такого пункта — оно мгновенно обнаруживает во всей полноте и цельности явление, которое готовилось в его недрах долго и невидимо для людского глаза. Нечто подобное такому действию времени случилось и с Тургеневым: только с эпохи появления «Рудина» обнаружилось, что он уже давно работает над собою. Порывы фантазии, жажда говора вокруг его имени, безграничная свобода языка и поступка — все приходило в нем или складывалось на наших глазах в равновесие. Ни одному из опасных элементов своей психической природы он уже не позволял, как бывало прежде, вырваться стремительно наружу и потопить на время в мутной волне своей лучшие качества его ума и сердца. Может быть, это было произведение годов, пережитых Тургеневым; может быть, приобретенный опыт и воля действовали при этом механически, безотчетно, в силу одного своего тяготения к добру и истине. Как бы то ни было, преобразование Тургенева свершилось без труда и само собой: ему не предстояло никакой работы для выбора новых материалов морали и постройки из них своего созерцания, никаких аскетических элементов для замены старых верований, ничего, что могло бы коверкать его природу и насиловать его способности. Оно произошло просто и натурально, благодаря одному наблюдению за собою и упразднению того потворства дурным инстинктам, которое вошло у него в привычку. Луч-

шие материалы для реформы лежали с детства в нем самом, лучшие верования жили с ним от рождения; стоило только их высвободить от помех и уз, наложенных невниманием к самому себе. Но зато с тех пор, как воссияла для Тургенева звезда самообразования и самовоспитания, он шел за ней неуклонно в течение 30 лет, поверяя себя каждодневно, и достиг того, что на могиле его сошлось целое поколение со словами умиления и благодарности как к писателю и *человеку*. Не вправе ли были мы сказать, что редкие из людей выказали более выдержки в характере, чем он?..

Дрезден. Декабрь 1883.

ШЕСТЬ ЛЕТ ПЕРЕПИСКИ С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ 1856—1862

I

В 1856, то есть в год появления «Рудина» — с чем связывают поворот в жизни самого автора, — начинаются и частые отлучки Тургенева за границу *. С переменой царствования наступила и льготная пора для русских путешественников, которые высвобождены были от паспортных стеснений при отъезде, считавшихся прежде нужными для благоденствия и устойчивости порядка, что еще от времени до времени многими повторяется и теперь. Отмена формальностей при добывании паспорта, объявленная в эпоху коронации имп. Александра II, не могла касаться вполне Тургенева: он состоял еще под присмотром полиции, и для него требовалось соблюдение старых порядков ходатайства и особого разрешения. Много помог ему выпутаться из хлопот егермейстер Иван Матвеевич Толстой (впоследствии граф) своим влиянием. Человек этот оказывал несомненные знаки личного расположения и внимания к Тургеневу, сопровождаемые,

* Просим извинения у наших читателей за продолжительный перерыв в рассказе со времени появления первого нашего очерка «Молодость Тургенева» в «Вестнике Европы», 1884, февраль, 449 стр. Причина замедления заключалась в том, что накануне своей смерти Тургенев уполномочил меня письменно, в случае своей кончины, разобрать его переписку и взять из нее то, что мне будет пригодно, а после его смерти г-жа Полина Виардо, сделавшаяся законной наследницей всего оставшегося после него движимого имущества, изъявила готовность исполнить волю покойного немедленно, но была остановлена процессом, возникшим между нею и мужем единственной дочери покойного, по поводу того же самого наследства. Так как процесс уже решен ныне французскими судами в пользу г-жи Виардо, то надежда добавить мой труд весьма важными документами частной переписки Тургенева заставила меня снова приступить к делу, результатом чего и являются эти воспоминания. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

однако, по временам выговорами и замечаниями, когда последний слишком легко и свободно относился к его словам и наставлениям. Так, однажды, приглашенный И. М. Толстым на охоту и дав ему слово, Тургенев не почел за нужное обременять себя исполнением обещания и на другой же день получил от Толстого записку с замечанием, что поступок этот имеет вид и характер грубой неучтивости, которая, может статься, и находится в привычках автора, но которую не следует прилагать ко всякому.

Около того же времени мы имеем первое письмо Тургенева с дороги. Он внезапно уехал в Москву из Петербурга, вызванный издателем «Русского вестника», г. Катковым. Письмо это довольно любопытно. Оно рисует начало большой распри между писателем и журналистом, не упраздненной и смертию одного из них.

«Москва, 16 января 1856 г.

Любезный П. В. Я приехал сюда, хотя не с бронхитом, однако с расстроенной грудью и поселился у милейшего И. И. Маслова, в удельной конторе, на Пречистенском бульваре. Но оказывается, что я мог еще с неделю оставаться в Петербурге, потому что г-н редактор «Русского вестника», вытребовавший мою повесть 6 недель тому назад, не отвечавший ни слова на мои четыре письма, даже на последнее письмо, в котором я извещал его о моем отъезде и спрашивал о положении этого набора, — велел мне вчера сказать, что моя рукопись только в будущую середу поступит ко мне в корректуре. Вот как следует учить сотрудников, чтобы они не забывались: Некрасов и Краевский никогда не достигали такой олимпийской высоты неделикатности, не заставляли больного человека скакать за 600 верст и т. д. Поделом мне! По слухам, повесть моя признана редакцией «Русского вестника» «образчиком нелепой бездарности». В таком случае, кажется, было бы лучшее возвратить ее автору. А впрочем, все это пустяки» [г].

Известно, что большая часть крупных ссор начиналась с подобных же пустяков. Дело, однако же, на этот раз уладилось. Нельзя же было предположить, что редакция такого органа, каким был тогда «Русский вестник», обозвала прелестный рассказ Тургенева «Фауст», — ибо о

нем идет дело, — образчиком бездарности, а между тем. неверный и преувеличенный слух об этом отзыве, если не породил, то укрепил раздражение автора. Возвратясь в Петербург, так как более десяти дней он не располагал быть в отсутствии, и известив о том г. Каткова, Тургенев бросил корректуру, прибавляя в том же вышеприведенном письме: «Пусть они распоряжаются, как им угодно!» В Петербурге он отдал свой рассказ в «Современник», где тот и появился в 10-й книжке журнала: «Фауст, рассказ в девяти письмах» («Современник», 10-я книжка, 1856). Но и этого мало. В объявлении об издании журнала в следующем 1857 году редакторы «Современника» извещали, что четыре первоклассных литератора, во избежание неудобств конкуренции, согласились печатать свои произведения исключительно в журнале «Современник»[2]. Имена этих четырех исключительных сотрудников действительно явились с 1-го № журнала на 1857 на его обложке: это были Д. В. Григорович, А. Н. Островский, гр. Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев. Конвенция продолжалась, однако, недолго, и один шутник, подозревавший ее происхождение, конечно, имел право сказать, что на пороге «Современника» возвышаются четыре загадочные и молчаливые сфинкса. Она была нарушена в следующем же 1858 году одною из сторон. Тургенев именно послал тогда письмо из-за границы в «Атеней», затем в 1859 году напечатал «Обед в обществе английского литературного фонда» в «Библиотеке для чтения», а в 1860 году предоставил тому же «Русскому вестнику», с которым так недавно поссорился, третью социальную свою повесть «Накануне».

«Русский вестник» отвечал на объявление-манифест «Современника» чрезвычайно вежливо и уклончиво, сваливая вину непоявления в его журнале повести «Призраки» (это «Фауст» в «Современнике») на медленность и задержки в корректурных исправлениях со стороны самого автора ее и прибавляя, что и он, с своей стороны, отказывается от сотрудничества людей, готовых смущаться всякими случайностями и затруднениями издания и строить на них далекие и несправедливые соображения.

Возвращение Тургенева в Петербург пришлось как раз к появлению первой части «Рудина» в запоздавшей январской книжке «Современника» 1856 года. Вторая часть напечатана была в следующей книжке. Здесь будет

уместно привести любопытное примечание, встреченное нами в черновой тетради Тургенева, содержащей «Рудина». Повесть была первоначально озаглавлена: «Гениальная натура», что потом было зачеркнуто, и вместо этого рукой Тургенева начертано просто: «Рудин». Затем оказывается, что роман создан и написан в 1855 году в деревне и притом в весьма короткий срок — 7 недель. Примечание гласит именно: «Рудин. Начат 5 июня 1855 г., в воскресенье, в Спасском; кончен 24 июля 1855 в воскресенье, там же, в 7 недель. Напечатан с большими прибавлениями в январ. и февр. книжках «Современника» 1856 г.». Между прочим, заметка эта подтверждает опасения последнего редактора сочинений Тургенева [3] (посмертное издание), колебавшегося зачислять произведения нашего автора по годам их появления в печати, так как он полагал основательно, что некоторые из них могли быть написаны им ранее их опубликования. Но для приложения хронологической системы к изданию никакого другого средства не оставалось. Выслушав все разнообразные толки о своем «Рудине», между которыми к восторженным отзывам примешивались уже и обидные подозрения в недоброжелательстве к лицу, скрывавшемуся под именем Рудина, Тургенев к августе 1856 года выехал в Париж. Это было первое его путешествие после ареста.

Всю зиму 1856/57 года не было о нем ни слуха ни духа, и только 24 октября 1857 получено было от него первое известие, пущенное им 5 октября (23 сентября старого стиля). Письмо носило штемпель «Rosoy en Brie» и пришло из неизвестного нам места Куртавнель, оказавшегося замком, или виллой, г-жи Виардо. Тургенев писал:

«Куртавнель, 5 октяб. (23 сент.) 1857.

Милый А. На днях я получил письмо от Некрасова с приложением циркуляра на издание альманаха для семейства Белинского [4], но так как я недавно писал ему, то я предпочитаю поговорить с вами. Прежде всего скажите Некрасову, что я обещаю ему две статьи — повесть или рассказ и воспоминания о Белинском. Я глазам не верю — неужели позволили наконец альманах с именем Белинского на заглавном листе и с отзывами о нем! Как бы то ни было, я с восторгом впрягаюсь в эту карету и буду везти из всех сил.

Что же касается до моего внезапного путешествия в Рим *, то, поразмыслив хорошенько дело, вы, я надеюсь, убедитесь сами, что для меня, после всех моих треволнений и мук душевных, после ужасной зимы в Париже — тихая, исполненная спокойной работы зима в Риме, среди этой величественной и умиряющей обстановки, просто душеспасительна. В Петербурге мне было бы хорошо со всеми вами, друзья мои, но о работе нечего было бы думать; а мне теперь, после такого долгого бездействия, предстоит либо бросить мою литературу совсем и окончательно, либо попытаться: нельзя ли еще раз возродиться духом? Я сперва изумился предложению (В. П. Боткина), потом ухватился за него с жадностью, а теперь я и во сне каждую ночь вижу себя в Риме. Скажу без обиняков: для совершенного моего удовлетворения нужно было бы ваше присутствие в Риме; мне кажется, тогда ничего не оставалось бы желать... Вы, сколько я помню, собирались ехать в Рим; что бы вам именно теперь исполнить это намерение? Право, подумайте-ка об этом. Славно бы мы пожили вместе! Если вы не приедете, я буду часто писать вам и Некрасову. Я надеюсь, что болезнь моя не схватит опять меня за шиворот; в таком случае я, разумеется, буду молчать, но я надеюсь, что она не придет снова. Прощайте, друг мой, П. В. Пришлите мне 7-й том Пушкина в Рим[5]. Обнимаю вас!»

Болезнь, однако, не замедлила явиться опять и оправдала нерешимость мою склониться на предложение Тургенева и посетить его в Риме. Что касается до альманаха Некрасова, то он не состоялся, а взамен его предпринято было в Москве, большой издательской конторой К. Т. Солдатенкова, полное собрание сочинений Белинского, которое под редакцией Н. Х. Кетчера и доведено было до конца благополучно. Почти вслед за тем письмом Тургенева получено от него и другое, уже из Рима.

---

* Я не мог доискаться в моих бумагах письма Тургенева о поездке его в Италию, а так как корреспонденция моя с ним вся сохранилась, то считаю письмо это так или иначе погибшим. Зима 1856/57 была чрезвычайно сурова на Западе, — дети ремесленников и других бедных людей замерзали в домах и в колыбелях своих. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

«Рим, 31 октяб. (12 нояб.) 1857.

Милый А. Ваше письмо меня очень обрадовало, и я надеюсь, что переписка наша оживится снова. Нам с вами надобно непременно, хотя изредка, писать друг к другу. Вот уже скоро две недели, как я в Риме; погода стоит чудесная; но болезнь моя опять принялась грызть меня. Это очень меня огорчает, потому что, если бы не эта мерзость, я бы работал. Я это чувствую и даже, несмотря на болезнь, уже кое-что сделал. Не буду говорить вам о Риме — мало сказать не стоит, много — невозможно. Я знакомлюсь с ним помаленьку — спешить не для чего, ходил на вашу квартиру в Via Felice; но уже все изменилось с тех пор, и хозяин другой — расспрашивать было некого. Постараюсь исполнить ваше желание и напишу для Корша письмо, то есть два или три письма, не знаю, будет ли. интересно *. «Современник» имеет право на меня сердиться; но, право же, я не виноват. Говорят, Некрасов опять стал играть... Вы воображаете, что мне «со всех сторон» пишут! Никто мне не пишет. А потому давайте мне сведений как можно больше.

Познакомился я здесь с живописцем Ивановым и видел его картину. По глубине мысли, по силе выражения, по правде и честной строгости исполнения вещь первоклассная. Недаром он положил в нее 25 лет своей жизни. [7] Но есть и недостатки. Колорит вообще сух и резок, нет единства, нет воздуха на первом плане (пейзаж в отдалении удивительный), все как-то пестро и желто. Со всем тем я уверен, что картина произведет большое впечатление (будут фанатики, хотя немногие), и главное: должно надеяться, что она подаст знак к противодействию брюлловскому марлинизму. С другой стороны, византийская школа князя Гагарина... Художеству еще худо на Руси. Остальные здешние русские артисты — плохи. Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и «всё» дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую расейскую замашку. Невежество их всех губит. Иванов — тот, напротив, замечательный человек; оригинальный, умный, правдивый и мыслящий, но мне сдается, что он немножко тронулся: 25-летнее одиночество взяло свое. Не забуду я

---

* Для «Атенея» — издания, предпринятого Е. Ф. Коршем после его разрыва с «Русским вестником» [6]. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

(но это непременно между нами), как он, во время поездки в Альбано, вдруг начал уверять Боткина и меня, весь побледневши и с принужденным хохотом, что его отравливают медленным ядом, что он часто не ест и т. д. Мы очень часто с ним видимся; он, кажется, расположен к нам.

Вы меня хвалите за мое намерение прожить зиму в Риме. Я сам чувствую, что эта мысль была недурная, но как мне тяжело и горько бывает, этого я вам передать не могу. Работа может одна спасти меня, но если она не дастся, худо будет! Прошутил я жизнь, а теперь локтя не укусишь. Но довольно об этом. Все-таки мне здесь лучше, чем в Париже или в Петербурге.

Не знаю, писал ли я вам, что в Париже встретил Ольгу Александровну *. Она не совсем здорова и зиму будет жить в Ницце. Здесь из русских пока никого нет: ждут Черкасских.

Боже вас сохрани — не прислать мне 7-го тома Пушкина, переписку Станкевича и ваше письмо о Гоголе. Справьтесь у Некрасова и Колбасиных, как сюда пересылались книги, — и так и поступайте.

Со вчерашнего дня стал дуть tramontano **, а то такая теплынь стояла, что сказать нельзя. Третьего дня мы с Боткиным провели удивительный день в villa Pamfili. Природа здешняя очаровательно величава — и нежна и женственна в то же время. Я влюблен в вечнозеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные, бледно-голубые горы. Увы! я могу только сочувствовать красоте жизни — жить самому мне уже нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой. Стараюсь, однако, не пускать эту копоть в то, что я делаю; а то кому оно будет нужно? Да и самому мне оно будет противно.

Боткин здоров; я с ним ежедневно вижусь, но я не живу с ним. В его характере есть какая-то старческая раздражительность — эпикуреец в нем то и дело пищит и киснет; очень уж он заразился художеством.

Напишите мне все, что узнаете, услышите о Толстом и его сестре.[8] Я не думаю, чтобы вам понравилось его

---

* Ольгу Александровну Т<ургене>ву, с которой он недавно разорвал свои дружеские связи. Она вышла замуж, вскоре после того, за С<омова>. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** северный ветер (*ит.*).

последнее произведение [9], но у него есть другие, хорошие вещи. Он вас очень любит *.

Познакомились ли вы с графиней Ламберт? Она этого желала, и я вам советую. Я опять напишу ей письмо через ваше посредничество. На этот раз войдите к ней.

Ну вот, переписка благополучно возобновлена; смотрите же, чтобы она не прекратилась. Поклонитесь всем друзьям, а вам я крепко жму руку. Читали ли вы «Историю Рима» Момзена? Я ею здесь упиваюсь. Весь ваш И. Т.

P. S. Напишите мне досконально: Базунов не пострадал от моих повестей? Если нет, мое самолюбие было бы несколько успокоено» [10].

Вопрос о Базунове относится к первому отдельному изданию повестей Тургенева, порученному мне и проданному мною в Москве совсем готовым и отпечатанным в числе 5000 экземпляров старому и уже давно покойному книгопродавцу Базунову за 7500 р. с. Издание представляло три небольших томика, который тогда и составляли весь литературный багаж Тургенева. В нем еще не обреталась ни одна из социальных его повестей, доставивших ему позже славу художественного комментатора своей эпохи. По условию, полученная от Базунова сумма была разделена на три равные части, и одна из них вручена автору, другая покрыла издержки печатания, третья осталась у продавца.

Оба письма из Италии, несмотря на живое описание красот Рима и сочувственное отношение к вековечному городу, носили еще на себе меланхолический оттенок в предчувствии приближающейся к автору болезни; но никто из знавших о письме не обратил на это никакого вни-

---

* О семействе гр. Л. Н. Толстого Тургенев всегда отзывался восторженно, не исключая и времени его непродолжительной размолвки с ним, о чем речь еще впереди. Сестру гр. Толстого, по мужу тоже Толстую, он называл умной, понимающей все кругом себя и обнаруживающей свое понимание только при случае. О брате Толстого, молодом человеке, умершем в чахотке в 1860 году за границей в Гиере, он говорил не иначе, как с умилением. Не помню впечатления, произведенного на меня слабым произведением Л. Н. Толстого, да и кто бы мог сохранить память о неудачных произведениях после позднейших образцовых созданий его и после колоссальной эпопеи его «Война и мир». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

мания. Мы уже привыкли к жалобам Тургенева на ожидающую его судьбу, которая никогда не приходила. Впоследствии это разъяснилось больше. Уже с 1857 года Тургенев стал думать о смерти и развивал эту думу в течение 26 лет, до 1883, когда смерть действительно пришла, оставаясь сам все время, с малыми перерывами, совершенно бодрым и здоровым. Болезнь, на которую он преимущественно *жаловался*, — стеснение в нижней части живота, он принимал за каменную, которая свела в гроб и отца его. С течением времени она миновала окончательно, не оставив после себя и следа. Затем — кроме бронхитов и простудных воспалений горла — наступила эпоха ужасов перед холерой, когда он не пропускал почти ни одной значительной аптеки в Москве, Петербурге, Париже и Лондоне, чтобы не потребовать у них желудочных капель и укрепляющих лепешек. Случалось, что при расстройстве пищеварения он ложился в постель и объявлял себя потерянным человеком; достаточно было несколько ободрительных слов врача, чтоб поднять его опять на ноги. По действию неустанно работавшего воображения, ему мерещились исключительные бедствия — он считал себя то укушенным бешеной собакой, то отравленным и сам смеялся над собой, когда припадок его проходил, оставляя ему в наследство некоторую жизненную робость. Так, он не любил останавливаться в многолюдных отелях, а искал помещения у старых приятелей. Много раз видели мы его изнемогающим под мучительными припадками подагры, которой он был подвержен, и долго думали, что это единственная серьезная болезнь его. Уединение, создаваемое недугом, он употреблял на чтение популярных медицинских сочинений и приобрел столько познаний в медицине, что, по слову Гейне, всегда мог отравить себя, но он желал только знать страдания человечества, а слушался единственно докторов и по временам, более чем нужно было, эмпириков. Умер же оп посреди невыразимых мучений, от болезни, приведшей в тупик знаменитейших врачей Парижа, недоумевавших, против чего им следовало бороться, именно от ракового воспаления в спинной кости, пожравшего у него три позвонка, хотя это была не новость для нас: в эпоху пушкинского юбилея в Москве мы были свидетелями, что каждый вечер он заставлял бить себя по обнаженной спине стальными щетками, подозревая, что там накопился у него, по его словам, какой-то злой материал, и

оставаясь днем ликующим и готовым на все труды великого литературного праздника.

Что касается до его суждений о русском искусстве и русских художниках в Риме, то мы оставляем это на памяти критика, если не на ответственности его, ибо отвечать он уже не может. В низкой оценке Брюллова он совершенно сходился с обычным своим возражателем, В. В. Стасовым, который очень горячо и остроумно отстаивал перед ним право русских живописцев не уважать Рафаэля и итальянских идеалистов XVI столетия, так как люди эти и утвердили нашу Академию художеств в том мнении, что с ними кончается свет и за ними нет ничего. По Стасову, отрицание Рафаэля было первым симптомом развития искусства в России и пробуждения в русских художниках сознания о необходимости самостоятельной деятельности и об отыскании новых современных идеалов и предметов для воспроизведения их посредством искусства. Относительно презрительной оценки Брюллова оба противника его совершенно выпускали из виду смелый выбор тем и замечательную виртуозность при их исполнении у художника — качества, которые и сделали его имя необычайно популярным в среде соотечественников. Несмотря на суровый приговор Ивана Сергеевича: «плохо искусству в России», оно незаметно шло вперед. Утомленное идеализмом без содержания, на которое присуждала его академическая практика, оно тихо, но постоянно высвобождалось от нее. Знамя Брюллова, под которым оно шло навстречу запросам академии, было знаменем реформ и прогресса. Месяц спустя после последнего письма получена была отписка Тургенева из Рима, в которой нападки на Брюллова еще усилились.

«Рим. 1 (13) декабря 1857.

Любезнейший П. В. Ваше умное как день письмо [11] получено мною вчера — я спешу отвечать вам; чтобы не сбиться и все сказать, что следует и на своем месте, разобью мое письмо на пункты. 1) *Литература.* Вероятно, вы, по получении этого письма, уже будете знать, что я нарушил мое молчание, то есть написал небольшую повесть, которая вчера отправлена в «Современник». Я и Панаева и Колбасина просил о том, чтобы до напечатания повесть эта была прочтена вами и напечаталась не иначе, как с вашего одобрения. Не стану вам говорить о

ней — лучше я послушаю, что вы о ней скажете [12]. В ней решительно нет ничего общего с современной пряной литературой, а потому она, пожалуй, покажется fade *. Повесть эту я окончил здесь. Я чувствую, что я здесь мог бы работать... (см. ниже пункт: жалобы на судьбу). Кончивши эту работу, я засел за письмо Коршу, которое оказывается затруднительнее, чем я предполагал. Впрочем, непременно одолею все затруднения — и дней через 5 или 6 надеюсь выслать это письмо на ваше имя. 2) *Жалобы на судьбу.* Если здоровье вообще нужно человеку, то в особенности оно нужно ему тогда, когда он подходит к 40 годам, то есть во время самой сильной его деятельности. Под старость болезнь дело обычное, в пору молодости — интересное. Как же мне не пенять на судьбу, наградившую меня таким мерзким недугом, что по милости его я превращаюсь в вечного жида. Вы из одного слова поймете мое горе: после двухмесячной борьбы я с сокрушенным сердцем принужден оставить милый Рим и ехать черт знает куда — в поганую Вену советоваться с Зигмундом. Здешний климат развил мою невралгию до невероятности, и доктор меня сам отсюда прогоняет. Ну, скажите — не горько это? Не гадко? Я всячески оттягиваю и откладываю день отъезда, но больше месяца от нынешнего числа я не проживу здесь. Ведь надобно же, чтобы ко мне привязалась такая небывалая болезнь. Поверьте, никакие ретроспективные соображения тут не утешат. Однако, если вы будете отвечать мне тотчас (а это было бы очень мило с вашей стороны, потому что мне хочется поскорее узнать ваше мнение о моей повести), пишите еще пока в Рим. 3) *Рим.* Рим — прелесть и прелесть. Зная, что я скоро расстанусь с ним, я еще более полюбил его. Ни в каком городе вы не имеете этого постоянного чувства, что Великое, Прекрасное, Значительное близко, под рукою, постоянно окружает вас и что, следовательно, вам во всякое время возможно войти в святилище. Оттого здесь и работается вкуснее и уединение не тяготит [13]. И потом этот дивный воздух и свет! Прибавьте к этому, что нынешний год феноменальный: каждый день совершается какой-то светлый праздник на небе и на земле; каждое утро, как только я просыпаюсь, голубое сияние улыбается мне в окна. Мы много разъезжаем с Боткиным. Вчера, например, забрались мы в Villa Madama —

* пресной (*фр.*).

полуразрушенное и заброшенное строение, выведенное по рисункам Рафаэля. Что за прелесть эта вилла — описать невозможно: удивительный вид на Рим, и vestibule такой изящный, богатый, сияющий весь бессмертной рафаэлевской прелестью, что хочется на коленки стать. Через несколько лет все рухнет — иные стены едва держатся; но под этим небом самое запустение носит печать изящества и грации; здесь понимаешь смысл стиха: «Печаль моя светла» [14]. Одинокий звучно журчавший фонтан чуть не до слез меня тронул. Душа возвышается от таких созерцаний — и чище и нежнее звучат в ней художественные струны.

Кстати, я здесь имел страшные «при» с русскими художниками. Представьте, все они (почти без исключения — я, разумеется, не говорю об Иванове), как за язык повешенные, бессмысленно лепечут одно имя: Брюллов, а всех остальных живописцев, начиная с Рафаэля, не обинуясь, называют дураками. Здесь есть какой-то Железнов (я его не видал), который всему этому злу корень и матка. Я объявил им наконец, что художество у нас начнется только тогда, когда Брюллов будет убит, как был убит Марлинский: delenda est Carthago, delendus Brulovius *. Брюллов — этот фразер без всякого идеала в душе, этот барабан, этот холодный и крикливый ритор — стал идолом, знаменем наших живописцев! Надобно и то сказать, таланта в них, собственно, ни в ком нет. Они хорошие рисовальщики, то есть знают грамматику — и больше ничего. В одном только из них, Худякове, есть что-то живое, но он, к сожалению, необразован (он из дворовых людей), а умен и не раб — не ленивый и самонадеянный раб духом, как другие, хотя и он молится Брюллову.

Удивили вы меня известием о лесных затеях Толстого! Вот человек! С отличными ногами непременно хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором говорит: «Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только литератором» [15]. В ответ на это я у него спрашивал, что же он такое: офицер, помещик и т. д.? Оказывается, что он лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту; в его швейцарской повести уже заметна сильная кривизна. Очень бы это было жаль, но я все-таки еще крепко надеюсь на его здоровую природу. *Resumé:*

---

* как пал Карфаген, так падет Брюллов (*лат.*).

a) напишите мне тотчас мнение об «Асе» сюда; [16] b) высылайте сюда же Пушкина, Гоголя *непременно*; c) я вам через неделю пошлю письмо Коршу; d) любите меня, как я вас люблю. Боткин благодарит и кланяется вам. И. Т.».

Как ни откладывал Тургенев свой выезд из Рима, сперва на месяц, а потом на 1(13) марта 1858 (в январе 1858 года он еще был на месте), но только 8 апреля успел свидеться с доктором Зигмундом в Вене. Вообще он медленно отрывался от насиженного места, и никогда нельзя было верить срокам, назначенным им для своего выезда. Зато он не останавливался отдыхать на дороге и пролетал большие расстояния, не выходя из вагона, даже и в припадках одной из своих болезней. Нужно еще удивляться, что он так скоро разорвал свои связи с Римом. Кроме недуга, игравшего тут, конечно, важную роль, но под конец уже и ослабевшего, как увидим, — тут была еще причина психическая. Тургенев не мог быть жильцом Италии, как ни любил ее. Он представлял из себя европейски культурного человека, которому нужен был шум и говор большого, политически развитого центра цивилизации, интересные знакомства, неожиданные встречи, прения о задачах настоящей минуты — даже анекдоты и говор толпы, конечно не ради их содержания, а ради того, что они отражают настроение людей, их создавших или повторяющих, и рисуют столько же их самих, сколько и тех, которые сделались предметом их злословия. Чуткость Тургенева к красотам природы, к памятникам искусства, к остаткам древнего величия не подлежит сомнению; свидетельством тому может служить только что приведенное письмо: в нем есть описания высокопоэтического характера и верности почти фотографической. Ему недоставало только мужества заключиться в себе самом и довольствоваться анализом великих ощущений и мыслей, навеваемых Италией. Этой ценой только и покупалось право жить в Италии и репутация мудрости, полученная некоторыми лицами, сделавшими себе удел из блаженного созерцания. Но в натуре Тургенева не было пищи и элементов для долгой поддержки созерцания: он искал событий, живых лиц, волн и разбросанности действительного, работающего, борющегося существования. Правда, в 1848 году, в эпоху «resorginato» *, пульс умственной и общественной жизни в Италии бился сильнее прежнего,

* возрождения, обновления (*ит.*).

но бежать из Франции (Тургенев находился тогда в Париже), которая давала тон всему европейскому движению, было бы нелепостью, кроме разве с специально агитаторскими целями, а Тургенев, что бы ни говорили нынешние клеветники поэта, агитатором никогда не был, да по развитию своему и не мог им быть. Замечательно, что с 1858 года он уже более никогда не возвращался в любимый им Рим, в превозносимую им Италию.

Сам Л. Н. Толстой распустил тогда слух о том, будто он предполагает заняться лесоразведением в южной России. Я передавал только его слова, когда сообщал Тургеневу такой слух. Гораздо важнее этого обстоятельства, которое могло бы сделаться очень важным предприятием, если бы не возникло оно у Толстого из странного отвращения к писательству, к роли, играемой у нас авторами; важнее, говорю, другое явление: усиленное беспокойство Тургенева об участи своего прелестного рассказа «Ася». Трудно сказать, что заставляло его домогаться с настойчивостью отзывов о такой малой вещице, как «Ася». Вероятнее всего предполагать, что основа «Аси» взята из биографического факта, дорогого почему-то самому автору. Он боялся, что слабая передача его уничтожит или извратит его значение. Я успокоил его, передав ему мнение многих его почитателей, что недостаток «Аси» заключается в одном. Такая поэтическая и вместе реальная характеристика героини, не часто встречающаяся и в более богатых литературах, чем наша, заслуживала бы б*о*льшего развития, рамки, например, романа, которую она совершенно наполнила бы собою. Тургенев остался доволен отзывом, как это видно и из последнего письма его в Риме, которое теперь и приводим здесь.

«Рим. 19(31) января 1858.

Я виноват перед вами, как нельзя более, — не отвечал на ваше письмо от 21 декабря и не переписал совсем конченные два письма (№ 2 и 3) для Корша. С нынешнего дня засел я за эту работу, и через 4 или 5 дней они отправятся к вам. Мысль, что первое письмо вам понравилось, меня ободряет и развязывает руки. Я не хочу только откладывать ответ мой на ваше письмо от 8 января. Причины моего замедления были двоякие: некоторые рассеяния и довольно серьезная и для меня не совсем привычная работа, о которой я поговорю с вами лично и

которая касается вопроса, занимающего теперь всю Россию *. Очень вам благодарен за доставленные сведения и проч. В ваших письмах наш брат, живущий в отдалении, щупает пульс своей страны и общества.

Отзыв ваш об «Асе» меня очень радует. Я написал эту маленькую вещь, только что спасшись на берег — пока сушил «ризу влажную мою» [17], а потому я бы вовсе не удивился, если б моя первая — после долгого перерыва — работа не удалась. Оказывается, что она вышла изрядная — и я искренно этому радуюсь.

Рассеяния, о которых я упомянул выше, состоят во множестве новых знакомств. Из них упомяну великую княгиню Елену Павловну, с которой я уже имел несколько длинных разговоров. Она женщина умная, очень любопытствующая и умеющая расспрашивать и — не стеснять; на конце каждого ее слова сидит как бы штопор — и она всё пробки из вас таскает: оно лестно, но под конец немного утомительно. Сошелся я очень близко с кн. Черкасским (Владимиром) и его женой; очень они милые, живые люди. Видаю часто князя Д. Оболенского, г-жу Смирнову... иногда Бакуниных, также Ростовцева, сына Иакова. Трудно выразить, что это за милый, симпатический, честный и откровенный человек. Из художников, после Иванова, самый приятный Сорокин как человек; таланта у него, к сожалению, нет. Изо всех здешних художников талант есть только у одного Худякова, но сам он... необразован, завистлив и надут. Молодой живописец Никитин сделал мой акварельный портрет; все находят его чрезвычайно схожим.

Известия об обеде в Москве и т. д. меня радуют ** и в то же время несколько пугают. Я не думаю, чтобы теперь такое время, когда нужно шуметь. Вы прочтете в «Nord» небольшое письмо, написанное мною в ответ на

---

* Дело шло о проекте народного образования и обучения через посредство имущих и развитых классов общества. О проекте этом будем говорить сейчас же, а теперь скажем, что он не удался и не был приведен в исполнение, даже не поступал на утверждение подлежащего начальства, как требовалось по закону. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** Это юбилейный обед Московского университета, праздновавшего столетие своего основания. Мне не случилось встретить в «Le Nord» письма Тургенева, да оно не попало ни в один из известных и очень подробных библиографических перечней его сочинений. См. «Исторический вестник», 1884 год. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

статью, помещенную об этом обеде; там была несправедливая выходка против славянофилов — как будто они не желают освобождения крестьян, между тем как они-то больше всех и хлопотали о нем. Я в этом письме заступаюсь за них *с этой только точки зрения.* Я это сделал в угоду Черкасскому, письмо которого не было бы принято. Впрочем, и мое, пожалуй, не примут.

Пушкина (то есть издания) еще нет здесь. Гг. «Современники» также не выслали свой декабрьский номер. О свадьбе Ол. Алекс, ничего не слыхал. Она в Ницце, и здоровье ее хорошо. Жаль мне очень бедного Дружинина. Боткин только на днях получил письмо от него (оно провалялось месяца два на почте) и тотчас отвечал ему. Наружность Дружинина мне весьма не понравилась уже в Занциге. Знаете ли, мне почему-то кажется, что у него должен быть diabète sucré (моча с сахаром), весьма быстро изнуряющая и опасная болезнь. Нельзя ли шепнуть об этом Шипулинскому? «Иногда и слепая свинья набредет на желудь», — гласит немецкая пословица, и, может быть, моя мысль справедлива.

Погода у нас здесь стоит чрезвычайно ясная и холодная. Говорят, в Венеции выпал сильный снег, и лагуны замерзли. Боятся, как бы в карнавал не пошли дожди. Здоровье мое если не хорошо, то по крайней мере удовлетворительно. Мучений нет, а уж от malais'a * я и не надеюсь отделаться.

Ждите двух больших пакетов через несколько дней. Да непременно вышлите сюда «Атеней». Если увидите Д. Колбасина, напомните ему, что я жду от него ответа на некоторые мои запросы. Пишите мне пока в Рим, poste restante. Я отсюда окончательно выезжаю только 1(13) марта. Жму вам дружески руку и остаюсь И. Т.

P. S. Поклонитесь от меня кн. Вязем. да сходите наконец к графине Ламберт и попросите ее написать мне свое мнение об «Асе», — нужды нет, выгодное или невыгодное».

* * *

В 1858 году предпринял и я поездку в Европу, после десятилетнего безвыездного пребывания в России. Любопытно было узнать новые порядки, воцарившиеся на За-

---

* недомогания (*фр.*).

паде в течение этого времени. Перемен, и нравственных и материальных, было много. За исключением Берлина, где строительная горячка началась только с франко-прусской войны 1870 года, старые города Европы, как Париж, Вена, Дрезден, сделались почти неузнаваемы. Стремление к роскоши существовало и до Второй империи, поддерживаемое громадным торговым производством и обогащением буржуазии; но с Наполеона III оно забыло все приличия. Повсюду возникали великолепные, как общественные, так и частные здания, опрокидывались памятники старины, уничтожались исторические дома и улицы; по примеру Парижа, каждая столица, каждый значительный пункт населения (за исключением, повторяем, Берлина, остававшегося до поры-времени старым и грязным городом) как бы решились отделаться от своего прошлого, смыть с себя последние остатки средневекового быта и начать для себя новую эру существования со вчерашнего дня. Одобрение со стороны многочисленных рабочих и мещан, заинтересованных в постройках, поддерживало общее одушевление; но когда наступил кризис, капиталы скрылись в банкирских конторах, а фабричное производство, превзошедшее потребности рынков и населения, остановилось; явились для всех — предпринимателей и исполнителей — разочарование и нищета. До тех пор на улицах европейских городов шел постоянный пир и праздник. Увеселительные заведения множились со всех сторон ежедневно, принимая тоже громадные размеры, и в уровень с ними разрастались вкусы и требования рабочих и мещан, которые уже составляли их верную статью дохода. Вид общего благосостояния на Западе обманывал туристов и заставлял их думать, что средства каждого посетителя этих волшебных замков увеличились по крайней мере в десять раз за последнее время. Зрелище общего ликования было, действительно, увлекательное.

В Берлине я получил венскую телеграмму Тургенева, которая, в отмен прежних требований явиться в столицу Австрии для свидания с ним, приказывала не трогаться с места и ждать новых инструкций. Как горячо звал меня Тургенев в Вену, видно из следующего письма:

«Вена, 7 апреля 1858[18].

Милый А. Сегодня в 5 час. вечера я приехал сюда, получил ваше письмо в седьмом и отвечаю в 8. Нечего

говорить, как я рад нашему скорому свиданию, — все это само собою разумеется — приступаю к делу.

Не стану вам повторять моей плачевной истории: вы знаете, что вот уже скоро 1½ года, как бес в меня вселился в виде болезни пузыря и грызет меня день и ночь. В Италии в течение зимы мне не было облегчения, я не лечился, потому что махнул рукой; однако я теперь хочу попытаться в последний раз, а именно хочу прибегнуть к совету здешнего врача-специалиста по этой части — Зигмунда (для этого я приехал в Вену) и по крайней мере месяц лечиться, то есть дать время этому доктору узнать, наконец, что у меня такое, и не ограничиться советом ехать на воды или чем-нибудь в этом роде. Вы видите, что мне теперь из Вены выехать невозможно. Я не видал еще Зигмунда — я увижу его завтра и тотчас напишу вам, что он мне скажет, но я знаю наперед, что он потребует моего пребывания здесь... Остается вам приехать сюда; разница всего несколько часов, положим даже целые сутки, но я надеюсь, что вы пожертвуете ими для меня. Я так был бы рад свидеться с вами! Вы видите, что я прикован здесь; мне уже наскучило попусту *советоваться* с знаменитостями; я хочу, я должен лечиться — или уже примириться с мыслию, что жизнь моя отравлена. Батюшка, П. В.!..Приезжайте! А отсюда ступайте в Лондон — я сам вслед за вами поеду. (Я должен 15 мая присутствовать в качестве шафера на свадьбе Орлова и в начале мая на несколько дней буду в Лондоне, куда приедет и Боткин.) Одним словом, я вас жду здесь. Вы должны приехать. Это невозможно, чтобы вы не приехали, умоляю вас приехать. Остановился я в гостинице Matschakerhoff, Seiles Gasse, № 33. Я жду вас... Боже, что мы переговорим! Завтра от меня еще будет письмо. Весь ваш Ив. Т.».

Инструкции и явились через два дня в форме письма из Вены от 9 апреля 1858 года, где он описывает свое свидание с доктором Зигмундом и прибавляет, чтобы я тотчас же укладывался и направлялся в Дрезден, так как он сам, после отсылки своего письма, едет туда и будет ждать меня в Hôtel de Saxe. Известие было очень приятное. На другой же день, через 5—7 часов, я был уже в Дрездене и в отеле и изумился, встретив цветущего пациента в человеке, чуть не приговоренном к смерти. Особенно поразительна была у опасно больного его речь, испол-

ненная юмора, образности и меткости. Я заметил ему это и получил ответ: «Вот видите ли! Организмы людей, пораженных хроническим, опасным недугом, каков мой, кажутся в спокойные минуты свои более крепкими, чем те, которые не испытывали никаких потрясений. Болезнь тут отдыхает, оставляя природе насыщаться и здороветь для того, чтобы на подготовленной почве разыграться еще с большей силой. Я даже полагаю, что и умру так, что удивлю всех неожиданностью». Пророчество, однако же, не сбылось. Он умирал долго и слишком *ощутительно* для своих друзей и образованной части России и Европы. Прилагаем венское его письмо. Это, как увидит читатель, — скорбный лист Тургенева, продиктованный одною из тогдашних ученых знаменитостей.

«Вена. Пятница, 9 апреля 1858.

Любезный А. Сейчас от Зигмунда. Осмотревши меня весьма подробно и сзади и спереди, он объявил мне, что у меня какая-то железа распухла и левый с... канал (извините все эти подробности) поражен; что если я не займусь серьезно этой болезней, худо будет; что я должен в нынешнем же году провести 6 недель в Карлсбаде и 6 недель в Крейцнахе, а здесь должен остаться еще дней 5, в течение которых должен каждое утро к нему ездить, и он будет учить меня ставить себе «bougies». Это, кажется, я на первого доктора наткнулся, который серьезно мною занялся, но какая милая перспектива... Приходится начинать старческий период жизни, то есть заниматься возможным предупреждением или замедлением окончательного разрушения. Что делать... А скоро все выгорело!

Но теперь что предпринять? Ясно, что вам сюда незачем ехать; боюсь только, как бы вы уже не выехали из Берлина. Обдумавши свое положение, я решаюсь на следующее.

Отложить свое возвращение в Россию до конца августа. На лечение употребить 3 месяца — от половины мая до половины августа. Съездить теперь в Париж и Лондон, так как раньше половины мая лечение водами невозможно. Все это мне, как кол в горло, но необходимость — не своя сестра. А потому, если мое письмо еще застанет вас в Берлине (оно вас застанет, потому что я сейчас посылаю к вам телеграмму), то знайте, что я во вторник выезжаю отсюда и в среду утром буду в Дрездене,

в Hôtel de Saxe, куда и вы приезжайте; мы там сговоримся, что нам делать и как ехать. Может быть, я даже в понедельник выеду, но во всяком случае в среду утром я в Дрездене. И потому до свидания. Ваш И. Т.».

* * *

«А скоро все выгорело!» — воскликнул Тургенев, сообщая диагноз доктора Зигмунда, — однако же не так скоро, как думал сам пациент и его эскулап. Еще целых 26 лет горела трудовая лампа на письменном столе Тургенева и освещала возникновение один за другим многих и многих капитальных произведений. Но о них не было еще и помина в Дрездене. «Дворянское гнездо» зрело, в уме Тургенева, но к нему он еще и не приступал. Разговор наш обращался к проектам вояжей и встреч, из которых ни один не осуществился, как и большая часть таких проектов, не принимающих в соображение случайностей и непредвидимых помех. Ни слова не было сказано также и о том, о чем хотел переговорить со мною лично, о проекте обучения и воспитания народа. Взамен литературные новости интересовали Тургенева в высшей степени, и анекдотов о людях и событиях из этой области было множество. Три дня с их обедами и ужинами пролетели незаметно. Тургенев отправился в Лондон, как хотел, а я уехал в Киссинген, а оттуда, по окончании курса, в Мюнхен, Тироль и Зальцбург. Из Зальцбурга через Берхтесгаден, Кенигзее и Линц, праздновавший тогда рождение австрийского кронпринца Рудольфа, далее по Дунаю, в Вену; из Вены я скоро достиг Бреславля, потом Варшавы, а оттуда, сопровождаемый великолепной кометой, не сходившей с неба почти всю ночь, прибыл в Петербург в августе месяце. Тургенев явился туда же почти вслед за мной.

Он привез с собой новинку, именно — «Дворянское гнездо», которую начал еще за границей, а доканчивал уже всю осень в Петербурге на своей квартире — Б. Конюшенная, д. Вебера, — посреди шума и говора приемов и массы посетителей. Тургенев обладал способностью в частых и продолжительных своих переездах обдумывать нити будущих рассказов, так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горя-

чих бесед кругом себя и часто участвуя в них весьма деятельно. Мы не имеем, к сожалению, чернового подлинника «Гнезда»; [19] но вот какую отметку встречаем на следовавшем за «Дворянским гнездом» романе «Накануне»: «Начата в Виши, во вторник 28 (16 июня) 1859; кончена в Спасском в воскресенье 25 октяб. (6 ноября) 1859; напечатана во 2-й книжке «Русского вестника» за 1860 г.» [20] — срок вдвое больший, чем тот, который потребовал для себя «Рудин» в первоначальной редакции (7 недель), но тоже не очень значительный, если принять в соображение время, употребленное на переезд из Виши в Париж, оттуда в Берлин и Петербург, а оттуда через Москву в деревню Орловской губернии и еще неизбежные остановки в городах. Но что такое было само «Дворянское гнездо», явившееся в январской книжке 1859 года «Современника)?

В один зимний вечер 1858 года Тургенев пригласил Некрасова, Дружинина и нескольких литераторов в свою квартиру с намерением познакомить их с новым своим произведением. Сам он читать не мог, нажив себе сильнейший бронхит и получив предписание от врача своего, доктора Шипулинского, не только не читать ничего для публики, но даже и не разговаривать с приятелями. Присужденный к безусловному молчанию, Тургенев завел аспидную доску и вступал посредством ее в беседу с нами, иногда даже очень продолжительную, что с некоторым навыком происходило довольно ловко и быстро. Чтение романа поручено было мне; оно заняло два вечера. Удовлетворенный всеми отзывами о произведении и еще более кой-какими критическими замечаниями, которые тоже все носили сочувственный и хвалебный оттенок, Тургенев не мог не видеть, что репутация его как общественного писателя, психолога и живописца нравов устанавливается окончательно этим романом. Совершенно успокоенный, он просил Некрасова припечатать, после оглавления, посвящение его мне, в благодарность за чтение, но Некрасов почему-то не исполнил его желания, и запоздалое посвящение явилось только в 1860 году в «Библиотеке для чтения» при замечательной тоже повести его «Первая любовь» *.

---

* На черновой тетради «Первой любви» стоит отметка: «Начата в Петербурге в первых числах 1860; кончена в Петербурге же 10 (22) марта 1860» Он отдал ее в «Библиотеку для чтения» А. В. Дружинина, где она и явилась в 3-й книжке журнала, почти

Но что произошло, когда в «Современнике» 1859 года явился роман «Дворянское гнездо»? Многие предсказывали автору его овацию со стороны публики, но никто не предвидел, до чего она разовьется. Молодые писатели, начинающие свою карьеру, один за другим являлись к нему, приносили свои произведения и ждали его приговора, в чем он никогда не отказывал им, стараясь уразуметь их дарования и их наклонности; светские высокопоставленные особы и знаменитости всех родов искали свидания о ним и его знакомства. Особенно, как мы уже имели случай заметить прежде, он сделался любимцем прекрасного пола, упивавшегося чтением его романа. Женщины высших кругов петербургского общества открыли ему свои салоны, ввели его в свою среду, заставили отцов, мужей, братьев добиваться его приязни и доверия. Он сделался *свой человек* между ними и каждый вечер облекался во фрак, надевал белый галстук и являлся на их рауты и «causeries» * удивлять изящным французским языком, блестящим изложением мнений своих с применением к понятиям новых его слушательниц и слушателей, остроумными анекдотами и оригинальной и весьма красивой фигурой.

Несмотря на многочисленные светские свои обязанности, производительность Тургенева росла вместе с его репутацией. Он не позволил отуманить себя общественными похвалами, а, напротив, под говор их взгляд его на самого себя приобретал особенную трезвость и ясность. Едва напечатав «Дворянское гнездо», он принялся за новое произведение, уже упомянутую повесть «Накануне», которая была совершенной противоположностью с романом, имевшим такой колоссальный успех. Оставайся он при одном и том же счастливом мотиве, проведенном им однажды, имя его как литератора, конечно, пользовалось бы еще заслуженным уважением, но никогда не выросло бы до того значения перед публикой, в каком застала его смерть. Собственно говоря, «Дворянское гнездо» было трогательным прощанием устарелых порядков жизни, отхо-

---

при самом отъезде за границу ее автора. По стройности всех частей, правде и выдержанности характеров, чрезвычайному искусству рассказа, она может быть сравниваема не только с двумя предшествующими capo d'opera <шедеврами> Тургенева, но и с последним, последовавшим за ними через 17—18 лет, романом «Новь» (1877 год). (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

* «разговоры» (*фр.*).

дящих в историю, причем все высшие, идеальные их потребности и стремления выставлены в лучезарном свете, как это бывает почти всегда и с людьми и с порядками, с которыми современники расстаются навсегда. В самом упоении славой и на первых же порах общего одушевления Тургенев почувствовал, что есть опасность продолжать такие же отношения к отжившему времени и далее. Благоуханный цветок, выросший на этой почве и возбуждавший всеобщий восторг, мог свидетельствовать еще и в пользу ее плодородности, чего Тургенев, будучи жарким сторонником грядущих реформ, боялся всего более. Следовало напомнить энтузиастам романа, что характеры, завязка и развязка его, при всей их верности и искусстве обрисовки, зиждутся все-таки на обеспеченном состоянии лиц, огражденных крепостным режимом от труда и богатых досугом, который они и употребили на изумительную обработку своего внутреннего мира. Случай помог Тургеневу найти подходящий сюжет.

Прожив с нами часть зимы 1858/59 года, Тургенев не раз читал нам по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной повести некоего г. Катранова (псевдоним, как объяснял сам Тургенев *), удивляя нас своим участием к произведению, не заслуживающему никакого внимания. Имя это имеет, однако же, право на упоминовение ого в воспоминаниях о Тургеневе, так как господин, носивший его, внушил Тургеневу идею романа «Накануне». Повесть Катранова, озаглавленная «Московское семейство», изображала пожилого немца, мучившего свою подругу, добродушную старушку Аграфену Степановну, и дочь от них, прелестную барышню, Катерину, которая не любила отца за грубое обращение с матерью. Дочь эта оказалась еще хорошей музыкантшей и очаровательной певицей. Повстречавшись на прогулке в окрестностях Москвы с молодым болгарином, Николаем Каменским, приехавшим для образования себя в Московский

---

* В приложении или в предисловии, которое явилось в 3-м издании его сочинений (1880 год). Там повесть приписывается молодому человеку, по фамилии Каратееву, который рассказал событие, с ним самим случившееся в Москве, передал свой рассказ Тургеневу для обделки, сознавая свою неспособность, и отправился с орловским ополчением в 1855 году в Крым, где и умер. Катрановым назывался сам герой его повести, переименованный им в Николая Каменского, — фамилию, мало напоминавшую его болгарское происхождение. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

университет, и распознав в ном сразу честную, серьезную натуру, влюбилась в него; но он, но врожденной дикости, сторонился от нее. С помощью пения и музыкальных упражнений она скоро успела развить в нем привязанность к себе, вполне уничтожив его застенчивость и неповоротливость. Затем автору достаточно было трех полустраничек, чтобы поразить болгарина злой чахоткой в Москве, выслать его в Италию и там уморить, да и этого еще было мало. На тех же страничках автор помещает еще велеречивое предсмертное письмо болгарина к Катерине, которая получила его уже в Париже, куда выпросилась у отца для окончания своего музыкального образования, сулившего старику изрядные барыши в недальнем будущем. Вместе с письмом Каменского получено было в Париже и известие о кончине ее матери. Все, что любила Катерина, разом уничтожилось вместе с планами ее явиться к больному в Италию и утешить его последние минуты своим присутствием. Повесть кончалась передачей факта, сухо, как обыкновенно кончаются рассказы, имеющие в виду изобразить «истинное происшествие», но вот из каких слабых, едва намеченных штрихов создавалась в уме Тургенева сочная картина, развивающаяся в его «Накануне» и украсившая собою второй № «Русского вестника» на 1860 год.

Мы уже знаем, что она начата была в июне предыдущего года, в Виши. Война франко-итальянская формально уже кончилась тогда; но она продолжалась с тайным содействием министерства короля сардинского, на море и на суше, ибо могущество Австрии не было сломлено окончательно в Италии. Виллафранкский трактат оставлял Австрии еще большое влияние на Апеннинском полуострове, устранить которое приходилось уже Гарибальди высадкой в Неаполь и возмущением Сицилии; да император французов не желал и слышать о поколебании римского владычества папы. Италия доделывала то, что Наполеон оставил полуконченным, и притом доделывала на свой страх, не справляясь с видами и намерениями своего покровителя. Некстати медлительный и некстати решительный, Наполеон думал только о том, чтобы пожать новые лавры перед публикой в своем отечестве. Войска, участвовавшие в итальянской кампании, стягивались в Париж, где император готовил им колоссальный смотр — une révue monstre, имевший все подобие триумфа старых

кесарей Римской империи. От этого триумфа именно Тургенев и бежал сперва в Виши, а потом в Куртавнель. От природы Тургенев был ненавистником всего деланного, официально праздничного, декоративного — без теплоты и сердечного участия. Письма его от этой эпохи наполнены восторженными восклицаниями: evviva Italia, evviva Garibaldi *, которые он считал еще революционными возгласами, как оказывается, да еще насмешками и ироническим отношением к французам и к их национальному безмерному самолюбию, к их самообожанию. Кстати заметить, что он был далек в это время от поклонения гению Франции и, напротив, не признавал за ним и тех заслуг, какие оказали европейской цивилизации лучшие ее умы. 22(10) июня 1850 получено было от него из Виши письмо, в котором заключались, между прочим, и следующие строки:

«Соллогуба дернуло перевести «Дворянское гнездо» для «Revue Contemporaine» — гнусный журнальчик, — но я отклонил такую великую честь. Все французское для меня воняет, и уж, коли выбирать, лучше возиться с французскими *épiciers* **, чем с французскими *beaux esprits* ***. Я живу в Виши в скромном отеле, где вижу за table d'hot'ом несколько французских *épiciers*: особенно один из них пленителен. Он убежден, что русские мужики продают своих детей — «pour le sérail du Grand Kan des Tartares, monsieur!» (в сераль великого хана Тартарии, государь мой!) — и прибавляет: «Ah, monsieur! quelle sale chôse que le religion de Mâhomet ****». Я, разумеется, его не разуверяю. Здешние мужички сильно ругаются и употребляют необыкновенно замысловатые выражения. Недавно одна из них при мне говорила своему двухлетнему сыну: «*Satané bougre d'anisette* [12]». Удивительное сцепление идей. А что скажете, П. В.? Можно кричать: Evviva l'Italia! Evviva Garibaldi! — черт возьми — Evviva Napoleone *****. Напишите мне непременно и немедленно в Париж poste restante; в Виши вам

* Да здравствует Италия, да здравствует Гарибальди (*ит.*).
** лавочниками (*фр.*).
*** остроумцами (*фр.*).
**** Ах, сударь! Какая грязная вещь религия Магомета (*фр.*).
***** да здравствует Наполеон (*ит.*).

писать нечего — остаюсь здесь 25 дней, а письмо мое доползет до вас, в Simbirsk, не раньше месяца».

Анекдоты о пленительном épicier и о ругающейся матроне могли быть и вымышлены, но они показывают, как тогда смотрел Тургенев на французскую культуру и как относился к стране, которую так любил впоследствии. Замечательно, что относительно результатов французско-германской войны Тургенев спустя 10 лет обнаруживал то же нерасположение к французам, как и тогда, что ясно видно из тогдашних его писем о событии в «С.-Петербургские ведомости». С приятелями и втихомолку он говорил просто: французы возмущены *невежливостью* немцев, решившихся вырвать победу из рук непобедимой нации и публично осрамить ее тем перед светом.

Юмористическое настроение, привитое Тургеневу плагиатами Наполеона III из императорского Рима, длилось более месяца. Так, в письме своем от 1(13) августа 1859, носившем штемпель «Rosoy en Brie», что доказывало переезд автора его из Виши в Куртавнель — дачу г-жи Виардо, заключаются целые фразы на латинском диалекте, как бы единственно пригодные для выражения его мыслей в годину такого величественного военного праздника! Я оставил в этом письме похвальные отзывы Тургенева о моей корреспонденции, выпущенные во всех других, потому что шутливый тон письма много ослабляет их пафос, а во-вторых, и потому, что пристрастие и слабость ко мне составляли у него род физиологического признака, во всяком случае довольно любопытного. Прозвище «ненавистник либерализма» я получил от Тургенева за сочувственное мнение о некоторых обличительных страницах известного германиста и этнографа Риля, направленных против гуманного либерализма немцев в его известной книге. Описание самой комнаты, где жил наш автор, на даче г-жи Виардо, составляет биографическую подробность, не лишенную своего рода занимательности. Вот это письмо целиком:

«Куртавнель, 1 (13) августа 1859.

Ай да умница П. В.! Какие большие и милые письма пишет! Нельзя не погладить по головке и не сказать спасибо! С истинным наслаждением прочел я ваши поучительные и занимательные странички, прочел не в Париже,

а здесь, в деревне г-на В<иардо>, где я нахожусь теперь и где останусь еще месяц, до отъезда в Россию. Ибо я — хотя это вам покажется невероятным — к 14 (26) числу сентября, то есть к Никитину дню, то есть к храмовому празднику в моей деревне, то есть к прилету вальдшнепов, буду, если останусь в живых, в Спасском, и это так верно, что я вас прошу отвечать на это письмо числа 21 не инако, как: Орловской губер. в г. Мценск. Дела мои идут порядочно, то есть болезнь меня не мучит (много помогли воды в Виши) и работа подвигается, надеюсь к половине ноября привезти в Москву из деревни (где я буду сидеть взаперти до того времени) роман, который объемом будет больше «Дворянского гнезда». Каков он будет в исполнении — это ведают одни боги. Я должен вам сказать, что я так постоянно занят своим произведением — даже тогда, когда ничего не делаю, — что мне почти нечего сообщать приятелю: я ничего не знаю и наведаю, в строгом значении этого слова. Знаю, что завтра происходит в Париже великое преториански-цезарское празднество, что все улицы Парижа перерыты, везде наставлены триумфальные ворота, венецианские мачты, статуи, эмблемы, колонны, везде навешаны знамена и цветы: это император будет держать *аллокуцию* в цесарско-римском духе своим militibus (воинам); так что *maxita similitudo invenire debet между Galliam hujusce temporis et Roman Trajani necnon Caracallae et alioram Heliogabalorum.* (Разительное сходство должно возникнуть между Францией нынешнего времени и Римом Траяна, а также Каракаллы и разных других Гелиогабалов.) Боюсь продолжать латинскую речь, не знаю, поймете ли вы ее, ученый друг мой, ненавистник либерализма. Я, разумеется, бежал из Парижа в то самое время, как сотни поездов со всех концов Европы, с свистом и треском, мчали тысячи гостей в *центр* мира; всякое военное торжество *ist mir ein Greuel* (возмущает мою душу), подавно это: будут штыки, мундиры, крики, дерзкие sergeants de ville * и потом облитые адъютанты, будет жарко, душно и вонюче — connu, connu!.. ** Лучше сидеть перед раскрытым окном и глядеть в неподвижный сад, медленно мешая образы собственной фантазии с воспоминаниями далеких друзей и далекой родины. В комнате

---

* полицейские (*фр.*).
** знакомо, знакомо!.. (*фр.*).

свежо и тихо, в коридоре слышны голоса детей, сверху доносятся звуки Глюка... Чего больше?

Риля я читал с наслаждением и с чувством, подобным вашему чувству, хотя по временам честил его филистером. Гуттена по вашей рекомендации прочту и привезу вам его портрет *. За описание провинциального брожения, сверху кислого, в середине пресного, внизу горького-горячего — нижайшее спасибо. Вы мастер резюмировать данный момент эпохи (говоря по-русски!)

Из русских за границей я видел только вашего бывшего киссингенского товарища, Елисея Колбасина; Боткин тайком пробрался в Англию, кажется на остров Уайт, и не дает знать о себе. Коты так пробираются украдкой по желобам крыш. Изредка попадаются мне русские журналы; жаль, «Русского слова» Никто не выписывает. Говорят, Григорьев написал обо всех нас статью прелюбопытную [22].

Надеюсь, что вы зиму проведете в Петербурге; я постараюсь не иметь никаких *ларингитов,* и авось не так нам будет скучно, как в прошлом году. А впрочем, наши, батюшка, годы такие, что нечего думать от скуки уйти. Хорошо еще, что глаза не отказываются, зубы не падают. Я месяц намерен провести в Москве, так как мой роман явится у Каткова. Сговоримтесь и проведем этот месяц вместе.

Какая каша происходит в Италии! Вот где бы хорошо провести с месяц. Одно беда: пожалуй, досада возьмет нашего брата, исконного з р и т е л я, — и заставит сделать какую-нибудь глупость. Вдруг закричишь: viva Garibaldi! или a basso... ** кого-нибудь другого — и, глядь, с трех сторон розги хлещут но спине. В молодые года это только кровь полирует; под старость стыдно, или, как говорил при мне один отечески наказанный мужик лет пятидесяти: «Оно не то что больно, а перед бабой зазорно». У пас с вами бабы нет, а все — зазорно.

Satis! *** Преторианский воздух на меня действует — не могу не говорить по-латыни. Ad diabolum mitto mul-

---

* Биографический очерк Гуттена, составленный Страусом в отдельной брошюре. Книга Риля озаглавлена: «Land und Leute», I Band (Rieh), Naturgeschichte des Volkes). (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** долой... (*ит.*).

*** Довольно! (*лат.*).

tas res, quarum denominationes sunt ad pronunciandum difficiles. Vale et me ama. I. Turgenevius» *.

В оценке «Накануне» публика наша разделилась на два лагеря и не сходилась в одном и том же понимании произведения, как то было при «Дворянском гнезде». Хвалебную часть публики составляла университетская молодежь, класс ученых и писателей, энтузиасты освобождения угнетенных племен — либеральный, возбуждающий тон повести приходился им по нраву; светская часть, наоборот, была встревожена. Она жила спокойно, без особенного волнения, в ожидании реформ, которые, по ее мнению, не могли быть существенны и очень серьезны — и ужаснулась настроению автора, поднимавшего повестью страшные вопросы о правах народа и законности, в некоторых случаях, воюющей оппозиции. Вдохновенная, энтузиастическая Елена казалась этому отделу публики еще аномалией в русском обществе, никогда не видавшем таких женщин. Между ними — членами отдела — ходило чье-то слово: «Это «Накануне» никогда не будет иметь своего завтра». Повесть, однако же, дождалась своего завтра — и притом кровавого — через 17 лет, когда в самой Болгарин русская кровь лилась ручьями за спасение этой несчастной землицы. Многим из возражателей Тургенева казалось даже, что повесть, несмотря на свои русские характеры, яркие черты русского быта и мнения, способные возникать только на нашей почве, вроде выходок Шубина, афоризмов Уара Ивановича, принадлежит очень опытному, смышленому и талантливому *иностранному* перу. Почти тотчас после прибытия моего из деревни я получил от Тургенева в Петербурге довольно странную записочку:

«Четверг, вечером.

Любезнейший П. В. Со мной сейчас случилось преоригинальное обстоятельство. У меня сейчас была графиня Ламберт с мужем, и она (прочитавши мой роман) так неопровержимо доказала мне, что он никуда не годится, фальшив и ложен от А до Z, — что я серьезно

* Посылаю к черту многие вещи, наименования которых не удобны для произнесения. Прощай и люби меня. И. Тургенев (*лат.*).

думаю, не бросить ли его в огонь? Не смейтесь, пожалуйста, а приходите-ка ко мне часа в три — и я вам покажу ее написанные замечания, а также передам ее доводы. Она, без всякого преувеличения, поселила во мне отвращение к моему продукту — и я, без всяких шуток, только из уважения к вам и веря в ваш вкус, не тот же час уничтожил мою работу. Приходите-ка, мы потолкуем — и, может быть, и вы убедитесь в справедливости ее слов. Лучше теперь уничтожить, чем впоследствии бранить себя. Я все это пишу не без досады, но безо всякой желчи, ей-богу. Жду вас и буду держать огонь в камине. До свидания. Весь ваш И. Т.»[23].

Огонь в камине оказался не нужен. Через полчаса размышления сообща, автор убедился сам, что непривычка к политическим мотивам в художническом деле была одна из причин недовольства его критика, — точно так же, как заявленная критиком невозможность допустить увлечения болгарской идеей на Руси и особенно в женском сердце породила все те упреки в несообразностях, резкостях и преувеличениях, какие пришлось выслушать от него автору с глазу на глаз. Графиня Ламберт была женщина чрезвычайно умная и чуткая к красоте поэзии, но, как большинство развитых русских женщин, не любила, чтобы искусство искало помощи и содействия политики, философии, чего-либо постороннего, хотя бы даже науки вообще. «Накануне» было, таким образом, спасено и явилось в свое время и на назначенном ему месте. В течение недолгого нашего разговора с автором мне все казалось, что уничтожения романа не желал и он сам, что он обратился к постороннему человеку с целью иметь третье, не заинтересованное в деле лицо, на которое можно бы было при случае сослаться.

С появлением «Накануне» начались для Тургенева серьезные неприятности и прежде всего формальный разрыв с издателями «Современника». Полемика, возникшая позднее по поводу разрыва, преувеличила его размеры в такой степени, какой он сначала вовсе не имел. Несомненно, что Некрасов желал иметь повесть в своем журнале по многим причинам и прежде всего по ее либеральному содержанию, а затем и потому, что вторичное появление Тургенева в «Современнике» и на таком близком расстоянии (1859 — 1860 г.) укрепило бы в публике мнение о его намерении принадлежать этому изданию пре-

имущественно перед другими. Уговоры и обольщения, пущенные в ход Некрасовым для этой цели, не имели влияния — Тургенев оставался непреклонен. Однажды утром Некрасов явился к автору с денежными предложениями; Тургенев и в этот раз отринул предложение, прибавив, что повесть уже обещана другому и он сам не имел более на нее никаких прав. Через несколько дней он присоединил к отказу новое огорчение, потребовав в конторе «Современника» полного расчета за все старое время. Надо заметить, что с года основания журнала (с 1847 года), и даже прежде, существовали между ними счеты дружеского характера, которые потом возросли и запутались до того, что Тургенев уже и не знал, под бременем какого долга он состоит у Некрасова или у журнала. В течение 12—13 лет он брал у них деньги, выплачивая то своими сочинениями, то наличными суммами и не справляясь о равновесии уплат с займами. Можно думать, что это неведение коммерческой стороны дела под конец ему надоело. Другая сторона не торопилась исполнить его просьбу, может быть, и потому, что понимала выгоду, какую имеет всякий кредитор держать в некоторого рода зависимости своего должника. Но это уже был не старый Тургенев, которого все знали и который легко мог поддаться на всякую ловушку, а другой, гораздо более настойчивый и твердый. Так как он, видимо, не хотел более возвратиться к домашнему, безотчетному ведению своего литературного бюджета, то счет был представлен. Безропотное, покорное очищение его сделалось именно сигналом полного разрыва между старыми друзьями — Тургеневым и Некрасовым.

Справедливость наших слов о том, что не разность мнений была первой причиной разрыва с «Современником», а отказ Тургенева отдать в журнал новую свою повесть и прекратить вообще свои вклады в него, подтверждается и словами самого Тургенева. Я получил от него из села Спасского от 23 октября 1859 года письмо, из которого предлагаю здесь следующие выдержки:

«Теперь несколько объяснений:

1) Конченная повесть (название ей *по секрету* «Накануне») будет помещена в «Русском вестнике) и нигде иначе. Это несомненно — und damit Punctum *.

---

* и на этом точка (*нем.*).

2) «Библиотека для чтения» знает, что у меня повести готовой *нет,* но что я постараюсь и надеюсь написать хоть небольшую вещь для нее.

3) Во время проезда через Петербург Некрасов явился ко мне и, сказав, что знает, что моя повесть будет в «Русском вестнике», просил хоть чего-нибудь и позволения напечатать, что я им дам что-нибудь — новое какое-нибудь произведение. К этому он прибавил местоимение: *свое,* и вышло, что я им даю *свое новое произведение.* Но кроме этих трех слов они от меня ничего не получат.

Кажется, довольно объяснений. Перехожу к другому.

Рад я очень утверждению литературного фонда и очень бы желал быть в Петербурге к 8 ноября, но у меня *та же самая болезнь,* как в прошлом году; я нем, как рыба, и кашляю, как овца. В прошлом году эта штука продолжалась 6 недель, а здесь и докторов нет... Я не теряю надежды хоть к 20 ноября быть в Петербурге — и тогда, разумеется, по примеру «Дворянского гнезда», первый прочтете мою повесть — вы. Я теперь не имею никакого суждения о том, что я произвел на свет: кажется эротического много. Шатобрианом пахнет... Коли не выгорело, брошу — не без сожаления, но с решительностью. Теперь уже нельзя... в грязь садиться: это позволительно только до 30 лет...

А я теперь занят общим пересаживанием крестьян на оброк. Дядя — спасибо ему! — не потерял времени, размежевался и переселил крестьян, так что они теперь сами по себе, и я сам по себе. Оброк назначался по 3 руб. сер. с десятины, разумеется безо всяких других повинностей. Но леса истребляются страшно — все продают, пока их не раскрали.

Скучно мне, любезный П. В., не быть в Петербурге. Сидел бы в своей комнате, у Вебера, а то здесь живого лица не увидишь. Надо терпеть — а кисло.

Толстой был у меня недели две тому назад, но мы с ним не ладим — хоть ты что! Впрочем, вы, вероятно, имеете о нем известия.

Прощайте... Жму вам крепко руку и кланяюсь всем приятелям. Преданный вам И. Т.».

Постоянные пикировки между Тургеневым и Толстым привели их обоих чуть не к формальному обмену пулями, о чем будем говорить скоро. Теперь же мы видим, что, по мысли Тургенева, разрыв с «Современником» был окон-

чательный, и произошел он из намерения его раз навсегда высвободиться из кабалы, в которую попал и которая продолжалась долее, чем можно было терпеть, чего Некрасов, с своей стороны, никак не хотел понять.

Но оставалась еще публика. С ней надо было обращаться осмотрительнее. В последнее время «Современник», благодаря искусству своей редакции, получил громадное влияние и распространение. По голосу его уже с 1858 года стали формироваться в литературе мнения и убеждения, которые следовало беречь и не возмущать никаким подобием мелкого расчета. Все шло по-прежнему тихо и прилично. Знаменитая, более остроумная и блестящая, чем неотразимо убедительная речь Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», сказанная им в январе 1860 года на вечере литературного фонда, явилась, по обыкновению, на страницах «Современника». Почти вслед за нею Тургенев еще побывал в Москве, повторив свою речь тоже на вечере литературного фонда; добился еще для А. Н. Островского позволения публично прочесть отрывок из комедии «Свои люди — сочтемся», которая много возмущала петербургскую цензуру и дозволена была московскою без особого затруднения. Тургенев выслал в комитет литературного фонда, как результат устроенного им чтения, 1220 р. 50 к., прибавляя: «Комитет должен быть доволен мною». По возвращении в Петербург оп прожил еще там до мая месяца и уехал, как назначал сам, сперва в Париж. Русская переписка наша тоже прекратилась или перешла на иностранную почву, ибо спустя месяц и я уехал в Италию. Между тем приближалось для «Современника» время подписки, и являлась необходимость объяснять читателям, почему один из четырех главных сотрудников журнала удалился вовсе из редакции. Надо было подготовить умы к известию о разрыве, и дело началось издалека запоздалым разбором «Рудина», поразившим и огорчившим автора романа. Я убедился в этом из парижского письма Тургенева, полученного в Петербурге 8 октября 1860 года, когда я уже опять был дома. Письмо гласило:

«Париж. 12 октября н. с., 1860.

...Скажу вам несколько слов о себе. Я нанял квартиру в Rue de Rivoli, 210, и поселился там с моей дочкой и прекраснейшей англичанкой-старушкой, которую бог

помог мне найти. Намерен работать изо всех сил. План моей новой повести[24] готов до малейших подробностей — и я жажду за нее приняться. Что-то выйдет — не знаю, но Боткин, который находится здесь... весьма одобряет мысль, которая положена в основание. Хотелось бы кончить эту штуку к весне, к апрелю месяцу, и самому привезти ее в Россию. «Век» должен считать меня в числе своих серьезнейших неизменных сотрудников. Пожалуйста, пришлите мне программу, а я в свободные часы от моей большой работы буду писать небольшие статейки, которые постараюсь делать как можно интереснее.

Спасибо, батюшка, за книги... И за 40 руб., данных беспутному двоюродному братцу, — благодарю. «За все, за все тебя благодарю я»[25]. Этот сумасшедший брандахлыст, прозванный у нас в губернии Шамилем, прожил в одно мгновение очень порядочное имение, был монахом, цыганом, армейским офицером, а теперь, кажется, посвятил себя ремеслу пьяницы и попрошайки (см. рассказ Тургенева от 1881 года «Отчаянный»). Я написал дяде, чтобы он призрел этого беспутного шута в Спасском. Что же касается до 100 р. сер., пусть вам заплатят издатели «Века», а я им это заслужу ранее месяца.

Сообщите прилагаемую записку Ив. Ив. Панаеву. Если бы он хотел узнать настоящую причину моего нежелания быть более сотрудником «Современника», попросите его прочесть в июньской книжке нынешнего года, в «Современном обозрении», стр. 240, 3-я строка сверху, пассаж, где г. Добролюбов обвиняет меня, что я преднамеренно из Рудина сделал карикатуру, для того чтобы понравиться моим *богатым* литературным друзьям, в глазах которых всякий бедняк мерзавец[26]. Это уже слишком — и быть участником в подобном журнале уже не приходится порядочному человеку.

Пристройте, то есть помогите пристроить через Егора Ковалевского (которому кланяюсь дружески) Марковича (мужа г-жи Марко Вовчок).

Жена его здесь, не совсем здорова и грустит. Но это пройдет, и она оправится. А главное, она без гроша. Хотя муж ей посылать не будет, но если у него будет порядочное жалованье, так он по крайней мере не будет ее грабить. Макаров еще здесь, но скоро возвращается.

Бедный, благородный Николай Толстой скончался в Hyéres'e. Его сестра там зимует, и Лев Николаевич еще там.

Ну, прощайте. Целую вас в уста сахарные и жду ответа. Кланяйтесь всем приятелям... Что делает бедный (Я. П.) Полонский. (У Полонского скончалась в это время первая его жена.) Преданный вам И. Т.».

* * *

Характеристика Рудина была предшественницей характеристики Базарова, которую сделал другой рецензент в разборе «Отцов и детей», тоже напечатанном в «Современнике» [27].

Полунасмешливая, полувызывающая записочка Тургенева к И. И. Панаеву была следующего содержания:

«1 (13) октября 1860.

Любезный Иван Иванович. Хотя, сколько я помню, вы уже перестали объявлять в «Современнике» о своих сотрудниках и хотя, по вашим отзывам обо мне, я должен предполагать, что я вам более не нужен, однако, для верности, прошу тебя не помещать моего имени в числе ваших сотрудников, тем более что у меня ничего готового нет и что большая вещь, за которую я только что принялся теперь и которую не окончу раньше будущего мая, уже назначена в «Русский вестник».

Я, как ты знаешь, поселился в Париже на зиму. Надеюсь, что ты здоров и весел, и жму тебе руку. Преданный тебе Ив. Тургенев. Париж. Rue de Rivoli, 210» *.

---

* По получении обоих писем я тотчас же обратился тогда за справками, ибо, пробыв некоторое время за границей, упустил множество журнальных явлений. Сомнение в том, что Тургенев как обиженный человек мог преувеличить смысл места, на которое указывал, было тоже одной из причин поверки его цитаты. Указываем здесь, например, статью, из которой читатель может увидеть, что Тургенев даже и не достиг еще того пафоса, в котором написана статья. Критик разбирал переводную книгу американца Готорна «Собрание чудес — повести из «мифологии» («Современник», в отделе «Русская литература», июнь, № 6, 1860 год) и, оставшись недоволен попыткой автора придать нравственный оттенок сказаниям мифологии, в числе разных доказательств своего мнения ссылается и на Рудина. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

Письмо осталось в моих бумагах. Я не отослал его по адресу из одного соображения: при разгоравшейся ссоре не следовало подкладывать еще дров и раздувать пламя[28]. Но я ошибся. Редакция «Современника» решилась довести дело до конца. В объявлении о подписке и в особой статье[29] она сообщала подписчикам своим, что принуждена была отказаться от участия и содействия автора «Записок охотника» по разности взглядов и убеждений и уволить его от сотрудничества в журнале[30]. Удар был верно рассчитан. Он возмутил Тургенева, имевшего все доказательства противного, возмутил более, чем все выходки «Свистка», образовавшегося при журнале, более чем всякие другие уколы, рассеянные на страницах журнала, как, например, тот, где говорилось о модном писателе, следующем в хвосте странствующей певицы и устраивающем ей овации на подмостках провинциальных театров за границей. Тургенев решился публично опровергнуть такое известие[31], и вот что говорит он в своей статейке по поводу «Отцов и детей» (1868—1869) (см. посмертное издание 1883 года, стр. 118): «Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на вас клевету; не старайтесь разъяснить недоразумения, не желайте — ни сами сказать, ни услышать *последнее слово.* Делайте свое дело, а то все перемелется... Пусть следующий пример послужит вам в назидание; в течение моей литературной карьеры я только однажды попробовал «восстановить факты». А именно: когда редакция «Современника» стала в объявлениях своих уверять подписчиков, что она отказала мне по негодности моих убеждений (между тем как отказал ей я, несмотря на ее просьбы — на что у меня существуют письменные доказательства), я не выдержал характера, я заявил публично, в чем было дело, и, конечно, потерпел полное фиаско. Молодежь еще более вознегодовала на меня... «Как смел я поднимать руку на ее идола! Что за нужда, что я был прав? Я должен был молчать». Этот урок пошел мне впрок...»

Но если Тургенев каялся в своем вмешательстве в дело, касавшееся до него лично, то еще в сильнейшей степени раскаивался и Некрасов в том, что начал его так смело и решительно. Правда, что, благодаря необыкновенной даровитости своих главных журнальных сотрудников и приобретенной ими чрезвычайной популярности, он торжествовал долгое время победу на всех пунктах. Но все это не мешало Некрасову сознавать грехи своей поле-

мики. Когда составитель краткой биографии Тургенева, приложенной к I тому посмертного издания его сочинений 1883 года, указал Некрасову еще в 1877 году, незадолго до его смерти, некоторые черты этой полемики, то получил от него в извинение замечание, будто он тут без вины виноват и, находясь на охоте, не думал вовсе о статьях «Современника». Не знаем, насколько подобное оправдание может быть принято от редактора влиятельного журнала, знаем только, что обращение к подписчикам состоялось с его согласия и под его влиянием. Гораздо откровеннее был Некрасов со мной лично, когда однажды, возвращаясь поздно ночью от кого-то, он мне неожиданно сказал: «Я вас уважаю особенно за то, что вы не сердитесь, как другие, за выходки «Свистка» против наших литераторов. Могу вас уверить, что я серьезно думаю положить им конец». Но «Свисток» процветал и после того еще пуще, кажется, чем прежде. Несколько дней спустя после замечания Некрасова он сам приехал утром ко мне и целый час говорил в кабинете о постоянном присутствии образа Тургенева перед глазами его днем и особенно ночью, во сне, о том, что воспоминания прошлого не дают ему, Некрасову, покоя и что пора кому-нибудь взяться за их примирение и тем покончить эту безобразную (так он выразился) ссору. Но Тургенев уже не походил на человека, с которым легко помириться по слову постороннего, третьего лица. Когда я передал ему в письме весь происходивший у нас разговор, он отвечал ссылкой и указанием на новую выходку против него в «Современнике» и более не заикался о предмете. Говоря вообще, никто яснее Некрасова не видел собственных проступков и прегрешений и никто не следовал так постоянно по раз выбранному пути, хотя бы и осужденному его совестью. Это была странная настойчивость, которую подчас он старался искупить великодушием и готовностью на многочисленные жертвы. Можно сказать, что он всю жизнь состоял под настоятельной потребностью самоочищения и искупления, не исправляясь от грехов, в которых горячо каялся. Примирение между врагами произошло только тогда, когда Некрасов уже одной ногой стоял в гробу [32].

Второй эпизод из жизни Тургенева, немало огорчавший его, относится к тому же времени — литературное недоразумение с романистом-художником Иваном Александровичем Гончаровым [33] — не заслуживал бы и рас-

сказа, если бы не авторитетные имена обоих участников этого спора. Впрочем, мы ограничимся только передачей третейского суда, потребованного Тургеневым, который во всем этом деле усмотрел намерение объявить успех «Дворянского гнезда» и «Накануне» приобретенным неправильно. Дело, без сомнения раздутое услужливыми приятелями, заключалось в следующем. По возвращении из кругосветного своего путешествия или даже и ранее того И. А. Гончаров прочел некоторую часть изготовленного им романа «Обрыв» Тургеневу и рассказал ему содержание этого произведения. При появлении «Дворянского гнезда» Тургенев был удивлен, услыхав, что автор романа, который впоследствии явился под заглавием «Обрыв», находит поразительное сходство сюжетов между романом и его собственным замыслом, что он и выразил Тургеневу лично. Тургенев в ответ на это, согласно с указанием И. А. Гончарова, выключил из своего романа одно место, напоминавшее какую-то подробность — и «я успокоился», — прибавляет И. А. Гончаров в объяснительном письме к Тургеневу. С появлением «Накануне» произошло то же самое. Прочитав страниц 30 или 40 из романа, как говорится в письме И. А. к Тургеневу от 3 марта 1860 года, он выражает сочувствие автору: «Мне очень весело признать в вас смелого и колоссального артиста», — говорит он, но вместе с тем письмо заключало в себе и следующее:

«Как в человеке ценю в вас одну благородную черту — это то радушие и снисходительность, пристальное внимание, с которым вы выслушиваете сочинения других, и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок все из того же романа, который был вам рассказан уже давно, в программе». Вслед за письмом стали распространяться и расти в Петербурге слухи, что оба романа Тургенева суть не более как плагиат неизданной повести Ивана Александровича. Эти слухи, разумеется, скоро дошли до обоих авторов, и на этот раз Тургенев потребовал третейского суда. И. А. Гончаров соглашался подчиниться приговору такого суда на одном условии, чтобы суд не обратился к следственной процедуре, так как в последнем случае юридических доказательств не существует ни у одной из обеих сторон, и чтобы судьи выразили свое мнение только по вопросу, признают ли они за ним, Гончаровым, право на сомнение, которое может зародиться и от внешнего, поверхно-

стного сходства произведений и помешать автору свободно разработывать свой роман. На одно замечание Тургенева Гончаров отвечал с достоинством: «На ваше предположение, что меня беспокоят ваши успехи — позвольте улыбнуться, и только». Эксперты, после выбора их, собрались наконец 29 марта 1860 в квартире И. А. Гончарова — это были: С. С. Дудышкин, А. В. Дружинин и П. В. Анненков — люди, сочувствовавшие одинаково обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени. После изложения дела, обмена добавлений сторонами замечания экспертов все сводились к одному знаменателю. Произведения Тургенева и Гончарова как возникшие на одной и той же русской почве должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. И. А. Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов. Не то, однако же, случилось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненной бледностью; он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее. Я помню каждое его слово, как и выражение его физиономии, ибо никогда не видел его в таком возбужденном состоянии. «Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено; но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мне ясно, какие опасные последствия могут являться из приятельского обмена мыслей, из простых, доверчивых связей. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня». И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты. Заседание наше тем самым было прекращено. Позже они помирились, в 1864 — при похоронах одного из экспертов, именно А. В. Дружинина. Во время самой заупокойной обедни на Смоленском кладбище перед раскрытым гробом журналиста произошло это примирение, которое, к сожалению, все же не могло восстановить вполне прежних добрых их отношений.

Третий эпизод из жизни Тургенева касался уже весьма близкого к нему лица — гр. Л. Н. Толстого, но об этом будет сказано ниже.

II

В мае 1860 я уехал за границу. Русским туристам должно быть известно чувство, которое весной тянет их далеко от намеченных целей, — туда, где больше солнца, где природа деятельнее и цветущее. Это случилось и со мной. Приехал я в Берлин, посмотрел из гостиницы на чахоточную растительность его «Unter-den-Linden», съездил в голый, еще не распустившийся «Thiergarten» — и мною овладела жажда тепла, света, простора: вместо Лондона и свидания с приятелями, я направился в северную Италию, где у меня никого не было. Этот внезапный поворот вызвал гомерический хохот у Тургенева. Я получил от него уже в Женеве письмо из Парижа, от 23 мая 1860. «Первое чувство, — пишет он, — по получении вашего письма, милейший А., было удовольствие, но второе чувство разразилось хохотом... Как? Этот человек, который мечтал только о том, как бы дорваться до Англии, до Лондона, до тамошних приятелей, примчавшись в Берлин, скачет сломя голову в Женеву и в северную Италию. Узнаю, узнаю ваш обычный Kunstgriff» *. Однако же, полагаю, что этот художнический прием не составлял особенности моей природы, а скорее совпал с тем, что постоянно происходило у моего наставника. В письме, только что приведенном, заключалось еще следующее: «Но увлеченный вашим примером, я также, вместо того чтобы съездить в Англию до начала моего лечения, которое будет в Содене, возле Франкфурта, и начнется 15 июня, думаю, не катнуть ли мне в Женеву, которую я никогда не видел, не пожить ли недельки две с неким толстым человеком — Пап. Ан.?. Итак, быть может и весьма вероятно, до скорого свидания...»

Но в Женеву Тургенев и не думал ехать, и я, проживши понапрасну, в ожидании его каждый день, целых две недели в скучном городе, выехал из него наконец в Милан. Впрочем, я еще получил письмо от Тургенева из Парижа (3 июня 1860). Он извещал, что выезжает в Соден.

* прием, манера (*нем.*).

«А я, проживши три недели в П а р и ж е , — пишет о н , — скачу завтра же в Соден. И вот вам мой план:

1. От 5 июня н. с. до 20 июля — я в Содене.

2. От 20 июля по 1 августа — я в Женеве, на озере 4-х Кантонов, на вершинах Юнг-Фрау, где угодно.

3. От 1 августа по 20 августа — на острове Уайт.

4. От 20 августа по 1 сентября — у m-me Виардо, в Куртавнеле.

А там я живу — в Париже.

Изо всего вышеприведенного вы легко можете заключить, даже не будучи Ньютоном или Вольтером, что наши планы могут слиться в одно прекрасное целое и что ничего не помешает нам попорхать вместе от Женевы до Уайта. Главное, надо будет списаться: я вам пришлю из Содена мой точный адрес».

Не успели еще остыть и чернила на этих строках, как план, так настойчиво поставленный, потерпел крушение. Он изменился в сроках пребывания на избранных местах, в выборе новых, в беспричинном упразднении старых проектов, как поездки в Женеву например, и т. д. Все это увидим скоро. Теперь же прилагаем окончание письма, тоже любопытное по портретам, в нем заключающимся. Кстати, надо прибавить, что портреты Тургенева не имеют ничего общего с тем родственным, неделимым сочетанием диффамации и клеветы, какое свойственно памфлетам нашего времени, и никого оскорбить не могут. Это только незлобивое, остроумно-критическое отношение к личностям, во что обратилась его старая привычка определять их карикатурой.

«Здесь появился (В. П.) Боткин, загорелый, здоровый, медом облитый, но но без мгновенных вспышек раздражительности; так, он, зайдя ко мне, чуть не прибил моего портного за то, что он хочет мне сделать пиджак с *тальею*; портной трепетно извинялся, а Вас. Петр, with a wittering smile (с надменной улыбкой): «Mais c'est une infamie, monsieur!» (Ведь это низость, государь мой!) Толстой и Крузо здесь; здесь также и Марко Вовчок. Это прекрасное, умное, честное и поэтическое существо, но зараженное страстью к самоистреблению: просто так себя обработывает, что клочья летят! [34] Она также намерена быть в августе на Уайте. Наша коллегия будет так велика, что, право, не худо бы подумать, не завоевать ли кстати этот остров? Кстати, если вы не

отыскали, то отыщите в Милане Кашперова и поклонитесь ему от меня. Его легко сыскать — спросите в музыкальных магазинах. Он отличный малый — и жена его милая и умная женщина.

До свидания, лобзаю вас *в верх* головы, как говорит Кохановская. *А-пропо̀*! * Катков обайбородил Евгению Тур за письмо к нему по поводу Свечиной. Вот междуусобица. Ваш И. Т.».

В этом письме останавливают внимание оживленные похвалы г-же Маркович (Марко Вовчку). Он был с нею в то время в самых приятельских отношениях и сделал путешествие с нею и молодым ее сыном в Берлин в почтовой бричке, где они сидели втроем. Железной дороги до Берлина тогда еще не существовало. Тургенев с уморительным юмором рассказывал потом, как резвый мальчик сидел у него всю дорогу на руках, на ногах и спал на шее. В Париже он поместил мальчика в пансион и неустанно покровительствовал его матери. Марко Вовчок принадлежала к кругу малороссов, с поэтом Шевченкой во главе, — кругу, который с журналом «Основа» значительно увеличился и приобрел видное положение в обществе. Тургенев сочувствовал его стремлениям, имевшим целью поднять язык своей страны, развить ее культуру и поставить ее в дружеские, а не подчиненные только отношения к великорусской культуре. Он искал знакомства с поэтом Шевченкой, высказывал искренние симпатии его прошлым страданиям и его таланту, но не разделял его увлечений. Над его привязанностью к Запорожью, казачьему удальству, к гайдаматчине он подсмеивался не раз, в приятельском кружку. Марко Вовчок была тогда в апогее своей славы за свои грациозные и трогательные повести из крепостного быта — «Украинские народные рассказы», вышедшие к тому же времени (1860) в переводе Тургенева на русский язык. С тех пор завязались у них те задушевные отношения, свидетельством которых служит его переписка и которые длились до той минуты, когда Тургенев открыл в Марко Вовчке наивную способность поглощать благодеяния как нечто ей должное и требовать новых, не обращая внимания на свои права на них. Это была удивительная натура, без нужных средств для поддержания своих привычек, но с

---

* А-пропо (*фр.* à propos) — кстати.

замечательным мастерством изобретать средства для добывания денег, что, в соединении с серьезностию, какую дают человеку труд, талант и горькие опыты жизни, сообщало особый колорит личности г-жи Маркович и держало при ней многих умных и талантливых приверженцев довольно долгое время. Тургенев пока только удивлялся ей. В декабре 1860 года он писал мне: «Марья Алекс, все здесь живет и мила по-прежнему; но что тратит эта женщина, сидя на сухом хлебе, в одном платье, без *башмаков*, — это невероятно. Это даже превосходит Б<акунин>а. В 1½ года она ухлопала 30 000 франков совершенно неизвестно куда!» Тургенев мало-помалу отвык от нее, а под конец жизни и вовсе не вспоминал о ней.

Из Болоньи я отправился в Равенну осмотреть ее древнехристианские памятники, но при этом только одна случайность помешала мне сделаться свидетелем и участником чисто итальянской черты народного быта. Я пошел в почтамт, чтобы взять единственный остававшийся свободным билет в купе, которое отправлялось в Равенну. Не помню, что помешало мне овладеть им, только я отложил свою поездку до следующего раза. Толпа итальянцев, окружающая обыкновенно все входы и выходы присутственных мест, подметила меня и, вероятно, приняла за англичанина с туго набитым кошельком. На другой день утром и был разбужен лакеем гостиницы, который сообщал мне испуганным голосом следующее: «Вы собираетесь в Равенну — будьте осторожны. Вчера бандиты остановили почтовый дилижанс и, вероятно, ограбили бы его, если бы ехавший с ними офицер не разогнал их своим револьвером». Я пошел тотчас же на разведки — билет, который был уже в моих руках, попал к офицеру итальянской армии, вероятно более меня знавшему об анархии в тогдашней Италии, только что переменившей у себя «правительство», и на всякий случай взявшему с собой заряженный револьвер. Угрозой выстрелов он и обратил в бегство мошенников, еще не приученных к ремеслу, как их собраты в Папской области. Рассчитав, что лучшего времени для вояжа и быть не может, я опять взял билет в карету, и мы благополучно достигли Равенны, сопровождаемые отрядом берсальеров с ружьями, в почтовой тележке, приданных нам администрацией для сохранения свободы сообщений; они всю ночь распевали итальянские патриотические

песни. Из Равенны я переехал в Сиену, где получил от Тургенева последнее соденское письмо, извещавшее о начавшемся разложении так хорошо обдуманного плана наших встреч. Следовало торопиться, ибо весь план этот со дня на день мог разлететься в пух и оставить меня и мой вояж без цели и результатов.

Вот письмо Тургенева:

«Соден. 8 июля 1860.

Милый П. В. Сейчас получил ваше письмо и отвечаю. Сообщаемые вами подробности очень любопытны. Что бы с нами было, если бы вас застрелили, хотя вы бы, вероятно, защищаться не стали! Но пуля — дура. Много придется поговорить с вами обо всем, что вы видели, поговорить на острове Уайте: раньше мы не увидимся. План мой потерпел маленькое изменение, о котором считаю долгом известить вас. Я остаюсь здесь до 16-го числа и еду прямо в Куртавнель, к m-me Виардо, где я пробуду до 1 августа, то есть до эпохи морских купаний на Уайте. M-me Виардо этого желает, а для меня ее воля — закон. Ее сын чуть было не умер, и она много натерпелась. Ей хочется отдохнуть в спокойном, дружеском обществе. Кстати, о смерти: вообразите, какое горестное известие получил я от Писемского. Миленькая, хорошенькая жена Полонского умерла! Я не могу вам выразить, как мне жаль и ее и его, да и вы, вероятно, разделите мою печаль. Кажется, отчего бы ей было не жить, не следовало ли Полонскому маленькое вознаграждение за все его прошедшее горе? Где же справедливость!

Мы здесь в Содене ведем жизнь чрезвычайно тихую. Здоровье мое в отличном положении; к сожалению, погода стоит прехолодная и прескверная: дожди непрерывные. Вы пишете о зное, а я в жизни так не зяб, как третьего дня, ехавши в открытой коляске из Эмса, где я посетил графиню Ламберт, в Швальбах, где поселилась М. А. Маркович (Марко Вовчок). Это очень милая, умная, хорошая женщина, с поэтическим складом души. Она будет на Уайте, и вы должны непременно сойтись с ней... Чур, не влюбитесь! Что весьма возможно, несмотря, что она не очень красива. Впрочем, мы с вами прокопченные сельди, которых ничего уже не берет. Карташевская промчалась здесь с братом и живет пока в Бонне, в Hôtel Belle-Vue; под руководством Килиана.

Она проведет там месяц, я послал ей ваш адрес. Вы можете заехать к ней, когда будете плыть но зеленоводному Рейну.

Здесь я видаюсь чаще всего с братом Льва Толстого, Николаем. Он отличный малый, но положение его горестное: у него безнадежная чахотка. Он ждет сюда брата Льва с сестрой; но бог знает — приедут ли они? Я получаю письма от Ростовцева: он на Уайте, в Вентноре. Нету слов на языке человеческом, чтобы выразить, до какой степени я здесь ничего не делаю. Пальцам больно, когда перо держишь. Неужели я занимаюсь литературой?..

Ну, прощайте. Авось после всех моих откладываемых свиданий мы увидимся в Вентноре, на Уайте. Я почему-то воображаю, что там будет очень хорошо. Будьте здоровы и старайтесь держать свой круглый и приятный подбородок над поверхностью воды. Ваш И. Т.».

* * *

Быстро промчался я на возвратном пути через северную Италию и ночевал в Милане. На другой день мы переехали Симплон. Дорога эта слишком хорошо известна путешественникам, чтобы еще описывать ее. Скажу только, что вторую ночь я ночевал во Франкфурте на Майне, третью в Кельне, а четвертую на диване пассажирского парохода, перевозившего нас через канал из Остенде. В Лондоне я застал В. П. Боткина, Тургенева и Герцена, еще не уехавшего на дачу. Мы последовали с Тургеневым за ним, когда он наконец поднялся с семейством из города. Целый день проплутали мы по разным дорогам, когда вблизи Сутсгемптона остановились, нашли дилижанс и достигли ночью пригорка с домиком на вершине его. Пригорок лежал на берегу моря и носил гордое название Eagl-nest (Орлиное гнездо). Никакого орла там не было, за исключением хозяина, радушный хохот которого встретил нас у порога и проводил в ярко освещенную залу, где уже готов был ужин. Сколько расточено было при этом рассказов, шуток, замечаний, смеха — всего передать нельзя. Тургенев провел всего два дня в Eagl-nest'e и отправился на остров Уайт — нанимать cottage, взяв с меня слово остановиться у него. Я дал ему время устроиться и через три дня явился к

нему в чистую и хорошенькую виллу, из которой скоро попросили меня, однако же, выехать. В кабинете Тургенева на письменном его столе с утра лежала записка хозяйки коттеджа, в которой она просила его противодействовать дурной привычке приезжего его сотоварища, то есть моей, — курить в ее доме папиросы. Хозяйка была диссидентка, как большинство всего населения острова. Узнав содержание записки, я предложил Тургеневу позволить мне переселиться в красивый отель на берегу моря и оставить его, таким образом, мирно и безмятежно пользоваться выгодами удобной квартиры, обещая ему являться каждый день у дверей его и не напускать более богопротивного дыма в стенах благословенного его жилища. Но Тургенев и слышать ничего не хотел. «Уступить капризу раскольницы было бы очень глупо», — говорил он. Он попросил меня подождать его возвращения, а сам надел шляпу и ушел. Когда он вернулся назад, квартира была найдена. Прелестный, чистый домик у самого купанья на море уже ожидал нас. Распорядившись переноской наших вещей, мы в нем и поселились. Мы нашли целую колонию русских на Уайте: гр. Алексея Конст. Толстого, гр. Николая Яков. Ростовцева, брата его, гр. Михаила, исследователя древнехристианского искусства Фрикена, бывшего цензора Крузе, Мордвинова, В. П. Боткина и т. д. Г-жи Маркович не было, да она, кажется, и не имела намерения исполнить обещания, данного ею Тургеневу.

Время, которое мы тогда переживали, было тревожное вообще как у нас дома, так и на Западе. Мы видели уже, как часто Тургенев восклицает в письмах evviva Garibaldi — обещая себе розгу, если услышат возглас посторонние; но положение России не вызывало никаких возгласов, а было как-то ровно грозящее и сулящее бедствия. С приближением крестьянской реформы напряженное состояние умов все увеличивалось, и сдерживать его уже не могла ни цензура министерства просвещения, изнывавшая под бременем своей ответственности, ни безответственное III отделение, боявшееся решительными мерами повредить самой мысли о преобразовании и следовавшее издали за общим волнением. Иногда оно неожиданно восставало с прежними, некогда столь страшными, угрозами против разумных требований общества, которых и разобрать правильно не могло, как то было в вопросе о сохранении за крестьянами существующего

надела, и, пристыженное, уходило опять за кулисы. Затруднения администрации еще увеличились, когда к этому же времени овладел всей образованной частью общества, всей интеллигенцией России дух реформ и жажда политической деятельности. Придирались ко всякому часто маловажному факту, чтобы раздуть его в политическое или социальное явление и сделать его предметом толков. Сам Тургенев поддался духу времени и препроводил государю императору в 1862 году письмо, в котором защищал арестованного журналиста Огрызко, уличенного в связях с польским восстанием. Журнал, им издаваемый, был запрещен [35]. Мы видели черновую этого всеподданнейшего письма, очень красноречиво составленного. Решаемся на память передать его содержание. Не зная сущности дела, Тургенев просил не о снисхождении к виноватому, а о восстановлении его во всех его правах. Письмо, между прочим, говорило, что арестованием издателя польской газеты и упразднением ее самой нарушаются великие принципы царствования, что мера потрясает надежды и доверие, возлагаемые на него русским обществом как на освободителя крестьян и как на лицо, провозгласившее с высоты престола неразрывное слияние интересов государства с интересами подданных; что он, проситель, считает своим долгом высказаться откровенно, исполняя тем, во-первых, прямую обязанность верноподданного, а во-вторых, выражая своим поступком глубокую признательность за защиту, которую государю угодно было однажды оказать самому составителю письма. Письмо, конечно, не имело никаких последствий для Тургенева и оставлено было без ответа. Тургенев рассказывал только потом, что, встретившись с государем на улице и поклонившись ему, он мог приметить строгое выражение на его лице, а в глазах прочесть как бы упрек: «Не мешайся в дело, которого не разумеешь».

Но ни один из наших импровизированных прожектеров не задавал себе тогда и мысленно никакого вопроса. Все дело казалось очень легким. Стоило только вспомнить безобразия прошлого и своей собственной жизни, противопоставить им идеалы существования, их отрицающие и всегда у нас существовавшие, — и план нового проекта был тотчас же готов. Кроме того, каждый проект обещал с принятием его эру невиданного благоденствия на земле. Канцелярии наши были завалены работами в этом смысле и не оставались в долгу у общества. Они благосклонно

относились к поголовному уничтожению всякого зла и заготовляли уже декреты, упразднявшие такое зло, около которого, однако, собирались жизненные интересы управляемых, предоставляя последним выпутываться из дела, как умеют, и не объясняя своих идей, целей, намерений. Контролирующей власти приходилось считаться так же точно с своими собратами по управлению, как и с публикой. Трудно было тогда найти человека во всей России, который ясно и отчетливо сознавал бы и предвидел результаты, какие должны, по местным условиям, выйти из приложения его планов и убеждений. В публике образовался целый класс людей, который всячески поощрял насаждение новых начал и принципов, думая, что из общего переворота выйдет сам собою обновленный строй жизни и упразднит все отребье второстепенных деятелей, их честолюбивые замыслы, их надежды на возвышение и играние ролей, незрелость их мысли. Почти то же самое думали и настоящие герои дня, те колоссы «редакционных комиссий», которые, не обращая внимания на шум, вокруг них царствовавший, и одушевленные только жаждой народной пользы, шли впереди всех твердо к своей цели — полному и обдуманному освобождению крепостных. Трагическое в их положении составляло совсем не то, что, порешив свою задачу, они обратились в простых граждан, а то, что не прошло и двух лет, как их труд, благодаря позднейшим прибавкам и отменам, дал результаты не те и ниже тех, какие от него ожидались.

Усевшись в Вентноре и одолеваемый такой праздностью, что «больно было перо взять в руки», по собственному его выражению, Тургенев задался мыслью основать общество для обучения грамоте народа и распространения в нем первоначального образования с помощью имущих и развитых классов всего государства [36]. Наскоро составлена была им программа общества и представлена на обсуждение русской колонии в Вентноре. Она подробно разбиралась по вечерам в домике Тургенева, изменялась, переделывалась и после многих прении, поправок и дополнений принята была комитетом из выборных лиц кружка. После того принялись за составление и переписку обстоятельного циркуляра, при котором должен быть выслан «проект» общества всем выдающимся лицам обеих столиц — художникам, литераторам, ревнителям просвещения и влиятельным особам, проживающим дома и за границей. Из одного этого перечня уже видно, какую

массу механической работы приняли на себя участники предприятия, но благодаря настойчивости Тургенева и их усердию работа осуществилась. Основная мысль программы, как и всех проектов того времени, поражает своею громадностью, но подобно им и грешит отсутствием практического смысла. Она молчала о путях, которыми следовало идти для создания массы учебных заведений и корпорации учителей при них, не указывала на группы людей и на центры, откуда должны были истекать распоряжения о покрытии России народными училищами, и многое другое пропускала без внимания. Можно было подумать, что программой руководила только мысль доказать нужду, полезность и патриотичность общества, а подробности его осуществления предоставить ему самому, как именно и полагал Тургенев.

Я уже покинул Уайт и находился в Аахене, когда получил от Тургенева письмо из Вентнора, с приложением и программы и разосланного уже циркуляра:

«Вентнор. Пятница, 31 августа.

Вот вам, любезнейший друг П. В., экземпляр проекта и копия с одного из циркуляров. Вы усмотрите из присланного, что проект подвергся незначительным сокращениям, а в одном месте прибавлена оговорка, в предостережение от будущих возражателей. Боюсь только, как бы это письмо не застало вас уже в Аахене, так как, по письму таинственной Марии Александровны (Марко Вовчок), Макаров *поскакал* расстраивать *свадьбу* Шевченко! *

Я написал на адресе, что в случае вашего проезда письмо послать в Петербург **. Нечего вас просить распространять проект наш, елико возможно. Вы и без того сделаете все, что будет в вашей в л а с т и, — в этом я уверен. Вслед за вашим экземпляром 10 других отправляются

---

* При моем отъезде из Аахена Н. Я. Макаров еще оставался там, так как свадьба Шевченко с горничной девушкой графини Ка—ой расстроилась сама собой за отказом невесты. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** На конверте стояла приписка рукой Тургенева: «Sollte Herr P. A. durchgereist sein, so wird gebeten diesen Brief nach Russland, S.-Petersburg. Demidoff pereulok, Haus Wisconti, zu schicken» <Если господин П. А. в отъезде, прошу это письмо переслать в Россию, С.-Петербург, Демидов переулок, дом Висконти (*нем.*).> (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

в Петербург и Москву. Куйте железо, пока горячо! Вот вам копия циркуляра: «М. г.! NN! Из прилагаемого при сем проекта программы общества для распространения грамотности и первоначального образования вы усмотрите цель письма моего к вам. Эта программа составлена при участии и с согласия нескольких русских, случайно съехавшихся в одном заграничном городе, и представляет только первоначальные черты общества. Надеюсь, что вы одобрите мысль, которая лежит ей в основании, и захотите посвятить ей и собственные размышления и беседы с друзьями. Я бы почел себя счастливым, если бы ко времени моего возвращения в Россию (весной 1861 года) предлагаемая мысль получила обработку, достаточную для приведения ее в исполнение. Обращаясь к вам, я не нуждаюсь в громких словах: я и без того уверен, что вы охотно захотите принять деятельное участие в деле подобной важности или по крайней мере выразите свое воззрение. Я уверен также, что вы не откажетесь распространять списки нашего проекта. Предприятие это касается всей России: нам нужно знать, по возможности, мнение всей России о нем. С искренней благодарностью получил бы я всякое возражение или замечание. Мой адрес: в Париж, poste restante. Остаюсь с полным и сердечным уважением преданный вам И. Т.».

Кажется, ничего нет ни лишнего, ни неуместного. Над всеми экземплярами будет приписано (и вы так распорядитесь), что всякого рода замечания и возражения с благодарностью принимаются на имя Тургенева — poste restante, в Париже, и на имя П. В. Анненкова в С.-Петербурге.

Желаю вам доехать благополучно и застать все в порядке, поклонитесь всем и будем переписываться. Адрес мой — в Париж, poste restante, или Rue Laffitte, Hôtel Byron».

Большинство из тех, которые получили этот циркуляр, доказывавший, между прочим, какую цену давал Тургенев своему плану, изъявили, конечно, согласие вступить в члены общества, но некоторые замечали при этом, что программу следовало бы начертить с большей ясностью, подробностью и с большим знанием особых условий русской жизни. Знать *мнение всей России* о плане, как выражался циркуляр, не представляя самого плана или представляя только слабый его очерк, было дело нелегкое

и вряд ли удалось бы даже и лицу неизмеримо более влиятельному и вышепоставленному, чем Тургенев. Впрочем, пока собирались приступать к составлению обстоятельного плана, время проектов подобного рода уже миновало; после петербургских пожаров 1862 года, временного закрытия Петербургского университета, упразднения воскресных школ и всяких попыток со стороны частных лиц распространять народное образование, программа не достигла и канцелярского утверждения, а заглохла и рассеялась сама собой, не оставив после себя и следа, кроме воспоминания у немногих современников ее.

Более посчастливилось литературному фонду, основанному год перед тем, в 1859 году, по мысли А. В. Дружинина. Тургенев вложил всю свою душу для доставления ему успеха; он устраивал блестящие литературные вечера, ездил за тем же в Москву, и всякий раз появление его на эстраде сопровождалось громадным стечением публики и энтузиастическим приемом чтеца. Трудно себе представить ныне ту степень благорасположения публики к литературному фонду. Люди, дотоле не признававшие даже и существования литераторов в России, собирались теперь на помощь сословию, от влияния которого старались прежде охранить нашу публику. Дело в том, что в литературном фонде, под руководством и представительством Егора Петровича Ковалевского, видели тогда признак времени и торжество взглядов, с которыми волей-неволей приходилось считаться. Доля участия Тургенева в укреплении литературного фонда и в доставлении ему материальных средств была чрезвычайно значительна. Вместе с императорскими пожертвованиями и приношениями самой публики литературный фонд обязан и Тургеневу тем прочным положением, которым ныне пользуется.

* * *

Наступил и великий 1861 год, который своим днем 19 февраля, то есть днем уничтожения крепостного права, изменил всю нравственную физиономию России, а также замечательный и тем, что им следует пометить и полное окончание капитального произведения нашего автора — «Отцы и дети», появившегося вслед за тем во второй книжке «Русского вестника» 1862 года. Надо же было случиться, что в то время произошла перемена и в моей жизни. Виновником перемены был все-таки И. С. Тургенев,

познакомивший меня с семейством, где я встретил будущую мою жену[37]. Я так мало был приготовлен к свадьбе (22 февраля 1861), что позабыл даже известить о ней человека, бессознательно открывшего к ней дорогу, то есть Тургенева, к великому его удивлению и огорчению. Вот что он мне писал:

«Париж, 5 (17) января 1861.

Я собирался уже к вам писать, любезнейший П. В., и выразить мое удивление, что вы, мой аккуратнейший корреспондент, не отвечаете на мое последнее письмо со вложенными тремя фотографиями (получили ли вы это письмо?), — как вдруг до меня дошла весть, столько же поразившая меня, сколько обрадовавшая, — весть, которой я бы не поверил, если бы она не предстала передо мною окруженная всеми признаками несомненной достоверности, но которая и доселе принимает в моих глазах образ сновидения или известных «тающих видов» — «dissolving views»! И как, думал я, если это известие действительно справедливо, — как мог он не написать об этом мне, мне — человеку, который почувствует смертельную обиду, если он не будет восприемником будущего *Ивана,* непременно *Ивана* Павловича Анненкова? Из этих последних слов вы должны догадаться — если уже не догадались — на что я намекаю. Вследствие этого я требую безотлагательного и немедленного ответа: правда ли, что вы женитесь, и на той ли особе, про которую могла писать гр. Кочубей. Если *да,* примите мое искреннее и дружеское поздравление и передайте его кому следует. Если нет... но, кажется, этого нет не может быть, хотя с другой стороны... Словом, я теряюсь и требую «света, более света», как умирающий Гете.

Ни о чем другом я теперь писать не могу. Скажу вам только, что здоровье мое порядочно, что работа подвигается понемногу, что здесь ужасно холодно и что Основский меня надул. За сим крепко жму вам руку и с судорожным нетерпением жду вашего ответа. Преданный вам И. Т.».

Я получил еще два-три письма в таком же оживленном духе и с такими же дружескими жалобами и неявными упреками, после чего Тургенев успокоился, получив от меня подробное описание «события».

Нечто подобное случилось и с известием о наступле-

нии дня освобождения крестьян. Я послал телеграмму в Париж, но она никого там по удовлетворила. Как? Ни бешеного восторга, ни энтузиазма, достигающего границ анархии, — ничего подобного. Петербург оставался совершенно покоен. Понятно, что людям, живущим далеко от места события, подготовленным и своим воображением и журнальными статьями к манифестациям великого дня, не имевшим в руках даже и нового положения о крестьянах, — тишина столицы казалась чем-то необъяснимым; они требовали дальнейших подробностей, заклинали не оставлять их без сведений о том, что совершалось в России, волновались предчувствиями и ожиданиями, но успокоить их рассказом о каком-либо значительном патриотическом движении не было возможности. Правда, по свидетельству многих и разнообразных лиц, почти во всех церквах Петербурга, когда священник или диакон, читавшие высочайший манифест о воле, с амвона, после обедни, подходили к месту: «Православные, осените себя крестным знамением, приступая к свободному труду» — голос их дрожал, и в нем слышались готовые слезы. Судя по частым и ускоренным крестным поклонам толпы, можно было думать, что и она разделяет чувства чтецов; но умиление, как следует назвать это ощущение, совсем не составляло коренной народной принадлежности русской массы и могло быть разделяемо так же точно и иностранцами. Заслуживала удивления, напротив, эта, по наружности, равнодушная встреча — со стороны народа — громадного переворота в его судьбе. Он ожидал его давно постоянно и никогда в нем не сомневался. С минуты, когда у него отнято было право свободно располагать собою, он каждодневно, в течение 200 лет, думал, что день восстановления права недалеко. То говорил еще и Посошков при Петре I. Лишь только прошел первый пыл волнения и ожидания, Тургенев в Париже и его друзья тоже хорошо поняли, что настоящие результаты «Положения о крестьянах» скажутся только тогда вполне, когда оно обойдет всю империю, проникнет в душу селянина, встретится с невежеством и кривотолком, обнаружит, в чем оно противоречит психическим особенностям народа и в чем не допускает к себе мечтательных поправок. Тогда и наступит время настоящих манифестаций и контрманифестаций. Я получил несколько писем из Парижа в ту эпоху и привожу их по порядку:

«15 (27) февраля 1861. Париж.

Любезнейший друг, П. В. Мне совестно утруждать вас какой бы то ни было просьбой в нынешнее время, когда у вас, вероятно, голова кругом ходит, но, несмотря на ваши préoccupations *, вы все-таки самый надежный комиссионер, а комиссия моя состоит в следующем: вышлите мне ради бога вышедшие томы моего издания, чтобы я имел о нем понятие, sous bande ** это рублей с 5 или с 6 станет — я это охотно заплачу. Пожалуйста, душа моя, сделайте это, не откладывая дела в дальний ящик.

Когда мое письмо к вам дойдет, вероятно, уже великий указ, — указ, ставящий царя на такую высокую и прекрасную ступень, — выйдет. О, если бы вы имели благую мысль известить меня об этом телеграммой. Но во всяком случае я твердо надеюсь, что вы найдете время описать мне вашим энцнклопедически-панорамическим пером состояние города Питера накануне этого великого дня и в самый день. Я ужасно на себя досадую, что я раньше не попросил вас о телеграмме. Но я еще утешаю себя надеждою, что вы сами догадаетесь.

В моей парижской жизни, собственно, не происходит ничего нового: работа подвигается помаленьку; статья для «Века» скоро будет окончена. (Самого журнала я еще не получал; зато «Русская речь» является с остервенелой аккуратностью.) Ну, а в общей парижской жизни происходят скандалы непомерные: дело Миреса растет не по дням, а по часам: преступные банкиры (Richemont, Cohen) стреляются и вешаются; сыновья министров (Барош, Фульд, Мань) видят в перспективе Тулон и двухцветную одежду галерных преступников. Мирес, сидящий под секретом в Мазасе, воет à la lettre *** как дикий зверь на всю тюрьму. Ждут больших финансовых потрясений, а итальянский корабль понемногу и благополучно спускается в воду.

На днях приехал сюда из Италии Толстой (Л. Н.), не без чудачества, но умиротворенный и смягченный. Смерть его брата **** сильно на него подействовала. Он

---

* заботы (*фр.*).

** бандеролью (*фр.*).

*** буквально (*фр.*).

**** Граф Николай Николаевич Толстой, как уже упоминали, умер в Гиере, близ Ниццы. Свидание это Тургенева с будущим

мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, что талант его далеко не выдохся и что у него есть еще большая будущность. Кстати, что это за г. Потанин, о котором так вострубил «Современник»? Действительно он писатель замечательный? Дай-то бог, но я боюсь за него, вспоминая восторженные отзывы Некрасова о гг. Берви, Надеждине, Ип. Панаеве e tutti quanti... * А гончаровский отрывок в «Отечественных записках» я прочел — и вновь умилился[38]. Это прелесть!

Боткину (В. П.) немного лучше, и есть надежда на окончательное выздоровление. Но если бы вы знали, как безобразно грубо и .... выступил в нем эгоист. Это даже поразительно!.. Ох, Павел Васильевич, в каждом человеке сидит зверь, укрощаемый одною только любовью. Я вам в скором времени опять напишу. А пока будьте здоровы и веселы и передайте мой дружелюбнейший поклон вашей невесте. Ваш Ив. Т.».

Чем далее шло время, тем более росло нетерпение моего парижского корреспондента и сочувствующих ему друзей. Вот какую записку получил я из Парижа от 6(18) марта 1861:

«Дорогой Павел Васильевич. Спасибо за депешу, от которой у нас у всех головы кругом пошли. Но, к сожалению, ничего положительного неизвестно об *условиях* нового Положения. Толки ходят разные. Ради бога пишите мне, что и как у вас все это происходит. Вероятно, я теперь раньше вернусь в Петербург, чем предполагал; может быть, через месяц я уже с вами. Сюда прислал кто-то напечатанный экземпляр Положения, но его никак поймать невозможно. Теперь более чем когда-либо надеюсь на вашу дружбу и жду от вас писем. Я знаю: вы *молодой* теперь, и вам не до того; но время ведь необыкновенное. Передавайте все ваши впечатления — все это теперь вдвойне дорого. Здесь русские бесятся; хороши представители нашего народа! Дай бог здоровья государю. Судя по тому, что здесь говорится, мы бы никогда ничего путного не дождались. Бешенство бессилья отвратительно, но еще более смешно.

автором «Войны и мира» происходило еще до октябрьской их распри, о чем ниже. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

* и всех прочих (*ит.*).

Обнимаю вас от души и поздравляю и с вашей личной, и с нашей общей радостью. Не могу ни о чем другом писать. Я весь превратился в ожидание. Преданный вам Ив. Тургенев».

Присоединяем к этим двум отзывам еще третье письмо, с картиною того, что происходило в Париже.

«Париж, 3 апреля 1861.

Еще разит, еще, еще...
Погиб, погиб сей муж в плаще!.. —

сказано в какой-то поэме. Так и я — еще, еще благодарю вас, милейший П. В., что вы, несмотря на новую вашу жизнь, нашли время написать мне крайне любопытное и поучительное письмо о первых днях после объявления манифеста[39]. Двойное вам спасибо! С некоторых пор народы как будто дали себе слово удивлять современников и наблюдателей — и русский народ и в этом отношении едва ли не перещеголял всех своих сверстников. Да, удивил он нас, хотя, подумав и приглядевшись, увидишь, что нечему было удивляться; это всегда случается после так называемых необыкновенных событий и доказывает только нашу близорукость. Сделайте божескую милость, продолжайте извещать нас о состоянии умов в России. Здесь господа русские путешественники очень взволнованы и толкуют о том, что их ограбили (из Положения решительно не видать, каким образом их грабят!), но принимают меры к устроению своих дел. Вероятно, в нынешнем же году прекратится в России барщинная работа. В прошлое воскресение мы затеяли благодарственный молебен в здешней церкви — и священник Васильев произнес нам очень умную и трогательную речь, от которой мы всплакнули. (NB. Много ушло из церкви до молебна.) Передо мной стоял Н. И. Тургенев и тоже утирал слезы; для него это было вроде «Ныне отпущаеши раба твоего». Тут же находился старик Волконский (декабрист). «Дожили мы до этого великого дня», — было в уме и на устах у каждого.

Сгораю жаждою быть в России. Ждите меня через 4 недели — *никак не позже.* В Петербурге пробуду дня три. Работа моя совсем приостановилась: окончу ее бог даст в деревне. На днях отправляю статейку в «Век».

В теперешнюю минуту я болен. Прошлогодний нервический кашель вернулся ко мне, когда уже я мог думать, что обойдусь без него, так как зима давно минула. Теперь сижу и налепил себе мушку, но весна меня вылечит. Дружески жму вам руку и кланяюсь вашей жене и всем добрым приятелям. Преданный вам И. Т.».

Итак, слезы умиления пролились и в Париже почти одновременно с Петербургом. Ник. Иван. Тургенев и князь Волконский имели основание прослезиться еще и потому, что мечты их молодых годов в эпоху царствования императора Александра I осуществлялись тогда, когда их самих уже ожидала могила.

Этот замечательный год, однако же, начался с дурными предзнаменованиями для Тургенева. Начать с того, что второе издание его сочинений, порученное г. Основскому, окончилось третейским судом издателя со своими заимодавцами в Москве и полным фиаско. Тургенев роптал, не получая ничего от издателя, а вместо следующих ему сумм к нему беспрестанно приходили жалобы на недобросовестность издателя, занимавшего кругом деньги, чтобы исполнять свои обязательства перед подписчиками, на запоздалые или неудовлетворительные его счеты, даже на некоторые издательские его приемы, имевшие некрасивый вид. Тургенев был раздражен. Впрочем, история с Основским началась еще ранее, и уже можно было предвидеть, чем она кончится. Вот что писал мне Тургенев еще в 1860 г.:

«19 (31) ноября 1860. Париж.

Любезнейший друг П. В. Доложу вам, что я сильно почесал у себя в затылке после вашего письма. Если Основский, которого я считал честным человеком, выкинул такую штуку с «Московским вестником», то кто ж ему помешает выкинуть таковую же и со мной, то есть вместо 4800, как сказано в условии, напечатать 6000 и денег мне не выслать? А деньги мне крайне нужны, при теперешних моих больших расходах и при оказавшемся нежелании моих мужичков платить мне оброк, тот самый оброк, за который они хотели быть благодарны *по гроб дней.* А потому позвольте поручить вам мои «интересы», как говорят французы, хотя, собственно, я не вижу, что вы можете сделать. Вот, однако, что

можно: через московских приятелей, стороной, узнать о поступках Основского; можно прибегнуть к Кетчеру или Ив. Вас. Павлову, одним словом, вам книги в руки. Вы поступите с свойственной вам аккуратностью и деликатностью.

Я наконец серьезно принялся за свою новую повесть, которая размерами превзойдет «Накануне». Надо надеяться, что и участь ее будет лучше. А впрочем, это все в *руках урны судьбы,* как говорил один мой товарищ по университету. Разумеется, как только она окончится (а это будет не скоро), вы первый ее прочтете. А для вашего превосходного баритона изготовляется другая статья, которую я полагаю прочесть сперва здесь для нашего же общества моим сквернейшим дискантом. Также начал я письмо для «Века», в котором описывается заседание *медиумов,* где я присутствовал и где происходили необыкновенные, сиречь комические, штуки. Других сторон парижской жизни я не изучал до сих пор, да и вряд ли успею этим заняться при многочисленных предстоящих мне работах.

...Кстати, не можете ли вы узнать, где собственно находятся теперь братья Аксаковы. О них ходят здесь самые разноречащие слухи. Вы, может быть, слышали, что жена Огарева * пропадает без вести вместе с своим ребенком.

Спасибо вам за Родионова, Леонтьева и т. д. и т. д. Хлопочите также о нашем обществе, против которого, слышно, восстают несколько лиц в журналах. Кстати, извольте немедленно отправиться, по получении сего, к гр. Ламберт (на Фурштатской, в соб. доме). Она говорила о нашем обществе с Мейендорфом — и тот пожелал увидаться с вами, и графиня мне пишет, чтобы я вас послал к ней. Теперь уже у вас нет предлога не идти, и я вас убедительно прошу это сделать и предсказываю вам, что если вы это сделаете, вы будете просиживать у ней три вечера в неделю, и — это будет доброе дело (я уже не говорю об удовольствии, которое вы чрез то получите), потому что она одинокая и больная женщина. Слышите, пожалуйста, ступайте к ней.

Гиероглифов — издатель Писемского! В этом есть что-

---

* Первая и законная жена Огарева, урожденная Рославлева, а не Милославская, как ошибочно напечатано в моей статье «Идеалисты 30-х годов». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

то тупо-величественное, как в пирамиде... Я останавливаюсь и немею.

Я изредка видаюсь здесь с Чичериным — вот, батюшка, разочарованный человек! Лев Толстой все в Гиере (Hyères), собирается, однако, сюда приехать.

Vale et me ama. (Прощай и люби меня — Цицерон так оканчивал свои письма.) Жму вам крепко руку. Ваш Ив. Т.».

Между тем раздражение Тургенева против Основского выросло до такой степени, что разрешилось ругательствами, которые мы выпускаем, хотя Тургенев продолжал молчать великодушно о собственных потерях.

«Париж. 7 (19) января 1861.

Спасибо за сообщенные известия об издании. Я вчера получил письмо от Плещеева с подробнейшим изложением дела. Я ему сегодня же написал — и поручил ему сговориться с Фетом для обоюдоострого действия. Но, кажется, я останусь в дураках, хотя особенной грусти по этому поводу не чувствую. Так и быть! Но кто бы подумал, что Основский...

Потешание надо мною «Свистка» не удивляет меня, и могу прибавить, не обинуясь, — нисколько меня не оскорбляет. Все это в порядке вещей. Но описание ваше нравственного состояния петербургской жизни есть capo d'opera *. Размышляя о нем, начинаешь понимать, как в разлагающемся животном зарождаются черви. Старый порядок разваливается, и вызванные к жизни брожением гнили выползают на свет божий разные гниды, в лицах которых мы, к сожалению, слишком часто узнаем своих знакомых... Я на днях видел засыпающего, хотя дельного, Слепцова. Из его слов я мог заключить, что «общество» наше провалилось (я говорю об обществе распространения грамотности). Он не отчаивался провести эту мысль в другом виде, но это, кажется, вздор. Лишь бы наше другое общество (то есть литературного фонда) продолжало преуспевать! Я надеюсь недель через 6 устроить для него здесь чтение, а пока извините меня перед комитетом, что я до сих пор не выслал должных мною 5 проц. с прошлогодней литературной выручки, и уверьте их, что

* образцовое произведение, шедевр (*ит.*).

это будет исполнено очень скоро. Мне придется заплатить 250 р. сер. Нельзя ли доставить по почте биографию Шамиля? Меня об этом просят для одной здешней Revue. Кстати, поклонитесь от меня *земно* Макарову за высылку «Искры». Хотя интересного в ней мало, но она поддерживает в моем носе запах петербургской жизни, а это важно. На днях здесь проехал человеконенавидец Успенский (Николай) и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: «На бой, на бой за святую Русь». Он, однако, не вполне одобряет Добролюбова. Мне почему-то кажется, что он с ума сойдет.

Ну, прощайте пока. Жду вашего письма с необычайным нетерпением. Будьте здоровы и кланяйтесь всем друзьям. Преданный вам Ив. Т.».

Бывший лицеист, молодой и в высшей степени честный Слепцов не засыпал, когда нужно было ходатайствовать за ближнего или оказать ему деятельную помощь. Можно только пожалеть, что энергия и выдержка у него не были в уровень с добрыми намерениями и пожеланиями его благородного характера. Николай Успенский, неожиданно замолкший после ссоры с первым издателем своих рассказов, Н. А. Некрасовым, кажется, здравствует и до сих пор, в полном обладании своих умственных способностей.

Как удивились приятели Тургенева, рассчитывавшие на его поддержку в их расчете с Основским, когда получили от него формальный отказ участвовать в каких-либо заявлениях и протестах против издателя, нанесшего такой ущерб ему и погубившего целое предприятие! В числе негодующих тогда находился один из заимодавцев Основского и горячий энтузиаст самого Тургенева, которого он называл основателем русского женского Олимпа, населенного богинями непогрешимой нравственной чистоты и прямой, неуклонной воли, — именно известный умный, даровитый писатель Иван Вас. Павлов. Г. Павлов разорвал дружелюбные сношения с Тургеневым, не понимая, как можно потворствовать явному нарушению своих обязанностей и покрывать их молчанием и своим именем. Но у Тургенева были и логические, а всего более гуманные причины поступать так, как он сделал. Прежде всего первой причиной неудачи «издания

своих сочинений» был он сам: он поручил дело человеку, не отвечавшему идеалу литературного деятеля, но очень хорошо отвечавшему старой привычке Тургенева предполагать в простых, малоразвитых людях основы иногда тупой и досадной, но всегда стойкой и неизменной честности. Что касается до высокогуманных оснований его поведения, мы даже решаемся выделить из переписки одно задушевное письмо его, вовсе не предназначавшееся для публики, но разоблачающее в сильной и блестящей степени правила и начала Тургенева. Пусть упрек в нескромности падет на меня, но скрыть одну черту его характера я не мог.

«Париж. 16 (28) января 1861.

Наконец получил я столь давно ожиданное от вас письмо, милый друг, — и вы, вероятно, не будете сомневаться в моих словах, когда я скажу вам, что никто изо всех ваших приятелей так искренно не обрадовался сообщенному вами известию, как я. Моя привязанность к вам старинная, сердечная, а потому и радость была большая. Вам известны также мои чувства к вашей будущей жене, которой прошу передать мой самый дружеский и горячий привет. Теперь это событие — столь неожиданное с первого разу — кажется мне совершенно естественным и необходимым — и чем больше я о нем думаю, тем отраднее и прекраснее представляется мне ваша будущая жизнь. Слава богу! Свил себе человек гнездо, вошел в пристань — не все мы, стало быть, еще пропали! То, о чем я иногда мечтал для самого себя, что носилось передо мною, когда я рисовал образ Лаврецкого — свершилось над вами, и я могу признать всё, что дружба имеет благородного и чистого, в том светлом чувстве, с которым я благословляю вас на долгое и полное счастье. Это чувство тем светлее, чем гуще ложатся тени на собственное мое будущее; я это сознаю и радуюсь бескорыстию своего сердца.

Мария Алекс. (Марко Вовчок), которой я сообщил ваше письмо, от души вас поздравляет. Я непременно хочу увидеть вас обоих перед вашим отъездом в деревню. Я и без того хотел вернуться в Россию в апреле месяце, а теперь это уже дело решенное. 15(27) апреля я в Петербурге — может быть, даже раньше. Посмотрю на вас, прочту вам свою новую повесть и отпущу вас —

с богом — «к четырехугольным грибам» *. Итак, ждите меня через три месяца.

Я получил длинное письмо от Основского, и оказывается, что он действительно был оклеветан — и достоин сожаления. До него, между прочим, дошли слухи, будто я поручал вам употребить против него *полицейские меры*; будьте так добры, напишите ему в двух словах, что я ничего подобного вам не поручал: это поднимет этого придавленного человека, который в одно и то же время разорен и опозорен. Зная ваше доброе сердце, я не сомневаюсь в том, что вы немедленно это сделаете. Я не мог не усомниться в нем, вследствие писем от его же приятелей, но я *никогда не позволил бы себе осудить окончательно человека бездоказательно.*

Ну, а за сим — прощайте. Еще и еще поздравляю вас и крепко вас обнимаю и лобызаю в обе ланиты; а вашей невесте позволяю себе поцеловать руку. Кланяйтесь всем приятелям и будьте здоровы и благополучны. Любящий вас Ив. Т.».

* * *

Особый эпизод — устранение распри с гр. Л. Н. Толстым — приходится к этому же времени. С апреля месяца Тургенев находился уже в своей деревне, Спасском, где и произошла сцена их столкновения. Тургенев во всех своих письмах заявляет, что первым виновником ссоры был он сам своим неосторожным словом, что и должно было предполагать, зная его старую привычку, некстати возобновившуюся тогда, а именно отвечать ядовитым замечанием на всякую речь, которая ему не нравилась, а таких речей было немало у гр. Л. Н. Толстого в последних сношениях его с Тургеневым. В одном из своих писем, которое сейчас же увидим, Тургенев старается уверить, что Толстой его ненавидел с самого начала и сам он, Тургенев, никогда не любил его, но вслед за тем являются от Ивана Сергеевича известия совершенно

---

* Четырехугольные грибы, такие же пруды, толстые корни и другие принадлежности деревни, где я жил летом, выдуманы были Тургеневым для того, чтобы привести в соответствие обстановку моей резиденции с ее хозяином или предполагаемым наружным его видом. Они много потешали общих наших друзей, (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

противоположного смысла и характера. Такие повороты мысли встречаются очень часто у него, да и в переписке, какая далее прилагается, не редкость найти то же самое. Им объясняются также и насмешливые отзывы его о лицах, горячо и искренно им любимых. Смущаться или останавливаться перед таким явлением может только тот, кто незнаком с обыкновенным, природным, так сказать, свойством всякой переписки. Людям, занимающимся составлением характеристик замечательных современников на основании таких, по-видимому, несомненных документов, как подлинные письма, можно только рекомендовать большую осторожность при выводах, к каким документы эти дают повод. В иностранных литературах мы имеем многочисленные примеры, к каким ложным заключениям приводят даже любопытные, а особенно весьма пикантные издания, опубликованные вскоре после смерти замечательных личностей и содержащие их интимную и задушевную переписку! (См. Lettres de Merimée à une inconnue *, переписку Варнгагена ф. Энзе с Алекс, Гумбольдтом, изданную г-жой Ассинг, и проч., проч.). Каждая переписка заключает в себе столько случайных настроений автора, столько желания сказать *более* того, что находилось в мысли и чувстве ее автора, что часто приговоры ее о людях и вещах противоречат действительному их значению. Издателю необходимо знать сущность коренных нравственных основ писателя, чтоб исправлять мимолетные увлечения его пера и не давать им смысла общественных обличений, чистосердечных откровений.

«Село Спасское, 7 (19) июня 1861.

Не ожидал я, carissimo mio Annenkovio **, что вы так и проедете через Москву, не обрадовав меня присылкой ваших достолюбезных «паттдемушей» ***, несмотря на привет и поклон, посланные вам от меня через ленивейшего из хохлов, Ивана Ильича (Маслова!). Но, видно, Москва вас закружила вихрем, и я посылаю вам сию мою цидулу в Симбирскую губернию, в страну четырехугольных грибов, толстых корней etc., etc. Надеюсь, что в уединении и тишине деревенской вы найдете более времени отозваться на мой голос.

---

* Письма Мериме к незнакомке (*фр.*).
** дражайший мой Анненков (*ит.*).
*** «Паттдемуши» (от *фр.* pattes de mouche) — каракули.

Так как я жду от вас подробностей о вашем житье-бытье, то я дерзаю предполагать, что и от меня вы ждете таковых же новостей, а потому приступаю к передаванию оных. (Замечаете ли вы, как я подражаю вашему стилю!)

Я здоров — это главное; работаю потихоньку — это не совсем хорошо; гуляю в ожидании охоты; вижусь с некоими соседями. Объясняемся с мужиками, которые изъявили мне свое благоволение: мои уступки доходят почти до подлости. Но вы знаете сами (и вероятно, в деревне узнаете еще лучше), что за птица русский мужик: надеяться на него в деле выкупа — безумие. Они даже на оброк не переходят, чтобы, во-1-х, не «обвязаться», во-2-х, не лишить себя возможности прескверно справлять трехдневную барщину. Всякие доводы теперь бессильны. Вы им сто раз докажете, что на барщине они теряют сто на сто; они вам все-таки ответят, что «несогласны, мол». Оброчные даже завидуют барщинным, что вот им вышла льгота, а нам — нет. К счастью, здесь в Спасском мужики с прошлого года на оброке.

Я видел Фета и даже был у него. Он приобрел себе за фабулозную сумму в 70 верстах отсюда 200 десятин голой, безлесной, безводной земли с небольшим домом, который виднеется кругом на 5 верст и возле которого он вырыл пруд, который ушел, и посадил березки, которые не принялись... Не знаю, как он выдержит эту жизнь (точно в пирог себя запек), и, главное, как его жена не сойдет с ума от тоски. Малый он, по-прежнему, превосходный, милый, забавный — и, по-своему, весьма умный.

В этой же деревне совершилось неприятное событие... Я окончательно рассорился с Л. Н. Толстым (дело, entre nous *, на волоске висело от дуэли... и теперь еще этот волосок не порвался). *Виноват был я,* но взрыв был, говоря ученым языком, обусловлен нашей давнишней неприязнью и антипатией наших обеих натур. Я чувствовал, что он меня ненавидел, и не понимал, почему он — нет-нет и возвратится ко мне. Я должен был, по-прежнему, держаться в отдалении, попробовал сойтись — и чуть было не сошелся с ним на барьере. *И я его не любил никогда,* — к чему же было давным-давно не понять все это?..[40]

* между нами (*фр.*).

Я постараюсь вам переслать первую (переписанную) половину моего романа. Разумеется, вы должны мне сказать всю правду. Но сперва напишите мне... Помнится, из Симбирска в Орел, то есть в Мценск, почта шла чуть не полтора года. Авось в нынешнее время, когда и т. д., произойдет улучшение.

Передайте мой самый задушевный поклон вашей жене. Говорят, москвичи ее на руках носили. В этом нет ничего удивительного, но это меня радует тем не менее.

Не забудьте, что будущей весной я у вас крещу сына Ивана. Ну, прощайте, милый мой. Жду ответа от вас и дружески, крепко жму вам руку. Ваш И. Т.».

Для понимания этого письма необходимо вспомнить, что оно написано тогда, когда «Положение о крестьянах» еще не знало «обязательного выкупа» наделов и требовало предварительного переведения земледельцев на оброк, а потом уже допускало сделки с ними. Вот этого двойного соглашения и трудно было добиться у обеих сторон, владетельской и крестьянской, так что обе пришли к убеждению, что и освобождение крестьян есть война, а не мир. Имение Тургенева принадлежало еще к счастливым по отношению к освобождению. Управляющий им, дядя И. С. Тургенева, упоминаемый в записках г-жи Житовой о семье Тургеневых, Николай Николаевич Тургенев, был опытный хозяин. Покамест помещик увещевал бывших своих подчиненных, он отмежевал во всех имениях своего доверителя крестьянские наделы согласно «уставным грамотам» и тем приготовил их переход на оброк и на выкуп. Последний и состоялся почти вслед за тем. Иван Сергеевич мог гордиться, что он был один из первых рассчитавшихся окончательно с крестьянами, кроме благодеяний и услуг, на которые он был щедр и которые всегда оказывал и потом своим ех-крепостным.

Впоследствии отношения между владельцем села Спасского и его управителем значительно спутались. Трудно сказать, не имея под рукой документов, кто был из них прав. По слухам и ходячим толкам, управляющий Н. Н. Тургенев будто бы воспользовался безденежным векселем в 50 000, данным ему владельцем с целью обеспечения его на случай преждевременной смерти И. С. Тургенева, и представил вексель ко взысканию при жизни племянника, будучи еще даже управляющим всеми его имениями. Неизбежным следствием того являлась

или продажа части этого имения, или того добра, какое в нем находилось. Иван Сергеевич искал занять такую сумму и, не успев в том, принужден был продать великолепную виллу, построенную им в Бадене, московскому банкиру Ахенбаху и, таким образом, расквитался с фиктивным своим долгом.

Но все это только слухи; переходим опять к фактам. В сентябре 1861 года Тургенев покинул Спасское и явился в Петербург[41], а в начале октября находим его опять в Париже, откуда он и послал следующее письмо. В нем он уведомляет о получении моего отчета о романе «Отцы и дети», много занимавшем его, как увидим, все лето в Спасском, а также продолжает рассказ о своей истории с Л. Н. Толстым.

«Париж, 1 (13) октября 1861. Rue de Rivoli, 210.

Любезнейший П. В., примите от меня искреннюю благодарность за ваше письмо, в котором высказывается мнение о моей повести. Оно меня очень порадовало, тем более что доверие к собственному труду было сильно потрясено во мне. Со всеми замечаниями вашими я вполне согласен (тем более что и В. П. Боткин находит их справедливыми) и с завтрашнего дня принимаюсь за исправления и переделки, которые примут, вероятно, довольно большие размеры, о чем уже я писал к Каткову. Времени у меня еще много впереди. Боткин, который, видимо, поправляется, сделал мне тоже несколько дельных замечаний и расходится с вами только в одном: ему лицо Анны Сергеевны мало нравится. Но, мне кажется, я вижу, как и что надо сделать, чтобы привести всю штуку в надлежащее равновесие. По окончании работы я вам ее пришлю, а вы доставите ее Каткову. Но довольно об этом и еще раз искреннее и горячее спасибо.

Остальные известия, сообщенные вами, невеселы. Что делать! Дай бог, чтобы хуже не было! Пожалуйста, tenez moi au courant *. Это очень важно, и я опять-таки надеюсь на ваше всегдашнее и старинное благодушие.

Здесь (то есть у меня) идет все порядочно, и здоровье мое недурно... Только и я имею вам сообщить не совсем веселое известие: после долгой борьбы с самим собою я послал Толстому вызов и сообщил его Кетчеру для того,

* держите меня в курсе дела (*фр.*).

чтобы он противодействовал распущенным в Москве слухам. В этой истории, кроме *начала, в котором я виноват,* я сделал все, чтобы избегнуть этой глупой развязки; но Толстому угодно было поставить меня *au pied du mur* * (Тютчевы могут вам подробно рассказать все) — и я не мог поступить иначе. Весною в Туле мы станем друг перед другом. Впрочем, вот вам копия моего письма к нему:

«М. г. Перед самым моим отъездом из Петербурга я узнал, что вы распространили в Москве копию с последнего вашего письма ко мне, причем называете меня трусом, не желавшим драться с вами, и т. д. Вернуться в Тульскую губ. было мне невозможно, и я продолжал свое путешествие. Но так как я считаю подобный ваш поступок, *после всего того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово,* — и оскорбительным, и бесчестным, то предваряю вас, что я на этот раз не оставлю его без внимания и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от вас удовлетворения. Считаю нужным уведомить вас, что я известил о моем намерении моих друзей в Москве для того, чтобы они противодействовали распущенным вами слухам. И. Т.».

Вот и выйдет, что сам я посмеивался над дворянской замашкой драться (в Павле Петровиче) **, и сам же поступлю, как он... Но, видно, так уже было написано в книге судеб.

Ну, прощайте, мой милый П. В. Поклонитесь вашей жене и всем приятелям и примите от меня самый крепкий shakehand ***. Ваш И. Т.

P. S. Арапетов здесь... Как мы обедали вчера с ним и с Боткиным!»

Итак, еще в Петербурге застало Тургенева известие о слухе, гулявшем по Москве уже давно, но картель Толстому он послал уже из Парижа. Может быть, что усилия его примириться с оскорбленным другом и были первой причиной зародившейся сплетни. Гораздо труднее разъяснить, что московские друзья, вероятно лучше

* в безвыходное положение (*фр.*).

** Кирсанове из «Отцов и детей». Павел Петрович Кирсанов дрался, как помнит читатель, на дуэли с Базаровым и, легко раненный, возвратился лечиться в деревню и эффектно выздоравливать. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

*** рукопожатие (*англ.*).

знавшие основы происшедшего столкновения, советовали Тургеневу раз навсегда, так или иначе, покончить с Толстым и настаивали на принятии и ускорении дуэли. Тургенев действовал наоборот. После сцены в Спасском Толстой тотчас же уехал, оставив там только свой вызов. На другой день Иван Сергеевич послал доверенного человека в соседнюю деревню к Толстому выразить ему глубочайшее сожаление о происшедшем накануне и, в случае если он не примет извинения, условиться о месте и часе их встречи и об условиях боя. Доверенное лицо не застало Толстого дома; он уехал в Тульскую губернию, в другую свою деревню, чуть ли не в известную Ясную Поляну. Доверенное лицо исполнило точно свое поручение. Толстой объявил, что драться с Тургеневым он теперь не намерен для того, чтобы не сделать их обоих сказкой читающей русской публики, которую он питать скандалами не имеет ни охоты, ни повода. Извинений Тургенева он, однако же, как было слышно тогда, не принял, а вместо того отвечал письмом, которое и дало повод Тургеневу сказать: «дело висело на волосок от дуэли, и теперь еще волосок не порвался»; он и порвался бы действительно, если бы не случилось совершенно неожиданного обстоятельства. Оказалось, что вся история о письме и весь слух об изворотливости и трусости Ивана Сергеевича суть не более, как произведения фантазии чьего-то досужего ума. Проживая еще в деревне, я получил из Петербурга и почти вслед за приведенным выше письмом из Парижа еще записку от Тургенева из Петербурга такого содержания: *

«26 октября (7 ноября) 1861. С.-Петербург.

Любезный П. В. Я начинаю терять надежду получить от вас письмо, хотя бы с простым извещением, что вы здоровы; и если я теперь пишу к вам, то единственно с целью известить вас о следующем: я получил от

* Мы изъясняем то обстоятельство, что записка помечена: «С.-Петербург», после того как на предыдущем письме сделана отметка: «Париж», предположением следующего рода. Слух о московской сплетне застал еще Тургенева на берегах Невы, как знаем. Он тогда же написал Толстому письмо, копию с которого переслал мне из Парижа, и тогда же получил ответ от последнего, который сообщал мне теперь из Петербурга, еще им не покинутого. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

Л. Н. Толстого письмо, в котором он объявляет мне, что слух о распространении им копии оскорбительного для меня письма есть чистая выдумка, вследствие чего мой вызов становится недействительным, — и мы драться не будем, чему я, конечно, очень рад. Сообщите это Колбасину — и пусть он менее верит своим друзьям. Желал бы я также узнать ваше мнение насчет печатания моей повести, но на вас нашла немота, и я очень был бы рад узнать, что вы по крайней мере живы и здоровы. Кланяюсь всем вашим и жму вам руку. И. Т.».

Так и кончилось дело, которому и начинаться не следовало бы. Полное примирение между врагами произошло за год или за два до смерти одного из них, и притом произошло по письму гр. Л. Н. Толстого, которого, к сожалению, не имею под рукой. Тургенев сохранял до последнего дня своего воспоминания о нем как о трогательнейшем сердечном вопле человека, призывающего старые, простые, дружеские связи и сношения. Он их получил вполне и охотно, так что прежние уверения Тургенева, что он никогда не любил Толстого, должно опять считать не более как вспышкою и увлечениями приятельской переписки.

Так прошли первые полгода. Остальная половина посвящена была преимущественно созданию «Отцов и детей» и выражает в переписке все перипетии, чрез которые роман проходил в его уме, да беседам с мужиками, а наконец, с ноября, известиям о Париже. Сведенные вместе и поставленные рядом друг с другом данные эти представляют очень занимательную и довольно пеструю картину. Относительно «Положения о крестьянах» и Тургенев пришел наконец к заключению, что всякие выводы из него в эту эпоху оригинального усвоения его народом были бы и преждевременны и ложны. Я получил от него, по лету, такое письмо:

«Село Спасское. 10 июля 1861.

Милый П. В., давно мне следовало отвечать на ваше письмо из Чиркова, но я только что вернулся с охотничьей экспедиции, совершенной нами вместе с Фетом, — экспедиции, которая, кроме ряда самых неприятно-комических несчастий и неудач, не представила ничего замечательного. Я потерял собаку, зашиб себе ногу, ночью

в карповском трактире чуть не у м е р, — одним словом, чепуха вышла *несуразная,* как говорит Фет. Теперь я снова под кровом спасского дома и отдыхаю от всех этих т р е в о л н е н и й, — следовательно, настало лучшее время, чтоб перекинуться с вами двумя-тремя словами.

Но прежде всего — ни слова о крестьянском деле (хотя я очень вам благодарен за доставленные подробности). Это дело растет, ширится, движется во весь простор российской жизни, принимая формы большей частью безобразные. И хотеть теперь сделать ему какой-нибудь путный résumé — было бы безумием, даже предвидеть задолго ничего нельзя. Мы все окружены этими волнами, и они несут нас. Пока можно только сказать, что здесь все тихо, волости учреждены, и сельские старосты введены, а мужички поняли о д н о, — что их бить нельзя и что барская власть вообще послаблена, вследствие чего должно «не забывать себя»; мелкопоместные дворяне вопят, а исправники стегают ежедневно, но понемногу. Общая картина, при предстоящем худом урожае, не из самых красивых, но бывают и хуже. На оброк крестьяне не идут и на новые свои власти смотрят странными глазами... но в работниках пока нет недостатка, а это главное. Будем выжидать дальнейшего.

Работа моя быстро подвигается к концу. Как бы я был рад показать ее вам и послушать вашего суждения!.. Но как это сделать? Я хотел было послать вам первую часть, но теперь, когда уже обе части почти готовы, мне не хочется подвергать мою работу впечатлениям и суждениям вразбивку. Умудрюсь как-нибудь послать вам всю штуку, о которой я, разумеется, в теперешнее время совершенно не знаю, что сказать.

Ну-с, а как идет ваша женатая жизнь? Должно быть, отлично... Дай вам бог всяких удовольствий побольше, начиная, разумеется, с удовольствия быть родителем.

Нелепое мое дело с Толстым окончательно замерло, то есть мы окончательно разошлись, но драться уже не будем *. То-то была чепуха! Но я повторяю, что *виноватым в ней был я.* Когда-нибудь, на досуге, расскажу вам всю эту ерунду, выражаясь слогом писателей «Современника».

---

* Писано еще до разрешения всего вопроса в октябре, о чем уже было говорено. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

От моей дочки письма приходят довольно аккуратно. Она в Швейцарии. Как бы я желал выдать ее замуж * осенью или в первые зимние месяцы, чтобы хотя к новому году прибыть в Петербург!

Прощайте, carissimo; жму вашу лапку и целую ручку вашей жены. Ваш И. Т.».

* * *

Последние письма из Спасского относятся к 18 и 28 августа 1861 года. В одном из них он извещает об окончании романа «Отцы и дети», 20 июля. Судя по сведениям, какие имеем, роман писался почти около года, часто прерываясь, и шел то ускоренными, то медленными шагами. Ему предстояли еще целые полгода поправок, изменений, переговоров, пока он явился в печати и произвел то впечатление, о котором еще будем говорить. Недаром, замечал сам автор, что он работал над ним усердно, *долго,* добросовестно. Значительная доля труда и таланта, положенная на его создание, только и могли упрочить ему тот громадный успех и ту враждебность, какими он пользовался в свое время. Представляем покамест последние письма из Спасского:

«Село Спасское. 6 (18) августа 1861.

Мне давно следовало написать вам, дорогой П. В., — но черт знает, как это выходило: собирался беспрестанно, а пишу только теперь. Извините великодушно и выслушайте снисходительно.

О моей глупости с Т. (Толстым) говорить не стану, она давно упала в Лету, оставив во мне ощущение стыда и конфуза, которое возобновляется всякий раз, как только воспоминание коснется всей этой нелепой проделки. Мимо!

---

* С. П. Б—ъ в своих «Воспоминаниях о селе Спасском-Лутовинове и И. С. Тургеневе», изданных в январской книжке «Русского вестника», и тут делает ошибку, говоря, что Тургенев выдал свою дочь за «французского фабриканта Шамера», разорившегося будто бы при франко-прусской войне. Г-н Шамеро женат на одной из дочерей г-жи Виардо и никогда не был фабрикантом: он владел и теперь владеет одною из первых типографий в Париже, основанной в прошедшем столетии Фирменом Дидо, — известная издательская фирма. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

Мой труд окончен наконец. 20 июля написал я блаженное последнее слово. Работал я усердно, долго, добросовестно: вышла длинная вещь (листами двумя печатными длиннее «Дворянского гнезда»). Цель я, кажется, поставил себе верно, а попал ли в нее — бог знает.

А отсюда выезжаю около 25-го и, передавая рукопись Каткову, *непременно* потребую, чтобы он дал вам ее прочесть (так как, вероятно, раньше ноября эта вещь не явится *), а вы *непременно* напишите мне подробную критику в Париж poste restante. Так как у меня будет черновая тетрадь, то мне можно будет сделать нужные изменения и выслать их заблаговременно в Москву. Если вы не скоро приедете в сей последний город, то я скажу Каткову, чтобы он велел переписать и послать вам рукопись.

Провел я лето здесь порядочно; ни разу не болел, но охотился очень несчастливо. Дела по крестьянскому вопросу (что касается до меня) остаются в status quo ** до будущего года; надеюсь, однако, уломать здешних крестьян на подписание уставной грамоты. До сих пор они очень упорствуют и носятся с разными задними мыслями, которых, разумеется, не высказывают.

Читаю я мало, и то, что мне попадается из русских журналов, не очень способно возбудить желание подобного упражнения. Совершился какой-то наплыв бездарных и рьяных семинаров — и появилась новая, лающая и рыкающая литература. Что из этого выйдет — неизвестно, но вот и мы попали в старое поколение, не понимающее новых дел и новых слов. А «Век»-то, «Век»! Хуже этого *нашего* журнала еще не бывало.

Вы еще успеете написать мне, если ответите тотчас, *сюда:* долго ли вы думаете еще прожить в деревне и какие ваши планы на зиму? Мои же планы не от меня зависят, а от того, когда и как выдам я свою дочь и выдам ли ее. Очень бы хотелось хотя в январе вернуться в Питер.

Здесь я очень часто вижу Фета. Он, по-прежнему, очень хороший малый. Впрочем, новых знакомств, как

---

* Она явилась в марте 1862, во второй книжке «Русского вестника», как знаем. Все слова курсивом назначены автором письма. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** в том же положении (*лат.*).

и новых чувств, новых намерений — нет. Мы уж рады теперь, когда *продолжаем* безбедно.

Ну, прощайте, милый П. В. Когда увидимся — бог весть. А вы не оставляйте меня своими письмами, на которые я буду отвечать исправно, по-старому. Обнимаю вас — преданный вам И. Т.».

Через 10 дней получена была из Спасского коротенькая записка, которую здесь прилагаем, несмотря на то, что она содержит похвальный отзыв об одной из моих статеек, но биографическое ее значение от этого не уменьшается.

«Село Спасское, 28 августа 1861.

Милый П. В. Я не могу уехать из Спасского (это событие совершится завтра), не отозвавшись хотя коротеньким словом на ваше дружелюбное письмо. Мне очень жаль, что не увижу вас перед моим путешествием за границу; авось свидимся в феврале, потому что я лишней минуты не пробуду в Париже. Моя повесть будет вручена Каткову с особенной инструкцией, а именно: по прибытии вашем в Москву рукопись должна быть вручена вам, и вы, по прочтении, напишите мне в Париж подробное ваше мнение, с критикою того, что вы найдете недостаточным; я сейчас же примусь за поправки, и к новому году все будет давным-давно готово. Вы, я уверен, исполните мою просьбу с обычным вашим благодушием и беспристрастием. А адрес мой пока: в Париж, poste restante.

Я вам из Парижа напишу в Москву па имя Маслова. Ну, будьте здоровы, вы оба с вашей женою, которой я усердно кланяюсь, — и пусть долго продолжается ваше счастливое и тихое житье. Да, кстати... Я прочел вашу статью о «двух национальных школах»[42] и нашел ее превосходной. И я уверен, что на нее обратили бы гораздо больше внимания, если бы она явилась не в этой темной и глухой дыре, называемой «Библиотека для чтения». По милости этой статьи я съезжу в Бельгию. Ну, еще раз обнимаю вас. Преданный И. Т.».

В сентябре я сам был в Москве. Тургенев уже проехал в Петербург, а оттуда в Париж. Все так и произошло, как он наметил и указал. Едва успел я дать знать

о моем прибытии в редакцию «Русского вестника», как из нее явился какой-то молодой человек с рукописью, которую и оставил у меня, прося не задержать. Зачем нужно было это предостережение, когда рукопись предназначалась к печати еще в феврале будущего 1862 года, но оно объясняется опасением редакции утерять капитальную вещь, приобретенную ею. С ней это случалось — вспомним о «Фаусте» того же Тургенева. Исполняя предписание, я в два дня *проглотил* роман, который мне показался грандиозным созданием, каким он действительно и был. Помню, что меня поразила одна особенность в характере Базарова: он относится с таким же холодным презрением к собственному своему искреннему чувству, как к идеям и обществу, между которыми живет. Эта монотонность, прямолинейность отрицания мешает в него вглядеться и распознать его психическую основу. Кажется, я тотчас же и передал это замечание автору романа, но в общем известии о получении отзыва моего не видно, чтобы он дал ему какую-либо цену. То же самое было почти и со всеми другими отзывами: Тургенев был доволен романом и не принимал в соображение замечаний, которые могли бы изменить физиономию лиц или расстроить план романа. Между тем при отъезде из Москвы он оставил еще у Маслова, для передачи мне, записочку, в которой поручает взять обратно у Каткова согласие, данное им на разделение и напечатание его труда в двух или трех частях. «Я скорее соглашусь, — говорил Тургенев, — чтобы он напечатал мою вещь в нынешнем году, с обещанием выдать ее отдельной книжкой новым подписчикам. Вообще поручаю себя и свое детище вам в совершенное распоряжение».

Необходимость личного объяснения с г. Катковым была очевидна. В одно утро я собрался и явился у его дверей. М. Н. Катков принял меня очень добродушно, но речь его была сдержанна. Он не восхищался романом, а напротив, с первых же слов заметил: «Как не стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином». — «Но, М. Н., — возражал я, — этого не видно в романе, Базаров возбуждает там ужас и отвращение». — «Это правда, — отвечал он, — но в ужас и отвращение может рядиться и затаенное благоволение, а опытный глаз узнает птицу в этой форме...» — «Неужели вы думаете, М. Н., — восклик-

нул я, — что Тургенев способен унизиться до апофеозы радикализму, до покровительства всякой умственной и нравственной распущенности?..» — «Я этого не говорил, — отвечал г. Катков горячо и, видимо, одушевляясь, — а выходит похоже на то. Подумайте только, молодец этот, Базаров, господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора. Даже и смерть его есть еще торжество, венец, коронующий эту достославную жизнь, и это, хотя и случайное, но все-таки самопожертвование. Далее идти нельзя!» — «Но, М. Н., — замечал я, — в художественном отношении никогда не следует выставлять врагов своих в неприглядном виде, а, напротив, рисовать их с лучших сторон». — «Прекрасно-с, — полуиронически и полуубежденно возражал г. Катков, — но тут, кроме искусства, припомните, существует еще и политический вопрос. Кто может знать, во что обратится этот тип? Ведь это только начало его. Возвеличивать спозаранку и украшать его цветами творчества значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии. Впрочем, — добавил г. Катков, подымаясь с дивана, — я напишу об этом Тургеневу и подожду его ответа».

Мы можем сослаться на самого почтенного издателя «Московских ведомостей», что сущность нашего разговора о романе Тургенева была именно такова, как здесь изложено. Из полемики, возгоревшейся после появления «Отцов и детей», причем Тургенев дал и отрывок из письма к нему г. Каткова [43], видно, что последний писал именно в том смысле, как говорил со мной. Множество искушений должен был пережить Тургенев в Париже относительно лучшего, совершеннейшего своего произведения, начиная с совета предать его огню, данного семьей Т<ютче>вых, которую он очень уважал, а особенно хозяйку его, весьма умную, развитую и свободную духом женщину Александру> Петр<овну> Т<ютче>ву. Восемь дней спустя после первого парижского, уже знакомого, нам, письма я получил от него записочку такого содержания:

«Париж. 8 октября н. с. 1861.

Что же это вы, батюшка П. В., изволите хранить такое упорное умолчанье, когда вы знаете, что я во всякое время, и теперь в особенности, ожидаю ваших писем. Предполагаю, что вы уже прибыли в Петербург, и пишу

вам через Т<ютче>вых, которые (как они уже, вероятно, вам сообщили) осудили мою повесть на сожжение или по крайней мере на отложение ее в дальний ящик. Я желаю выйти из неизвестности — и если ваше мнение и мнение других московских друзей подтвердит мнение Т<ютче>вых, то «Отцы и дети» отправятся к... Пожалуйста, напишите мне, не мешкая. Адрес мой: Rue de Rivoli, 210.

Здесь я нашел все в порядке: погода стоит летняя, иначе нельзя ходить, как в летних панталонах. Из русских почти никого нет, кроме В. П. Боткина, который, entre nous soit dit *, окончательно превратился в безобразно эгоистического, цинического и грубого старика. Впрочем, вкус у него все еще не выдохся — и так как он лично ко мне не благоволит, то его суждению о моем детище можно будет поверить. Сегодня начинаю читать ему.

Сообщите мне ради бога, что у вас там делается. В самое время моего отъезда стояла странная погода. Все ли здоровы?

Пришлите мне ваш адрес. Кланяюсь вашей жене, всей вашей родне и всем знакомым. Ваш И. Т.».

* * *

Приговор Т<ютче>вых вышел из начал, совершенно противуположных тем, которые руководили мнением г. Каткова; они боялись за антилиберальный дух, который отделялся от Базарова, и отчасти предвидели неприятные последствия для Тургенева из этого обстоятельства. Таким образом, накануне появления «Отцов и детей» обозначились ясно два полюса, между которыми действительно и вращалось долгое время суждение публики о романе. Одни осуждали автора за идеализацию своего героя, другие упрекали его в том, что он олицетворил в нем не самые существенные черты современного настроения. Время обнаружило, что обе точки зрения были одинаково несостоятельны, и поставило роман на его настоящую почву, признав в нем художественное отражение целой эпохи, которое всегда вызывает подобные упреки и недоразумения. Кажется, и сам Тургенев, встретив эти противуположные течения общественной мысли, был

* между нами говоря (*фр.*).

сконфужен. Он хотел остановить печатание романа и переделать лицо Базарова с начала до конца, как о том и писал даже к г. Каткову. К счастью, этого не случилось: «Отцы и дети» явились в печати в том виде, как сошли с его пера. В записке встречаются загадочные фразы: «В самое время моего отъезда стояла *странная погода.* Все ли вы здоровы?» Объясняются они как намек на первую уличную манифестацию студентов в Петербурге, тогда же происшедшую и тогда же подавленную. Печальная история эта чрезвычайно заинтересовала заграничных корреспондентов наших. Множество английских, немецких и французских газет говорили о студенческой манифестации с участием, но, по обыкновению, извращая и преувеличивая факты. Тургенев даже испугался и спрашивал в коротенькой записочке: не приостановить ли печатание романа? Таким образом, роман до своего появления пережил уже три решения или катастрофы, которые ему предстояли: сожжение в камине, переделка сызнова лица Базарова, приостановление появления в печати. Для характеристики времени считаем нужным передать содержание записочки:

«Суббота. Париж, 14 (26) октября 1861 г.

Любезный друг, пишу вам несколько слов для того только, чтобы убедительнейше просить вас написать мне. Я знаю, как это теперь должно быть тяжело и т р у д н о, — но возьмите в соображение, в каком мы здесь находимся состоянии. Самые печальные слухи доходят до нас — не знаешь, чему верить и что думать. Сообщите, хотя вкратце, перечень фактов, совершающихся около вас.

Прошу также вашего совета: не думаете ли вы, что при теперешних обстоятельствах следует отложить печатание моей повести? Поправки все почти окончены, по мне кажется, что надо подождать. Ваше мнение на этот счет решит дело — и я тотчас же дам знать Каткову.

Говорить о том, что я чувствую, невозможно, да и, кажется, не нужно. Утешать себя тем, что «я, мол, все это предвидел и предсказывал», доставляет мало удовольствия. Богом вас умоляю, окажите на деле вашу старинную дружбу и — напишите.

О себе сказать вам пока нечего: я здоров и живу попрежнему. Русских вижу немного. В. П. Боткин процветает

и объедается. Кланяюсь всем вашим и вам, и вашей жене жму руки. Ваш И. Т. Rue Rivoli, 210».

Вторая записка, полученная из Парижа, была непонятного характера для меня лично. В ней сообщалось, что туда дошел слух о том, что я предпринял издание журнала и даже получил на это разрешение. Поводом к этому слуху, удивившему меня более, чем друзей моих, как следует полагать, было следующее обстоятельство. Министр внутренних дел, П. А. Валуев, искал редактора для предпринятой им официальной газеты «Правительственный вестник», которая, кроме прямых сообщений правительства, должна была поправлять все неверные слухи о намерениях администрации, опровергать несправедливые толки о тех мерах ее, которые уже явились на свет, и вообще наблюдать за журналами и восстановлять истину, когда она попиралась ими. В числе многих имен кандидатов на редакторство, вероятно, находилось и мое; это было, как полагаю, первым толчком к слуху, о котором я ничего не знал. Между тем выбор был сделан — в лице А. В. Никитенко, и, по-моему, очень удачный, ибо под его редакцией газета обратилась просто в официальную справочную газету и никаких других затей, о которых так много говорили, не предъявила, а всего менее заявляла претензию быть руководительницей и наставницей других изданий. Городская молва привязалась также и к имени А. В. Никитенко, наградив его жалованьем в 10 000 с, что было нелепо — ввиду громадности и необычайности суммы. Раздраженный, я написал Тургеневу *насмешливое* письмо, где и рассказал процедуру возникновения нового органа и великого шума без всякого результата, им произведенного. Вторая записка его гласила:

«Париж, 3 дек. (21 ноября) 1861 г.

Любезнейший А. Во-первых, благодарите от моего имени Т<ютче>ва за высылку трех экземпляров моих сочинений, которые я получил исправно. Во-вторых, правда ли, что вы собираетесь издавать журнал и уже получили разрешение? Я этому не совсем верю — по той причине, что вы, вероятно бы, уже известили меня об этом; но, вспомнив вашу скрытность перед вступлением в брак, я колеблюсь. В-третьих, взяли ли вы от того же Т<ютче>ва 100 сер. для стипендии двум бедным студентам

и отдали ли кому следует? Напишите словечко. А если вы точно собираетесь издавать журнал, то эта мысль у вас отличная. Я бы, разумеется, стал вашим исключительным сотрудником, насколько хватило бы сил. Правда, этим немного сказано, потому что я очень ослабеваю в литературном отношении и пера в руки не беру. Каткову я дал знать о нежелании моем печатать «Базарова» в теперешнем виде — да и он, кажется, этого не желает, а переделка, между нами, еще далеко не копчена.

У вас, в Петербурге, кажется, все понемногу утихает. Напишите об этом. Правда ли, что Добролюбов опасно болен. Очень было бы жаль, если б оп умер. Вы, наверное, видите Дружинина и Писемского: поклонитесь им от меня. Вы знаете, бедная гр. Ламберт потеряла своего единственного сына... Она не переживет этого удара.

Я в довольно грустном настроении духа, тем более что вот уже третий день, как моя старая болезнь, о которой я уже забыл думать, вернулась ко мне. А эта штука очень скверная. Нет ли чего-нибудь нового в *беллетристике?* Прощайте, милый П. В. Будьте здоровы — это главное. Жму вам руку и кланяюсь вашей жене. Преданный Вам И. Т.».

Наконец прилагаем и последнее письмо Тургенева того же года из Парижа, полученное в декабре 1861 г.

«11 (23) декабря 1861. Париж, Rue de Rivoli, 210.

Получил я ваше сурово-юмористическое письмо, любезнейший П. В., и, по обыкновению, узнав из него лучше всю *суть* современного положения петербургского общества, чем из чтения журнальных корреспонденций и т. д., говорю вам спасибо, но удивляюсь начальной вашей фразе, из которой я должен заключить, что по крайней мере *одно* мое письмо к вам затерялось. Но, видно, что с возу упало, то пропало, и не нам тужить о неисправностях почты. Это в сторону. Сто рублей в Москву посылать нечего: там сияет великий Чичерин — чего же еще? Возьмите из этих денег недостающее на подписку журналов, а остальное храните у себя до времени. Кстати, узнайте из бумаг архива, взнес ли я в нынешнем году весной при проезде 40 р. от имени Ханыкова. Если нет — значит, я забыл, и вы взнесите.

Огорчила меня смерть Добролюбова, хотя он собирался меня съесть живым. Последняя его статья, как нарочно, очень умна, спокойна и дельна [44]. Вы мне ничего не пишете о литературе — видно, о ней нечего писать. А я прочел в «Современнике» повесть Помяловского «Молотов» и порадовался появлению чего-то нового и свежего, хотя недостатков много, но это все недостатки молодости. Познакомились ли вы с ним? Что это за человек?

А я, кажется, обречен в жертву сплетням. На днях должен был послать успокоительную телеграмму Каткову в ответ на исполненное брани и упреков письмо... Все дело возгорелось по поводу моей злополучной повести, поправки которой все еще не кончены. Судя по охватывающей меня со всех сторон апатии, это будет, вероятно, последнее произведение моего красноречивого пера. Пора натягивать на себя одеяло — и спать.

Здесь жизнь идет, как по маслу, безобразно, но тихо.

Правительство ждет и желает войны с Америкой. На днях один мой знакомый протестантский пастор был призываем в министерство и *тамо* угрожаем за помещение в своем журнальце, коего название «Piété-charité» *, статьи о невольничестве. Статья эта состоит из четырех страничек и была написана *дочерью* Н. И. Тургенева. Ему объявили, что в предвидении войны — на невольничество не должно сметь нападать... А m-r Pelletan осужден на 3 месяца тюремного заключения за то, что пожелал Франции свободу, которою пользуется Австрия. Как же тут не умиляться!

Здоровье мое порядочно: это главное. Кланяйтесь жене вашей и всем приятелям. Ваш И. Т.

PS. 1-е. Слышал я, что разрешили представить «Нахлебника»; в таком случае передаю вам все свои права и прошу в особенности обратить внимание на то, чтобы «Нахлебника» не давали без прибавочной сцены во 2 акте, которую я давным-давно выслал Щепкину и которую могу выслать вам теперь.

PS. 2-е. Никитенко **, получающий 10 000 руб. сер. за редакторство журнала, есть факт, достойный остромыслия Щедрина».

---

* «Набожность и милосердие» (*фр.*).

** Слух, оказавшийся неверным, как уже упоминали. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

* * *

Наконец наступил и 1862 год, которым кончился второй период деятельности Тургенева, а также кончается и наша статья. О третьем и последнем периоде надеемся говорить вскоре. Жизненные периоды у замечательных литераторов обозначаются резко их произведениями. «Рудин» в 1856 году завершил собою всю подготовительную эпоху искания психических и социальных мотивов, пробуя открыть их источник то в картинах сельского быта, то в биографических данных собственной семьи, то в явлениях жизни, возведенных до значения руководящих начал. Рудин был олицетворением глубоких убеждений, но без нравственных сил, необходимых для их осуществления и даваемых только историей, характером национальности, свойствами культуры, личными свойствами. Базаров в 1862 году явился уже законченным типом человека, верующего только в себя и надеющегося только на самого себя, но смелым — по незнанию жизни, решительным и на все готовым — по отсутствию опыта, резким в суждениях и поступках — по ограниченному пониманию люден и света. Это был истинный представитель своей эпохи, который еще долго жил и после того, как сошел со сцепы, но его неспособность к творчеству и к серьезному делу, равно и его последователей, обнаружилась вполне. Много лет прошло, пока Базаров изжил все свое содержание, а молодежь, отшатнувшаяся было от Тургенева за одно произнесенное им *слово,* возвратилась к нему опять. Здесь у места будет сказать, что Тургенев не входил ни в какие сделки с молодым поколением, не делал ему никаких уступок, как утверждали и утверждают еще враги его; он разъяснял свои намерения при создании тех или других лиц, а это еще далеко до заискивания, и всегда с негодованием он отвергал предположение, что питал злобу и недоброжелательство к типам, им же и выведенным. В 1877 году он заключил третий и последний период развития, опубликовав знаменитую «Новь», где явился даже провозвестником будущих движений, что опять подало повод тем же врагам заподозрить его — о, нелепость! — в знании тайн заговора. Художественное провидение, свойственное одним высокоодаренным натурам, и политическое укрывательство подведены были под одну рубрику, но Тургенев не обращал никакого внимания на злобные толки. Он шел своей дорогой, рассыпая по пути

такие ценные цветы, как «Ася», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Первая любовь»; начиная же с «Отцов и детей» и вплоть до «Нови», отдавая публике такие капитальные произведения, как «Дым», «Бригадир», «Вешние воды», изумительные «Живые мощи» и т. д. Оставляя за собою право или, лучше, привилегию ознакомить публику, по многочисленным письмам, еще остающимся в наших руках, с тем, что он думал и делал вплоть до «Нови», позволяем себе сказать теперь, что «Новь», — успех которой будет расти с годами, как думаем, — заслуживает не менее своих великих предшественниц названия выразительницы общественного строя в известную, данную минуту. В ней встречаем поэтическую Марианну, девушку-энтузиастку, которую любовь, восторженность ведут неудержимо в процесс революционного движения, и простого, малогероичного, бесцветного, мещански-осторожного фабриканта Соломина, который под покровом спекуляции делает упорно и со смыслом дело разрушения и пропаганды, на которое посвятил себя. Изящная Марианна променивает своего взбалмошного Нежданова на эту деловитую, лимфатическую фигуру и соединяет с ним свою судьбу. Хождение в народ Нежданова представляет замечательную страницу из истории внутреннего быта России, и надо удивляться, что нашлись люди, которые прозвали все это поэтически-реальное создание «водевилем с переодеваниями» [45], не обращая ни малейшего внимания на художественные черты, входящие постоянно в изображение лиц, в описания их отношений друг к другу, в картину их волнений, страданий и надежд.

Но возвращаемся к «Отцам и детям». Издатели «Современника» были отчасти правы, когда говорили, что разность мнений и убеждений понудила их расстаться с Тургеневым, но, прибавим, это не касалось принципов, оснований, а относилось только до способа обращаться с авторитетами. Осенью 1860 года, когда начат был роман, Тургенев проводил целые вечера в толках о причинах такого разногласия и о средствах упразднить его или по крайней мере значительно ослабить. Разговоры эти не прошли даром: в возражениях и объяснениях сформировался как план нового романа «Отцы и дети», так и облик главного его лица — Базарова — с его надменным взглядом на человечество и свое призвание, которые так поразили публику 1862 года, когда роман явился на свет.

Следует сказать, что вместе с Базаровым найдено было и меткое слово, хотя вовсе и не новое, по отлично определяющее как героя и его единомышленников, так и самое время, в которое они ж и л и , — нигилизм. Едва произнесенное, оно было подхвачено особенно Европой, которая не знала, что думать и что сказать о странных событиях русской жизни. Подсказанное слово дало содержание целым трактатам и воззрениям. Русская молодежь долго не могла простить Тургеневу этого слова, которым завладели журналисты и применили к ней самой. Мы не покидаем надежды рассказать впоследствии все то зло, все те огорчения, какие это слово внесло в жизнь своего автора, начиная с похвал, расточенных перед ним за счастливое выражение, и кончая обвинениями в предательстве и отречении от своих убеждений.

Берлин, 5 января 1885 г.

ХУДОЖНИК И ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. Ф. ПИСЕМСКОМ

I

Зиму 1849/50 года мне пришлось прожить в одном из губернских городов нашего Поволжья [1]. Время было довольно неопределенное. Только что прогремела революция 1848 года в Париже, подымая за собой народные массы в большей части европейских столиц — в Берлине, Вене, Неаполе и др. и неожиданно обнаруживая, как много существовало в них, под покровом обманчивой тишины и внешнего благочиния, недовольства порядками жизни и политических страстей. Ничего подобного у нас не встречалось. Наша тишина была неподдельная, испытанная. Начиная с богатейшего земельного собственника и через весь ряд именитого и заурядного чиновничества до последнего торгаша на улице, все в один голос гордились и радовались тому, что политические бури и ураганы никогда не досягают и никогда не достигнут, по всем вероятностям, наших пределов. Нашлись, однако же, мудрецы, которым было мало этого. Относя спокойствие государства и общества к действию одного крепостного права, которое они поэтому и возвели в непререкаемый догмат русской жизни, мудрецы еще думали, что к выражениям народного патриотического настроения должно относиться дружелюбно, но действовать так, как будто его вовсе и не оказывалось. Ведь нельзя же, говорили они, полагать, что волны европейских событий никогда не докатятся до нас и не подроют где-нибудь втихомолку основ, на которых построена паша жизнь. Правильно понятый патриотизм обязан искать таких опасных подземных течений и благодарить тех, которые их открывают.

Результаты теории известны. Кроме всего прочего, явились подозрительные отношения к науке, враждебное настроение против утопистов, идеалистов, ученых, расплодившихся без меры и без ведома правительства под

сению университетов. Цензура печати наравне с цензурой нравов и убеждений отданы были на произвол всем «ведомствам» и всем частным лицам, которые обнаружили бы к ней охоту и способности [2].

Так продолжалось до конца Крымской кампании, когда возникло движение, возвестившее наступление нового общественного периода. В этот грозный промежуток времени замолкли и так называемые деятели сороковых годов. Почти все они состояли еще налицо и находились в цветущей поре сил; но у них отобраны были, впредь до дальнейших распоряжений, их научные основы и предложено заменить их покамест другими, поправленными согласно требованиям эпохи. Образовалась умственная пустота в общественной жизни, прерываемая обычным появлением журналов, со страниц которых несся какой-то смутный говор, ряд мнений и положений, словно переряженных или нарочно искалеченных для того, чтобы они не походили на дельные мнения и положения и не могли ввести читателей в искушение остановиться на них и посвятить им свое внимание.

В эту пору перерыва умственной жизни общества послышались голоса из органа М. П. Погодина и славянофилов, «Москвитянина», которые, при господствовавшем молчании, показались знамением времени, как бы указывавшим на скорое появление новых сил и литературных задач. Вокруг журнала, и, кажется, без особенных стараний редактора, образовалась группа молодых писателей, имевшая своих критиков, этнографов, философов, беллетристов и драматургов, [3] которую петербургские их собраты приняли спервоначала за отрождение славянофильства, благодаря тому, что группа выказывала если не враждебность, то полное равнодушие к предшествующей публицистической деятельности западного кружка и искала других основ для развития, чем он. Писатели, составлявшие группу, обратились за источниками художественных вдохновений и за устройством своего созерцания к верованиям и бытовым привычкам народных масс. Не мудрено, что эти новые народолюбцы подали повод к недоразумениям; дороги, ими открываемые, близко шли около тропинок, пробитых прежде того славянофилами. Смешать их с последними было очень легко по общности вопросов, затрогиваемых обоими; но существовала большая разница в их способах понимать народную культуру и относиться к ней. Члены нового кружка, почти все без

исключения, обладали значительным критическим чутьем, и это помогало им различать несостоятельность некоторых сторон русской жизни, хотя бы и выращенных веками я носящих на себе печать самой почтенной древности. Исконные славянофилы постоянно избегали всех таких разоблачений. Другое отличие школы от ее первообразов заключалось в убеждении, что указания западной науки должны еще способствовать к очищению и к укреплению русской народности на ее родной почве, — положение, неохотно допускаемое коренными славянофилами, которые видели в нем признак скрытного отщепенства. Обе партии связывались только одним общим чувством нерасположения к отрицанию важности народного быта, к абстрактному философствованию в области критики и публицистики, чем, по их мнению, отличался весь прошлый петербургский литературный период. Но и тут существовали еще между ними значительные оттенки в мнениях. Так, озлобленные выходки тогдашнего «Москвитянина» против петербургских либералов, которых уже вовсе и не было, далеко не выражали всех взглядов и убеждений молодых сотрудников журнала; но редактор, кажется, с ними никогда и не справлялся для подобных заявлений. Как бы то ни было, московский кружок новых деятелей составлял замечательное явление даже и по количеству весьма талантливых людей, к нему пристроившихся. Он числил в своих рядах, между другими менее известными именами, еще А. Григорьева, Т. Филиппова, Эдельсона, Алмазова, А. Потехина, наконец А. Н. Островского и А. Ф. Писемского. На последнем мы и остановимся.

Хорошо помню впечатление, произведенное на меня, в глуши провинциального города, — который если и занимался политикой и литературой, то единственно сплетнической их историей, — первыми рассказами Писемского «Тюфяк» (1850) и «Брак по страсти» (1851) в «Москвитянине».[4] Какой веселостью, каким обилием комических мотивов они отличались и притом без претензий на какой-либо скороспелый вывод из уморительных типов и характеров, этими рассказами выводимых. Тут била прямо в глаза русская мещанская жизнь, вышедшая на божий свет, торжествующая и как бы гордящаяся своей открытой дикостью, своим самостоятельным безобразием. Комизм этих картин возникал не из сличения их с каким-либо учением или идеалом, а из того чувства довольства собой, какое обнаруживали все нелепые их герои в среде

бессмыслиц и невероятной распущенности. Смех, вызываемый рассказами Писемского, не походил на смех, возбуждаемый произведениями Гоголя, хотя, как видно из автобиографии нашего автора, именно от Гоголя и отродился[5]. Смех Писемского ни на что не намекал, кроме забавной пошлости выводимых субъектов, и чувствовать в нем что-либо похожее на «затаенные слезы» не представлялось никакой возможности. Наоборот, это была веселость, так сказать, чисто физиологического свойства, то есть самая редкая у новейших писателей, та, которой отличаются, например, древние комедии римлян, средневековские фарсы и наши простонародные переделки разных площадных шуток.

Некоторые из мыслящих людей эпохи долго даже и не могли примириться с этой веселостью; им все казалось, что восторги перед голым комизмом изображений однородны с восторгами толпы на площади, когда ей показывают балаганного петрушку с горбом на спине и другими физическими уродливостями. Так, весьма требовательный и весьма зоркий литературный критик, В. П. Боткин, говорил еще несколько позднее, что он не может сочувствовать писателю, который, при несомненном таланте, не обнаруживает никаких принципов и не кладет никакой мысли в основу своих произведений[6]. Вскоре, однако ж, упреки эти умолкли и уступили место другим, противуположного характера. Писемский нажил себе таки в Петербурге *тенденцию*; а строгий его ценитель пришел в недоумение, когда наступило у нас полное господство *обличительной* литературы, породившее множество произведений весьма грубого облика, хотя и задуманных иногда с очень благонамеренными целями и задачами.

Когда я вернулся в Петербург в конце 1851 года, там уже говорили о том, что Писемский приобретен редакциями петербургских журналов в участники и сотрудники. Это было только наполовину правда, но все-таки составляло интересную новинку. В то время всеобщего затишья и отсутствия общественных интересов всякая мелочь и рябь на поверхности литературы обращали на себя внимание. Писемский давно уже питал намерение бросить службу, на которой состоял в Костроме, — асессором губернского правления. Успех его рассказов заставил его подумать о более широкой арене деятельности и о переселении в которую-либо из наших столиц. Все

симпатии его были на стороне Москвы, где началась его литературная карьера и где он имел много друзей; но практический его ум подсказал ему мысль, что в Москве приобретается почетное имя, но только в Петербурге завоевывается твердое общественное положение. Писемский завязал отношения с одним из редакторов «Современника», И. И. Панаевым, и послал в журнал свой роман «Богатый жених» (1851)[7]. Можно пожалеть, что письма этого нового сотрудника журнала к Панаеву остались не опубликованными: корреспондент, помнится, сообщал в них сведения о вкусах провинциальной публики и о том, чего она искала в то время и какие статьи останавливали ее внимание. Ныне это было бы любопытным этнографическим документом.

Между прочим, в Петербурге уже давно поджидали Писемского, но осторожный автор «Тюфяка» явился на берегах Невы только в 1853 году[8], и появлению этому еще предшествовало заметное изменение в отношениях «Современника» к новому московскому кружку, собравшемуся под знаменем «Москвитянина».

Факт этот имеет некоторого рода значение как в биографии Писемского, так и в биографии другого деятеля, А. Н. Островского. Надо сказать, что оба главные органа петербургской журналистики, «Отечественные записки» и «Современник», старательно поддерживали, после смерти Белинского, полемику с славянофилами, не давая совершенно погаснуть огоньку, который некогда освещал так ярко положение литературных партий и помогал скрытному обмену политических идей между ними. Известно, что Белинский к концу своего поприща склонялся признать разумность некоторых положений своих противников[9], но продолжатели его не хотели и слышать о каких-либо уступках. По-своему они были правы. При том гнете, который лежал на печати, единственная возможность заявить себя бодрым еще и действующим организмом заключалась для журналистики в возобновлении старой литературной полемики.

К подобному же заключению приведена была и партия славянофилов. Борьба снова завязалась, но теперь она походила уже на струю той сказочной живой воды, которая имела силу воскрешать мертвецов, ею окропленных; сражались уже не живые люди, а мертвецы, что доказывалось их оружием: повторением старых, некогда столь новых и ярких тем, подогретыми останками преж-

ней бойкой речи, намеками на давние смелые и теперь обветшавшие положения и проч.

Наиболее свежим и живым бойцом, выставленным Москвою, оказался Ап. Григорьев, замечательный критик эпохи; но это был славянофил не очень чистой крови. Артистическая его натура часто не выдерживала аскетической принужденности, налагаемой школою, и его видели не раз в рядах поклонников перед западными идеями и учреждениями. К тому же дипломатическая сноровка, довольно сильно развитая в обоих лагерях, была совершенно чужда этому правдивому человеку, и никогда посторонние соображения о выгодах или необходимостях партии не затемняли его убеждений и не влияли на его приговоры. Одно из его смелых положений (и не самое важное), именно пророчество о скором появлении на Руси *нового слова,* которое выведет будто бы литературу и общество наше на настоящую дорогу, где они и найдут разрешение многих своих вопросов и недоумений, было поднято петербургскими оппонентами его и послужило зерном полемики, продолжавшейся довольно долгое время [10]. В *новом слове* Ап. Григорьева западники Петербурга и Москвы усмотрели намек на деятельность кружка писателей, которые работали вместе с ним. Вся школа эта и преимущественно беллетристы ее заподозрены были в обскурантизме, задавшемся целью найти в народном и полународном быте элементы не одного драматического и литературного творчества, но и философии и правильного понимания нравственных начал. Это было недоразумение, за которое поломалось, однако же, немало копий с обеих сторон. Конец этому недоразумению положили на петербургской почве два человека, именно: только что вернувшийся тогда из-за границы (1850) И. С. Тургенев и недавно еще появившийся на литературной арене А. В. Дружинин. Оба они, как люди, воспитанные на образцах искусства, тотчас же распознали, сколько мастерства выказывает Островский в создании своих типов и в изложении драматической интриги, сколько произведения Писемского обнаруживают непосредственной силы таланта и сколько критики Ап. Григорьева заключают в себе проблесков независимой мысли и страстной потребности всегда найти последнее слово и выражение для точного определения предмета критики [11]. Закрывать глаза на качества и деятельность подобных людей, руководясь одними побочными соображениями, подозрениями и

неблагожелательством к их предполагаемым симпатиям, показалось обоим петербургским критикам вопиющей неправдою. Дружинин завязал от своего имени и не спросясь редакции журнала, где участвовал («Современник» — «Письма иногороднего подписчика»), дружеские сношения с народившимся кружком, за что и получил ранние симпатии его и прозвище «честного рыцаря»; Тургенев явился в 1852 году в «Современнике» со статьей о «Бедной невесте» Островского, где еще осторожно, но уже достаточно ясно, выразил свое сочувствие к автору пьесы, находя в ней много драматической правды и поэзии, наряду с ловкостью и исканием сценического эффекта [12]. Может быть, симпатии литераторов петербургской окраски к их московским собратам получили бы еще большее развитие, если бы им не мешали сами редакции журналов по закоренелой их привычке к полемике с партией, в которой теперь думали видеть прислужницу наступивших тяжелых порядков времени. «Отечественные записки», например, долее всех упорствовали в мнении, что А. Н. Островский служит представителем ретроградных направлений, прикрывающихся именем «народа», а Ан. Григорьев исполняет незавидную роль панегириста византийских созерцаний. Один из редакторов самого «Современника», Панаев, еще говорил по поводу направления, принятого Тургеневым: «Надо сдерживать Ивана Сергеевича, а то его московским прославлениям не будет меры и конца», да он же, Панаев, принял на себя после устраненного Дружинина (1851) и редакцию журнального фельетона [13], сняв с него эклектический характер, сообщенный ему прежним составителем. Как бы то ни было, но лед был поломан; путь для сближения между передовыми людьми эпохи найден, и Писемский мог в следующем, 1853 году переселиться в Петербург с полным убеждением, что он найдет там друзей и искреннее благорасположение, в чем и не ошибся.

Трудно себе и представить более полный, цельный тип чрезвычайно умного и вместе оригинального провинциала, чем тот, который явился в Петербург в образе моло-ого Писемского, с его крепкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими, наблюдательными глазами и ленивой походкой. На всем его существе лежала печать какой-то усталости, приобретаемой в провинций от ее халатного, распущенного образа жизни и скорого удовлетворения разных органических прихотей. С перво-

го взгляда на него рождалось убеждение, что он ни на волос не изменил обычной своей физиономии, не прикрасил себя никакой более или менее интересной и хорошо придуманной чертой, не принарядился морально, как это обыкновенно делают люди, впервые являющиеся перед незнакомыми лицами. Ясно делалось, что он вышел на улицы Петербурга точно таким, каким сел в экипаж, отправляясь из своего родного гнезда. Он сохранил всего себя, начиная с своего костромского акцента («Кабинет Панаева поража*аа*т меня великолепием», — говорил он после свиданья с щеголеватым редактором «Современника») и кончая насмешливыми выходками по поводу столичной утонченности жизни, языка и обращения.

Все было в нем откровенно и просто. Он производил на всех впечатление какой-то *диковинки* посреди Петербурга, но диковинки не простой, мимо которой проходят, бросив на нее взгляд, а такой, которая останавливает и заставляет много и долго думать о себе. Нельзя было подметить ничего вычитанного, затверженного на память, захваченного со стороны в его речах и мнениях. Все суждения принадлежали ему, природе его практического ума и не обнаруживали никакого родства с ученьями и верованиями, наиболее распространенными между тогдашними образованными людьми. Кругом Писемского в ту пору существовало еще в Петербурге много мыслей и моральных идей, признанных бесспорными и которые изъяты были навсегда из прений как очевидные истины. Писемский оказался врагом большей части этих непререкаемых догматов цивилизации. Так, учение, исповедуемое почти единогласно развитыми людьми всех оттенков Петербурга, о правах жены и женщины на полную свободу, в которой им отказывает еще современное общество, нашло в нем очень оригинального скептика[14]. Помню изумление в кругу петербургских гуманистов, возбужденное его мнением, что женщина составляет только подробность в жизни мужчины и сама по себе, взятая единолично, не имеет значения, что обязанности мужа к жене исчерпываются возможно лучшим материальным содержанием ее и что серьезные отношения между ними наступают только с появлением детей, а совсем не с появления так называемой любви, о которой так много говорят поэты и романисты. Но это мнение было только началом тех сюрпризов, которые Писемский готовил своим слушателям.

Писемский, например, добродушно признавался им, что испытывает род органического отвращения к иностранцам, которого победить в себе не может. «Присутствие иностранца — говорил Писемский — действует на меня уничтожающим образом: я лишаюсь спокойствия духа и желания мыслить и говорить. Пока он у меня на глазах, я подвергаюсь чему-то вроде столбняка и решительно теряю способность понимать его». Конечно, во всех афоризмах подобного рода многое должно быть отнесено и на обычное преувеличение дружеских разговоров, но все-таки присутствие истинного чувства тут несомненно. Кто же не узнает в таких и им подобных словах Писемского дальние отголоски старой русской культуры, напоминающие строй мыслей прежнего боярства и думных людей Московского царства? Вообще, порывшись немного в наиболее резких мнениях и идеях Писемского, которые мы обзывали сплошь парадоксами, всегда отыскивались зерна и крохи какой-то давней, полуисчезнувшей культуры, сбереженной еще кой-где в отрывках простым нашим народом. Самый юмор его, насмешливый тон речи, способность отыскивать быстро яркий эпитет для обозначения существенной нравственной черты в характере человека, который за ним и остается навсегда, и наконец слово, часто окрашенное циническим оттенком, сближало его с деревней и умственными привычками народа, в ней живущего. От них несло особенным ароматическим запахом развороченной лесной чащи, поднятого на соху чернозема, всем тем, что французы называют «parfum de terroir» (запахом земли, почвы). При виде Писемского в обществе и в семье, при разговорах с ним и даже при чтении его произведений, я думаю, невольно возникала мысль у каждого, что перед ним стоит исторический великорусский мужик, прошедший через университет, усвоивший себе общечеловеческую цивилизацию и сохранивший многое, что отличало его до этого посвящения в европейскую науку. Можно легко представить себе, какой интерес представлял подобный тип в Петербурге.

Несмотря на духовное родство с народом, Писемский не был, как и товарищи его, о чем уже сказали, славянофилом. Он вывез только и сберег в Петербурге гордость своим происхождением, в нравственном смысле, от Москвы и затем чрезмерное хвастовство ею, что было ему обще со всеми москвичами. Москву же он любил совсем не за ее святыни, не за исторические воспоминания, с

нею связанные, и громкое, всесветное имя, ею носимое, о чем никогда и не упоминал, а скорее за то, что там не принимали органические проявления страсти и жизненной энергии за распутство, не обзывали преступлением всякое уклонение от полицейского порядка и что в городе, где по временам скоплялась целая многотысячная армия из одних мужиков и разночинцев со всех концов империи, труднее было блюсти за чистотой нравов по уставам благочиния. Петербург казался Писемскому созданным на то, чтобы показать, сколько может быть безжизненности в порядке и возмутительных явлений под покровом чинности и стройности. Прочитав в записках Берхгольца о пирах в несколько суток без отдыха, даваемых основателем столицы, о курантах, заведенных им на башнях и в известные часы дня игравших на весь город свои мелодии, Писемский заметил: «Петру I это было совершенно необходимо для того, чтобы подданные его не померли все со скуки в новом городе»[15]. Напрасно старались друзья Писемского растолковать ему значение Петербурга посвоему. Молча выслушивал он их размышления о том, что город этот предназначен исправлять народные увлеченья, мешать развитию исключительного поклонения своему племени, что останавливает ход истории, проверять наукой и опытом смутные идеалы народных масс и проч. и проч. Писемский отвечал большей частью на эти заметки шуточками вроде следующей: «Может быть, и точно, — говорил он, — что Петербург хороший педагог, но я всегда ненавидел своих педагогов, хотя и боялся их смертельно».

Вообще осторожность, с какой Писемский держался в стороне от теоретических и философских разговоров, когда они завязывались перед ним, показывала, что отвлеченные идеи не имели в нем ни своего ученика, ни своего поклонника. Это подтверждалось и фактически многими проявлениями его анализирующего ума. Писемский удерживал, например, легко заметки и мысли, способные мирно уживаться с насущным умственным содержанием русского человека, и тотчас забывал о тех из них, которые служили, так сказать, светочами для общечеловеческого развития. Вообще он никогда не мог усвоить себе хорошенько представления об этом общечеловеческом развитии, — малопопятном, по его мнению, без указания на какой-либо народ, целиком воплотивший его в себя, без примеси национальных пороков и особенностей, если

такой народ еще найдется на свете! Сколько споров по одному этому вопросу происходило тогда! Людей сороковых годов, так много говоривших об общечеловеческом развитии, Писемский весьма уважал как двигателей общества, что и заявил во многих местах своих сочинений и даже в целом романе[16], но он был решительным противником их идеализма. Да и как бы он принял их учение о единой вселенской морали, обязательной для всех народов, достигших известной степени цивилизации, когда, в противность их убеждениям, он любил слабости, недостатки, даже дурные природные наклонности своего племени, носил следы их в самом себе и, понимая их вполне, нисколько не раскаивался в них и всего менее думал об их исправлении?

Прежде всего Писемский был нервным человеком в высшей степени и состоял под деспотическим управлением воображения и фантазии, которые могли играть им (и играли) по своему произволу. В нем не оказалось ни малейших признаков дисциплины над собой. Он допустил развиться в себе одной психической черте до болезненности — мы говорим о его нервной трусливости перед внешним миром. Он боялся толпы на улице, недоверчиво смотрел на всякое новое явление, вносимое в жизнь прикладными науками и, например, при открытии железных дорог, никогда не ездил на курьерских поездах, говоря, что они устроены для бешеных людей, не знающих, куда девать излишек животной своей жизни. Его тревожили явления и события, возникшие даже на очень дальних пунктах от места его пребывания, хотя он и не мог сказать сам, в чем состоит тут опасность для него. Спасительницей Писемского во всех этих проявлениях фантазии была его жена, Екатерина Павловна. Эта примерная женщина умела успокоить его болезненную мнительность и освободила его не только от забот по хозяйству и воспитанию детей, но, что важнее, — освободила его и от своего вмешательства в его личную, интимную жизнь, тоже исполненную капризов и порывов; она же и переписала на свой век по крайней мере две трети всех его сочинений с черновых оригиналов, представлявших всегда страшно запачканную макулатуру из кривых строчек, крупных каракуль и чернильных пятен. Известный наш рассказчик И. Ф. Горбунов недавно напечатал очень живое описание *морского путешествия* (!), совершенного Писемским из Петербурга в Кронштадт[17] по

приглашению генерал-адмирала, желавшего слышать нашего автора в препрославленном чтении его своих произведений *.

Выбор пал на «Плотничью артель» Писемского, только что написанную (1855). Восточная война была тогда в полном разгаре [19], и соединенный флот западных держав стоял у Кронштадта, где находился и генерал-адмирал. Писемский предварительно пожелал осмотреть на Неве казенный пароход, который должен был перевезти его через *страшные невские пучины* и передать на адмиральский фрегат. Во все время этого плавания, летом и при хорошей погоде, он постоянно ожидал беды с какой-либо стороны, а на адмиральском фрегате с ужасом смотрел на его батареи и не смел близко подойти к ним, поглядывая только на них издали, словно они могли гря-

---

* Кстати об этих чтениях. Он действительно передавал мастерски собственные сочинения, находя чрезвычайно выразительные интонации для всякого лица, выводимого им на сцену (в драматических его пьесах это выходило особенно эффектно) [18], Так же мастерски рассказывал он множество уморительных анекдотов из его встреч с разными лицами своей молодости. Подобных анекдотов были у него целые короба, и в каждом из них выражался более или менее законченный комический тип. Многие из этих типов были им обработаны позднее и попали в его сочинения. Но репутация великого актера, которая была ему составлена в Москве и которой он очень гордился, — не выдержала окончательной пробы. Так, при исполнении им роли городничего в «Ревизоре» Гоголя, данном на публичном спектакле в пользу литературного фонда, который был тогда в большой моде (1860), он оказался слабым и монотонным, изображая эту живую фигуру. Дело в том, что Писемский всегда счастливо находил одну верную ноту в предоставленной ему роли и по ней создавал все лицо исключительно, пренебрегая всеми другими оттенками его. Однажды я был свидетелем, как Писемский, в присутствии покойного Мартынова, вздумал оправдывать эту грубую, упрощенную манеру понимания изображенных лиц и утверждал, между прочим, что гениальный создатель «Ревизора», кажется, писал свою комедию не для сцены, потому что в городничем его беспрестанно встречаются вводные мысли и отступления, сбивающие с толку актера и мешающие ему проводить роль в надлежащем единстве. Великий наш комик, который был также и очень сильным теоретиком своего искусства, горячо возражал на эту мысль, объясняя пространно и чрезвычайно ясно, что все эти à parte, побочные мысли и подробности совершенно необходимы автору и представляют благодарную задачу для истинного актера, помогая ему выказать в полном блеске свое дарование и слиянием всех этих отдельных черт в один полный образ создать характер, способный остаться надолго в преданиях театрального мира. Писемский, кажется, остался при своем мнении. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

нуть и сами собой. Помню, как я с непривычки был озадачен, когда однажды при начале нашего знакомства, возвращаясь с Писемским довольно поздно ночью с вечера, проведенного у друзей, услыхал от него необычайный вопрос: «Скажите, вам никогда не случалось думать, подъезжая к своему дому, что без вас там могло произойти большое несчастие?» Не знаю, что я отвечал ему, но Писемский прибавил доверчиво: «Мне часто случается стоять у порога моей двери с замиранием сердца: что, если дом ограблен, кто-нибудь умер, пожар *сделался*, — ведь все может случиться». По голосу его слышно было, что он говорил серьезно.

Тогдашняя жизнь Писемского в Петербурге близко подходила к жизни литературного пролетария, который принужден беспрестанно считаться со своими средствами. Дом его содержался в большом порядке благодаря хозяйке; но выдающаяся простота обстановки показывала, что экономия была тут не делом вкуса, а необходимости. Писемский переносил стеснения далеко не спокойно; он досадовал на свою бедность и искал средств выйти из нее, за чем, собственно, и явился в Петербург. На первых порах он даже определился на службу в один из петербургских департаментов (в удел, кажется)[20], и любопытно, что позднее, когда покинул его (а случилось это очень скоро), Писемский указывал на одно чиновное лицо, покровительствовавшее ему, со словами: «Никогда не прощу этому человеку того, что я старался понравиться ему и выказать себя умницей». В 1856 году он принял поручение от морского министерства ехать в Астрахань для собирания этнографических данных и описания края[21]. Вернувшись из поездки, он принялся опять за чисто литературные работы и не мог победить жалобы на малые, сравнительно, материальные результаты, какие они приносили. Он выражал громко свое негодование на обстоятельства, которые делают настоящего производителя ценностей подчиненным лицом собирателя их и торговца ими. Не стесняясь, он в глаза говорил издателям журналов и сборников, что их благосостояние зиждется на эксплуатации и бедности их сотрудников и вкладчиков.

Никто не сердился на него за эти слова, во-первых, потому, что их произносил весьма нужный человек, а во-вторых, потому, что, в сущности, это были безобидные слова, не способные изменить обычаев литературного рынка. Но и для Писемского наступил день, когда он по-

чувствовал, что жизненная его работа не пропала задаром. В 1861 году один из предпринимателей в Петербурге (Стелловский) купил у него право на издание всех его дотоле появившихся сочинений за 8 тыс. руб., — сумму, немаловажную по тому времени[22]. С этим обстоятельством, давшим Писемскому возможность почувствовать себя самостоятельным писателем, имеющим свою цену на литературной бирже, связывается еще довольно характерный анекдот, рассказанный самим героем его. После долгих и серьезных прений с своим издателем, согласившись на его условия и получив крупный задаток, Писемскому вздумалось тотчас же и попробовать себя в роли капиталиста. Он отправился в одно из пышных публичных заведений столицы, где богатые люди мотают свою жизнь и состояние и мимо которого он обыкновенно проходил, с любопытством посматривая на его двери. Теперь он шумно раскрыл их и, как власть имущий, гордо вступил в недоступные прежде чертоги, но, встретив там нечеловеческое подобострастие, звериную алчность к деньгам, тотчас же и очнулся. Готовность служить всем его капризам отрезвила его лучше всякой проповеди и вместо поощрения к издержкам погнала его вон, к себе домой... Анекдот хорошо рисует соединение сильного практического смысла с детской наивностью и фантастическими порывами, которые составляли сущность характера этого человека.

В Петербурге Писемский близко сошелся с другим замечательным человеком этой переходной эпохи и своим антиподом по духу и внутреннему содержанию, с А. В. Дружининым, который тогда же (1857 год) принял на себя редакцию обездоленного журнала «Библиотека для чтения»[23] и через год пригласил к себе в соредакторы нашего автора, почувствовав, что злая болезнь (чахотка) одолевает его и низводит в могилу.

А. В. Дружинин тоже принадлежал к фаланге наших писателей, которая в трудное время не выпускала из рук знамя литературы и отстояла ее право на голос и участие в развитии общества, несмотря на опасности, неприятности и унижения, сопряженные с исполнением этой задачи. Позднейший переводчик Шекспира, Дружинин рано показал себя знатоком европейских литератур и преимущественно английской. Он близко подходил к типу английских *эссеистов* и, подобно своим первообразам, обнаруживал в статьях большую степенность суждений и отвращение от

всякого резкого приговора, а еще более от всякого своеволия в творчестве, со стороны авторов. Суровым моралистом он никогда не был, что доказывается и оставшимися после него юмористическими произведениями довольно нецеремонного характера [24], но *консервативный* оттенок, который носила его мысль, мешал ей, несмотря на всю ее обработку обширным чтением иностранных литератур, узнавать иногда весьма жизненные явления современной эпохи. Писал он много, легко и скоро, думал, что пишет для высококультурной, развитой публики, на признательность которой уже может рассчитывать. Может быть, в этом и кроется именно причина постигшего его несправедливого забвения: он был слишком вельможен, так сказать, для массы русских читателей, из брезгливости никогда не спускался до мелочных явлений литературы и не обнаруживал никакой страсти в защите и пропаганде своих собственных воззрений. Будучи по характеру и по воспитанию в одном военно-учебном заведении (пажеском корпусе) светским писателем по преимуществу, Дружинин относился также очень равнодушно и иронически к кабинетным трудам русских ученых и к задачам, которые они ставят себе, в чем и походил на старого своего приятеля Сенковского, которого, между прочим сказать, очень уважал. Все это приобрело ему нерасположение многих московских кружков, но не помешало кабинету Дружинина в Петербурге сделаться центром почти всего литературного персонала обеих столиц и видеть в числе своих посетителей журналистов, критиков, писателей и драматургов самого разнородного направления. Кроме общей потребности у тогдашних литераторов жить в единении друг с другом, ввиду многочисленных своих домашних и посторонних врагов, о чем сейчас будем говорить, существовала еще и другая причина для этого явления. Обширная начитанность Дружинина в западной беллетристике позволяла наводить у него все нужные справки и давать веру аналогиям, которые он любил проводить между произведениями различных стран, а затем он обладал еще и другим неоцененным качеством — убеждением в честности нашего общества и великого труда, ему посвященного. Оно мирило с ним и тех, которые не признавали служения светской публике делом, заслуживающим особенного уважения. Но мирное настроение людей, собиравшихся у Дружинина, приходило уже к концу. Все их качества, а также и качества хозяина, вскоре осуждены

были выдержать тяжелый искус и решительную пробу. С половины пятидесятых годов начали появляться ясные признаки переворота в мнениях, возвещавшего конец переходной эпохи и наступление нового литературного периода. Первой посылкой этого нового направления с идеями, накопившимися в его недрах, являлись новые понятия, философско-общественные; затем явилась постановка совсем иных целей и задач, как для творчества, так и для критики его, чем те, которые занимали умы доселе. Случилось так, что новые требования, для борьбы с которыми не много было всех сил опытного редактора, застали Дружинина на одре болезни, изнемогающего под ударами тяжелого своего недуга. Журнал «Библиотека для чтения», поднятый им из праха, в котором он долго влачился после Сенковского, был передан им своему товарищу, и Писемский, таким образом, очутился на давно желанной публицистической арене самостоятельным редактором журнала, и притом в самую критическую минуту для литературы и общества вообще. Что из этого вышло, скажем сейчас [25].

Но прежде позволим себе бросить беглый взгляд на самую сцену, где происходило действие, и на публику, которая была его свидетельницей.

II

До 1860 года литературная и журнальная арена наша представляла, в полном смысле слова, праздничное зрелище. Известно, что с 1856 года некоторое ослабление цензуры, произведенное совсем не законом, который стоял еще во всем угрожающем положении своем, а смягченной практикой его уставов, открыло новую эру в печати нашей. На литературной арене явились не только все писатели по профессии, желавшие воспользоваться умственным простором, который мог столь же неожиданно кончиться, как неожиданно и наступил, но явились люди, дотоле сохранявшие абсолютное молчание и которые торопились теперь тоже сказать свое слово, чтобы не отставать от других. Само собою разумеется, что возник большой говор, который принимался за знак развития; но речей, созидающих направление и управляющих умами, тогда еще не было слышно. Все речи походили одна на другую и велись на какую-то одну большую тему о

будущем скором возрождении нашем, но они отличались развязностью своих приемов и свободой выражения, которые придавали им вид самостоятельности и смелости мысли. Журнальный мир находился в замиренном положении, за исключением, разумеется, домашних счетов одних редакций с другими; но затем журналы не разнились ни по характеру, ни по направлению между собою, стараясь одинаково следовать за общим движением и не отставать от него в либеральном, радостном и доверчивом настроении. Всякое заявление, из какого бы источника ни выходило, могло надеяться на благосклонное внимание, как только являлось под знаменем прогрессивного направления, которое оказывалось потом у очень многих и фальшивым знаменем.

Мы не пишем здесь истории нашего развития за последнее время, которая была бы и преждевременна, а только сообщаем для нее факты, сохранившиеся в нашей памяти, и то далеко не все и без подробностей, на какие бы они имели право[26].

Лучшим доказательством того, что никто в это время не различал еще своих друзей от будущих противников, служит смешение направлений, царствовавшее в органах публицистики. Все жили в куче. Люди, придерживавшиеся старых, укоренившихся воззрений на искусство, нравственные вопросы и задачи общественного развития, встречались в периодических изданиях с людьми, искавшими уже других точек зрения на те же самые предметы. Происходили споры, но все мнения казались нужными, и ни одно не ставилось вне закона, hors loi, как было позднее. Последний, 1859, год переходной эпохи представил наглядный пример близкого соседства разнородных течений мысли. Начало года украсилось, например, в «Современнике» романом Тургенева «Дворянское гнездо» — этим патетическим гимном, посланным вслед уходящему поколению; а вторая половина года ознаменовалась в том же журнале знаменитой статьей Добролюбова «Темное царство» (по поводу сочинений А. Н. Островского), которая упразднила поклонение всем старым идеалам и с которой, собственно, начинается у нас понимание поэзии и искусства как непосредственных политических и общественных факторов, определяющих и ценность произведений. Мы уже говорили о пестроте общества, собиравшегося у Дружинина; но точно такая же пестрота убеждений и взглядов существовала и везде, в журналах,

частных домах и публичных сходках. Она не нарушала установившихся отношений между людьми. Главный редактор «Отечественных записок», покойный Дудышкин, не прерывал старых дружеских связей с редакторами «Современника», в то время как встречал жестким отпором эстетико-философские взгляды журнала. Разница основ не изменяла привычек, нажитых прежде. Тот же Дудышкин, бывший, между прочим, постоянным противником новых теорий изящного и защищавший чистоту эстетического догмата от примеси к нему идей утилитаризма с упорством и выдержкой истого янсениста, на которого многими сторонами своего ума и характера отчасти и походил[27], — предоставлял страницы своего журнала далеко не фанатикам чистого искусства и вел полемику с собратами всегда на основании политических соображений о нуждах общества и настоящей минуты. «Русский вестник», явившийся в 1856 году, принадлежал еще тогда к наиболее ярким органам прогрессивной воинствующей журналистики и не усумнился напечатать роман Тургенева, озаглавленный «Накануне» (1860), который противоречил, как скоро оказалось, настоящему образу мыслей редакции всем тоном и содержанием своим. Первый досужий библиограф, который вздумал бы заняться перечетом всех этих маленьких аномалий времени, вовсе и не замечаемых им, мог бы привести гораздо более примеров подобного смешения языков в тогдашней литературе, чем мы сделали это. Достаточно упомянуть, что любой из наших писателей мог пройти тогда через всю гамму журналов, побывать во всех редакциях без вреда и ущерба для нравственной своей физиономии. С 1860 года все это кончилось, и если подобные примеры еще являлись, то уже как исключения, а не как общее правило. Сплоченные некогда ряды деятелей разорвались. Между теми, которые приняли новое направление за программу своей жизни и деятельности, и другими, которые не хотели за ним следовать, ввиду недоказанности его доктрин, все более и более рос разлад, без возможности наполнить его какими-либо общими интересами, вроде борьбы с дурными условиями времени и проч. Оказалась полная невозможность существования под одним знаменем таких стремлений и тенденций, которые расходились друг с другом, как только чуть-чуть удалялись от элементарных оснований каждого вопроса и учения. Широкие девизы вроде служения народному образованию, принципам

разумного общежития и так далее потеряли свое обаяние и не собирали более толпы поклонников. Требовалось теперь нечто другое. Каждый выступающий на литературную арену обязан был определенно и точно изложить всю систему верований и защищать ее с оружием в руках, как старые рыцари защищали некогда излюбленные свои цвета. Наружная благовидность, добываемая с помощию безразличного либерализма, уже не принималась в расчет. Всякая примесь идей, захваченных со стороны и по соседству и затемняющих истинное настроение и настоящий образ мыслей человека, преследовалась новым направлением как обман. Особому негодованию его подвергались все полуубеждения, все слабое и нетвердое в мнениях, все, что искало компромиссов и сделок в области идей и теорий. Оно добивалось или согласия на совместную с ним работу отыскания новых начал для жизни, или на решительный переход к учениям, опутанным сетью исторических преданий. Со стороны Писемского выбор не представлял сомнения и еще облегчался примерами, которые тогда же явились как необходимое следствие вызова, брошенного прогрессивной доктриной. Литературное общество, а за ним и весь культурный люд разделились у нас на две серьезные партии — консервативную и либеральную, получившие в дальнейшем своем развитии оттенки и особенности, которые уже не имеют ничего общего с историей их прошлого, здесь рассказанной[28]. Писемский впервые открыл серию чисто охранительных петербургских органов, с различными оттенками, начиная славянофильским и кончая олигархическим («Время», «Эхо», «Весть»), которые не замедлили появиться вскоре после того.

Жилось тогда вообще чрезвычайно тревожно и скоро. Каждый день приносил новые впечатления; ждали важных событий со всех сторон: слухи и толки о новых мерах правительства перекрещивались с их пояснениями в журналах, которые были часто не менее замечательны, чем и самые обсуждаемые предначертания. Литература и публицистика поминутно раздражали требованиями своими как верующих в силу их слова, так и не верующих в нее. Общественный пульс бился сильно. Ни одна из вестей, волновавших людей того времени, не производила, однако, такого впечатления, как весть об эмансипации крестьян. С 1858 года вопрос был уже официально поставлен на очередь. Понимание его Писемским за-

служивает внимания, ибо он тогда уже угадывал, по практическому своему уму, многие стороны его, обнаружившиеся только впоследствии.

Писемский был издавна сторонником разрешения тех уз, которые некогда наложены были на народ с целью отделаться от забот и попечений о нем. Иначе он и не мог думать, будучи сам хотя из старого, но захудалого с течением времени дворянского рода, жившего долгое время одной жизнью с селом и деревней. Но в своем сочувствии к освободительным мерам правительства Писемский сохранял еще, как и везде, оригинальную и самостоятельную черту. Так, он не оказывал ни малейшего признака сантиментальных отношений к народу, какие окрашивали тогда все беседы о предстоящей реформе. Писемский был совершенно свободен от розовых надежд, которые возлагались на освобождение крестьянского населения, не доверял обещаниям множества благ, имеющих произойти от одного «свободного» труда, и не приходил в восторг при мысли, что с эмансипацией прибывает на Руси несколько миллионов полноправных граждан и собственников. На все подобные заявления Писемский смотрел как на ораторские приемы или как на излияния благородного душевного настроения и признавал их весьма полезными ввиду воспитания и приготовления умов к реформе, но сам относился к пей чрезвычайно просто. «Освобождение» казалось ему необходимостью для страны потому, собственно, что оно — освобождение — и дает способ каждому найти свой образ и превратиться из старой, бесформенной *души* в определенную личность. Но затем он отказывался верить, что вместе с освобождением должна непременно наступить и эра *обновления* народа, что с освобождением народ покинет некоторые бытовые привычки, возмущающие нравственное чувство, изменит прирожденные свои наклонности и поправит свои представления о порядке и образе жизни согласно с новыми условиями существования, в которые поставлен. Странно было слушать разрушение всех подобных иллюзий со стороны человека, который по своему характеру и своим симпатиям сам был из народа. Он представил нечто вроде иллюстрации к своим положениям в сценах из народного быта, изображенных его романом «Взбаламученное море», написанным после того, как великий акт освобождения уже сделался законом страны (1863). Так же точно и при первых слухах о реформе судебных учреждений и вводе в них института

всесословных присяжных, практический смысл, нажитой им в провинции, подсказывал ему опасения и скептические заметки. Писемский пророчил, что присяжные из крестьян будут отличаться поразительной снисходительностью к самым тяжким преступлениям, потому что каждый из них заранее будет состоять под гнетом убеждения, что он лично может попасть завтра же, при стечении несчастных обстоятельств, на скамью обвиняемых и по тому же самому преступлению, какое призван теперь судить. Взамен он утверждал, что нигде не окажется столько жестокости и неумолимости, как при домашних расправах крестьян в волостных и сельских трибуналах. Тут у русского мужика, по его мнению, замешаются личные интересы и страсти, да наконец у себя дома он дозволит делать с собою и ближними гораздо более того, чего так страшится от полиции, наезжего чиновника и постороннего общине лица. Многие из тех, которые выслушивали подобные мнения от Писемского, принимали слова его за диффамацию народной сущности, за клевету скрытного крепостника, но заподозрить Писемского в привязанности к крепостным порядкам не было никакой возможности, и приходилось, таким образом, искать основ для его заметок где-нибудь глубже.

Источники их крылись в органическом недоверии Писемского к воспитательному характеру политико-экономических, финансовых, хозяйственных и других научно-государственных мер без совместного участия с ними живого нравственного авторитета. Он утверждал публично в 1861 году, что новое выработанное «Положение» о крестьянах предстанет перед ними не в виде нравственного дела по преимуществу, а в виде фискального или наподобие решения первой инстанции суда по давней имущественной тяжбе их с помещиками. Тягаться можно будет и после того, в других инстанциях. Но для раскрытия морального смысла «Положения» необходимо, чтобы оно отразилось этой стороной своей на живых примерах. Народ верит только тому, что видит сам или думает видеть перед собою: если нет чудес, то необходим пример. Писемскому казалось, что без сильных «нравственных авторитетов» народ не расстанется ни с одним из тех свойств, которые получил в период рабства и чиновничьих притеснений, а только приноровится к новым учреждениям и в их рамках разовьет еще с большей энергией дурное нравственное наследство, полученное им от прошлого. Он не

придавал особенного значения и будущему развитию благосостояния освобожденных, на которое многие рассчитывали как на сильный нравственный двигатель: жизненный опыт привел его к заключению, что богатство и нажива могут быть родоначальниками еще больших пороков и безобразий, чем сама скудость, которая считается их матерью. Откуда явятся люди для предполагаемой им миссии, Писемский не знал. Он не мог сказать, придут ли они со стороны самого народа, или вышлет их наше духовенство; явятся ли они из земства, или создаст их та часть либеральной бюрократии нашей, заслуги которой по борьбе с сословными предрассудками и с эгоизмом различных классов общества он всегда признавал и высоко ценил. Писемский пророчил только, что пройдут еще многие долгие годы, прежде чем «освобождение» даст все те результаты, каких ожидают от него теперь же слишком нетерпеливые публицисты и патриоты. С таким-то багажом предвзятых мыслей Писемский и выступил в качестве консерватора перед литературой и публикой, настроенными совсем иначе.

Появление при «Современнике» сатирического листка «Свисток» (1860) произвело на возбужденное наше общество гораздо более сильное впечатление, чем можно было ожидать от шутки. Листок показался победой над цензурой и чопорным обществом, жившим под ее прикрытием, он отличался, между прочим, веселостью и большим остроумием и довершал начавшийся ранее разбор репутаций и авторитетов, но другими способами — насмешкой, пародией, сарказмом, которыми владел чрезвычайно ловко[29]. Примеру «Свистка» последовали даже и большие газеты, и серьезные журналы в своих фельетонах, отчетах о книгах, библиографических заметках, — завязалась игра именами, лицами, трудами их, игра, хорошо знакомая западным литературам, где она теряется в целом движении, но еще редкая у нас и тогда производившая впечатление. Против этой своеобразной свободы слова, почерпающей в самих излишествах своих право на безответственность, Писемский только и восстал в своем журнале. И понятно почему.

Для того, чтобы бороться с основами нового литературного направления, с его доктринами, которым журнальный памфлет служил только застрельщиком, требовалась уже большая подготовка, требовалась сила мышления и знания, каких журналу Писемского и его сотрудникам

вовсе недоставало, как оказалось при первой же их попытке определить деятельность направления. Оно приобрело жарких поклонников, пустило от себя корни во все стороны, укрепилось в мысли и совести людей. Писемский остановился на второстепенных, случайных, эфемерных его явлениях и с ними завязал дело, употребив и оружие противников. Он открыл при своем журнале серию бесцеремонных фельетонов, которые сам составлял, прикрываясь циническим псевдонимом «Никита Безрылов» никого, впрочем, не обманывавшим и тогда.

Весь 1861 год прошел в единоборстве с «Петербургскими ведомостями», «Северной пчелой», «Искрой». Говорить о большей или меньшей степени остроумия, полемической ловкости, меткости заметок тут не приходится[30]. Дело сводилось обеими сторонами просто на количество обид и злобных внушений, какие каждая из них могла выкинуть на свет. Достоинство и мастерство употребления этих снарядов было равное здесь и там. Никита Безрылов усмотрел в противниках легкомысленные претензии овладеть литературой с помощью терроризации писателей, злобно смеялся над неразборчивостью средств, употребляемых ими для поддержки своего властолюбия, не оправдываемого ни талантом, ни познаниями, обличал комическую несостоятельность многих их мнений и приговоров. Уже тогда можно было предусмотреть, однако же, что борьба эта не кончится торжеством и победой для Писемского, как действительно и случилось. Нельзя же было в одно время думать о художнических созданиях и точить перо на ненавистную брань. Нужен был человек гораздо более выносливого, закаленного характера, чем Писемский, для того чтобы стоять хладнокровно под дождем изливаемого на него каждодневно позора, мечтая об отомщении, или во имя своих убеждений продолжать распрю, когда она перешла уже и за пределы литературы. В записке, доставленной нам уже после смерти Писемского и составляющей как бы продолжение его недописанной, коротенькой автобиографии, говорится о побочных средствах, к каким прибегали враги его. Последним ударом раздраженной партии, возмущенной смелостью человека, впервые заговорившего о ней, был вызов на дуэль, посланный Писемскому из редакции одного юмористического листка. Не предвидя конца подобным внелитературный мерам, ошеломленный и преследуемый в один голос тогдашними органами общественного мнения в Петербур-

ге, Писемский впал в то состояние изнеможения, нервного упадка сил, какое находило на него при всяких крупных неудачах жизни. Он отказался от редакции «Библиотеки для чтения», а вслед за тем принял и другое решение: разорвав, за немногими исключениями, все связи с Петербургом (тогда же он отказался и от участия в делах литературного фонда), он со всей семьей переселился на постоянное житье в Москву. Это было уже в начале 1862 года[31].

Роман «Взбаламученное море», о котором сейчас упоминали, начатый еще в Петербурге, появился на страницах «Русского вестника» в следующем, 1863 году[32], когда автор его уже совсем устроился на новом своем местожительстве. Роману этому предшествовал другой роман, гораздо более замечательный и другого автора — именно «Отцы и дети» Тургенева, нашедший себе место тоже в «Русском вестнике» годом ранее (1862)[33]. Оба романа имели в виду изображение одной и той же эпохи; но Тургенев подошел к своей задаче в оружии художника-психолога, много думавшего о времени, которое выбрал для картины, и позаботился раскрыть физиологические и моральные основы всех действующих на ней лиц. Он нашел для них типические черты и снял с физиономий их всякое выражение чего-либо похожего на легкомыслие, наметив только следы нравственных болезней тех эпох, которым они служили представителями. Он сделал еще более, сообщив образцам беспощадного отрицания, выведенным им, оттенок мрачного величия, которое свойственно непоколебимым убеждениям и которое иногда заслоняет внутреннюю бедность их содержания. Он отнесся с таким же беспристрастием и к растерявшемуся старому поколению, которое донашивало свои прежние идеалы, тщетно стараясь защитить их от новых людей. Таким образом, создался известный шедевр русской и европейской литературы, принесший автору множество упреков и обвинений до тех пор, пока, с течением времени, не установился взгляд на него как на художественное изображение двух столкнувшихся на наших глазах общественных развитий с их героями, страстями и делами.

Ничего подобного, конечно, не заключал в себе роман Писемского «Взбаламученное море». В нем было много юмористического таланта, но мало создания. Довольно небрежно составленный, роман этот представил у нас первый опыт *полемического* романа, нашедший потом

множество подражателей[34]. Обыкновенное свойство всех полемических романов заключается в том, что они не занимаются историей возмущающих общественных явлений, берут их без корней и почвы, по одному наружному виду, и переносят в какое-то подобие потешного сада, разведенного только на один день праздника. Автор «Взбаламученного моря», всего более пораженный неурядицей, которую произвели в некоторых слоях общества плохо понятые ими литературные направления, отдал на публичный позор такие исключительные явления этого маленького и неразумного мира, что роман его составил просто коллекцию уродливостей эпохи, имея в виду передачу ее родовых отличий. Гораздо лучше удались автору изображения типов, оставленных крепостными порядками на поле проигранной ими недавней битвы. Эти умирающие чрезвычайно ярко выражали в последние минуты свои весь длинный безобразный путь, пройденный ими до того. Повторяем, однако ж, что ни в одном из своих произведений Писемский не достигал такого пафоса, такого ядовитого юмора, такой горькой насмешки и цинической обрисовки характеров, как именно в этом романе. Он писался под влиянием гнева и раздражения и остался памятником полемической беллетристики, не превзойденным его подражателями. Оба романа, и Тургенева и Писемского, несмотря на неизмеримую разницу в их достоинстве и содержании, были одинаково знамениями поворота литературы к критическому пересмотру идей, господствовавших в обществе.

Вскоре после появления в печати своего романа Писемский поступил в редакцию журнала «Русский вестник» в качестве заведывающего беллетристическим его отделом. Петербургский период жизни закончился совершенно для нашего автора, что и позволяет нам оглянуться теперь назад и обозреть литературную его деятельность за это время. Она была в высшей степени плодотворна.

Весь этот период принадлежит к самой блестящей эпохе его производительности и сплошь наполнен совершеннейшими его созданиями, которые доставили автору их славу таланта, выходящего по силе и меткости изображений из ряда вон. Слава эта уже не умалилась впоследствии ни от злых критик, которым подверглась, ни от собственных менее удачных произведений автора, появившихся во вторую половину его жизни. После первых его опытов в Москве Петербург видел полный расцвет его

таланта. Достаточно вспомнить, что в десятилетие его пребывания в Петербурге были написаны самые капитальные из его произведений: «Плотничья артель», «Старая барыня», «Батька», роман «Тысяча душ» и драма «Горькая судьбина» [35]. Остановимся только на двух последних, так как в них есть данные для подтверждения наших заметок о свойстве его настроения и созерцания вообще.

Роман «Тысяча душ» принадлежит к числу наиболее продуманных и наиболее обработанных созданий Писемского. Он поразил тщательностью своей постройки и иностранных критиков, познакомившихся с ним в переводах [36]. Развитие интриги его и характера главного его героя, Калиновича, на котором вращается все действие романа, обнаруживает строгую художественную работу, чего так недостает некоторым из позднейших его произведений второго, московского периода. Писемский не скрыл недостатков Калиновича. Он показал в нем деспотическую натуру с привитыми к ней семенами культурных идей. Созревшие плоды этой прививки не замедлили отозваться свойствами дерева, на котором выросли. Калинович на первых же порах оказывается способным распространять кругом себя, во имя прогресса, всеобщий плач и ужас, не заботясь, куда они приведут самое дело, предпринятое им в видах поправления нравов и укоренения добрых начал. Чем далее идет повествование, тем яснее становится, что Калинович — чиновник с учебным дипломом, пробивающийся сквозь табель о рангах [37] в своего рода Петры Великие, — для того чтобы на последних ступенях карьеры кончить покаянием в заблуждениях молодости. Русское общество видело множество типов этого рода в своих недрах. Писемский не утаил и того обстоятельства, что людям этого характера необходимо для свободы действий обладать каким-либо видом *государственной* власти, чего они и добиваются всеми силами души, не пренебрегая никаким оружием, не отступая ни перед какими средствами, выводящими людей на видные места. Калинович не отказывается ни от одной, или плотской, или честолюбивой, похоти, преследует разные цели, одновременно живет в связи с любящей его актрисой и задумывает сделать богатую партию на стороне. Это в одно время сластолюбец, расчетливый карьерист и носитель просвещения! Несмотря на все эти черты, он сохраняет в романе

Писемского вид непризнанного дельца и сильного характера, внушающего уважение; одно качество смывает его недостатки: Калинович высится в среде драмы как лицо, которое могло бы, при случае, высоко держать знамя государственного авторитета, если бы последнему грозила опасность, и за одно это предполагаемое в нем качество восстановляются его права на звание почетного героя романа и призываются к нему симпатии читателей. Такова мысль романа, близко передающая и убеждения его автора.

Не менее характерно и другое капитальное произведение Писемского — комедия «Горькая судьбина», которая развивается уже в деревне и на почве еще не упраздненного крепостного права. Скажем тотчас же, что, по нашему мнению, если когда-либо известная Уваровская премия за драматические сочинения отвечала своей цели и падала на произведение, глубоко затрогивающее русскую жизнь, то именно в тот раз, когда премия отдана была Писемскому за знаменитую его комедию, не потерявшую цены и от сравнения с самыми удачными и тоже много раз увенчанными произведениями А. Н. Островского[38].

Крепостной мир, в котором вращается комедия Писемского, уже настолько потрясен и подрыт в основах, что помещик села, где происходит действие, является нам человеком, страдающим отсутствием воли и признаками беспокойства совести при исполнении функций своего звания. В числе его подданных находится богатый мужик, очень умный и охотно резонирующий, как обыкновенно бывает со сметливыми людьми, обязанными самим себе и относительным развитием и состоянием. Насколько ясен и доволен собой мужик, настолько спутан и неуверен в себе его помещик — и эта противуположность двух характеров очень метко определяет время возникновения драмы, накануне решения крестьянского вопроса. После долгого отсутствия из деревни расторговавшийся в столице мужик возвращается домой с подарками для любимой жены и с коробом известий о городских чудесах, им виденных. Он повествует о них степенно, без восторгов и без нахальства. Он в них нашелся, он ими воспользовался и ценит их особенно как новые способы добывать для деревни и семьи, о которых никогда не забывал, покой и благосостояние. Можно себе представить, что с ним происходит, когда после своих

расспросов он узнает страшную весть, что в его отсутствие любимая жена, при посредстве бурмистра, вступила в добровольную любовную связь с барином и принесла к нему в дом чужого, прижитого ею ребенка. Этот степенный мужик оказывается совершенно беспомощным в минуты страсти, не способным владеть собою, не обладающим никаким нравственным началом, которое могло бы прийти на помощь его честной природе вообще. С первых слов исповеди он превращается в лютого зверя и расправляется с виновной женой, как мог бы сделать первый кабачный проходимец, то есть избивает ее до полусмерти. Но, совершив этот обычный акт крестьянского суда, он скоро одумывается, что и дает автору случай создать высокодраматическую и трогательную сцену, которая составляет дорогой перл самой комедии. Свирепый палач жены чувствует, после первого взрыва бешенства, потребность примирения и прощения взаимных обид. Его благородная, в сущности, натура, хотя и ничем не укрепленная для победы над животными инстинктами, одерживает тут на мгновение верх и проявляется во всей своей правде. В сдержанном тоне речи, какой подобает главе семейства, он приглашает недавнюю жертву свою разделить с ним за самоваром супружескую беседу, забыть все случившееся, восстановить свое доброе имя раскаянием и возвращением к прежним порядкам жизни. В словах его звучит мольба и надежда. Согласие принять предложение составляет для него, видимо, залог восстановления мира и возможности принять меры для будущего образа жизни между людьми. Надо было слышать эту сцену в чтении самого Писемского, чтобы понять, сколько в прерывистых фразах несчастного мужа заключается тайного сожаления о преступнице и моления об отпущении вины ему самому. На этот призыв обезумевшая женщина, еще под влиянием испытанных ею побоев, отвечает признанием в любви к барину и угрозой уйти к нему вместе с ребенком. Чаша была переполнена; сознание совсем покидает бедного мужа и отдает его во власть слепому порыву злобы и мести. Он бросается к жене, убивает ее ребенка и убегает затем, чтобы снова явиться на место преступления и отдать себя во власть сельской полиции. Он мирится со своей участью, никого не обвиняет и прощает жену. Известно, что Писемский вывел на сцену и самое следствие по этому делу, в котором принимает участие молодой

губернаторский чиновник. Разноголосица между членами этого ареопага еще показывает, что и старый судебный институт, как и крепостной быт, находились тогда в полном разброде и анархии, ожидая своего обновления. Между прочим, гуманный помещик деревни, который был первой причиной преступления и возникшей драмы, негодует у Писемского на общественные порядки, мешающие ему разделаться благородным образом с оскорбленным мужем, предложив ему честную дуэль. Черта очень тонкая и характерная для времени, хотя она и брошена автором вскользь. Такова эта превосходная комедия, которой суждено еще долго волновать со сцены зрителей, как это делает она теперь при всяком представлении.

Здесь кстати поместить некоторые подробности, с нею связанные: основа ее не была выдумана художником. Писемский встретился с подобным происшествием в 1848 году, будучи еще чиновником особых поручений при костромском губернаторе. Он имел в руках подлинное дело точно такого же содержания и в качестве следователя, командированного губернатором, принимал участие в его разборе сам. Комедия писалась им летом на даче, близ Петербурга, и случилось, что однажды автор ее встретился на прогулке с актером Мартыновым. Он зазвал его к себе в дом и прочел ему первые три действия ее, тогда написанные. Знаменитый артист пришел в восторг от них и изумил Писемского, выразив намерение взять роль мужа, когда пьеса поступит на сцену. Тогда еще никто не мог угадать в Мартынове призвания на драматические роли, и Писемский выразил свое сомнение; но великий комик настоятельно требовал предоставления ему роли Анания. Кажется, этого не случилось, и Мартынову суждено было показать в других и менее значительных ролях присутствие в себе патетического элемента, которым обладает всякий истинный комик. В заключение Мартынов спросил: «А как ты намерен окончить пьесу?» Писемский отвечал: «По моему плану, Ананий должен сделаться атаманом разбойничьей шайки и, явившись в деревню, убить бурмистра». — «Нет, это нехорошо, — возразил Мартынов, — ты заставь его лучше вернуться с повинной головой и всех простить». Писемский был поражен верностью этой мысли и буквально последовал ей. Так хорошо угадал знаменитый артист

сущность пьесы, прозрев законный, необходимый исход ее чутьем истины, присущим всякому истинному таланту [39].

III

Переехав в Москву, Писемский скоро приобрел качества, отличающие большинство ее обитателей, то есть наклонность к домовитости, с одной стороны, и к скептицизму по отношению к петербургским мнениям вообще — с другой. Правда, скептицизм последнего рода сказывался у Писемского и прежде, как видели, но журнальная буря, выдержанная им в Петербурге, еще укрепила его. Петербургская неудача наложила печать на весь строй его мыслей, на добрую часть всей последующей его деятельности. С нее именно начинается то *памфлетическое* направление, которое принял Писемский в позднейших своих произведениях. Оно составило господствующую ноту его творчества, за исключением, впрочем, двух произведений: романа «Люди сороковых годов» (1869) и другого, предсмертного, так сказать, романа «Масоны» (1880), которые от него совершенно свободны благодаря близкому личному знакомству автора с живыми типами, в них изображенными. Памфлетическое отношение к сюжетам до того овладело Писемским, что прокралось и в картины отживших порядков, им созданные (трагедия «Самоуправцы», 1867, и «Бывые соколы», 1868), так же точно, как в изображения из современных нравов. Цели и приемы литературного памфлета всегда и везде одинаковы. Они состоят в том, чтобы довести лицо или событие до высшей степени безобразия, какое для них только мыслимо, а все недостающее им до этой позорной апофеозы изобрести более или менее искусно и правдоподобно. На это дело потрачено было Писемским много таланта, юмора и энергии. Комедия его «Ваал», например, — шедевр этого рода произведений, — рисует уже оргию современного хищничества начистоту, почти без литературного прикрытия, с грубостью народного фарса, называющего все предметы по их именам [40]. Но памфлетический образ обработки сюжетов имеет один большой недостаток: он устраняет труд созидания характеров и довольствуется одним выпуклым изображением их главного порока, предоставляя на основании этого

документа дорисовывать самые типы воображению читателя. Вместе с тем он увольняет автора и от обязанности раскрывать психические побуждения лиц и заботиться о логическом ходе пьесы: все это становится ненужным, когда успех или влияние произведения зависят только от яркости красок, употребленных на обличение того или другого безобразия. Раз памфлетическое создание вырвало у своих читателей слово негодования и отвращения к изображаемому предмету, которого добивалось и которое оно же им и подсказало, дело его кончено: оно устраняется как вещь, выслужившая свой срок и получившая свою награду. От него ничего не остается, как от обвинительной прокурорской речи после судейского приговора. Не то бывает с дельной художественной сатирой. Процесс ее развития всегда столь же важен, как и ее тема, потому что затрогивает на пути своем основы и духовное настроение общества, а для этого требуется соединение в одних руках большого творческого таланта, политического развития и понимания социальных нужд времени. Такая сатира редко останавливается на очевидных, зияющих ранах общества, предоставляя целение их докторам и советчикам, которые стекутся к пациенту со всех сторон по первому призыву; она преимущественно подвергает диагнозу своему скрытные болезни века, с которыми люди до того сжились, что считают их даже необходимыми условиями своего существования. Ссылки ее на живые примеры и личности далеко не походят на фотографические карточки с подсудимых, какие прилагаются к важным следствиям, а имеют в виду представить наглядные доказательства силы и объема тайного и общественного недуга. Художественная сатира, предостерегая от него своих современников, готовит вместе с тем потомству драгоценный исторический документ для будущего определения нравственного и физиологического положения целой эпохи.

Разрыв Писемского с Петербургом не коснулся старых друзей его, там оставленных. При всяком проезде через Москву они являлись к нему в тот уголок древней столицы, по соседству с Сивцевым Вражком, где Писемский поселился. С 1866 года он уже находился на службе советником Московского губернского правления — месте, предоставленном ему министром-литератором нашим, П. А. Валуевым, вследствие просьбы самого Пи-

семского. Положение нашего автора было теперь упрочено. Каждое новое его сочинение тотчас же приобреталось издателями журналов, особенно новыми, которым имя Писемского служило как бы рекомендацией перед публикой. Перечислив себя окончательно в московские жильцы, он подумал и об устройстве постоянного дома. Маленький купленный им клочок земли он обстроил чистыми наемными помещениями, под собственным своим наблюдением, и с замечательным расчетом пространства и воздуха отвел себе на дворе особый флигель с садиком, отделав его для спокойного жизненного труда очень тщательно. В этом домике мне и случалось проводить долгие часы, которых никак нельзя было назвать потерянными часами. Редкое свойство Писемского — всегда походить на самого себя и класть особую печать своего духа и ума на все предметы обсуждения делало беседы с ним занимательными и оригинальными в высшей степени. Он не потерял способности различать, за тонкой тканью мыслей и слов, настоящее лицо людей и представлять их себе, так сказать, в натуральном состоянии, такими, какими они должны были являться самим себе в своей совести и в своем сознании. Анализ этот, впрочем, нисколько не имел того острого, упорного и надоедливого характера, который не оставляет никакой мелочи без исследования и перевертывает ее на все лады, добиваясь от нее во что бы то ни стало какого-либо слова. Он выражался у него обыкновенно одним метким определением, часто юмористической фразой, которые почти всегда и затеривались в дальнейшем разговоре. Иной раз, слушая Писемского, приходило на ум, что в нем повторяется опять старый московский тип ворчливого туза, удалившегося на покой, но тут была и существенная разница. Тузы этого рода все принадлежали к вельможному чиновничеству нашему и приводились в движение завистью, обманутым честолюбием, злобой после падения их властолюбивых надежд, между тем как Писемский, хотя и мог назваться тузом литературным, но жажды повелевать и кичиться перед людьми никогда не испытывал, чувства зависти не знал вовсе и в своих заметках покорялся единственно природному свойству своего ума.

Нередко случалось и наездным и местным гостям его находить хозяина в состоянии апатии, хандры и ипохондрии. Это нападало на него — наподобие припадков

падучей болезни — нежданно и беспричинно. Тогда высвобождалась у него самая беспокойная, мучительная, по своей неопределенности, грызущая тоска, не уступавшая никаким резонам. Много участвовала в производстве болезни, надо сказать, и его широкая русская натура, не вполне покоренная образованием. Будучи примерным гражданином и семьянином, он по отношению к самому себе, к внутреннему своему миру, находился постоянно в положении агитатора. Он скучал в рамках внешнего благосостояния, им же и созданного для себя, и, окруженный любовью всех близких ему людей и заслуженным почетом со стороны общества к своему характеру и деятельности, Писемский чувствовал по временам вражду к такому способу существования и желал неизвестных порядков, которые оторвали бы его от закоренелых привычек жизни, от обычного строя и течения ее. Но у Писемского были и верные охранители в минуты подобных припадков. Никогда самая необузданная фантазия, завладевшая им, не могла потушить искры здравого смысла, тлевшей в его душе; никогда также не пропадало у него сознание недостаточности своих физических и нравственных сил для того, чтобы найтись и устроиться в каком-либо другом мире, кроме того, который его окружал. Он возвращался снова к условиям реального существования, сопровождаемый хандрой и изнеможением как результатами прошлого раздражения своей мысли.

В позднейших наших встречах я замечал год от году все большую перемену в Писемском. Он заметно тяжелел и осунулся, а красивое лицо, с крупными умными чертами, его отличавшими, приобретало все более и более болезненное выражение. Он ничем не страдал, но жаловался на утрату сил. Помню, что однажды он зашел ко мне, по дороге к месту служения, в форменном своем вицмундире, и на замечание, что привольная московская жизнь кончается обыкновенно протестом всего организма нашего — отвечал печально: «Это имеет смысл по крайней мере; а вот я, вставая утром с постели, уже чувствую без всякого повода усталость во всем существе». Не трудно было угадать, что первый серьезный недуг или первое серьезное несчастие сломят этот организм, надорванный уже мыслию и постоянным беспокойным состоянием духа, несмотря на внешний креп-

кий состав его, обманывавший всех, кто видел Писемского.

Так именно и случилось. Над Писемским разразилась — и совсем неожиданно — страшная катастрофа. Любимый сын его, Николай, замечательный по уму и благородству характера молодой человек, только что блистательно кончивший университетский курс и уехавший в Петербург, где у него было уже место и открывались большие надежды на будущее, внезапно покончил жизнь самоубийством, причины которого не разъяснены порядком и доселе [41]. Удар для Писемского-отца был сокрушительный в полном смысле слова. По свидетельству домашних, он уже никогда до самой смерти и не поправлялся после него. Со смертью сына наступила та полоса кажущейся, призрачной жизни, которая имеет все подобие действительной, настоящей, будучи, в сущности, только свидетельством ее отсутствия. Она тянулась довольно долго для Писемского, благодаря попечительной руке, находившейся возле него. Рука эта потрудилась ввести опять Писемского в колею вседневной, обыкновенной, будничной жизни, которая на душевнобольных действует более спасительно, чем обыкновенно думают. По милости обязательных распорядков такой жизни Писемский возвратился опять к свету, к своим знакомым, по временам к юмористическому настроению и даже к мечтам и затеям своей фантазии, которые составляли вторую природу его, но все это уже производилось без увлечения, без пыла и страсти. В последнее время Писемский походил на бледную копию с эффектного, многосодержательного оригинала. Душевная рана со всеми мыслями, которые она пробуждала, никогда уже не закрывалась и медленно, но постоянно разливала отраву по всему существу его. Она и свела его в могилу. Писемский слег в постель под действием одного из тех мрачных припадков недовольства и мнительности, которые стали находить на него все сильнее и чаще после семейной катастрофы. По признанию жены покойного, она не ожидала близкого конца и думала, что припадок минуется, как все предшествовавшие ему и разрешавшиеся обыкновенно молчаливой грустью и физическим изнеможением. Но это было уже последним проявлением исстрадавшегося организма, лишенного всех нужных сил сопротивления, и перешло в предсмертную агонию. Прибавим к этому рассказу одну черту. За все

время продолжительной психической своей болезни единственным облегчающим средством против нее, бальзамом, который утишал ее муки и давал Писемскому минуты истинного покоя, был его письменный стол. Он прибегал к нему за временным исцелением каждодневно. За ним он вступал в обладание всеми своими способностями и чувствовал себя полным человеком — и был прав, как доказывается последним его романом «Масоны», 1880 год, изданным за несколько месяцев до кончины автора и носящим на себе все признаки большого и далеко не угасшего таланта. Только подобному таланту было возможно превратить личные воспоминания об одном живом и довольно странном лице своей молодости в тип представителя целого учения и в этом качестве замешать его в сложную интригу романа.

До последней развязки этой жизни я два лета сряду видел Писемского в Бадене, где жил тогда (1874—1875). Продолжительная разлука давала особенную ценность этим свиданиям. С первого раза поразил меня вид разрушения, произведенного на моем посетителе горем и временем. Писемский походил на руину. Покинув службу в 1872, он являлся теперь за границу для свидания, во-первых, с другим оставшимся сыном, который приготовлялся в Геттингене, по поручению Московского университета, к занятию места адъюнкта при нем по кафедре права, а во-вторых, и для поправления своего здоровья после потрясений семейной катастрофы. Прожитое Писемским в Москве десятилетие (с 1863) завершалось преждевременною старостью. Грустно было видеть, как все существо его приходило в трепет от воображаемых близко грядущих бедствий и искало спасения вокруг себя с покорностью и беспомощностью ребенка. Мир был уже населен для него одними страхами, предчувствиями бедствий, грозными событиями, которые при всяком случае возникали в его уме, облекаясь плотию, и стояли, как живые, да еще и во всеоружии, придуманном для них болезненным воображением страдальца. Помню, как однажды, ожидая прибытия сына в Баден, замедлившего почему-то свой отъезд из Геттингена, Писемский пришел в отчаяние. Он создал полную картину крушения железнодорожного поезда, на котором, по его соображениям, должен был находиться несчастный молодой человек, и умолял всех встречных справиться о месте катастрофы и о том, куда следует направиться,

чтобы подобрать труп погибшего. Никакие объяснения и представления на него не действовали; он метался целую ночь и весь день в страшной тоске до тех пор, пока не явился налицо сам оплакиваемый сын. Надо сказать, что как сын, так и жена Писемского знали вообще, как обращаться с фантазиями больного. Будущий адъюнкт-профессор, например, очень серьезно выслушивал предостережения отца относительно осторожного перехода через улицу, осмотрительности в выборе лошадей и извозчичьего экипажа и т. д. и без улыбки принимал все его советы подобного же рода. Когда ценой таких уступок и попечений покупались минуты душевного спокойствия для Писемского, он становился прежним добродушным и остроумным юмористом: анекдоты старого времени, воспоминания молодости казались неиссякаемыми, жилка комика пробуждалась из летаргии и сказывалась в противопоставлении характеров, им встреченных, одного другому и т. д. Впрочем, оживление продолжалось обыкновенно недолго, а к концу жизни все эти остатки бывалой веселости все более и более смолкали.

В последний раз я видел Писемского на московских пушкинских праздниках 1880 года. На одном заседании этого замечательного как по характеру, так и по сложности своей юбилейного торжества, Писемский довольно вяло прочел свою речь о поэте [42], которого обожал как великого реалиста, открывшего в душе и нравственных сторонах русского человека еще не подозреваемые сокровища чувства и своеобычного ума. Речь его не имела успеха, будучи лишена блестящей аргументации, какая требуется от публичного слова, но ее выслушали с уважением к лицу и авторитету оратора. Затем Писемский уже не принимал участия в пиршествах и собраниях, сопровождавших открытие памятника Пушкину [43]. Я еще посетил его на даче, около Петровского парка, где он поселился. Он имел усталый вид, мало вдавался в беседу и только с видимым удовольствием показывал мне красивые рисунки, которые присоединил к его роману «Масоны» издатель журнала «Огонек», где роман печатался. Впрочем, он избегал разговора о самом произведении, как будто опасаясь, что обширное его заглавие вызовет вопросы, каких автор не имел в виду при сочинении. Конечно, это было ошибочное предположение, так

как все задачи романа намечены были в нем самом; но оно еще раз свидетельствует о того рода пугливости, которая стала его уделом за последнее время. Мы расстались, выражая надежду свидания по лету будущего года. Не прошло и шести месяцев, как журналы принесли весть о его кончине, последовавшей 21 января 1881 года.

Писемский представляет из себя лицо, во многих отношениях трогательное. Следуя примеру чистосердечия и откровенности, который он дал нам всей своей жизнью, мы позволяли себе упоминать о его болезнях и слабостях, но, может быть, биографическое разоблачение это еще укрепит сочувствие читателя к этому замечательному человеку. Не в виде принижения или оскорбления нашего автора, а скорее в виде посмертного венка на его могилу, скажем, что Писемский принадлежал многообразной, но цельной и единой по выражению *русской толпе* и являлся в литературе нашей ее представителем. Это своего рода гласный из народа, схожий со своими избирателями как по уму, таланту, так и по нравственному содержанию. Можно указывать его недостатки, не соглашаться с его убеждениями, видеть погрешности в его представлениях, но не узнать в нем выражения народного способа понимать лица и предметы, кажется, нет возможности. Самая грубость тона в его едких обличениях пороков и преступлений, выбор тем, большею частию бросающихся в глаза своим позорным содержанием, и отвращение к какого-либо рода идеализации существующего быта, к которой никогда во всю жизнь он и не прибегал, показывали в нем бывалого человека, знакомого со взглядами, чувствами и суждениями толпы. Позволительно, конечно, усматривать несовершенства в планах и в самой постройке некоторых его произведений, но непозволительно было бы не признать силы творчества, проявляющейся в них на каждом шагу. Особенность его большого таланта заключалась, по нашему мнению, в том, что он ясно носил на себе печать непосредственности и вдохновения, отличающих народное мышление. Не ломая головы, не собирая предварительных заметок и документов, Писемский прямо, без подготовки, порождал любопытные, забавные и всегда выразительные типы, которые теперь и гуляют по лицу нашей земли, открывая ей собственную ее физиономию.

Такими типами изобилуют все его сочинения без исключения, даже и самые слабые. В лице Писемского читающая народная масса нашла себе летописца, а с такими представителями ее необходимо считаться не в одной политической, но и в литературной сфере. К тому же Писемский носил почетное звание это весьма достойным образом, потому что соединял в себе качества, редко встречаемые вместе. Это был замечательный художник и в то же время *простой* человек в благороднейшем смысле этого слова!

Сколько симпатий, неудержимого влечения к человеку, добрых чувств и мыслей пробуждает один этот эпитет: «простой человек», когда он прилагается к деятелю, имевшему общественное значение. Писемский заслужил его вполне. В наш век составления огромных состояний, как и огромных репутаций, он оставался равнодушным к подстрекательствам честолюбия и тщеславия [44]. Он, наоборот, мысленно участвовал в энтузиазме общественного мнения, когда оно присуждало награды и апофеозы истинной заслуге и достоинству, не думая вовсе о своих правах на такое же отличие. Мы уже сказали, что всякое подобие зависти было чуждо душе его, как равно и всякое усилие обратить на себя внимание публики, выступив кандидатом на ее исключительное благоволение. Свою ношу таланта, изобретательности, наблюдения он нес чрезвычайно скромно в течение своей жизни, не имея и в помысле выдавать ее за вместилище необычайных открытий и довольствуясь той оценкой ее, которую получал вседневно и обыкновенным путем хладнокровной трезвой критики. Облик его перейдет совершенно ясным и определенным к потомству и не помрачится никакими последующими разъяснениями и разоблачениями, потому что все разъяснения и разоблачения он испытал и перенес уже при жизни лица, которое его носило. Несмотря на обычную ему резкость выражения в мыслях и образах, Писемский был еще добродушнейшим человеком своего времени. Особенно выделялось одно его качество. Он считал великим бедствием на земле несправедливость, оказанную человеку, и притом бедствием столько же для потерпевшего от нее, сколько и для того, кто в пей провинился Мы могли бы привести несколько примеров, когда наговоры какого-либо дружеского кружка на намеченную им жертву, как часто бывает с ними, погружали его в недоумение, почти в ужас и заставляли его

морально страдать, отыскивая их причины и поводы... Если болезни, слабости, падения Писемского приравнивали его к толпе, то, с другой стороны, он разделял с нею и ее гнев и негодование на людскую несправедливость, ее презрение и отвращение к торжеству нравственного безобразия на свете и ее любовь к единственному оружию, находящемуся в ее распоряжении, — насмешке, карикатуре, памфлету. Мы находим, что *простой* человек такого рода заслуживает стоять рядом с теми героическими фигурами, какие по справедливости воздвигло наше общество, в своем умственном пантеоне, памяти людей, которыми оно гордится и заслугу которых высоко ценит.

Баден-Баден, 1882.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДВЕ ЗИМЫ В ПРОВИНЦИИ И ДЕРЕВНЕ

С ГЕНВАРЯ 1849 ПО АВГУСТ 1851 ГОДА

1849 год. По приезде из Парижа в октябре 1848 года [1] состояние Петербурга представляется необычайным: страх правительства перед революцией, террор внутри, предводимый самим страхом, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры без нужды и без границ, оставление только что возникшего крестьянского вопроса в стороне [2], борьба между обскурантизмом и просвещением [3] и ожидание войны [4]. Салтыков уже сидит в крепости за свою повесть [5], пересмотр журналистики и писателей. На сцену выступает Бутурлин с ненавистью к слову, мысли и свободе, проповедью безграничного послушания, молчания, дисциплины [6]. Необычайные теории воспитания закладывают первые камни для тяжелого извращения умов, характеров и натур [7].

Я спешу с братом Федором в деревню, куда призывает меня страшно расстроенное положение дел и предполагаемый раздел имения с братом Александром, главным виновником этого положения благодаря картежной своей игре. Катерина Ивановна, поднявшая этот вопрос, должна сама явиться в Чирьково. Я рад убежать из Петербурга.

Новый год 1849 в деревне с Катериною Ивановною, Стрекаловым, братьями. Раздел. Страшные морозы. Набор только что кончился. Брат Федор уезжает после того. Иван вскоре за ним из Чирькова с Катериной Ивановной, которой предоставлено управление имением и которая уже возненавидела нашего дельного Адама. Александр остается в Чиркове до переезда в Скрябино, где будет строить дом. Я уезжаю в Симбирск до весны. Адель Б., Лидия К. [8], Татаринов. Терроризация достигла и провинции. Города и веси сами указывают, кого хва-

тать из так называемых либералов; доносы развиваются до сумасшествия, общее подозрение всех к каждому и каждого ко всем. Анекдот о Михаиле Лонгинове, приезжавшем для закупки хлеба на военное ведомство, принятом за жандарма и подавшем повод вопросами обо мне подозревать, что и я в числе намеченных жертв. Между тем у лихоимцев, казнокрадов и наиболее грубых помещиков развивается патриотизм — ненависть к французам и Европе: «Мы их шапками закидаем!» — и родомонтада *, скрывающая плохо радость, что все досадные вопросы о крепостничестве и проч. теперь похоронены. Отсюда и энтузиастическое настроение относительно правительства. Возникает царство грабежа и благонамеренности в размерах еще не бывалых. Я получаю эстафету из Москвы. Тучков А. А. приглашает меня приехать в Москву для крайне нужного дела. Это дело — устройство состояния Огарева, за которое взялись Грановский, Кетчер и другие. К числу этого устройства принадлежало и то, чтобы одну дочь Тучкова выдать в законный брак... Выбор пал на меня. Я отказался. Подвернулся Сатин: его женили. Все это происходило при крайнем негодовании Грановского [9]. Летом объезжаю заволжских помещиков, Григория Толстого, Ермолова и других, и посылаю первые «Провинциальные письма» [10] в «Современник», где в первом нумере 1849 года напечатано было и мое «Обозрение литературы» [11].

По зиме 1849 года приезжает в Симбирск новый губернатор, князь Черкасский; старый — Б<улдако>в, известный по истории с Полторацким, был величественный распутник, обжора, тонкий человек, которого особенно боялись купцы: он на прогулках забирал у них вещи и остался должен после смерти всем — мясникам, магазинщикам, доктору, аптекам и проч.

В виде продолжения к летним прогулкам следует сказать о двухдневном плавании из Богородска до Симбирска в рыбачьей лодке в большом обществе с Толстым, Ермоловым, Чернявским, Постниковым и прочими. Характеристический анекдот у Ермолова, еще в деревне: какой-то Бахметев простодушно рассказывает, как были взяты из Москвы и увезены в крепость Корш (Евгений) и Грановский. Все это оказалось вздором, но важно, что

---

* Родомонтада (*фр.* rodomontade) — фанфаронство, хвастовство.

слухи эти нарочно распускались как указание правительству на лица.

Осенью выезжаю из Петербурга через Скрябино, куда брат Александр переехал. Его трогательная просьба — не забывать. У нас между тем все доходы предоставлены Катерине Ивановне с тем, чтобы она выдавала по 150 р. каждому брату в месяц, а остальными покрывала долги, последствия были страшны. Вместо покрытия долгов, самонадеянная бабка не заплатила процентов в опекунский совет за два года, сделала еще новые долги и окончательно надела петлю на шею братьев и мою, да и на свою, ибо для удовольствия быть хозяйкою чужого добра заложила собственное имение, Хунту.

Проездом через Москву Садовский читает у В. П. Боткина первую комедию Александра Островского «Банкрут»[12]. Потрясающее ее действие. Приезжаю в Петербург на квартиру брата Ивана, в новом строении конногвардейских казарм на Мойке, которые еще достраивались, когда в них уже жило множество народа.

Зима 1849—1850 годов. Осень прошлого кончающегося года ознаменовалась наконец окончанием следствия над заговором Петрашевского, стоившим так много несчастий и страхов всему обществу, совершенно безвинному в нем[13]. Манифест об окончании следствия и приговор, постигший как самого Петрашевского и составителей будущей конституции вроде Спешнева и прочих, так и людей, читавших по его знаменитым пятницам только свои проекты освобождения крестьян, улучшения судопроизводства и заметки о настоящем внутреннем положении России, и даже людей, любивших его хорошие ужины по тем же пятницам, написан был Суковкиным, государственным секретарем. Удивительно, что в манифесте было известие, будто заговорщики, устроив тайное общество, сами назвали его обществом «превратных идей»; дело в том, что они назвали его обществом «передовых идей»; но на полях была сделана полемическая заметка: «превратных и д е й», — так оно вошло в манифест, о котором я узнал впервые в квартире очень испуганного Некрасова... Приговор был исполнен — с готовым батальоном для расстреляния, саванами для осужденных, рвом позади их и проч. на Семеновском п л а ц у, — со всею обстановкой политической казни, измененною на известное помилование. Ф. Достоевский попал на пять лет в арестантские роты за распространение письма Белин-

ского к Гоголю, писанного при мне в Зальцбрунне в 1847 году. Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты. Приговор состоялся под ужасом февральской революции [14], с которой начинается царство мрака в России, все увеличивавшееся до 1855 года. Так же точно, или еще счастливее, спасся Николай Милютин, тогдашний начальник отделения в хозяйственном департаменте: заговорщики назначили его в министры, но свидетельство о нем, по связям Милютина с Перовским и Киселевым, было утаено или, как говорили, даже выкрадено известным И. Липранди, следователем, который на других выместил эту поблажку. Я видел одну из его жертв, помешавшегося в крепости азбучника Балас-Оглу [15], который никогда и очень боек не был. Невинность этого вечернего посетителя Петрашевского была так ясна, что Леонтий Васильевич Дубельт, во время его сидения в крепости, сам взбирался на чердак в жилье его жены, чтоб оставить ей какое-либо пособие от себя. Террор был на всех пунктах общества. Ребиндер, впоследствии кяхтинский воевода (выдумавший сказку о близком отложении Сибири в 1855 году), затем попечителем Киевского округа и сенатором, бледный и расстроенный, говорил о следствии по делу Петрашевского у Н. Тютчева. Впоследствии мне удалось где-то прочесть и рапорт императору следственной комиссии, как она открывала заговор. На вечера Петрашевского был пущен агент полиции Антонелли, записавший все, что там говорилось, и еще более; в самом доме другой агент открыл табачную лавочку и следил за всеми ходами и выходами и разговаривал с людьми; третий, имени которого не упомню, являлся в качестве новобранца и потом служил при «Русском вестнике» в типографии Каткова, и не подозревавшего, кого он держит у себя, и проч.

Так наступает 1850 год, в начале которого приезжает из-за границы И. С. Тургенев [16]. Около этого времени прибывает из Москвы и Евгений Корш, отставленный от «Московских ведомостей» за либеральную редакцию их. Он получает теперь место редактора «Полицейских ведомостей», благодаря еще только Фролову, зятю обер-полицеймейстера Галахова. У него-то я и знакомлюсь ближе с братьями Милютиными, Николаем и Владимиром, Арапетовым и партией петербургского прогресса [17]. У Кавелина живет тогда Егунов, поднявшийся было

журнальною статьею о торговле древней Руси, но вскоре забитый и засмеянный изящными демократическими чиновниками за неуклюжесть, грубые вкусы и приемы с претензиями на фальшивое щегольство.

Я пишу от нечего делать «Провинциальные письма», и рассказ о Бубнове пользуется одобрением друзей, но далее их круга не идет [18]. Цензура действует с ожесточением почти диким. Крылов — цензор, например, употребляет весь ум на ослабление выражений писателя и обесцвечивание произведения, называя это «кровопусканием от удара», но цензуре в этом смысле еще далеко было до своих границ. В этот же год и в следующие печать наша видела установление цензуры различных ведомств, кроме настоящей, — финансовой, духовной, путей сообщения, театров, придворной, горной и проч., да кроме того и сверх того еще «негласный комитет» из трех членов, между которыми был, вместе с Анненковым, Гамалеем, и Модест Корф. Комитет следил за общим направлением и карал издателей и писателей за статьи, пропущенные всеми отделами цензуры. И литература, однако же, не умерла совсем, выдержала, не погибла окончательно под страшным гнетом, как случилось бы со всякою другою. Молодость взяла свое, и эта жизненная сила, сознаваемая и правительством, еще более раздражала его.

Кстати, анекдот. Несколько позднее этого времени, кажется в 1854 году, я встретил в фойе Михайловского театра Егора Петровича Ковалевского, тогда еще полковника, тоже посаженного... на гауптвахту за какое-то самое невинное замечание о жестокости азиатских правительств или что-то подобное в своем «Путеводителе по суше и морям». Ковалевский расхаживал по зале именно с Анненковым — негласным [19] — и остановился сказать мне несколько слов. Негласный Анненков спросил его о моем имени и на его ответ, что это тоже Анненков, занимающийся литературой, Созия [20] мой сделал следующее любопытное замечание: «Скажите мне: зачем они тратят время на литературу? Ведь мы положили ничего не пропускать, из чего же им биться?»

Как и следовало ожидать при таком настроении, министерство народного просвещения первое изменено было в основаниях своих. Бутурлин, сам, как известно, писатель, оскорбленный критикою нашею (за свою «Историю

Смутного времени»)[21], является *человеком времени,* и не умри он вскоре после этой роковой эпохи, он приобрел бы огромное историческое имя как гаситель и, может быть, влияние, после которого не опомнились бы и два поколения сряду. Этот человек, представивший в выписках и записках все ужасы прошлой литературы нашей, критику Белинского и нового «Современника», говоривший наконец, что не будь евангелие так распространено, как теперь, то и его бы следовало запретить за демократический дух, им распространяемый, — пришел к заключению, что и девиз Уварова, который определял его деятельность как министра просвещения: «Православие, самодержавие, народность», есть просто-напросто революционная формула. Просвещенный и многоумствующий Сергей Строганов, под впечатлением старых обид от Уварова и недавней истории с переводом Флетчера, им дозволенным и Уваровым осужденным[22], пристал к Бутурлину. Весь аристократический либерализм Строганова, которым он так кичился, уступил жажде мщения и превратил свободного магната в нашептывателя, наговорщика и даже клеветника. Так-то старая историческая закваска нашей аристократии тут тотчас же обнаружилась. Рассказывали в то время о сцене, которая будто бы происходила в кабинете царя, который желал сам выслушать обвинение и объяснения врагов. Сцена могла действительно быть эффектна, если правда, что Строганов обвинял администрацию и Уварова в насаждении повсеместном семян демократии, в стремлении уравнять все сословия через образование и в пропаганде беспутного либерализма с самых низших слоев общества через гимназии. Любопытно было бы посмотреть и на Уварова, доказывающего, что он всегда был рьяным абсолютистом и что требовал науки, укореняющей все тогда существовавшие порядки. Как бы то ни было, но Уварова не стало, и место его занял совершенно юродивый Шихматов, а попечителем С.-Петербургского учебного округа сделалось просто невообразимое существо... Мусин-Пушкин. Этот уже ничего не видел, кроме непослушания; стихотворение, статья, лекция — все было непослушанием, как только было мало-мальски ново. Анекдотическая сторона его управления, так же как и распоряжения Шихматова, содержат изумительное богатство шутовства, которому потомство откажется верить. Крупными проявлениями всей этой администрации, ведомой

негласным комитетом, Бутурлиным и множеством других лиц (даже Брунов, посланник, приехав в Петербург около этого времени, успел выразить ужас к печати и развитию русскому и говорил с государем о способах возможно скорее истребить эту начинающуюся язву в государстве), были, кроме цензуры, уничтожение университетских привилегий вроде выбора ректоров и совещаний факультетов; ограничение числа студентов положенною цифрой (300 человек для каждого университета, кроме Дерптского); закрытие кафедр логики и философии и передача их богословским кафедрам; преследование иностранных книгопродавцев и почти уничтожение умственной связи с Европой через иностранную цензуру; наконец, насильное утверждение прав на образование только за дворянским званием и богатством, и в довершение — и уничтожение в гимназиях классического образования, введение самых узких программ для нравственных наук и водворение как в них, так и в корпусах обширной системы телесных наказаний. Несколько позднее Ив. Ив. Панаев видел графа Уварова, будучи введен к нему молодым графом, его сыном. Панаев рассказывал, что отставной министр, уже больной, слушал его повествование о всех проделках цензуры и новой администрации молча и только заметил: «Наше время особенно тем страшно, что из страха к нему, вероятно, никто не ведет записок о нем». Панаев был большой враль, но ничего не выдумывал: он только врал по канве, уже данной ему.

Около этого же времени привезли в Петербург А. А. Тучкова, Н. Пл. Огарева, Н. М. Сатина, обвиняемых в коммунизме денежном и матримониальном и либерализме, а также... Илью Селиванова, по доносу пензенского губернатора тоже о его свободомыслии[23]. О боже! Первые трое умели заговорить своих следователей Третьего отделения, а последний, оробевший сильно, не подымал даже глаз на своих судей. В таком виде предстали они перед начальником Третьего отделения, графом Орловым. Сей весьма прозорливый муж, отпуская их «под присмотр полиции», так как никакого действительного проступка не оказалось за ними, произнес, обращаясь к трем первым: «Вот вы, господа, можете смотреть мне прямо в глаза, потому что чистосердечно высказывали свои убеждения, а вот про вас, господин Селиванов, того сказать не могу:[24] совесть в вас

должна быть нечиста, и прямо смотреть вы не можете» *.

Трудно себе представить, как тогда жили люди. Люди жили, словно притаившись. На улицах и повсюду царствовала полиция, официальная и просто любительская, да аппетиты к грабежу, нажитку, обогащению себя через государство и службу развились до неимоверности. Они даже поощрялись. Что тогда происходило под личиной добрых правил, беспорочного прохождения карьеры, начальнического достоинства! Три миллиона, украденные Политковским у инвалидов, можно сказать под носом у всех властей, составляли еще безделицу перед тем, что делали сановитые мужи вообще [25]. Они участвовали в приисках, страховых обществах, промышленных предприятиях даровыми паями и составляли их прикрытие во всех случаях мошенничества, директорских грабежах акционеров и проч. Никакое предприятие не могло состояться без приглашения в даровые участники вельмож времени, так как всякое, какого характера оно бы ни было, с ними могло надеяться на успех. Они высасывали свою долю из откупов, из тяжб по наследству, из государственных имуществ. О., например, заставил себе дать в Самарской губернии 100 000 десятин, 1500 рублей оброка, кажется, и это без переоценки на будущее время. Грабительство казны и особенно солдат и всего военного снаряда приняло к концу царствования римские размеры. Генерал Э. продал 40 лошадей из фронта по 4000 рублей за каждую своим и чужим офицерам, пополнив их ремонтными лошадьми [26], на которые казна отпускает 175 рублей **.

Молчание гробовое царствовало над всем этим миром преступлений, и, разумеется, на высших ступенях силились укрепить это молчание на веки вечные. И тогда

---

* Надо отдать справедливость императору Николаю: приближенные его, пользовавшиеся минутой, требовали совершенно закрытия университетов, и против этого искушения он устоял, можно сказать, один из всех, так же точно, как он один не поддался соблазну к уничтожению общего образования, которое, по проекту г. П. О., очень хорошо было бы заменить только специальным образованием инженеров, артиллеристов, судей, учителей для низших школ и т. д. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** Но этот подвиг и другие, им подобные, были затемнены тем, что делалось позднее в арсеналах, по провиантскому ведомству, по заготовлению лазаретных принадлежностей, по штатам и проч. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

уже мыслящим людям было очевидно, что при первом политическом толчке вся эта мерзость запустения [27], прикрытая ложным величием, блеском и легитимизмом, обнаружится и раскроет всю беспомощность молодого, здорового, но грабимого, отупляемого государства; однако ж никто не предвидел, что толчок явится так скоро и что итоги забывшемуся всесилию и насилию будут подведены еще на наших глазах [28]. Мы сказали о молчании. Не довольно было и молчания. На счету полиции были и все те, которые молчали, а не пользовались мутной водой, которые не вмешивались ни во что и смотрели со стороны на происходящее. Их подстерегали на каждом шагу, предчувствуя врагов. Жить было крайне трудно. Некоторые из нервных господ, вроде В. П. Боткина, который тогда переселился в Петербург как в более безопасное место (Москва была отдана графу Закревскому в безграничное пользование, и там происходили о р г и и высылок, взяток и проч.), почти что тронулись. Этот господин трепетал за каждый час существования...

Но будет о нем. В это время Ланская, по первому мужу Пушкина, делами которой по дружбе к семейству занимался брат Иван, пришла к мысли издать вновь сочинения Пушкина, имевшие только одно издание, 1837 года. Она обратилась ко мне за советом и прислала на дом к нам два сундука его бумаг. При первом взгляде на бумаги я увидал, какие сокровища еще в них таятся, но мысль о принятии на себя труда издания мне тогда и в голову не приходила. Я только сообщил Ланской план, по которому, казалось мне, должно быть предпринято издание.

Зима 1850—1851 годов в провинции. С началом весны я отправился в деревню и, благодаря крайне печальному состоянию наших дел, пробыл в Чирькове и Симбирске не только лето, но и осень и всю зиму 1850—1851 годов, отвечая, как умел, на нужды и возникавшие отовсюду претензии кредиторов наших.

В Симбирске произошел тоже переворот, и общество было на ножах. Новый губернатор, князь Черкасский, явился с претензиями искоренять злоупотребления, взяточничество, крайнее крепостничество и тотчас же очутился во вражде с предводителем, коварным, мелким и злым человеком, за которым стояла огромная партия грубых помещиков, льстимая им; к ним присоединились старые, уже успокоившиеся греховодники из председате-

лей палат и новые, еще добивавшиеся устроить себе почетный покой, пограбивши умненько и осторожно кого и что можно. Катавасия шла порядочная, и главным орудием интриги против губернатора, как и следовало, был остзеец-прокурор из правоведов, обнаруживший всю энергию, свойственную немцу, в ненависти и преследовании человека, мешавшего тихой и благополучной карьере для приличного мошенничества. На беду, Черкасский был фантаст, но он оставил по себе добрую память одним желанием внести свет в эту клоаку, а потом созданием спуска шоссейного к Волге, существующего и теперь. Как водится у реформаторов, удачных и неудачных, Черкасский привез с собою на службу молодых людей — М. О. Трубникова, Н. Самарина, а в городе сблизился с партией либералов, то есть, собственно, с домом Татаринова Александра, Языковых и проч. Весь либерализм кружка этого состоял, однако ж, в том, что глава его, Татаринов, носил бороду, заставлял молодых людей вокруг себя насильно читать скучнейшие книги вроде «Политической экономии» Смита, Сея, Бастиа, которые окончательно сбили их с толку, сопротивлялся попыткам безотчетного управления деньгами и делами дворянства со стороны предводителя, презирал чиновников, ненавидел молодцов, плохо образованных и литературой не занимающихся, да скучал страшно, до апатии, самозабвения и сумасшествия.

В это же время прогремел и манифест о войне с венгерцами за Австрию [29]. Никогда еще, может быть, не был принимаем так холодно манифест о войне у нас, как этот. Даже самое забитое и глубоко житейское отношение ко всему происходящему на свете не могло воздержаться от сомнения в пользе и славе этого пособия Австрии, а народ предчувствовал тут наборы рекрутские, не более. Даже рассчитанное на эффект восклицание манифеста «да не будет так!» обратилось в поговорку, порядком двусмысленную. Позднее гвардейский штаб-доктор Шеринг (фанатический гомеопат, между прочим) рассказывал мне, что сам слышал, как великий князь Михаил Павлович, не одобрявший войны, произнес во всеуслышание пророческие слова: «Мы впутались в чужое д е л о, — теперь нам надо ждать гостей уже к себе». Начало выступления войск к театру действий могло бы открыть глаза на то бедственное положение армии нашей, в которое ее поставили грабежи и бессилие

администрация, но смотреть никто не хотел. На пути из западных губерний войско, на первых переходах. оставило за собою целые полки отсталых, ослабелых и обессиленных. Ужаснувшийся государь послал генерал-адъютанта Н. М. Ефимовича подбирать и формировать этих воинов, а вместе с тем и узнать причины такого бедствия... Ефимович (как сам говорил) только намекнул ему, ибо развивать мысль не предстояло надобности, что на стоянках у разоренных помещиков и бедствующих крестьян Литвы и Белоруссии солдаты, кроме пустых щей, и то не всегда, ничего не ели. Когда нужно было тронуться в путь с ранцами и ружьями на плечах, половина из них попадали, как дети.

Возвращаюсь к Симбирску. Здесь, когда в соборе, после архиерейского служения, протодиакон густейшим басом сам читал манифест, то в самом высоком месте его, в известном и вышеупомянутом «да не будет так!» — возле меня послышался громадный зевок, испущенный каким-то высоким и седым мужиком. Откуда ни возьмись подлетел к нему полицеймейстер, и между ними возник следующий, чисто этнографический разговор полушепотом: «Что ты, обезумел, что ли?» — «А что?» — «Да разве не слышишь: царский манифест читают, а ты рот дерешь?» — «Ой ли! А ведь я думал, что все еще обедня идет!»

Проведя зиму почти безвыходно в доме умной К. [30] и перекрещивающимися нитритами и клеветами городских партий, весной я посетил деревню Татаринова, проехал к Аксакову и по возвращении в деревню принимал Пфеллер с дочерью и компаньонкой. В это время решено было между нами переселение части чирьковских крестьян в Васильевское. Дела не распутывались, хотя доход с имения и поступал к нам прямо в руки, но требования, запущенные прежде, уносили его, почти ничего не оставляя. Время было тяжелое. От братьев из Петербурга получено известие, что конная гвардия выступила в поход венгерский, причем брат Иван сделан командиром сводных эскадронов гвардейской кирасирской бригады, оставшихся в городе; во-вторых, что он намеревается приобресть у Ланской право на издание Пушкина (известие, поразившее меня громадностью задачи на достойное исполнение плана), и, в-третьих, что брат Федор, назначенный вторым комендантом в Москву еще в 1850 году, устроил себе квартиру в Кремле.

Осенью через Скрябино я направился к нему в Москву, куда со своей стороны вскоре прибыл и брат Александр. Это было в августе 1851 года.

Осень 1851 года в Москве. Москва была в волнении. Император Николай приезжал, во-первых, для празднования двадцатипятилетия своего царствования (с августа 1826 года), а во-вторых, при этом случае открывал новую железную дорогу. Предварительно посланы были им, как предтечи появления и знамения будущей важности дороги, гвардейские пехотные баталионы и сводные эскадроны конной гвардии и кавалергардов, оставшиеся от петербургских войск, ушедших в венгерский поход. Последними командовал брат Иван, тогда полковник. Те и другие встречал сам губернатор Закревский на дебаркадере, купечество жертвовало для них разные угощения, дворяне не отставали, и один (фамилию забыл) стеклянный заводчик предложил на кавалерийскую бригаду сто или около того стаканов для питья. Закревский, направлявший все эти жертвы и поощрявший их, сделал любопытную заметку на бумаге, извещавшей об этом подвиге патриотизма: «Почему не на всю бригаду?» Заводчик, говорят, поспешил дополнить свою неосмотрительность. Вслед за войском явился весь двор и, по обыкновению, немецкие принцы, рассердившие даже мостами и осматривать все насыпи и постройки дороги, аппетитом на станциях и нежеланием видеть на ней что-либо другое, кроме буфетов и славных придворных вин. В день приезда, вечером, на Кремлевской площади народу уже было множество. Я видел императора мрачным и усталым: он считал долгом побывать под всеми мостами и осматривать все насыпи и постройки дороги. На другой день загудели колокола, Кремль затоплен был народом, на площади свершался парад войскам, мундиры горели; крики, музыка, барабаны смешались, и началась та страшная, бесплодная суета всех служащих и неслужащих, актеров и зрителей, в которой покойный император любил жить и которая казалась ему важным делом и принадлежностью величия и превосходства России над всем европейским миром.

Разумеется, я прежде всего очутился в кружке Грановского, Фролова, Кетчера, Кудрявцева, литераторов и ученых, живших под сенью и влиянием Московского университета. Они в это время еще не вполне понимали, как могла пройти брошюра Герцена, изданная в

1850 году, «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» *, не унеся кого-либо из них или всех вместе [31]. Дело в том, что правительство на этот раз было умеренно; первый страх потрясений прошел, и возобновлять опять истории осуждений en masse ** не было ни у кого охоты, особенно не было этой охоты — надо отдать ему справедливость — у графа Орлова. Николай Милютин рассказывал, что в разговоре с его дядей Киселевым Орлов упомянул о книге Герцена и прибавил: «Многих она выдала лучше всякого шпиона». — «Да кого же она могла выдать? — возразил Киселев. — Ведь она говорит только о мертвых». — «Э! — отвечал шеф жандармов. — Если бы мы захотели, то именно по мертвым-то до живых и добрались».

Что касается собственно до брошюры Герцена, то, за исключением остроумных и, по обыкновению, весьма живых характеристик исторических эпох и лиц, она в главной теме своей ничего не представляет, кроме отчаянного пустословия [32]. Этою брошюрой Герцен, уже эмигрировавший, начинал кокетничать перед Европой, перед клубами и либералами, не известною им землей, своею ролью в ней, своими приятелями, таинственными элементами, в ней бродящими, из которых маленький экземпляр «мы есмы». Впоследствии эта тенденция развилась до лжи и фальши непостижимых, а затем, когда сама жизнь ясно обнаружила пустоту гипотезы и лучшие головы не захотели поддерживать ее деятельностью практическою, наступила для него пора слепого бешенства против всего, всех и, наконец, даже против национального чувства страны [33] — до инстинктов самосохранения. Оставался народ: на того публицист и перенес воображаемые элементы революционерства, социализма, коммунизма. Это было покойнее; можно было делать себя представителем великих идей всесветного обновления, существующих в России без всяких опасений, без всякой оглядки: народ ведь не отвечает, народ молчит обыкновенно и в препирание с своими комментаторами никогда не входит. В самом деле, кому, кроме Герцена, блестящего и вместе фальшивого ума, можно было принять партию Белинского, Грановского и других за революционеров в смысле европейском и все их требования и представ-

* «О развитии революционных идей в России» (*фр.*).
** в массе (*фр.*).

ления об облегчении страдающих классов, об уменьшении произвола, о водворении первых начал гражданской жизни, о распространении просвещения, умягчении нравов, искоренении суеверия и лицемерия, уважении к мысли, сближении с Европой и ее наукой — за монтаньярство, бабефство, товарищество с открывателями новых политических горизонтов? Раздувая так скромные русские, благородные и глубоко симпатичные кружки, Герцен раздувал, естественно, самого себя, но он повредил тем, кого прославлял. С него в самой публике, а не в одних только официальных сферах, стали думать, что все лепечущее, так сказать, первые склады публичной жизни, все отвергающее только мрак неистовства, распутства и грабежи сложившейся администрации — есть революция, катаклизм и анархия. Добро бы Герцен ограничился декабристами — тех раздувать можно во все стороны, потому что они сами не знали, куда идут, откуда вышли и чего хотели, да никто и теперь этого не знает. Они желали переворота — ну и всё тут. Думайте об этом, что хотите, думайте очень много и думайте очень мало: это будет дело темперамента вашего, а сами декабристы тут ни при чем.

Наиболее испугавшимся брошюры Герцена был опять В. Боткин. «Посмотрите, — говорил он мне в 1850 году шипящим голосом, — какой доносик написал Александр Иванович на своих приятелей». Он успокоился, однако же, не видя преследований, и круг несколько времени, до очень близкого распадения своего, продолжал еще существовать, оставаясь только под надзором полиции; особенно Грановский, как узнали после из признаний губернаторских чиновников, окружен был усиленным соглядатайством. Ждали первого легкомысленного шага и не дождались: все было серьезно, важно и строго в нем, хоть тресни, а за принципы его ухватиться, пожалуй, и можно бы, да совестно перед историей, надуть которую, между прочим, весьма желали все, без исключения, господа, делавшие ее в нашей земле.

Не лучше было положение и славянофилов. Герцен и их зачислил в свою когорту российских революционеров, что должно было оправдать отчасти Третье отделение в его собственных глазах за нелепый арест Чижова и Ив. Аксакова в 1847 году[34]. Удивительное свойство нелепости вообще: она может свести, как братьев, людей совершенно противоположных по характеру, взглядам и

убеждениям, — Герцена, например, с гениальным сыщиком И. Липранди. В эпоху сильнейшего преследования раскольников (1850—1855 годы) сей последний, орудовавший этим гонением, подавал записку, в которой, исчисляя существующие у нас противоправительственные секты, присоединял к ним и секту славянофилов с Хомяковым, Киреевским и Аксаковыми и проч., прямо называя ее вдобавок естественным отродьем раскола. Я сам читал эту записку, так, как и записку И. С. Аксакова, которую он составлял по *вежливому приглашению* Дубельта в палатах Третьего отделения (на Фонтанке), где содержался под арестом. Записка Аксакова отличается... даже горячностью в защите принципа власти, никому не отдающей отчета, кроме бога и своей совести, объясняет симпатию славянофилов к славянским племенам вообще состоянием последних под игом немецких правительств, где они не могут развиваться так свободно, как под покровом русского исторического и мудрого автократизма, и наконец, сберегает свои громы на утеснение низших классов особенными привилегиями высших сословий, что составляет даже оскорбление верховной власти, так как привилегия его, законно владеемая, должна исключать все прочие. Император Николай прочел весьма внимательно записку, ибо сделал на нее собственноручные заметки вроде того, что русскому патриоту не должно быть никакого дела до славян и чужих земель, что крепостное право явилось по *непростительной глупости* прежних правительств и т. п. Вообще и арест, как должно полагать, Чижова и Аксакова произошел от желания правительства узнать настоящие теории и взгляды партий, которые иначе от него ускользали. Это было приглашение на откровенность и исповедь, своего рода invitation à la valse *. Несмотря, однако же, на изворотливый тон Аксаковой записки, император таки подметил струю протеста, в ней невидимо просачивающуюся, потому что на докладе графа Орлова, свидетельствовавшего о благополучности документа, написал: «C'est le ton qui fait la musique» **; со всем тем решил прекратить нелепые аресты, внешний предлог к которым дали путешествие Чижова по славянским землям и жалобы Австрии на возбуждение им и ему подобными ее подданных.

* Букв.: приглашение на вальс (*фр.*).
** Это тон, который делает музыку (*фр.*).

Император выразил свое решение, написав, адресуясь к Орлову: «Призови, наставь, благослови и выпусти».

Как бы там ни было, но то достоверно, что администрация, в сущности, несколько побаивалась славянофилов, предполагая у них нравственную связь с самыми глубокими, затаенными стремлениями русского национального духа. Вот почему она весьма дорожила тем, чтоб в важных случаях эта партия публично заявляла свою восторженную преданность администрации. В настоящем случае она требовала от Погодина, чтоб он воспел торжество и празднование царственного юбилея. Проект такого гимна, написанный Погодиным, занял, вероятно, целые ночи у Третьего отделения. Он все казался неполным, двухсмысленным, умалчивающим; он переправлялся, перемарывался, возвращался автору и снова переправлялся. Я видел рукопись, свидетельствующую о тяжелом, многострадальном ходе и испытании этого документа, который наконец появился на страницах «Москвитянина», где археологи и могут его изучать. Вместе с тем, благодаря заявленной ненависти партии к европейскому движению и заявленного ею благоговения к скромности и святости русского быта, она пользовалась в то время относительно большею свободой мнения, чем все другие, и могла иногда говорить о том, о чем кругом не позволялось и думать. Это не мешало, впрочем, и состоять под сильным полицейским надзором, потому что избежать сего надзора мыслящему человеку было так же трудно, как младенцу избежать самовольным образом крещения. Рука администрации опускалась на нее совершенно свободно при случае. Подтверждением служит арест Бодянского (кого, чего не арестовали!) за напечатанное в «Чтениях Общества истории и древностей» «Описание России» Флетчера, которое он напечатал с разрешения попечителя [35], да посажение в крепость Юрия Самарина за рукописную статью о проделках остзейских немцев с русским, латышским и вообще туземным населением страны [36]. Вероятно, они оставят по себе записки их приключений, столь обычных в то время. Мне рассказывал потом Скриницын, знаменитый директор департамента иностранных исповеданий, устроивший присоединение униатов [37], что, когда, по жалобе князя Суворова (тогдашнего рижского губернатора), Юрия Самарина вверзли в темницу за обнаружение канцелярских тайн (в рукописи-то!), последний ожидал

суда, но вдруг недели через две является приказ явиться ему во дворец к государю. Самарин хотел побриться и почиститься, но комендант крепости генерал Набоков, весьма почтенный человек (по отзывам всех многочисленных жильцов крепости), помешал этому, желая, чтоб он представился государю в том плачевном виде, в каком застал его приказ... Государь принял Самарина в кабинете стоя и грозно спросил его, раскаивается ли он в своем поступке, а получив утвердительный ответ, обнял, поцеловал, посадил перед собою, возле стола, и трогательно увещевал его употреблять свои отличные способности на честную службу отечеству и на утешение своей почтенной фамилии. «Я сам о т е ц , — говорил о н , — и знаю, как могут отцы страдать за детей».

Так-то мы жили во время оно.

Между тем брат Иван привез с собою в Москву известие, что дело издания Пушкина он порешил окончательно с Ланской, заключив с нею и формальное условие по этому поводу. Но издание, разумеется, очутилось на моих руках. Страх и сомнение в удаче обширного предприятия, на которое требовались, кроме нравственных сил, и большие денежные затраты, не покидал меня и в то время, когда уже, по разнесшейся вести о нем, я через Гоголя познакомился с Погодиным, а через Погодина с Бартеневым (П. Ив.), Нащокиным и другими лицами, имевшими биографические сведения о поэте. Вместе с тем я принялся за перечитку журналов 1817—1825 годов.

Гоголь в это время жил у Толстого, на Никитском, кажется, бульваре, и тогда все еще готовил второй том «Мертвых душ». По крайней мере, на мое замечание о нетерпении всей публики видеть завершенным наконец его жизненный и литературный подвиг вполне, он мне отвечал довольным и многозначительным голосом: «Да... вот попробуем!» Я нашел его гораздо более осторожным в мнениях после страшной бури, вызванной его «Перепиской», но все еще оптимистом в высшей степени и едва понятным для меня. Он почти ничего не знал или не хотел знать о происходящем вкруг него, как, например, о недавнем предложении Липранди послать его для осмотра всех частных библиотек по всей России, отклоненном с ужасом и негодованием самим правительством, а о ссылках и других мерах отзывался даже как о вещах, которые по мягкости исполнения были отчасти любезно-

стями и милостями по отношению ко многим осужденным. Он также продолжал думать, что по отсутствию выдержки в русских характерах преследование печати и жизни не может долго длиться, и советовал литераторам и труженикам всякого рода пользоваться этим временем для тихого приготовления серьезных работ ко времени облегчения. Эту же мысль развивал он при мне и в 1849 году на вечере у Александра Комарова[38]. Тогда произошла довольно наивная сцена. Некрасов, присутствовавший тоже на нем, заметил: «Хорошо, Николай Васильевич, да ведь за все это время надо еще есть». Гоголь был опешен, устремил на него глаза и медленно произнес: «Да, вот это трудное обстоятельство». Вместо смысла современности, утерянного им за границей и последним своим развитием, оставалась у него, по-прежнему, артистическая восприимчивость в самом высшем градусе. Он взял с меня честное слово беречь рощи и леса в деревне и раз вечером предложил мне прогулку по городу, всю ее занял описанием Дамаска, чудных гор, его окружающих, бедуинов в старой библейской одежде, показывающихся у стен его (для разбойничества), и проч., а на вопрос мой: какова там жизнь людей, отвечал почти с досадой: «Что жизнь! Не об ней там думается». Это была моя последняя беседа с чудною личностью, украсившею вместе с Белинским, Герценом, Грановским и другими мою молодость. Подходя к дому Толстого на возвратном пути и прощаясь с ним, я услыхал от него трогательную просьбу сберечь о нем доброе мнение и поратовать о том же между партией, «к которой принадлежите». С тех пор я уже его не видал, если не считать случайной встречи в Кремле после того. В четыре часа пополудни я ехал с братом-комендантом куда-то обедать, когда неожиданно повстречался с Гоголем, видимо направлявшимся в соборы к вечерне, на которую благовестили. Как бы желая отклонить всякое подозрение о цели своей дороги, он торопливо подошел к коляске и с находчивостью лукавого малоросса проговорил: «А я к вам шел, да, видно, не вовремя, прощайте». Бедный страдалец!

Все мои занятия по Пушкину и все знакомства прекратились по поводу тяжелой, опасной болезни— воспаления в кишках и кровавого поноса. А получил я эту болезнь в Архангельском, где нанимал дачу Грановский и где мы в складчину составили обед, украшенный по

обыкновению фейерверком, который притащил с собою Никулин, таскающий фейерверки и теперь по вечерам, несмотря на свое параличное и полуумное состояние. После долгого и, конечно, не совсем скромного обеда я лег под деревом и проснулся только тогда, когда Никулин чуть-чуть не зажег у меня под носом бурака. Следствием была четырехнедельная болезнь. В числе гостей пикника были Панаев, Владимир Милютин, уже тогда возненавидевшие второстепенных московских пророков, как они называли свиту Грановского, — Н. Щепкина, Фролова, живших тоже тут же на даче. Панаев сыграл роль не совсем благовидную, когда в Архангельское приехал хозяин его, князь Юсупов. По великосветской низости, от которой всю свою жизнь он отстать не мог, хотя потом и писал пасквили на своих идолов, он заходил около Юсупова и стал загонять к нему Грановского. Грановский просто не пошел, а Фролов отвечал даже с презрением к ремеслу бескорыстного сводчика, принятому на себя редактором «Современника». Ненависть, конечно, не была упразднена или смягчена этим обстоятельством; она выразилась очень сильно в записках Панаева уже через восемь лет после Фролова, где бедный журналист, разоренный Некрасовым и окончательно сбитый с толку радикализмом Добролюбова и Чернышевского, сам рассказывает с замечательным отсутствием чувства самосохранения, как он подсматривал в щелку замка и подслушивал у кабинета Фролова из желания узнать, что он делает там, запираясь ото всех на все дообеденное время. Светскость, конечно, оставшаяся неизвестною патронам журналиста!

И больной в кремлевской квартире коменданта я слышал весь гам и шум торжества, сосредоточенного в этой местности. Днем неслись передо мною кареты и коляски с пестрыми господами в перьях и золоте, с госпожами, разряженными в пух, стуча по мостовой; мелькали мундиры, ленты, аксельбанты в неописанной суете, которая на измученный организм производила род тяжелого кошмара. Квартира была почти всегда пуста, братья беспрестанно находились на службе. На воспаленные глаза болезненно действовала сама великолепная осень, стоявшая в то время на дворе. Ночью, в бессоннице, слышал я протяжные крики часовых, расставленных по всем углам. Тогда была роскошь на гауптвахты и часовых. С первыми лучами дня подымался опять весь чиновный

и придворный люд, стонала земля, метались люди, производя что-то такое, что понять было трудно тогда усталому моему мозгу. Помню хорошо только две сцены. Проезжал мимо моих окон император, с кем-то из генерал-губернаторов, провожаемый неистовыми кликами толпы. На подножке его коляски стоял ободранный мужичок и, несмотря на повелительные жесты императора, видимо, не хотел покинуть места, держался одною рукою за откинутый верх коляски, а другою все крестился, все крестился, пуча глаза и раскрывая рот. В другой раз рано утром прискакало троек шесть или семь и остановились у подъезда ордонансгауза. В каждой тележке сидело по одному жандарму и по одному поляку. Помню одного молодого человека, с длинными волосами, озиравшегося кругом с выражением сильного любопытства, между тем как жандарм его рысью побежал в канцелярию, вероятно расписаться в прибытии. Тележки простояли минут десять около подъезда и тотчас ускакали далее.

Выздоровев в октябре месяце, я вместе с братом Федором, получившим отпуск, уехал в Петербург в мальпосте [39]. Москва уже опустела и опять затихла.

Зима 1851—1852 года в Петербурге. Я пишу свои воспоминания на память, не справляясь с книгами и документами. Теперь уже прошло много времени, и некоторые второстепенные подробности, может быть, стоят у меня несколько прежде или несколько позднее, чем в самом деле случилось, но главные и общий характер годов этих сохранены в точности записками.

Тургенев, приехавший на осень из деревни, останавливается в Малой Морской, в квартире госпожи Дюме, откуда его и взяли на съезжую [40]. Человек этот выработывал себе нравственный характер с чрезвычайным трудом. Он явился из Парижа такой амальгамой любезнейших качеств души и ума с ребяческими пороками — лжи, кокетничанья собою и вранья при всяком случае, что не давал возможности остановиться на себе с определенным чувством и определенным суждением. Мы были тогда далеко не друзьями; одно время он даже положительно возымел отвращение ко мне, благодаря моей нескрываемой подозрительности к каждому его слову и движению и особенно к тем, которым он хотел придать вид искренности и увлечения. Я был груб и не прав перед ним; он мстил мне насмешками и эпиграм-

мами, что было только неприятно по радости, которую доставляло общим противникам нашим. Только после многих годов сменяющегося благорасположения и холодности мы поняли, что есть какая-то непреодолимая связь, мешающая нам разойтись хладнокровно в разные стороны. Так или иначе, всякий раз мы возвращались друг к другу с заметной радостью, чтоб опять начать старую историю горького высматривания истин друг друга, пока года и успехи в свете и литературе не сделали его гораздо спокойнее относительно себявыставления, а у меня те же годы и жизненная усталость не отбили дерзкой, ничем не оправдываемой охоты к глумлению над людьми. Впрочем, ни он не освободился вполне от тайного индифферентизма, дозволяющего невинное предательство друзей при случае и потворство безобразию знакомых, почему-либо занимательных ему или нужных, ни я не освободился окончательно от наклонности считать пустяками чужую душу и относиться к ней с молодечеством. Такова исповедь: у обоих нас исправление идет медленно и вряд ли когда завершится.

КОММЕНТАРИИ

После смерти П. В. Анненкова его основные мемуарные работы (в различном составе) публиковались в 1909, 1928 и 1960 гг.

Издание 1909 г. (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. СПб.) включало но только литературные воспоминания Анненкова, но и его критико-биографические и историко-литературные работы (биография Н. В. Станкевича, «Идеалисты тридцатых годов» и др.).

Во втором издании (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Ленинград, «Academia», 1928, предисловие Н. Пиксанова, критико-биографический очерк В. М. Эйхенбаума) были напечатаны три литературных мемуарных очерка: «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года», «Замечательное десятилетие», «Молодость И. С. Тургенева».

Настоящее издание печатается по тексту: П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960 (вступительная статья, подготовка текста и примечания В. П. Дорофеева) и включает в себя пять мемуарных работ Анненкова: «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года», «Замечательное десятилетие», «Молодость И. С. Тургенева», «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым», «Художник и простой человек. Из воспоминаний об А. Ф. Писемском». В Приложении печатается конспективный набросок мемуаров о 50-х годах «Две зимы в провинции и деревне. С генваря 1849 по август 1851 года».

Комментарии написаны:

Ю. В. Манном — «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года»
Г. Г. Елизаветиной — «Замечательное десятилетие» и «Две зимы в провинции и деревне...»
А. М. Долотовой — «Молодость И. С. Тургенева» и «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым»
И. Б. Павловой — «Художник и простой человек...»

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Анненков и его друзья — «П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов», т. I, СПб., 1892.

Белинский — В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. в 13-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1953—1959.

Воспоминания и критические очерки — «Воспоминания и критические очерки. Собрание статей и заметок П. В. Анненкова», отд. I—III. СПб., 1877—1881.

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Рукописный отдел.

Герцен — А. И. Герцен; Собр. соч. в 30-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1954—1965.

Гоголь — Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. в 14-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1937—1952.

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Рукописный отдел.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом). Ленинград.

ЛН — «Литературное наследство».

Некрасов — Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем в 12-ти томах. М., Гослитиздат, 1948—1953.

Панаев — И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950.

Станкевич — «Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830—1840». М., 1914.

Стасюлевич — «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III. СПб., 1912.

Толстой — Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах. М., Гослитиздат, 1928—1958.

Труды ГБЛ — «Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. III. «Academia», 1934.

Тургенев. Письма. Сочинения — И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960—1968.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16-ти томах. М., Гослитиздат, 1939—1953.

Н. В. ГОГОЛЬ В РИМЕ ЛЕТОМ 1841 ГОДА

Впервые, под названием «Воспоминания о Гоголе. Рим, летом 1841 года» — «Библиотека для чтения», 1857, т. CXLI, февраль, отд. II, с. 109—148; ноябрь, отд. II, с. 1—50 (в ноябрьской книжке под названием «Воспоминания о Гоголе»).

Перепечатано с поправками и под названием «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» в кн.: «Воспоминания и критические очерки. Собрание статей и заметок П. В. Анненкова». СПб., 1877, отд. I, с. 161—240.

Правка, которая была внесена в это издание, носила характер стилистических или смысловых уточнений, в частности, вместо *романа* «Мертвые души» были названы *поэмою,* были раскрыты инициалы в очерке и т. д. (другие наиболее важные случаи таких изменений оговорены ниже). Правка проводилась вначале самим Анненковым, а затем редактором «Воспоминаний и критических очерков» М. М. Стасюлевичем, задавшим с этой целью автору ряд вопросов и получившим письменный ответ (материалы этой переписки также приводятся ниже).

Написанию мемуаров Анненкова о Гоголе предшествовало многолетнее общение двух писателей. Они познакомились, как указывает Анненков, «в 1832 году, вскоре после появления «Вечеров на хуторе». По-видимому, выход этой книги и содействовал их встрече.

Гоголь был старше Анненкова на четыре года — срок не малый в пору молодости. Еще большее различие существовало в их общественном и литературном положении. Гоголь был восходящей литературной звездой, в его уме роилось множество смелых замыслов — и новых повестей, оформившихся позднее в миргородский и петербургский циклы, и комедии «Владимир 3-ей степени», и научных трудов по украинской и всемирной истории. Анненков же, в недавнем прошлом и студент Петербургского горного корпуса, и вольнослушатель ист.-филолог. факультета Петербургского университета, ни там, ни здесь не завершивший образования, только еще нащупывал свою литературную дорогу — пока не очень успешно. Но у Анненкова был живой интерес к людям, особенно людям ярким и выдающимся, был дар житейского и литературного общения, легкость характера, и все это помогло ему войти в гоголевский кружок. Несмотря на то, что этот кружок сплошь состоял из земляков Гоголя, нежинцев-«однокорытников», питомцев лицея князя Безбородко (в ту пору их в Петербурге оказалось не менее десятка), Анненков вскоре сделался здесь совершенно своим. Он даже получил прозвище, по образцу всех других прозвищ, которыми наделил Гоголь своих приятелей: по-

следние, люди безвестные и в большинстве своем ничем не примечательные, переименовывались в знаменитых и модных французских писателей. Так Анненков стал Жюль Жаненом.

Было бы рискованным, как это иногда делается, объяснять «титул» Жюль Жанена его соответствием «некоторым чертам духовного облика Анненкова», тем более что в России едва ли имели достаточно полное представление о «духовном облике» французского писателя. Многое в таком наименовании определялось самим эффектом неожиданности (Анненков говорит: «не *знаю, почему* я получил титул Жюль Жанена...»), контрастом, развивающимся по прихотливой, чисто гоголевской и для сегодняшнего слуха уже неуловимой ассоциации. Возможно, Анненков был столь же виновен в своем прозвище, как другой «скромный приятель» в том, что его окрестили женским именем Софии Ге. Возможно, что эффект подсказывался контрастом громкого имени одного из корифеев «неистовой словесности» и довольно скромными пока литературными шагами Анненкова.

В воспоминаниях есть место, не обратившее на себя необходимого внимания. Гоголь, замечает Анненков, считал достаточным условием художественного творчества умение описывать какой-либо предмет. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии», — говорил он. На этом основании *он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство*». Нет сомнения, что подчеркнутые нами слова имеют автобиографическую подоплеку, — иначе говоря, свой совет Гоголь адресовал и Анненкову. Впоследствии, в 1837 году, Гоголь через посредство Прокоповича обращался к Анненкову с просьбой: «Скажи ему, что, если он меня сколько-нибудь любит, пусть непременно напишет тоже повесть, напечатает и пришлет мне. Я читал одну из старых его повестей, которая длинна и растянута, но в ней много есть такого, что говорит, что вторая будет лучше, а третья еще лучше» (*Гоголь,* т. XI, с. 86). Прочитать повесть Анненкова Гоголь мог до отъезда за границу, до июня 1836 года; а возможно, это чтение имело место в самом начале пребывания Анненкова в кружке. Во всяком случае очевидно, что Анненков взялся за перо задолго до «серапионовских вечеров» у А. А. Комарова в 1839 году, о которых говорит И. И. Панаев (см.: *Панаев,* с. 105), — и произошло это событие не без прямого воздействия Гоголя.

В интересах точности, однако, следует заметить, что к «двум-трем товарищам» Гоголя, его «ближайшим людям» Анненков не относился. Таковых, пожалуй, было только двое: А. С. Данилевский и Н. Я. Прокопович (характерно, что Анненков и Гоголь до конца сохранили форму обращения на *Вы*). Но Анненкову было

открыто умонастроение кружка, установившееся под влиянием Гоголя, — праздничное настроение веселости, постоянного розыгрыша, травестирования, беззлобного подтрунивания над своими к довольно язвительного высмеивания чужих, включая сюда всякого рода модных писателей и законодателей вкуса; словом, дух жизнерадостности и дерзкого непризнания авторитетов. Благодаря Анненкову этот дух получил на страницах гоголевской мемуаристики, может быть, единственное и, уж во всяком случае, самое яркое отображение.

Многое оказалось открытым Анненкову и в творческой жизни Гоголя, несмотря на всю его замкнутость и отъединенность, даже перед лицом друзей. Только от Анненкова узнаем мы факты художественной истории, зарождения таких произведений, как «Записки сумасшедшего» и «Шинель»; да и сама гоголевская поза сдержанной сосредоточенности, постоянного самоуглубления и никогда не ослабевающей, словно «приросшей к нему наблюдательности» уловлена именно Анненковым. Доморощенный Жюль Жанен оказался искусным соглядатаем обратившим совет Гоголя подмечать и описывать все окружающее против него самого.

Но не на одного Гоголя направлен острый глаз мемуариста: он постоянно видит писателя среди других лиц, подмечает их реакцию и затем обратное воздействие этой реакции на своего героя. Благодаря такому двойному взгляду мы имеем превосходное, единственное описание премьеры «Ревизора». Публика, собравшаяся 19 апреля 1836 года в Александринском театре, видится нам как стоглавое существо; оно живет, дышит, вовлекается в сложную игру противоположных чувств; от него исходят потоки энергии, ударяющие, как в сверхчуткую мембрану, в сознание автора «Ревизора». Перед нами маленькая драма, написанная по поводу другой драмы и уместившаяся всего в два десятка строк. У этой драмы есть даже свой эпилог — сходка друзей после спектакля на квартире Прокоповича и отчаянная реплика Гоголя, пережившего неудачу «Ревизора». То, что Анненков не только присутствовал на спектакле, но и был допущен к его внесценическому эпилогу, став свидетелем горьких минут жизни Гоголя, вновь говорит об его достаточно близких отношениях к писателю.

Перипетии «Ревизора» — последнее, что мы узнаем из воспоминаний Анненкова о петербургском периоде жизни Гоголя. После отъезда писателя за границу в июне 1836 года Анненков не встречал его четыре года. Но по письмам Гоголя видно, что духовные связи между ним и Анненковым не оборвались: в письме из Женевы от 27 сентября и. ст. (?) 1836 года он просит Прокоповича передать привет «всем нашим», в том числе Жюлю; в письме из Парижа от 25 января н. ст. 1837 года к тому же Прокоповичу

подтрунивает над интимными подробностями жизни Анненкова, поощряет его к литературному творчеству (эти строки уже приводились выше). Справляется он об Анненкове и в письме к Прокоповичу из Рима от 15 апреля н. ст. 1838 года.

В это время интерес Гоголя к Анненкову приобретает несколько практическую окраску — нетрудно увидеть почему. «Жюля особенно попроси, чтобы написал ко мне, — советует он Прокоповичу. — Ему есть о чем писать. Верно, в канцелярии случился какой-нибудь анекдот. Если действующие лица выше надворных советников, то, пожалуй, он может поставить вымышленные названия или господин NN» (*Гоголь,* т. XI, с. 86). Через несколько месяцев Гоголь высказывает аналогичную просьбу (см.: там же, с. 116). Писатель работает в это время над «Мертвыми душами», серьезно рассчитывая на Анненкова как на поставщика материала. Он принимает во внимание и наблюдательность Анненкова, и его опыт чиновника (Анненков служил некоторое время канцеляристом в министерстве финансов).

Неизвестно, доставил ли Анненков требуемые материалы, но отныне и его жизнь будет в некоторой мере определяться главным трудом Гоголя. Когда мемуарист говорил, что Гоголь чрезвычайно искусно умел подчинять себе других людей, ставя их способности и волю на службу своим интересам, то он имел в виду и себя. Только Анненков никогда не жаловался на гоголевскую опеку, понимая, что она сообщает всему его существованию особый смысл.

Встреча Анненкова с Гоголем после четырехлетнего перерыва произошла в Петербурге, в квартире Прокоповича, осенью 1839 года. И это была одновременно встреча с «Мертвыми душами»: Гоголь решил познакомить однокорытников, «скромных, безвестных своих друзей и почитателей», с четырьмя главами создаваемой поэмы. Затем Анненков вновь расстается с Гоголем на два года, для того чтобы встретиться в Риме весною 1841 года, и почвой их ежедневного общения вновь становятся «Мертвые души».

В течение нескольких недель Анненков под диктовку автора переписывает «Мертвые души», проявляя, как говорит его исследователь, «высокий альтруизм» и «отказываясь от туристских интересов» (см.: Б. Ф. Егоров. П. В. Анненков — литератор и критик 1840-х и 1850-х гг. — В кн.: «Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение». Тарту, 1968, с. 53). Но, право, одно стоило другого. Анненков умел чувствовать приближение «минут роковых» в мире литературы и не упускал их. Так и через шесть лет он откажется от поездки на Балканы, чтобы отправиться вместе с Белинским в Зальцбрунн и стать единственным свидетелем написания знаменитого письма к Гоголю.

Страницы, посвященные переписке «Мертвых душ», — вершина анненковских мемуаров. Чем-то это место напоминает картину премьеры «Ревизора»: умением передать течение чувств, динамику переживаний в рамках одного события.

После римской жизни Гоголь и Анненков не виделись около пяти лет, да и последующие встречи их были недолгими и редкими. Анненков в воспоминаниях говорит о двух: во второй половине мая 1846 года в Париже и несколько позднее — в Бамберге. Но, помимо этого, мы знаем еще о других встречах. В сентябре 1848 года Анненков, только что вернувшийся из-за границы, автор известного цикла «Парижских писем», опубликованного в «Современнике», рассказывает в Петербурге Гоголю о революционных событиях, которых он был свидетель. И в Гоголе, с его неприятием революции, услышанное пробуждает глубокую тревогу: «Все, что рассказывает он, как очевидец, о парижских происшествиях, — просто страх: совершенное разложенье общества» (из письма к А. С. Данилевскому от 24 сентября 1848 г. — *Гоголь,* т. XIV, с. 87). Через два года, осенью 1851 года, Анненков виделся с Гоголем в Москве: говорили о работе над вторым томом «Мертвых душ», о готовящемся издании сочинений Пушкина. Обо всем этом Анненков поведал в другом своем мемуаре «Две зимы в провинции и деревне», печатаемом в настоящей книге (см. с. 534—535). К московскому периоду относится и письмо Гоголя к М. П. Погодину, представляющее собою рекомендацию его старого петербургского приятеля: «Павел Васильевич Анненков, занимающийся изданием сочинений Пушкина и пишущий его биографию, просил меня свести его к тебе затем, чтобы набрать и от тебя материалов и новых сведений по этой части» (*Гоголь,* т. XIV, с. 253). Гоголь не знал, что исподволь Анненков запасается сведениями и для будущих мемуаров о нем самом (так, по-видимому, во время этих бесед с близкими к Пушкину людьми он узнал подробности передачи поэтом Гоголю сюжета «Ревизора» и «Мертвых душ»). Все это были последние встречи обоих писателей.

В интервалах между встречами Гоголь и Анненков несистематически переписывались. Сохранилось одно письмо Анненкова и шесть писем Гоголя, охватывающих четырехлетие с 1843 по 1847 год. В письмах чувствуется усиливающееся напряжение, несогласие во взглядах, впрочем, прикрываемые прежней дружественностью и не нарушающие сложившийся тип отношений. Тех отношений, при которых один любезно предлагает свою помощь и содействие, а другой с признательностью их принимает. В письме от 11 мая 1843 года Анненков сообщает Гоголю в Рим, что он едет в Петербург и готов выполнить необходимые поручения (см.: «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», т. I. М.—

Л., Изд-во АН СССР, 1936, с. 127). В ответном письме от 10 февраля н. ст. 1844 года из Ниццы Гоголь поручает разведать, как обстоит дело с продажей Собрания сочинений, а также уведомить, «в каком положении и какой приняли характер ныне толки о Мертвых душах». Последняя просьба для Гоголя жизненно важна: работая над вторым томом поэмы, он хотел принять в соображение все то, что говорилось о первом томе, особенно суждения негативные. Поскольку «круг», в котором вращается Анненков (т. е. круг Белинского), «большею частию обо мне хорошего мнения», то корреспонденту поручается проникнуть в лагерь Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого и выведать, что там говорится. От Анненкова требуется уже не только дар наблюдательности, но и навыки литературного «лазутчика». В заключение же Гоголь рекомендует вообще раздвинуть круг своих знакомых, слушать всех и вся, не пренебрегая никакими толками о себе.

С тех пор в гоголевских письмах к Анненкову постоянно звучит призыв к многосторонности. Он советует за Францией и Парижем не забывать Англию, где «важная сторона современного дела»; считает, что не следует удовлетворяться достигнутым сегодня взглядом, словно «стали уже на верховную точку вашего разумения» (письмо от 7 сентября ст. ст. 1847 г. из Остенде). Анненков выдвигал свои контраргументы, которые косвенно отражены в самооправдании Гоголя: «Вы назвали мое стремление выслушивать с равным вниманием все работающие ныне силы стремлением уравновешивать эти силы. Это довольно грубая ошибка. Это стремленье есть просто *желанье знать дело обстоятельней другого*» (письмо от 20 сентября н. ст. 1847 г. из Остенде). Значит, Анненков упрекал Гоголя в некоторой всеядности и отсутствии собственного взгляда; Гоголь же говорил, что такой взгляд должен возвышаться над мнением сторон. Через голову Анненкова Гоголь спорил с Белинским, считал его пристрастным и односторонним. Заключалась в этом споре и собственная проблема автора «Мертвых душ». Ведь «Выбранные места...», как известно, — книга кризисная, отразившая мучительные душевные процессы, пережитые Гоголем после первого тома поэмы. И критика «Переписки» со стороны Белинского и его единомышленников оставила в душе Гоголя глубокий след. Гоголь хотел теперь достичь предельной многосторонности, обнимающей и переплавляющей все, в том числе и ту бескомпромиссную критику, которую обратил против него Белинский.

Второй упрек Гоголя Анненкову связан с литературной деятельностью последнего, с его «Парижскими письмами». Гоголь нашел в них «много наблюдательности и точности, но точности дагерротипной». «Не чувствуется кисть, их писавшая; сам автор —

воск, не получивший формы, хотя воск первого свойства...» Налицо старый вопрос о достоинстве чистой наблюдательности, которая, однако, признается теперь недостаточной для писательского дела. Любопытно, что Анненков получает упрек в неопределенности собственного взгляда, против чего он сам предостерегал Гоголя. В качестве контробразца к «Парижским письмам» выдвигаются печатавшиеся в «Современнике» в 1847 году «Письма об Испании» В. П. Боткина: «В них все интересно, может быть именно оттого, что автор мысленно занялся вопросом разрешить себе самому, что такое нынешний испанский человек, и приступил к этому смиренно, не составивши себе заблаговременно никаких убеждений из журналов...» Опять через голову Анненкова стрелы летят в Белинского, имя которого, впрочем, тут же фигурирует. В заключение Анненкову дается совет: «...наместо того, чтобы дагерротипировать Париж... писать записки о русских городах, начиная с Симбирска», и при этом описании разрешить внутреннюю задачу, «что такое нынешний русский человек» (письмо от 12 августа н. ст. 1847 г. из Остенде — *Гоголь,* т. XIII, с. 363—364). Совет этот Анненков принял, опубликовав позднее в «Современнике» за 1849—1851 годы «Провинциальные письма» (см.: Б. Ф. Егоров, указ. соч., с. 55); однако не в смене материала — заграничного на отечественный — заключалась главная проблема.

Включившийся в этот спор Боткин встал на сторону Анненкова. «Гоголь упрекает их [«Парижские письма»] в «бесцельности...», — писал он Анненкову 24—25 августа 1847 года, — они «бесцельны», то есть вы должны заранее составить себе взгляд, убеждение и на них натягивать каждое ваше ощущение или суждение!.. Гоголь так погряз в доктринерстве, что уже не может понять всей прелести «бесцельности»... Гоголь клеплет на меня; мне в голову не приходило задавать себе вопрос о нынешнем «испанском человеке...» (*Анненков и его друзья,* с. 545—546). Парадоксально, что автор отказывается от чести быть аналитиком и мыслителем, оставляя за собою лишь право на «бесцельность». Все это, однако, наполнялось особым смыслом, воспринималось в свете некоторых понятий, установленных самим Гоголем. Под его «доктринерством» подразумевался взгляд, сформулированный в «Выбранных местах...», с прямым подчинением художественного образа моральным целям, подчас даже публицистической дидактике. Такой взгляд многим, в том числе Анненкову, был неприемлем. О переживаниях Гоголя *после* «Переписки», об его мучительных усилиях преодолеть собственную односторонность, отказаться от назидательности, мало кто знал, и еще меньше было тех, кто верил, что эта тенденция будет реализована в про-

должении поэмы. Перед лицом же гоголевского «доктринерства» Боткин, да, вероятно, и Анненков готовы были считать собственные «письма» голым описательством, освобожденным от всяких «внутренних» задач.

В переписке 40-х годов, а возможно, и в личном общении, Анненков подходит к Гоголю еще несколько со стороны. Наблюдателю просто не хватает материала, да и новые тенденции в развитии писателя еще недостаточно определились. Иное дело в мемуарах, где точка наблюдения решительно приблизилась к внутреннему миру Гоголя, порою даже вошла в этот мир.

Исподволь, вероятно, идея гоголевского очерка забрезжила в Анненкове давно. Еще в «Письмах из-за границы» (1841—1843), первом своем печатном труде, рассказывая о римской жизни, он дважды упоминал Гоголя. «Отыскал Гоголя, который и указывает мне точки для наблюдения в этом море...» И еще: «Я между тем жил рядом, стена об стену с Гоголем и в сообществе трех или четырех русских художников...» (т. е. А. Иванова, Ф. Иордана и других — *Анненков и его друзья,* с. 157, 161; первоначально — «Отечественные записки», 1841—1843). Однако Гоголь здесь — не больше чем достопримечательность римской жизни, хотя и весьма существенная достопримечательность, а также еще и «гид» путешествующего автора. Иная роль у Гоголя в мемуарах.

Непосредственную мысль к их написанию подал редактор «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинин (см.: «Письма к А. В. Дружинину». М., Изд-во Гос. лит. музея, 1948, с. 26), но созрела она в атмосфере острого интереса к Гоголю, возникшего после сожжения второго тома «Мертвых душ» и смерти писателя. В 1854 году появился «Опыт биографии Н. В. Гоголя» П. Кулиша, спустя два года — его же намного расширенные и дополненные «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя»; одновременно публиковались воспоминания Н. Иваницкого, М. Лонгинова, И. Кульжинского... В 1857 году Н. Г. Чернышевский мог констатировать: «...о Гоголе теперь собрано уж едва ли не более биографических сведений, нежели о всех знаменитых наших писателях до Пушкина» (*Чернышевский,* т. IV, с. 718—719). И весь этот материал оказался перед Анненковым, распоряжавшимся им не только как мемуарист, но, говоря современным языком, и как очеркист-исследователь. Да он и был таковым — и по внутреннему заданию и по опыту: стоит напомнить, что к этому времени Анненков уже написал биографию Пушкина. И его произведение о Гоголе — редкий сплав мемуаров и критико-биографического очерка. Отсюда и оригинальность построения, которому отнюдь не адекватно название. Римская жизнь Гоголя, встреча Анненкова со своим героем в Риме — только центральное, но далеко не един-

ственное событие произведения. Мысль автора то возвращается вспять, то забегает вперед, решая некую главную сверхсобытийную задачу. Эта задача — объяснение Гоголя как писателя и человека.

Очерк Анненкова заключает в себе свою идею, ядром же ее служит проблема изменения Гоголя, даже самого наличия такого изменения. Это обусловлено состоянием гоголевского вопроса в то время. После «Выбранных мест...», ошеломивших современников, было широко распространено мнение о резком *переломе* в развитии писателя. Такой точки зрения придерживался не только Белинский, призывавший Гоголя отречься от «*последней*» книги и возвратиться к *прежнему* направлению, но, скажем, и Сергей Тимофеевич и Константин Аксаковы.

После смерти Гоголя, к середине 1850-х годов, когда сгладилась острота споров, когда стали известны новые документы, в частности «Авторская исповедь», наметилась другая тенденция — к выявлению непрерывности и последовательности гоголевской эволюции. Чернышевский писал в 1856 году, за год до появления мемуаров Анненкова: «Действительно ли образ понятий, выразившийся «Выбранными местами...», был искренним его убеждением?.. И действительно ли этот образ мыслей не был в нем новостью, а с детства постоянно жил в нем и только сильнее прежнего овладел его душою вследствие различных душевных страданий? Надобно думать, что это было действительно так» (*Чернышевский,* т. III, с. 530). Почвой для такого вывода послужили материалы, опубликованные в книге Кулиша, отчасти даже и его концепция, в которую, однако, Чернышевский внес принципиальный корректив. Для Кулиша единство Гоголя носит априорный, так сказать, телеологический характер; по словам Анненкова, он смотрит на писателя «с конца поприща», с точки зрения взглядов, отразившихся в «Переписке», и тем самым исключает его свободное развитие. Для Чернышевского, не принимавшего, разумеется, «неуместный и неловкий идеализм» позднего Гоголя, единство писателя — в наличии некоторых начальных психологических и моральных основ, которые усиливались под влиянием обстоятельств и привели к противоречивому результату. Момент движения столь же важен для концепции Чернышевского, как и момент постоянства.

Анненков также сохраняет оба момента, также строит свои выводы на открытой или неявной полемике с Кулишом, но при этом дает несколько иной вариант решения «гоголевского вопроса». Прежде всего он вскрывает ошибку смешения Гоголя двух периодов — начального и последнего — и приложения к ним одинаковых мерок, что имело место в труде Кулиша. Мемуарист на-

брасывает яркий, сверкающий всеми красками портрет молодого Гоголя. Это Гоголь беспрестанных проказ, веселых мистификаций, беспощадных насмешек над чопорностью, лицемерием, казенным складом мышления. Это Гоголь резких и определенных вкусов, любящий «ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все исполненное силы и блеска». Это ценитель пластических форм в архитектуре, скульптуре, да и в повседневной действительности, почти язычески поклоняющийся женской красоте. Это, наконец, грозный обличитель «извращенной и опошленной жизни», наклонный скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству... чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его». Момент политической прогрессивности, если не вольномыслия, играет существенную роль в анненковской концепции. Такой Гоголь еще не появлялся ни на страницах критики, ни в мемуаристике. Увидеть его мог только человек из круга Белинского, и притом достаточно близко знавший своего героя с молодых лет.

Правда, Анненков несколько перегнул палку в другую сторону, не отмечая того, что видел Чернышевский, а именно — «многочисленные проблески подобного (т. е. позднего. — *Ю. М.*) настроения в прежних сочинениях и прежних письмах» писателя. Причем на своей точке зрения он настаивал и впоследствии. В письме от 24 октября н. ст. 1874 г. к М. М. Стасюлевичу Анненков писал: «Я все держусь — и не без причины — того мнения, что в первую пору своего развития Гоголь был совсем свободным человеком, чрезвычайно искусно пробивавшим себе дорогу, а то, что кажется в нем порывами в иной мир, чем действительный, должно считать не более, как маленьким, невинным плутовством... Лирическим субъектом он сделался вполне только тогда, когда успехи его внушили ему идею об особенном его призвании на Руси, не просто литературном, а реформаторском» (*Стасюлевич,* т. III, с. 300).

Но вот автор мемуаров переходит к Гоголю 40-х годов. Действие отмеченных им стихий гоголевского характера не могло закончиться к определенному сроку, внезапно. Оно продолжалось и в зрелом, и в позднем Гоголе, порождая мучительный разлад в его характере и в то же время сообщая всему движению некоторую преемственность. Анненков в Риме видит, как Гоголь, почитающий «все естественное, самородное», любуется проявлениями народной жизни; как он дает волю своему комическому дару; оценивает произведения искусства «по признакам силы», могучему проявлению художнической воли. В то же время мемуарист замечает, как позднейший Гоголь силится победить и свой юмор, и «врожденное благоговение к красоте».

Кульминационной точкой кризиса Анненков считает гоголевскую «Переписку», книгу, которая, по его словам, вызвала «бурю осуждений и упреков». Упрекает автора и мемуарист, легко увидеть, за что — за противопоставление «русского мира» как якобы «отдельной сферы» общеевропейскому социальному и политическому движению, за попытку примирить дело просвещения России с сохранением ее наличной общественной структуры, включая и институт крепостного права, наконец просто за то, что языку художественных образов он предпочел язык поучений и увещеваний, — упреки, которые были, разумеется, глубоко справедливы. Собственно на «Выбранных местах...» и связанной с ними второй части «Мертвых душ» Анненков и заканчивает свое повествование, однако это не является действительным финалом, окончательным подведением итогов, ибо мемуарист призывает рассмотреть последний период жизни Гоголя «с глубоким уважением к великой драме». Завесу над этой драмой начинает приподнимать уже сам Анненков — отсюда его повышенный интерес к пребыванию Гоголя в Риме в начале сороковых годов. Значение римского периода 1840—41 годов в том, что это был переходный период. Так появляется понятие переходности и даже «переворота». Гоголь начинал «сводить к одному общему выражению как свою жизнь, образ мыслей, нравственное направление, так и самый взгляд на дух и свойство русского общества». В этом — ядро концепции, которая обнимает точку зрения и Белинского и Чернышевского.

Суть в том, что Анненков восстанавливает понятие резкого изменения, перелома во взглядах Гоголя, но таким образом, что сохраняется момент движения. При этом раскрывается механизм перехода. К определенному хронологическому рубежу взгляды Гоголя начинают кристаллизоваться, сводятся в систему и тем самым обретают новое качество: Гоголь стремится по-своему решить кардинальные вопросы современной жизни — что такое Россия, каково ее отношение к Западу, к буржуазному прогрессу и т. д. Этот процесс постепенно захватывает все уровни психической жизни личности, изменяя весь ее нравственный состав. Никакой предопределенности, заданности в такой метаморфозе нет, — перед нами спонтанный и во многом скрытый процесс развития, который мемуарист стремится понять и сделать наглядным.

Воспоминания о Гоголе сразу же были высоко оценены современниками, причем важно то, что было обращено внимание на концептуальную, эстетическую основу произведения. Уже после опубликования первой части в февральской книжке журнала «великое спасибо» автору высказал И. С. Тургенев (письмо от 4/16

марта 1857 г. из Парижа). «Не говоря уже о том, что подробности о Гоголе драгоценны, то, что Вы говорите об обязанностях биографа, о целостном понимании характера и т. д., — золотые слова, — а описание путешествия из Венеции в Рим — чудо, так и веет Италией, весной, молодостью, счастьем беспечности и здоровья» (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 102). Н. Г. Чернышевский в «Заметках о журналах» («Современник», 1857, № 3), касаясь первой части воспоминаний, отмечал, «что факты, сообщаемые г. Анненковым, значительно объясняют нам Гоголя как человека и что вообще взгляд г. Анненкова на его характер кажется едва ли не справедливейшим из всех, какие только высказывались до сих пор» (*Чернышевский,* т. IV, с. 719).

В заключение Чернышевский писал: «После славы быть Пушкиным или Гоголем прочнейшая известность — быть историком таких людей» (там же, с. 720). Вывод, быть может и преувеличенный, но показывающий место произведения Анненкова и в гоголевской литературе, и в русской мемуарной литературе вообще.

[1] Стр. 35. В Лорето (Лоретто), небольшом селении, расположенном на востоке Италии близ города Мачерата, находится знаменитый храм, сооруженный в 1518—1522 гг. архитекторами Сангалло, Андреа Сансовино и др. Благодаря этому храму и разместившимся здесь «Сокровищнице» и музею, Лорето стало местом паломничества богомольцев и путешественников.

[2] Стр. 36. Папский гарнизон в Ватикане составлен из швейцарских стрелков.

[3] Стр. 36. Имеется в виду описание Венеции в «Итальянском путешествии» Гете.

[4] Стр. 40. Английский издатель Дж. Муррей (Murray) был известен своими книгами для путешественников — «Handbooks for travellers».

[5] Стр. 42. Имеется в виду монография немецкого криминалиста К.-И.-А. Миттермайера «Italienische Zustände» (1844).

[6] Стр. 42. Подразумевается водопад делле Марморе, находящийся в 8 км от Терни.

[7] Стр. 43. В журнальной публикации — «направо». Ошибка исправлена Анненковым в «Воспоминаниях и критических очерках», по замечанию Стасюлевича. «Всеконечно Pincio налево от въезда... Автор привык видеть Pincio направо от Corso, да так и бухнул», — писал Анненков (*Стасюлевич,* т. III, с. 327).

[8] Стр. 44. Это мост Ангела, построенный в 136 г. императором Адрианом. Мост украшен статуями Бернини.

[9] Стр. 45. Гоголь, кстати, действительно прибегал к такому

«сравнению». М. П. Погодин рассказывает: «Привел... он нас в первый раз в храм св. Петра, и вот как вздумал дать понятие об огромности здания. «Зажмурь глаза, — сказал он мне в дверях и повел меня за руку. Остановились спиною к простенку. — Открой глаза. Ну, видишь, напротив, мраморных ангельчиков над чашею?» — «Вижу». — «Каковы — велики? Ну так оборотись». Я оборотился к простенку, у которого стоял, и увидел перед собою, под пару к ним, двух почти колоссальных. Так велико между ними расстояние в промежутке: огромные фигуры издали кажутся только посредственными» (<М. Погодин.> Отрывок из записок. О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 году. — «Русский архив», 1865, № 7, с. 889).

[10] Стр. 45. Огромный балдахин в стиле барокко, сооруженный Бернини по распоряжению папы Урбана VIII, простирается над папским алтарем.

[11] Стр. 46. По приезде в Рим, в марте 1837 года, Гоголь поселился на улице Sant Isidoro, дом № 17, против церкви Sant Isidoro. Здесь он прожил до отъезда из Рима в июне того же года. Во время вторичного пребывания в Риме, в 1838—1842 гг. Гоголь жил в доме № 126 на Strada Felice (в настоящее время Via Sistina). Квартира Гоголя находилась на третьем этаже, который в те времена являлся последним. Большая комната-зал выходила окнами на улицу. В этой квартире Анненков и навестил Гоголя; впоследствии Анненков поселился здесь же, в одной из комнат. В начале нашего века благодаря стараниям ученицы Гоголя М. П. Балабиной (в замужестве Вагнер) и представителей русской колонии в Риме на фасаде упомянутого дома была установлена мраморная доска. Надпись на русском и итальянском языке:

Здесь жил в 1838—1842 году
Николай Васильевич Гоголь;
здесь писал «Мертвые души».

Il grando scrittore russo
Nicolo Gogol
In questa casa, dove abito 1838—1842
Pensò e scrisse il suo capolavoro.

(В этом доме великий русский писатель Николай Гоголь жил в 1838—1842 годах, обдумывал и писал свой шедевр).

Третья квартира Гоголя в Риме, в которой он жил в 1845—1846 гг., находится в старом палаццо Понятовского на улице Via della Croce, №81, недалеко от площади Испании.

[12] Стр. 47. Свидетельство Анненкова подтверждается письмами Гоголя. Так, 24 мая 1835 г. Гоголь из Полтавы пишет

Н. Я. Прокоповичу: «...как пребывают Ге, Гус, Гюго, Жанен и проч. и проч. и проч.» (*Гоголь,* т. X, с. 366).

[13] Стр. 47. В. А. Панов, родственник Аксаковых, вместе с Гоголем выехал из России 18 мая 1840 г.; затем они разъехались и, встретившись вновь в Венеции 2 сентября, продолжили путь до Рима. Панов, поселившийся в том же доме, что и Гоголь, на Страда Феличе, помогал ему в переписке «Мертвых душ». В сохранившемся римском списке поэмы (находится в настоящее время в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки УССР в Киеве. Шифр Неж., 59) Пановым переписано пять первых глав. В журнальном тексте воспоминаний в соответствующем месте были указаны лишь инициалы: В. А. П—в, в связи с чем М. М. Стасюлевич, подготавливавший издание «Воспоминаний и критических очерков», спрашивал автора: «В соседней комнате с Гоголем в Риме жил В. А. П—в. Панаев, что ли?» Анненков разъяснял в письме от 16 августа 1876 г.: «Прежде меня жил с Гоголем *В. А. Панов,* комнату которого я и занял. Это был молодой, добрый и несколько туповатый славянофил. Умер рано; от него есть в литературе путешествие не то в Хорватию, не то в Боснию или Герцеговину» (*Стасюлевич,* т. III, с. 325, 327). Однако, несмотря на разъяснения Анненкова, в тексте «Воспоминаний и критических очерков» ошибочно напечатано: В. А. Панаев (с. 173).

[14] Стр. 48. Во время пребывания в Петербурге осенью и зимой 1839 г. Гоголь несколько раз читал «Мертвые души»: 4 декабря — на квартире Жуковского, 5 декабря — в доме П. А. Валуева, 11 декабря — в доме покойного писателя Н. М. Карамзина. Чтение у Н. Я. Прокоповича точно датировать не представляется возможным; можно отметить лишь, что это произошло не в первые дни недели пребывания Гоголя в Петербурге, так как он уже переехал от Плетнева к Жуковскому в Зимний дворец.

[15] Стр. 48. Гоголь выехал из Петербурга в Москву 17 декабря 1839 г. В мае следующего года он вновь отправился за границу.

[16] Стр. 48. *Читадины* (и т. cittadini) — горожане, *принчипе* и т. principi) — князья.

[17] Стр. 50. Ф. В. Чижов рассказывает о следующем эпизоде, относящемся к пребыванию Гоголя в Риме.

«Однажды я тащил его <Ф. И. Иордана> почти насильно к Языкову.

— Нет, душа моя, — говорил мне Иордан, — не пойду, там Николай Васильевич. Он сильно скуп, а мы всё народ бедный, день-деньской трудимся, работаем — давать нам не из чего. Нам хорошо бы так вечерок провести, чтоб дать и взять, а он все только брать хочет» («Гоголь в воспоминаниях современников»,

(М.), 1952, с. 227). Воспоминания Ф. В. Чижова Анненкову были известны по книге П. А. Кулиша «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя» (соответствующее место в т. 1, с. 328). Необходимо отметить, что в целом отношения Иордана и Гоголя были весьма дружественные.

[18] Стр. 50. Е. П. Гребенка подражал Гоголю во многих своих произведениях. В данном случае подразумеваются «Рассказы пирятинца» (СПб., 1837), обнаруживающие сильное влияние первых повестей Гоголя — «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Об этом свидетельствует фраза мемуариста: «...старавшемуся даже иногда подделаться под его *первую* манеру рассказа».

[19] Стр. 51. Наиболее близкими друзьями Гоголя были его соученики по Нежинской гимназии высших наук А. С. Данилевский и Н. Я. Прокопович.

[20] Стр. 52. В Петербурге Гоголь сблизился с Плетневым, Жуковским, Пушкиным, а в Москве — с М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым, семейством С. Т. Аксакова и с другими.

[21] Стр. 52. Упомянутый труд П. А. Кулиша вышел без указания имени автора; его точное название: «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и его собственных писем», т. 1—2. СПб., 1856. Еще до выхода этого труда, вскоре после смерти Гоголя, стали появляться воспоминания о нем: Николай Иваницкий, неозаглавленная заметка о Гоголе — адъюнкт-профессоре («Отечественные записки», 1853, т. LXXXVI, № 2, отд. VIII, с. 119—121); Мих. Лонгинов. Воспоминание о Гоголе (по поводу опыта его биографии) («Современник», 1854, т. XLIV, № 3, отд. II, с. 85—90); И. К<ульжинский>. Воспоминания учителя («Москвитянин», 1854, т. VI, № 21, отд. V, с. 1—16) ; С. Т. Аксаков. Письмо к друзьям Гоголя («Московские ведомости», 1852. № 32), Несколько слов о биографии Гоголя (там же, 1853, № 35). Составляя свои «Записки», П. А. Кулиш опирался на эти материалы. Кроме того, он включил в свой труд изложение воспоминаний Ф. В. Чижова, А. О. Смирновой и того же С. Т. Аксакова, начавшего в 1854 г. работу над «Историей моего знакомства с Гоголем». В письме к А. В. Дружинину от 1 сентября 1856 г., сообщая о решении написать мемуары о Гоголе, Анненков давал такую оценку труда Кулиша: «Книга, нет сомнения, крайне любопытная и вполне будет полезна, если кто-нибудь возьмется написать на нее еще книгу» («Письма к А. В. Дружинину», с. 26). Мемуары Анненкова и явились в известном смысле такой «книгой» на «Записки» Кулиша.

[22] Стр. 52. В упоминавшемся письме к Стасюлевичу от 16 августа 1876 г. Анненков разъяснял мотивы заимствования Кули-

шом инициалов Н. А. Макарова: после разгрома Кирилло-Мефодиевского братства, в котором он состоял, и ареста «III-е Отделение запретило ему что-либо печатать под своим именем...» (*Стасюлевич,* т. III, с. 327).

[23] Стр. 55. Неточная цитата из письма Гоголя к матери из Травемюнде от 25 августа и. ст. 1829 г. (*Гоголь,* т. X, с. 155).

[24] Стр. 55. Гоголь возвратился в Петербург 22 сентября 1829 г. Таким образом, его путешествие длилось менее двух месяцев.

[25] Стр. 55. В «Завещании» Гоголь подтвердил отданное прежде распоряжение о передаче матери всего своего недвижимого имущества. Матери и сестрам он завещал также доходы от изданий своих сочинений (см.: *Гоголь,* т. XIII, с. 477).

[26] Стр. 56. Гоголь — осенью 1829 г. — предпринял безуспешную попытку поступить на петербургскую сцену. Затем он служил чиновником в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий и в департаменте уделов. Говоря о художнической деятельности Гоголя, мемуарист подразумевает его занятия в Академии художеств в 1830 г.

[27] Стр. 56. Произошло это в 1832 г. Отвечая на вопрос М. Стасюлевича о времени знакомства с Гоголем, Анненков уточнял: «Именно в 1832 году, вскоре после появления «Вечеров на хуторе» (*Стасюлевич,* т. III, с. 327).

[28] Стр. 56. После неудачной попытки занять кафедру всеобщей истории в Киевском университете Гоголь начинает хлопотать о месте профессора в Петербургском университете. В июле 1834 г. он был определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории в столичном университете; в сентябре состоялась его первая лекция «О средних веках». Педагогическая деятельность Гоголя протекала неровно; лекции, вызывавшие всеобщий интерес (на одной из них, посвященной Ал-Мамуну, присутствовали Пушкин и Жуковский), сменялись лекциями скучными и невыразительными. Среди современников Гоголя было распространено мнение, которое отразилось и в воспоминаниях Анненкова, о том, что Гоголь не имел способностей и навыков ученого и халатно относился к своим обязанностям. Последующие публикации и исследования внесли коррективы в это мнение. Так, ученый хранитель Румянцевского музея Г. П. Георгиевский, издавший в начале нашего века два обширных тома гоголевских рукописей: выписок по истории и этнографии, конспектов научных трудов и т. д., — отмечал в своем предисловии: «Если... для одного только печатания «Гоголевских текстов» потребовалось почти два года, то сколько же времени затратил Гоголь на собирание материалов, чтение, копирование, компиляции и т. д.? Очевидно, о Гоголе мало сказать, что он был тружеником: не было такого

времени в его жизни, когда бы он не работал». «Весьма важно отметить и еще одну подробность в биографии Гоголя: найденные материалы по истории и обертка с надписью «Материал лекций» убедительно говорят о том, что Гоголь трудился над лекциями и готовился к ним» («Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», вып. 3. СПб., 1909, с. VIII).

[29] Стр. 56. Подразумеваются письма к М. П. Погодину от 1 и 20 февраля 1833 г., к М. Л. Максимовичу от 9 ноября 1833 г. и 22 января 1835 г. (*Гоголь,* т. X, с. 256, 262, 284, 349) и т. д. — письма, в которых Гоголь делится своими научными и издательскими планами.

[30] Стр. 57. Неточная цитата из письма Гоголя к матери из Любека от 13 августа н. ст. 1829 г.

[31] Стр. 59. Сведения о передаче Пушкиным Гоголю «сюжета» «Ревизора» и «Мертвых душ» восходят к самому Гоголю, рассказавшему об этом в «Авторской исповеди» (опубликована посмертно в 1855 г.; см.: *Гоголь,* т. VIII, с. 440). О роли Пушкина в создании поэмы, которая является его «священным завещанием», Гоголь говорит и в письмах, написанных после гибели поэта (напр., в письмах к П. А. Плетневу от 28/16 мая 1837 г., М. П. Погодину от 30 марта н. ст. 1837 г. и т. д.). Кроме того, факт передачи сюжета «Ревизора» подтверждается письмом Гоголя к Пушкину от 7 октября 1835 г., где высказана просьба: «Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов...» (*Гоголь,* т. X, с. 375), и наличием в бумагах Пушкина фрагмента, предвосхищающего фабулу «Ревизора» — «*Криспин* приезжает в губернию...» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VI. М.—Л., Изд-во Ан СССР, 1957, с. 627).

[32] Стр. 59. По-видимому, эту реплику передала мемуаристу вдова поэта Наталья Николаевна в начале 50-х годов, когда Анненков собирал материалы для подготавливаемых им сочинений и биографии Пушкина.

[33] Стр. 59. Гоголь переехал в дом Лепеня № 97 на Малой Морской ул. (теперь ул. Гоголя, д. 17) около начала июля 1833 г. и жил здесь до отъезда за границу в июне 1836 г.

[34] Стр. 60. Яким Нимченко состоял при Гоголе слугой и лакеем во время жизни его в Петербурге. После отъезда писателя Яким с женой Матреною и детьми был отправлен в Васильевку. В своем духовном завещании Гоголь велел отпустить его на волю, что и было сделано.

[35] Стр. 61. Возможно, это Николай Григорьевич Белоусов, профессор юридических паук в Нежинской гимназии высших наук, отстраненный от преподавания по обвинению в «вольнодумстве».

[36] Стр. 62. Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи» была привезена из Италии в Петербург в конце лета 1834 г. и выставлена в Академии художеств. Свое восторженное отношение к произведению Брюллова Гоголь выразил в одноименной статье, написанной под свежим впечатлением от картины (рукопись статьи датирована: «1834. Август»). Статья впервые опубликована в кн.: «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя», ч. 2. СПб., 1835, с. 143—158.

[37] Стр. 62. *Метафизический способ.* — Здесь в значении: исполненный высшего, потустороннего смысла. Настоящее суждение связано с общим пониманием Анненковым гоголевской эволюции: мемуарист считал, что в начальный период Гоголь был свободен от мессианства (см. об этом в преамбуле, с. 550).

[38] Стр. 62. Гоголь очень ценил яркость, живописность, страстность стихов Языкова: «Они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами» (письмо к А. С. Данилевскому от 30 марта 1832 г. — *Гоголь,* т. X, с. 227). Наиболее полную характеристику поэзии Языкова Гоголь дал в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», вошедшей в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

[39] Стр. 62. Анненков несколько преувеличивает. Например, пьесы Мольера были знакомы Гоголю еще по студенческим спектаклям в Нежинской гимназии высших наук (см.: *Гоголь,* т. X, с. 83). Известный интерес к немецкой литературе, и в частности к «великому Гетте», обнаруживает и первая его книга «Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах...» (СПб., 1829).

[40] Стр. 64. Коммерческое, «торговое» направление в литературе выразилось прежде всего в деятельности основанного в 1834 г. в Петербурге журнала «Библиотека для чтения», редактором которого был О. И. Сенковский (до 1836 г. совместно с Н. И. Гречем). Однако отношение Гоголя к этому направлению было двойственным. Выступая против снижения уровня литературы, он признавал необходимость в ней коммерческого начала: «Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличились. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые...» («О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» — *Гоголь,* т. VIII, с. 168—169).

[41] Стр. 64. Задуманная еще в Петербурге, до отъезда за границу в июне 1836 г., «Шинель» была закончена значительно позже — к началу 40-х годов. Опубликована впервые в кн. «Сочинения Николая Гоголя», т. III. СПб., 1842.

[42] Стр. 65. Драмы Н. В. Кукольника «хвалились» Сенковским

на страницах «Библиотеки для чтения». Так, в связи с драматической фантазией Кукольника «Торквато Тассо» критик писал: «...я так же громко восклицаю «великий Кукольник!» перед его видением Тасса и кончиною Лукреции, как восклицаю «великий Байрон!» перед многими местами творений Байрона» («Библиотека для чтения», 1834, т. I, отд. V, с. 37). Повести и романы Н. А. Полевого: «Симеон Кирдяна», «Живописец», «Аббаддонна» и другие — получили высокую оценку Белинского в «Телескопе» и в «Молве» (в частности, в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»). Существенным дополнением к настоящему месту воспоминаний является описание реакции Гоголя на упомянутую статью Белинского, содержавшую высокую оценку Полевого-прозаика. «Не понимаю, чем он <Белинский> восхищается в повестях Полевого» (см. наст. изд., с. 162). Следует подчеркнуть, что Анненков одним из первых по достоинству оценил глубину и значение деятельности Гоголя в качестве литературного критика. Гоголь, по мнению Анненкова, обладал «самым высоким эстетическим смыслом, какой редко встречается в людях» (П. Анненков. О значении художественных произведений для общества. — «Русский вестник». 1856, т. I, с. 731).

[43] Стр. 66. Подразумеваются статьи — «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», опубликованная в «Современнике», 1836, т. 1, без подписи (подпись Н. Гоголя в оглавлении была снята перед самым выходом журнала в свет и случайно сохранилась лишь в нескольких экземплярах), и «Петербургские записки 1836 года», опубликованные в том же журнале, 1837, т. VI, подпись ***. О состоянии русского театра и о задачах отечественной комедии говорится во второй из этих статей.

[44] Стр. 66. Подразумеваются «признания», сделанные в «Выбранных местах из переписки с друзьями», в предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» и во многих письмах. Гоголь говорил о «бесполезности всего», доселе им «напечатанного», признавался в своем недостаточном знании русской ЖИЗНИ (так, в первом томе поэмы «многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле...») и т. д. Однако резкая критика «Выбранных мест...» заставила Гоголя многое пересмотреть в своих взглядах: он отмечает непрерывность и последовательность своего развития, говорит о значении художественного, изобразительного момента в творчество и т. д.

[45] Стр. 66. Черновой набросок «1834» опубликован впервые П. А. Кулишом в «Записках о жизни Николая Васильевича Гоголя», т. I, с. 128—129. Курсив в цитате принадлежит Анненкову.

[46] Стр. 67. Речь идет о поездке Гоголя из Петербурга на родину через Москву в 1832 г. В Москве он был около 27 июня.

М. М. Стасюлевич, готовивший воспоминания к переизданию, усомнился в правильности сообщения о том, что Гоголь приписал себе другой чин: «В это время Гоголь был уже адъюнктом университета; да притом и как воспитанник лицея, он не мог быть коллежским регистратором. Тут что-то неладно, а выходит такая штука, что Гоголь на заставе, будучи коллежским регистратором, объявил себя коллежским асессором. Вот слово в слово у Вас: «Гоголь чрезвычайно хлопотал на заставе, чтобы попасть...» Анненков в тексте «Воспоминаний и критических очерков» заменил указанную Стасюлевичем фразу другой: «...на заставе устроил дело так»; но при этом оставил само упоминание факта. В письме к Стасюлевичу от 16 августа 1876 г. мемуарист разъяснял: «...Действительно такая штука вышла в натуре... Гоголь подчистил на подорожной предикат «регистратор» и заместил его другим: «асессор». Так он и был припечатан и явился в Москву... Адъюнктом университета он еще не был, а задумывался сделаться им, а что оп выпущен из Нежинского лицея, не имевшего всех прав Петербургского — регистратором, — это несомненно» (*Стасюлевич,* т. III, с. 327). Как верно указал Анненков, Гоголь окончил гимназию высших наук студентом 14-го класса, т. е. коллежским регистратором. Однако сообщение Анненкова о том, что Гоголь «был припечатан» в газете, не подтверждается: в «Московских ведомостях» за соответствующий период упоминания Гоголя в списке приехавших в Москву лиц отыскать не удалось.

47 Стр. 67. В «Авторской исповеди» Гоголь писал: «Как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил всё: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем, чтобы вдали и в уединеньи от всех обсудить, как это сделать...» (*Гоголь,* т. VIII, с. 441—442). Гоголь подразумевал работу над «Мертвыми душами». «Безымянной запиской» Анненков называет «Авторскую исповедь» потому, что Гоголь не озаглавил ее; название было дано редактором С. П. Шевыревым при первой публикации этого текста в 1855 г.

48 Стр. 68. В журнальном тексте было напечатано: «Симпатический отголосок в петербургской публике, почти безусловно покорявшейся журналу, выражавшему ее». Отвечая на вопрос Стасюлевича, что это за журнал, Анненков пояснял: «Симпатический Гоголю журнал был «Телескоп», где литературной критикой заведовал, как известно, Белинский» (*Стасюлевич,* т. III, с. 327). Пояснение Анненкова было учтено Стасюлевичем в «Воспоминаниях и критических очерках...» (с. 192). Поэтому нет оснований считать этот текст искажением и «путаницей», как это

сделано в примеч. к изд.: П. В. Анненков. Литературные воспоминания. <М.>, Гослитиздат, 1960, с. 560.

[49] Стр. 68. Говоря о выступлениях «петербургской журналистики» против «Миргорода» и «Арабесок», Анненков подразумевает рецензии, опубликованные в «Северной пчеле» (1835, № 115) и «Библиотеке для чтения» (1835, т. IX, отд. VI, с. 8—14). Наиболее глубокое и, как говорит Анненков, «энергическое слово» о Гоголе было сказано Белинским в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», опубликованной в «Телескопе», 1835, ч. XXVI, № 7 и 8.

[50] Стр. 68. Это описание было дано Гоголем в «Отрывке из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору» (опубликован впервые в «Москвитянине», 1841, ч. III, кн. VI, и в приложении к кн.: «Ревизор, комедия в пяти действиях, соч. Н. Гоголя», изд. 2-е. М., 1841). Гоголь говорил, что это письмо-отчет о премьере «Ревизора» написано было им «к Пушкину по его собственному желанию» (*Гоголь,* т. XI, с. 330).

[51] Стр. 69. Премьера «Ревизора» состоялась в Петербурге на сцене Александринского театра 19 апреля 1836 г. «Главное лицо комедии», т. е. Хлестакова, представлял Н. О. Дюр, придавший этой роли водевильный характер.

[52] Стр. 69. О первом представлении «Ревизора» и поднесении Прокоповичем экземпляра книги Гоголю Анненков рассказывает как очевидец. Когда М. М. Стасюлевич заметил мемуаристу: «Были Вы сами на *первом* представлении «Ревизора»? Это у Вас не ясно», — Анненков отвечал: «Вот подите! Мне казалось, что не может быть и сомнения в том, что только очевидец способен рассказать так подробно физиономию публики в вечер первого представления «Ревизора», а затем еще и ночной чай в квартире Прокоповича, но, однако ж, вышло не ясно. Уясните это как-нибудь» (*Стасюлевич,* т. III, с. 326, 328). Выполняя совет Анненкова, Стасюлевич изменил начальную фразу этого пассажа: вместо «свидетелю этого первого представления...», как было в журнальном тексте, «*Мне,* свидетелю этого первого представления...».

[53] Стр. 70. Гоголь узнал о гибели Пушкина в Париже в феврале 1837 г. Свое потрясение Гоголь выразил в ряде писем, в частности, в письме к П. А. Плетневу от 28/16 марта: «...Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним» (*Гоголь,* т. XI, с. 88).

[54] Стр. 71. Это письмо, отрывок из которого приведен здесь, адресовано Н. Я. Прокоповичу; однако через последнего Гоголь обращается и к другим своим петербургским товарищам, в част-

ности к Жюлю, т. е. к Анненкову. Курсив заключительных строк в цитате принадлежит мемуаристу. Как указывает Анненков, настоящий отрывок был опубликован им впервые («...следующий, *неизданный* отрывок...»). В более полном виде письмо было напечатано Н. В. Гербелем в статье «Николай Яковлевич Прокопович и отношения его к Гоголю» («Современник», 1858, т. LXVII, с. 278—279); полностью же — тем же Гербелем в «Библиографических записках», 1858, № 4, с. 115—123. (Факт первой публикации Анненковым отрывка из настоящего письма отмечен В. П. Дорофеевым в примеч. к кн.: П. В. Анненков. Литературные воспоминания, с. 561.)

[55] Стр. 71. Цитата из письма к М. П. Балабиной от 30 мая в. ст. 1839 г. из Рима (*Гоголь,* т. XI, с. 229).

[56] Стр. 71. Неточность: Гоголь возвратился в Рим уже осенью 1837 г.

[57] Стр. 74. В тексте «Мертвых душ», переписанном Анненковым, это слово встречается в VI главе, причем употреблена форма «штукатурка»: «штукатурную решетку» (соответствующая страница упомянутой выше рукописи, хранящейся в Государственной библиотеке УССР — 157). В предшествующих же черновых редакциях неоднократно встречается форма «щекатурка» (см.: *Гоголь,* т. VI, с. 305, 417, 503), что является доказательством правильности свидетельства мемуариста.

[58] Стр. 75. Анненков подразумевает издание: «Сочинения и письма Н. В. Гоголя», т. IV. СПб., 1857. Однако в действительности не пропущенная цензурой редакция «Повести о капитане Копейкине» впервые была опубликована лишь Н. С. Тихонравовым в «Сочинениях Н. В. Гоголя», т. III, изд. 10-е, М., 1889, с. 270—276 («Приложения к первому тому «Мертвых душ»). В современных изданиях эта редакция печатается в основном тексте поэмы.

[59] Стр. 77. Цитата из повести Гоголя «Рим» (*Гоголь,* т. III, с. 89).

[60] Стр. 77. Подразумеваются революционные события в Италии в 1848 г., свидетелем которых довелось стать и Гоголю. 18 января н. ст. 1848 г. он писал из Неаполя: «В городе неспокойно: что будет, бог весть». 22 января н. ст. из Мальты: «Мессина, Катания — всё восстало...» (*Гоголь,* т. XIV, с. 46).

[61] Стр. 79. Гоголь приступил к работе над вторым томом «Мертвых душ» в конце 1840 г. Чрезвычайно важное свидетельство Анненкова подтверждается рядом других документов. Так, в письме к М. П. Погодину от 28 декабря н. ст. 1840 г. Гоголь говорит уже не только об обдумывании, но определенно о *работе* над вторым томом, протекавшей параллельно с правкой первого тома: «Занимаюсь переправками, выправками и даже про-

должением Мертвых душ, вижу, что предмет становится глубже и глубже» (*Гоголь,* т. XI, с. 325).

[62] Стр. 80. Вилла кн. З. А. Волконской находилась на одной из живописнейших окраин Рима, у площади Латеранской базилики святого Иоанна (San Giovanni in Laterano). Одно время Гоголь жил на этой вилле. Здесь он ухаживал за умирающим И. М. Виельгорским (см. ниже).

[63] Стр. 80. Подразумевается упомянутая выше Латеранская базилика святого Иоанна. С балкона этой базилики папа ежегодно благословляет народ в день вознесения. Упоминаемые ниже торжества *Corpus Domini* — это праздник тела Христова.

[64] Стр. 81. Имеется в виду следующее место из повести «Рим»: «Он видел... как в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы, как... на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и арабески» (*Гоголь,* т. III, с. 244). Здесь же находится упоминаемое Анненковым ниже описание лавочки.

[65] Стр. 84. Речь идет об архитекторе М. А. Томаринском. Об обстоятельствах болезни и смерти Томаринского рассказано в кн.: «Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордан». М., 1918, с. 161.

[66] Стр. 86. Имеется в виду «История Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского (М., 1822; изд. 2-е — М., 1830). Уже после описываемых Анненковым событий в 1842 г. вышло 3-е издание.

[67] Стр. 86. Над драмой из украинской истории Гоголь работал со второй половины 1839 г. По словам Щепкина, писатель называл ее «драмой за выбритый ус» (<П. А. Кулиш.> Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, т. II, с. 330). Об обстоятельствах сожжения драмы — во Франкфурте, в сентябре 1841 г. — рассказывал Чижов со слов Жуковского. Гоголь решил прочитать Жуковскому драму, но тот во время чтения задремал. «Ну, брат, Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось». — «А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее», — отвечал он и тут же бросил в камин» («Гоголь в воспоминаниях современников», с. 228—229; соответствующее место в «Записках о жизни Николая Васильевича Гоголя» — см. т. II, с. 330).

[68] Стр. 87. Слова Гоголя находят соответствие в описании сада Плюшкина в VI главе «Мертвых душ». Ср., напр., такие детали этого описания: «перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья», «зеленые чащи, озаренные солнцем» и т. д.

[69] Стр. 88. См. описание «рыжего капуцина» в повести «Рим» — *Гоголь,* т. III, с. 237.

[70] Стр. 89. Кардинал Джузеппе Меццофанти был заведующим учебною частью конгрегации пропаганды — католической организации, руководившей миссионерскими делами. Меццофанти отличался выдающимися лингвистическими способностями и говорил более чем на 50 языках.

[71] Стр. 93. Граф И. М. Виельгорский умер в возрасте двадцати трех лет 21 мая н. ст. 1839 г. в Риме. Гоголь тяжело пережил его смерть, выразив свои чувства в своеобразной поэтической эпитафии «Ночи на вилле», впервые напечатанной в «Записках о жизни Николая Васильевича Гоголя», т. I, с. 227—230.

[72] Стр. 93. Екатерина Михайловна Хомякова, жена А. С. Хомякова и сестра умершего раньше поэта Языкова, скончалась 26 января 1852 г. в Москве. Гоголь был до того потрясен смертью Хомяковой, что не смог прийти на ее похороны.

[73] Стр. 95. Напутствие Гоголя Анненкову о «дороге» соответствует тому значению, которое приобрела символика «дороги», образ «дороги» в поэтическом сознании творца «Мертвых душ». Ср. напр., совет Муразова Чичикову: «Подумайте не о мертвых душах, а <о> своей живой душе, да и с богом на другую дорогу» (*Гоголь,* т. VII, с. 123).

[74] Стр. 95. В журнальном тексте и в «Воспоминаниях и критических очерках» ошибка: «В октябре 1842 года...» В начале октября 1841 г. Гоголь был уже в Петербурге, а в середине октября приехал в Москву.

[75] Стр. 95. Цитата из воспоминаний С. Т. Аксакова, включенных в «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя», т. I, с. 272.

[76] Стр. 96. Не совсем точная цитата из письма к С. Т. Аксакову от 5 марта ст. ст. 1841 г. из Рима (*Гоголь,* т. XI, с. 331).

[77] Стр. 97. Анненков цитирует с небольшими неточностями письмо к А. С. Данилевскому от 7 августа н. ст. 1841 г. из Рима (*Гоголь,* т. XI, с. 342, 343).

[78] Стр. 97. В действительности работа Гоголя над вторым томом «Мертвых душ» выглядит иначе. В 1845 г. он сжег первоначальную редакцию и заново приступил к написанию поэмы. К моменту издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» в 1847 г. эта работа далеко еще не была закончена.

[79] Стр. 98. «Грефенберговский способ лечения» — это водолечение на курорте Грефенберг—Фрейвальдау (в Австрийской Силезии), практиковавшееся врачом Винсентом Присcницем (Призницем). Гоголь лечился в Грефенберге дважды: в августе—сентябре 1845 и в июне 1846 года. В первый раз сеансы водолечения благотворно подействовали на него, но во второй не дали желаемого результата. Метод Присcница Гоголь обсуждает во мно-

гих письмах; какое из них имеет в виду Анненков — неизвестно. Возможно, речь идет, в частности, о письме к Н. М. Языкову от 18 июня н. ст. 1843 г., где содержится наиболее подробный рассказ о лечении в Грефенберге (*Гоголь,* т. XII, с. 192—194).

[80] Стр. 99. В письмах к А. О. Смирновой (урожденной Россет), жившей в Калуге (ее муж Николай Михайлович Смирнов в 1845 г. был назначен калужским губернатором), Гоголь давал многочисленные советы относительно благотворительной деятельности, административного управления и т. д. Эти письма были положены Гоголем в основу некоторых статей «Выбранных мест из переписки с друзьями» (напр., «Что такое губернаторша», «Женщина в свете»). Отношение Анненкова к Смирновой было резко отрицательным, о чем, в частности, свидетельствует отзыв о ней в письме к Стасюлевичу: «Это... злая светская бабенка, сделавшаяся ко времени Гоголя одной из матерей Восточной церкви и проповедницей аристократизма, долженствующего спасти нас от наплыва канальи в литературе, управлении и в свете» (*Стасюлевич,* т. III, с. 328).

[81] Стр. 99. К этому месту в журнальной публикации мемуаров было дано примечание: «Все отрывки из писем Гоголя к Н. Я. Прокоповичу, приводимые в нашей статье, не изданы. Полная переписка находится в руках его семейства и при будущих изданиях писем Николая Васильевича, вероятно, войдет в состав их. Она драгоценна по многим отношениям и особенно потому, что содержит в себе ключ к уразумению многих жизненных подробностей, не выговоренных Гоголем перед другими» («Библиотека для чтения», 1857, ноябрь, отд. II, с. 28). Вскоре появилась статья Н. В. Гербеля «Николай Яковлевич Прокопович и отношения его к Гоголю» («Современник», 1858, т. LXVIII, с. 267—290), основанная на упомянутой переписке.

[82] Стр. 99. В журнальном тексте и в «Воспоминаниях и критических очерках» ошибка: «в октябре 1842 года».

[83] Стр. 99. Гоголь передал рукопись «Мертвых душ» в Московский цензурный комитет 7 декабря 1841 г. Однако, ввиду неблагоприятных отзывов членов этого комитета и опасаясь формального запрещения, Гоголь забрал рукопись, чтобы переслать ее в Петербургский цензурный комитет. В столицу рукопись привез Белинский, передав ее В. Ф. Одоевскому. С помощью друзей Гоголя: того же Одоевского, А. О. Смирновой, П. А. Плетнева, М. Ю. Виельгорского — удалось добиться разрешения па печатание. 9 марта 1842 г. цензор А. В. Никитенко подписал рукопись, изменив заглавие (вместо «Мертвые души» — «Похождения Чичикова, или Мертвые души»), опустив «Повесть о капитане Копейкине» и сделав некоторые другие, менее существенные, ис-

правления. Чтобы спасти «повесть», Гоголь приготовил новую редакцию, которая и была разрешена Никитенко к печати.

[84] Стр. 99. Гоголь получил из Петербурга одобренную рукопись 5 апреля. Однако «Повесть о капитане Копейкине» была отослана в Петербург и подписана цензором позднее. Получив разрешенный текст, Гоголь (или кто-то из близких к нему лиц) вклеил его в рукопись «Мертвых душ» на место вырезанных страниц первоначальной редакции повести.

[85] Стр. 100. Анненков приводит с некоторыми неточностями и сокращениями письмо к Н. Я. Прокоповичу от 15 мая 1842 г. из Москвы (*Гоголь,* т. XII, с. 59—60). Многоточие и курсив принадлежат мемуаристу.

[86] Стр. 102. Приводится (не полностью) приписка из упомянутого выше письма к Прокоповичу от 15 мая 1842 г. Белинский выполнил просьбу Гоголя, поместив краткое извещение о выходе «Мертвых душ» («Отечественные записки», 1842, т. XXII, № 6; см.: *Белинский,* т. VI, с. 199).

[87] Стр. 102. Подразумевается письмо к С. С. Уварову, написанное между 24 февраля и 4 марта 1842 г. из Москвы (*Гоголь,* т. XII, с. 39—41). С. С. Уваров не благоволил к Гоголю, и последний, зная об этом, рассматривал обращение к нему как крайнюю меру, к которой он вынужден был прибегнуть ввиду проволочек с подписанием «Мертвых душ» к печати. Получивший это письмо Плетнев не передал его, однако, адресату, так как рукопись поэмы была к этому времени уже разрешена А. В. Никитенко.

[88] Стр. 102. Письмо к М. А. Дондукову-Корсакову, написанное между 24 февраля и 4 марта 1842 г. из Москвы (*Гоголь,* т. XII, с. 41—42), также не было передано адресату и осталось у Плетнева, так как надобность в этом письме отпала.

[83] Стр. 103. Приводится с некоторыми неточностями письмо к Н. Я. Прокоповичу из Москвы, предположительно датируемое 24 февраля 1842 г. (*Гоголь,* т. XII, с. 39).

[90] Стр. 104. См. упомянутое письмо к П. А. Плетневу: *Гоголь,* т. XII, с. 32—34. Однако мотивы действия Гоголя, отказывавшегося временно от издания первого тома, недостаточно ясны. Обдумывавший в этот период второй том поэмы, Гоголь видит недостатки первого тома: «...нужно многое облегчить, другое заставить выступить сильнее, третье углубить» (там же, с. 33). Вполне вероятно и то, что глубоко расстроенный из-за проволочек с опубликованием первого тома, Гоголь в сердцах и вполне искренне мог высказать мысль о временном отказе от издания. В то же время важно, что упомянутое письмо было отослано к Плетневу вместе с другим письмом от 17 февраля, когда до Гоголя

дошли обнадеживающие известия, что «рукопись пропускается». Но рукопись он еще не получил (в связи с чем им была сделана помета на первом письме: «старое письмо»). В этом случае отсылка «старого письма» могла быть рассчитана Гоголем и как своеобразное напоминание, чтобы друзья действовали энергичнее и быстрее.

[91] Стр. 104. Не совсем точная цитата из письма к Н. Я. Прокоповичу от 13 марта 1842 г. из Москвы (*Гоголь,* т. XII, с. 44).

[92] Стр. 105. Анненков пересказывает начало письма Гоголя к П. А. Плетневу от 17 марта 1842 г. из Москвы (*Гоголь,* т. XII, с. 45—46).

[93] Стр. 105. Свидание Гоголя с Белинским произошло в доме В. П. Боткина в Петроверигском переулке в начале января 1842 г. Факт этот не остался неизвестен московским друзьям Гоголя. «У нас возникло подозрение, — писал С. Т. Аксаков, — что Гоголь имел сношение с Белинским, который приезжал на короткое время в Москву, секретно от нас, потому что в это время мы все уже терпеть не могли Белинского...» («Гоголь в воспоминаниях современников», с. 139).

[94] Стр. 106. В мае 1836 г., будучи в Москве, Пушкин оставил для Белинского экземпляр «Современника». Пушкин просил своего друга П. В. Нащокина переслать журнал Белинскому «тихонько от Наблюдателей», т. е. от литераторов, группировавшихся вокруг «Московского наблюдателя». «...Вели сказать ему, — прибавлял Пушкин, — что очень жалею, что с ним не успел увидеться» (А. С. Пушкин, т. X, с. 583).

[95] Стр. 106. Речь идет о не опубликованном еще в то время письме Белинского к Гоголю от 20 апреля 1842 г. из Петербурга (напечатано В. Шенроком в «Русской старине», 1889, № 1, с. 143—145). Предположение Анненкова, что Белинский касался в этом письме «внутреннего значения «Мертвых душ» и будущего их продолжения», не подтвердилось. Белинский не слышал и не читал «Мертвых душ» до выхода их из печати, о чем, кстати, он упоминал и в данном письме: «Я не имею о них никакого понятия: мне не удалось слышать ни одного отрывка...» (*Белинский,* т. XII, с. 108).

[96] Стр. 107. Цитата из письма к Н. Я. Прокоповичу от 27/15 июля 1842 г. (*Гоголь,* т. XII, с. 85). Прокопович, хотя и с опозданием, выполнил просьбу Гоголя и в числе других материалов переслал ему «листки критики» Белинского.

[97] Стр. 107. Русская колония в Париже была уже отчасти знакома с «Мертвыми душами». Еще 24 октября 1837 г. Гоголь читал в Париже начальные главы поэмы А. И. Тургеневу, кото-

рый под свежим впечатлением от услышанного записал: «Верная, живая картина России, нашего чиновного, дворянского быта, нашей госуд<арственной> и частной, помещичьей нравственности... Характеры, язык, вся жизнь помещиков, чиновников: все тут; и смешно и больно!» (М. Гиллельсон. Н. В. Гоголь в дневниках А. И. Тургенева. — «Русская литература», 1963, № 2, с. 138). Все это объясняет то воодушевление, с которым воспринял А. И. Тургенев весть о выходе книги из печати. Анненков, находившийся в это время в Париже (X письмо из его цикла «Письма из-за границы» датировано: Париж, 18 мая 1842 года), описывает происходившие события как очевидец.

[98] Стр. 107. Гоголь выехал из Петербурга за границу 5 июня 1842 г.

[99] Стр. 109. Эта просьба, так же как и приведенные ниже уточнения к «Женитьбе», содержится в письме Гоголя к Н. Я. Прокоповичу от 26/14 ноября 1842 г. из Рима (*Гоголь,* т. XII, с. 119).

[100] Стр. 109. Подробное описание «немой сцены» дано Гоголем в письме к Н. Я. Прокоповичу от 27/15 июля 1842 г. из Гастейна (*Гоголь,* т. XII, с. 85—86).

[101] Стр. 110. Мнение Анненкова о том, что вторая часть «Мертвых душ» в первоначальной редакции была уже готова около 1842 г., не подтверждается другими свидетельствами (см. ниже, примеч. 104).

[102] Стр. 110. Речь идет о письме к Н. Н. Шереметевой от 5 января 1843 г./24 декабря 1842 г. из Рима (*Гоголь,* т. XII, с. 133).

[103] Стр. 111. См. это письмо: *Гоголь,* т. XII, с. 187. Во втором случае курсив принадлежит Анненкову.

[104] Стр. 112. Мнение Анненкова о первом уничтожении рукописи второго тома в 1843 г., получившее хождение в научной литературе (его разделял, в частности, Н. С. Тихонравов), ничем не подтверждается. Приводимые ниже строки из письма к Жуковскому — «Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ» — Анненков истолковал как начало новой работы, последовавшей после уничтожения. Однако слово «хаос» в гоголевской концепции творческого процесса имело другой смысл. «Сначала нужно набросать *все* как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно *все*». Затем наступает обработка и кристаллизация материала: «Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога» («Гоголь в воспоминаниях современников», с. 506). Таким образом, говоря о «хаосе», Гоголь скорее всего подразумевал первоначальное состояние рукописи, а также

то, что работа вступает теперь в новую стадию. Следует еще иметь в виду, что после совместного пребывания в Риме в 1841 г. Анненков не встречался с Гоголем около пяти лет и его соображения о якобы имевшем место уничтожении рукописи в 1843 г. не основывались на личных наблюдениях.

[105] Стр. 112. Письмо цитируется с небольшими неточностями (см.: *Гоголь,* т. XII, с. 239). Курсив Анненкова.

[106] Стр. 113. Речь идет о книге Фомы Кемпийского «Подражание Христу», неоднократно выходившей в русском переводе (изд. 1-е: «О подражании Иисусу Христу, четыре книги Фомы Кемпийского», пер. с лат. М. М. Сперанского. М., 1829). Гоголь решил подарить эту книгу к новому, 1844 г. С. Т. Аксакову, М. П. Погодину, С. П. Шевыреву и Н. М. Языкову в качестве «средства» против «душевных беспокойств». При этом Гоголь не посылал книг из Ниццы, где он находился, а поручил Шевыреву купить эти книги в Москве, во французской лавке, и передать адресатам вместе с соответствующими письмами Гоголя, в которых «заключается рецепт употребления самого средства».

[107] Стр. 113. Анненков имеет в виду письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 22 декабря 1844 г. из Франкфурта, опубликованное в кн.: «Сочинения и письма Н. В. Гоголя. Издание П. А. Кулиша», т. VI. СПб., 1857, с. 136 (см. также: *Гоголь,* т. XII, с. 404).

[108] Стр. 113. Подразумеваются следующие слова Гоголя из его письма к А. О. Смирновой от 25 июля н. ст. 1845 г. из Карлсбада: «Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно «Мертвых душ» (*Гоголь,* т. XII, с. 504). Анненков ссылается на издание: «Сочинения и письма Н. В. Гоголя. Издание П. А. Кулиша». СПб., т. VI, 1857, с. 204 (адресат письма Смирнова здесь не назван. Письмо обозначено: к N. F.).

[109] Стр. 114. Обнаруженные после смерти Гоголя черновые главы второго тома были опубликованы в кн.: «Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. В. Гоголя. Том второй (5 глав). М., В университетской типографии. 1855». Анненков был в числе тех, кто прочитал эти главы еще до опубликования. Первоначальное впечатление его было очень сильным. В феврале 1853 г. он даже писал И. С. Тургеневу, что «первая часть «Мертвых душ» кажется перед ним (новым текстом. — *Ю. М.*) незрелым произведением... Вот что сделала сосредоточенная мысль художника. Как природа, так и характеры уже не описываются, а выставляются весьма скудными чертами, но жизненными в такой степени, что глаза прожигают...» (*Тургенев. Письма,* т. 2,

с. 476). Анненков считал, что второй том поэмы — это «колокол Ивана Великого, заглушающий все наши почтовые колокольчики» («Вопросы литературы», 1957, № 2, с. 181. Публикация Л. Назаровой). Однако к 1857 г., ко времени написания настоящих воспоминаний, отношение Анненкова ко второму тому стало более критичным, что сказалось, например, в изменившейся оценке образа Костанжогло.

[110] Стр. 114. Ср. более раннее высказывание Анненкова. В его письме к И. С. Тургеневу от 14(26) октября 1853 г. говорилось: «Литературная критика раздвоилась по поводу г. Костанжогло. Одни говорят: это подлейший плантатор, которому автор сообщил идеализацию еще подлейшую по намерению. Другие (и я в том числе) говорят: это тип разумного эксплуататора, который любит свое ремесло и знает, что для богатства собственного надобно, чтобы и все окружающие были богаты, — и что в нем нет нисколько пошлой идеализации, а только есть необходимая художественность» (Л. Назарова. Тургенев о Гоголе. — «Русская литература», 1959, № 3, с. 157). В своих же воспоминаниях Анненков придерживается другой точки зрения, а именно той, что в создании Костанжогло выразилось «участие призрака», т. е. идеализация.

[111] Стр. 114. Речь идет о заключительных страницах пятой главы, которой, по-видимому, завершался второй том «Мертвых душ». Эти страницы содержали речь генерал-губернатора, откровенно и беспощадно обличавшего царящие в России взяточничество, произвол и коррупцию. Незадолго до Анненкова это место высоко оценил Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы»: «...дивное окончание отрывка — речь генерал-губернатора, ничего подобного которой мы не читали еще на русском языке, даже у Гоголя» («Современник», 1855, № 12, отд. III, с. 30. См. также: *Чернышевский,* т. III, с. 13).

[112] Стр. 115. Подразумевается новая публикация «Выбранных мест из переписки с друзьями» в кн.: «Сочинения Гоголя», т. V, М., 1856, с. 1—306. Как и первое издание (1847), настоящее издание вышло с цензурными купюрами и искажениями. Полный текст «Выбранных мест...» удалось издать лишь через пятнадцать лет после смерти Гоголя: «Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора», т. 3. М., 1867. Но и это издание не было свободно от искажений; последние были исправлены лишь в советское время, в академическом издании сочинений Гоголя (см.: *Гоголь,* т. VIII).

[113] Стр. 115. Оба письма относятся не к 1843, а к 1844 г. Первое письмо — от 10 февраля н. ст. из Ниццы; второе — от 10 мая н. ст. из Франкфурта (*Гоголь,* т. XII, с. 254—256, 297—299).

[114] Стр. 116. Речь идет, по-видимому, о книге проповедей митрополита московского Филарета (В. М. Дроздова) «Слова и речи синодального члена Филарета, митрополита московского (М., 1844). 23 марта н. ст. 1846 г. Гоголь писал об этой книге С. Т. Аксакову из Рима (*Гоголь,* т. XIII, с. 46).

[115] Стр. 117. Гёц фон Берлихинген — немецкий рыцарь, участвовавший в Крестьянской войне 1524—1526 гг., герой трагедии Гете «Гёц фон Берлихинген с железною рукою».

[116] Стр. 120. В журнальной редакции далее следовали слова, опущенные в издании «Воспоминаний и критических очерков...»: «На первых порах Гоголь силится оживить все старые свои убеждения и примирить их с новым воззрением: он поясняет, оправдывает, изменяет смысл новой теории, возбудившей такой ропот, чтобы спасти от нее что-либо. Попытка напрасная! Корень созерцания, добытого с таким трудом, могущественно врос в его сердце и никаких прививок к себе не допускает. Обязанный уступить требованиям современной жизни и неизбежным условиям творчества, Гоголь страдает и изнемогает под этим игом. Создание делается нравственной мукой. Жизнь его неожиданно разошлась двумя струями, двумя течениями, и чем более старается он прорыть им одно общее ложе, тем сильнее расходятся они в разные стороны. Измученный и подавленный неблагодарным трудом, он в третий, последний раз уничтожает рукопись «Мертвых душ», но уже вполне и навсегда, и нисходит сам в могилу» («Библиотека для чтения», 1857, т. 146, ноябрь, отд. II, с. 49—50). Гоголь сжег первоначальную редакцию второго тома «Мертвых душ» летом 1845 г., а новую редакцию — в ночь с 11 на 12 февраля 1852 г., за 10 дней до смерти. Утверждение Анненкова о сожжении рукописи поэмы в 1843 г. не подтверждается (см. выше, примеч. 104).

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 1838—1848

Впервые — «Вестник Европы», 1880, № 1, с. 216—243; № 2, с. 461—510; № 3, с. 5—53; № 4, с. 457—506; № 5, с. 5—67.

Вторая публикация — *Воспоминания и критические очерки,* с. 1—224. В последующем, уже после смерти Анненкова, «Замечательное десятилетие» печаталось, как правило, по этому тексту. В него, по сравнению с журнальным, был внесен ряд изменений.

Они были вызваны и необходимостью фактических уточнений, и потребностью стилистических усовершенствований, и, наконец, протестами затронутых записками Анненкова лиц. Так, Ф. М. Достоевский возражал против утверждения, что он якобы в свое время требовал особой каймы при печатании «Бедных людей» в «Петербургском сборнике» (см. примеч. 219), и Анненков снял фразу: «Роман и был действительно обведен почетной каймой в альманахе».

В главе XXXIII, характеризуя взгляд Н. П. Огарева на нравственность, Анненков заменил фразу о «демократических умах», искавших будто бы «установить равенство даже и по отношению органических и психических отличий человека», на менее категоричную: «установить общие правила и начала даже и для...» и т. д.

Введено было несколько новых авторских примечаний к тексту. Например, к фразе из главы XXVIII об «известном романе Г<ерцена>» Анненковым дается пояснение: «Кто виноват?». В примечаниях к главе III в журнальном тексте о М. А. Бакунине было: «умерший несколько лет назад», в книжном стало: «умерший во время составления этих записок».

Внесен был и ряд изменений фактографического характера. Так, в главе XII было сказано о книге Д.-Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса»: «Германия произвела в самое это время книгу...» В книжном издании: «Германия произвела несколько ранее книгу...» и т. д. Большинство подобных перемен сохраняли прежний смысл фраз, совершенствуя их форму.

Работа над «Замечательным десятилетием» была длительной. Анненков очень рано начал собирать материал для будущих своих воспоминаний. Став свидетелем чего-либо с его точки зрения примечательного он делал для себя записи, чтобы впоследствии с их помощью воссоздать происходившее. Описывая спор в Соколове летом 1845 года, Анненков признается: «Заметки и цитаты, тогда же брошенные мною на бумагу для памяти, много помогли восстановлению всей этой сцены».

Обстоятельства не раз заставляли Анненкова прибегать к сделанным заметкам, что, несомненно, содействовало выработке определенной концепции былого, помогало видеть нити, тянущиеся от прошлого к настоящему и будущему.

Н. Г. Чернышевский, работая в 50-х годах над «Очерками гоголевского периода русской литературы», обращался за справками к Анненкову и был благодарен ему за содержательность и точность предоставляемых ему мемуаристом материалов. В примечаниях к шестой статье «Очерков» Чернышевский выражал надежду, что «интересные воспоминания г. А—а со временем

сделаются известны» читателям (*Чернышевский,* т. III, с. 210). Основываясь на этих словах, современный исследователь А. И. Володин делает небезосновательное предположение, что, возможно, к середине 50-х годов Анненков в значительной мере уже продвинул свою работу над записками, позднее опубликованными под названием «Замечательное десятилетие» (см.: А. Володин. Об одном возможном источнике «Очерков гоголевского периода русской литературы». — «Вопросы литературы», 1978, № 7, с. 71—73).

Во всяком случае, действительно 1 июня 1856 года Анненков просил И. С. Тургенева прислать ему «кипу Чернышевского». «Кипа эта мне нужна, — писал Анненков, — да и не даром же заставлять работать Чернышевского» (*Труды ГБЛ,* с. 58). Возможно, это были материалы, которые позже вошли в «Замечательное десятилетие».

В 1869 году Анненкову довелось вести корректуру воспоминаний о Белинском самого Тургенева. Несомненно, Анненков сравнивал свои и тургеневские впечатления.

Через год, в 1870-м, некоторые главы «Замечательного десятилетия», по всей вероятности, уже почти готовы. В главе XXV находится мимоходом брошенное признание: «Лето 1845 года оставило во мне такие живые воспоминания, что я и теперь (1870 год), по прошествии с лишком 25-ти лет, как будто вижу перед собой каждого из тогдашних лиц московского кружка и как будто слышу каждое их слово».

Очевидно, не могли не быть импульсом к написанию собственных воспоминаний и выходящие в свет записки друзей и знакомых прошлых лет. Среди них особенно А. И. Герцена и И. И. Панаева. Речь идет, конечно, не о сопоставлении художественных достоинств воспоминаний Панаева и «Былого и дум», в этом качестве они несравнимы, но лишь о естественном совпадении многих лиц и событий.

Герцен, впервые во весь рост изобразивший Белинского как властителя дум своего поколения, оказал огромное влияние на русскую мемуаристику. Анненков не был исключением. В «Замечательном десятилетии» легко найти даже текстуальные совпадения с «Былым и думами», хотя это не исключает, разумеется, принципиальной разницы идейных позиций Анненкова и Герцена. Однако именно в оценке роли Белинского и его места в истории русской общественной и литературно-критической мысли они максимально сближаются.

Обращение к колоссальной фигуре Белинского послужило и непосредственным толчком к последовательной работе Анненкова над мемуарным очерком. В 1874 году А. Н. Пыпин в «Вестнике Европы» начинает печатать свой труд «Белинский. Его жизнь

и переписка». Пыпин постоянно советовался с Анненковым (см.: *ЛН,* т. 57, с. 304—309, и т. 67, с. 539—554). Анненков при этом не только делился тем, что знал сам, но и узнавал немало нового, по-иному осмыслял ужо известное ему. «Все эти откровения, — писал он Стасюлевичу, — приводят в порядок собственную нашу мысль» (*Стасюлевич,* т. III, с. 311).

Весной 1876 года работа уже в самом разгаре. 13/25 марта Анненков извещает Стасюлевича: «По совету Пыпина я стал писать воспоминания о Белинском и о людях 40-х годов вообще, которые мне так были хорошо знакомы. Написал я уже много, ибо материя, к ужасу моему, имеет свойство разрастаться до чудовищности, но все мне кажется, что я пустяками и мелочами, никому не нужными, занимаюсь» (*Стасюлевич,* т. III, с. 321—322).

Через несколько месяцев после письма к Стасюлевичу Анненков делится сомнениями уже с самим Пыпиным. 17/29 июня он пишет ему: «Под впечатлением Ваших слов, слышанных мною в Петербурге — я вздумал на досуге рассказать, что видел в промежуток 1838—1848 годов на литературной арене. Беда состоит в том, что самые важные пункты этой истории исчерпаны Вами... Мне оставалось говорить о закулисной жизни той эпохи, их минутных настроениях, даже и не помеченных в литературе ничем (отчего — настроения — и могут показаться странными и невероятными), об их тогда очень горячих пререканиях, которые теперь остыли и могут иметь вид будничных пустяков, так нелюбопытных для настоящего времени, занятого своими собственными пустяками.

К тому же прилив старых и дорогих воспоминаний кинулся мне в голову и сообщил некоторую восторженность и запальчивость самой речи, точно она ведется о чем-то важном, а не о мелочах и подробностях, ни к чему но пригодных в настоящую минуту» (*ГПБ,* ф. 621, ед. хр. 26).

Сомнения в доброжелательном приеме воспоминаний о 40-х годах, которые, как видно из писем, тревожили Анненкова, были в значительной мере правомерны. В 60-е и 70-е годы духовное наследие, оставленное «замечательным десятилетием», не раз подвергалось переоценке. Нередко оспаривалось мнение о плодотворности деятельности крупнейших представителей эпохи 40-х годов.

«Замечательное десятилетие», казалось бы, спокойное по своему тону, было, таким образом, полемическим произведением по существу.

Отстаивая значительность выбранной им для записок темы и ее право на публичное внимание, Анненков писал: «Ни деятельность Гоголя, пи деятельность самого Белинского, а также

и людей сороковых годов вообще из обоих лагерей наших не остались без следа и влияния на ближайшее потомство, да найдут, по всем вероятиям, еще не один отголосок и в более отдаленных от нас поколениях. Это убеждение только и могло вызвать составление настоящих «Воспоминаний».

Записки потребовали от Анненкова и определенного гражданского мужества. Если имя Белинского с середины 50-х годов было снова разрешено упоминать в печати, вышло собрание его сочинений, подготовленное одним из тех, о ком пишет Анненков в «Замечательном десятилетии», — Н. Х. Кетчером, то имена Герцена и Бакунина оставались, как не без иронии напоминает Анненков своему издателю в письме от 1 января 1880 года, «именами, подлежащими анафеме...» (*Стасюлевич,* т. III, с. 376).

В этом же письме Анненков договаривается со Стасюлевичем, что во всех необходимых случаях из фамилии будут даваться в тексте лишь первая и последняя буквы. К счастью, русский читатель того времени легко прочитывал между строк, а не только умел расшифровывать прозрачные в большинстве случаев сокращения *.

Издатель Пушкина, автор блестящей историко-биографической книги о Н. В. Станкевиче, Анненков и над своими мемуарными очерками работал прежде всего как исследователь. Всю свою сознательную жизнь он собирал рукописи выдающихся людей. «После него, — писал один из издателей Анненкова, Л. Н. Майков, — остался значительный домашний архив, в котором хранятся богатые материалы для истории нашего литературного движения за последние полвека» (*Анненков и его друзья,* с. V). Свой «биографический этюд» «Идеалисты тридцатых годов», например, он писал «на основании приобретенных им писем А. И. Герцена и Н. П. Огарева... и собственных воспоминаний...» (там же, с. VI).

Таким же был и метод работы над «Замечательным десятилетием». Анненков проверял факты документами, читал отрывки друзьям и знакомым, пользуясь их памятью и сведениями. Объясняя свои цели и задачи, он писал Н. А. Тучковой-Огаревой, что главное для него как для мемуариста — «восстановить симпатичные образы своих друзей... по возможности переработать и изменить взгляды и суждения... о прошлом и случившемся... поднять у всех уровень понятий и способность понимания жизненных драм и коллизий» («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», М.—Л., 1930, с. 176).

---

* В последующих изданиях фамилии, как правило, раскрывались в угловых скобках — так сделано и в наст. изд.

Анненков постоянно боялся возможных ошибок и неточностей. 12 октября 1877 года он с тревогой сообщает Стасюлевичу: «Я нынче захватил... всю мою довольно обширную переписку с людьми 40-х годов, не только со своими, но и с чужими и теперь, перечитывая ее на досуге, просто ужаснулся, сколько в «Записках» не договорено, не освещено достаточно, упущено и, даже переврано» (*Стасюлевич,* т. III, с. 350).

Среди пропусков, объясняемых дефектами памяти, были, как они есть у всех мемуаристов, и пропуски сознательные, когда автор мемуаров но говорит о том или ином лице из соображений идейных, творческих или цензурных. Иногда пропуск объясняется чувством такта, нежеланием касаться судеб еще живущих людей.

Все вышеназванные причины сказались и на «Замечательном десятилетии». Далеко не полностью реализованы здесь запасы памяти Анненкова, представлен не весь круг его знакомств. Например, чрезвычайно мало (только беглые упоминания) о Н. А. Некрасове. В связи с этим Анненков писал Стасюлевичу 8/20 февраля 1878 года: «Ничего не сказано о Некрасове, а между тем в 1843 году я видел, как принялся за него Белинский, раскрывая ему сущность его собственной натуры и ее силы, и как покорно слушал его поэт, говоривший: «Белинский производит меня из литературной бродяги в дворяне» (*Стасюлевич,* т. III, с. 352).

Однако, сокрушаясь о возможных фактических ошибках и вынужденных пропусках, Анненков временами ощущал себя не только летописцем определенной эпохи и ее исследователем, чья задача — рассказ о времени, наиболее точный по фактам. В самоощущении Анненкова-мемуариста присутствовало и представление о себе, авторе записок, как о художнике, чьей целью должна быть не только передача *фактов* эпохи, но и ее *духа,* ее тайных пружин. После прочтения воспоминаний родственницы Герцена Т. П. Пассек он писал 4/16 декабря 1882 года о тех важнейших особенностях, которые он сам находит в своих мемуарных очерках, в том числе и в «Замечательном десятилетии»: «Дело у меня не в математической точности цифр при перечислении факторов, а в некоторых разоблачениях и передаче психических процессов, двигавших наших старых писателей и сделавших из них то, чем они сделались» (*Стасюлевич,* т. III, с. 410).

Реализации подобного намерения способствовали и особенности времени, о котором рассказывал мемуарист, и некоторые черты его собственной личности. Говоря об эпохе 40-х годов в России, Анненков, точный и чуткий наблюдатель, указывает на одну из наиболее отличительных ее черт — нерасторжимость

идеи и личного чувства, а отсюда, замечает мемуарист, «учение и взгляды порождали внутренние, интимные драмы».

«Замечательному десятилетию» свойственна органичность сочетания рассказа об идейной борьбе, ее перипетиях и о личных судьбах участников этой борьбы, для которых судьба идеи оказывалась и их собственной судьбой. Возможно, как раз потому, что сам Анненков принадлежал к людям совсем другого склада, он особенно остро подмечал малейшие «вибрации и содрогания» чужого сердца. Это не значит, что в мемуарных очерках Анненкова мы найдем психологические откровения. Речь идет о другом: Анненков как никто улавливал внешние и внутренние признаки происходящих перемен, умел их замечать и фиксировать. Принадлежа к людям, обладавшим спокойным сердцем и трезвым умом, он умел не только смотреть, но и видеть. И как бы ни оспаривалась характеристика «турист-эстетик», данная Анненкову и его воспоминаниям П. Л. Лавровым, в пей содержится немалая доля истины. В «Замечательном десятилетии» нет страстной любви и страстного же гнева автора «Былого и дум». Анненков анализирует, объясняет и старается быть объективным. О его воспоминаниях нельзя сказать то, что сказал Тургенев о воспоминаниях Герцена: «Все это написано слезами, кровью: это горит и жжет» (*Тургенев. Письма,* т. XI, с. 205).

Ценность мемуарных очерков Анненкова в богатстве фактов, в их умной обработке, в проницательности и наблюдательности мемуариста. Все эти качества сказались уже в самом построении «Замечательного десятилетия». Имея весьма умеренные политические взгляды, надеясь более всего на постепенное развитие и укоренение в обществе либеральных идей, Анненков тем не менее строит рассказ о 40-х годах вокруг одной личности. И эта личность — Белинский. Он у мемуариста действительно (как и у Герцена) «является... человеком власти и могущества, подчиняющим себе». Анненков навсегда сохранил о Белинском благоговейную память.

Правда, Анненков последовательно приглушал революционность Белинского, сводя его деятельность к проблемам и исканиям нравственным, но факты, которые он так тщательно приводит, выступают в данном случае против концепции самого мемуариста. Свидетель того, как создавалось Белинским его знаменитое письмо к Гоголю, Анненков передает пафос борьбы, которой горел Белинский до последних дней своей жизни.

Исключительно важные, уникальные сведения дает мемуарный очерк Анненкова и о спорах славянофилов с западниками. Мемуарист справедливо видит в этих спорах важнейшую идеологическую веху в развитии русской общественной мысли. «Шум пер-

вых их сшибок, — пишет Анненков, — и составил содержание всей эпохи нашего развития, которая обозначается общим именем — эпохи сороковых годов».

Сам он, — не всегда, правда, явно, — умел оставаться как бы в стороне, когда эти споры шли. Он дорожил душевным равновесием и умел его беречь. Недаром его приятель В. П. Боткин писал ему: «Друг мой, я у вас выучился жить и наслаждаться минутою; вы вдохнули в меня ясный взгляд на солнце и жизнь...» (*Анненков и его друзья,* с. 536).

И тем не менее Анненков — автор «Замечательного десятилетия», занял определенную позицию, став историком Белинского, Герцена, Огарева и рассказав о них так, что его мемуарный очерк всегда будет ценнейшим источником для всех, кто обращается к исканиям и борьбе этого времени.

[1] Стр. 121. Анненков уехал за границу вместе с М. Н. Катковым 19 октября 1840 г. В письмах Белинский впервые упоминает об Анненкове как о своем знакомом летом 1840 г. «Доставитель этого письма, г. Анненков, — писал Белинский 13 июня В. П. Боткину, — мой добрый приятель, хоть я виделся с ним счетом не больше десяти раз... ты увидишь, что это бесценный человек, и полюбишь его искренно. От него ты услышишь многое обо мне интересное, о чем не хочу писать... Анненков тебе сообщит и о моих новых знакомствах, особенно о Комарове. Я вошел в их кружок и каждую субботу бываю на их сходках» (*Белинский,* т. XI, с. 530).

[2] Стр. 121. Белинский переехал из Москвы в Петербург по приглашению А. А. Краевского в конце октября 1839 г.

[3] Стр. 121. И. И. Панаев на протяжении всего последнего десятилетия жизни Белинского принадлежал к числу его ближайших друзей. Белинский писал о нем: «...это один из тех людей, которых, узнавши раз, не захочешь никогда расстаться...» (*Белинский,* т. XI, с. 399). Несмотря на видимое легкомыслие Панаева и его крайнее добродушие, Панаев был последователен и тверд в своей приверженности Белинскому и «натуральной школе». Его собственные произведения — заметное явление в литературной жизни России 40-х годов, а «Литературные воспоминания» Панаева, богатые фактическим материалом и написанные за несколько лет до воспоминаний самого Анненкова, несомненно, послужили одним из источников «Замечательного десятилетия».

[4] Стр. 121. В литературе о Белинском его деятельность обычно делится на три периода: середина 30-х годов, конец 30-х и 40-е годы. Первым такую периодизацию наметил сам Белинский (см. его письмо к В. П. Боткину от 12 августа 1840 г.). Анненков, таким образом, познакомился с Белинским в его «второй период».

После кончины Белинского и до середины 50-х годов XIX века имя Белинского запрещалось упоминать в печати. Не только подробности его деятельности, но и место его захоронения оказались забытыми. Однако при первых признаках ослабления цензурного гнета в печать начинает проникать все больше сведений о жизни критика и его деятельности, появляются работы, осмысляющие его вклад в развитие русской общественной и литературно-критической мысли. Среди них такие значимые труды, как «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского, фундаментальная работа А. Н. Пыпина и др. Они вызвали широкий общественный резонанс. Поэтому Анненков и предполагает, что важнейшие этапы жизни критика должны быть известны читателю его воспоминаний.

[5] Стр. 121. *«Молва»* (Москва, 1831—1836) — газета, приложение к журналу «Телескоп», издаваемому Н. И. Надеждиным.

«Литературные мечтания» — не первое выступление Белинского в печати. Еще в 1831 г. было опубликовано его стихотворение «Русская быль» и рецензия на анонимную брошюру «О «Борисе Годунове», сочинение Александра Пушкина. Разговор». Однако только с «Литературных мечтаний» начинается слава Белинского-критика.

[6] Стр. 121. Влияние немецкой философии, ощущавшееся в первых критических статьях Белинского, вызвало обвинение со стороны Ф. В. Булгарина в отсутствии у Белинского патриотизма и знания отечественной культуры («Северная пчела», 1835, № 251, 252). Отвечая Булгарину, Надеждин писал: «...*Безбородые Шеллинги,* возмущающие настоящее спокойствие литературы тревожными сомнениями, не так ничтожны на самом деле, как их думают представить... на их действиях нет ни тени корыстного расчета, ни тени злонамеренного предубеждения; и, что всего важнее, в них не только не видно *ренегатов,* отпирающихся от своего отечества, но, напротив, ярко светит самый благороднейший патриотизм, горит самая чистейшая любовь к славе и благу истинно русского просвещения, истинно русской литературы» (Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., 1972, с. 395).

[7] Стр. 121. Вероятно, М. Т. Каченовского, стоявшего в оппозиции к новым литературным течениям в 20-е годы, привлек отзыв о нем Белинского в «Литературных мечтаниях»: «Г-н Ка--новский, который восстановил против себя *пушкинское* поколение и сделался предметом самых жесточайших его преследований и нападков как литературный деятель и судия, в следующем поколении нашел себе ревностных последователей и защитников

как ученый, как исследователь отечественной истории» (*Белинский,* т. I, с. 88). Не могла не импонировать Каченовскому-ученому и яростному полемисту и критическая смелость Белинского.

[8] Стр. 121. Формально Белинский был исключен за то, что он, проболев несколько месяцев зимой и весной 1832 г., не мог сдать очередные экзамены и обратился с просьбой разрешить ему перенести их на осень. В связи с этим помощник попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастов писал ректору университета И. А. Двигубскому 27 сентября 1832 г.: «Не имея надежды, чтобы Сомов и Белинский: первый по совершенно расстроенному здоровью, а второй — тоже по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей, могли образоваться полезными чиновниками по учебной службе, долгом почитаю... просить об увольнении их из университета» (*ЛН,* т. 56, с. 401). Идейные враги Белинского впоследствии не раз использовали факт исключения его из университета как предлог для насмешек над критиком, хотя уже его однокурсники понимали, что причиной исключения Белинского была его политическая «неблагонадежность» в глазах университетского начальства. «История Белинского, — писал один из его товарищей по университету, — сильно взволновала студентов, и долго толковали о ней товарищи; на втором курсе мы с изумлением услыхали, что он исключен из университета за неспособностью; конечно, никто из нас не подозревал в нем знаменитого критика, каким он явился впоследствии, но все же мы почитали его одним из самых умных и даровитых студентов и в исключении его видели вопиющую несправедливость» (Г. Г<оловачев>. Университетские воспоминания. — «День», 1863, 19 октября, № 42, с. 7). См. также: М. Я. Поляков. Белинский в Москве. М., 1948.

[9] Стр. 121. *Сатурналии* — праздники в честь бога посева Сатурна в Древнем Риме. На время праздников допускалась несравненно большая, чем в обычное время, свобода поведения. Впоследствии «сатурналии» и стали обозначать нравственную разнузданность, пренебрежение моральными запретами.

[10] Стр. 122. Журнал «Библиотека для чтения» был основан в 1834 г. на средства А. Ф. Смирдина. До 1856 г. редактором оставался О. И. Сенковский (в 1834—1836 гг. журнал редактировался им совместно с Н. И. Гречем). В «Литературных мечтаниях», сразу после выхода первых номеров «Библиотеки для чтения», Белинский отметил, что журнал «смеется и издевается над всем и гонит особенно просвещение» (*Белинский,* т. I, с. 100). В этом же видел Белинский причину успеха «Библиотеки для чтения» у «среднего» читателя того времени. «Чем взял Сенковский? — писал Белинский в 1840 г. — Основною мыслию своей деятельно-

сти, что учиться не надо и что на все в мире надо смотреть шутя» (*Белинский,* т. XI, с. 453). В целом деятельность Сенковского была сложна и противоречива. См.: В. А. Каверин. Барон Брамбеус. М., 1966.

[11] Стр. 122. И. И. Панаев вспоминал: «Однажды мы шли с Белинским по Невскому проспекту. Вдруг кто-то дернул меня сзади за пальто.

Я обернулся. Передо мною стоял редактор известной газеты, автор различных нравоописательных статеек и романов, доканчивавший свое литературное поприще площадными выходками против всего живого, талантливого и нового...

— Извините, почтеннейший, извините, — пробормотал он мне: — это я вас дернул... Скажите, пожалуйста, кто это с вами идет?

— Белинский, — отвечал я.

— А! а!.. — И он начал осматривать Белинского с несказанным любопытством с ног до головы. — Так это бульдог-то, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас?..

Я передал эти слова Белинскому. Это очень забавляло его, и он потом часто повторял, что Булгарин называет его бульдогом» (*Панаев,* с. 293). Об этом же эпизоде Белинский писал В. П. Боткину 22 ноября 1839 г. Уже в 1842 г. свой памфлет на С. П. Шевырева «Педант» Белинский подписал псевдонимом «Петр Бульдогов».

[12] Стр. 122. Цензор А. И. Фрейганг потребовал изъятия из письма Пушкина к Дельвигу от начала июня 1825 г. строк, содержащих критическую оценку поэзии Державина. В статье «Любопытная тяжба» Анненков высказал уверенность, что распоряжение цензурного комитета «было вызвано доносами на критические разборы литературы В. Г. Белинского, будто бы оскорбляющие народную гордость и помрачающие славу великих мужей России» («Вестник Европы», 1881, № 1, с. 25—26).

[13] Стр. 122. В «Литературных мечтаниях» Белинский писал: «Что за блаженство, что за сладострастие души, сказать какому-нибудь *гению в отставке без мундира,* что он смешон и жалок с своими детскими претензиями на великость... во всем этом есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное!» (*Белинский,* т. I, с. 70).

[14] Стр. 122. Далее речь идет о литературно-философском кружке Н. В. Станкевича, сыгравшем большую роль в идейной жизни России 30-х годов XIX в. Белинский сблизился с кружком осенью 1833 г. Анненковым написана биография Станкевича, им же впервые издана (частично) его переписка. Однако лично знаком со Станкевичем он не был, поэтому все, что написано Анненковым о кружке Станкевича в «Замечательном десятиле-

тии», представляет собой, в сущности, не воспоминания, а историко-литературное исследование.

[15] Стр. 123. В 1835 г. в «Библиотеке для чтения» была опубликована первая историческая статья Т. Н. Грановского «Судьбы еврейского народа».

[16] Стр. 123. Станкевич и его кружок действительно сыграли в жизни Белинского огромную роль. 5 сентября 1840 г. он писал В. П. Боткину: «Что был каждый из нас до встречи с Станкевичем?.. Нам посчастливилось — вот и все...» (*Белинский,* т. XI, с. 554). На связь «Литературных мечтаний» с воззрениями кружка Станкевича указывал и Добролюбов (см.: Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 2. М.—Л., 1962, с. 398). И все же «Литературные мечтания» не были, как утверждает Анненков, «простым эхом» мнений Станкевича и его кружка, хотя споры, в нем кипевшие, конечно, получили в статье отражение. На самостоятельность Белинского неоднократно указывал и сам Станкевич. 19 октября 1836 г. он писал Я. М. Неверову: «Я — цензор Белинского? Смело скажи всякому, кто говорит это, что он говорит вздор» (*Станкевич,* с. 368). Представляет интерес рецензия на статью участника кружка, ближайшего друга Станкевича, Я. М. Неверова. Он писал, что в философских суждениях критика нет «ничего такого, чего бы мы не знали», но «это всем известное излилось с такою полнотою, силою и жаром из сердца автора, в этих строках так много истины, благородного участия и нравственной девственности...» («Журнал министерства народного просвещения», 1835, № 9, отд. VI, с. 590).

[17] Стр. 124. Анненков цитирует Белинского не совсем точно.

[18] Стр. 124. Впервые Кольцов приехал в Москву 2 мая 1831 г. Вероятно, тогда он и познакомился с Белинским. Встреча Кольцова со Станкевичем произошла летом или ранней осенью 1830 г, в Удеревке, поместье Станкевичей, куда Кольцов пригнал гурт скота для откорма бардой (у отца Станкевича был винокуренный завод).

[19] Стр. 125. См. примеч. 5.

[20] Стр. 125. Одним из свидетельств того, какое огромное впечатление произвела статья Белинского на молодых читателей, является письмо к критику И. И. Панаева. «Я прочел Ваши «Литературные мечтания»... во многом тогда же не согласился с Вами, — но уже полюбил Вас искренно и после того не пропускал ни одной Вашей строчки, — писал Панаев 16 июля 1838 г. — Прямота Вашего характера, юношеская мощь в слове и — самое важное — это глубокое эстетическое чувство, дарованное Вам господом богом, поразили меня с первого раза. Я подумал, прочитав Вашу «Критическую элегию»: вот человек, который имеет

все элементы для того, чтобы сделаться со временем критиком, в полном значении этого слова» («Белинский и его корреспонденты». М., 1948, с. 196).

[21] Стр. 125. Речь идет о так называемом «журнальном триумвирате», в который входили Булгарин, Греч и Сенковский. «Триумвират» был для современников символом всего реакционного в русской журналистике того времени.

[22] Стр. 125. В журнале «Современник» (1836, т. III, вышел в октябре) Пушкин писал, что Белинский «обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XII, с. 97).

Книжку «Современника» Пушкин посылал Белинскому в мае 1836 г. с целью привлечь критика к сотрудничеству в своем журнале (см.: Ю. Г. Оксман. Переписка Белинского. — *ЛН,* т. 56, с. 233—235 и 251—253).

[23] Стр. 126. Об отношении к нему Гоголя Белинский писал В. П. Боткину 14—15 марта 1840 г.: «Гоголь доволен моею статьею о «Ревизоре» — говорит — многое подмечено верно» (*Белинский,* т. XI, с. 496). Сам Гоголь писал о ранних статьях Белинского: «В критиках Белинского, помещающихся в «Телескопе», виден вкус хотя еще необразовавшийся, молодой и опрометчивый, но служащий порукою за будущее развитие, потому что основан на чувстве и душевном убеждении» (*Гоголь,* т. VIII, с. 533). Позднее, уже после резкой критики Белинским «Выбранных мест из переписки с друзьями», Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу 20 июня 1847 г.: «Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним» (*Гоголь,* т. XIII, с. 324).

[24] Стр. 126. Популярность статей Белинского в кругах русской учащейся молодежи была очень велика. Их читали даже в закрытых учебных заведениях (см.: *ЛН,* т. 56, с. 115).

[25] Стр. 127. См. примеч. 1.

[26] Стр. 127. Когда дела Смирдина пошатнулись, он был оставлен многими из своих друзей-литераторов. В. И. Даль писал С. П. Шевыреву в этой связи: «Смирдина съели совсем; любопытно послушать его с часик, как в течение последних лет Полевой, Булгарин, Греч и Сенковский перебрали у него удивительно ловко сотни тысяч и посадили на мель» («Русский архив», 1878, т. II, № 5, с. 65).

[27] Стр. 128. *Барон Брамбеус* — один из псевдонимов Сенковского.

[28] Стр. 128. В 1835 г. вышел циркуляр, запрещающий частным лицам вести предварительную подписку на журналы, т. е. собирать средства для издания. В 1836 г. правительство прекратило «дозволение новых периодических изданий».

[29] Стр. 129. «*Телескоп*» (Москва, 1831—1836) — журнал, который редактировался Н. И. Надеждиным. Был закрыт за публикацию «Философического письма» П. Я. Чаадаева. «*Московский наблюдатель*» (Москва, 1835—1839) — журнал, редактировавшийся в 1835—1837 гг. В. П. Андросовым, в 1838—1839 гг. его неофициальным редактором был Белинский. «Современник» начал выходить с 1836 г. в Петербурге; после кончины Пушкина редактором журнала стал П. А. Плетнев.

[30] Стр. 130. Белинский иронически называл литературный период, наступивший после 1833 г., когда вышла первая часть организованного Смирдиным альманаха «Новоселье», «смирдинским», «ибо А. Ф. Смирдин является главою и распорядителем сего периода. Всё от него и всё к нему; он одобряет и ободряет юные и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты; он дает направление и указывает путь этим гениям и полугениям, не дает им лениться, словом, производит в нашей литературе жизнь и деятельность» (*Белинский,* т. I, с. 98).

[31] Стр. 130. Смирдин около 8 лет (с 1817 по 1825 г.) служил у В. А. Плавильщикова. А. А. Плюшар разорился на издании Булгарина «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношении» (см.: Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 615—622).

[32] Стр. 133. Так Анненков передает известное положение «все действительное разумно» из «Основ философии права» Гегеля.

[33] Стр. 133. В кружке А. А. Комарова с большим интересом относились к творчеству Гофмана; вечера, когда члены кружка встречались, назывались, в подражание Гофману, «серапионовскими». Многие члены кружка писали произведения в духе творчества Гофмана (см.: *Панаев,* с. 105).

[34] Стр. 134. «Каменный гость» впервые был напечатан не в «Современнике», как можно подумать, исходя из данного абзаца «Замечательного десятилетия», а в сборнике «Сто русских литераторов», т. I. СПб., 1839.

[35] Стр. 135. В это время нет оснований говорить о каком-либо реальном «разрыве» Белинского с московскими друзьями. Видимо, совокупность как внешних, так и внутренних причин, среди которых была и неразделенная любовь к А. А. Бакуниной,

сестре М. А. Бакунина, заставляла его испытывать чувства грусти и неудовлетворенности в конце 30-х годов.

[36] Стр. 136. Этические.

[37] Стр. 137. Анненков не совсем точно цитирует статью Белинского.

[38] Стр. 137. «Диким ругателем» называли Белинского его идейные противники. См., напр., воспоминания М. П. Погодина «К характеристике Белинского» («Гражданин», 1873, № 9).

[39] Стр. 137. Анненков пересказывает отзыв Белинского о второй книжке «Современника» (см.: *Белинский,* т. II, с. 234).

[40] Стр. 137. Статья называется «О русской повести и повестях г. Гоголя».

[41] Стр. 137. Авторы перечисленных Анненковым эпических произведений соответственно: Гомер, Вергилий, Т. Тассо, Дж. Мильтон, М. Херасков.

[42] Стр. 138. Анненков цитирует рецензию Булгарина на книгу Е. Ф. Розена «Петр Басманов» («Северная пчела», 1835, № 251, 252).

[43] Стр. 138. Очевидно, имеются в виду прежде всего столкновения с Герценом и Грановским.

[44] Стр. 138. Статья Белинского «Бородинская годовщина. В. Жуковского... Письмо из Бородина от безрукого к безногому инвалиду» опубликована в «Отечественных записках», 1839, № 10. В это время Белинский был еще московским корреспондентом изданий Краевского. Статья «Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе). Сочинение Ф. Глинки» появилась в «Отечественных записках», 1839, № 12. К тому времени Белинский переехал в Петербург и стал постоянным сотрудником «Отечественных записок».

[45] Стр. 139. Во время крестных ходов впереди несли иконы и хоругви, замыкало же шествие (шло «в замк*е*») высшее духовенство, в данном случае — митрополит Филарет. И уже в некотором отдалении следовали за крестным ходом толпы мирян.

[46] Стр. 139. В четвертой части «Былого и дум».

[47] Стр. 140. Герцен познакомился с Белинским, который «проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы» (*Герцен,* т. IX, с. 22), в конце августа или в сентябре 1839 г. в Москве. Их вторая встреча произошла в Петербурге между 18 и 23 декабря того же года. Вероятно, тогда имел место и спор Герцена с Белинским. 30 декабря 1839 г. Белинский писал Боткину о Герцене: «...Умный, добрый, прекрасный человек, но если б бог привел больше не видеться — хорошо бы» (*Белинский,* т. XI, с. 429). Новая встреча и примирение Белинского и Герцена состоялись во второй половине июня

или в начале июля 1840 г. в Петербурге (см.: *Герцен,* т. IX, с. 27—28; *Панаев,* с. 292; «Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1850». М., «Наука», 1974, с. 207, 216, 226).

[48] Стр. 140. Примирение Белинского и Герцена произошло раньше. См. примеч. 47.

[49] Стр. 140. Статья была опубликована в № 1 журнала. Это была первая статья критика, шедшая в «Отечественных записках» за его подписью.

[50] Стр. 140. Статья ставила целый ряд теоретических вопросов: о задачах художественного творчества, его природе, об отношениях критики и искусства. Вопрос об особых «правах» «гениальной личности» не имел в статье самодовлеющего характера.

[51] Стр. 141. М. А. Бакунин умер в 1876 г. «Первая ошибка» — истолкование тезиса: «Все действительное разумно». Впоследствии Бакунин стал анархистом.

[52] Стр. 142. Анненков здесь очень близок к одному из источников «Замечательного десятилетия» — к «Былому и думам», вплоть до текстуальных совпадений: Герцен употребляет то же выражение о Станкевиче, который «засадил» Бакунина «за философию» (*Герцен,* т. IX, с. 43).

[53] Стр. 143. Анненков не совсем точен в своем рассказе о занятиях философией Гегеля в кружке Станкевича. 10 ноября 1835 г. Станкевич писал Я. М. Неверову: «Гегеля я еще не знаю» (*Станкевич,* с. 338). В октябре 1836 г. Станкевич просит того же адресата прислать ему сочинения Гегеля (там же, с. 368), а в сентябре 1837 г. сообщает, что Грановский начинает «признавать достоинство» философии Гегеля (там же, с. 380). Занятия философией Гегеля самого главы кружка, Станкевича, пришлись, таким образом, действительно на 1836 г. и до отъезда его за границу в августе 1837 г., после чего кружок фактически распался. Остальные члены кружка, в том числе и Белинский, приходили к занятиям философией Гегеля в разное время. Белинский, очевидно, в конце 1837 г. В начале 1838 г. Бакунин, изучавший «Феноменологию духа» и «Энциклопедию философских наук», познакомил критика с гегелевской философией истории, права и религии (см.: *Белинский,* т. XI, с. 218, 386).

[54] Стр. 143. Мощь философской мысли Белинского поражала не только его друзей. В. Ф. Одоевский вспоминал: «Всякий раз, когда мы встречались с Белинским... мы с ним спорили жестоко, но я не мог не удивляться... Едва имея понятие о Шеллинге только, Белинский сам собой дошел до Гегеля, ему неизвестного, то есть в Белинском совершился своебытно тот переход, который в философском мире совершился появлением Гегеля после Шел-

линга... Развить в себе самом целый ряд философских теорем, развившихся в философской атмосфере мира, не далось бы дюжинному человеку» («Русский архив», 1874, кн. I, вып. 2, стлб. 339—340).

[55] Стр. 143. См.: *Герцен,* т. IX, с. 124.

[56] Стр. 144. Ср. у Герцена в кн. «О развитии революционных идей в России»: «Однажды, сражаясь в течение целых часов с богобоязненным пантеизмом берлинцев, Белинский встал и дрожащим, прерывающимся голосом сказал: «Вы хотите меня уверить, что цель человека — привести абсолютный дух к самосознанию, и довольствуетесь этой ролью; ну, а я не настолько глуп, чтобы служить невольным орудием кому бы то ни было. Если я мыслю, если я страдаю, то для самого себя. Ваш абсолютный дух, если он и существует, то чужд для меня. Мне незачем его знать, ибо ничего общего у меня с ним нет» (*Герцен,* т. VII, с. 237).

[57] Стр. 144. Кассий отличался угрюмым, раздражительным характером (см.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Брут, XXIX).

[58] Стр. 144. 29 июня 1840 г. Бакунин уехал за границу.

[59] Стр. 144. Белинский гостил в тверском поместье Бакуниных Премухине с конца августа до середины ноября 1836 г.

[60] Стр. 144. Официальным редактором «Московского наблюдателя» был В. П. Андросов. Однако идеологическим главой журнала являлся Шевырев.

[61] Стр. 145. Первый номер «Московского наблюдателя» новой редакции открывался статьей Бакунина — предисловием к переводу «Гимназических речей» Гегеля. В статье высказывалась надежда, что «новое поколение сроднится наконец с нашею прекрасною русскою действительностью» («Московский наблюдатель», 1838, ч. XVI, кн. I; ср.: М. А. Бакунин. Собр. соч. и писем, т. 2. М., 1934, с. 178).

[62] Стр. 146. Уже Станкевич употреблял это выражение в своих письмах чрезвычайно широко.

[63] Стр. 146. Речь идет о «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst». «Орган левых гегельянцев». Издавался в 1838—1841 гг. Редакторы — А. Руге и Т. Эхтермейер.

[64] Стр. 147. См. сравнение Белинского с Кассием на с. 144.

[65] Стр. 148. В. П. Боткин писал Н. В. Станкевичу 13 декабря 1838 г. о предисловии Бакунина к «Гимназическим речам» Гегеля (см. примеч. 61): «Такие вводители в философию Гегеля хуже врагов его!» (*ЛН,* т. 56, с. 121). Не раз спорил с Бакуниным и Белинский.

[66] Стр. 148. Анненков познакомился с М. А. Бакуниным в 1841 г. в Берлине.

[67] Стр. 148. В целом Анненков верно характеризует отношение Белинского к М. Бакунину в то время (см.: *Белинский,* т. XI, с. 281—305, 307—348).

[68] Стр. 150. Более справедлива оценка Анненкова, данная им этому периоду деятельности Белинского в письме А. Н. Пыпину от 3 июля 1874 г. «Примите особенную благодарность, — писал Анненков, — за вашу мысль о том, что консервативная теория Белинского 1840 г. стояла выше разодранных протестов прежнего времени, потому что представляла уже систему, из которой мог быть выход, между тем как из порывов и стремлений никакого выхода не бывает» (*ЛН,* т. 67, с. 547).

[69] Стр. 151. В это время Белинский писал Н. В. Станкевичу: «Участие приятелей моих прекратилось — я остался один; цензура теснила» (*Белинский,* т. XI, с. 399).

[70] Стр. 151. Статья Ретшера была напечатана в первом номере т. XVII, а не XVI.

[71] Стр. 152. Цитата из статьи Белинского «Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина... Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Сочинение М. Загоскина». Статья была напечатана в «Московском наблюдателе», 1838, ч. XVIII, июль, кн. 2. Статья представляет собой теоретическое введение к задуманному Белинским циклу статей о критике.

[72] Стр. 152. Статья «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». Полностью была опубликована в «Московском наблюдателе», 1838, ч. XVI, март, кн. 1, 2; апрель, кн. 1. Начало статьи публиковалось в «Северной пчеле», 1838, № 4, 5 января.

[73] Стр. 153. Анненков неверно передает взгляд Белинского. До него характер Гамлета трактовался как такой, в котором сознание неизбежности выполнения долга вступает в противоречие со слабостью воли. Таким было широко распространенное в России мнение Гете, высказанное им в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера». Белинский же видит трагедию Гамлета в неразрешимости противоречий между гуманистическими идеалами Гамлета и жестокой действительностью.

[74] Стр. 153. «Заметка» была сделана Белинским в обзоре «Русские журналы» (*Белинский,* т. III, с. 179). Критик писал о разборе в «Отечественных записках» перевода «Фауста», осуществленного Губером. Статьи Губера, посвященной специально «Фаусту», не существует. Возможно, Анненков имеет в виду губеровский обзор «Взгляд на нынешнюю литературу Германии», где говорится о «Фаусте».

[75] Стр. 154. Библиографический отдел «Литературная хро-

ника» в первом номере обновленного «Московского наблюдателя» (ч. XVI, март, кн. 1) открывался обзором номеров «Современника», вышедших после смерти Пушкина.

[76] Стр. 154. Цитата из рецензии Белинского на книжки «Современника», вышедшие после смерти поэта (см. примеч. 75). Курсив Анненкова.

[77] Стр. 155. Анненков цитирует Белинского не совсем точно.

[78] Стр. 156. Тезис о значении художественной формы был для Белинского не «ересью», но одним из основных положений его эстетики конца 30-х годов. 29 сентября 1839 г. он писал Н. В. Станкевичу, что отвергает «самое обаятельное могущество содержания, возвышающегося до поэтического патоса, но чуждое или недостаточное по художественной форме» (*Белинский,* т. XI, с. 383).

[79] Стр. 157. Об этом Белинский писал М. А. Бакунину 12 октября 1838 г. и Н. В. Станкевичу 29 сентября 1839 г. (*Белинский,* т. XI, с. 314, 380).

[80] Стр. 157. Цикл статей Фишера «Die Literatur über Goethes Faust» («Литература о «Фаусте» Гете»), опубликованный в «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» в январе—марте 1839 г., произвел большое впечатление в кругу Белинского. О своем «согласии» с Фишером писал и Н. В. Станкевич (*Станкевич,* с. 484).

[81] Стр. 161. См. примеч. 28 к очерку «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года».

[82] Стр. 161. Под «московскими знакомыми и доброжелателями» имеются в виду прежде всего М. П. Погодин и С. П. Шевырев.

[83] Стр. 161. Вспоминая Гоголя того периода, Анненков писал: «Неизвестно, что сталось бы с автором, впечатлительным до крайности, если бы Москва разделила сомнения и холодность петербургской публики, но здесь он встретил участие, поднявшее, как нам хорошо известно, нравственную бодрость его и сообщившее ему уверенность в своих силах... Можно думать, что Белинский уяснил самому Гоголю его призвание и открыл ему глаза на самого себя: для этого есть несколько доказательств несомненного, исторического характера» (П. В. Анненков. Н. В. Станкевич. М., 1857, с. 76—77).

[84] Стр. 162. Анненков цитирует Белинского не совсем точно.

[85] Стр. 162. О «Московском телеграфе» Белинский писал как о «решительно лучшем журнале в России от начала журналистики» (*Белинский,* т. IX, с. 693). Одобрительно отзывался Белинский и о повестях Полевого в своей статье «О русской повести и повестях г. Гоголя». Лишь после ренегатства Полевого Белинский резко изменил свое отношение к нему.

[86] Стр. 162. Приведенные суждения принадлежали Шевыреву и находились в его статье о «Миргороде» («Московский наблюдатель», 1835, ч. I, март, кн. 2). Белинский отвечал Шевыреву в статьях «О русской повести и повестях г. Гоголя» (*Белинский,* т. I, с. 292, 305) и «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (*Белинский,* т. II, с. 137).

[87] Стр. 162. Первое представление «Ревизора» состоялось 19 апреля 1836 г. Анненков описал его в очерке «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года».

[88] Стр. 163. В заметке «От Белинского» нет общей оценки творчества Гоголя.

[83] Стр. 163. Речь идет о первой рецензии Белинского на «Похождения Чичикова, или Мертвые души» («Отечественные записки», 1842, № 7).

[90] Стр. 163. Зимой 1839 г. Белинский не был в Москве. С Гоголем он встречался в Петербурге у В. Ф. Одоевского (*Белинский,* т, XI, с. 420, 435—436; *ЛН,* т. 56, с. 135).

[91] Стр. 163. Вероятно, имеется в виду сближение Гоголя с А. О. Смирновой-Россет, А. П. Толстым, М. П. Погодиным и С. П. Шевыревым. Все они враждебно относились к деятельности Белинского.

[92] Стр. 165. Анненков пересказывает вторую часть обзора Белинского «Русские журналы» («Московский наблюдатель», 1839, ч. II, № 4 — *Белинский,* т. III, с. 189—190). В 1840 г. в статье «Герой нашего времени». Сочинение М. Лермонтова» Белинский высоко оценивает «Думу».

[93] Стр. 166. Речь идет об Июльской революции 1830 г. во Франции.

[94] Стр. 166. Белинский писал В. П. Боткину 17 марта 1842 г.: «Демон» сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твержу себе, в нем для меня — миры истин, чувств, красот» (*Белинский,* т. XII, с. 86).

[95] Стр. 168. Статья «Менцель, критик Гете» была начата в Москве и закончена в Петербурге. Опубликована в «Отечественных записках», 1840, № 1.

[96] Стр. 169. Анненков привез Боткину письмо к нему Белинского от 13 июня 1840 г. О своей первой встрече с Боткиным Анненков позже рассказывал А. Н. Пыпину в письме от 12 апреля 1874 г. (*ЛН,* т. 67, с. 545—546).

[97] Стр. 170. Статья В. П. Боткина «Шекспир как человек и лирик» («Отечественные записки», 1842, № 9). Боткину принадлежат и переводы работ о Шекспире: «Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру» Ретшера и «Женщины, созданные Шекспиром (из сочинений г-жи Джемсон)».

[98] Стр. 170. В духовном развитии В. П. Боткина было несколько переломных моментов. Здесь речь идет прежде всего о двух из них. В начале 40-х годов Боткин освобождается от «романтических иллюзий», связанных с его увлечением А. А. Бакуниной. Высокий интеллектуальный потенциал не спас, однако, Боткина от постепенной духовной деградации. К 60-м годам «обнаружилась его настоящая природа — помесь купеческого распутства с душевной мелкотой и с художническими инстинктами, что и сделало из него», по словам Анненкова, «тип грека Перикловой эпохи, помноженного на московского гостинодворца третьей руки и дополненного шопенгауэровской ненавистью к зверю — толпе и народу» (*ЛН,* т. 67, с. 546).

[99] Стр. 170. В статье «Горе от ума». Сочинение А. Грибоедова» («Отечественные записки», 1840, № 1).

[100] Стр. 171. О функции смеха в «Ревизоре» Гоголь писал в «Театральном разъезде после представления новой комедии».

[101] Стр. 171. Анненков цитирует Белинского не совсем точно.

[102] Стр. 172. Белинский писал В. П. Боткину в декабре 1840 г. о «Горе от ума»: «Это — благороднейшее гуманическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности...» (*Белинский,* т. XI, с. 576). В статье «Русская литература в 1840 году» пьеса Грибоедова названа Белинским «благороднейшим созданием гениального человека» (*Белинский,* т. IV, с. 430). Тем не менее в эстетическом отношении «Ревизор» всегда ставился Белинским выше «Горя от ума».

[103] Стр. 172. Имеются в виду статьи Белинского «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» («Телескоп», 1836, ч. XXXII, № 5, 6) и «Очерки русской литературы. Сочинение Николая Полевого» («Отечественные записки», 1840, № 1).

[104] Стр. 173. Вероятно, Анненков имеет в виду отклик Н. В. Станкевича на дошедшее до него известие о так называемом «примирении с действительностью», которое теоретически обосновывал тогда Белинский. Разъясняя ошибку Белинского, Станкевич писал 1 февраля 1840 г. Т. Н. Грановскому из Флоренции (а не из Берлина): «...действительность, в смысле непосредственности, внешнего бытия, — есть случайность; ...действительность, в ее истине, есть разум, дух» (*Станкевич,* с. 486). О роли, которую сыграл Станкевич в выходе Белинского из полосы примирения, см.: Ю. В. Манн. Русская философская эстетика. М., 1969, с. 234—236.

[105] Стр. 173. Пьеса Белинского «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь. Драма в пяти действиях» была опубликована в «Московском наблюдателе», 1839, ч. II, № 3.

[106] Стр. 173. Встреча Белинского с И. И. Срезневским произошла в конце октября 1839 г., в первый день приезда критика в Петербург. Белинский описал эту встречу в письме В. П. Боткину от 22 ноября 1839 г. (*Белинский,* т. XI, с. 419).

[107] Стр. 175. Речь шла об увлечении М. Н. Каткова женой Н. П. Огарева Марией Львовной.

[108] Стр. 175. Об этой сцене Белинский рассказывает в письме Боткину от 12—16 августа 1840 г.

[109] Стр. 175. Имеется в виду книга А. З. Зиновьева «Основания русской стилистики по новой и простой системе» (1837). Рецензия на нее М. Н. Каткова «Основания русской стилистики» опубликована в «Отечественных записках», 1839, № 11.

[110] Стр. 176. Статья М. Н. Каткова «Сочинения в стихах и прозе графини С. Ф. Толстой» («Отечественные записки», 1840, № 10) декларировала подсознательный характер поэтического творчества. Белинский полемизировал по этому поводу с Катковым в своей статье «Сочинения Зенеиды Р-вой» («Отечественные записки», 1843, № 11).

[111] Стр. 177. См. примеч. 1.

[112] Стр. 178. Анненков возражает исследователю творчества Кольцова М. Ф. До-Пуле, который утверждал в своей книге о поэте, вышедшей в 1878 г., что Белинский оказал вредное влияние на творчество Кольцова, исказив его самобытность. Брат Н. В. Станкевича — А. В. Станкевич, хорошо знавший отношения Кольцова с его московскими друзьями, в том числе и с Белинским, писал еще в 1876 г.: «Белинский никогда и не старался иметь влияние на Кольцова, а просто имел его, как человек ума, таланта, идей и характера, сочувственных Кольцову. Кольцов же был не такой человек, который безразлично поддавался бы всякому встречному влиянию» (*ЛН,* т. 56, с. 286).

[113] Стр. 178. В «Санкт-Петербургских ведомостях», 1867, № 88 было помещено письмо, присланное из Воронежа А. П. Серебрянским. Он утверждал, что думы «Божий мир», «Великая тайна» и «Молитва» написаны им, а не Кольцовым. М. Ф. Де-Пуле в своей книге «А. В. Кольцов» (СПб., 1878) повторил это безосновательное заявление.

[114] Стр. 180. «Маяк современного просвещения и образованности» начал выходить в 1840 г. Редакторами и издателями журнала были в 1840—1841 гг. П. А. Корсаков и С. А. Бурачек, позже — один Бурачек. В 1845 г. журнал прекратил свое существование. Белинский не был одинок в отрицательной оценке направления и содержания журнала. Так, в январе 1841 г. А. А. Фет писал И. А. Введенскому: «Как-то недели две тому назад попалась мне...

литературная грязь, т. е. «Маяк». Это верх... подлости, низости, невежества» (Г. П. Блок. Рождение поэта. Л., 1924, с. 80).

[115] Стр. 181. Резкий отзыв о «Маяке» находится в рецензии на роман Д. Н. Бегичева «Ольга. Быт русских дворян в начале нынешнего столетия» («Отечественные записки», 1840, № 10 — *Белинский,* т. IV, с. 312—315).

[116] Стр. 181. Разрешение на издание «Москвитянина» было получено в 1837 г., хотя первый номер журнала действительно вышел в 1841 г.

[117] Стр. 182. Рецензия на роман Р. М. Зотова «Цын-Киу-Тонг, или Три добрые дела духа тьмы» была напечатана в «Отечественных записках», 1841, № 1; рецензия на «Первое действие комедии» С. Н. Навроцкого «Новый Недоросль» находится в составе обзора «Русский театр в Петербурге» («Отечественные записки», 1840, № 10).

[118] Стр. 182. Дело не сводилось к недоразумению, как считает Анненков. Противники Белинского не могли не видеть того политического содержания, которое вкладывалось Белинским в его этическое учение.

[119] Стр. 182. Находясь под властью Турецкой империи, Египет, начиная с конца XVIII в., становится ареной борьбы Франции и Великобритании за политическое и экономическое влияние. В начале 30-х годов XIX в. вопрос обострился из-за восстания паши Египта Мухаммеда-Али против турецкого султана Махмуда II. Россия поддерживала Турцию.

[120] Стр. 183. *Порта* — официальное наименование правительства султанской Турции.

[121] Стр. 184. Соглашение было подписано 15 июля 1840 г. в Лондоне четырьмя державами — Англией, Австрией, Пруссией и Россией. Оно было направлено против египетского паши (см. примеч. 119) в пользу султана. Позиции Франции в Египте на некоторое время были ослаблены.

[122] Стр. 185. После крушения империи Наполеона I в 1814—1815 гг. состоялся Венский конгресс, одним из результатов которого была организация в сентябре 1815 г. Священного союза. В основу его была положена идея подавления революционного духа, политического и религиозного свободомыслия, где бы они ни проявлялись. К Священному союзу постепенно присоединились все континентальные монархи Европы, кроме турецкого султана и папы римского.

[123] Стр. 185. В 1813 г. борьба против империи Наполеона I вступила в заключительную стадию.

[124] Стр. 186. *Пиетизм* — одно из религиозных течений внутри протестантизма. Возникло в конце XVII столетия. Пиетисты пере-

носят центр тяжести религии с обрядности и ритуала на внутреннюю убежденность и личное поведение.

[125] Стр. 186. См. примеч. 63.

[126] Стр. 186. Трактат «Жизнь Иисуса» (1835). Отвергая божественное происхождение Христа, Д.-Ф. Штраус видел в нем историческую личность. Книга была запрещена в России.

[127] Стр. 187. О своем первом путешествии Анненков рассказал в «Письмах из-за границы (1840—1843)» (*Анненков и его друзья,* с. 122—247).

[128] Стр. 188. Т. Карлейль в сочинении «Герои, культ героев и героическое в истории» (1841) утверждал, что история создается не массами, а великими личностями.

[129] Стр. 191. В сентябре Анненков был уже в Париже (см. примеч. 131).

[130] Стр. 191. Отставка Тьера произошла в октябре 1840 г.

[131] Стр. 192. Анненков писал в сентябре 1841 г. М. Н. Каткову из Парижа: «Вы не поверите, как все сословия, что называется, надорваны. Это Вам поясняет бессилие оппозиции... И под прикрытием этой апатии Гизо сильнее, чем год назад, и делает бесчинства» («Русский вестник», 1896, № 12, с. 51).

[132] Стр. 192. Анненков говорит о революции 1848 г. во Франции, поводом для начала которой была попытка правительства запретить общественные банкеты.

[133] Стр. 192. Речь идет об империи Наполеона I.

[134] Стр. 193. Законы, введенные правительством Луи-Филиппа в сентябре 1835 г. Они ограничивали свободу печати и ассоциаций.

[135] Стр. 194. Речь шла о предоставлении избирательных прав людям, получившим высшее образование. При этом имущественный ценз не должен был приниматься во внимание.

[136] Стр. 197. Упоминаются книги: P. J. Proudhon. Qu'est-ce que la propriété? (П.-Ж. Прудон. Что такое собственность?, 1841); E. Cabet. Voyage en Icarie (Э. Кабе. Путешествие в Икарию, 1840); P. Leroux. De l'Humanité (П. Леру. О человечестве, 1840).

[137] Стр. 198. Л. Блан был известен в России не столько своим трактатом «L'organisation du travail» («Организация труда», 1840), сколько «Histoire de dix ans. 1830—1840» («Историей десяти лет. 1830—1840», 1841—1844), содержащей разоблачения Июльской монархии во Франции. Книга была настолько популярной, что Герцен, например, вместо имени Блана говорил «историк «Десяти лет» (*Герцен,* т. X, с. 326). О возможной связи, существующей между названием этого труда Блана и названием мемуарного очерка Анненкова, см. во вступит. статье.

[138] Стр. 198. Анненков имеет в виду петрашевцев.

[139] Стр. 198. Книга носит название: «Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'au 18 brumaire» («История французской революции с 1789 года по 18 брюмера», 1824—1827).

[140] Стр. 198. Белинский писал В. П. Боткину 8 сентября 1841 г.: «Я читаю Тьера... Новый мир открылся предо мною. Я все думал, что понимаю революцию — вздор — только начинаю понимать. Лучшего люди ничего не сделают» (*Белинский,* т. XII, С. 72). См. также: *Панаев,* с. 242—243.

[141] Стр. 199. См. примеч. 137. С первой частью «Истории десяти лет» Белинский познакомился в начале 1843 г. (*Белинский,* т. XII, с. 154). Позже Белинский неоднократно обращался К этому труду Л. Блана (см.: там же, с. 323, 385, 449).

[142] Стр. 201. Анненков познакомился с Герценом 2 декабря 1843 г. В тот же день Герцен писал о нем Н. X. Кетчеру: «Он мне очень понравился наружностью — что-то открытое и что-то закрытое, именно открыта душа, а закрыта верхняя губа... усами» (*Герцен,* т. XXII, с. 161).

[143] Стр. 201. Первый курс публичных лекций Грановский читал в Московском университете с 23 ноября 1843 по 22 апреля 1844 г. На одной из лекций Анненков был вместе с Герценом (см.: *Герцен,* т. XXII, с. 161).

[144] Стр. 202. Обед состоялся 22 апреля 1844 г. в доме С. Т. Аксакова. Устроителями обеда были Герцен, Ю. Ф. Самарин, С. Т. Аксаков (см.: *Герцен,* т. IX, с. 166; *Панаев,* с. 203—206; *ЛН,* т. 58, с. 668).

[145] Стр. 204. «Père Duchêne» («Отец Дюшен») — газета, выходившая во время Великой французской революции. Отличалась резкостью общего тона и непримиримостью требований.

[146] Стр. 204. Фельетон «Москва и Петербург» написан в 1842 г. В России был запрещен и впервые опубликован в «Колоколе», 1857, л. 2, 1 августа.

[147] Стр. 205. Анненков говорит о крестьянской реформе 1861 г. и судебной реформе, осуществленной в 1864 г.

[148] Стр. 209. То есть духовно обновиться, переродиться. Выражение «ветхий человек» восходит к Посланиям апостола Павла к римлянам (6, 6), ефесянам (4, 22) и колоссянам (3, 9).

[149] Стр. 209. Анненков несправедлив. Духовное приспособленчество ни в коей мере не было свойственно Герцену. Вероятно, резкость тона мемуариста объясняется неприятием революционно-демократических убеждений Герцена, его активной борьбы публициста, издателя «Колокола» с царской Россией. Те «друзья», о которых пишет здесь Анненков, в том числе и он сам, не одобряли деятельности Вольной русской типографии, осуждали

Герцена за поддержку им польского восстания 1863 г. Связи Герцена с Анненковым оборвались в 1864 г. 24 ноября этого года Герцен писал М. Мейзенбуг: «Придет другое время — когда *посредственности,* мелкие натуры, вроде Боткина и Анненкова, одумаются» (*Герцен,* т. XXVII, с. 530).

[150] Стр. 210. Анненков имеет в виду произведение Герцена «С континента. Письмо из Неаполя» (1863), в частности, рассказывающее и о посещении Герценом Камалдулинского монастыря. Письмо действительно проникнуто чувством одиночества, в нем звучат горькие размышления о судьбах русского человека, о трагизме того исторического периода, когда борьба представляется обреченной на поражение. Анненков, однако, слишком сужает идею произведения. Герцен размышляет не только и не столько о собственной судьбе, сколько о судьбе своего народа в определенный исторический момент.

[151] Стр. 210. Первая статья Герцена «Публичные чтения г. Грановского (Письмо в Петербург)» была опубликована в «Московских ведомостях», 1843, № 142, 27 ноября; вторая — «О публичных чтениях г-на Грановского» — в «Москвитянине», 1844, № 7. Статьи не были одобрены Белинским. 26 января 1845 г. он писал Герцену: «По моему мнению, стыдно хвалить то, чего не имеешь права ругать: вот отчего мне не понравились твои статьи о лекциях Грановского» (*Белинский,* т. XII, с. 250).

[152] Стр. 210. Герцен познакомился с Грановским в декабре 1839 г., гораздо позже событий, описываемых здесь мемуаристом.

[153] Стр. 211. См. об этом в гл. седьмой первой части «Былого и дум».

[154] Стр. 211. Об этом рассказывает сам Герцен в «Былом и думах».

[155] Стр. 212. Салон А. П. Елагиной был одним из самых популярных в Москве. Его посещали Герцен, Гоголь, Грановский, Кавелин, Чаадаев, Хомяков и многие другие. А. П. Елагина отличалась образованностью и широтой взглядов.

[156] Стр. 213. В ноябре 1844 г. А. А. Елагин, сын Елагиной, писал отцу: «Герцен и прочие жорж-зандисты бывают у нас редко, кажется, они хотят окончательно оторваться от религиозных славян. Причину этого окончательного разрыва не могу придумать» (*ГБЛ,* ф. 99, к. 4, ед. хр. 46. Частично опубликовано в «Летописи жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1850», с. 321).

[157] Стр. 213. Речь идет о стихотворениях Н. М. Языкова «К не нашим», «Константину Аксакову», «К Чаадаеву», написанных в конце 1844 г. Стихотворения были восприняты как «пасквиль на главнейших представителей западного направления» (Б. Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 22),

Герцен писал в дневнике 10 января 1845 г.: «Стихи Языкова с доносом на всех нас привели к объяснениям, которые, с своей сторону, чуть не привели к дуэли Грановского и Петра Киреевского... После всего этого наконец личное отдаление сделалось необходимым» (*Герцен,* т. II, с. 403). Следует отметить, что и среди славянофилов были люди, резко отрицательно оценившие стихотворения Языкова. К. Аксаков писал в конце декабря 1844 г. Ю. Ф. Самарину: «Стихи Языкова сделались орудием людей, с которыми у нас нет общего... против людей достойных и прекрасных» (*ЦГАЛИ,* ф. 10, оп. 5, ед. хр. 33, л. 27; частично опубликовано в «Летописи жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1850», с. 325).

[158] Стр. 213. В тот период, о котором пишет Анненков, Герцен записывал в дневнике: «Странное положение мое, какое-то невольное juste milieu (промежуточное — фр.) в славянском вопросе: перед ними я человек Запада, перед их врагами — человек Востока» (*Герцен,* т. II, с. 354).

[159] Стр. 213. Разговор, вероятно, произошел в декабре 1843 г., когда Анненков, возвращаясь из-за границы, по дороге в свое симбирское имение заезжал в Москву. Предметом обсуждения, возможно, стала рецензия Белинского на «Разные повести» («Отечественные записки», 1843, № 11). Он назвал клеветой одну из повестей, которая откровенно и примитивно идеализировала подлинную народную жизнь. Белинский не раз и впоследствии выступал против подобной идеализации. В этом, разумеется, выражалось не его пренебрежение к «лапотной и сермяжной действительности», по требование ее правдивого изображения.

[160] Стр. 214. Речь идет о памфлете на С. П. Шевырева «Педант. Литературный тип» («Отечественные записки», 1842, № 3).

[161] Стр. 214. См.: «Былое и думы», гл. XXX.

[162] Стр. 215. Цикл статей Герцена «Дилетантизм в науке» печатался в «Отечественных записках», 1843, № 1, 3, 5, 12.

[163] Стр. 216. О своих спорах с А. С. Хомяковым Герцен рассказывает в XXX главе «Былого и дум».

[164] Стр. 216. Первое из «Философических писем» Чаадаева было опубликовано в «Телескопе», 1836, № 15 (оригинал на фр. яз., перевод П. X. Кетчера). В «Письме» Чаадаев пессимистически оценивал прошлое, настоящее и будущее России, видя причины этого в том, что христианство на Руси было связано не с католической традицией (общеевропейской), но с византийской.

[165] Стр. 219. Судя по дневниковым записям, Герцен действительно прочитал «Всеобщую историю церкви» А.-Ф. Гфререра (*Герцен,* т. II, с. 344, 347, 356). О чтении А. Неандера у него нет упоминаний.

[166] Стр. 220. Из речи Петра I, произнесенной им в ответ на поднесение ему сенатом 22 октября 1721 г. титула «императора всероссийского» и «отца отечества».

[167] Стр. 220. *Кружало* — питейный дом, кабак.

[168] Стр. 221. Анненков пересказывает статью М. П. Погодина «За русскую старину» («Москвитянин», 1845, № 4).

[169] Стр. 223. Белинский не говорил, а писал об этом Анненкову 15 февраля 1848 г. (*Белинский,* т. XII, с. 465).

[170] Стр. 226. См. примеч. 140.

[171] Стр. 226. Анненков не учитывает диалектичность подхода Белинского к данной проблеме. Отвечая на замечание К. Д. Кавелина, что отношение Белинского к славянофилам изменилось к лучшему, если судить по таким его статьям, как «Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Ответ «Москвитянину» и некоторым другим, Белинский заметил: «Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше... но, признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве» (*Белинский,* т. XII, с. 433).

[172] Стр. 227. Речь идет о брошюре К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души», М., 1842.

[173] Стр. 228. Белинский написал рецензию на брошюру К. С. Аксакова («Отечественные записки», 1842, № 8), а после ответа Аксакова, опубликованного в «Москвитянине», 1842, № 9, — статью «Объяснение на объяснение» по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» («Отечественные записки», 1842, № 11).

[174] Стр. 229. В своей рецензии на «Парашу» Белинский дал этому произведению Тургенева чрезвычайно высокую оценку («Отечественные записки», 1843, № 5). Кроме этой рецензии, положительный отзыв о «Параше» Белинский дал в обзоре «Русская литература в 1843 году», в письмах к В. П. Боткину от 10—11 мая 1843 г. и к самому Тургеневу от 8 июля того же года. Более сдержанна оценка поэмы в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

[175] Стр. 231. Имеются в виду рецензии Белинского на харьковские сборники «Молодик» (1843), «Молодик на 1844 год» (1843), изданные И. Е. Бецким, и «Архангельский историческо-литературный сборник» (1844), изданный Ф. Вальневым. Упреки, адресуемые критиком этим сборникам, были прямо противоположны тому, что приписывает ему Анненков. Белинский не находил в них достаточно яркого местного колорита. В частности, по поводу стихотворений «Архангельского сборника» он писал: «Видно, нынешние господа романтики везде одинаковы, от холодного

Архангельска до пламенного Харькова, по тракту через Петербург и Москву!..» (*Белинский,* т. VIII, с. 360).

[176] Стр. 231. М. П. Погодин уже в 1830 г. «произнес свои обеты об единстве славянского народа и о могуществе России, которая может легко привлечь к себе все его племена» («Московские университетские известия», 1871, № 9, с. 207). В основе идеи Погодина лежало мнение о благотворности подчинения других народов Российской империи. Белинский резко выступал против подобных высказываний Погодина и его единомышленников. В то же время высказывая сочувствие национально-освободительным движениям славян.

[177] Стр. 233. Перевод Я. К. Грота «Из народного эпоса «Калевала» и изложение «Калевалы» в статье «О финнах и их народной поэзии» (1840) отклика Белинского не вызвали. Сравнение «Калевалы» с гомеровским эпосом находится в рецензии на книгу М. Эмана «Главные черты из древней финской эпопеи «Калевалы» (*Белинский,* т. X, с. 272—278). К переводу В. А. Жуковского древнеиндийской поэмы «Наль и Дамаянти» Белинский обращался неоднократно (см.: *Белинский,* т. VIII, с. 112, 113, 338, 346, 347, 474).

[178] Стр. 234. В «Северной пчеле», 1846, № 22, 26 января в ответ на выход «Физиологии Петербурга» и «Петербургского сборника».

[179] Стр. 234. Пропуск в нумерации. Видимо, далее должны были идти главы XXI и XXII, посвященные «натуральной школе» и гоголевскому направлению в русской литературе.

[180] Стр. 236. Анненков цитирует письмо Гоголя не совсем точно.

[181] Стр. 237. *Московская партия* — круг М. П. Погодина и С. П. Шевырева.

[182] Стр. 238. Анненков сравнивает Гоголя с пророками Ветхого завета, чьи обличения носили страстный, непримиримый характер.

[183] Стр. 240. Анненков цитирует письмо Гоголя с пропусками и небольшими неточностями.

[184] Стр. 241. Анненков имеет в виду Пушкина и его стихотворение «Поэт».

[185] Стр. 241. В 1847 г. Анненков получил четыре письма Гоголя: от 12 августа, от 31 августа, от 7 сентября и от 20 сентября.

[186] Стр. 242. Цитата из письма Гоголя Н. Я. Прокоповичу от 29 марта, вероятно, 1850 г. (в 1848 г. Гоголь не был в Москве). Курсив Анненкова.

[187] Стр. 243. Под редакцией И. В. Киреевского вышло всего

три книжки «Москвитянина»: № 1, 2 и 3 за 1845 г., после чего журнал снова перешел в ведение Погодина. Проясняя свою позицию, перед тем как взяться за редактирование «Москвитянина», Киреевский писал А. С. Хомякову: «Может быть, вы считаете меня заклятым славянофилом и потому предлагаете мне «Москвитянина»? То на это я должен сказать, что этот славянофильский образ мыслей я разделяю только отчасти, а другую часть его считаю дальше от себя, чем самые эксцентричные мнения Грановского» («Русский архив», 1909, № 2, с. 113). Западники на первых порах сочувственно отнеслись к переходу «Москвитянина» в руки Киреевского. Велись переговоры об участии «московского кружка» в журнале (см.: *Герцен,* т. II, с. 389). Вскоре, однако, это намерение было оставлено. 20 ноября 1844 г. Герцен записывает в дневнике: «Более и более расхожусь со славянами» (*Герцен,* т. II, с. 390), а Н. М. Языков пишет брату, А. М. Языкову, об участии Герцена и его друзей в «Москвитянине»: «Даже Грановский обещал свою статью Ив. Киреевскому. Герцен не дает...» (*ИРЛИ,* 19.4.25. Частично опубликовано в «Летописи жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1850», с. 321).

[188] Стр. 244. Статья С. П. Шевырева называлась «Взгляд русского на современное образование Европы» («Москвитянин», 1841, № 1).

[189] Стр. 246. Анненков ошибается: третья статья И. В. Киреевского была напечатана в мартовском номере «Москвитянина» за 1845 г. и вызвала резко отрицательную оценку Белинского (см.: *Белинский,* т. IX, с. 67—74).

[190] Стр. 246. Речь идет о вышедшей в 1843 г. в Париже книге маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году» («La Russie en 1839»), в которой излагались его впечатления от путешествия по России и осуждалось самодержавие. В России книга была запрещена. Прочитав Кюстина, Герцен записал в дневнике: «Без сомнения, это самая занимательная и умная книга, писанная о России иностранцем. Есть ошибки, много поверхностного, но есть истинный талант путешественника, наблюдателя, глубокий взгляд, умеющий ловить на лету, умеющий по нескольким образчикам догадаться о массе» (*Герцен,* т. II, с. 311).

[191] Стр. 247. Анненков имеет в виду таких художников, как П. Корнелиус, Ю. Шпор фон Каральсфельд и др., работавших главным образом в Мюнхене (Бавария). Их творчество отличалось принципиально эклектичным характером. Они подражали старинной религиозной живописи, античным образцам, старым немецким и итальянским мастерам.

[192] Стр. 248. М. П. Погодин неоднократно провозглашал «смирение» одной из основных добродетелей русского народа. «Народ-

ный характер, — писал Погодин, — кроткий, мирный и терпеливый до крайности» (М. П. Погодин. Историко-критические отрывки, кн. 2. М., 1867, с. 203). В связи с подобными высказываниями Белинский язвительно заметил: «Битва при Калке, битва Донская, нашествие Литвы, наконец, вторжение в Россию полчищ сына судьбы <Наполеона> не стоили нам ни капли крови, и мы отделались от них одними слезами, мы не дрались, а только плакали!!.» (*Белинский,* т. IX, с. 212).

[193] Стр. 249. М. П. Погодин снова стал редактировать «Москвитянин» с четвертого номера 1845 г.

[194] Стр. 250. В действительности взгляды И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, А. С. Хомякова и до периода явного разлада отличались от позиции «официальной народности», которую занимали М. П. Погодин и С. П. Шевырев. Славянофилы не разделяли охранительных идей последних (см.: «Литературные взгляды и творчество славянофилов». М., 1978, с. 68).

[195] Стр. 253. Е. Ф. Корш заикался.

[196] Стр. 253. Имеется в виду П. Г. Редкин, украинец по национальности.

[197] Стр. 253. При Петре I в приказе, находящемся в селе Преображенском, производились допросы.

[198] Стр. 254. Грановский, как и некоторые другие члены «московского кружка», не смог увидеть демократической сущности в протестах Белинского против идеализации народной жизни и русского национального характера (см. примеч. 159).

[199] Стр. 254. В данном случае нет оснований сближать взгляды Грановского на будущее страны со взглядами революционного демократа Герцена. Хотя на протяжении всей своей деятельности Грановский выступал против крепостничества и деспотизма, идеи материализма и социализма всегда оставались ему чужды.

[200] Стр. 254. Имеется в виду очерк «Н. Х. Кетчер» из четвертой части «Былого и дум».

[201] Стр. 257. К. Д. Кавелин в своих работах «Записка об освобождении крестьян в России» (1855) и «Мнение о лучшем способе разработки вопроса об освобождении крестьян» (1857) проявил себя сторонником крестьянского общинного землевладения. Однако в отличие от Герцена, например, он видел в нем не зачатки патриархально-социалистических отношений, но главным образом лишь основу, с помощью которой можно было бы уладить отношения помещиков и крестьян после проведения крестьянской реформы.

[202] Стр. 258. «Письма об Испании» В. П. Боткина были опуб-

ликованы в «Современнике», 1847, № 3, 10, 12; 1848, № 11; 1849, № 1, 11; 1851, № 1.

[203] Стр. 262. «Восклицание» Прудона находится в его книге «Что такое собственность?». Фраза, известная и ранее, получила популярность именно благодаря Прудону. Изречение Вейтлинга содержится в его работе «Гарантии гармонии и свободы». О знакомстве Анненкова с Вейтлингом см. далее с. 293—295.

[204] Стр. 264. О значении и последствиях споров 1845—1846 гг. Герцен писал: «Если бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь, собственно, вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... Какие же могли быть уступки на этом поле?..» (*Герцен,* т. IX, с. 212).

[205] Стр. 264. Книгу Фейербаха «Сущность христианства» («Das Wesen des Christentums») привез из-за границы П. П. Огарев. «Прочитав первые страницы, — вспоминал Герцен, — я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы!» (*Герцен,* т. IX, с. 27).

[206] Стр. 264. Возможно, Н. Х. Кетчером.

[207] Стр. 266. Скрытая цитата из несохравившегося письма Белинского, которое приводит в «Былом и думах» Герцен (*Герцен,* т. IX, с. 164).

[208] Стр. 267. «Письма об изучении природы» публиковались в «Отечественных записках», 1845, № 4, 7, 8, 11; 1846, № 3, 4.

[209] Стр. 267. На упрек в трудном для понимания языке его статей Герцен отвечал в своем дневнике: «Упрекают мои статьи в темноте, — несправедливо, они намеренно затемнены» (*Герцен,* т. II, с. 390).

[210] Стр. 267. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». См. также примеч. 216.

[211] Стр. 268. Повесть П. Н. Кудрявцева «Флейта» была опубликована в «Московском наблюдателе», 1838, ч. XVI, март, кн. I за подписью: А. Н. Белинский писал о повести Н. В. Станкевичу 29 сентября 1839 г.: «...это дивно-*художественное* произведение, в котором вполне исчерпана вся его идея...» (*Белинский,* т. XI, с. 381). Позже Белинский пересмотрел свое отношение к произведениям Кудрявцева и 4 марта 1847 г. писал В. П. Боткину: «Кудрявцев — духовно малолетний, нравственный и умственный недоросль. Это досадно и грустно. Читая его повести, чувствуешь, что они могут быть понятны и интересны только для людей, близких к автору. Вот отчего некогда я с ума сходил от повестей Кудрявцева: я знал и любил его, в нем и в них было много моего, т. е. такого, что было моим коньком. Того конька давно нет —

в повести не те» (*Белинский,* т. XII, с. 347—348). Встреча Белинского с Кудрявцевым, описанная мемуаристом, состоялась, вероятно, в первой половине апреля 1845 г. (см.: Ю. Оксман. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. М., 1958, с. 401, 403).

[212] Стр. 269. Возможно, имеется в виду И. В. Селиванов, неоднократно в 1840-е годы бывавший за границей, знакомый Боткина, Огарева, Герцена, Тучковых, Анненкова, Белинского. Почти все они насмешливо относились к Селиванову. Огарев написал на него эпиграмму. Однако, ближе познакомившись с Селивановым во время совместного пребывания в Германии (в содержательной публикации Б. П. Козьмина «И. В. Селиванов и его письмо из революционной Франции 1848 года» — *ЛН,* т. 67, с. 574—587 — эта поездка Селиванова за границу не учтена), Огарев писал Герцену 13 февраля 1845 г. из Берлина: «В Селиванове столько доброты действительной и благородного стремления, что я могу только уважать его. Он имеет в целом хорошую натуру, и недостатки выкуплены ею» (Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения. М., 1956, с. 369). О Селиванове см. также примеч. 23 и 24 к очерку «Две зимы в провинции и деревне».

[213] Стр. 269. Белинский писал о Шеллинге в статье о «Тарантасе» В. А. Соллогуба: «А этот некогда великий мыслитель, который в молодости дал такое сильное движение развитию человеческой мысли, а в старости вздумал разыграть роль какого-то самозванного пророка, этот Шеллинг, одним словом, — разве он не Дон-Кихот?» (*Белинский,* т. IX, с. 81). 26 марта 1846 г. Белинский предупреждал П. Н. Кудрявцева: «Да хранит Вас судьба от сифилитического влияния шеллингианизма, пиэтистицизма, это пуще всего» (*Белинский,* т. XII, с. 269).

[214] Стр. 269. Роман Герцена «Кто виноват?» был опубликован в «Отечественных записках», 1845, № 12 и 1846, № 4. Отдельным изданием вышел в 1847 г. Оценка романа и характеристика особенностей герценовского дарования находятся в обзорах «Русская литература в 1845 году» и «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

[215] Стр. 270. Речь идет о повести Герцена «Доктор Крупов», опубликованной в «Современнике», 1847, № 9 под названием «Из сочинения доктора Крупова».

[216] Стр. 271. О значении беллетристических произведений Белинский говорил неоднократно, в различные периоды своего развития внося в понятие «беллетристика» новые содержательные моменты (см.: И. Роднянская. Беллетристика и «строгое искусство». — «Литература и современность». М., 1962).

[217] Стр. 271. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский охарактеризовал «Деревню» как «одно из лучших беллетристических произведений» (*Белинский,* т. X, с. 43).

[218] Стр. 272. Белинский писал, предупреждая публикацию «Бедных людей» Достоевского в «Петербургском сборнике»: «...Наступающий г о д , — мы знаем это н а в е р н о е , — должен сильно возбудить внимание публики одним новым литературным именем, которому, кажется, суждено играть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слишком немногим...» (*Белинский,* т. IX, с. 407). Не лишенным драматизма отношениям Белинского и Достоевского посвящено несколько историко-литературных работ. См., напр.: В. Я. К и р п о т и н. Достоевский и Белинский. М., 1976; Н. И. М о р д о в ч е н к о. В. Белинский и литература его времени. М.—Л., 1950, с. 213—283, и др.

[219] Стр. 274. В журнальном тексте далее следовало: «Роман и был действительно обведен почетной каймой в альманахе» («Вестник Европы», 1880, № 4, с. 480). В связи с этим в «Новом времени» (№ 1473) появилась заметка, в которой указывалось, что никакой каймы вокруг «Бедных людей» в «Петербургском сборнике» нет. Редакция «Вестника Европы» отвечала (сам мемуарист был за границей), что «вся существенная сторона рассказа о «кайме» несомненна», но относила его к другому произведению Достоевского — тому, которое должно было появиться в альманахе Белинского «Левиафан» («Вестник Европы», №5, с. 412). По поручению Достоевского, «Новое время» заявило, что «ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы» Анненковым насчет «каймы», не было и не могло быть» («Новое время», № 1515). Хотя вопрос до конца не ясен, все же, видимо, какие-то основания говорить о «кайме» у Анненкова были. Об «особых» требованиях Достоевского писали И. И. Панаев, А. Я. Панаева, Д. В. Григорович, вспоминал И. С. Тургенев.

[220] Стр. 276. Статья «Петербург и Москва» была написана в 1844 г. и опубликована в первой части «Физиологии Петербурга». Направленная в целом против славянофильской доктрины, статья отчасти являлась полемической и по отношению к фельетону Герцена «Москва и Петербург» (1842). Белинский возражал против тех утверждений Герцена, которые могли быть истолкованы как принижение исторической роли Петербурга. «Многие не шутя уверяют, — писал критик, — что это город без исторической святыни, без преданий, без связи с родною страною, город, построенный на сваях и на расчете. Все эти мнения немного уж устарели, и их пора бы оставить» (*Белинский,* т. VIII, с. 393).

[221] Стр. 278. Повесть В. А. Соллогуба «Тарантас. Путевые впечатления» вышла в свет в 1845 г. (полностью; первые семь глав

были напечатаны в 1840 г.). Белинский отозвался на повесть рецензией («Отечественные записки», 1845, № 4) и статьей («Отечественные записки», 1845, № 6).

[222] Стр. 279. В это время Белинский чрезвычайно резко отзывался о шеллингианстве (см. примеч. 213).

Труд Шеллинга «Философия откровения» вызвал критику со стороны Ф. Энгельса. В обзоре «Германская литература» («Отечественные записки», 1843, №1) В. Боткин передал содержание начальных страниц его статьи «Шеллинг и откровение» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 41, с. 173—226).

[223] Стр. 279. Указывающее на общность происхождения. От generatio (лат.).

[224] Стр. 279. Имеются в виду статьи И. В. Киреевского «Обозрение современного состояния словесности» («Москвитянин», 1845, № 1—3).

[225] Стр. 281. Речь идет о следующих изданиях: «Московский сборник», т. I, М., 1852; «Синбирский сборник». М., 1845. Журнал «Русская беседа» издавался в 1856—1860 гг. под редакцией А. И. Кошелева, с 1858 г. фактическим редактором был И. С. Аксаков.

[226] Стр. 281. После смерти Белинского и отъезда Герцена за границу Грановский действительно активизировал свою полемику со славянофилами и отзывался о них чрезвычайно резко даже в частной переписке. 2 октября 1855 г. он писал К. Д. Кавелину: «Эти люди противни мне, как гробы. От них пахнет мертвечиною. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда. Оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории» («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, с. 456—457).

[227] Стр. 282. Статья Д. А. Валуева «Исследование о местничестве» была напечатана в «Синбирском сборнике» (1845). Анненков был знаком с Валуевым, участвовал в разборе его бумаг. Ранняя смерть Валуева вызвала единодушное сожаление. Западники присутствовали при его погребении (см.: Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. VIII. СПб., 1894, с. 237).

[228] Стр. 283. В письмо к А. Н. Пыпину от 25 октября 1874 г. Анненков более тонко и исторически верно объяснил некоторую перемену в отношениях Белинского к славянофильству в середине 40-х годов: «Не то чтоб он почувствовал симпатии к какой-либо части воззрений и решений славянофильства, но он признал, что самая задача их — выставить вперед народ, хотя бы и мечтательный, и заслониться им — правильна. Когда мы выехали с ним из Зальцбрунна в Париж в 1847 г., там вопрос этот под-

нимался в обычном нашем кругу весьма часто и всегда по инициативе Белинского» (*ЛН,* т. 67, с. 553).

[229] Стр. 284. Речь идет о статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года».

[230] Стр. 284. Анненков цитирует статью Белинского с небольшими пропусками. Слова об отношении Белинского к славянофилам выделены мемуаристом.

[231] Стр. 286. Речь идет о столкновении переводчика А. И. Кронеберга с издателем «Отечественных записок» А. А. Краевским (см.: Н. Н. Тютчев. Мое знакомство с Белинским. — В кн. «В. Г. Белинский в воспоминаниях современников». М., 1977, с. 471—472).

[232] Стр. 286. Решение уйти из «Отечественных записок» было принято Белинским в конце 1845 г. (*Белинский,* т. XII, с. 252), но осуществить его удалось лишь в апреле 1846 г., когда была сдана последняя статья о «Сочинениях Александра Пушкина» (напечатана в «Отечественных записках», 1846, № 10).

[233] Стр. 286. Об эстетических взглядах и идейной позиции В. Н. Майкова см.: Т. И. Усакина. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Саратов, 1965.

[234] Стр. 287. Имеется в виду задуманный Белинским альманах «Левиафан». Для него дали свои произведения Герцен («Доктор Крупов» и «Сорока-воровка»), Гончаров («Обыкновенная история»), М. С. Щепкин («Из записок артиста») и др. Впоследствии материалы, собранные для «Левиафана», были опубликованы в «Современнике».

[235] Стр. 287. К тому времени Некрасов выпустил сборники: «Статейки в стихах без картинок» (1843), «Физиология Петербурга» (в 2-х томах, 1845), «Петербургский сборник» (1846), «Первое апреля» (1846).

[236] Стр. 287. Мысль о приобретении журнала возникла у Некрасова и И. И. Панаева, когда они гостили в имении Г. М. Толстого Ново-Спасское Казанской губернии. «Я возбуждал вопрос об издании журнала, — вспоминал Некрасов. — Дело остановилось за деньгами. Панаев заявил, что у него есть 25 000 рублей свободного капитала. Толстой обещал ссудить также 25 000. Тогда я поспешил в Петербург. Журнал «Сын отечества» умирал, издатель его Масальский был в это время в Ревеле. Я ездил к нему, но дело ни к чему не привело, тогда я пошел к Плетневу — издателю «Современника», начатого Пушкиным в 1836-м году. Плетнев легко согласился, уступил мне и Панаеву журнал...» (*Некрасов,* т. XII, с. 14). В числе тех, кто дал средства на издание, была Н. А. Герцен. Идейным руководителем журнала стал Белинский,

который не был, однако, включен в число «дольщиков», что вызвало потом обвинения Анненкова, Тургенева, Кавелина и некоторых других в адрес Некрасова об устранении Белинского от руководства журналом (см.: В. Е. Евгеньев-Максимов. «Современник» в 40—50 гг. От Белинского до Чернышевского, Л., 1934).

[237] Стр. 288. Встреча Анненкова с Герценом произошла весной 1847 г. 25 марта Анненков писал Белинскому: «Герцен сейчас приехал... Я очень ему рад» (Белинский. Письма, т. III, СПб, 1914, с. 368).

[238] Стр. 288. Для получения заграничного паспорта Герцену необходимо было добиться снятия полицейского надзора.

[239] Стр. 288. Герцен с семьей прибыл в Париж 25 марта 1847 г.

[240] Стр. 289. Мемуарист несправедлив к Н. А. Герцен. Напротив, именно она в своих письмах в Москву обижалась, что друзья не отвечают. 3 мая 1847 г. она писала Т. Астраковой: «...А меня удивляет, как ни в ком нет потребности хоть слово сказать в ответ на несколько писем Александра <Герцена>. Непостижимо!» (*Герцен,* т. XXIII, с. 25).

[241] Стр. 290. Журнал «L'Atelier» выходил с 1840 по 1850 г. под редакцией Карбона и Бюше. Об отношении Анненкова к органам рабочей печати см.: «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия». М., 1967, с. 128.

[242] Стр. 291. И. Головин издал за границей несколько брошюр по вопросам истории и политической экономии. За исключением книги «Россия при Николае I» (1845) значение деятельности Головина ничтожно: с подлинно революционной эмиграцией он не имел ничего общего.

[243] Стр. 291. Клубы (от лат. concilium — собрание).

[214] Стр. 291. Речь идет о Григории Михайловиче Толстом. Пренебрежительная характеристика, которую дает ему Анненков, вероятно, не совсем справедлива (см.: К. Чуковский. Люди и книги. М., 1958, с. 42—45), однако прожектерство, как одно из основных свойств натуры Г. М. Толстого, видимо, замечено им верно. Так, Ф. Энгельс писал о нем 16 сентября 1846 г.: «...наш благородный Толстой, навравший нам, будто он хочет продать в России свои имения» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, с. 42).

[245] Стр. 291. Читавший «Замечательное десятилетие» (по «Вестнику Европы», 1880, кн. 1—5) К. Маркс сделал пометку на полях против этой фразы: «C'est un mensonge! II n'a dit rien de la sorte. Il m'a dit au contraire qu'il retournerait chez lui pour le plus grand bien de ses propres paysans! Il avait même la naïveté de m'inviter d'aller avec lui» («Это выдумка! Он не говорил ничего

подобного. Напротив, он сказал мне, что вернется к себе для величайшего блага своих собственных крестьян! Он даже имел наивность пригласить меня поехать вместе с ним!» — «Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса». М., 1979, с. 27).

[246] Стр. 292. Г. М. Толстой умер в селе Левашеве Спасского уезда Казанской губернии (К. Чуковский. Люди и книги, с. 43).

[247] Стр. 292. О знакомстве Анненкова с К. Марксом см. вступит. статью.

[248] Стр. 295. К. Маркс и Ф. Энгельс приехали в Париж в начале марта 1848 г. с целью организовать там Центральный комитет Союза коммунистов.

[249] Стр. 295. Книга Прудона «Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère» («Система экономических противоречий, или Философия нищеты»), (1846) вызвала большой интерес, в том числе и в России. 1 ноября 1846 г. Анненков обратился к Марксу с просьбой высказать свое мнение о книге Прудона. Маркс ответил ему большим письмом от 28 декабря 1846 г. из Брюсселя. Переписка Анненкова с Марксом опубликована в кн.: «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия». М., 1967, с. 127—146. Известны 6 писем Анненкова к Марксу (от 8 мая, 2 июня, 30 сентября, 1 ноября 1846 г., от 6 января и 8 декабря 1847 г.) и 2 письма Маркса к нему (от 28 декабря 1846 г. и от 9 декабря 1847 г.).

[250] Стр. 296. Прочитав этот отрывок, К. Маркс подчеркнул слова от «той сантиментальности» до «Фурье» и приписал сбоку: «J'ai écrit tout à fait le contraire de ce qu'il me fait dire sur Fourier! C'est Fourier qui le premier a persiflé l'idéalisation de la petite bourgeoisie» («Я писал совершенно противоположное тому, что он приписывает мне относительно Фурье! Ведь именно Фурье первый осмеял идеализацию мелкой буржуазии». — «Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса», с. 27).

[251] Стр. 297. В действительности речь может идти либо о незавершенной работе К. Маркса «Критика политики и политической экономии», либо о «Нищете философии».

[252] Стр. 297. Стремлений (лат. — aspiratio).

[253] Стр. 298. «Письма из Avenue Marigny» («Современник», 1847, № 10, 11).

[254] Стр. 299. Речь идет о книге Герцена «С того берега» (1847—1850).

[255] Стр. 299. В письме третьем «Писем из Avenue Marigny» Герцен анализирует пьесу Ф. Пиа «Парижский ветошник».

[256] Стр. 301. Письмо частично опубликовано в кн.: *Анненков*

и его друзья, с. 550—554. Анненков цитирует письмо не совсем точно.

[257] Стр. 301. Анненков имеет в виду книгу «С того берега», точнее, статьи «Россия» и «Письмо русского к Маццини», входившие в первое издание книги (1850).

[258] Стр. 302. Речь идет о повести «Долг прежде всего». Начало повести было послано Герценом в Россию в редакцию «Современника». Однако, публикация ее, как и пишет Анненков, была сочтена невозможной. Вышла в 1854 г. в составе сборника «Прерванные рассказы Искандера» (Лондон).

[259] Стр. 302. *Польский мессианизм* — учение об особой роли Польши в истории народов. Идеи мессианизма разделял, в частности, А. Мицкевич. Теоретиком мессианизма был А. Товянский.

[260] Стр. 303. Речь идет о статье М. Бакунина «Die Reaction in Deutschland» («Реакция в Германии»), опубликованной в «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst» («Немецкие ежегодники науки и искусства»), 1842, № 247—251, 17—21 октября, под псевдонимом «Jules Elysard». Не зная еще, кто скрывается под псевдонимом, Герцен записывал в дневнике 7 января 1843 г.: «В одном из последних № была статья... о современном духе реакции в Германии. Художественно-превосходная статья... Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обладанием симпатий в настоящем и всего мира в будущем...» (*Герцен,* т. II, с. 256—257). Веру в духовное обновление Бакунина высказал в связи с этой статьей и Белинский (см.: *Белинский,* т. XII, с. 114).

[261] Стр. 305. «Речь», о которой упоминает мемуарист, Бакунин произнес 18 ноября 1847 г. (см.: М. А. Бакунин. Собр. соч. и писем, т. 3. М., 1935, с. 270—279).

[262] Стр. 306. Декрет о высылке из Франции Бакунина был принят 9 декабря 1847 г., а не на третий день после произнесения им речи (см. примеч. 261).

[263] Стр. 306. Об этом см. в <гл. IV> «М. Бакунин и польское дело» части седьмой «Былого и дум» Герцена.

[264] Стр. 307. Имеется в виду труд И. Лелевеля «История Польши» (1846—1868).

[265] Стр. 308. Письмо из Брюсселя датировано 28 декабря 1847 г. и адресовано самому Анненкову (см.: *Анненков и его друзья,* с. 620—622). Анненков цитирует письмо не совсем точно, курсив принадлежит ему.

[266] Стр. 309. К. Маркс много лет вел борьбу с анархизмом и раскольнической деятельностью М. А. Бакунина в I Интернационале. В сентябре 1872 г. Гаагский конгресс Международного товарищества рабочих исключил Бакунина из Интернационала.

[267] Стр. 309. М. А. Бакунин вернулся в Париж 26 февраля 1848 г.

[268] Стр. 310. О своей семейной драме Герцен рассказал в пятой части «Былого и дум». При жизни Анненкова соответствующие главы, однако, не были опубликованы, познакомиться с ними другим путем он пытался, но не смог, поэтому рассказ Анненкова основывается главным образом на том, что ему удалось узнать от тех, кому Герцен давал читать «самые интимные» страницы своей книги. Вероятнее всего, Анненков слышал пересказ их от И. С. Тургенева.

[269] Стр. 311. Имеется в виду примечание, сделанное Мишле к своей статье «Польша и Россия. Легенда о Костюшко» из цикла «Демократические легенды Севера» (1851).

[270] Стр. 311. Большая морская раковина.

[271] Стр. 312. М. Ф. Корш выехала за границу вместе с семьей Герцена, но вскоре вернулась обратно в Россию. Обзор ее переписки с Герценами см.: *ЛН,* т. 63, с. 430—441.

[272] Стр. 314. Герцен и его жена много размышляли над причиной подобных недоразумений между ними и московскими друзьями. Н. А. Герцен писала в своем дневнике: «Иногда в бедности есть столько жестокости, гордости, столько неумолимого, как будто в отмщение (по кому в отмщение?) за то, что другие имеют больше средств...» (*Герцен,* т. IX, с. 274). Судя по воспоминаниям Т. А. Астраковой, ссоры па этой почве носили иной раз серьезный характер.

[273] Стр. 314. В. А. Жуковский ходатайствовал о возвращении Герцена из вятской ссылки в 1837 г. См. гл. XVII части второй «Былого и дум».

[274] Стр. 315. Н. А. Герцен писала о значении личности Огарева для себя и для Герцена: «Жизнь этого человека драгоценна для нас, он необходим для жизни и необходим для полноты нашего существования» («Русская мысль», 1904, № 10, с. 52).

[275] Стр. 315. О пережитом ею нравственном перевороте Н. А. Герцен писала 2 октября 1846 г. мужу: «Да, Александр, совершеннолетие настало, я это ярко чувствую, романтизм с неопределенною тоскою... с поющею, страждущею любовью ко всему — отлетел, и навсегда» («Русская мысль», 1904, № 9, с. 158), В очерке «Идеалисты 1830-х годов» Анненков писал о «силе воли и характере» Н. А. Герцен, «поразительных в этом мягком, нежном существе, никогда не возвышавшем голоса и проходившем через жизнь едва слышными шагами... Надо прибавить, что она сохранила тихую свою улыбку, грацию и изящество всего существа своего до последнего дня жизни» (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. СПб., 1909, с. 116—117).

[276] Стр. 316. Анненков имеет в виду расхождения, существовавшие между Герценом и революционерами-демократами 60-х годов. О характере разногласий см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 534—571.

[277] Стр. 317. См. примеч. 240.

[278] Стр. 320. «Записками» Анненков везде называет «Былое и думы».

[279] Стр. 321. Подобные мотивы действительно часто звучали в произведениях и письмах Герцена начала 50-х годов. 7 августа 1852 г. он писал из Женевы московским друзьям: «За одно объятие теплое, братское с вами отдал бы годы...» (*Герцен,* т. XXIV, с. 319). И 5 сентября 1853 г., уже из Лондона, им же: «Одно завещал бы я вам — детей. Я верю в Россию и люблю ее, я не хочу, чтоб они были иностранцами» (*Герцен,* т. XXV, с. 111).

[280] Стр. 322. В. П. Боткин женился на Арманс Рульяр в 1843 г. См. рассказ о его женитьбе в «Былом и думах» Герцена («Эпизод из 1844 года» — приложение к части четвертой).

[281] Стр. 324. О болезни Белинского В. Боткин писал Анненкову 20 ноября 1846 г. (*Анненков и его друзья,* с. 523). Тогда же Боткин начал сбор средств на поездку Белинского для лечения за границу. Анненков не только принял участие в подписке, но и вызвался сопровождать Белинского в Силезию, отказавшись от намеченной поездки в Грецию и Константинополь. Белинский был очень тронут поступком Анненкова (*Белинский,* т. XII, с. 341—342).

[282] Стр. 324. В феврале 1847 г. сбор средств на поездку Белинского был уже почти завершен (см.: *ЛН,* т. 56, с. 187).

[283] Стр. 324. Белинский выехал из Петербурга 5/17 мая 1847 г. С И. Тургеневым он встретился не в Штеттине, а в Берлине (*Белинский,* т. XII, с. 362—369).

[284] Стр. 324. Анненков приехал в Зальцбрунн 29 мая/10 июня 1847 г. и пробыл с Белинским до конца его лечения (*Белинский,* т. XII, с. 368, 372).

[285] Стр. 326. И. С. Тургенев действительно побывал за это время в Лондоне. С Белинским он снова встретился в Париже (*Белинский,* т. XII, с. 380, 388).

[286] Стр. 330. Письмо от 13 апреля 1874 г. («Интернациональная литература», 1939, № 1, с. 227, с ошибочной датой: 19 апреля). Об этом отзыве Ж. Санд Тургенев сообщил М. М. Стасюлевичу в письме к нему от 4/16 апреля из Парижа (*Тургенев. Письма,* т. X, с. 225).

[287] Стр. 330. Речь идет, вероятно, не о поездках в Ноган (с Ж. Санд Тургенев сблизился позднее описываемого времени), а о поездках к П. Виардо в Куртавнель.

[288] Стр. 333. И. С. Тургенев опубликовал в первых номерах «Современника» ряд критических и публицистических произведений. Среди них: рецензия «Генерал-поручик Паткуль. Трагедия в пяти действиях». Соч. Н. Кукольника», «Письмо из Берлина» и др.

[289] Стр. 334. Действительной причиной ареста Тургенева, как считал и он сам, были его «Записки охотника».

[290] Стр. 334. Александр II.

[291] Стр. 337. В связи со своей статьей о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» Белинский писал В. П. Боткину 28 февраля 1847 г.: «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи. Ты говоришь, что статья «написана без довольной обдуманности и несколько сплеча, тогда <как> за дело надо было взяться с тонкостью»... Эффект этой книги был таков, что Никитенко, <ее> пропустивший, вычеркнул у меня часть выписок из книги, да еще дрожал и за то, что оставил в моей статье. Моего он и цензора вычеркнули целую треть, а в статье обдуманной помарка слова — важное дело» (*Белинский,* т. XII, с. 339—340).

[292] Стр. 337. Анненков имеет в виду усиление общественно-политических требований, предъявляемых Белинским литературе.

[293] Стр. 338. Журнальный текст рецензии Белинского на третью часть «Воспоминаний» Ф. В. Булгарина сильно отличается от рукописного, что было замечено Н. Кетчером при издании собрания сочинений Белинского в 1861 г. Анненков полагал, что рецензия была отредактирована в неприемлемом для Белинского направлении В. Боткиным (см. письмо Анненкова к А. Пыпину от 12 июля 1874 г. — *ЛН,* т. 67, с. 551).

[294] Стр. 339. Белинский познакомился с запрещенной в России книгой Макса Штирнера «Единственный и его достояние» (1845) в начале 1847 г. Краткий обзор русских откликов на идеи Штирнера см.: Н. О т в е р ж е н н ы й (Н. Г. Булычев). Штирнер и Достоевский. М., 1925.

[295] Стр. 343. Свое впечатление от «Сикстинской мадонны» Рафаэля Белинский высказал в письме к В. П. Боткину от 7/19 июля 1847 г.: «Это не мать христианского бога, это аристократическая женщина, дочь царя...» (*Белинский,* т. XII, с. 384). Белинский повторил это мнение в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (*Белинский,* т. X, с. 308, 309).

[296] Стр. 344. Проекты крестьянской реформы выдвигались министром внутренних дел Л. А. Перовским и министром государственных имуществ П. Д. Киселевым. Открыто признал не-

обходимость освобождения крестьян Николай I в своей речи на приеме депутатов смоленского дворянства 18 мая 1847 г.

[297] Стр. 345. В связи с революционными событиями на Западе в 1848 г. резко усилился цензурный гнет в России. Особое внимание было обращено на деятельность Белинского и «натуральной школы» (см.: М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов. СПб., 1909, с. 177).

[298] Стр. 346. Анненков в отличие от Герцена, Чернышевского, Добролюбова хотел видеть и видел в Белинском человека не столько революционных, сколько либеральных убеждений.

[299] Стр. 353. См. гл. XXIII «Замечательного десятилетия».

[300] Стр. 353. О встречах с Гоголем в 1846 г. в Париже см.: «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года».

[301] Стр. 354. Письмо, посланное Гоголем из Франкфурта, Белинский получил 12 июля 1847 г. Через несколько дней, 15 июля, ответ Белинского был готов.

[302] Стр. 355. Письмо Белинского произвело на Гоголя огромное впечатление. Сохранилось несколько вариантов его ответного письма. Огорченный «ожесточением» Белинского, Гоголь в письме к Белинскому писал: «Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды» (*Гоголь,* т. XIII, с. 360).

[303] Стр. 355. Встреча состоялась 17 июля 1847 г.

[304] Стр. 358. См. примеч. 295.

[305] Стр. 362. Имеется в виду письмо Белинского от 7/19 июля 1847 г. В. Боткину (см. примеч. 306.) В письме была приписка Анненкова.

[306] Стр. 363. Это письмо В. П. Боткина от 19/31 июля является ответом на письмо Белинского от 7/19 июля 1847 г. из Дрездена. Последняя фраза в цитации Анненкова относится к запрещению печатать в «Современнике» продолжение романа Ж. Санд «Пиччинино». Книга Л. Блана — «История десяти лет». Анненков приводит письмо Боткина с большими сокращениями, в частности, опуская рассуждения Боткина об исторической роли буржуазии, тема, которая в ближайшее же к описываемым событиям время стала одной из главных в дискуссиях передовых кругов русской интеллигенции (см.: *Анненков и его друзья,* с. 541—545).

[307] Стр. 363. Белинский был, вероятно, ошеломлен неожиданностью. И действительно, поводом к началу революционных действий было происшествие малозначительное (см. примеч. 132).

[308] Стр. 365. От 10 августа 1847 г.

[309] Стр. 365. Белинский выехал из Парижа 11/23 сентября 1847 г.

[310] Стр. 367. Из письма Белинского к Анненкову от 17/29 сентября 1847 г. (*Белинский,* т. XII, с. 398—403).

МОЛОДОСТЬ И. С. ТУРГЕНЕВА
1840—1856

Впервые — «Вестник Европы», 1884, № 2, с. 449—473.

Деятельность Анненкова как биографа Тургенева, публикатора, комментатора его писем и мемуариста началась в основном после смерти писателя. При жизни Тургенева Анненков писал о нем преимущественно как литературный критик, выступая со статьями о его произведениях. Анненков пережил Тургенева на три с половиной года. За это небольшое время им были написаны некролог, воспоминания, начата публикация писем к нему Тургенева с историко-литературными комментариями. Очерк «Молодость И. С. Тургенева» был, очевидно, только началом задуманного, но не вполне осуществленного мемуарного труда — Анненков спешил опубликовать то, что он считал наиболее ценным, — письма самого Тургенева, и его личные воспоминания отступили на второй план (см. в наст. изд. второй очерк о Тургеневе — «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым»; третий очерк — «Из переписки с И. С. Тургеневым в 60-х годах», по существу, представляет собою просто публикацию писем с короткими повествовательными связками и поэтому не включен в настоящий сборник).

Очерк «Молодость И. С. Тургенева» был начат Анненковым вскоре после смерти Тургенева (22 августа/3 сентября 1883 г.) и окончен в декабре 1883 г. Можно сказать с уверенностью, что в ту пору Анненков среди своих современников располагал наибольшей полнотой сведений о Тургеневе и имел перед ними несомненные преимущества.

Анненков знал Тургенева на протяжении сорока лет, сначала — на расстоянии, затем их отношения становились все более близкими и доверительными. В наброске продолжения «Замечательного десятилетия» — «Две зимы в провинции и деревне. С генваря 1849 по август 1851 года», — Анненков с равным беспристрастием к себе и к Тургеневу дал анализ их отношений в 1850-м и в последующие годы: «Человек этот выработывал себе нравственный характер с чрезвычайным трудом. Он явился из Парижа такой амальгамой любезнейших качеств души и ума с ребяческими пороками — лжи, кокетничанья собою и вранья при всяком случае, что не давал возможности остановиться на себе с определенным чувством и определенным суждением. Мы были тогда далеко не друзьями; одно время он даже положительно возымел отвращение ко мне, благодаря моей нескрываемой подозрительности к каждому его слову и движению и особенно к тем, которым он хотел придать вид искренности и увлечения.

Я был груб и не прав перед ним; он мстил мне насмешками и эпиграммами, что было только неприятно по радости, которую доставляло общим противникам нашим. Только после многих годов сменяющегося благорасположения и холодности мы поняли, что есть какая-то непреодолимая связь, мешающая нам разойтись хладнокровно в разные стороны».

Анненков в этой оценке является суровым критиком — и Тургенева, и самого себя. Дружеские отношения их сложились не сразу, позже, чем обнаружилась потребность постоянного общения. С осени 1852 года начинается регулярная переписка Тургенева с Анненковым; известно свыше 400 писем Тургенева к Анненкову, несколько меньше сохранилось ответных. Во время ссылки, в Спасском-Лутовинове, Тургенев узнает от Анненкова о столичных литературных новостях и событиях в дружеском кругу, за границей получает от него вести о России. «В ваших письмах наш брат, живущий в отдалении, щупает пульс своей страны и общества», — писал Тургенев Анненкову 19/31 января 1858 г. из Рима (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 191). Но главный интерес этого эпистолярного цикла заключается в том, что через него проходит история создания, публикации всех произведений Тургенева и их обсуждения читателями и критикой. Тургенев постоянно посылает Анненкову свои новые произведения «на суд и просмотр» — в рукописях и корректурах.

Высокое мнение об Анненкове-критике, его эстетическом чутье и одновременно вера в его доброжелательность, такт и человеческое понимание побуждают Тургенева не только давать ему на прочтение свои произведения, но и делиться замыслами и творческими намерениями. Тургенев сравнивал Анненкова с критиком Мерком — другом Гете: «При всей остроте взгляда, доходившей у него до нестерпимой едкости выражения — он был очень добродушен и главное — бескорыстно и с любовью отыскивал и поощрял все, что ему казалось дельным. У Вас есть некоторые черты Мерка — по крайней мере, я не знаю никого, кому бы я больше верил в нынешнее время...» — письмо от 21 апреля/3 мая 1853 г. (*Тургенев. Письма,* т. II, с. 145). Мнение об Анненкове как о самом высоком литературном ценителе Тургенев сохранил до конца жизни; «я Вашему критическому чувству почти слепо верю», — пишет он 22 ноября/4 декабря 1880 г. (*Тургенев. Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 15). Смена в творчестве Тургенева «старой манеры», подступы к первому роману, продолжение ранее законченного цикла «Записки охотника», начало нового цикла «Стихотворения в прозе» — все это вопросы, которые Тургенев обсуждал прежде всего с Анненковым. К нему же Тургенев обратился в мае 1882 г. с письмом, доверяя распорядиться рукописями и кор-

респонденцией после своей смерти. Хотя дело устроилось иным образом, Анненков имел доступ к архиву писателя.

Таким образом, как мемуарист и биограф Тургенева, Анненков сочетал в себе черты постоянного конфидента, литературного советника, критика, исследователя; с высоты современных требований науки можно, конечно, посчитать Анненкова дилетантом и отыскать у него фактические ошибки, но для своего времени он стоял на уровне задачи. Тем не менее при обдумывании будущего очерка перед Анненковым встали трудности разного порядка. 12/24 октября 1883 г. он писал М. М. Стасюлевичу: «Переписка Тургенева, разобранная мною еще на месте, напоминает некоторые обстоятельства его жизни — это ее единственная заслуга — но света на его личность проливает мало. Она вся состоит из поручений да из таких суждений и приговоров о людях, которые хотя и понятны в его положении, но в публику и в печать не годятся. Придется шарить в собственных воспоминаниях и в них искать настоящего ключа к его образу мыслей» (*Стасюлевич,* т. III, с. 419).

Труден был не только процесс обобщения многочисленных фактов. Вопрос об их отборе требовал от автора обдуманной этической позиции. С одной стороны, Анненков считал долгом и достоинством мемуариста безусловную правдивость. Несколько месяцев спустя он так формулирует это в своих советах В. Н. Житовой, автору воспоминаний о Тургеневе: «Не очень предавайтесь господствующей в Вас страсти — к уничтожению, сокращению, ослаблению фактов. Все это должно непременно повредить искренности...» (письмо от 1/13 марта 1884 г. — *ЦГАЛИ,* ф. 7, оп. I, ед. хр. 3). С другой стороны, он сам воспринимал собственный ход изложения как некое «разоблачение» Тургенева. «Вы негодуете на Берга, — писал он Стасюлевичу, прочитав воспоминания Н. В. Берга о Тургеневе, — но что же Вы скажете о моей статье: ведь в ней намереваюсь разоблачить проделки его молодости — совершенно откровенно» (*Стасюлевич,* т. III, с. 423). Анненков опасался, как бы его «откровенное писание» не было принято за «диффамацию», и то, что Тургенева не было в живых, лишь повышало меру ответственности.

Решению этического вопроса помогли два обстоятельства. Тенденция к саморазоблачению была свойственна самому Тургеневу и проявилась в его автобиографических произведениях — таких, как «Пунин и Бабурин», и в мемуарах — например, в очерке «Пожар на море». Тургенев сделал объектом художественного изображения себя молодого, со всеми присущими ему тщеславием, малодушием и прочими качествами и тем самым облегчил другим эту задачу. Кроме того, «разоблачения» были начаты

Анненковым отчасти еще при жизни Тургенева, что давало ему как бы моральное право на продолжение воспоминаний в плане свободного рассказа о нравственном усовершенствовании личности его друга.

Первое эссе о молодом Тургеневе Анненков ввел в главу XXXIV «Замечательного десятилетия», появившуюся впервые в пятой книжке «Вестника Европы» за 1880 г. В мемуарной литературе о Тургеневе эта глава «Замечательного десятилетия» представляет довольно редкий случай оценки писателя как человеческой индивидуальности при его жизни.

Естественно, что вопрос о том, как отнесется к этой характеристике Тургенев, тревожил Анненкова и редактора журнала «Вестник Европы». Стасюлевич взял на себя дипломатическую миссию ознакомления Тургенева с относящимися к нему страницами «Замечательного десятилетия» и сообщил Анненкову об успехе поездки. «Слава богу, что дело обошлось благополучно в Париже с «Записками», — писал Анненков Стасюлевичу 21 сентября/3 октября 1879 г., — и один герой, в них упоминаемый, не нашел ничего вредного для своего имени и образа добывания себе славы трудом, а до других героев мне и дела нет» (*Стасюлевич,* т. III, с. 372). От Тургенева Анненков не сразу получил одобрение своих воспоминаний и был обеспокоен его молчанием. Наконец пришло письмо с разнообразными эмоциями: Тургенев открыто польщен, он отдает должное достоверности воспоминаний и такту изложения, вместе с тем он несколько задет, хотя и старается скрыть это за непринужденным тоном. «Стасюлевич был здесь перед отъездом в Петербург, — писал Тургенев Анненкову 26 сентября/8 октября 1879 г. из Буживаля, — и читал мне те места из Ваших воспоминаний, где дело идет обо мне. Я очень умилился и несколько удивился: ведь вот друг — а как глубоко запускает пальцы в душу... и ничего! Не больно. И фактически все верно. Спасибо также за то, что Вы не указали на один (и главнейший) мотив моих тогдашних поступков, внезапных отъездов и т. п. Он в публичность не годится» (*Тургенев. Письма,* т. XII, кн. 2, с. 135). Тургенев благодарил этим самым Анненкова за умолчание о Полине Виардо и его привязанности к ней и вместе с тем подчеркивал важность этого «мотива» для объяснения его неожиданных поступков.

Когда «Замечательное десятилетие» было опубликовано, Тургенев еще раз признал глубокую достоверность очерка о нем: «Прочел я статью Анненкова в «Вестнике Европы»! Это просто чудесно. Меня он вывернул, как перчатку, показав мне самому все мое сокровенное» (письмо к М. М. Стасюлевичу от 7/19 мая 1880 г. — *Тургенев. Письма,* т. XII, кн. 2, с. 248).

В очерке «Молодость И. С. Тургенева» акценты переместились по сравнению с первым эссе Анненкова. Тургенев выдвинут на центральное место. Пафос начальных страниц состоит в утверждении славы писателя и единства передовых людей России и Запада в его признании. Анненков, разумеется, понимал, что апофеоз Тургенева после его смерти только внешне звучал как единый хор; на самом деле за этим скрывалась ожесточенная борьба разных направлений, каждое из которых старалось приобщить Тургенева к своему лагерю (см. об этом в обзоре Л. Р. Ланского «Последний путь. Отклики русской и зарубежной печати на смерть и похороны Тургенева» — *ЛН,* т. 76, с. 633—701). Но Анненков придал началу очерка некрологически-торжественный характер, подчеркнув прежде всего мировое значение Тургенева.

Обратившись затем к молодости писателя, Анненков постарался показать, как складывалась его личность. Свое понимание логики внутреннего развития Тургенева Анненков сформулировал ранее в речи, произнесенной им 28 сентября 1883 г. на вечере памяти Тургенева («Неделя», 1883, № 40, 2 октября, подборка «Литературные поминки Тургенева», стлб. 1321—1324). Молодость Тургенева прошла в «жизненной борьбе», которая была скрыта от посторонних глаз; масса ложных средств употреблялась им «для приобретения себе вида свободного, независимого человека». К 1852 г. он и в самом деле стал другим человеком. Причина этой перемены заключалась в способности Тургенева к постоянному «размышлению» и работе над собой, в которой проявилась его «тайная, невидимая» воля. В жизни Тургенева, по мнению Анненкова, все концентрировалось вокруг этой главной нравственной задачи «самовозвышения, воспитания и просветления себя».

То же понимание личности Тургенева, взятой в развитии, легло в основу очерка «Молодость И. С. Тургенева». Анненков для того и ввел в него «разоблачения», очертив мелкие качества молодого Тургенева, чтобы был виден путь, пройденный им затем, и результаты неустанной внутренней работы. Рассказ о молодости писателя приобрел значение высокого примера нравственного самовоспитания.

[1] Стр. 369. О комплиментарном отзыве Ж. Санд о рассказе «Живые мощи» см. примеч. 286 к очерку «Замечательное десятилетие».

[2] Стр. 370. Анненков писал Тургеневу под впечатлением от мемуаров Ламартина: «Я своим глазам не верил, читая в последнем томе «Сувениров и портретов» Ламартина статью: «Иван Тургенев». Должно быть, я уже отвык от французской фразеологии. Что это такое? <...> «он, Тургенев, соединяет воинствен-

ность и суровость скифа с мягкостию и податливостию славянина!» А потом — «высокий лоб его, Тургенева, осененный густыми волосами, походит на древний храм в тени священной рощи!» (письмо от 14 октября 1872 г. — «Русское обозрение», 1898, № 5, с. 12—13). Тургенев ответил Анненкову 5/17 октября 1872 г. (*Тургенев. Письма,* т. IX, с. 347—348). Очерк Ламартина о Тургеневе был напечатан в его книге: A. L a m a r t i n e. Souvenirs et portraits, t. III. Paris, 1872, p. 339—345. О знакомстве Тургенева с Ламартином см. в статье М. П. Алексеева «Мировое значение «Записок охотника» (в кн.: «Творчество И. С. Тургенева». М., 1959, с. 91—96).

[3] Стр. 370. Пьеса «Нахлебник» была переведена Л. Пичем на немецкий язык не с русского языка, а с французского перевода и поставлена впервые 2 ноября н. ст. 1883 г. во Франкфурте-на-Майне (см. *Тургенев. Письма,* т. XII, кн. 2, с. 346 и 419).

[4] Стр. 371. Тургенев окончил в июне 1836 г. С.-Петербургский университет; весной 1838 г. он отправился, по его выражению, «доучиваться в Берлин» («Автобиография» — *Тургенев. Сочинения,* т. XV, с. 207).

[5] Стр. 371. 15/27 мая 1838 г. Тургенев выехал за границу на пароходе «Николай I», который сгорел в ночь на 19/31 мая поблизости от Травемюнде. О катастрофе распространились слухи, для Тургенева крайне нелестные. Дошли они и до В. П. Тургеневой, которая выговаривала в письмо к сыну: «Никогда ты минуты не подумаешь, где ты! — Не посмотришь, что делается около тебя, чего требует пристойность. Например, почему могли заметить *на пароходе* одне твои ламантации... Слухи всюду доходят! — и мне уже многие говорили, к большому моему неудовольствию... Ce gros monsieur Tourguéneff qui se lamentoit tant, qui disoit mourir si jeune... <Этот толстый господин Тургенев, который так сетовал, который говорил: умереть таким молодым... (фр.)>. <...> Что ты gros monsieur — не твоя вина, но! — что ты трусил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить... Это оставило на тебе пятно ежели не бесчестное, то *ридикюльное.* Согласись...» («Тургеневский сборник». Пг., 1915, с. 32—33).

С прямым опровержением слухов Тургенев выступил в печати в письме к редактору «С.-Петербургских ведомостей» от 9 июля 1868 г., где заявил: «Близость смерти могла смутить девятнадцатилетнего мальчика — и я не намерен уверять читателя, что я глядел на нее равнодушно, но означенных слов, сочиненных на другой же день одним остроумным князем... я не произнес» (*Тургенев. Сочинения,* т. XV, с. 147). В мемуарном очерке «Пожар на море» ситуация обрисована им так: «Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени

матушки, если ему удастся спасти меня» (*Тургенев, Сочинения,* т. XIV, с. 196).

[6] Стр. 371. Тургенев и Станкевич были знакомы еще по Московскому университету, но сблизились позже — не в Берлине, как пишет Анненков, а в Риме в 1840 г., в последние месяцы жизни Станкевича. Станкевич, по собственному признанию Тургенева, оказал на него влияние и оставил след в его творчестве: «Когда я изображал Покорского (в «Рудине»), образ Станкевича носился передо мной — но все это только бледный очерк», — писал он в 1856 году в воспоминаниях о Н. В. Станкевиче (*Тургенев. Сочинения,* т. VI, с. 394—395). Эти воспоминания послужили Анненкову материалом при написании им биографии Станкевича («Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым». М., 1857).

«Предостережения» против возможных нелестных мнений о молодом Тургеневе были сделаны Станкевичем в письмах к его друзьям Е. П. и Н. Г. Фроловым от 19 и 25 марта 1840 г. из Рима: «Тургенева никто не сбивает с толку, от этого он говорит связно и хорошо — ничего не заметно, чтобы он мог когда-нибудь плести такую дичь, какую он плел у Вас. Право, он умен!»; «Я давно не замечал уже в нем никаких маленьких претензий, так простительных юноше — он бывает иногда неуклюж, в многих значениях, но вот и все. Нет ничего особенно заметного в его дарованиях, но он не без них. Добр и благороден, как Вы его признали» (*Станкевич,* с. 692 и 694). Эти эпистолярные материалы не вошли в переписку Станкевича, изданную Анненковым, но, очевидно, были просмотрены им при подготовке ее.

[7] Стр. 372. Анненков передает суждение Герцена о Тургеневе, близкое к высказанному им в письме Н. Х. Кетчеру от 1/13 марта 1844 г.: «Здесь находится автор «Параши», я от души посмеялся над проницательным определением людей в Виссарионе, пусть он разбирает книги, а до живых существ не дотрогивается. Хлестаков образованный и умный, внешняя натура, желание выказываться и fatuité sans bornes <безграничное самомнение>, и такие-то люди кажутся Белинскому чуть не гениями» (*Герцен,* т. XXII, с. 176).

Это первый отзыв Герцена о Тургеневе; знакомство их относится, очевидно, к концу февраля 1844 г., а не к 1840 г. (см.: «Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1850», с. 300). В 1840 году Белинский не мог быть посредником в отношениях Герцена с Тургеневым, так как сам познакомился с Тургеневым позже, около 15 февраля 1843 г. (см.: Ю. Оксман. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, с. 348).

[8] Стр. 374. Поэма «Стено» была написана Тургеневым в

1834 г. и при жизни автора не печаталась. Что касается рецензии на книгу А. К. Муравьева «Путешествие по святым местам русским» («Журнал министерства народного просвещения», 1836, № 8) — Тургенев категорически отказывался «считать это ребяческое упражнение своим первым литературным трудом» и обратился даже по этому поводу с письмом в редакцию «Вестника Европы» от 21 ноября/3 декабря 1875 г. (*Тургенев. Сочинения,* т. XV, с. 165 и 377). Сам Тургенев считал началом своей литературной деятельности публикацию в «Современнике» Плетнева двух стихотворений: «Заглавия второго не помню; но в первом воспевался «Старый дуб», и начиналось оно так: «Маститый царь лесов...» («Литературные и житейские воспоминания» — *Тургенев. Сочинения,* т. XIV, с. 11). В «Современнике» 1838 г. были напечатаны стихотворения «Вечер» (№ 1) и «К Венере Медицейской» (№ 4). Тургенев процитировал начало второй строфы стихотворения «Вечер», а Анненков принял слова «Старый дуб» за название этого стихотворения.

[9] Стр. 374. Литературную известность Тургеневу принесла поэма «Параша» (СПб., 1843). Белинский в обширной рецензии на поэму отметил «необыкновенный поэтический талант» автора и его особенную отзывчивость на «все скорби и вопросы» современности (*Белинский,* т. VII, с. 78).

[10] Стр. 374. Поэма «Разговор» была написана летом 1844 г., на даче в Парголове под Петербургом, где Тургенев жил поблизости от Белинского и ежедневно виделся с ним. В проблематике поэмы отразились продолжительные разговоры философского, идеологического характера, которые Белинский вел с присущей ему страстностью и напряженностью мысли (см.: «Воспоминания о Белинском» — *Тургенев. Сочинения,* т. XIV, с. 24 и 28—29). В Тургеневе Белинский оценил при первом же знакомстве знание России, русского народа, понимание реальной действительности (в отличие от умозрительного ее восприятия). «Горячей оппозицией в московской журналистике» Анненков называет выступление против поэмы «Разговор» журнала «Москвитянин» (1845, ч. I, № 2). Рецензент «Москвитянина» оценил поэму как подражание Лермонтову, осудил в ней дух отрицания прошлого, критическое отношение к «жизни предков», противопоставление личности народу.

[11] Стр. 375. «Хорь и Калиныч» был напечатан в первой книжке «Современника» за 1847 г., в отделе «Смесь». Тургенев так определил значение рассказа в своей творческой биографии: «Успех этого очерка побудил меня написать другие; и я возвратился к литературе» («Литературные и житейские воспоминания» — *Тургенев. Сочинения,* т. XIV, с. 52). Публикация последую-

щих очерков из «Записок охотника» сопровождалась спорами в критике, часто очень бурными. Однако слова Анненкова о прекращении начавшейся полемики справедливы в том смысле, что после «Хоря и Калиныча» талант Тургенева был признан не только единомышленниками. К. С. Аксаков, резко отрицательно оценивший стихотворения Тургенева и антиславянофильскую поэму «Помещик», превознес «Хоря и Калиныча»: «Мы должны указать на появившийся в 1-м нумере «Современника» превосходный рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч». Вот что значит прикоснуться к земле и к народу, вмиг дается сила!» («Московский сборник на 1847 год», отд. II, с. 38). Белинский тотчас же саркастически отозвался на эту перемену в отношении славянофилов к Тургеневу: «Но вот «Московскому сборнику» показалось почему-то, что в своем рассказе охотника «Хорь и Калиныч» г. Тургенев совпал с славянофилами в понятии о простом народе, — и за это г. Тургенев тот час же и торжественно произведен «Московским сборником» из бездарностей в талант, а рассказ его назван — шутка ли! — *превосходным»* («Ответ «Москвитянину» — *Белинский,* т. X, с. 268).

[12] Стр. 375. Определение Тургенева в июле 1843 г. на службу в канцелярию министра внутренних дел было вызвано не только материальными соображениями. Министерство с 1841 г. возглавлял Л. А. Перовский, известный своими антикрепостническими убеждениями. По официальному заданию Тургенев написал записку «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине» (*Тургенев. Сочинения,* т. I, с. 459—472). В записке, соответственно ее назначению, идет речь лишь об улучшении крестьянского быта, а не об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Очевидно, разочарование в возможности совместить свои истинные взгляды с практикой государственного учреждения было одной из основных причин, заставивших Тургенева в апреле 1845 г. подать в отставку.

[13] Стр. 375. Рецензия Тургенева на драму С. Гедеонова «Смерть Ляпунова» аналогична прочим его высказываниям о драматургии того времени. Тургенев нападает на псевдоисторизм, ложное понимание народности, напыщенность речи персонажей (см., напр., также рецензию на трагедию Н. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль» — *Тургенев. Сочинения,* т. I).

[14] Стр. 376. Анненков определяет характер молодого Тургенева немецким словом Weltkind; в данном контексте оно связано с представлениями о человеческой личности у «бурных гениев». Значение этого слова, труднопереводимого на русский язык, раскрыто в статье Ф. Шиллера «О трагедии Гете «Эгмонт»: «Эгмонт как историческая личность — не большой характер; таков

он и в трагедии. Здесь это благородный, жизнерадостный и открытый человек, в ладу со всем миром, полный легкомысленной веры в себя и в других, свободный и смелый, словно мир принадлежит ему, где надо — мужественный и бесстрашный, при этом великодушный, милый и мягкий, характер лучших рыцарских времен, щеголь и немного хвастун, чувственный и влюбленный, радостный Weltkind» (подлинник по-нем.: Friedrichs von Schiller sämmtliche Werke. Bd. 18. Stuttgart und Tübingen, 1828, S. 455).

Анненков уловил в самом деле одну из существенных сторон индивидуальности молодого Тургенева. Действительно, ему было свойственно стремление к переживанию жизни как можно более яркому, полному и непосредственному, не скованному ни соображениями рассудка, ни излишними нравственными обязательствами. Именно это роднит молодого Тургенева с гетевским «гениальным сенсуалистом», как назвал Эгмонта В. М. Жирмунский («Гете в русской литературе». Л., «Наука», 1981, с. 366). В «эгмонтовском» ключе истолкованы у Анненкова и проказы, проделки молодого Тургенева; герой гетевской трагедии своими шутками и масленичными забавами бросает вызов педантам и придворным, протестует против условностей света, отстаивая право человека на наслаждение жизнью (д. II, разговор Эгмонта с секретарем).

Другое дело — насколько характер молодого Тургенева исчерпывался этим «эгмонтовским» элементом; противоположное качество — склонность духа к рефлексии — было ему не менее свойственно. В науке даже было высказано мнение, что в своей первой повести «Андрей Колосов» Тургенев персонифицировал эти две стороны своего «я» (Н. Л. Бродский. «Премухинский роман» в жизни и творчестве Тургенева. — В кн.: «Документы по истории литературы и общественности. Вып. 2. И. С. Тургенев». М.-Пг., 1923, с. 118—119).

Увлечение Тургенева трагедией Гете «Эгмонт» оставило след в его творчестве и биографии; он перевел песенку Клерхен (*Тургенев. Сочинения,* т. I, с. 338); Эгмонтом Тургенев звал Алексея Бакунина, младшего брата Михаила Бакунина (см. письмо к Н. А. Бакунину от 17/29 октября 1841 г. — *Тургенев. Письма,* т. I, с. 216).

[15] Стр. 381. Слова о том, что Тургенев «силился походить на Манфреда», опирались на признания самого писателя. Свою первую поэму «Стено» Тургенев оценил впоследствии как «рабское подражание байроновскому «Манфреду» («Литературный вечер у П. А. Плетнева» — *Тургенев. Сочинения,* т. XIV, с. 11); лирический герой поэмы был, по-видимому, очень близок авторскому «я»; позднее в стихотворении в прозе «У-а... У-а!» Турге-

нев писал о юности героя: «Байрон был моим идолом, Манфред моим героем» (*Тургенев. Сочинения,* т. XIII, с. 216).

[16] Стр. 381. Сравнение «словом, Хорь походил более на Гете, Калиныч более на Шиллера...» было снято Тургеневым при подготовке отдельного издания «Записок охотника» 1852 г. (см.: *Тургенев. Сочинения,* т. IV. Варианты, с. 394).

Возможно, что замечание о неуместности сравнения было сделано самим Анненковым, но оно останавливало внимание и других читателей «Записок охотника» из круга Тургенева. Герцен, помнивший текст первой публикации «Хоря и Калиныча», писал в статье 1857 г. «О романе из народной жизни в России», что Тургенев «наделил, конечно шутки ради, одного — характером Гете, а другого — характером Шиллера» (*Герцен,* т. XIII, с. 177).

[17] Стр. 382. Анненков обозначил буквами О. А. Т. Ольгу Александровну Тургеневу, дальнюю родственницу писателя. Некоторое время считали, что Тургенев собирается жениться на ней, но после пространного извинения в письме от 6 января 1855 г. Тургенев перестал бывать у них в доме. Существуют мнения о том, что О. А. Тургенева послужила прототипом героини повести «Переписка» Марьи Александровны и невесты Литвинова в романе «Дым» — см. об этом статью Л. Н. Назаровой «Тургенев и О. А. Тургенева» и воспоминания Е. С. Иловайской (Сомовой) о Тургеневе («Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева», вып. I. М.-Л., «Наука», 1964, с. 293—299; вып. IV, 1968, с. 251—259).

[18] Стр. 384. Тургенев познакомился с К. К. Случевским в конце 1859 г. и поначалу восторженно отзывался о его стихотворениях: «Вам везет, г-да Современники, — писал он Н. А. Некрасову 11/23 февраля 1860 г., — мне Случевский сегодня принес три стихотворения, из которых два решительно отличных — или я дурак» (*Тургенев. Письма,* т. IV, с. 30). Впоследствии Тургенев разочаровался в поэзии Случевского и в нем самом и в 1879 г. без обиняков сообщил ему: «...к сожалению, произведения Ваши не возбуждают во мне симпатии» (*Тургенев. Письма,* т. XII, кн. 2, с. 108).

[19] Стр. 385. Тургенев поручил Н. Х. Кетчеру дела, связанные с первым отдельным изданием «Записок охотника» (М., 1852), предоставив ему доход с издания. Цензор кн. В. В. Львов, пропустивший рукопись книги, был уволен от должности (подробно об этом см. в статье «Секретное следствие о «Записках охотника» Тургенева в 1852 г.». — В кн.: Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959, с. 252—298).

[20] Стр. 387. О том, что Тургенев писал «Бурмистра» в Зальцбрунне, бок о бок с Белинским, говорит и позднейшая авторская дата в конце рассказа — «Зальцбрунн, в Силезии, июль, 1847 г.», проставленная впервые в издании «Записок охотника» 1880 г. Дата не вполне точна: Тургенев мог писать «Бурмистра» в Зальцбрунне в конце мая и в июне. Существует предположение, что Тургенев датировал «Бурмистра» июлем 1847 г. для того, чтобы подчеркнуть связь с точной датой письма Белинского к Гоголю, написанного там же, хотя и после отъезда Тургенева: «15 июля 1847 г. Зальцбрунн» (см. статью «Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ» в кн.: Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника...», с. 207).

[21] Стр. 388. И Анненков, и Тургенев были очевидцами июньских дней в Париже. Анненков, по сути дела, правильно характеризует поведение Тургенева во время революции 1848 г. Тургенев был захвачен событиями и со свойственной ему художнической восприимчивостью, с даром образного постижения жизни воссоздал позднее картины французской революции в очерках «Наши послали!» (1874) и «Человек в серых очках» (1879). В устных рассказах об июньских днях в Париже, записи которых сохранились в дневнике П. А. Васильчикова, Тургенев также является не прямым участником, а «очевидцем», хотя и с высокой степенью заинтересованности и «сопереживания» (см.: *ЛН,* т. 76, с. 342—358).

[22] Стр. 388. Тургенев написал рассказ «Муму» на съезжей 2-й Адмиралтейской части Петербурга, где он провел под арестом месяц, с 16 апреля до 16 мая 1852 г. В первые дни после ареста Тургенева навещали на съезжей многочисленные посетители; это было воспринято при дворе как демонстрация сочувствия к арестованному писателю, и посещения были запрещены.

[23] Стр. 389. Тургенев приезжал с чужим паспортом из ссылки в Москву, чтобы увидеться с П. Виардо, и провел там десять дней, с 22 марта до 1 апреля ст. ст. 1853 г. (см.: М. К. Клеман. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. М.-Л., «Academia», 1934, с. 68).

[24] Стр. 389. Речь идет об А. Ф. Орлове; шеф жандармов и начальник III Отделения, он был, вместе с Ф. И. Брунновым, представителем России при заключении Парижского мирного договора 1856 г. (подписан в Париже 18/30 марта). Известно только одно официальное обращение Тургенева к А. Ф. Орлову с просьбой разрешить ему приехать из Спасского-Лутовинова в Москву или Петербург для совета с врачами насчет здоровья (письмо от 17/29 ноября 1853 г. — *Тургенев. Письма,* т. II, с. 385—386). Неясно, о какой услуге Тургенева семейству

А. Ф. Орлова идет речь; Тургенев был дружен впоследствии с сыном его — Н. А. Орловым.

[25] Стр. 389. Тургенев явился пропагандистом творчества Островского в круге «Современника». В № 3 журнала за 1852 г. была опубликована статья Тургенева «Несколько слов о новой комедии Островского «Бедная невеста»; на квартире у Тургенева Островский читал свои пьесы во время приездов в Петербург. Об отношении Тургенева к Писемскому см. наст. изд., с. 483—484.

[26] Стр. 390. Неприятие Шекспира было у Л. Н. Толстого устойчивым на протяжении всей жизни. Причины своей непреодолимой антипатии он объяснил в трактате «О Шекспире и о драме» (1903—1904), выбрав для анализа принципов шекспировской драматургии трагедию «Король Лир». Анненков вспоминает самые ранние споры о Шекспире, возникшие вскоре после приезда Толстого в ноябре 1855 г. в Петербург. Дружинин именно в это время работал над переводом «Короля Лира» и читал фрагменты своего перевода друзьям. Одно из таких чтений состоялось 29 января 1856 г. у Некрасова, после чего, по выражению Дружинина, он и Тургенев «вразумляли» Толстого насчет Шекспира (подробнее об этом см. в статье Ю. Д. Левина в кн.: «Шекспир и русская культура». Под ред. акад. М. П. Алексеева. М.—Л., «Наука», 1965, с. 426—430).

[27] Стр. 390. В основу повести «Альберт» («Современник», 1858, кн. 8) была положена история Георгия Кизеветтера, с которым Л. Толстой познакомился в Петербурге 5 января 1857 г. Анненков был не одинок в своей иронической оценке «Альберта». Некрасов вначале вернул повесть Толстому, считая крайне неудачным выбор и сюжета, и героя.

[28] Стр. 391. О ссоре Л. Толстого с Тургеневым см. в наст. изд., с. 630 и 635—636.

[29] Стр. 392. Современники считали М. А. Бакунина прообразом тургеневского Рудина. Полемика по этому вопросу породила обширную научную литературу (см. в ст.: М. О. Габель. Творческая история романа «Рудин». — *ЛН,* т. 76, с. 9—70).

[30] Стр. 393: *Ветхий человек* — см. примеч. 148 к очерку «Замечательное десятилетие».

ШЕСТЬ ЛЕТ ПЕРЕПИСКИ С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ 1856—1862

Впервые — «Вестник Европы», 1885, № 3, с. 5—41; № 4, с. 465—505.

Второй мемуарный труд Анненкова о Тургеневе по охвату событий жизни и творчества писателя явился непосредственным

продолжением «Молодости И. С. Тургенева». Однако по своему характеру эта работа представляла нечто новое. Анненков определил ее жанр как «корреспонденцию Тургенева с моими посильными комментариями» (письмо к М. М. Стасюлевичу от 4/16 ноября 1884 г. — *Стасюлевич,* т. III, с. 432). Он признавался, что кропотливость и трудоемкость работы превзошли его ожидания: «...я не рассчитал ни время, ни моих сил. Ни одна из старых работ моих не потребовала столько труда, сколько сия несчастная. Классификация и перебеление писем Тургенева заняли у меня столько времени, что я и не ожидал» (там же).

Анненков включил в свою мемуарную работу большую часть писем Тургенева этого периода — 33 из 47 известных в настоящее время, положив тем самым начало публикации писем писателя. Письма тянули за собою воспоминания о наиболее острых, конфликтных эпизодах из жизни Тургенева: «обязательное соглашение» и разрыв с «Современником», ссора с Л. Толстым, обвинение Тургенева Гончаровым в плагиате, споры вокруг романа «Отцы и дети» до его появления в печати.

Воспоминания о драматических коллизиях прошлого вызывали у Анненкова противоречивые чувства. С одной стороны — возникала та же, что и при работе над первым мемуарным очерком о Тургеневе, дилемма этического свойства, «...прилично ли по отношению к недавнему покойнику все то разоблачение, которое я произвожу над ним», — писал Анненков М. М. Стасюлевичу 4 июня н. ст. 1884 года (*Стасюлевич,* т. III, с. 431). Второе, что беспокоило Анненкова, — не будет ли отвергнута его статья редакторами «Вестника Европы» «по причине оскорбительного тона относительно прошлых деятелей в литературе» (письмо от 1/13 января 1885 г. — *Стасюлевич,* т. III, с. 434).

Сам Анненков был настроен писать, ничего не смягчая и не утаивая. Дойдя до середины статьи, он сообщал Стасюлевичу: «Не знаю, прав ли, но я остаюсь ей доволен — никогда не писал я так откровенно и горячо» (*Стасюлевич,* т. III, с. 434). Ощущение своего близкого конца настраивало на исповедальный тон: «Нельзя же и перед смертию обманывать других и не обнаруживать своего мнения» (там же, с. 437). Двойственное желание — и не погрешить против истины, и вместе с тем не оскорбить ушедших из жизни — сказывается в другом письме к Стасюлевичу: «Если найдете, что слишком много сказано об истории его с Некрасовым, то ослабьте, а главное — умиротворите А. Н. Пыпина. Нельзя же к остатку своей жизни — все играть в жмурки, как я делал — увы — до сих пор» (*Стасюлевич,* т. III, с. 434).

Из писем Анненкова к М. М. Стасюлевичу ясно, что редакторами «Вестника Европы» были устранены некоторые оценки

современников Тургенева, показавшиеся чересчур резкими. В отзывах о современниках были сделаны купюры — «впрочем — спасибо Пыпину — весьма скромные и умеренные»; было вычеркнуто «кой-что... по отношению к Гончарову» (письма от 12 и 16 февраля н. ст. 1885 *т. — Стасюлевич,* т. III, с. 436 и 437). Собственно «тургеневская» часть воспоминаний Анненкова была опубликована, очевидно, без изменений.

В истолковании конфликтных эпизодов из жизни Тургенева проявилась общая концепция развития личности писателя, изложенная Анненковым в речи о Тургеневе («Неделя», 1883, № 40, 2 октября; см. о ней также выше с. 618). Эволюция его личности представлена в основном как саморазвитие, движимое способностью к «размышлению» и неустанному труду нравственного совершенствования. Тургеневу, по мнению Анненкова, было свойственно «искать истины на всех сторонах», не становясь «в ряды борющихся партий». Потому у Анненкова не затронуты глубокие идейные расхождения Тургенева с редакцией «Современника», обусловившие их разрыв. Подход Анненкова к мемуарному материалу в данном случае «личностный». Своеобразие разных форм индивидуального сознания интересует Анненкова-мемуариста больше, чем борьба направлений, столкновение разных идеологий.

Достоинства его воспоминаний определяются прежде всего стремлением мемуариста к полноте и достоверности фактического материала и беспристрастию в его освещении. Некоторые страницы «Шести лет...» — о «Накануне», о споре с Катковым по поводу «Отцов и детей» — вошли в историю создания этих произведений как уникальные документы. Не менее важны и свидетельства Анненкова о восприятии произведений Тургенева разными кругами читателей. Для изучения «трудов и дней» Тургенева воспоминания Анненкова сохраняют до сих пор значение источника первостепенной важности.

[1] Стр. 396. Автографы писем Тургенева, которые Анненков включил в свою публикацию, не сохранились. Текст «Вестника Европы» является их единственным источником. Дата письма от 16 января у Анненкова неверна: письмо по содержанию датируется 16/28 января 1860 г. (см.: *Тургенев. Письма,* т. IV, с. 14 и 438). Очевидно, в автографе было обозначено только место, число и месяц, а год добавлен Анненковым.

С этим связаны ошибки мемуариста в его комментариях. Письмо Тургенева в действительности относится к истории публикации в «Русском вестнике» романа «Накануне». В письме он назван повестью, но так Тургенев вообще называл свои романы до 1879 г., пока наконец уверенность в своем значении романиста

не отразилась на жанровой терминологии писателя (см.: «Предисловие К романам» — *Тургенев. Сочинения,* т. XII, с. 303—310 и 579).

Конфликт с М. К. Катковым из-за повести, обещанной Тургеневым «Русскому вестнику», — история особая, не имеющая отношения к письму от 16 января. Осенью 1855 г. Тургенев пообещал Каткову дать в его журнал повесть («Призраки»), работа над которой задержалась. Когда повесть «Фауст» появилась в десятой книжке «Современника» за 1856 г., Катков принял ее за обещанные ему «Призраки» и выступил в «Московских ведомостях» с обвинением Тургенева в нарушении слова; Тургенев там же поместил опровержение, а затем еще раз Катков и Тургенев обменялись открытыми письмами («Московские ведомости», 1856, № 138, 151 и 152, 17 ноября, 18 и 20 декабря; 1857, № 7, 15 января). Истинной причиной редакторского беспокойства Каткова было «обязательное соглашение» (см. об этом ниже). Повесть «Призраки», которую Тургенев собирался закончить в декабре 1855 г., была им на время оставлена; Тургенев писал ее с большими перерывами и опубликовал наконец в журнале «Эпоха» в 1864 г.

[2] Стр. 397. Речь идет о так называемом «обязательном соглашении» между Некрасовым и И. И. Панаевым, с одной стороны, и Л. Н. Толстым, Тургеневым, Островским и Григоровичем — с другой, об исключительном сотрудничестве этих четырех писателей в журнале «Современник» в течение 1857—1860 гг. Текст «обязательного соглашения» был принят 14 февраля 1856 г. (см. ст. А. Дементьева «Некрасов и «обязательное соглашение». — «Вопросы литературы», 1971, №6, с. 136—163). Однако уже к концу 1857 г. стало ясно, что участники «соглашения» не выдерживают принятых обязательств, и в феврале 1858 г. «обязательное соглашение» было расторгнуто (см. ст. С. А. Макашина «Ликвидация «обязательного соглашения». — *ЛН,* т. 53—54, с. 289—298).

[3] Стр. 398. *Последний редактор* сочинений Тургенева — М. М. Стасюлевич.

[4] Стр. 398. Тургенев получил от Некрасова, вместе с письмом от 10 (22) сентября 1857 г., обращение о предполагаемом издании сборника в память В. Г. Белинского (см.: *Некрасов,* т. X, с. 361—362; т. XII, с. 71—72). Издание не было осуществлено. В 1860 г. Тургенев опубликовал в «Московском вестнике» очерк «Встреча моя с Белинским», замысел которого, очевидно, был связан с неосуществленным альманахом. Другой мемуарный очерк — «Воспоминания о Белинском» — вошел позднее в состав «Литературных и житейских воспоминаний».

[5] Стр. 399. Седьмой, дополнительный том «Сочинений Пушкина», подготовленных к изданию Анненковым, в июле 1857 г. получил цензурное разрешение и вышел в свет в декабре.

[6] Стр. 400. Анненков писал Тургеневу 15/27 октября 1857 г.: «...Вы должны будете написать статью для нового журнала Корша: «Атеней» (выходит с генваря), и именно статью о ваших парижских и английских знакомствах» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 70). Тургенев написал для «Атенея» одну статью в предложенном жанре — «Из-за границы. Письмо первое» (1858, № 6). Второе и третье письма, по его словам, «совсем конченные» к 19/31 января 1858 г., неизвестны. По-видимому, они сложились в сознании Тургенева, но не были им написаны. Сохранился только черновой набросок начала второго письма (см.: *Тургенев. Сочинения,* т. XV, с. 285—286).

[7] Стр. 400. Впечатления от знакомства с А. А. Ивановым и его картиной «Явление Христа народу» легли в основу очерка «Поездка в Альбано и Фраскати (Воспоминания об А. А. Иванове)», вошедшего в состав «Литературных и житейских воспоминаний».

[8] Стр. 401. За вопросом Тургенева о сестре Л. Н. Толстого стоит непростая история его отношений с Марией Николаевной Толстой. Тургенев познакомился с М. Н. Толстой и ее мужем, В. П. Толстым, осенью 1854 г. и вскоре признавался Анненкову; «я едва ли не влюбился» (письмо от 1/13 ноября 1854 г. — *Тургенев. Письма,* т. II, с. 239). Летом 1855 г. Тургенев часто ездил из Спасского-Лутовинова в Покровское к Толстым; Тургенев писал «Рудина», давал его читать Марии Николаевне и оценил ее замечания. Летом 1856 г. Тургенев жил в Спасском, виделся и с Толстым, и с его сестрой.

В июле 1857 г. М. Н. Толстая решила расстаться с мужем; причины для этого были и раньше. Письма Тургенева в это время полны уверений в его привязанности к ней. Однако в Спасское он приехал из-за границы лишь в июне 1858 г., и вскоре между ними произошло какое-то объяснение. 4 сентября 1858 г. Толстой записал в дневнике: «Тургенев скверно поступает с Машенькой. Дрянь» (*Толстой,* т. 48, с. 16). Исследователь этого эпизода из жизни Тургенева, Н. П. Пузин, делает вывод: «Среди многих причин, вызывавших резкие расхождения между двумя писателями, отношения Тургенева к М. Н. Толстой занимают, как нам кажется, не последнее место» (см. его ст. «Тургенев и М. Н. Толстая». — «Тургеневский сборник». Вып. II, с. 257).

[9] Стр. 402. Повесть Толстого «Люцерн». Как и ожидал Тургенев, она не понравилась Анненкову — он назвал ее «ребячески восторженной» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 72).

[10] Стр. 402. Строки о Базунове и самолюбии объясняются тем, что до Тургенева дошли слухи, будто издание его «Повестей и рассказов» (в 3-х частях. СПб., 1856) медленно расходилось.

Анненков успокоил Тургенева: «...повести давно ему окупились и приносят барыши» (там же, с. 73).

[11] Стр. 404. «*Умное как день*» — письмо Анненкова от 16/23 ноября 1857 г. (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 71—73).

[12] Стр. 405. Повесть «Ася» была прочитана Анненковым, он назвал ее одной из «самых доделанных вещей» Тургенева (письмо от 21 декабря ст. ст. 1857 г.); повесть появилась в «Современнике», 1858, № 1.

[13] Стр. 405. Письмо Тургенева от 1/13 декабря 1857 г. написано под непосредственным впечатлением от красоты Рима и его окрестностей. В сходных выражениях Тургенев высказал это в «Поездке в Альбано и Фраскати»: «...мы ели наш скудный завтрак с тем веселым и светлым ощущением постоянно присущей красоты, которое кажется разлитым в римском воздухе во всякое время, особенно в золотые, осенние дни» (*Тургенев. Сочинения,* т. XIV, с. 89).

[14] Стр. 406. Из стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла».

[15] Стр. 406. Полемическое заявление: «Слава богу, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор», — было высказано Л. Н. Толстым в его письме В. П. Боткину и Тургеневу от 21 октября/1 ноября 1857 г. (*Толстой,* т. 60, с. 234). Тургенев отвечал ему 25 ноября/7декабря 1857 г.: «Не спорю, может быть, Вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец?» (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 170).

[16] Стр. 407. Анненков писал Тургеневу по поводу повести «Ася» 21 декабря ст. ст. 1857 г.: «Толков предвидится короб хороший» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 74). Повесть вызвала острую полемику о роли дворянской интеллигенции в общественном развитии России. Самые резкие суждения были высказаны Чернышевским в статье «Русский человек на rendez-vous». Анненков выступил со статьей «Литературный тип слабого человека. По поводу тургеневской «Аси» («Атеней», 1858, ч. 4, №32, с. 322—350).

[17] Стр. 409. Тургенев частью пересказывает, частью цитирует строки из стихотворения Пушкина «Арион»: «И ризу влажную мою // Сушу на солнце под скалою», разумея под спасением выход из тупика, в котором он оказался в 1856—1857 гг. из-за кризиса в отношениях с П. Виардо и творческой неудовлетворенности.

[18] Стр. 411. Письмо Тургенева к Анненкову написано 26 марта/7 апреля, а следующее за ним — 28 марта/9 апреля.

[19] Стр. 415. В настоящее время черновой автограф «Дворянского гнезда», хранящийся в Bibliothèque Nationale в Париже, уже изучен и введен в оборот. Помета на обложке автографа дает возможность судить о продолжительности работы Тургенева над романом: «Дворянское гнездо», повесть Ивана Тургенева. Задумана в начале 1856-го года; долго очень не принимался за нее, все вертел ее в голове; начал вырабатывать ее летом 1858-го года в Спасском. Кончена в понедельник, 27-го октября 1858-го года в Спасском» (*Тургенев. Сочинения,* т. VII, с. 455).

[20] Стр. 415. Анненков процитировал помету Тургенева на титульном листе чернового автографа «Накануне» и ввел таким образом даты истории создания романа в научный оборот. Описание автографа впервые было дано пятнадцать лет спустя в «Отчете имп. Публичной библиотеки за 1896 год» (СПб., 1900, с. 198—199). Сведения о литературной первооснове романа «Накануне», которые сообщает далее Анненков (с. 417—418), до сих пор не потеряли значения, так как повесть Каратеева считается утраченной.

[21] Стр. 419. Буквально значит: «Проклятый парень из анисовой водки».

[22] Стр. 422. Имеется в виду статья А. А. Григорьева «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо»...» («Русское слово», 1859, № 4, 5, 6 и 8). А. Григорьев касался попутно творчества писателей — современников Тургенева.

[23] Стр. 424. Письмо Тургенева датируется по содержанию 3/15 декабря 1859 г. (см. *Тургенев. Письма,* т. III, с. 379 и 637). Тургенев послал графине Ламберт для прочтения роман «Накануне» за три дня до этого, попросив ее «делать на полях критические замечанья карандашом» (там же, с. 376). Эти замечания не дошли до нас; насколько можно судить, они имели строго моралистический характер. Несколько времени спустя графиня Ламберт высказала Тургеневу отрицательное суждение о характере Елены в письме от конца февраля — начала марта 1860 г. (H. Granjard. Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et «Nid de seigneurs». Paris, 1960, p. 89). Тургенев, обескураженный поначалу осуждением его нового романа со стороны почитательницы его таланта, обратился к Анненкову как к всегдашнему арбитру, чтобы утвердиться в мнении о собственном произведении.

[24] Стр. 428. Имеется в виду роман «Отцы и дети», который Тургенев начал обдумывать в августе 1860 г. на острове Уайт.

[25] Стр. 428. Первая строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Благодарность».

[26] Стр. 428. Тургенев приписал Добролюбову рецензию Чернышевского на книгу Н. Готорна «Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии» («Современник», 1860, № 6, отд. III, с. 239—240). В этой рецензии Чернышевский, не называя имени Тургенева, оценил образ Рудина как карикатуру на Бакунина (*Чернышевский,* т. VII, с. 449).

[27] Стр. 429. *Другой рецензент* — М. А. Антонович. В статье «Асмодей нашего времени», помещенной в № 3 «Современника» за 1862 г., Антонович утверждал, что «Отцы и дети» представляют собою клевету и карикатуру на молодое поколение и панегирик «отцам».

[28] Стр. 430. Дипломатическое умолчание Анненкова о письме И. И. Панаеву не остановило разрыва Тургенева с «Современником». За полгода до этого у Тургенева произошел конфликт с редакцией «Современника» из-за статьи Добролюбова о романе «Накануне» — «Когда же придет настоящий день?» («Новая повесть г. Тургенева»). Тургенева задела оценка его писательского таланта и обеспокоила трактовка романа, связанная у Добролюбова с идеей революционной борьбы. Известно, что Тургенев поставил перед Некрасовым ультиматум: «Выбирай: я или Добролюбов». Статья Добролюбова появилась в «Современнике», 1860, № 3.

[29] Стр. 430. Под «особой статьей» Анненков имеет в виду статью Чернышевского «Полемические красоты» («Современник», 1861, № 6), где были сформулированы в самых общих, но категорических выражениях причины расхождения между редакцией «Современника» и Тургеневым: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись» (*Чернышевский,* т. VII, с. 713).

[30] Стр. 430. У Анненкова в изложении фактов не разграничены два объявления о подписке на журнал «Современник» — на 1861 и 1862 г. В объявлении об издании «Современника» в 1861 г. сказано, что журнал будет издаваться при участии тех же сотрудников, что и в прежние годы («Современник», 1860, № 10). В объявлении на 1862 г. сказано, что, «сожалея об утрате» некоторых сотрудников беллетристического отдела, редакция, однако же, не хочет жертвовать «основными идеями издания» в угоду деятелям, которые «не хотят признать новых требований жизни» («Современник», 1861, № 10).

[31] Стр. 430. Тургенев в первый раз выступил с «опровержением» в «Письме к издателю «Северной пчелы» («Северная пчела». 1862, № 334, 10 декабря). Тургенев привел факты, свидетельствующие о заинтересованности Некрасова в его сотрудничестве, и особенно настаивал на том, что инициатива разрыва с «Современником» принадлежала ему, а не редакции «Современника» (см.: *Тургенев, Сочинения,* т. XV, с. 142—143).

[32] Стр. 431. Тургенев примирился с Некрасовым во время его предсмертной болезни. Некрасов, узнав о приезде Тургенева в Петербург, сделал первый шаг к примирению, и при посредничество А. Н. Пыпина и М. М. Стасюлевича на петербургской квартире Некрасова состоялась встреча. С Тургеневым был Анненков. 9/21 января 1878 г., узнав о смерти Некрасова, Тургенев писал Анненкову: «Да, Некрасов умер... И вместе с ним умерла большая часть нашего прошедшего и нашей молодости. Помните, каким мы его с Вами видели — в июне?..» (*Тургенев. Письма,* т. XII, кн. 1, с. 261). Тургенев описал встречу с Некрасовым в стихотворении в прозе «Последнее свидание» (*Тургенев. Сочинения,* т. XIII, с. 168). Заключительная мысль стихотворения — «Смерть все примиряет» — сопутствовала и другим высказываниям Тургенева о примирении с Некрасовым.

[33] Стр. 431. И. А. Гончаров, по свойственной ему болезненной подозрительности и мнительности, усмотрел в романах Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне» заимствования из романов «Обломов» и «Обрыв» — в мотивах, образах и отдельных деталях. Он объяснял это тем, что слишком долго обдумывал свои романы и охотно делился замыслами и планами с Тургеневым. Историю обвинения Тургенева в плагиате Гончаров изложил в рукописи «Необыкновенная история» (написано в 1878 г., впервые опубликовано: «Сборник Российской Публичной библиотеки», т. II. Пг., 1924, с. 7—173). Гончаров доказывал сходство «Дворянского гнезда» с «Обрывом» следующими сравнениями: «У меня бабушка, у него тетка, две сестры, племянницы, Лаврецкий, схожий характером с Райским, также беседует по ночам с другом юношества, как Райский с Козловым, свидания в саду и прочее» (с. 20). Несмотря на очевидную неубедительность таких сопоставлений Тургенев устранил детали, казавшиеся Гончарову прямым заимствованием у него, — в первом объяснении Лизы с Марфой Тимофеевной, в описании фамильных портретов Лаврецких (подробно об этом см. в примеч. к «Дворянскому гнезду» — *Тургенев. Сочинения,* т. VII, с. 464—465). 21 января 1864 г. на похоронах А. В. Дружинина произошло примирение Тургенева с Гончаровым. История сложных отношений между двумя писателями освещена в кн.: «И. А. Гончаров и И. С. Тур-

генев. По неизданным материалам Пушкинского дома». Пред. и примеч. Б. Энгельгардта. Пг., «Academia», 1923.

[34] Стр. 435. Тургенев познакомился с украинской писательницей М. А. Маркович, писавшей под псевдонимом Марко Вовчок, в конце января — начале февраля 1859 г. (см. публикацию писем М. А. Маркович Тургеневу — *ЛН,* т. 73, кн. 2, с. 253), М. А. Маркович произвела на Тургенева впечатление «оригинальной и самородной натуры»; писатель пришел в восторг и от ее дарования — «этакой свежести и силы еще, кажется, не было» (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 273). Тургенев пропагандировал творчество молодой писательницы; в переводе и с предисловием Тургенева вышли «Украинские народные рассказы Марка Вовчка» (СПб., 1859).

[35] Стр. 441. У Анненкова ошибка в хронологии событий: газета «Slowo», издававшаяся в Петербурге на польском языке, была запрещена в конце февраля 1859 г., и ее редактор Иосафат Петрович Огрызко заключен в Петропавловскую крепость. 13/25 марта 1859 г. Огрызко был освобожден. Текст письма Тургенева к Александру II см.: *Тургенев. Письма,* т. III, с. 397—398.

[36] Стр. 442. Тургеневу принадлежала идея создания «Общества для распространения грамотности и первоначального образования» в России, он был главным инициатором и вдохновителем этого дела; текст проекта программы был составлен Тургеневым и Анненковым (см. примеч. к проекту — *Тургенев. Сочинения,* т. XV, с. 425—427). Тургенев распространял текст проекта, адресуясь к самому широкому кругу своих русских друзей и знакомых независимо от их убеждений. Однако возникли разногласия, общество не было создано, а текст проекта увидел свет уже после смерти Тургенева.

[37] Стр. 446. Анненков женился на Г. А. Ракович, родственнице Карташевских, с семейством которых его познакомил Тургенев.

[38] Стр. 449. В «Отечественных записках», 1861, № 1, был опубликован отрывок из романа Гончарова «Обрыв», озаглавленный: «Бабушка. Эпизоды из жизни Райского».

[39] Стр. 450. «Любопытное и поучительное письмо» Анненкова — от 6 марта 1861 г. (см.: *Труды ГБЛ,* вып. III, с. 117—118).

[40] Стр. 458. Ссора Тургенева с Л. Толстым произошла 27 мая/8 июня 1861 г. в имении Фета Степановке. Обстановка, поведение участников конфликта и их диалог воспроизведены в воспоминаниях хозяина дома и очевидца (см.: «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. 1. М., «Художественная литература», 1969, с. 229—230). Поводом к ссоре, чуть не приведшей к дуэли, послужило разногласие по вопросу о благотворительности

бедным в разговоре о воспитании дочери Тургенева; вспыхнуло сильнейшее взаимное раздражение, накопившееся из-за глубокой несовместимости Тургенева и Толстого. «Постоянный антагонизм» воззрений и «антипатия» натур, как выразился Тургенев, обнаружились при самом начале их знакомства.

Толстой приехал в Петербург курьером из Севастополя 19 ноября/1 декабря 1855 г. и остановился у Тургенева. Тургенев ввел его в круг петербургских литераторов; он был старше на 10 лет и несколько покровительствовал молодому таланту. Толстой, со своей стороны, признавал заслуги и место Тургенева в русской литературе; он посвятил ему рассказ «Рубка леса». Однако с самого начала Толстой обнаружил такую самостоятельность суждений, независимость поведения, мощь таланта и человеческой индивидуальности, что ни в чьем благоволении он не нуждался. Фет приводит «меткие слова покойного Ник. Ник. Толстого, который, будучи свидетелем раздражительных споров Тургенева со Львом Николаевичем, не раз со смехом говорил: «Тургенев никак не может помириться с мыслью, что Левочка растет и уходит у него из-под опеки» (там же, с. 230). В бурных спорах, когда Толстой шел вразрез с общим мнением, его оппонентом часто оказывался именно Тургенев. Так, на обеде в редакции «Современника» Толстой объявил себя «ненавистником» Ж. Санд и записал в дневнике 7/19 февраля 1856 г.: «Поссорился с Тургеневым...» (*Толстой,* т. 47, с. 67). Уже через полгода после знакомства в переписке Тургенева с Толстым проходит слово «овраг» как обозначение коренного различия натур и расхождения во взглядах.

После ссоры в имении Фета и обмена письмами личные отношения писателей прерываются на 17 лет. Тургенев по-прежнему отводит Толстому первое место в русской литературе, пропагандирует его произведения на Западе и способствует их переводу.

6/18 апреля 1878 г. Толстой обратился к Тургеневу с письмом, где признавался, что в душе его не осталось никакой вражды к Тургеневу, просил простить ему все, чем он был виноват. «Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня, — писал Толстой. — Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писанье и меня» (*Толстой,* т. 62, с. 406—407). Тургенев откликнулся готовностью возобновить дружеские отношения и 8/20 августа 1878 г. посетил Толстого, пробыв в Ясной Поляне два дня (см.: С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, с. 299—318). Переписка их уже не прерывалась; последнее письмо Толстому Тургенев написал 29 июня/11 июля 1883 г., «на смертном одре» (*Тургенев. Письма,* т. XIII,

кн. 2, с. 180). О ссоре Тургенева с Толстым см.: Н. Н. Гусев, Материалы к биографии Л. Н. Толстого. 1855—1869. М., Гослитиздат, 1957, с. 438—445.

[41] Стр. 460. Закончив летом 1861 г. в Спасском роман «Отцы и дети», Тургенев уехал 29 августа в Петербург с двумя рукописями романа. Одну из них он в Москве передал в редакцию журнала «Русский вестник» с условием, что она будет дана Анненкову для прочтения и затем поправлена по его замечаниям. В сентябре 1861 г. Анненков приехал в Москву и сразу же «проглотил», по его словам, роман. Свои замечания он изложил в подробном письме Тургеневу от 26 сентября/8 октября 1861 г. (опубликовано в ст. В. Архипова «К творческой истории романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». — «Русская литература», 1958, № 1, с. 147—149). Письмо Анненкова заключало общее мнение о романе, которое явилось поддержкой для Тургенева, и конкретные замечания, относящиеся к образу Базарова и отчасти к Одинцовой. «Исправления и переделки», о которых Тургенев предупредил М. Н. Каткова в письме от 1/13 октября 1861 г. из Парижа, потребовали от него работы в течение трех с лишним месяцев. Анализ этой авторской работы дан в примечаниях к роману (*Тургенев. Сочинения,* т. VIII, с. 572—583).

Утверждение Анненкова, что «Отцы и дети» вышли в свет в том же виде, в каком «сошли с пера» Тургенева, не совсем верно. Тургенев испытал сильный редакторский нажим со стороны Каткова, направленный к тому, чтобы снизить образ Базарова. Правда, даже вынужденные исправления, на которые шел Тургенев, приобретали иное — авторское, а не редакторское звучание в общей системе романа.

[42] Стр. 467. Статья Анненкова «О двух национальных школах живописи в XV столетии. (Заметка по поводу последних художественных выставок в Петербурге)» была опубликована в «Библиотеке для чтения», 1861, № 2.

[43] Стр. 469. Отрывок из письма М. Н. Каткова Тургенев привел в статье «По поводу «Отцов и детей». В нем Катков высказывает сходные суждения о Базарове: «Если и не в апофеозу возведен Базаров... то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал» (*Тургенев. Сочинения,* т. XIV, с. 104). Анненков в разговоре с Катковым, очевидно, имел целью как-то нейтрализовать эти суждения, чтобы облегчить прохождение рукописи «Отцов и детей».

[44] Стр. 474. Последняя статья Добролюбова — «Забитые люди» («Современник», 1861, № 9) — была посвящена разбору произведений Достоевского.

[45] Стр. 476. Слова «водевиль с переодеваньем» применитель-

но к роману «Новь» были употреблены Салтыковым-Щедриным в письме к Анненкову от 15/27 марта 1877 г. (М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. XIX, кн. 1. М., «Художественная литература», 1976, с. 49).

ХУДОЖНИК И ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. Ф. ПИСЕМСКОМ

Впервые — «Вестник Европы», 1882, № 4, с. 623—660.

Свои воспоминания об Алексее Феофилактовиче Писемском, над которыми Анненков работал в 1881—1882 годах в Баден-Бадене, он назвал «пространным некрологом». Создавая эти воспоминания, Анненков располагал большим биографическим материалом, собранным женой и сыном писателя, различными документальными источниками, относящимися к литературной жизни 50—70-х годов. В работе над мемуарным очерком ему помогало глубокое понимание достоинств и слабостей писателя, его самобытности, а также то, что их связывала с Писемским четвертьвековая дружба. Анненков заинтересованно и сочувственно относился к творчеству художника. А Писемский часто советовался с ним, во многом руководствовался его суждениями. Эти факторы определили характер воспоминаний. Именно поэтому в первом посмертном издании Сочинений Писемского товариществом М. Вольфа (1895—1896) был изъят уже напечатанный в первом томе биографический очерк С. А. Венгерова и вместо него помещен очерк Анненкова. В этом издании он немного изменил название своих воспоминаний — «А. Ф. Писемский как художник и простой человек. Критико-биографический очерк», опустил последнюю фразу и внес еще несколько незначительных изменений.

Писательская судьба Писемского рассматривается Анненковым в широком общественно-литературном контексте, в рассказ вовлечены многие представители русской литературы и журналистики, в нем затрагиваются важные события общественной жизни России 50—70-х годов XIX века. Все это дает возможность лучше понять, как происходило формирование и развитие Писемского, представить его место в русской литературе. В то же время Анненков дает сжатые и глубокие характеристики ряда произведений писателя, высказывает свои соображения о его стиле.

Анненков был человеком либеральных убеждений. В историю русской литературы он вошел как представитель «эстетической» критики. Это обусловило тенденциозность его истолкования в этом мемуарном очерке некоторых ситуаций идейно-литературной борьбы в пред- и пореформенный период (характеристика эпохи

первого демократического подъема, деятельность «Современника» и либеральной критики).

Подчас бесспорные определения творческой индивидуальности писателя (рассуждения об отсутствии внутренней дисциплины, ограниченности мировоззрения и в то же время трезвости жизненного взгляда, враждебности либеральным воззрениям и буржуазному хищничеству) переплетаются с субъективными оценками его миросозерцания и метода: идеализация публицистической деятельности Писемского, интерпретация натуралистических по духу произведений как воплощающих народное мышление.

Но главное, что отличает этот мемуарный очерк, — большое человеческое расположение и вдумчивое отношение к дарованию писателя. Алексей Феофилактович Писемский, «художник и простой человек», живо предстает перед нами на страницах воспоминаний Анненкова.

[1] Стр. 478. П. В. Анненков провел этот период в Симбирске, см. мемуарный очерк «Две зимы в провинции и деревне. С генваря 1849 по август 1851 года».

[2] Стр. 479. Под влиянием революционных событий 1848 г. в Европе царское правительство усилило внимание к литературе и журналистике. См. примеч. 6 к очерку «Две зимы в провинции и деревне».

[3] Стр. 479. Известное обновление журнала «Москвитянин», органа официально-охранительной печати, издаваемого М. П. Погодиным, началось с участием в нем А. Н. Островского и литературно-критического кружка, который образовался вокруг драматурга. В этот кружок в разное время вошли такие литераторы, как Ап. Григорьев, Е. Эдельсон, Б. Алмазов, М. Стахович, Т. Филиппов, Л. Мей, Н. Берг и др. Своими людьми в кружке стали А. Писемский и П. Мельников-Печерский. В распоряжение Островского, Григорьева и их друзей Погодин отдал с 1851 г. художественный и критический отделы «Москвитянина». Так в журнале образовались две редакции: «старая» и «молодая». Представители «молодой редакции» «Москвитянина» не имели четко оформленной идейно-эстетической программы, их литературная позиция отличалась эклектизмом. Многим из них была близка теория «чистого искусства». Со славянофилами их сближало отрицание необходимости коренных преобразований в русском обществе, идеализация патриархальности, в то же время народность, которую они пропагандировали, не носила официозного характера — она сводилась к ориентации на патриархальное купечество. Представители «молодой редакции» обладали тонким критическим чутьем, отрицали абстрактное философствование в

области критики и публицистики, чем, по их мнению, отличался весь прошлый петербургский литературный период. Это пестрое литературно-бытовое содружество просуществовало до 1855 г. Противоречия между представителями «молодой редакции», усиление общих противоречий жизни, враждебное отношение Погодина стали причинами того, что оно распалось.

[4] Стр. 480. Второе из напечатанных произведений Писемского, повесть «Тюфяк», было опубликовано в «Москвитянине», 1850, № 10, 11. Повесть «Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына (Брак по страсти)» печаталась в «Москвитянине», 1851, № 4—7.

[5] Стр. 481. В автобиографии Писемского нет прямых указаний на влияние на него творчества Гоголя. Однако в статье «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Часть вторая» (впервые — «Отечественные записки», 1855, № 10) он писал: «Пользуясь выходом в свет «Сочинений» Н. В. Гоголя, я решился высказать печатно несколько мыслей о произведениях его вообще и о второй части «Мертвых душ» в особенности и беру на себя это право не как критик, а как человек, который когда-то страстно знакомился с великим писателем, начиная с представления на сцене большей части написанных им ролей до внимательного изучения и поверки его эстетических положений» (А. Ф. П и с е м с к и й. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М., «Правда», 1959, с. 523). Когда праздновалось 25-летие литературной деятельности Писемского, поэт и критик Б. Н. Алмазов в присутствии юбиляра и, конечно, с его полного согласия говорил о том, что в студенческие годы Писемский был «жарким поклонником Гоголя и статей Белинского» («Русский архив», 1875, № 4, с. 454).

[6] Стр. 481. В письме к П. В. Анненкову от 20 ноября 1846 г. В. П. Боткин подчеркивал: «Как бы то ни было, а сила русской литературы теперь главное состоит в идеологии» (*Анненков и его друзья,* с. 521). В программной статье, посвященной поэзии Фета, написанной в 1857 г., критик говорил о содержательности в искусстве, о единстве содержания и формы: «Разве каждое произведение искусства не есть прежде всего выражение мысли, чувства, воззрений того человека, который произвел его?.. Но и теперь, — разве достоинство и значительность искусств не условливается прежде всего искренностью, глубиною мысли или чувства? И чем сообразнее с ними внешнее их выражение, тем лучше произведение и тем сильнее его действие на читателей» (В. П. Б о т к и н. Соч. в 3-х томах, т. 2. СПб., 1891, с. 360—361).

[7] Стр. 482. Роман Писемского «Богатый жених» печатался

в «Современнике» с октября 1851 (№ 10, 11, 12) по май 1852 г. (№ 1—5).

[8] Стр. 482. Здесь Анненков допускает неточность. Писемский переехал в Москву в конце 1854 г.

[9] Стр. 482. См. примеч. 171 к очерку «Замечательное десятилетие. 1838—1848».

[10] Стр. 483. Рассуждения о *новом, сильном слове* впервые появляются в ст. Ап. Григорьева «Русская литература в 1851 году» («Москвитянин», 1852, № 1—4). Критик излагает общий взгляд на современную ему словесность, на значение творчества Гоголя в ее развитии. О Писемском Ап. Григорьев отзывается как о писателе, которому дана новая манера в изображении действительности, но не дано сказать о ней никакого нового слова. *Новое, сильное слово* в литературе должен был, по мнению Ан. Григорьева, сказать Островский — его комедия «Бедная невеста» печаталась в № 4 «Москвитянина». В статье «Русская изящная литература в 1852 году» критик продолжает ту же тему. Он ставит вопрос о положении русской литературы после смерти выдающегося художника Гоголя, о перспективах ее развития, обращается к анализу литературной ситуации — к «живущему как новое слово литературы». Ап. Григорьев, в частности, высоко оценивает дарование Писемского, но вновь отмечает, что художнику недостает «глубины и идеальности миросозерцания», ему противопоставляется Островский, хотя пьеса «Бедная невеста» критикуется с драматургической точки зрения.

[11] Стр. 483. Тургенев и редакторы «Современника» критически относились к направлению «молодой редакции» «Москвитянина», к эстетической позиции Ап. Григорьева. Однако они сразу же обратили внимание на талантливые произведения Островского и Писемского, постарались сблизиться с этими художниками.

[12] Стр. 484. Тургенев в рецензии «Несколько слов о новой комедии г. Островского «Бедная невеста» («Современник», 1852, № 3), отдавая должное большому таланту Островского, высказывал ряд критических замечаний по поводу излишней детализации характеров (особенно неуместной в драматическом произведении), отсутствия жизненности в образе главной героини, сухости общего колорита, невыдержанности внутренней, драматической стороны в пьесе. Он выразил пожелание, чтобы талант автора рос и крепнул и он освободился от сетей, которые сам на себя наложил. В фельетоне «Канун нового, 1853 года. Кошемар в стихах и прозе Нового поэта» доброжелательно отозвался о пьесе Островского и И. Панаев. Эклектическую позицию в этом вопросе занимали Дружинин, Анненков, представители «молодой редак-

ции» «Москвитянина». В дальнейшем Островский сблизился с «Современником».

[13] Стр. 484. И. Панаев вел в 1851—1855 гг. ежемесячное обозрение «Современника» под названием «Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской журналистики». В 1855—1861 гг. он вел ежемесячное фельетонное обозрение «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта».

[14] Стр. 485. В 60—70-е гг. возник горячий интерес к проблемам женского образования и прав женщины в семье и обществе. «Женский вопрос, — вспоминал Н. В. Шелгунов, — носился в воздухе» (Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. 1. М., «Художественная литература», 1967, с. 121). Появился ряд статей на эту тему, одна из наиболее известных, в частности, статья М. Л. Михайлова «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе».

[15] Стр. 487. Речь идет о книге Ф. В. Берхгольца «Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 г.» Пер. с нем. И. Аммон, ч. 1, 2, 3, 4. М., 1858.

[16] Стр. 488. Имеется в виду роман Писемского «Люди сороковых годов», опубликованный в 1869 г. в журнале «Заря», № 1—9.

[17] Стр. 488. И. Ф. Горбунов в очерке «Из моего дневника. 1855 год» («Новое время», 1881, № 1778, с. 3) рассказывает о том, как в начале июня 1855 г. Писемский получил письмо от князя Д. А. Оболенского с приглашением на фрегат «Рюрик» к великому князю Константину Николаевичу.

[18] Стр. 489. И. Панаев в своих «Литературных воспоминаниях» так писал о чтении Писемского: «Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский... Писемский читает как актер, — он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении...» (*Панаев,* с. 174). И. Ф. Горбунов отзывался о Писемском как о чтеце, которому в то время не было равных, хотя отличных чтецов было немало: «Это было не чтение, а высокая сценическая игра; каждое лицо выходило как живое, с своим тоном, с своим жестом, с своей индивидуальностью...» (И. Ф. Горбунов. Из моего дневника. 1855 год. — «Новое время», 1881, № 1778, с. 3).

[19] Стр. 489. Крымская война 1853—1856 гг. между Россией и коалицией Англии, Франции, Турции и Сардинии, возникшая в результате столкновения экономических и политических интересов этих стран на Ближнем Востоке, закончившаяся поражением России.

[20] Стр. 490. Писемский служил в 1845—1846 гг. в палате

государственных имуществ в Костроме и Москве. В 1848 г. он поступил на службу младшим чиновником особых поручений при костромском губернаторе. С 1849 по 1853 г. он асессор губернского правления. С 1854 по 1859 г. Писемский является чиновником Главного управления уделов в Петербурге, а с 1866 по 1872 г. — советником Московского губернского правления.

[21] Стр. 490. По приглашению морского ведомства с целью исследования быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством, Писемский вместе с другими писателями принял участие в литературной экспедиции «в Астраханскую губернию и к прочим прибрежьям Каспийского моря». В этой экспедиции Писемский пробыл, как можно судить из «Дела о командировании литераторов в разные края России для собрания сведений, до морской части относящихся», с 9 января по 9 ноября 1856 г. Результатом поездки явились очерки «Астрахань», «Бирючья коса», «Баку», «Тюк-Караганский полуостров и Тюленьи острова», печатавшиеся в 1857 г. в «Морском сборнике». Позднее, готовя свое Собрание сочинений, Писемский объединил их с выходившими в 1857—1860 гг. в «Библиотеке для чтения» очерками «Татары», «Астраханские армяне» и «Калмыки» под общим названием «Путевые очерки».

[22] Стр. 491. В 1861 г. петербургские издатели Ф. Т. Стелловский и А. С. Гиероглифов выпустили Сочинения А. Ф. Писемского в 3-х томах. (Цензурное разрешение на эти три тома было получено в ноябре—декабре 1860 г.) Четвертый, дополнительный, том вышел в 1867 г.

[23] Стр. 491. Журнал «Библиотека для чтения», ориентированный на «среднего читателя», выпускаемый с 1834 г. издателем и книгопродавцем А. Ф. Смирдиным, начал хиреть еще в руках редактора-директора О. И. Сенковского. В 1848 г. разорившийся А. Ф. Смирдин передал издание журнала книгопродавцу В. П. Печаткину, руководство редакцией принял А. В. Старчевский. В конце 1856 г., увидев, что журнал продолжает терять читателей, В. П. Печаткин пригласил редактировать «Библиотеку для чтения» оставшегося не у дел недавнего критика «Современника» А. В. Дружинина.

[24] Стр. 492. Речь идет о серии развлекательных фельетонов, написанных Дружининым в 50-е годы, «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам».

[25] Стр. 493. В конце 1857 г. Писемский входит в состав редакции «Библиотеки для чтения» и вскоре становится соредактором Дружинина. Он стремится привлечь к участию в журнале своих друзей из «молодой редакции» «Москвитянина». С конца 1860 г. Дружинин из-за болезни оставляет свой пост. С этого

момента по 1863 г. Писемский является редактором «Библиотеки для чтения».

[26] Стр. 494. Это место воспоминаний Анненкова снабжено следующим редакционным примечанием: «Мы согласимся также, что история этой эпохи преждевременна, и, давая место настоящим воспоминаниям о Писемском как любопытному личному свидетельству об этом писателе и как одной стороне мнений, предполагаем возвратиться к этому времени с другими историческими данными. — *Ред.*» («Вестник Европы», 1882, № 4, с. 639).

[27] Стр. 495. *Янсенизм* — религиозное течение во французском и нидерландском католицизме, воспринявшее некоторые типологические черты протестантизма. Среди ревностных янсенистов были такие выдающиеся люди, как философ Паскаль, теолог Арно, к янсенизму тяготел драматург Расин. Религиозная элита, которую выращивал янсенизм, дала тип интеллектуально развитого человека с высоким чувством моральной ответственности, но в то же время с фанатической сектантской узостью.

[28] Стр. 496. Анненков, по-видимому, имеет здесь в виду размежевание русского общества в предреформенный период на революционно-демократический лагерь, во главе которого стояли Чернышевский и Добролюбов, и сторонников либеральной и консервативной партий.

[29] Стр. 499. В качестве сатирического отдела «Современника» «Свисток» начал выходить с 1859 г. У его истоков стояли Н. Добролюбов и Н. Некрасов. В журнале сотрудничали И. Панаев, М. Михайлов, Н. Чернышевский, М. Салтыков-Щедрин и др. «Свисток» сыграл большую роль в решении задач, поставленных революционными демократами в 60-е годы. Он выступал против дворянского либерализма, с критикой социально-политического строя в России и теорий «чистого искусства».

[30] Стр. 500. Фельетоны Писемского стали печататься в «Библиотеке для чтения» с 1862 г. сначала от лица «статского советника Салатушки», потом за подписью «старая фельетонная кляча Никита Безрылов». В первых своих фельетонах Писемский высмеивал приспособленчество, либерализм, но в дальнейшем в них появились сатирические выпады против радикально настроенной общественности. Особое возмущение в демократических кругах вызвал его фельетон, содержащий неэтичные нападки на деятелей «Современника», опубликованный в декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1861 г. «Искра» напечатала резкий ответ Писемскому, обвинив его в оскорблении русского печатного слова. Писемский ответил на это новыми фельетонами в том же роде. Эта полемика привела к вызову его на дуэль издателями

«Искры» В. Курочкиным и Н. Степановым. Под влиянием всего этого Писемский решает оставить пост редактора. В апреле 1862 г. он уезжает за границу. Находясь в Лондоне, Писемский, чтобы поправить свою общественную репутацию, встречается с Герценом и Огаревым. Однако этот визит не принес желаемых результатов. В письме А. И. Герцена к сыну от 14/2 июня 1862 г. встречаем следующую фразу: «Мне Писем<ского> вообще не очень хочется видеть — он писал дурные вещи, в самом гадком смысле и направлении» (*Герцен,* т. XXVII, кн. 1, с. 235). А 21/9 июня 1862 г. он писал Н. А. Тучковой-Огаревой: «С Писемским и Коршем — были сильные и сильно неприятные объяснения» (там же, с. 241). В конце 1862 г. Писемский отказывается от редактирования «Библиотеки для чтения».

[31] Стр. 501. На самом деле Писемский переехал в Москву в начале 1863 г.

[32] Стр. 501. Роман Писемского «Взбаламученное море» печатался в «Русском вестнике» с марта по август 1863 г. (№ 3—8).

[33] Стр. 501. Роман Тургенева «Отцы и дети» был опубликован в № 2 «Русского вестника» за 1862 г.

[34] Стр. 502. Речь идет о так называемых антинигилистических романах, в которых дискредитировалось революционно-демократическое движение 60—70-х годов. Вслед за романом Писемского появляются «Марево» (1864) В. Клюшникова, «Бродящие силы» (повести «Современная идиллия» — 1865 и «Поветрие» — 1867) В. Авенариуса. В 70-е годы вышли романы Н. Лескова «На ножах» (1870—1871), дилогия Вс. Крестовского «Кровавый пуф» (1869 и 1874), Б. Маркtвича «Марина из Алого Рога» (1873), роман-памфлет В. Мещерского «Тайны современного Петербурга» (1876—1877). Третья волна антинигилистических романов приходится на начало 80-х годов: романы Б. Маркевича «Перелом» (1880—1881), В. Авсеенко «Злой дух» (1881—1883), К. Орловского «Вне колеи» (1882).

[35] Стр. 503. «Плотничья артель. Деревенские записки» появились в «Отечественных записках» за 1855 г., № 9. Рассказ «Старая барыня» — в журнале «Библиотека для чтения» за 1857 г., кн. 2. Рассказ «Батька» — в «Русском слове» за 1862 г., кн. 1 (январь). Роман «Тысяча душ» печатался в № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (январь—июнь) «Отечественных записок» в 1858 г. А драма «Горькая судьбина» была опубликована в кн. 11 (ноябрь) «Библиотеки для чтения» за 1859 г.

[36] Стр. 503. Первый перевод романа «Тысяча душ» на немецкий язык был осуществлен около 1869—1870 гг. д-ром Л. Кайслером и вызвал в Германии целый ряд сочувственных критических

отзывов. В 1955 г. роман «Тысяча душ» был издан в Берлине (переводчик В. Фейзак). Писемский в письме к французскому переводчику его произведений В. Дерели от 14/26 октября 1878 г. сообщал, что сразу после выхода в свет роман был подробно разобран и переведен в сокращениях на французский язык Делаво в «Revue des deux Mondes» (см. ст. А. Делаво «Le roman satirique et les Moeurs administratives en Russie, Mille âmes, par Pisemski». — «Revue des deux Mondes», 15 janvier, 1860).

[37] Стр. 503. *Табель о рангах* — законодательный акт Петра I от 24 января 1722 г., устанавливающий бюрократическую иерархию чинов в армии, флоте и правительственном аппарате, состоящий из расписания новых чинов по 14 классам или рангам и из 19 пояснительных пунктов к этому расписанию.

[38] Стр. 504. В 1860 г. Островскому за драму «Гроза» и Писемскому за драму «Горькая судьбина» была присуждена первая Уваровская премия Академии наук.

[39] Стр. 507. В момент создания мемуаров о Писемском Анненков располагал записью беседы Писемского с Мартыновым, сделанной вдовой и сыном писателя. (Публикацию этой записи и комментарии к ней А. Могилянского см.: А. Ф. Писемский. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9, «Правда», М., 1959, с. 607—608.)

[40] Стр. 507. Драма Писемского «Ваал», в которой обличается буржуазное стяжательство, была напечатана в «Русском вестнике», 1873, № 4.

[41] Стр. 511. Младший сын Писемского Николай застрелился в феврале 1874 г. В 1880 г. другой его сын Павел заболел тяжелой психической болезнью.

[42] Стр. 513. Открытие памятника Пушкину в Москве состоялось 6 июня 1880 г. На торжественном заседании в Обществе любителей российской словесности 7 июня Писемский прочел речь о Пуікине — историческом романисте, имея в виду главным образом «Капитанскую дочку», как явствует из его писем. Текст этой речи не сохранился ни в государственных архивах, ни в архиве Л. И. Поливанова — председателя комиссии Общества любителей российской словесности по организации пушкинских торжеств. Интересно, что 6 июня на торжественном акте в Московском университете, посвященном памяти великого поэта, были избраны почетными членами университета академик Я. К. Грот и П. В. Анненков, как «много потрудившиеся для истории русской литературы и знаменитого писателя» («Русская мысль», 1880, кн. VI. Внутреннее обозрение, с. 12).

[43] Стр. 513. На первом Пушкинском литературно-музыкальном вечере 5 июня 1880 г., состоявшемся в помещении Благородного собрания, Писемский прочитал стихотворение «Гусар» («Скребни-

цей чистил он коня», 1833) (на этом же вечере и Анненков читал стихотворение «Анчар»), а на втором, состоявшемся 8 июня, он читал стихотворение поэта «Полководец» («У русского царя в чертогах есть палата», 1835).

[44] Стр. 515. Анненков имеет в виду разгул хищничества в русском пореформенном обществе. Этот исторический момент запечатлен М. Е. Салтыковым-Щедриным в сатирическом романе «Дневник провинциала в Петербурге» (1872). У Писемского, который, по словам Анненкова, «оставался равнодушным к подстрекательствам честолюбия и тщеславия», обстоятельства жизни выработали тем не менее стремление надежно устроить свое материальное положение. Более 15 лет он прослужил. К концу 60-х годов он приобрел в Москве в Борисоглебском переулке на Поварской улице участок земли, обстроил его наемными помещениями и отвел себе во дворе флигель с небольшим садом, тщательно отделав его.

ДВЕ ЗИМЫ В ПРОВИНЦИИ И ДЕРЕВНЕ
С ГЕНВАРЯ 1849 ПО АВГУСТ 1851 ГОДА

Впервые — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. <М.,> Гослитиздат, 1960, с. 529—548. Здесь опубликована так называемая «сводная редакция», объединившая отрывки, до того печатавшиеся раздельно: «Последняя встреча с Гоголем» — в кн.: *Анненков и его друзья,* с. 515—516, с подзаголовком «Из воспоминаний П. В. Анненкова о Москве осенью 1851 года»; остальной текст впервые — «Былое», 1922, № 18, с. 4—18, с названием «Две зимы в провинции и деревне».

«Две зимы в провинции и деревне» были задуманы мемуаристом как продолжение «Замечательного десятилетия». 26 декабря 1877 года Анненков сообщал Стасюлевичу о новом замысле, который будет осуществлен, если его записки о 40-х годах получат одобрение. «Я хотел, — пишет Анненков, — по выслушании Вашего мнения, еще продолжать их, так как переходная эпоха от 48 года до 58 года (вторая замечательная эпоха нашей литературы) мне хорошо была знакома *со всеми ее людьми* и со всеми ее ошибками, бунтами втихомолку и раздумьем, как выйти из болота, породившими движение шестидесятых годов, продолжающееся и доныне» (*Стасюлевич,* т. III, с. 351).

Однако, хотя Анненков после этого письма прожил еще десять лет, продолжение мемуаров так и не было написано. Остались лишь наброски, которые Л. Н. Майков в предисловии к сборнику «П. В. Анненков и его друзья» назвал, довольно точно охаракте-

ризовав их специфическое назначение, «памятными заметками» (с. VII). Мемуарист делал эти заметки для себя, рассматривая их, очевидно, в качестве заготовок для будущей большой работы.

Публикуя отрывок о Гоголе, Л. Н. Майков объяснял, что остальные заметки в то время «еще не могут быть преданы печати» (с. VII). Вероятно, имелась в виду не столько литературная их необработанность, сколько цензурные препоны, что и подтверждается дальнейшей историей публикации заметок. Н. О. Лернер среди книг известного библиофила В. И. Саитова обнаружил экземпляр сборника «П. В. Анненков и его друзья», в котором к основному и всем известному тексту были присоединены восемнадцать гранок набора. Они являлись полным текстом «памятных заметок». В анонимном предисловии сообщалось, что «этот очерк составляет лишь черновой набросок, а местами только план статьи, подлежащий обработке. Набросок относится к 1870-м годам» («Былое», 1922, № 18, с. 3). Так как отрывок о Гоголе уже был опубликован, Лернер в «Былом» печатает оставшиеся страницы, которые и увидели наконец свет через тридцать пять лет после смерти автора, уже при совершенно иных социальных условиях.

Свидетель революционных событий во Франции 1848 года, Анненков возвратился в Россию тогда, когда царское правительство, напуганное призраком революции, устанавливает в стране подлинный террор. Россия переживает эпоху, вошедшую в историю под названием «мрачного семилетия». Но и покидаемая Франция не внушала Анненкову надежд. Герцен в «Былом и думах» передает свой разговор с Анненковым перед разлукой.

«— Итак, решено, — спросил я Анненкова, прощаясь, — вы едете в конце недели?

— Решено.

— Жутко будет вам в России.

— Что делать, мне ехать необходимо, в Петербурге я не останусь, уеду в деревню. Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо, как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь» (*Герцен,* т. X, с. 231).

Тогда же Герцен в письме предупреждает московских друзей, чтобы они не слишком доверяли рассказам Анненкова о революционных событиях во Франции. 6 сентября 1848 года Герцен пишет об Анненкове: «Он стал на какую-то странную точку — безразличной и маленькой справедливости, которая не допускает до него большую истину» (*Герцен,* т. XXIII, с. 96). Глубокое замечание, характеризующее Анненкова не только в данном конкретном случае...

Хозяйственные дела действительно требовали личного при-

сутствия Анненкова, и, вернувшись, он вскоре же уезжает в Симбирскую губернию, где Анненковым принадлежало несколько сел и деревень, в том числе село Чириково (Чирково тож), село Павловка, деревня Иевлево (см.: П. Мартынов. Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1903, с. 157—161). Вспоминая месяцы, проведенные в деревне, Анненков отмечает, что «терроризация достигла и провинции». Доносы друг на друга, страх определяют жизнь и поведение.

Навещает Анненков Москву и Петербург. Обычная проницательность не изменяет мемуаристу. Говоря о приговоре участникам кружка Петрашевского, он замечает: «Приговор состоялся под ужасом февральской революции...»

Вместе с тем в этих заметках для себя, заготовках для будущего мемуарного полотна Анненков гораздо откровеннее, чем остался бы, вероятно, в окончательно готовом для печати тексте. Конспект сохранил субъективные оценки Анненкова, которые скорее всего он убрал бы в процессе работы. Анненков здесь гораздо более «темпераментен», чем в «Замечательном десятилетии», например. Резка характеристика И. Панаева, который назван «большим вралем» и по отношению к которому употребляется даже слово «низость». Сурова и исторически несправедлива оценка деятельности Герцена и его хотя и «блестящего», но, считает нужным добавить Анненков, вместе с тем и «фальшивого ума».

Анненков предупреждает, что пишет «свои воспоминания на память, не справляясь с книгами и документами». Зная манеру работы Анненкова, можно предполагать, что в дальнейшем, готовя рукопись к печати, он дополнил бы ее новыми фактами, тщательно проверив их. В отличие от многих других мемуаристов, Анненков обычно точен.

Он мог бы рассказать еще немало. Анненков действительно «всех знал». Даже наброски, которыми, в сущности, являются «Две зимы в провинции и деревне», чрезвычайно ценны и значимы для понимания того времени, о котором пишет мемуарист.

[1] Стр. 518. Анненков возвратился в Россию в конце сентября 1848 г.

[2] Стр. 518. См. примеч. 296 к «Замечательному десятилетию».

[3] Стр. 518. О мерах, направленных на ограничение доступа в учебные заведения и на сокращение программ в них см.: А. Н. Пыпин. Мои заметки. М., 1910, с. 54—55.

[4] Стр. 518. Николай I готов был бросить русские войска на подавление революции в странах Европы, что и было сделано по отношению к Венгрии, например.

[5] Стр. 518. Речь идет о повести М. Е. Салтыкова-Щедрина «Запутанное дело» («Отечественные записки», 1848, № 3). 21 апреля того же года писатель был арестован и по завершении следствия сослан в Вятку.

[6] Стр. 518. В страхе перед распространением в России революционных идей Николай I учреждает 27 февраля 1848 г. секретный комитет под председательством А. С. Меншикова для общего надзора за всеми издававшимися в столице газетами и журналами. Продолжением меншиковского комитета стал Комитет 2 апреля, или, как его называли по имени первого председателя, «Бутурлинский». На Комитет, который возглавил Д. П. Бутурлин, было возложено наблюдение за всей выходившей в России литературой. Бутурлин и его Комитет явились главным оплотом цензурного террора конца 40-х — начала 50-х годов (см.: М. К. Лемке. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904, с. 192—194).

[7] Стр. 518. Герцен писал в связи с этим: «Вся система казенного воспитания состояла в внушении религии слепого повиновения, ведущей к власти как к своей награде. Молодые чувства, лучистые по натуре, были грубо оттесняемы внутрь, заменяемы честолюбием и ревнивым, завистливым соревнованием. Что не погибло, вышло больное, сумасшедшее... Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми...» (*Герцен,* т. X, с. 345).

[8] Стр. 518. *Адель Б.* — вероятно, Адель Николаевна Бекетова, впоследствии жена композитора В. Н. Кашперова. *Лидия К.* — возможно, Лидия Никитична Кашперова, сестра В. Н. Кашперова.

[9] Стр. 519. Обстоятельства, о которых здесь мимоходом упоминает Анненков, на деле были очень сложны. В 1849 г. М. Л. Рославлева, первая жена Огарева, предъявила к оплате заемные письма, выданные ей мужем еще в 1846 г. на сумму в 300 тыс. рублей. Чтобы предотвратить продажу имений Огарева с аукциона, была оформлена фиктивная продажа основной части имения другу Огарева и его свояку по второй жене Н. М. Сатину (см.: С. С. Конкин. Николай Огарев. Саранск, 1975, с. 167).

[10] Стр. 519. Точнее: «Письма из провинции» (1849—1851).

[11] Стр. 519. В «Современнике», 1849, № 1 была опубликована статья Анненкова «Заметки о русской литературе прошлого года».

[12] Стр. 520. Комедия А. Н. Островского «Банкрут», позже получившая название «Свои люди — сочтемся», не была «первой» пьесой драматурга. Ранее появилась «Картина семейного счастья» («Семейная картина»).

[13] Стр. 520. В апреле 1849 г. были арестованы члены кружка

М. В. Буташевича-Петрашевского. Осенью следствие закончилось, часть обвиняемых была приговорена к смертной казни (в их числе Ф. М. Достоевский). В последнюю минуту, однако, казнь была заменена каторгой и ссылкой. Общественное настроение было тяжелым. «Каждый день мы узнавали о новых арестах», — вспоминает А. Я. Панаева («Воспоминания». М., 1972, с. 177).

[14] Стр. 521. Революция 1848 г. во Франции.

[15] Стр. 521. А. П. Баласогло (Балас-Оглы) назван «азбучником» потому, что был автором учебного пособия по русскому языку.

[16] Стр. 521. И. С. Тургенев вернулся в Россию в конце июня 1850 г.

[17] Стр. 521. К «партии петербургского прогресса» принадлежала в основном «молодая часть» высшего служилого дворянства, надеявшегося путем административных мер улучшить внутреннее и внешнее состояние России. По их программе самодержавие сохранялось, но проведение реформ буржуазного характера представлялось «партии» необходимым.

[18] Стр. 522. Рассказ о Бубнове находится в четвертом разделе «Писем из провинции».

[19] Стр. 522. Н. П. Анненков был членом «негласного» Комитета 2 апреля («Бутурлинского»), почему он сам и назван здесь «негласным» (см. примеч. 6).

[20] Стр. 522. *Созия* (Созий) — персонаж комедии Мольера «Амфитрион» (восходящей к одноименной комедии Плавта). Имя стало нарицательным и обозначает однофамильца.

[21] Стр. 523. Полное название сочинения: «История Смутного времени в России в начале XVII столетия» (1839—1846).

[22] Стр. 523. Речь идет о переводе сочинения Д. Флетчера «О государстве Русском». Перевод был напечатан в «Чтениях Общества истории и древностей Российских», кн. 1 за 1848—1849 г., и вырезан по доносу С. С. Уварова (см.: С. Белокуров. Дело Флетчера. М., 1910).

[23] Стр. 524. Н. П. Огарев, Н. М. Сатин и И. В. Селиванов были арестованы в конце февраля 1850 г. по доносу губернатора А. Панчулидзева, дяди М. Л. Огаревой. В середине марта того же года Н. П. Огарев и Н. М. Сатин были освобождены (см.: Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. <М.>, 1959, с. 83—93). И. В. Селиванов же был сослан в Вятку, где пробыл недолго.

[24] Стр. 524. Анненков в основном верно передает обстоятельства ареста и освобождения Огарева, Сатина и Селиванова (см. примеч. 23), однако мемуарист не знал, что в распоряжении III Отделения было перлюстрированное письмо Селиванова, в котором сочувственно описывались события французской револю-

ции 1848 г. (см.: Б. П. Козьмин. И. В. Селиванов и его письмо из революционной Франции 1848 года. — *ЛН*, т. 67, с. 574—587). Говоря о Селиванове, Анненков поддался своему неприязненному отношению к нему (см. примеч. 212 к «Замечательному десятилетию»).

[25] Стр. 525. А. Г. Политковский растратил 1 100 000 рублей так называемого «инвалидного капитала», что выяснилось в результате ревизии, назначенной Николаем I вскоре после смерти Политковского, 4 февраля 1853 г. (см.: А. Любавский. Русские уголовные процессы, т. IV. СПб., 1868, с. 101—138).

[26] Стр. 525. В коннице того времени ремонтом называлась закупка лошадей. Ремонтные лошади, таким образом, те, которые куплены для пополнения уже имеющегося их количества в полку.

[27] Стр. 526. Библейское выражение (Книга пророка Даниила, 9, 27). Означает: опустошение, грязь, полное разорение.

[28] Стр. 526. Анненков имеет в виду Крымскую войну.

[29] Стр. 527. Русская армия под командованием фельдмаршала И. Ф. Паскевича-Эриванского приняла участие в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг.

[30] Стр. 528. Возможно, имеется в виду Л. Н. Кашперова (см. примеч. 8).

[31] Стр. 530. Книга Герцена «О развитии революционных идей в России» была написана в 1850 г., но впервые издана на немецком языке в 1851 г. В русском переводе впервые вышла в 1861 г. (без участия Герцена). Анненков, видимо, ссылается на второе, французское, издание (Париж, 1851).

[32] Стр. 530. Такая оценка вызвана глубокими идейными расхождениями с Герценом. Анненков не одобрял его революционных убеждений, издательской и публицистической деятельности. В 1864 г. их знакомство было прервано.

[33] Стр. 530. Анненков говорит о поддержке Герценом польского восстания 1863—1864 гг.

[34] Стр. 531. Ф. В. Чижов был арестован по требованию австрийского правительства в 1847 г. Он обвинялся в пропаганде панславистских идей и в подстрекательстве славян в Далмации. И. С. Аксаков рассказывает о Чижове, что «в своем путешествии по славянским землям как-то удалось ему помочь черногорцам выгрузить оружие на Далматском берегу. Это обстоятельство, а равно и посещение им австрийских славян, вызвало донос на него от австрийского правительства русскому» (И. С. Аксаков. Соч., т. VII. М., 1887, с. 805). Чижов сумел оправдаться и вскоре был освобожден (см.: А. В. Никитенко. Дневник, т. 1. <М.>, 1955, с. 305—306). И. С. Аксаков был арестован 17 и освобожден

22 марта 1849 г. после объяснения своих воззрений, которые он изложил письменно по требованию Николая I (см.: М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II. СПб., 1889, с. 487—516).

[36] Стр. 533. См. примеч. 22.

[36] Стр. 533. Имеются в виду «Рижские письма» Ю. Ф. Самарина. Об аресте Самарина и разговоре с ним Николая I см.: А. В. Никитенко. Дневник, т. 1, с. 328—329.

[37] Стр. 533. *Униаты* — сторонники объединения православной церкви с католической под властью папы римского. Синод объявил о воссоединении униатов с православными в 1839 г., однако борьба с униатской церковью велась еще несколько десятилетий (см.: М. Коялович. Литовская церковная уния. СПб., 1859).

[38] Стр. 535. Вечер у А. А. Комарова, вероятно, состоялся в 1848 г., так как в 1849 г. Гоголь не был в Петербурге.

[39] Стр. 537. *Мальпост* — почтовая карета.

[40] Стр. 537. И. С. Тургенев был арестован 16 апреля 1852 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

---

* В указатель включены все имена, названия произведений и периодические издания, прямо или косвенно упомянутые в тексте воспоминаний П. В. Анненкова. Имена, упомянутые только в тексте вступительной статьи и комментариев, не включены. Курсивом набраны номера страниц текста вступительной статьи и комментариев.

Указатель составила Н. А. Роскина.

---

[1] Возможно, что в первой публикации воспоминаний П. В. Анненкова — ошибка наборщика, повторенная в след. изд., а в рукописи было: Gozzi. Сведений о драматурге Нотте обнаружить не удалось.

СОДЕРЖАНИЕ

Анненков П. В.

А68 Литературные воспоминания. / Вступит. статья В. И. Кулешова; Коммент. А. М. Долотовой, Г. Г. Елизаветиной, Ю. В. Манна, И. Б. Павловой. — М.: Худож. лит., 1983. — 694 с. — (Серия литературных мемуаров).

Мемуары известного русского критика П. В. Анненкова — это живой и вдумчивый рассказ о литературной жизни 40—60-х годов XIX века. Основная тема воспоминаний Анненкова — идейно-нравственные искания выдающихся деятелей русской общественной мысли и литературы — Гоголя, Белинского, Тургенева, Писемского и др.

А $\frac{4702010100\text{-}190}{028(01)\text{-}83}$ 23-83 **8Р1**

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ АННЕНКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор
К. Нещименко
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
Л. Вецкувене
Корректоры
Г. Киселева и О. Наренкова

ИБ № 2523

Сдано в набор 14.10.82. Подписано к печати 28.07.83. Формат 84X108 $^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,54+1 вкл.+ альб. = 37,43. Усл. кр.-отт. 37,85. Уч.-изд. л. 40,75 + 1 вкл. + альб. = 41,40. Тираж 75 000 экз. Изд. № II-716. Заказ 230. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП. Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано в Ленинградской типографии № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского производственного объединения «Техническая книга» имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193144, г. Ленинград, ул. Моисеенко, 10. с матриц Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
15	15 св.	того же, 1877 года	того же, 1874 года
27	10 св.	21 года право	21 года, право



Н. В. Гоголь.
Гравюра на стали Ф. Брокгауза.



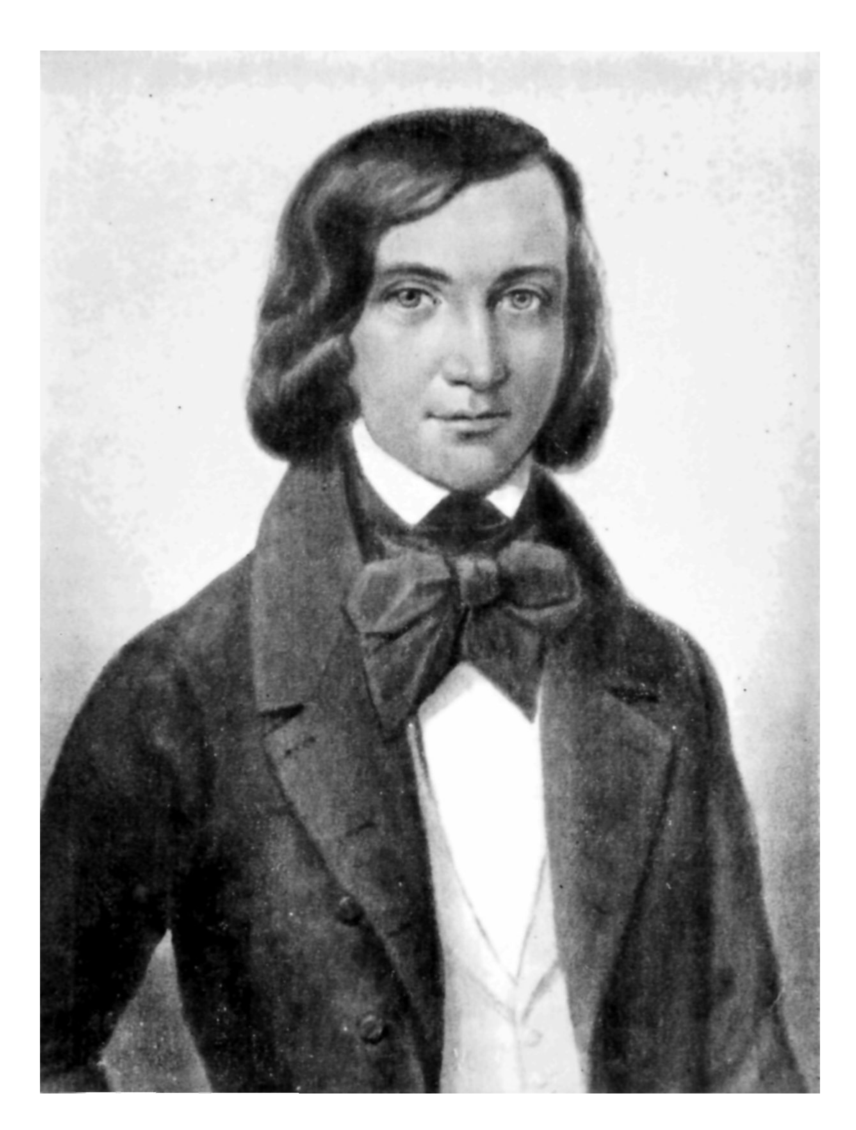
П. В. Анненков
Литография
К. Л. Горбунова.
1845 г.



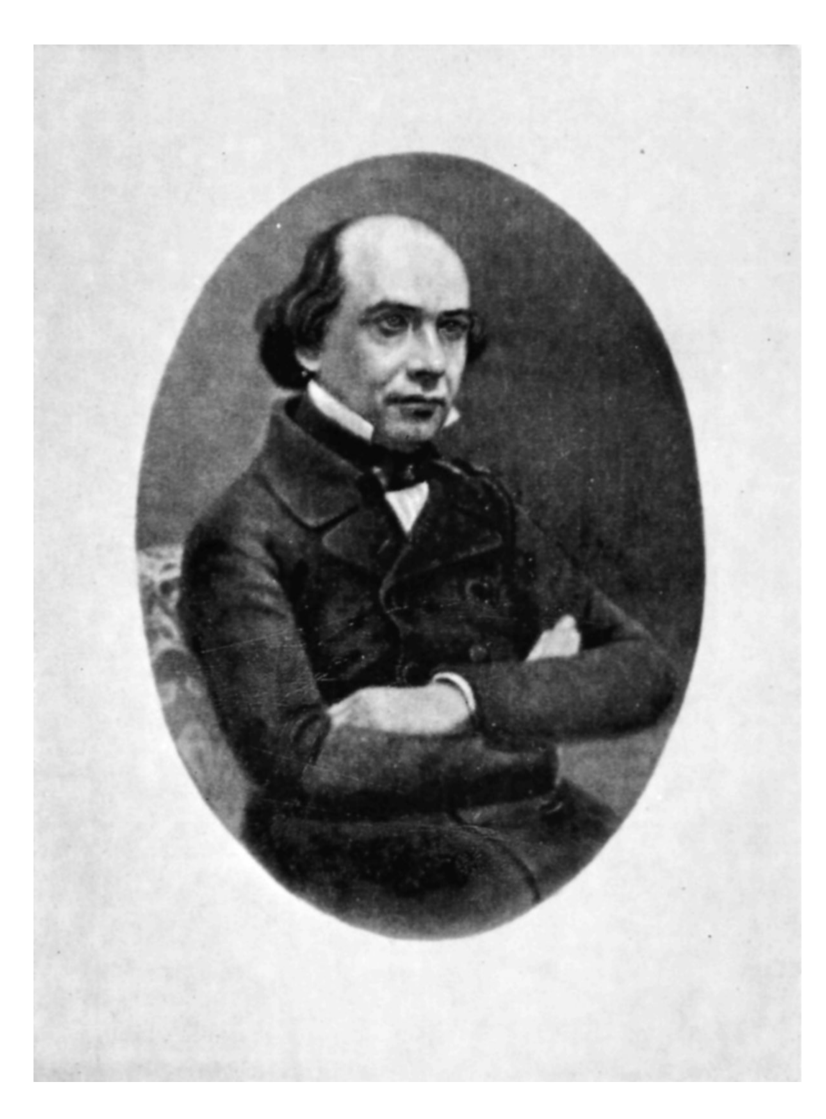
М. А. Бакунин.
Акварель неизвестного
художника. 1838 г.



А. И. Герцен.
Рис. А. Л. Витберга. 1836 г.



Н. В. Станкевич.
Акварель Беккер.



Т. Н. Грановский.
Литография П. Бореля.



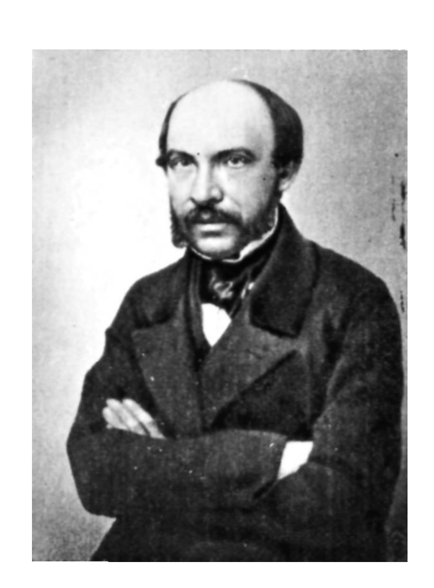
Н. Г. Чернышевский.
Фотография В. Лауфферта.
1859 г.



Н. Л. Добролюбов.
Литография П. Бореля.



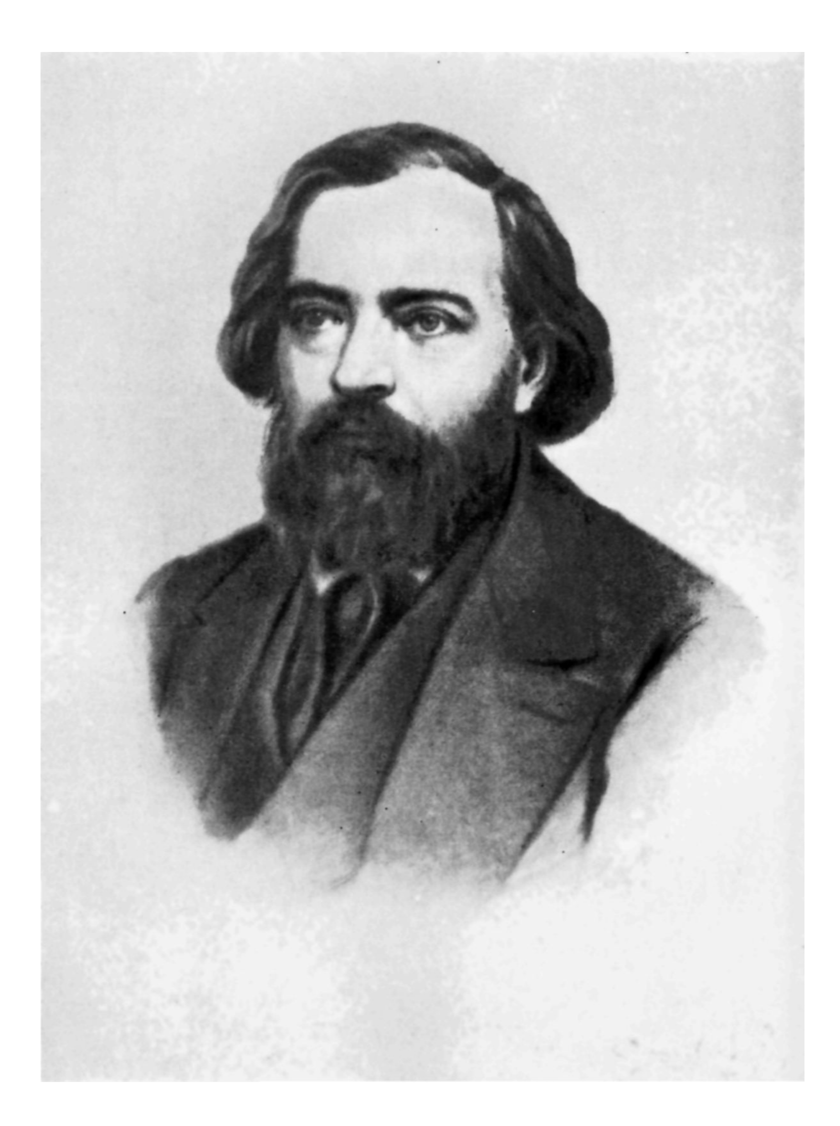
А. В. Дружинин.



В. П. Боткин.
Фотография. 1856 г.



В. Г. Белинский.
Акварель К. А. Горбунова.
1838 г.



Н. П. Огарев.
Гравюра конца 1850-х гг.

Ап. Григорьев.
Фотография
конца 1850-х гг.

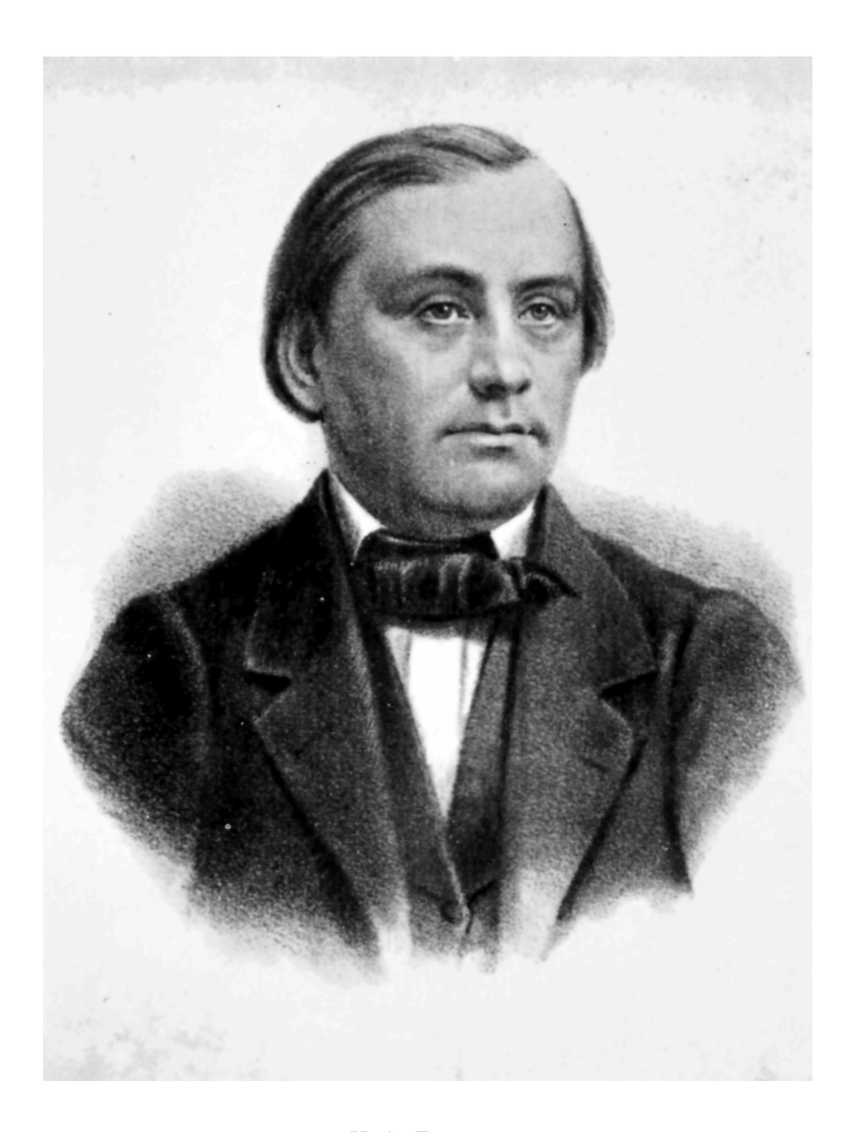




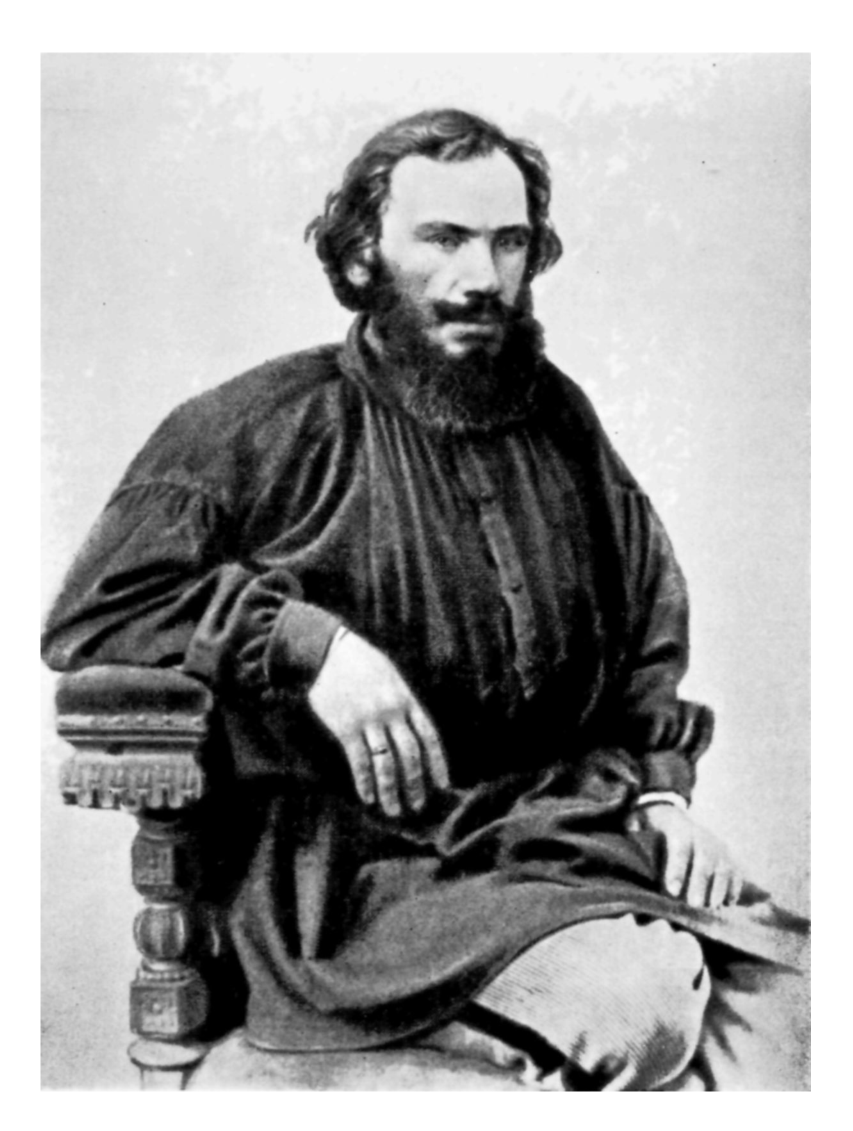
С. Т. Аксаков.
Гравюра с литографии
П. Бореля. 1859 г.



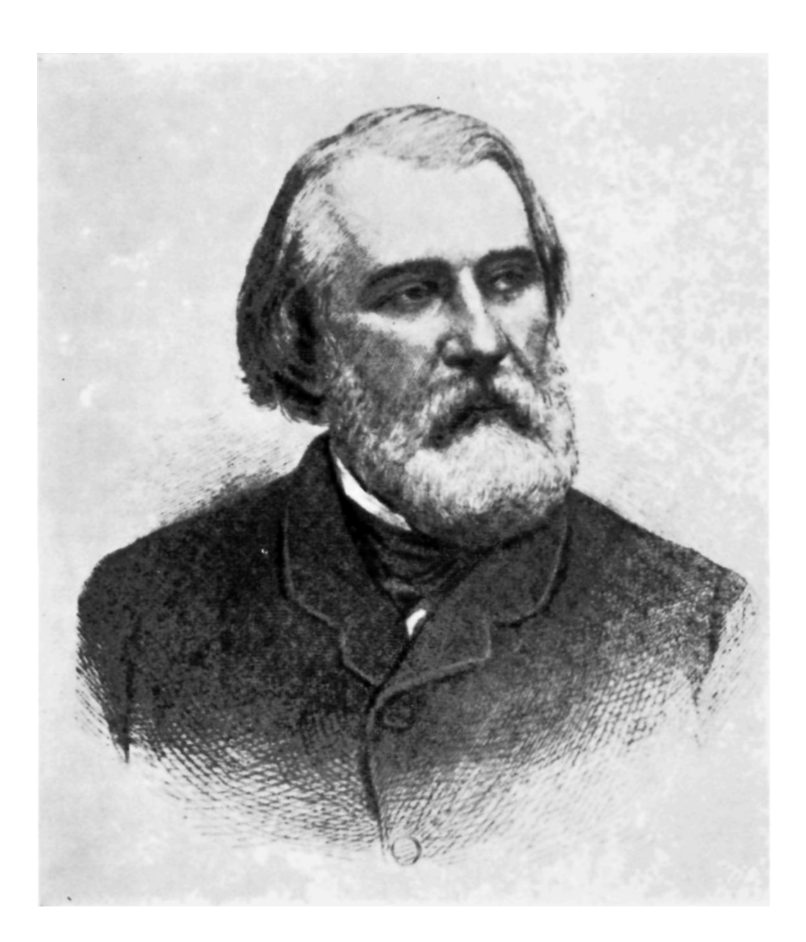
И. И. Панаев.
Литография П. Бореля.



И. А. Гончаров.
Литография. 1847 г.



Л. Н. Толстой.
Фотография. 1868 г.



И. С. Тургенев.
Фотография. 1856 г.



А. Ф. Писемский.
Литография В. Бахмана.
1860-е гг.